ЮЛИАН СЕМЕНОВ
ЮЛИАН СЕМЕНОВ
13

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В ...
...ажни...
...едоум...
2. ...
...дел...
...ское С...
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к...
...ну и его банде создать камеры ...
...нки, Катыни, а его ученикам - п...
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест...
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ивенчества:
...в квартиру, накор...

...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-

...ния пропагандистской ше-
...Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это

...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...

...пнивающей") стра-

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

...ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

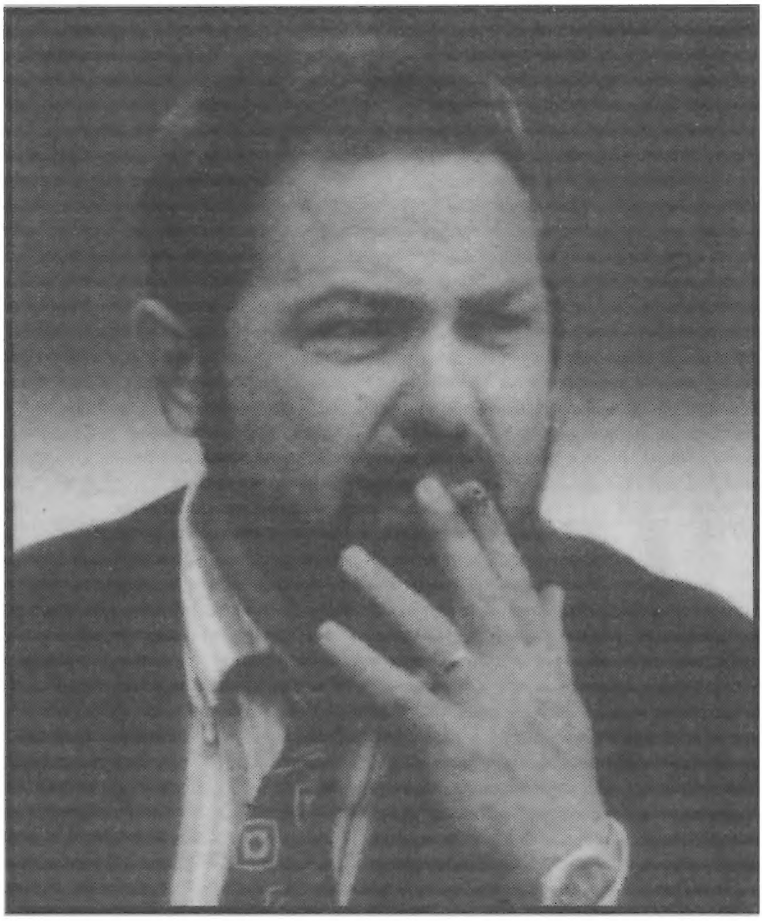
Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
... v. Henrici

Данон Селенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



Dumas

Семья

ТОМ ТРИНАДЦАТЫЙ

ЭКСПАНСИЯ-III

Москва
ЭГСИ
1995

Художники
М. ШЕСТОПАЛ
Б. ПОМОЧИЛИН, В. БЕЛЯКОВ

© Ю. Семенов, 1984
© Составление, подготовка текста–Фирма ЭГСИ, 1995

ЭКСПАНСИЯ-III

ШТИРЛИЦ (Барилоче, сорок седьмой)

Ну и что, спросил себя Штирлиц, как будем жить дальше? Ты и я, два человека, существующие в одном и том же обличье, но думающие порой по-разному, мура собачья, ей-богу. Почему, возразил он себе, прибегни к спасительному «все разумное действительно», сколько раз тебя выручал Гегель с его абстрактным, отрешенным от суеты мышлением, выручит и сейчас...

Двадцать пять лет я не был в России; четверть века, страшно произнести... Это все ерунда, что я живу ей, грежу ею, изучаю все, связанное с ее трагической и великой судьбой; я похож на доктора, который ставит диагноз, наблюдая пациента через толстое пуленепробиваемое стекло.

Я живу здесь, в Барилоче, у подножия Анд, в столице горнолыжного спорта Аргентины, в семи милях от коттеджей, где обосновались физики, – среди них есть местные, родившиеся в этой прекрасной стране, есть эмигранты, сбежавшие от гитлеровцев, а есть нацисты, те, которые работали в исследовательских институтах рейха; истинный ученый похож на зрячего слепца, он одержим своей идеей, он редко задумывается над тем, кто воспользуется его идеей, сделавшейся хиросимской явью; всю свою историю человечество пугалось шагать во тьму неизведанного и все же – шагало... Что же, спросил он себя, да здравствует инквизиция, которая хотела удержать мир от знаний?! Бред, ужас какой-то...

Я живу здесь уже четыре месяца, без связи с Роумэном, учу веселых аргентинцев кататься на «росиньолях» по бело-голубым снежным полям, которые становятся синими, ледяными в середине июня, когда зима окончательно вступает в свои права, метут вьюги, ломко стреляют искры в каминах пансионатов, что открыли вокруг подъемников австрийцы из-под Линца и баварцы; пенится белое пиво, девушки в красных фартучках, тихо звучат песенки, привезенные из Тироля, мистерия какая-то...

За это время я заработал триста сорок два доллара; от того, что мне дал Роумэн при расставании в Мадриде, осталось сто сорок семь; на кофе и сандвичи хватит, весну и лето переживу, в конце концов, можно попробовать увлечь приезжающих сюда на отдых толстосумов туристскими маршрутами в Чили – через горы. Ладно, пройдет еще полгода, а что дальше? Я узнал, где здесь живет Рихтер, когда он приезжает сюда из Кордовы, Байреса или Мар дель Плато, – а что дальше? Я не готов к решающей беседе с ним, нужны данные от Пола, а их нет. Я не приблизился ни на шаг к тайне атомной бомбы, которую клепают здесь, совсем рядом, на острове Уэмюль мои бывшие товарищи по партии, я не узнал ничего нового о тех, кто являет собою затаенную структуру нацизма в Латинской Америке, – зачем же я здесь? Во имя чего?

Ты здесь во имя того, ответил он себе, чтобы сделать то, чего ты не имеешь права не сделать. Мужчина – это добытчик. Нельзя возвращаться с пустыми руками, грешно приходить домой с пустыми руками.

А ты уверен, что тебя там ждут? Он часто слышал в себе этот во-

прос, и звенящая пустота, которая рождалась в нем после того, как звучали эти треклятые слова, была самым страшным мучением, потому что, давно привыкший к постоянному диалогу с самим собою, на этот раз он не знал, что ответить, а лгать – не хотел или, точнее, не мог уж более.

...Штирлиц поднялся с деревянной лесенки, что вела на второй этаж домика, где Отто Вальтер держал свою прокатную станцию – горные лыжи, ботинки, куртки, перчатки, очки и шлемы, – застегнул куртку (с Анд валили снежные сине-черные облака) и пошел в бар к Манолетте; старик славился тем, что делал сказочный кофе, лучший, чем итальянский «капуччини»: сливочная пена сверху и обжигающе горячая крепость на донышке толстой керамической чашки.

У Манолетте было тихо и пусто; в печке, сделанной, как и все в Барилоче, на немецкий манер, огонь алчно ломал поленца; старик стоял, прижавшись к теплым изразцам спиною, и лениво следил за большой мухой с зеленым брюшком, медленно летавшей вокруг настольной лампы, что стояла на баре.

– Нет, ты только погляди на нее, – изумленно произнес Манолетте, – вот-вот ударят холода и все занесет снегом, а эта мерзавка не сдается... Остальные сдохли – куда более здоровые, – а зеленобрюшка все летает и летает...

– Остальные уснули, – возразил Штирлиц. – Они засыпают на зиму. А весной оживают.

– Темный ты человек, Максимо, сразу видно – из Испании, там школ мало и ботанику не учат... Если бы все мухи засыпали на зиму, а весной просыпались, то мы бы стали планетой мух, а не людей.

– А может, мы и есть такая планета? – Штирлиц пожал плечами. – Ну-ка, угости меня кофе, дружище...

– Я угощу тебя кофе, а ты позвони-ка своему патрону, он тебя ищет.

– Приехали какие-нибудь буржуи? – спросил Штирлиц. – Не терпится встать на лыжи? Схватить снежного загара?

– Этого он не говорил, – ответил Манолетте и отошел от печки. – Хочешь выпить?

– Мало ли чего я хочу...

– Я угощаю.

– Тогда не откажусь.

– Чего тебе налить? Бренди? Или виски?

– Налей виски.

– С водой?

– Нет, чистого, безо льда.

– Здесь у всех ломается настроение, когда с Анд валятся снеговые облака, Максимо. Сколько лет я здесь живу, а все равно не могу привыкнуть, тоска какая-то, безнадежность, мрак...

Штирлиц положил мелочь на медный поднос, что стоял возле телефонного аппарата, набрал номер своего хефе Отто Вальтера; старик лежал третий день без движения – скрутило бедолагу; как подняло в воздух под Седаном, в семнадцатом, так и ломает каждый

год, несмотря на то что с двадцать девятого живет здесь; врачи порекомендовали «сменить обстановку», психический стресс был слишком сильным; повлияло на него и то, что лежал он в госпитале – койка к койке – с ефрейтором Адольфом Гитлером, – остановившиеся серо-голубые глаза, тяжелый, немигающий взгляд и давящий поток слов, вроде бы совершенно логичных, ладно поставленных одно к другому, но – если долго вслушиваться – больных, безнадежная паранойя, но при этом угодная несчастным людям, а сколько их тогда было в Германии?! После ноябрьского путча Гитлера, когда люди на улицах сострадали арестованному герою войны, рискнувшему сказать нации правду, после его «Майн кампф», после того, как он стал фюрером, Отто продал дом в Зальцбурге и уехал за океан, поняв, что рано или поздно Гитлер добьется своего, страна прогнила, гниющей падали был необходим стервятник со стылыми, безжизненными глазами.

– Послушай, Макс, – сказал Вальтер слабым голосом (очень любил болеть, обожал сострадание, даже при пустяковом насморке просил нотариуса проверить завещание, уверял, что начинается менингит, отчего-то именно эта болезнь казалась ему фатальной), – на этот раз меня крутит как-то по-особому. Постоянное удушье, знаешь ли... Рикардо Баум, верный дружок, советует обратиться в клинику Фогеля, в Байресе... Так что на это время вместо меня останется Ганси...

– Кто это? – спросил Штирлиц, сразу же перебрав в памяти всех тех немцев и австрийцев, с кем Вальтер поддерживал отношения. – Какой Ганси? Шпрудль?

– Нет, нет, он приехал неделю назад, из Вены... Ты его не знаешь... Его прислал мой двоюродный брат, какой-то дальний родственник, просит поддержать... Ты его введи в курс дела и помогай, как мне... Наш с тобой контракт остается в силе, он будет платить тебе по-прежнему, я уже отдал все распоряжения... Если со мной что-нибудь случится, возьми себе мои «росиньоли» и ботинки девятого размера... И новые перчатки, которые я получил из Канады... Это мой тебе подарок за добрый и честный труд, Макси...

– У вас простуда, – сказал Штирлиц, зная, что этим он обижает хозяина. – Обычная простуда. Выпейте горячего чаю с медом и водкой, снимет, как рукой, господин Вальтер.

– Я думал, что жестокость свойственна только молодым, – вздохнул Вальтер. – Бог с тобой, я не сержусь...

– А где этот самый Ганси?

– Завтра в восемь утра он приедет на подъемник, покажи ему хозяйство и введи в дело... Послезавтра утром я уеду, билет уже заказан, Баум меня проводит.

– Кто это?

– Рикардо Баум? – удивился Вальтер. – Чистый немец, социал-демократ, живет здесь в эмиграции...

– Врач?

– Нет, он в бизнесе и юриспруденции...

– Посоветовались бы с хорошим аргентинским врачом, господин Вальтер, настой трав, прогулки...

– Макси, не надо, а? Я знаю, сколько мне осталось, зачем успокаивать меня так грубо?

Штирлиц положил трубку, выпил «капуччини» и сделал медленный, сладостный глоток из тяжелого стакана, ощутив жгущий запах жженого ячменя.

Я стал бояться новых людей, подумал Штирлиц. Имя этого Ганси повергло меня в растерянность; плохо; постоянная подозрительность к добру не приводит, это ломает в человеке азартное желание д е л а; время уходит на обдумывание возможностей; глядишь, все взвесил, – ан, поздно, упустил момент, м и м о...

Какие же это страшные слова – «страх», «боязнь», «ужас»!.. А сколько модификаций?! Чему-чему, а уж как себя пугать – человечество выучилось! Нет бы радости учиться веселью, застольям, – так ведь, наоборот, каждый прожитый год словно бы толкает нас к закрытости; сообщество бронированных особей, два миллиарда особей, занявших круговую оборону в собственных дотах с репродукциями Рафаэля, электроплиткой и зеркалом, человек человеку враг, ужас какой-то.

– Что грустный, Максимо? – спросил Манолетте.

– А ты?

– О, я – понятное дело, – ответил бармен. – Я старый, я вижу конец пути, Максимо, я знаю, что однажды утром не смогу подняться с кровати от боли в спине, а может, в шее или в сердце... Не важно, где... И – что ужасно – я мечтаю об этом времени, потому что тогда со спокойной совестью буду лежать в постели, попросив Пепе передвинуть ее к окну, и стану смотреть на восходы и закаты, пить чай (честно говоря, я ненавижу кофе) пока смогу – пробавляться рюмашкой, а по вечерам играть с внуком и Марией в детский бридж... Вот жизнь, а?! И я наверняка не посмею даже и думать, что жду прихода смерти... Я буду уверять себя, что наконец наступило время заслуженного отдыха, Пепе принял мое дело, пусть мальчик нарабатывает мышцы, теперь его очередь, ты сделал свое, отдыхай, сколько душе угодно... Я отдаю себе отчет в том, что жизнь прожита и ничего из задуманного не сбылось, суечусь, не до мыслей, успевай поворачиваться, иначе дон Карло обойдет на повороте, его бар крепче и денег у него больше, и дон Гулинский может прижать, к нему валом валят портеньяс[1] из югославских и итальянских районов, они там богатые, так что надо держаться, каждую секунду держаться... А знаешь, о чем я мечтал, когда был молодым?

– Откуда ж мне?

– Я мечтал быть оперным певцом, Максимо... Когда я был маленький, я забирался на табуретку и часами пел арии... Бабушка даже плакала, так ей нравилось... Если бы у деда были деньги, он бы определил меня в консерваторию, глядишь, блистал бы в Ла Скала...

– Тут лучше, – заметил Штирлиц. – Здесь не бомбили...

– Так ведь – сделайся я знаменитым певцом – у меня были бы деньги, Максимо, зáмки с подвалами... Бомбежки страшны только бедным, крезы уезжают в горы или того дальше, в Вашингтон, какие там бомбежки?!

[1] Жители столицы *(аргент. жаргон)*.

Штирлиц кивнул; за те месяцы, что прожил здесь, греясь кофе у Манолетте, он убедился, что спорить со стариком бесполезно, упрям, как настоящий астуриец, хотя отец его родом из Сеговии, а мать и вовсе итальянка.

...В комнатушке, которую хефе отдал в распоряжение Штирлица (нечто вроде сторожки, пристроенной к прокатному пункту с тыльной стороны, чтобы не портила фасад), он бросил несколько поленцев в печку, залез в спальный мешок и, вывернув фитиль керосиновой лампы, погрузился в чтение, – нашел на чердаке старое издание Петрарки; это стало для него откровением, вроде Монтеня, – книга, без которой не мыслилась жизнь. Штирлиц читал шепотом, чтобы точнее и объемнее воспринимать мысль поэта:

– Ты спрашиваешь: в чем польза и назначение поэзии? Спеша куда-то в своем безумии, ты сам торопишься разрешить собственный вопрос, устанавливая для поэзии поистине удивительную цель: «лаская, обманывать». Нет, вещие пророки – не изготовители мазей; поглаживать и обманывать – ваше ремесло... Неразумный! По-твоему, нужность искусств – доказательство их благородства?! Наоборот. Иначе благороднейшим из художников был бы землепашец, в чести были бы сапожник, булочник... Не знаете разве, что самая черновая хозяйственная работа всего нужней? Как нужны и сколь непочтенны горшечник и шерстобит! Толпа скорее обойдется без философских школ и воинского великолепия, чем без мясного рынка и бань! Осел нужней льва, курица нужней орла, – значит, они благородней?! Дерзкие невежды, у вас на языке всегда Аристотель, которому быть у вас во рту горше, чем в аду; боюсь, сейчас он возненавидел бы собственную руку, которой написал мало кем понятые, но затвержденные множеством глупцов книги... Часто не входить в число великих – доказательство исключительного величия!

Штирлиц перечитал последнюю фразу дважды; отчего человечество в последние годы потеряло умение чеканно формулировать мысль? Почему Петрарка или Монтень могли лить фразу, придавая ей металлическую упругость и абсолют формы, а ныне философия и литература сплошь и рядом пробавляются описательством?! Это ведь легко – связно описать, что видишь и помнишь, но истинное призвание мыслителя, если он велик, – прямо называть проблемы, подобно математику или биологу...

Штирлиц любил гадать на тех книгах, которые становились его частью, входили навсегда в сознание и сердце: раскроет страницу, прошептав предварительно ее номер и строку, упрется пальцем и прочитает вслух; так поступил и сейчас: «Не ругай стиль, прозрачный для одаренного ума, легкий для запоминания и отпугивающий для невежества, – ведь даже слово божие запрещает нам бросать святыню псам и метать бисер перед свиньями».

А что, усмехнулся Штирлиц, вполне многотолкуемая фраза; дон Мигель, мой добрый старик из Кордовы, прекрасно приложил бы ее к нынешнему литературному процессу; да и я – тоже; только Достоевский добился прижизненной славы; Пушкина топтали ногами, о Чехове говорили, как о «дешевом рассказчике, увеселяющем нуворишей», ну и мир, ну и люди!

...А что же мы с тобою будем делать в этом мире, спросил он себя. Как надо поступить, чтобы не было стыдно смотреть на свое отражение в зеркале? Времени-то в обрез! Ну, хорошо, верно, в обрез, но что я могу сделать, кроме того, что делаю?! Я жду, будь оно неладно, это ожидание...

...Ганс пришел в прокатный пункт с опозданием на двадцать минут; Штирлиц уже успел включить электрический камин, в комнате чуть потеплело; плюшевый, но в то же время ощутимо шершавый лед на оконцах перестал быть мертвенно-белым, посинел изнутри – вкрадчиво, как осенний рассвет.

– Какого черта старый идиот велел мне быть здесь к восьми?! – прохрипел Ганс, не поздоровавшись. – «Порядок, порядок, прежде всего порядок», «хайль Гитлер», «смерть финансовому капиталу, славянам, евреям и марксистам», «ни минуты опоздания, каждому свое», концлагерь, «работа делает свободным», ненавижу!

– Здравствуйте. Меня зовут Максимо Брунн. Вы мой новый шеф, нет? – спросил Штирлиц.

– Строгал я на голове всех шефов свой... Чаю дайте! Откуда я знал, что в этой паршивой стране такие морозы?! – по-прежнему ярясь, ответил Ганс.

– Возьмите кастрюльку, спуститесь вниз, наберите снега, принесите дров, растопите печурку – и через десять минут будете иметь стакан крепкого чая. Ваш родственник держит здесь «липтон» трех сортов.

Лицо Ганса, посиневшее от холода, странно вытянулось, брови поползли вверх, а глаза чуть ли не вылупились, так он растерялся ответу Штирлица.

– Вы служите у дяди Отто?

– Я подписал с ним контракт, это верно.

– Оставьте для суда «подписал контракт»! Подписал, не подписал, какое мне дело?! Вы ответьте: кто здесь кому служит?!

– Это в вашем паршивом рейхе служили, молодой человек, – тихо ответил Штирлиц. – А в этой стране заключают контракт. Здесь иная форма фашизма. Он тут народный, демократический. Понимаете? Отношения нанимателя и рабочего отличаются взаимным уважением и контролируются синдикатом, который тщательно следит за соблюдением статей контракта. Так вот, в контракте нет статьи, которая бы понуждала меня готовить вам чай. И если вы еще раз сунетесь ко мне с такой просьбой, я уйду отсюда, но вы мне уплатите неустойку за год вперед.

– Ну и валяйте! – Ганс тяжело закашлялся. – Скатертью дорога!

Штирлиц несколько недоуменно пожал плечами, набросил куртку и вышел из комнаты; на улице мело, мелкий снег был колючим. Ляжет хорошей подстилкой на поля для скоростных спусков, подумал он машинально, продержится до поздней весны, вполне можно кататься до конца сентября, пока не начнется изнуряющая октябрьская жара, канун ноябрьского лета... Сентябрь – начало весны, ну и шарик, ну и земля, крохотная – а с закавыкой. Как ни мечтают при-

вести ее ко всеобщему, обязательному для всех порядку, – не получается, а сколько сил на это тратят, сколько людей расстреливают, какие деньги вбухивают в статьи бюджетов?!

Штирлиц зашел в бар к Манолетте; по-прежнему пусто; как он умудряется сводить концы с концами? Да и налоги платит немалые; видимо, система приучает человека к оборотистости: отстань от конкурента хоть в малости – крах, банкротство...

– Позволь мне позвонить, Манолетте?

– Можно подумать, что ты пришел только за тем, чтобы позвонить, – усмехнулся старик. – Сначала получи свой «капуччини», а потом звони, куда хочешь.

– Сегодня порядок изменим. Сначала я позвоню, а потом мы с тобой жахнем, я угощаю, ладно?

Он набрал номер Отто Вальтера; тот ответил слабым, умирающим голосом: господи, как можно так себя жалеть?! Выслушав Штирлица, разъярился, голос стал нормальным, рубящим:

– Ну-ка, дайте ему трубку, этому сукину сыну!

– Я не могу дать ему трубку, хефе... Я у Манолетте... Пью кофе... Он приказал мне уйти – я ушел. Приглашать его не намерен – у меня идиосинкразия к таким соплякам...

– Он не идиот, – ответил Вальтер. – Он хороший парень, только нервов не осталось, сами понимаете, чего ему стоило вырваться оттуда...

– Я не сказал, что он идиот, – Штирлиц вздохнул. – Идиосинкразия – это форма аллергии... У меня аллергия на таких нервических барчуков.

– В конце концов, вы служите у меня, Брунн. И перестаньте капризничать... Пусть его пригласит к аппарату Манолетте; дайте-ка старику трубку!

– Он моложе вас, – Штирлиц отчего-то обиделся за своего приятеля. – И не укладывается в постель, подхватив легкую простуду...

Голос Вальтера стал прежним – надтреснутым и поющим, словно на собственных похоронах:

– Доживите до моих лет, Макс! Как вам не совестно так говорить? Откуда в вашем поколении столько жестокости?

– Я всего на десять лет вас моложе, – ответил Штирлиц. – Одно поколение... Вам пятьдесят семь, мне сорок семь – какая разница?

– Огромная... Когда-нибудь поймете... Не сердитесь на молодого оболтуса... Нацисты попортили ему много крови... И дайте, пожалуйста, трубку Манолетте...

Штирлиц обернулся к бармену:

– Тебя... Он попросит, чтобы ты пригласил к телефону его родственника, паршивого барича...

Манолетте – хоть и держал в баре телефон уже четыре года – приложил трубку к плечу, как и все деревенские жители, неумело, с некоторой опаской:

– Ты еще не умер, мальчик? – прокричал он. – Вообще-то я не против! Твои близкие должны будут угостить нас вашим немецким вином, оно мне нравится, Отто!

Манолетте захохотал, пообещал сходить за Гансом и посоветовал Отто кончать игру в дурака, скоро начнется самый бизнес, а он намылился в Байрес, какой толк от эскулапов, одни расходы...

...Ганс, видимо, несколько отогрелся, потому что нос его не был уже таким синим; не глядя на Штирлица, он подошел к телефону и набрал номер:

– Ты просил меня позвонить, дядя Отто?

Видимо, то, что он услышал, заставило его крепко прижать трубку к уху и повернуться к Штирлицу и Манолетте спиной; несколько раз он хотел возразить, но, видимо, Отто Вальтер грубо его обрывал; наконец, положив трубку на стойку, Ганс, не глядя на Штирлица, сказал:

– Он просит вас к аппарату.

Голос у Отто снова был умирающий, в чем только душа держится:

– Макс, сейчас он принесет вам извинение... Выпейте с ним за мой счет и позвольте мне, наконец, заняться здоровьем, оно того заслуживает...

– Хорошо, хефе... Пусть извиняется при Манолетте, мы выпьем за ваш счет и попробуем вместе поработать... Но вы же меня успели немножко узнать: если ваш родственник позволит себе такой тон и впредь, то, не обижайтесь, я уйду, оттого что помню древних: если говорят, что благороднее родиться греком, чем итальянцем, так пусть добавят: почетнее быть рабом, чем господином...

Манолетте прищелкнул пальцами:

– Красиво сказано, Максимо!

Как все испанцы, он превыше всего ценил изящество слова; дело есть дело, суетная материя, тогда как фраза, произнесенная прилюдно, таящая в себе знание и многомыслие, останется в памяти навечно.

Ганси шмыгнул острым носом (Штирлицу казалось, что на кончике должна постоянно дрожать прозрачная капля; воробей, а фанаберится), откашлялся и сказал на ужасающем испанском:

– Простите меня, сеньор Брунн, я был груб, но это из-за холода...

– Да, к нашим холодам не так легко привыкнуть, – сразу же откликнулся Манолетте, достав из шкафа три высоких стакана. – Но с помощью дона Максимо вы здесь быстро освоитесь... Что будете пить?

– Вообще-то я почти не пью, – ответил Ганс, подняв на Штирлица свои маленькие пронзительно-черные глаза, словно бы моля о помощи. – У нас в семье это почиталось грехом...

– Да? – Манолетте удивился. – Вы из семьи гитлеровцев?

Ганси даже оторопел:

– Мы все были против этого чудовища! Как можно?! Мой дедушка – пастор, он ненавидел нацистов! И потом Гитлер не запрещал пить! Наоборот! Просто он сам ничего не пил... Другое дело, он преследовал джазы, потому что это американское, не позволял читать Франса и Золя – евреи, Толстого и Горького – русские, но пить он не возбранял, это неправда...

– А как с прелюбодеянием? – поинтересовался Штирлиц.

– Если вы ариец, это не очень каралось... Другое дело, славянин или еврей... Ну и, конечно, для СС это было закрыто, Гитлер требовал, чтобы коричневые члены партии соблюдали нравственный облик и хранили верность семейному очагу.

Не врет, отметил Штирлиц, а в глазах испуг, здорово, видимо, его накачал Отто, «орднунг мусс зайн»[1], не хами старшим, милок, не надо.

– Выпейте глоток вина, – сказал Штирлиц. – За это от дедушки не попадет...

– От дедушки ни за что не попадет, его убили нацисты, – ответил Ганс и прерывисто, совсем по-мальчишески вздохнул.

– За его светлую память, – сказал Манолетте. – Нет на свете людей более добрых, чем дедушки и бабушки...

– Налейте ему розовое – «мендосу», – попросил Штирлиц, – оно очень легкое.

Ганс выпил свой стакан неумело, залпом, видимо, решил быть мужчиной среди мужчин; обстановка к тому располагала – изразцовая печь, завывание вьюги за окном, угадывавшиеся в молочной пелене склоны гор, красные опоры подъемников, торчавшие среди разлапистых сосен, двое пожилых мужчин в грубых свитерах толстой шерсти, лица бронзовые, обветренные, в руках – спокойная надежность, в глазах – улыбка и доброта.

– Замечательное вино, господин Брунн, – сказал Ганс. – Спасибо, что вы посоветовали уважаемому сеньору налить в мой бокал именно этого розового вина... Дядя Отто сказал, что мы можем пообедать за его счет, не только выпить...

– Втроем? – поинтересовался Штирлиц.

Лицо Ганса вновь стало растерянным, совсем юношеским:

– Этого он не уточнил... Он просто сказал, чтобы мы выпили и перекусили за его счет, он возместит...

– Значит, будем обедать втроем, – заключил Штирлиц. – Не можем же мы пить втроем, а закусывать только вы и я?!

– Конечно, в этом есть определенная неловкость, но...

Штирлиц, сразу же поняв состояние Ганса, подвинул ему телефон:

– Звоните... Если ваш дядюшка ответит, что намерен расплатиться за двоих, тогда я пообедаю с Манолетте, а вы закажите себе еду за собственный счет.

– Не считайте меня полным остолопом, ладно? – Ганс снова озлился. – Я приехал из американской зоны оккупации и научился вести себя цивилизованно... В конечном счете можно предъявить дяде Отто счет за питье на троих, а обед, который мы вкусим все вместе, будет означен как угощение на две персоны.

Манолетте рассмеялся:

– У тебя пойдет дело, Ганс! Хорошо, что ты обтерся среди американцев, эти люди знают, как надо делать бузинес.

– Чем занимались в зоне? – спросил Штирлиц.

---

[1] «Во всем должен быть порядок» *(нем.)*

– Чем только не занимался, – Ганс, наконец, открыто улыбнулся, и лицо его сделалось симпатичным и добрым. – Я и грузчиком был, и в газете работал, в христианской, на нее американцы сразу выдали разрешение, и экскурсоводом у тех солдат, что приезжали на воскресенья из Зальцбурга в Вену, и директором фирмы проката штатского костюма и обуви... Я, кстати, на этом и собрал деньги для поездки в Аргентину...

– Это как же? – поинтересовался Штирлиц. – Где вы доставали гражданские костюмы? Сколько? Для кого?

Ганс рассмеялся еще веселее; Штирлиц налил ему стакан вина: «Выпейте, пока Манолетте жарит мясо, можно пропустить по второму».

– Видите ли, американцам запрещено ходить по девицам легкого поведения в форме, – ответил Ганс. – А они же изголодались в своих гарнизонах... Ну, когда я нанялся экскурсоводом, я это быстренько понял и решил сделать свой бизнес... Я заметил, сеньор Манолетте называет дело «бузинесом», – это он так шутит?

– Нет, – ответил Штирлиц, – многие испанцы именно так произносят это американское слово...

– «Бузинес», – рассмеялся Ганс и выцедил второй стакан, заметно охмелев. – Я набрал костюмов, ботинок, пальто и рубашек у всех знакомых... Каждому платил процент с выручки: дал три костюма и три пальто – получил пять процентов, дал десять – вот твои семь. Я хорошо на этом заработал, только потом американская комендатура просекла, меня должны были дернуть, но я вовремя слинял в деревню.

Между прочим, парень подал неплохую идею, подумал Штирлиц. На заработанные деньги я могу купить лыжи и ботинки, будем сдавать их в нашем бюро проката, а мне платят процент; без денег я больше ничего не смогу поделать; надо слетать к Кемпу в Кордову, пора отправиться в Байрес, время думать, как наладить связь с Роумэном...

– Слушайте-ка, Ганс, я тут поднакопил денег, думаю купить инвентарь... Дам на прокат в ваш центр, будете платить мне семьдесят процентов, идет?

– Двадцать, – спокойно ответил Ганс, но лицо его снова словно бы замерзло. – Дядина фирма престижна, к нему приходят сорок человек в день, я посмотрел расходные книги... Вы окупите затраты за полгода, потом пойдет чистая прибыль, за престиж платят, господин Брунн.

– Послушай, мальчик... Кстати, сколько тебе лет?

– Двадцать два...

– Хм... Выглядишь на восемнадцать... Воевал?

– Я играл в астигматизм... Вчистую, конечно, не списали, коричневые сволочи имели особый нюх на тех, кто норовил обойти их на повороте, но я служил при кухне, только поэтому и не сдох...

– Где воевал?

– Я ж говорю – при кухне... Сначала мы стояли во Львове, оттуда ушли в Братиславу, а уж из Праги я дал стрекача, когда все начало рушиться.

– Во время восстания?

– Нет, все, кто попал в ту мясорубку, погибли... Я почувствовал загодя, что оно начинается, ну и дал дёру...

– Так вот, дорогой Ганс... Я ценю толковых молодых людей, понюхавших войну, я принимаю условия игры, которые ты мне предлагаешь, но хочу сказать следующее: двадцать процентов за использование моего инвентаря – это совершенно несерьезно... Ты же имеешь дело не с голодным австрийцем, а с вполне сытым янки, который знает твой язык, как свой... Я понимаю, что ты не хочешь платить налоги, – если поставишь в бюро проката мои лыжи, придется слюнявить большие отчисления в казну, зачем? Чем больше приток лыжников, тем выше налоги, все по правилам, никто не спорит... Но здесь инспекция по доходам смотрит за всем, кроме как за лыжами... Здешним боссам выгодно сделать Барилоче горнолыжным курортом для всей Южной Америки, поэтому лет пять ты с дядей будешь в полном порядке... Поэтому платить ты мне будешь пятьдесят процентов... Это по-божески...

– Во-первых, я не собираюсь торчать в этой дыре больше двух лет, господин Брунн. Мне хватит двух лет, чтобы собрать золотишка и вернуться в Европу, – я намерен открыть свое горнолыжное дело в Альпах... Во-вторых, пятьдесят процентов совершенно нереальны, потому что я так или иначе буду рисковать, а в случае проверки штраф придется платить мне, содиректору, а не дяде или вам... Поэтому мое последнее предложение: тридцать процентов. Или работайте этот год, пока не истечет контракт, и открывайте свое дело, никто вам не мешает...

– Ты же прекрасно понимаешь, Ганс, что для своего дела нужны ссуда в банке, человек, сидящий на выдаче инвентаря, проводник и инструктор. При этом я должен приобрести лицензию, а это тысяча баксов, как минимум... Инструкторов здесь мало, очень мало, поэтому если я, обидевшись, уйду, делу дяди Отто будет нанесен ущерб... Подумай об этом... Посоветуйся с ним, ты ведь будешь провожать его на поезд, нет? Назови ему сорок пять процентов как последнюю цифру, ладно?

Ганс покачал головой:

– Господин Брунн, я запомнил ваш первый урок: вы никуда не уйдете до тех пор, пока не истечет годовой контракт, так что не пугайте меня. Просто из симпатии к вам, не консультируя этот вопрос с дядей Отто, – прибыль-то с вас буду получать я, а не он, и вы прекрасно об этом знаете, – я даю вам тридцать пять процентов.

Люси Фрэн,
Киностудия «Твэнти сенчури Фокс».
Голливуд, США

Уважаемая мисс Фрэн!

Поскольку я довольно долго живу в Пуэрто-Монт, одном из самых уникальных уголков Тихоокеанского побережья Чили, где еще по сю пору можно мило побеседовать с настоящими индейцами, где рыбалка значительно более

интересна, чем в Перу или на Кубе, а переход через Анды, отстоящие всего в тридцати милях от города, может стать незабываемым путешествием, я решила обратиться к Вам с предложением: поскольку наша небольшая фирма «Экспериментл синема инкорпорэйтед» не в силах снять здесь игровой фильм по мотивам Майн Рида, может быть, Ваша мощная корпорация найдет возможность ознакомиться со здешними местами (жилье и проезд в этом районе мы берем на себя) и затем согласится поддержать нас в новых начинаниях?

Сердечно Ваша
Сьюзан Джилберт,
вице-президент «Экспериментл синема инк.»,
Пуэрто-Монт, почтовый ящик 2177, Чили.

Получив письмо с обратным адресом неведомой «Синема инк.», Люси зашла к Спарку и молча положила конверт на его стол:

– Тебя это по-прежнему интересует, малыш?

Нужный текст был написан бесцветным луковым раствором, проявился моментально, стоило только прогладить утюгом:

Дорогой друг, я продолжаю поиск в следующих направлениях, одно из которых оказалось несколько неожиданным:

1. Дело в том, что судьба немцев, живших в Никарагуа, резко отличается от той, которая благоприятствовала им в Аргентине, Бразилии, Чили после того, как началась война против стран «оси».

Абсолютно все немцы Никарагуа – вне зависимости от того, были они членами НСДАП или антифашистами-эмигрантами, – были насильственно депортированы в США. Их дома, кофейные плантации, магазины и отели захватил президент Сомоса.

Таким образом, среди никарагуанских немцев мы вправе искать тех, кто сможет оказать посильную помощь в нашей деятельности по выявлению всей нацистской цепи на юге континента.

Всякий деловой контакт с немецкими антифашистами, бежавшими в Аргентину еще в начале тридцатых годов, невозможен, поскольку за ними поставлена слежка, как за красными. Материалы о никарагуанских немцах – после того, как закончу сбор данных и обработаю их, – будет отправлен Вам.

2. Во время посещения местной библиотеки я натолкнулся на дело о похищении ребенка великого американского летчика Чарльза Линдберга. Сначала я прочитал это как забытую сенсацию, а потом начал мучительно вспоминать, в связи с чем я так хорошо помню эту фамилию. Не могу утверждать наверняка, но мне кажется, что Мюллер имел к этому какое-то отношение, что-то проскальзывало

в архивах криминальной полиции за тридцать третий или тридцать четвертый годы. Там же, в архивах, которые хранятся на западе Германии, скорее всего в Мюнхене, должны быть документы, также касающиеся Мюллера, в связи с делом Кисселя, личного охранника фюрера, а также материалы по убийству министра иностранных дел Веймарской республики Вальтера Ратенау. Эти дела – если их найти в архивах и заполучить в нашу собственность – произведут шок на каждого, кто с ними ознакомится. Такого рода документы – если они сохранились – позволят нам выйти на самую верхушку нацистов, скрывшихся здесь.

Более того.

В нацистских, эмигрантских кругах говорят, что могила в Берлине, на которой выбито имя Мюллера, является фикцией: либо гроб пуст, либо в нем покоятся останки совершенно другого человека. Полагаю целесообразным сообщить об этом в Лондон Майклу Сэмэлу.

Написано: «во многие знания многие печали». Позволю себе перефразировать: «во многие знания – динамит».

Если бы мы смогли поработать в Европе, – по тем направлениям, которые я обозначил, – убежден, информация окажется безмерно полезной делу борьбы против последышей фюрера.

3. Адрес и телефон Риктера я выяснил. Считаю преждевременным проводить с ним беседу, поскольку жду Ваших данных из Европы, они позволят мне осуществить задуманное, если, конечно, я нахожусь на верном пути в моем поиске.

4. Все более и более загадочной становится для меня Вилла Хенераль Бельграно. Об этом месте в горах, неподалеку от Кордовы, здешние нацисты говорят шепотом, с особым почтением.

Полагаю возможным встретить там кого-то из прежних знакомых, но делать это можно и нужно лишь после того, как мы получим информацию из Европы. Такого рода «архивная информация» станет оружием более действенным, чем пулемет или даже орудие; повторяю: «во многие знания – динамит».

5. Более всего я страшусь того, что Вы решите – после нокаута, нанесенного нам, – считать всю схватку проигранной. И отойдете от дела. Тогда, конечно, моя миссия здесь кончена. Один я ничего не смогу сделать.

Убежден, что, несмотря на тот удар, который нам смогли нанести, ситуация не безнадежна, шансы на победу есть, и они отнюдь не малые.

6. Поскольку в ближайшие месяцы предполагается новый тур переговоров между «Дженерал электрик» и службами Перона, я очень жду Ваших материалов из Европы именно в течение этого времени, чтобы иметь возможность оперировать ими с сотрудниками «Дженерал элект-

рик», которые не могут быть равнодушны к «атомному проекту» Риктера.

7. Что же касается самого «проекта», то он закамуфлирован так надежно и охраняется столь квалифицированно, что я не имею возможности к нему приблизиться, не расшифровывая себя. Порою я чувствую за собой слежку, но, полагаю, это профилактика, проводимая секретной службой Перона по отношению ко всем иностранцам, проживающим в стране. Тем не менее я проявляю крайнюю осторожность и всю информацию получаю в ночных барах и пивных, вслушиваясь в разговоры эмигрантов: «во многие знания – динамит». И, увы, печали.

Буду рад получить от Вас известие.

Очень жду.
Искренне
«М».

РОУМЭН (Голливуд, сорок седьмой)

В Голливуде теперь чувствовалось ощущение чего-то безвозвратно утерянного: редко появлялся на людях Чаплин, не было ни Брехта, ни Эйслера, ни Марлен Дитрих; перестал приезжать Фейхтвангер, хотя раньше был здесь частым гостем. И хотя каждый день то в «Плазе», то на «Биверли хилз» устраивались приемы, где блистали звезды экрана во главе с Адольфом Менжу, Джеймсом Кегни и Робертом Тейлором, того постоянного праздника, который царил здесь раньше, не было, он казался безвозвратно утерянным.

Все было, как прежде, казалось бы, – и безудержное веселье во время полуночных гала-концертов, и блицы фотокорреспондентов, и песни Фрэнка Синатры, прерывавшиеся визгом и свистом собравшихся (визжали женщины, свистели – высшая форма похвалы – джентльмены во фраках), и танцы негритянского трио «Старз» из Нью-Орлеана, – но в городе, тем не менее, царило таинственное ощущение потери. Песни были чересчур сентиментальны, танцы излишне экзальтированы, веселье грубо показным, прущим. Так бывает на православных поминках, когда выпили по третьей и слезы уступили место смеху, который – если внимательно всмотреться в него и вслушаться – был истеричным, на пределе.

Роумэн теперь бывал практически на всех гала-приемах, – Спарк пристроил его на киностудию «Юниверсал» ассистентом продюсера, платили вполне сносно, дом арендовывать не стал, поселился с Кристой в Лос-Анджелесе, на третьем этаже большого, но, тем не менее, вполне престижного дома.

Когда Спарк позвонил ему и сказал, что можно взять в рассрочку коттедж на сто двадцатой улице, Роумэн усмехнулся:

– Знаешь, старик, поскольку любимая поехала за покупками, скажу тебе честно: праздник кончился, начались будни, песня сделалась бытом. Я благодарен Кристе, только из-за нее я снова стал мужиком, и я хочу тот кончик, который мне отпущен, прожить в

свое удовольствие... Наш друг сломал меня, понимаешь? Я треснул. Пополам. Вот так. И я хочу класть в кровать девок, пить виски на приемах и ждать, когда перевалю за пятьдесят... К старости надо готовить себя загодя... Я бы продолжал делать м о е дело, но я подписал капитуляцию, и ты знаешь, почему... А те, которые разгромлены, имеют право на все. «Дорога из Голливуда в Лос-Анджелес трудная, пробки, задержался, что делать, прости, родная...» Только не строй брезгливую гримасу, ладно?! Не надо, ты рожден святым, ну и будь им. А я из породы хулиганов, не устраиваю, порви со мной отношения...

– Ты думаешь, я поверил хоть одному твоему слову, Пол? Ты просто крепко жахнул и несешь чепуху.

– Готов тебе поклясться, что сегодня еще не пил...

– Значит, перепил вчера.

– Тебе хочется, чтобы было так?

– Да, мне так хочется.

– Ну и считай, что это так на самом деле... Чего не сделаешь для друга...

– Ты плохо говоришь, Пол.

– Ну и что?

– С твоим делом не все потеряно...

– С «моим». Значит, твоим оно никогда не было?

– Я плохо сказал, не сердись... С н а ш и м делом не все еще потеряно...

– Ты хочешь, чтобы мальчики исчезли снова? Только если это случится, ты их больше никогда не увидишь. Фото убитых младенцев напечатает пресса, после того как исполнители передадут Макайру подлинники!

– Что ты болтаешь?! – разъярился Спарк. – Мы же говорим по телефону!

– Я понимаю, что мы не шепчемся! И я знаю, что мои разговоры прослушиваются! Тем лучше! Значит, эта свинья Макайр торжествует победу! Значит, он не будет строить мне пакостей! И тебе, кстати говоря, тоже!

– Я думал, что после пережитой трагедии мы станем еще ближе друг другу, Пол...

– Спарк, запомни, руководители разгромленных союзных армий перестают здороваться, потому что им стыдно смотреть в глаза друг другу. Мне стыдно смотреть тебе в глаза, понимаешь? Мне стыдно смотреть в глаза Кристе! Я избегаю видеть Элизабет, потому что оказался банкротом... Я б а н к р о т! Вот и все! Пройдут годы, прежде чем я снова понадоблюсь этой стране! Но это будут трудные годы, а я хочу взять свое, чтоб не было так дерьмово, когда навалится старость.

– Я хочу встретиться с тобой, Пол.

– Только не говори как заправский квакер, ладно? Сегодня гала-прием в «Президенте», приезжай, выпьем, – и, не дождавшись ответа, положил трубку.

...Криста вернулась через полчаса; в ее облике угадывалась усталость, под глазами залегли тени, что делало лицо одухотворенным,

исполненным постоянного внутреннего напряжения.

– Ты голоден, милый? Сейчас я сделаю тебе хороший стэйк, потерпишь десять минут? – спросила она Роумэна.

– Нет. Я еду на работу... Там хорошо кормят... На гала дают стэйки и виски. И много овощей – для тех, кто хочет похудеть.

– Ты выглядишь измученным.

– О, нет, я в хорошей форме, тебе просто кажется...

– Не приглашаешь меня с собою?

– Тебе там не понравится, родная. Ты не любишь этих людей. Я тоже их не очень-то жалую, зато именно на гала-приемах можно договориться с суперактером и пригласить на роль, уломав его на пару десятков тысяч баксов – тоже деньги... Мы же уговорились: еще два-три года, я собираю деньги, мы летим на Гавайи, покупаем там землю, строим дом и шлем все к чертовой матери...

– Я не могу тебе помочь на этих проклятых гала-приемах выбивать баксы из капризных суперактеров? – Криста вымученно улыбнулась.

– Я не монстр, – ответил Роумэн. – Это плохо – обижать актеров, они – художники, их и так все обманывают, а тебе они сразу поддадутся... Я уговариваю их взять то, что им полагается, и ни баксом больше... Если хочешь видеть, как я с ними хитрю, – едем, только надо ли тебе это?

– Кого ты сегодня станешь призывать к справедливости? Мужчину или женщину?

– Всех, кто попадет под руку.

– Сделать кофе?

– Нет, родная, не хочу.

– Сердце не болит?

– Работает, как часы фирмы «Павел Буре».

– Слава богу... Меняется погода, я очень боялась, что у тебя замолотит заячий хвостик...

– Ты давно не называла мое сердце заячьим хвостиком.

– Ты просто забыл, – Криста улыбнулась, наблюдая за тем, как Роумэн надевал черную узенькую «бабочку». – Я тебе говорила это вчера.

– А я уже спал... Я стал очень уставать и поэтому засыпаю в одну минуту... Старик, я же тебя предупреждал...

Криста подошла к нему, положила руки на плечи, поднялась на мысочки, потянулась губами к его осунувшемуся, сильно постаревшему лицу:

– Ты сердишься на меня, любовь? Скажи – за что? Я не нахожу себе места...

Роумэн прикоснулся к ее выпуклому лбу, усыпанному веснушками, холодными губами, закрыл глаза, потерся носом об нос и пошел к двери; на пороге, не оборачиваясь, сказал:

– Если не приеду – не волнуйся, значит, перепил и остался в Голливуде.

– Ой, пожалуйста, не оставайся в Голливуде! Мне так страшно одной.

Вздохнув, Роумэн ответил:

– К сожалению, тебе нечего бояться, девочка. Я раздавлен и поэтому никому больше не нужен. Как и ты. Да здравствует спокойная жизнь обывателей, никаких волнений и забот... Я позвоню. Целую, девочка...

...Режиссер Гриссар – после того, как приглашенные отсиживали за столом, – собирал вокруг себя толпу завороженных слушателей; хотя фильмы его не блистали, *середнячок*, но манера говорить, неожиданность мыслей были порою любопытны.

Особенно много среди его слушателей было актрис, – он обладал какой-то притягивающей силой, женщины льнули к нему, глядели влюбленными глазами, боясь пропустить хоть единое слово; часто рядом с ним стоял певец и актер Фрэнк Синатра, улыбался и молчал, любуясь Гриссаром.

Сегодня, когда собравшимся был представлен фильм Дорбинкса (абсолютная мура, но касса обеспечена), после того, как наемные критики прочитали эссе «об откровении американского кинематографа, который начал новую спираль развития», после представления ведущих актеров (Хамфри Богарт сыграл хорошо, но он, подумал Роумэн, может сыграть стул, коня, дождь, актер гениальный, нет слов), после того как триста приглашенных расселись за п-образный стол и быстро управились с дежурными стэйками, фруктами и вином, Джо Гриссар поднялся со своего места, взяв под руку молоденькую актрисульку; он был убежден, что через десять минут вокруг него соберется толпа; он не ошибся.

– Я смотрел на ваше лицо, – говорил Гриссар актрисе, – я глядел на вас все то время, что мы провели в сборище снобов, которые должны оплатить рекламу картины Дорбинкса, и думал о том, что именно вы нужны мне в моем новом фильме «Откровение от Джироламо Савонаролы»... Да, да, я начинаю эту работу... В ней будет постоянный камертон: лицо женщины – дочери, матери, любимой... Сквозь весь фильм – набатно, символом тревоги и любви – лицо прекрасной женщины... Я приглашаю вас... Вас зовут Джесси, да?

– Пусть так, – улыбнулась женщина (у нее ямочки, как у Кристы, подумал Роумэн, подходя к Гриссару: ему был нужен этот человек, он много узнал о нем за последние месяцы, а главное – понял, что Гриссар связан с Фрэнком Синатрой, очень важная связь). – Хотя в приходских книгах я записана Жозефиной...

– Вы помните, на чем состоялся Савонарола? – не услыхав даже ее ответа, продолжил режиссер. – Как всякий гений, он появился на стыке двух эпох, а трагический уход Лоренцо Медичи, первого гражданина Флоренции, столицы Возрождения, не мог не породить кризиса – смена власти в условиях абсолютизма духа всегда кризисна, а ее последствия непредсказуемы... Вы, конечно, помните, что аристократ Медичи окончил «Платоновскую академию» и был высоким эрудитом, за его столом собирались выдающиеся умы той поры, Боттичелли считал за счастье беседовать с ним о гении Джотто; Медичи был первым правителем в Италии, кто назвал Данте гением, не меньшим, чем Вергилий, а ведь деспотизм отмечен

именно тем, что понуждает преклоняться перед древними, отвергая современников... Мой фильм будет начинаться с того, как в дружеском застолье Лоренцо Медичи читает свои стихи, на него влюбленно смотрит жена, кроткая и нежная Клариса Орсинни, подле него сидит женщина, которую любит он, зеленоглазая Бартоломеа деи Нази, а напротив восседает ее муж, Донато Бенчи, который знает, кто любит ту, что живет с ним под одной крышей, и Клариса Медичи знает это, но она полна нежности к той, с кем ее муж чувствует себя счастливым и сильным... Медичи читает стихи о юноше, который был рожден некрасивым, полуглухим, со слабым зрением; в смачных выражениях, угодных нраву простолюдинов; он читает, как этот юноша замахнулся на изначалие природы, стал терзать свое тело гимнастическими упражнениями и сделался, наконец, лучшим наездником Флоренции, непревзойденным охотником, гимнастом и танцором... Медичи кончает читать, рассмеявшись чему-то своему, оглядывает лица приглашенных поэтов и художников, но внезапно странная гримаса гнева перекашивает его угреватое лицо с подслеповатыми, гноящимися глазами, он взмахивает руками, словно бы ловя воздух, которого ему не хватает, валится головой на стол, разбив висок о золотой кубок с вином, стоявший перед ним...

– Кубок был серебряным, – шепнул Роумэн Фрэнку Синатре; тот внимательно его оглядел, кивнув: «Да, да, верно, серебряным, с этрусской чеканкой»; он плохо знает Медичи, отметил Роумэн, но отменно сочиняет человека, значит, настоящий художник, кубок-то действительно был золотым.

Толпа жарко о б н я л а Гриссара; как и всякий артист, он ощущал тех, кто внимал ему; искусство – это пророчество, только выражается чувством, а не логикой, или – точнее – чувственной логикой.

– Когда Медичи подняли, – продолжал между тем Гриссар, – осторожно перенесли в опочивальню, он, ощущая в груди п е к л о, прошептал: «Приведите ко мне Савонаролу». И монах пришел к умирающему: поэт-тиран решил исповедаться у Савонаролы, который всем своим духом не принимал ту культуру, которой так поклонялся Лоренцо Медичи... Тогда-то на экране и возникает первый раз скорбное лицо матери-дочери-любимой – всепонимающее, трагичное, бессловесное, вобравшее в себя знание и боль веков... А сразу же после этого видения, которое пройдет через весь фильм, – статика, еще более подчеркивающая динамизм действия, – я покажу, как молния разбивает фонарь на куполе Бруннелеско и камни падают рядом с входом во дворец Медичи – а это страшное предзнаменование грядущей беды; и мудрый циник, а потому – провидец, доктор П. Леони из Сполето, поняв, что часы мецената Медичи сочтены, бросается в колодец и тонет, предпочитая смерть жизни в вате, то есть в холодной и безвоздушной тишине, которая обычно следует за годами взлета культуры и мысли... Медичи знал, что Савонарола проповедует в монастыре против него, против его в о л ь н о с т е й, против того, что он любит жену друга, изменяя ей с тою, с кем его освятили браком, он понимал, что монаху противны его пиршества с философами, подвергавшими осмеянию не папство, – Савонарола и сам его презирал, – но догматы религии, он отдавал себе отчет, как ненави-

стно фанату веры его дружество с художниками, рисующими обнаженную натуру, – а что может быть греховнее тела?!

«За что ты зовешь людей к бунту против меня? – прошептал Медичи. – Чем я прогневил тебя?»

«Любимый брат, я молю у бога выздоровления тебе, – ответил Савонарола, – однако оно не настанет, если ты не отречешься от буйства плоти и веселья, от развратных маскарадов и громкой всепозволенности, ощущаемой твоими пьяными поэтами... Мир рожден для схимы, тишины и благости, только тогда несчастным откроется царство божие». – «А ты был там? – усмехнулся Медичи. – Ты его видел? Я хочу дать радость людям творчества здесь, на этой грешной земле, а ты сулишь им, чего сам не видел. Реальность – это то, что можно пощупать, вкусить, увидеть». – «Ты богохульствуешь, Лоренцо Медичи, ты живешь на потребу себе». – «А ты?» – «Я отдаю себя людям». – «Это как?» – «А так, что мне не нужны застолья, словеса, женщины, мне нужна лишь одна справедливость». – «А разве человек может быть мерилом справедливости? Почему гениальный Боттичелли тянется ко мне, а на твои проповеди не ходит?» – «Потому что он дитя искусств, и он дает людям ложные ориентиры, он плохой навигатор, им движет собственное Я, а не царственная множественность Мы». – «Значит, ты выражаешь желания множественного Мы, а я служу бренному человеку, его одинокому, скорбному Я?» – «Я – это дьявол, Лоренцо Медичи, а Мы – бог». – «Мы состоим из бесчисленных Я, монах. Справедливость – это хорошо, тем более правда, но ни того, ни другого нельзя достигнуть, можно лишь приблизиться к ним... И чем четче будет выявлено каждое Я, тем вероятнее приближение... Ты взял на себя право учить всех добру – это опасно... Предостерегай от зла – нет ничего важнее для монаха, чем это... Ты лишен радостей жизни, ты воспитан в схиме, как же ты можешь знать, что такое правда и счастье?» – «Я верю в слово божие – это счастье и правда, а ты глумишься над ним, ставишь себя с ним вровень, живешь всепозволительно, не ограничиваешь желания, поэтому и умрешь». – «Я умру, это верно, я скоро умру, но я умру не так, как ты, ибо тебя распнут за то, что ты рьяно и жестоко насаждаешь справедливость, а это вроде как служить сатане; справедливости угодна доброта и позволенность мыслить иначе, чем ты. Подумай о моих словах, несчастный монах, иначе ты принесешь много горя людям, нет ничего страшнее добрых фанатиков, которые сулят счастье взамен слепого послушания; Платон только потому и остался в памяти людей, что он исповедовал спор разных позиций».

– С этим и умер Медичи, – после долгой, томительной паузы закончил режиссер. – А Савонарола, проведший семь лет в доминиканском монастыре, умертвив свою плоть, живший словом Библии и видением равенства всех перед богом, начал бунт против папства – во имя истинной веры; он мечтал превратить идеал в существующее, сделать его материей, но разве такое возможно? Он, настоятель собора Святого Марка, построенного дедом Медичи, не дал меценату Лоренцо последнего напутствия, ибо греховность радости земной была ему вчуже... Каждый, кто падет с женщиной, – заслуживает казни; каждый, кто пригубил кубок, – попадет в ад; каждый,

кто живет своей мыслью, а не строкой писания, – сын сатаны! Разве добро может быть судией?!

– А если зло? – спросил Роумэн; поскольку режиссер был зажат потной, алчно внимавшей ему толпой, на Пола зашикали; Джо Гриссар, тем не менее, обернулся к Роумэну, посмотрел на него с нескрываемым интересом и, улыбнувшись Фрэнку Синатре, спросил:

– Вы имеете в виду здешние процессы против Брехта и Эйслера? Я вас верно понял?

– Не только здесь, – ответил Роумэн, чувствуя на себе взгляд Синатры. – В Европе тоже хватало такого рода процессов.

– В моей новой ленте будет очень жесткий финал, – ответил Гриссар. – На фоне безмолвного лица очаровательной и кроткой Жозефины, – он мягко улыбнулся актрисе и вытер свое мясистое лицо громадной ладонью, – диктор сухо прочитает: «Папа Юлий Второй решил канонизировать Савонаролу, несмотря на то что тот был сожжен его предшественниками как еретик; Рафаэль сделал его портрет; папа Павел Четвертый, вычеркнув всего несколько строк, позволил цензуре дать штамп на опубликование проповедей бунтовщика, – новой власти угодны погибшие бунтовщики, которые восставали против роскоши и свободомыслия единиц во имя справедливости для всех, что, конечно же, невозможно...»

– Давайте я сыграю у вас Боттичелли, – посмеялся Роумэн. – Это мой любимый художник, а ведь при этом, говорят, он был связан с тайным орденом мстителей...

Гриссар переглянулся с Синатрой и, рассекая толпу как дредноут, двинулся к нему:

– Представьте, вы мне нужны...

...Он снимал трехкомнатный номер в «Плазе»; мебель была атласно-белой; на полу валялись книги, грязные рубашки, страницы рукописей; Жозефина сразу же занялась баром, достала стаканы, бутылки, фисташки и соленое печенье.

– Ваши реплики понравились мне, – повторил Гриссар. – Синатре, кстати, тоже. А он – умница. Кто вы по образованию?

– Юрист, кто ж еще? – ответил Роумэн. – Немножко, конечно, историк, без этого в наш век нельзя.

– В наш век можно все, – сказал Гриссар. – Мы вступили в полосу всепозволенности, это – предтеча конца света.

– Слушайте, а зачем вы рассыпаете жемчуг перед здешними... людьми? Они же малообразованны! У кого есть гран таланта – подметки срежет, унесет в клюве идею, вы же рассказали поразительные эпизоды, – ставь камеру и снимай фильм.

– А кто будет играть? – Гриссар пожал плечами. – Жозефина? Я буду ее снимать, но играть она не может, правда, крошка?

– Почему? Я снималась в двадцати картинах...

– Снимись в одной, но под фамилией Мэри Пикфорд... Или Вивиан Ли... Или Феры Мареской...

– Кто это? – спросил Роумэн.

– Я смотрел фильм в русском консульстве... Во время войны, когда мы дружили... Я забыл название... У русских нет кассовых названий, кроме «Броненосца "Потемкина"», – хоть что-то связанное с баталиями, выстрелами, морским сражением... Это прекрасная актриса, у нее лицо морщится, как от боли, когда при ней говорят что-то такое, что оскорбляет в ней женщину... Такое нельзя сыграть, это – врожденное, от бога.

– А кто вы по профессии, мистер Гриссар?

– Джо. Этого достаточно, Джо, – и хватит...

– Я Пол. Тоже неплохо звучит, а?

– Мне прекрасно известно, кто вы, Пол. На вас в «Юниверсал» показывают пальцем: штатный осведомитель ФБР, прислан смотреть за левыми интеллектуалами...

Роумэн сломался пополам, замотал головой, потом пояснил:

– Это я так смеюсь... Хм... Вообще-то я служил в разведке, забрасывался в тыл к наци, но ФБР... Жуть какая! Они костоломы, я ни за что не буду на них работать...

– Жаль. Я бы с радостью снял фильм «Осведомитель»... У вас умные, печальные глаза, вы служите злу, хотя сами полностью на стороне добра...

– Снимайте меня в фильме об осведомителе налогового управления... Или агенте, неважно. Есть хорошее начало, продам задешево...

– Покупаю.

Подошла Жозефина, принесла виски со льдом, фисташки, сухарики; Роумэн вытащил пальцем из стакана лед (привык в Испании), бросил его на пушистый белый ковер, не отводя глаз от лица режиссера, и, чокнувшись с фарфоровой актрисулей, продолжил:

– Ну, так вот... Агент налогового ведомства вытоптал одного подонка, надел на него наручники и привез в управление: «Послушай, парень, советую тебе добром, – говори всю правду, понял?» – «Понял». – «Ты Джек Смит?» – «Да». – «Ты платишь налог с трех тысяч долларов?» – «Да». – «А на какие же ты шиши, сука паршивая, купил жене новую модель «Бьюика», сыну – трехэтажный дом, а дочери – колье за тридцать пять тысяч?! Ты знаешь, что укрывательство доходов по федеральному закону карается десятилетним тюремным заключением?!» – «А я ничего не укрываю». – «Откуда деньги?! Нашел клад?!» – «Нет, клада не находил. Я мажу». – «То есть?!» – «А очень просто: вот я сейчас предлагаю вам мазу на тысячу баксов, что, не сходя с места, укушу свой левый глаз». – «Но, но, не дури!» – «Я серьезно», – ответил Смит и вытащил десять бумажек по стольнику каждая. Тогда и агент положил свою тысячу. Смит достал свой глаз – он у него стеклянный, – укусил его и водрузил на место. – «А могу помазать на две тысячи, что укушу правый глаз». Агент решил, что это блеф, он же зрячий, этот Смит, и выложил чек на две косых. Тогда Смит вытащил изо рта протез и укусил правый глаз – челюсть-то вставная! Положил деньги в карман и заключает: «У меня есть еще одна маза, только очень рискованная, так что больше тысячи я на нее не ставлю». – «Это какая же, проходимец?!» – «Я могу вас описать духами «шанель» номер пятнадцать... Не всегда получается, но из уважения к вам рискну». Ладно, поспорили, Смит

поднялся и уделал агента с головы до ног; тот понюхал и зарычал: «Скотина, но ведь это не «шанель», а моча!» – «Верно, – согласился Смит, – берите назад свою тысячу, у вас я выиграл всего две и у вашего босса пять тысяч: с ним я поспорил, что описаю вас с головы до ног при вашем полнейшем согласии, – видите, он в окне корчится от смеха... Вот так и живу. Если я нарушаю закон – укажите статью и параграф, а так – до свидания! Урон, который вы мне нанесли незаконным задержанием, я возмещу через суд, честь имею».

Гриссар закурил толстенную сигару:

– Какого черта вы работаете в «Юниверсал»? Разве это фирма для вас?

– Я бы с радостью перешел к вам.

– Да, но у меня нет фирмы, – Гриссар обнял Жозефину, мягко подвинув ее к своему необъятному торсу. – Когда м ы с маленькой разбогатеем на фильме о Верди, я открою фирму...

– Почему Верди? – удивился Роумэн. – Вы же готовите ленту о Савонароле?!

– Нет, Савонарола – для публики... Пусть журналисты нагнетают страсти, а критики готовятся втоптать меня в асфальт... Вообще-то я хочу сделать нежный и грустный фильм о великом итальянце, которого подкармливала мафия...

– Значит, про осведомителя не будете? Жаль. А то могу продать еще пару сюжетов о шпионах. Я же сидел у Гитлера в концлагере, есть о чем порассказать...

– Ох, как интересно, – сказала Жозефина. – Мой брат был на фронте, я обожаю слушать рассказы про то, как дерутся мужчины...

Роумэн оглядел ее кукольную фигурку:

– Если бы вы пригласили сюда подружку, похожую на вас, я бы с радостью рассказывал вам про то, как дерутся мужчины, до самого утра... Пока вам бы не захотелось, чтоб мужчины стали вас баюкать...

Жозефина оценивающе оглядела Роумэна, спросила, как его надо представить, поинтересовалась, кто оплатит такси (подружка жила на другом конце города), и, удовлетворенно кивнув, когда Пол ответил, что работает помощником продюсера и такси оплатит в оба конца (если возникнет необходимость в возвращении), пошла к телефону – такому же старинному, перламутровому, вычурному, как и мебель в президентском номере режиссера...

– Знаете что, Джо, – сказал Роумэн, по-прежнему разглядывая Жозефину, стоявшую возле телефона в позе, которая должна будить желание, – все эти «Верди», «Осведомители», «Савонаролы» хороши для упражнений. Реальные баксы может дать супербоевик, а он у меня в голове.

– Вы же не станете говорить об этом без юриста, – усмехнулся Гриссар. – И правильно сделаете... Я все сопру... Нравится девочка?

– Хороша.

– Так берите ее себе... Я не по этой части... Меня больше привлекают мужчины с героической биографией и ранней сединой...

– Увы, ничем не могу помочь, – вздохнул Роумэн. – Я этого не понимаю...

– Я же вас не неволю. И пригласил вас не поэтому... Правда, мне понравились ваши реплики, в них есть нечто трагическое, то есть возвышенное над уровнем среднего мышления собирающихся в «Плазе»... Хорошо, что вы сразу все поставили на свои места, из нас делают каких-то монстров, а мы нормальные люди, такие же мужчины, но испытывающие влечение к силе, а не покорности... Что за идея? Нет, нет, просто тема... Тему можете назвать?

– Могу. «Коза ностра»[1].

Гриссар досадливо махнул рукой:

– Это уже было... Время фильмов о буттлегерах кончилось, нужны другие песни: козни Кремля, жизнь Сталина, самоубийство Анны Павловой...

– Она умерла от ангины...

– И вы этому верите? Ни один художник – если он художник – не умирал от простуды. Она ушла из жизни именно тогда, когда это полагается делать балерине...

– Сюжет я могу рассказать только при юристе, – повторил Роумэн. – Потому что он стоит денег. Поверьте, я отдал разведке жизнь, будь она трижды неладна.

– Вы клянете жизнь?

– Я кляну разведку, мою долбанную профессию...

– Сколько стоит сюжет?

– Три тысячи.

Гриссар поднялся, отошел к стене, тронул подрамник старинной картины; что-то пискнуло и зазвенело, потом картина сползла вправо, открыв дверцу сейфа; поставив сумму цифр, Гриссар отпер дверь, достал несколько пачек долларовых купюр, пересчитал их и одну, тоненькую, положил на стол перед Роумэном:

– Здесь тысяча, это хорошие деньги, а если я пойму, что вы сможете написать так, чтобы мне было интересно работать, – доплачу еще девять...

Подружка Жозефины оказалась стройной, черноглазой и веснушчатой.

Господи, снова вызвали мой «тип», подумал Роумэн, но ведь не Гриссар ко мне подходил и не эта самая потаскушка Жозефина, а я, мне надо раствориться в этом долбанном мире кино, чтобы понять его насквозь; не она предложила мне девку, а я попросил себе подружку; господи, неужели в этом мире действительно никому нельзя верить?!

Пили до утра; Гриссар уснул на диване, шепнув Роумэну:

– Идите с ними в мою спальню, пусть они уложат вас бай-бай, я не опасен и подслушивать не буду... Кофе утром будем пить вместе...

Роумэн проснулся поздно, голова трещала, кровать была пуста, из холла доносился храп Гриссара; он сидел в той позе, как уснул на рассвете; свет в номере был включен, пахло сигаретами; девушки,

[1] Американская мафия

видимо, только что ушли; Роумэн растолкал Гриссара, подивившись тому, что купюры так и лежали перед ним на столике.

– Ну и как цыпочки? – спросил Гриссар, не двигаясь. – Ничего?

Лицо его было в поту, покрылось щетиной; закурив, он покачал головой, словно удивляясь чему-то.

– Утром пьете? – спросил Роумэн.

– Что я – неандерталец какой? – вздохнул тот. – Конечно, пью; «блади-Мэри», томатный сок в морозилке под баром, сделайте по стаканчику, а потом расскажите про «Коза ностру».

Роумэн набрал свой номер телефона; Криста сорвала трубку так, словно сидела, глядя на телефон (она так и сидела); голос потухший, хоть и тревожный: «Алло, алло, Пол?!»; он положил трубку на рычаг, сделал «блади-Мэри», принес стаканы на столик и сказал:

– Послушайте, Джо, вам ведь известно, что я никакой не осведомитель, а самый что ни на есть неблагонадежный?

Тот покачал головой:

– Я таких боюсь. Мне симпатично, что вы, шпик, смотрите на мир печальными глазами умного человека с перебитым хребтом... Ну, валяйте, я слушаю.

Роумэн отодвинул деньги:

– Если купите мою идею, придется начинать дело, Джо. Ваш фильм должен быть бомбой. Суперсенсацией. Вы пойдете по тропам, которые обозначены пунктиром по всему миру. Но сначала по ним пойду я. Ваш продюсер станет финансировать это дело?

– Вы никогда не жили в мире бизнеса, Пол. А кино – это бизнес. Это биржа жуликов, умеющих писать стихи. Если я говорю «да», я говорю «да». Но я говорю «да» только под реальное дело. А вы меня кормите загадками. Но я сам их загадываю не хуже вашего.

– Хорошо. Если я скажу вам, что главарь... Один из главарей нью-йоркской мафии Лаки Луччиано был героем американской разведки и воевал против нацистов, когда все были убеждены, что он отбывает тридцатилетний срок в тюрьме Денвера, – вас это заинтересует? Но работать на вас я буду лишь в том случае, если главную роль в фильме сыграет Фрэнк Синатра...

Гриссар покачал головой:

– Нет.

– Боитесь неприятностей?

– Нет. У меня есть надежные адвокаты, это не страшно... Дело в том, Пол, что если бы вы рассказали мне, как человек пишет в камере, на стенах, новую «Тайную вечерю», а ему выкалывают глаза; если бы вы рассказали, что появился новый Паганини, что он чувствует скрипку так, как никто, а ему намеренно ломают пальцы на правой руке и после этого он вступает в мафию, – тогда бы я увидел трагедию личности... Меня не интересует сенсация, как таковая. Я перерос это... Тем более, сам порою пользуюсь поддержкой людей «Коза ностры». Да, да, вполне надежные партнеры, в высшей мере благородны, убивают только тех, кто заслужил смерти... Я ищу человека, Роумэн... Мне нужен человек в искусстве, а не ситуация... Понимаете?

– Это я понимаю... Я не очень понимаю вас... Вы взорвали изнутри тот образ, который я сам себе придумал.

– Так это же хорошо...

– Да. Это хорошо.

– Знаете, почему я так легко дал вам деньги, Пол?

– Влюбились? – Роумэн усмехнулся. – Но я не по этому делу, зря.

– Не смейтесь. Если над Пигмалионом плачут, то отчего надо смеяться над теми, кто следует Оскару Уайльду? Нельзя смеяться над тем, чего не можете понять, это конформизм... Я дал вам деньги потому, что хочу включить магнитофон и слушать вашу исповедь: честный и умный человек делает то дело, которое ему ненавистно. Отчего? Причина? Исходный толчок? Это – тема фильма. Всякий парадокс сценичен. А вы – «тюрьма в Денвере»...

– Кто вам сказал, что я осведомитель? Если, конечно, вам кто-то говорил это... Вы ведь тоже придумываете себе людей...

– Вы всегда называете тех, кто открывает вам секреты?

– Никогда.

– Вот видите... Но мне это сказал тот человек, который много знает, а потому не врет. Если уж он говорит, он говорит правду.

– Вы с ним встречались в Вашингтоне?

– Нет. Он работает здесь. Хотите познакомлю? Это – могу. Он не возражал против встречи.

– Это серьезно?

– Вполне.

– Я его знаю?

– Конечно, это Фрэнк Синатра.

Домой Роумэн вернулся вечером; в комнатах было удивительно тихо и чисто.

– Крис, – позвал он из прихожей. – Конопушка, ты где?

Он бросил пиджак на пол, снял тяжелые туфли и отправился на кухню, повторяя все громче: «Крис! Крис, иди сюда! Не надо сердиться попусту! Крис!» Сделав себе еще одну (которую уже!) «блади-Мэри», он, раскачиваясь, вошел в спальню, увидел на кровати записку, прочитал: «Я уехала, прощай, спасибо тебе, любовь моя, Пол», снял галстук и провалился в темное, душное забытье...

ЧЕРЧИЛЛЬ, ДАЛЛЕС, ФРАНКО, БЭН (сорок седьмой)

То, что сделал Черчилль, вернувшись на Остров из поездки в Соединенные Штаты, где он сформулировал свое кредо в Фултоне, несколько удивило столичную прессу: старик отправился в район Чартвелла, в столь любимый им уголок Британии, и купил пятьсот акров земли. «Если меня называют бульдогом, – пошутил он, – попробую научиться охранять стадо племенных коров так же рьяно, как я пытался охранять Остров».

Через два дня он посетил Королевскую академию живописи:

– Кое-что я написал в Америке, буйство красок Флориды подталкивает к мольберту, хотя значительно приятнее писать дождь,

мелкий сеющий дождь; чашка грога после прогулки под таким дождем кажется верхом блаженства, ты становишься апостолом всепрощения и доброты.

На открытии вернисажа Черчилль пробыл недолго; пришла избранная публика, те, которые о б я з а н ы восхищаться; его, однако, интересовала реакция горожан: «художник может считать себя состоявшимся только в том случае, если на него валят люди улицы; холодные аплодисменты снобов убивают живописца: если картины, книги, фильмы угодны массам, – значит, это искусство, или же мы живем среди дебилов, лишенных какого бы то ни было вкуса. Запретить культуру, как и навязать ее, – невозможно, в этом смысле опыт Гитлера более чем поучителен: все его «гении» оказались на свалке, а те, кого он называл «идиотами» и «малярами», остались достоянием человечества».

Собрав вокруг себя штаб – десять ученых, военных, журналистов, аналитиков, – Черчилль начал готовить главный труд своей жизни – историю второй мировой войны; пожалуй, он более всех других имел основания создать этот труд, ибо был первым, объявившим войну Гитлеру в тридцать девятом году; такого рода актив не может быть забыт человечеством.

Работал он запойно, диктовал по тридцать, а то и сорок страниц в день; после завтрака (поридж, ломтик сыра, грейпфрут, кофе) устраивался в кабинете, ходил по старому хорезмскому ковру, обсыпая себя сизым сигарным дымом, фразы строил мощные, точеные, стенографисткам порою казалось, что он репетировал текст ночью, так он был отработан и выверен; после обеда спал, в восемь часов вновь начинал работу – и до полуночи; семьдесят два года, юношеская неутомимость, спокойный юмор, твердая уверенность в том, что проигрыш лейбористам – временная неудача, вызванная общественным амоком, через три года пора возвращаться на Даунинг-стрит, работы невпроворот...

Контролируя каждое слово, каждую свою мысль, Черчилль более всего боялся приоткрыться в главном; все то, что он делал после своего поражения на выборах, служило лишь одному – попытке столкнуть лбами «младшего брата» с Россией, ослабить таким образом позиции Америки и в результате этого вернуть Острову его былое величие, выдвинув Англию на роль мирового арбитра.

Как никто другой, он понимал, что его обвинение России в экспансии на Запад есть игра, рассчитанная на американскую некомпетентность и веру в его политическую мудрость.

Думая о России, он отчего-то все чаще и чаще вспоминал молодость, когда, проиграв свои первые выборы в парламент (трудно быть потомком герцога Мальборо, мировая тенденция ныне поворачивается к тем лидерам, которые сами были своими предками), отправился корреспондентом лондонской «Морнинг пост» на юг Африки – писать репортажи о войне британцев против буров. Он ясно, в деталях, помнил, как тот бронепоезд, который проводил разведку в тылу буров – выжженном и безлюдном, попал в засаду; офицеры растерялись; он, Черчилль (в восемьсот девяносто девятом году ему исполнилось двадцать пять лет, в кругу друзей он тогда шутил: «Как

это страшно, когда тебе уже четверть века»), организовал оборону, вывел людей из-под прицельного огня; при возвращении, тем не менее, попали в плен; его, как штатского человека, организовавшего оборону и командовавшего стрельбой, должны были расстрелять, – статус военнопленного на него не распространялся; но все-таки его не казнили; «мы тобою поторгуем, сын лорда, – сказали буры, – ты кое-чего стоишь»; человек отчаянной отваги, Черчилль совершил побег, шел через район военных действий, видел, что принесла бурам война; именно тогда он раз и навсегда уяснил для себя главное: победу на фронте решает состояние тыла.

Он понимал сейчас, по прошествии сорока семи лет, что разоренные районы Советов – вся Украина и Белоруссия, половина европейской части России – позволят Сталину, даже если тот и обуреваем мечтой о мировом коммунизме, начать боевые действия, ибо у него нет тыла; совершить – в этих условиях – попытку броска к Ла-Маншу явилось бы актом безрассудного отчаяния, а Сталин был человеком жестких логических умопостроений и каждый свой ход рассчитывал далеко вперед.

Черчилль отдавал себе отчет и в том, что любой бросок красных на Запад позволит солдатам Красной Армии увидеть Европу, хоть и разрушенную нацистами, неизмеримо более комфортабельную, обустроенную и мощную, чем русские города и деревни; Сталин не вправе пойти на то, чтобы – до того, как он восстановит разрушенный тыл, – заразить громадную массу войск знакомством с европейской жизнью. Это могло, как считал Черчилль, привести к повторению Сенатской площади; без русской оккупации Парижа такого рода событие было бы вряд ли возможно.

Он понимал и то, что двинуть к Ла-Маншу гигантскую русскую армию, не имея запасов хлеба, масла, крупы, мяса, – особенно после того, как все поставки по ленд-лизу кончились, яичный порошок и тушенка исчезли с прилавков магазинов Советов, по-прежнему отпускавших товары по карточкам, – означало гибель армии; он прекраснейшим образом отдавал себе отчет и в том, что удержать Западную Европу под советской оккупацией означало откомандирование на Запад по меньшей мере десятимиллионной армии; кто и как ее прокормит? Кто и где ее разместит? Понимал он и то, что идти к Ла-Маншу, оставив в своем тылу Германию, было безумием, началом краха советской системы, гибелью идеологии большевизма.

Черчилль внимательно изучал стенограммы, вывезенные Троцким на Принцевы острова; речь, в частности, шла о яростной стычке на Политбюро между Сталиным и Предреввоенсовета республики в двадцать третьем году; узнав о начале восстания в Гамбурге, Троцкий потребовал немедленного марш-броска Красной Армии на помощь «братьям по классу»; Сталин возражал: «Мы были, есть и будем противниками экспорта революции; моральная помощь – да, вооруженная – нет, ибо это перечеркнет то, чего мы добились в Рапалло».

При этом Черчилль понимал, что Сталин намерен обезопасить свои новые западные границы, превратив пограничные государства в союзников; Рузвельт согласился с этим; он, Черчилль, был вынуж-

ден примкнуть к большинству, однако сейчас великого американского идеалиста не стало; время корректировать курс.

Он отдавал себе отчет в том, что повернуть политиков в Варшаве, Софии, Будапеште и Праге против Москвы из Лондона ныне невозможно, упущено время.

Он прекраснейшим образом понимал, что авторитет красных в Восточной Европе по справедливости высок, ибо именно русские освободили эти страны от гитлеровской тирании, а ведущей силой подполья были коминтерновцы-коммунисты типа Димитрова, Костова, Тито, Пьяде, Берута, Гомулки, Ласло Райка, Ракоши, Кадара, Готвальда, Сланского, Георгиу-Дежа, Анны Паукер, Клементиса, Гусака и Василе Лука.

Следовательно, считал он, Сталина необходимо подтолкнуть к таким шагам, которые разрушат легенду о «старшем брате», заставят людей в странах восточного блока пересмотреть отношение как к русским освободителям, так и к тому, кто их, русских, на данном историческом отрезке представляет, – к Сталину.

Поэтому, когда Джон Фостер Даллес, прилетевший с кратковременным визитом в Лондон, попросил о встрече, Черчилль сразу же ответил согласием.

Утром Даллес провел беседу с лейбористским министром иностранных дел Бивеном; тот был похож на колобок; из докеров; одет подчеркнуто небрежно, ботинки чиненые, не только вторые набойки на каблуках, но и заплаточка на том месте, где мизинец, – видимо, торчит безымянный палец, есть такие люди, у которых на ногах не пальцы, а какие-то спаренные пулеметы; с Даллесом говорил откровенно, без островных амбиций; когда речь зашла о бульдоге, заметил:

– Он думает, что является лидером консервативной партии. Это неверно. Он всего лишь приманка. Да и вообще сейчас внутри консерваторов начал дебатироваться вопрос: является джентльмен обузой для тори или, наоборот, ее знаменем?.. Он не на тех ставит, мистер Даллес... Это его нынешний термин, он увлекся лошадьми, его скакуны принимают участие во всех наиболее престижных состязаниях... Он совершенно забыл, что кучка посредственностей, которых он ныне привлек для сотрудничества, была накануне войны именно той силой, которая не пускала его – самого выдающегося деятеля той поры – в правительство. Эти люди во многом виноваты, что вторая мировая война началась, мистер Даллес... И джентльмен знает это, но у него уникальная память: он моментально вычеркивает из нее то, что ему неугодно помнить... Он окружает себя обанкротившимися интеллигентами, которые живут представлениями середины двадцатых годов, но ведь времена меняются, мистер Даллес, увы, времена меняются.

...Черчилль сразу же пригласил Даллеса в свою конюшню; увлеченно рассказывал, что сейчас у него работают два онколога, изучают свойства конского пота и навоза для купирования раковых заболеваний; похвастался жеребцом «Лидер»: «Пришел вторым, принес восемь тысяч фунтов, согласитесь, совсем не плохо».

Даллес улыбнулся:

– Для человека, который пишет книги, становящиеся бестселлерами, восемь тысяч не играют особой роли...

– Я не пишу книги, – ответил Черчилль без улыбки, – я делаю состояние. Во время войны у меня не было времени думать о семье, сейчас меня к этому вынудили...

Когда пришли в дом, к обеду, Черчилль кивнул на ящики, стоявшие в холле:

– Раз в две недели секретарь русского посольства привозит мне подарок от генералиссимуса – двенадцать бутылок отборного грузинского коньяка... В сорок втором, когда я впервые прилетел в Москву, мы рассорились со Сталиным, я уехал в резиденцию, решив, что надо возвращаться на Остров, – без помощи Рузвельта мы не сговоримся; Сталин позвонил мне вечером, пригласил в Семеновское, на свою «ближнюю дачу»: «Не будем говорить о делах, господин Черчилль, я хочу угостить вас скромным грузинским ужином». Он хитрец, этот Сталин, он накачал меня коньяком, я пустился в воспоминания, он говорил, что во мне пропадает дар великого писателя авантюрных романов, я сказал, что в нем пропадает талант виночерпия, коньяк поразителен, застолье великолепное; с тех пор, вот уже пять лет, даже после отставки, русский дипломат привозит мне два ящика коньяка; я как-то спросил: «Сколько это будет продолжаться?» Мне ответили: «Пока вы живы, сэр». Я ждал, что будет после Фултона. Почему-то мне казалось, что «дядя Джо» прекратит свои поставки. Представьте себе мое удивление: когда я вернулся от вас, в холле стояло шесть ящиков, вполне можно открывать винную торговлю.

За обедом Даллес расхваливал коньяк Сталина, расспрашивал бульдога о его впечатлениях, когда он оставался с русским диктатором один на один; Черчилль отвечал не сразу, тщательно выверяя фразы (стал ловить себя на мысли, что говорит так, будто в комнате есть кто-то еще, постоянно записывающий каждое его слово для истории; стыдно; нарушение норм островного демократизма):

– К явлению по имени «Сталин» просто так относиться нельзя. Он объект для пристального изучения.

– Мы изучаем его довольно тщательно, в разных университетах различных тенденций и пристрастий...

– Я помню, – Черчилль мягко улыбнулся, – как в том же сорок втором мы закончили с ним очередной, как всегда, тяжелый разговор в Кремле; я вышел первым, прекрасный, летний солнечный день; кремлевский коридор был похож на декорацию в королевском театре: ярко-белый свет из громадных окон сменялся внезапной темнотой стенных проемов; один из моих стенографистов задержался в кабинете Сталина, вышел следом за ним; Сталин, между прочим, ходит крадучись, ступает неслышно, как тигр перед прыжком; все репортеры и фотокорреспонденты с операторами были оттеснены охраной, остался только один, самый известный в России, мистер Кармен, я легко запомнил его имя, потому что он передавал нашему кинопрокату свои пленки из Испании во время войны... Кармен убирал свою аппаратуру и вдруг увидел Сталина, который шел, словно Ричард Третий, – свет, тень, свет, тень... Он бросился было до-

ставать из чехла свою камеру, а Сталин, остановившись возле него, сделал руками так, словно взял арбуз, повертев его, и чуть издевательски спросил: «Что, руки чешутся?» И пошел – сквозь свет и тень – к выходу.

Даллес заметил:

– Рано или поздно вы станете работать для кино, сэр.

– Потомку герцога Мальборо не прощают занятия живописью, – вздохнул Черчилль, – а уж кинематограф... Нет, меня отринет общество, а я, увы, пока еще не могу жить без общения со с в о и м и...

Даллес вдруг рассмеялся:

– Интересно, а вы, когда шли тем же коридором, сквозь свет и тень, кого вы себе напоминали? Сталин – Ричард Третий, а вы?

– Я напоминал себе Черчилля, – ответил б у л ь д о г. – Я не нуждаюсь в исторических параллелях.

За кофе Даллес аккуратно поинтересовался:

– Как вы думаете, Уинни, на предстоящих выборах победит наш Дьюи? Или же вы все-таки допускаете переизбрание демократов. Трумэна?

Черчилль не сразу ответил на этот вопрос; он следил за тем, что происходило в Штатах, с а л ч н ы м интересом, он знал, какое сокрушительное поражение республиканцы Дьюи и Даллеса нанесли демократам Трумэна во время выборов в конгресс; его люди сообщали, что левая группа демократов, близкая к покойному Рузвельту, провела ряд встреч с генералом Эйзенхауэром, избранным президентом Колумбийского университета; самый популярный военачальник Запада может и должен быть президентом страны от демократов; Черчиллю было известно, что об этом немедленно сообщили Трумэну и тот пригласил Айка на ланч; более того, из кругов, близких к генералу, Черчилль знал, что во время этого ланча Трумэн был грустен, жаловался на то, что конгресс и сенат подвергают его травле: «Нет ничего утомительнее должности президента в этой стране, генерал; завидую военным, приказ есть приказ, никаких дискуссий; я же нахожусь под прицельным огнем противников, которые не брезгуют ничем, они идут даже на то, что попрекают меня связями со старым добрым Томом Пендергастом, называя его гангстером, а меня – его ставленником... Я слишком высоко ценю вас, генерал, я преклоняюсь перед вашим военным гением, я понимаю, что вы заслужили право на поклонение нации и заслуженный отдых, но, может быть, вам попробовать выдвинуть свою кандидатуру на пост президента этой страны? В конечном счете надо уметь идти на жертвы во имя народа и демократии...» Искушенный в а п п а р а т н о й интриге, Трумэн такого рода пассажем вынудил Эйзенхауэра отказаться от выдвижения своей кандидатуры; демократический съезд назвал его кандидатом в президенты; республиканцы – с подачи Даллеса – губернатора Томаса Дьюи; опрос общественного мнения, проведенный Гэллапом, дал ошеломительные результаты: восемьдесят процентов американцев поддержали республиканского кандидата...

– Видите ли, – ответил, наконец, Черчилль, – как это ни странно, я бы желал победы Трумэну, хотя ваша концепция импонирует мне значительно больше.

– То есть? – Даллес удивился; как всякий американец, он привык к логике и пробойной точности линии: разве можно симпатизировать одной концепции, а желать победы носителю другой?

– Мавр должен сделать свое дело, – медленно, по слогам отчеканил Черчилль. – Именно так, Джон. Во-первых, как мне известно, Трумэн намерен запросить у конгресса четыреста миллионов долларов на военную помощь Турции и Греции, а это означает развертывание американских войск на границах с Россией, что вызовет бурю негодования в Европе, да и в левых кругах Америки, у людей того же вице-президента Уоллеса, он – слепок всеми нами обожаемого Рузвельта. Так пусть этот шаг проведут демократы Трумэна, а не республиканцы Дьюи и Даллеса. Оставьте себе поле для маневра, это всегда таит в себе непредсказуемые выгоды. Во-вторых, государственный секретарь Бирнс говорил мне совершенно определенно: «Уже в начале осени сорок пятого года (то есть за пять месяцев до того, как Советы начали травить меня в прессе, придумав пугающий, несколько наивный термин поджигателя войны, – это я-то – поджигатель войны, – в голосе Черчилля слышалась обида, – я, который первым бросил перчатку в лицо Гитлеру и возглавил борьбу против тирании на Европейском континенте?). Трумэн сказал, что необходимо дать понять Сталину: в нашей внешней политике произошли кардинальные перемены. Вместо сотрудничества, на которое наивно уповал самый добрый человек двадцатого века мой друг Рузвельт, следует разворачивать жесткую политику сдерживания русского влияния в Европе». Следовательно, не я, не Остров подвигли мир на конфронтацию с Советами, а именно Гарри Трумэн... Пусть он продолжает эту работу, Джон, пусть... Погодите, пройдет немного времени, и я вернусь на Даунинг-стрит... Как раз в тот год вы и возглавите внешнеполитическую тенденцию Штатов... Мы тогда сможем договориться если не со Сталиным – он слишком уверовал в свое величие после того, как двадцать миллионов русских сделали его творцом победы, – то с его последователями... Не думайте, что они лишены своей точки зрения, не считайте, что они легко простили Сталину чистки и гибель своих друзей... Теперь, третье... Мне рассказывали, что Трумэн, начав подготовку к кампании, пригласил на завтрак отца вашей бомбы Боба Оппенгеймера; я уж не знаю, как протекала беседа, но мне известно, что по окончании встречи Трумэн был очень раздражен: «Я не хочу больше видеть этого дурака! Не этот чертов идиот взрывал бомбу в Хиросиме, а я! От его истерик меня мутит! Баба! Истеричная, вздорная баба! Экий страдалец по цивилизации! Я не желаю слышать его синагогальные причитания – раз и навсегда!» Это соответствует истине или информация следует быть отнесена к разряду хорошо сработанных слухов?

Даллес внимательно посмотрел своими ледяными глазами в добрые, постоянно смеющиеся, чуть выпученные глаза сэра Уинни:

– Ваша информация абсолютна. Трумэн сказал Дину Ачесону именно эти слова...

– Как вы понимаете, я это услышал не от Ачесона... Раскрутите на всю Америку, Джон, пусть слова Трумэна станут достоянием гласности... Я ведь знаю, что еще во время войны, накануне взрыва в Хи-

росиме, генерал Гровс провел среди своих атомщиков тест: стоит ли взрывать штуку? Только пятнадцать процентов опрошенных из ста пятидесяти создателей бомбы высказались за взрыв, разве нет?

– Четырнадцать, – ответил Даллес. – Четырнадцать, сэр...

– Вот видите... Как я слыхал, Трумэн намерен пригласить на ужин Альберта Эйнштейна, старик – активный противник бомбы, значит, он будет говорить с ним о мирных исследованиях атомного ядра... Пусть... Тем легче будет вам, когда вы придете к власти, профинансировать новые исследования по созданию ядерного оружия против русской угрозы...

– Против русской угрозы, – повторил Даллес, вздохнув. – К сожалению, фактически мы не вправе упрекнуть Сталина ни в одном шаге, который бы противоречил соглашениям в Ялте и Потсдаме... В сорок пятом он мог покатиться до Ла-Манша, а сейчас...

Черчилль покачал головой:

– Он не мог покатиться до Ла-Манша и тогда, Джон, потому что Россия лежала в руинах... Ни вас, ни меня не устраивает, что он укрепился в Восточной Европе... Если вы сможете вытолкать всех его дипломатов из Латинской Америки, Сталин начнет аналогичные мероприятия в Праге, Будапеште и Варшаве. Крутой характер генералиссимуса, угодный русским, привыкшим к сильной руке монарха, вызовет глубинно-негативные реакции в восточноевропейских странах, поверьте. Чем жестче вы – а точнее: Трумэн – опозорите сталинских дипломатов в Латинской Америке, чем надежнее сможете заблокировать коммунистов во Франции и Италии, тем яростнее будет реакция Сталина, – что и требовалось доказать... И – последнее... Мне нравится, как администрация работает на юге вашего континента, я жду межамериканского совещания, которое провозгласит большевизм главным врагом Северной и Южной Америки... Где Трумэн намерен проводить эту конференцию?

– В Колумбии, – ответил Даллес. – Или Венесуэле...

Черчилль покачал головой:

– Сделайте все возможное, чтобы это произошло в Бразилии, Джон. Единственная страна – от тропиков Мексики и до льдов Чили и Аргентины, – которая говорит не по-испански, это Бразилия... В Латинской Америке будут происходить процессы, подобные тем, что когда-то вызрели в содружестве наций... Пусть небрежение к испанскому языку ляжет грузом ненависти на Трумэна... Когда придете вы, проведете новую конференцию в испаноговорящей стране... Это поможет вам, учитывайте амбиции испаноговорящего мира... И – еще одно, раз уж речь зашла об испаноговорящем мире... Я внимательно следил за выступлениями Громыко в Совете Безопасности против режима Франко... Я помню этого молодого русского посла по Ялте и Потсдаму... Он обладает даром историка, что весьма опасно, и хваткой литвиновской школы; в отличие от Молотова, он не начинает с «нет», он предлагает альтернативы, навязывает дискуссию и весьма убедительно оперирует доводами... Если будут приняты его предложения до конца расторгнуть дипломатические отношения с Франко, делу европейского сообщества нанесут непоправимый урон; увы, единственно последовательной антибольшевистской

силой на континенте является ныне этот отвратительный сукин сын, ставленник Муссолини и Гитлера, такова правда, и мы не имеем права закрывать на нее глаза... Я знаю, что ваш брат, талант которого и высокое мужество, проявленное в борьбе против гитлеризма, я высоко ценю, дружит с полковником Бэном... ИТТ обладает в Испании абсолютными связями... Кому, как не Бэну, подсказать Франко: пусть он продемонтрирует Объединенным Нациям единство испанцев в его поддержку... Как диктатор, возглавляющий тоталитарное государство, где партия организована в «министерство фаланги», он полностью управляет ситуацией... Пусть поставит спектакль... К сожалению, в борьбе против Советов мы не можем исключать Франко, как это ни досадно, – все же фашист всегда останется фашистом, эволюция невозможна...

Даллес довольно долго терпел монолог Черчилля; не выдержал, наконец, заметив:

– В той книге, которую вы закончили в тридцать восьмом, ваша концепция была точно такой же: объединенная Европа договаривается с Германией и наносит удар по Советам...

Черчилль удивленно покачал головой:

– Вы меня с кем-то путаете, Джон, я никогда не считал возможным блок с Гитлером.

Даллес посмотрел на Черчилля с изумлением; тот, однако, говорил совершенно серьезно, и даже какая-то тень недоуменной обиды появилась в его красивых, выразительных глазах, которые казались сонными только тем, кто не умел чувствовать людей такого гигантского масштаба, каким был сэр Уинни, потомок великого Мальборо...

...Бэн прилетел в Мадрид через два дня; пять часов спал в особняке, отведенном ему диктатором; приняв ледяной душ, пришел в себя; за огромным обеденным столом они сидели вдвоем с Франко, хотя уместиться здесь могло по крайней мере человек пятьдесят.

– Не очень болтало в полете? – поинтересовался Франко, чуть кивнув лакеям: три человека стояли за его спиной, трое – за спиной Бэна; статика огромного зала сменилась движением; лакеи принесли Бэну угощения, – как обычно, весьма скромные, марискос[1], хамон[2], жареные осьминоги.

– Болтало, – ответил Бэн, сразу же принявшись за еду: в полете всегда помногу пил, с похмельем начинался совершенно патологический голод, мог съесть быка; особенно любил отмокать, нахлебавшись горячего черепахового супа с гренками; хмель выходил с пóтом, наступала расслабленная успокоенность, глоток виски купировал слабость, – самое время для делового разговора.

Однако на этот раз он сразу же попросил Франко о беседе с глазу на глаз: «Потом попирую, генералиссимус, – сначала дело, оно крайне важно, после этого, вероятно, вы захотите прервать трапезу на несколько минут, чтобы дать соответствующие указания подчи-

[1] Рыбный коктейль *(исп.)*.

[2] Сухая ветчина *(исп.)*.

ненным, время не терпит, а я во время паузы нажму на бульон, простите мою плебейскую страсть».

Франко ответил без улыбки:

– Мне легко говорить с вами, полковник, именно потому, что я тоже рожден в простой семье и всего достиг сам.

Он чуть приподнял мизинец; этого неуловимого жеста было достаточно, чтобы лакеи немедленно удалились; за спиной каудильо остался лишь двухметровый Диас, шеф личной охраны; Бэн вопросительно посмотрел на генералиссимуса. «Он глух и нем, – заметил диктатор, – я не вправе отослать его, возможны трения с кабинетом, по решению правительства я не имею права встречаться с кем бы то ни было вне присутствия Диаса».

– Ну что ж, – кивнул Бэн, – не будем ссориться с правительством... Так вот, я привез вам срочное сообщение от тех, кого вы называете своими врагами... Это сообщение, тем не менее, сформулировано в Лондоне и Вашингтоне людьми, которые желают Испании добра... Словом, вам советуют ответить на выступления русского посла Громыко в Совете Безопасности немедленной и мощной демонстрацией народа в поддержку вашего режима...

– Моего режима? – удивленно переспросил Франко. – Режимы личной власти свойственны тоталитарным государствам, тогда как Испания – демократическая страна, где каждому гражданину гарантирована свобода слова и вероисповедания. Да, мы были вынуждены временно запретить забастовки, но это форма борьбы против коммунизма... Да, мы временно ограничили деятельность газет оппозиции – опять-таки по этой же причине. Москва использует злейших врагов Испании, масонов, в борьбе против нашего народа... Однако наша профсоюзная пресса, в первую очередь «Арриба», критикует предпринимателей и нерадивых чиновников администрации со всей резкостью, которая необходима в борьбе с коррумпированным злом...

Кому он врет, подумал Бэн, себе или мне? А может, он верит в то, что говорит? Десять лет все приближенные талдычат ему эти слова, почему бы и не разрешить себе уверовать в них? Один миллион испанцев он расстрелял, два миллиона пропустил через концлагеря, десять процентов населения задавлено страхом, конечно, они готовы его славить, лишь бы не очутиться в Карабанчели[1]. Смешно: как, оказывается, просто создать иллюзию народной любви – побольше пострелять и надежно посадить за решетку, остальные станут овечками. Найти бы таких людей, как Франко, в Латинской Америке! Так ведь нет, индейская кровь, индейцы лишены страха, первородный грех свободолюбия...

– Генералиссимус, ваши друзья ждут немедленных массовых манифестаций народа против вмешательства Совета Безопасности во внутренние дела Испании...

– Я не боюсь интервенции, – ответил Франко. – Да вы на нее и не решитесь, конгресс будет дискутировать, потом сенат, пройдет год, в это время Сталин войдет в Париж и вы пришлете сюда свои танки, потому что фашистская Испания окажется последним бастионом демократии на Европейском континенте...

[1] Тюрьма в Мадриде.

– Речь идет не об интервенции, – ответил Бэн. – Мы думаем включить Испанию в число государств, наравне с Турцией, Грецией, Италией, которым будет оказана самая широкая экономическая помощь... Я обязан поделиться с вами конфиденциальной информацией: генерал Маршалл готовит план, который вдохнет жизнь во все страны Западной Европы. Расцвет Запада будет противопоставлен карточной системе Востока...

Через три дня с раннего утра сотни тысяч мадриленьяс начали стекаться на Плаца де Ориенте; даже площадь была выбрана алькальдом Мадрида Моррено Торесом не без умысла: народ поддерживает своего генералиссимуса на восточной площади, Испания, таким образом, заявляет себя бастионом Запада; здесь генералиссимус и обратился к нации:

– Ни одна сила в мире не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны! Это вызов великим принципам демократии и свободы, которым всегда следовала, следует и будет следовать Испания! Мы никому не позволим разрушить наше единство и наше общество всеобщего благоденствия! Никто и никогда не сможет забрать у нас ту свободу, которую мы завоевали в смертельной схватке с мировым коммунизмом!

Восторженный рев толпы, крики «Франко, Франко, Франко!» продолжались несколько минут; через час все радиостанции мира передали сообщение об этом фантастическом митинге в поддержку каудильо: полмиллиона человек продемонстрировали свою верность «диктатору свободы и национального возрождения».

Через три дня Франко выступил в Сарагосе; на митинг было рекомендовано прийти шестистам тысячам человек; впрочем, подавляющее большинство пришло добровольно – даже те, которые всего десять лет назад носили на груди портреты Дурути и Ларго Кабальеро; ах, память, память!..

– Мы должны сказать прямо и без обиняков, что живем в мире, который находится на грани новой войны, – провозгласил Франко. – Вопрос лишь в том, чтобы точно просчитать наиболее выгодный момент для того, чтобы ее объявить!

Через несколько дней сенатор О'Конски внес предложение об оказании экономической помощи Франко и развитии с Испанией торговых и культурных отношений; по всем европейским столицам прокатились мощные демонстрации протеста: «Два миллиарда долларов на развитие фашизма – позор Белому дому!»

Франко принял группу экспертов из Парижа; посмеиваясь, спросил:

– Когда ваше правительство снимет санкции против моей страны? Когда вы откроете границы? Или коммунистический подпевала де Голль получил приказ из Кремля продолжать слепую антииспанскую политику? Долго ли он ее сможет проводить? Мы же отныне союзники Соединенных Штатов, хотят того в Париже или нет...

...Когда Бэн улетал в Нью-Йорк, его провожал адмирал Кареро Бланко, самый доверенный друг генералиссимуса, не скрывавший и поныне своих симпатий к Гитлеру: «Это был великий стратег, великий антикоммунист, великий антимасон... Если бы не его чрезмерная строгость против евреев, он бы поставил разболтанные европейские демократии на колени». Бэн поинтересовался: «А Россию?» Кареро Бланко убежденно ответил: «Он был слишком мягок со славянами. Там была необходима еще более устрашающая жестокость. Пройдет пара лет, и вы убедитесь в правоте моих слов... И еще: евреи играли большую роль в противостоянии фюреру, они занимали большие посты в Кремле... Если бы Гитлер гарантировал им свободу, Россия бы распалась, как карточный домик, русские не умеют управлять сами собой, им нужны иностранные инструкторы, неполноценная нация». Бэн посмеялся: «А как же объяснить феномен Толстого, Чайковского, Гоголя, Прокофьева, Менделеева?» Кареро Бланко не был готов к ответу, эти имена ему были плохо известны, однако он усмехнулся: «Поскребите этих людей и увидите, что русской крови в них практически не было». Бэн рассердился: «А в Эль Греко была испанская кровь, адмирал?!»

...Уже возле трапа самолета (Бэн летал на новеньком «Локхиде») Кареро Бланко сказал:

– Полковник, ваши люди почему-то оберегают некоего русского агента в Аргентине – очень высокого уровня и достаточно компетентного... Нам не известны ваши планы, вы нас в них не посвящаете, но вполне серьезные люди, конструирующие внешнеполитические аспекты государственной безопасности, – а ей грозит большевизм, и ничто другое, – считают, что далее рисковать нельзя... Этот человек должен быть нейтрализован...

– Кого вы имеете в виду? – удивился Бэн.

– Некоего Макса Брунна, полковник. Он служил в мадридском филиале ИТТ, а теперь находится где-то в Аргентине...

– В первый раз слышу это имя, адмирал, – ответил Бэн. – Спасибо за информацию, я переговорю с моими друзьями...

КРИСТИНА (Осло, сорок седьмой)

Вернувшись в дом родителей, где пахло сыростью и торфяными брикетами, первые два дня Кристина пролежала на широкой кровати; она подвинула ее к окну, чтобы был виден фьорд; цветом вода напоминала бритву, прокаленную в пламени, – серо-бурая, с тугим, нутряным малиновым высветом; было странно видеть, как по этому металлу скользили лодки; доверчивость их хрупкой белизны казалась противоестественной.

...В магазинах продукты продавали еще по карточкам, хотя помощь из Америки шла ежедневно; хозяйка соседней лавки фру Йенсен, узнав Кристину, посоветовала ей обратиться в магистрат; на рынке она смогла купить несколько ломтиков деревенского сыра, булочку и эрзац-кофе; этого ей хватило; она сидела, подложив под острые лопатки две большие подушки, пила коричневую бурду и размышляла о том, что ей предстоит сделать в понедельник.

«Слава богу, что я купила в аэропорту сигареты, – вспомнила она, – здесь это стоит безумных денег». Глоток кофе без сахара, ломтик сыра и затяжка любимыми сигаретами Пола – солдатскими «Лаки страйк» – рождали иллюзию безвременья; несколько раз Криста ловила себя на мысли, что вот-вот крикнет: «Па!» Это было ужасно; иллюзии разбиваются, как зеркало, – вдрызг, а это к смерти, с приметами и картами нельзя спорить.

В воскресенье Криста достала стопку бумаги из нижнего ящика шкафа, оточила карандаш, нашла папку, в которой отец хранил чертежи, и снова устроилась возле окна, составляя график дел на завтрашний день; отец приучил ее писать рядом с каждым намечаемым делом – точное, по минутам, – время: «Это очень дисциплинирует, сочетание слов и цифр символизирует порядок, вечером будет легче подвести итог сделанному».

Своим летящим, быстрым почерком она записала:

9.00 – магистратура, карточки, работа, пособие.

9.45 – юрист.

11.00 – университет, лаборатория, докторантура.

12.15 – редакция.

13.15 – ланч.

14.00 – телефонная станция, оплата включения номера.

15.00 – страховка.

15.30 – поездка в порт, на яхту.

16.30 – куда-нибудь в кино, до 21.00.

Но все равно в десять я буду дома, подумала она, в пустом доме, где жива память о том, чего больше никогда не будет; а без прошлого будущее невозможно...

Криста взяла с тумбочки Библию; перед сном мама обычно читала несколько страниц вслух, будто сказку Андерсена, порою пугаясь того, что слышала; Криста открыла «Песнь песней» и, подражая матери, стала шептать, скорее вспоминая текст, чем читая его:

– Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал; цветы показались на земле; время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей; смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, прекрасная моя возлюбленная, выйди! Голубица моя в ущелии скалы под кровом утеса! Покажи мне лицо твое, дай услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвету. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор. На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя, искала его и не нашла. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям и буду искать того, которого любит душа моя; искала я его и не нашла...

Криста слизнула со щек слезы острым, кошачьим языком (почему у всех женщин одинаковые языки? У мужчин... У Пола он лопаточкой, желтый от курева), поднялась, быстро, как-то даже лихорадочно оделась и вышла на улицу; не бойся, сказала она себе, ты жи-

вешь в свободном городе, здесь нет немцев, нет комендантского часа, иди, куда хочешь, иди в центр, сядь в кафе и закажи себе чего-нибудь выпить, ведь иначе не уснуть, нет ничего страшнее привычки, как ужасно, когда любовь делается привычной...

В аптеке на углу улицы Грига старенькая бабушка в хрустящем халате и с серебряными, несколько даже голубоватыми волосиками, прижатыми к черепу сеточкой, продала ей снотворное: «Оно очень легкое, утром вы не ощутите усталости, милая девушка, но лучше все же к нему не привыкать»...

В кафе было полно людей, отчего-то больше всего моряков; Криста слышала шум, смех, пьяные разговоры, музыку; это еще ужаснее – присутствовать на чужих праздниках: вроде как на собственных поминках.

Вернувшись домой, она завела будильник и приняла две таблетки, но уснула только под утро...

В приемной магистратуры ей выдали талон номер «двенадцать», сказали, что ждать придется не менее получаса: «Простите, бога ради, но сейчас масса работы, начинается бум, люди едут из провинции, огромное количество дел».

Чиновник, принявший ее, поклонился довольно сухо, извинился, что не может угостить чаем, дефицит, и предложил изложить дело, которое волнует милую фрёкен, по стадиям: «Так мне будет удобнее составить подробную картину, женщины слишком экспансивны, за чувствами теряется сухой прагматизм бюрократической логики».

– Я вернулась из Соединенных Штатов... Уехала отсюда осенью прошлого года, потеряла право на карточки...

– Вы приняли американское гражданство?

– Нет, нет... Мы... Я не успела...

– Где вы работали ранее?

– Я заканчивала докторантуру.

– Я прочитал ваше заявление... Вы дочь профессора Кнута Кристиансена?

– Да.

– У кого вы учились?

– У профессора Дорнфельда.

– Он умер.

Криста схватилась подушечками пальцев (они у нее выгибались, словно у китаяночки) за вмиг побелевшие щеки:

– Сердце?!

– Нет, профессор добровольно ушел из жизни. В прощальном письме он отметил, что не хочет умирать, разочаровавшись в людях окончательно, «пусть со мной уйдет хоть капля доверия»...

– А в чем... Почему это случилось? Когда?

– В мае этого года... Кто-то написал в газету, что профессор коллаборировал с Квислингом[1]... А он хлопотал за арестованных уче-

[1] Премьер Норвегии, назначенный Гитлером.

ников и коллег... И во имя этого действительно сделал два заявления на радио, которые, при желании, можно расценить как лояльные по отношению к оккупантам... Да, это очень горько, погиб ни в чем не повинный человек... Кто был – в ваше время – ассистентом профессора, фрёкен Кристиансен?

– Господин доктор Персен.

Чиновник ловким жестом снял трубку, бросил ее на плечо, раскрыл справочную книгу, набрал номер, поприветствовал доктора Йенсена, ответил на его вопрос по поводу подключения дополнительных номеров на телефонной подстанции («Видимо, в конце этого месяца ваша просьба будет удовлетворена»), а затем поинтересовался, как быстро может быть получена справка о фрёкен Кристиансен: «Да, да, она вернулась; нет, она у меня; не премину; благодарю вас; значит, мы можем выдать фрёкен карточки? Она по-прежнему считается вашим докторантом? Благодарю вас, это очень любезно с вашей стороны, я надеюсь, что завтра справка будет у меня на столе, вы же знаете, как нас мучают проверки, ничего не попишешь, еще год с продуктами будет сложно, до свиданья».

Чиновник поднял на Кристину глаза – очень усталые, видимо, сильно близорук, однако, судя по всему, очки не носит; рубашка довольно старая, несколько даже застиранная, воротничок подштопан:

– Ну, вопрос хлеба насущного мы с вами решили, фрёкен Кристиансен, это главное. Карточки вам выпишут в комнате номер три, я позвоню, когда вы туда пойдете. Вы сказали, у вас три вопроса... Пожалуйста, второй.

– Я бы хотела просить помочь мне с работой...

– Хм... Это прерогатива биржи... Впрочем, какую работу вы имеете в виду?

– Я должна подрабатывать, пока не защищу диссертацию... Я готова на любую работу...

– Физическую?

– Если речь пойдет об уборщице или ночном стороже, я согласна...

– Я бы посоветовал вам зарегистрироваться в очереди на посудомоек в ресторанах, особенно привокзальных, это сэкономит вам массу денег... Я постараюсь сделать все, что могу, но вам придется выполнить необходимую формальность, это окно номер два, на первом этаже.Третье, пожалуйста.

– Я слыхала, что семьям погибших от рук гитлеровцев полагается пособие...

– А разве вы не получали?!

– Нет... А сейчас мне придется платить за включение телефона, за отопление, воду... Это большие деньги... Мне достаточно неловко просить о пособии, но выхода нет... Когда я устроюсь на работу, можно будет отказаться...

– Пособие дается единовременно... Сколько вам было лет, когда погиб ваш отец?

– Я была совершеннолетней...

– Чем вы занимались?

Кристина почувствовала, как кровь прилила к щекам:

– Я... Я тогда... училась...

– Хорошо, тут нам не обойтись без справок: о вашем отце и о вас...

– Мама тоже погибла...

– Разве она работала?

– Нет. А это влияет на дело?

– Если бы она также занимала какой-то пост, пособие могло быть бóльшим процентов на двадцать... Только не обольщайтесь по поводу суммы, фрёкен Кристиансен, это небольшие деньги... Впрочем, на то, чтобы расплатиться за отопление, воду и телефон, вам хватит. Это все?

– Да, благодарю вас, вы были очень добры...

– Это моя работа, не стоит благодарности... И, пожалуйста, попросите в ходатайстве кафедры приписать, что вы не были замечены в коллаборанстве с нацистами, это крайне важно для всего дела: не смею вас более задерживать, до свиданья.

Господи, какое же это счастье говорить на своем языке, подумала Кристина, выйдя из магистратуры; все дело заняло двадцать девять минут; продуктовые карточки на лимитированные товары были уже готовы, когда она вошла в комнату номер три; всего семь минут пришлось подождать в очереди, где ставили на учет ищущих работу; порекомендовали сегодня же посетить главного повара ресторана в отеле «Викинг» господина Свенссона: «Он будет предупрежден, но, пожалуйста, не употребляйте косметику и оденьтесь как можно скромнее».

Адвокат, доктор права Хендрик Мартенс послушно перевернул кресло – так, чтобы на лицо не падали солнечные лучи, заметив при этом:

– Однако и в свете яркого солнца вы так же прекрасны, как в тени, фрёкен Кристиансен.

– Благодарю вас за комплимент, господин доктор Мартенс.

– Это не комплимент, а чистая правда... Я к вашим услугам...

– Господин доктор Мартенс, я хотела бы обратиться к вам сразу по двум вопросам... Первое: мой отец погиб в гестаповской тюрьме. Он был арестован неким Гаузнером. Ныне, как я слыхала, этот Гаузнер проживает в Мюнхене и работает в организации некоего доктора Вагнера... Словом, оккупационные власти знают его адрес, он сотрудничает с ними. Я бы хотела выяснить, кто отдал Гаузнеру приказ на арест моего отца, профессора Кристиансена, кто расстрелял его и кто отправил маму в концлагерь, где она и погибла. Второе, – заметив, как адвокат подвинул к себе листки бумаги, чтобы начать записывать данные, необходимые при начале дела, Криста напористо, без паузы заключила, – и немаловажное заключается в том, что у меня сейчас нет наличных денег для уплаты расходов... Однако если вы возьмете на себя труд продать мой дом на берегу Саммерсфьорда и, возможно, нашу яхту, то, думаю, вопрос с оплатой ваших трудов в Мюнхене отпадет сам по себе...

– Вы единственная наследница? Никто не может предъявить претензий на имущество?

– Нет, нет, я одна...

– Замуж не собираетесь? – улыбнулся адвокат. – Муж вправе претендовать на определенную часть суммы...

– Я замужем, господин доктор Мартенс.

– Необходимо согласие вашего мужа, чтобы я начал дело о продаже собственности. Попросите его заглянуть ко мне или написать коротенькое письмо, я его заверю здесь же, у меня есть гербовая печать, не зря плачу налоги правительству.

– Мой муж живет в Соединенных Штатах.

– Но он скоро вернется?

– Не очень скоро. У него бизнес, он не волен распоряжаться своим временем.

– В таком случае он должен прислать телеграмму, заверенную его юристом. Вы сможете организовать это?

– Конечно. Я закажу телефонный разговор, объясню ему суть дела, и телеграмма будет отправлена в течение суток... Но я ставлю второй пункт разговора в зависимость от первого, господин доктор Мартенс. Согласны ли вы взять на себя дело о преследовании лиц, виновных в гибели моих родителей?

– Вы понимаете, конечно, что это не слишком дешевое дело? Необходима поездка в Мюнхен... Не знаю, куда еще... Все это оплачивает клиент, то есть вы. Это большие деньги... Вы намерены потребовать компенсацию от господина... Простите, я не успел записать имя...

– Гаузнера. И тех, кто стоит за ним, господин доктор Мартенс.

– Каковы должны быть... Словом, сколько вы хотите с них получить?

– Я бы хотела услышать ваше предложение.

– Сколько лет было вашему отц, когда он погиб?

– Сорок семь.

– Ах, какой ужас! Совершенно молодой человек, профессор, светило... Вы помните его годовой заработок?

– Нет, я никогда этим не интересовалась... Честно говоря, меня не интересуют деньги... Они очень интересуют гаузнеров и их начальников... Вот я и хочу ударить их по больному месту... С волками жить – по-волчьи выть.

– Могу ли я предложить вам чашку чая?

– Да, благодарю, у меня еще есть время...

Адвокат вышел в приемную, попросил пожилую машинистку с невероятно длинным, каким-то даже волнистым носом приготовить две чашки чая, вернулся за свой стол и, потерев хорошо ухоженным пальцем переносье, заметил:

– Я понимаю всю безмерность вашего горя, фрёкен Кристиансен, но ведь Германия уже понесла возмездие... Страна в руинах... Правительство повешено в Нюрнберге... Я боюсь, вы затратите много денег, но компенсации – я имею в виду материальную сторону вопроса – не получите... Они банкроты, им нечем платить...

– Но ведь я смогу привлечь их к суду? Если вы их найдете, ес-

ли вы соберете данные в наших архивах, а они сохранились, как я слыхала, мы сможем обратиться в суд? Меня удовлетворит процесс против мерзавцев...

– Фрёкен Кристиансен, я сочувствую вашему горю, поверьте... Но сейчас времена изменились... Опасность с Востока делается реальной... Тенденция не в вашу... не в нашу пользу... Увы, единственную силу, которая может спасти цивилизацию от большевистского тоталитаризма, Запад видит именно в Германии... Если постоянно пугать человечество ужасом немецкого национал-социализма, мы можем оказаться беззащитными... Нет, нет, если вы настаиваете, – адвокат увидел в глазах Кристы нечто такое, что заставило его резко податься вперед, он захотел положить руку на ее пальцы, стиснувшиеся в жалкие, худенькие кулачки, – я приму ваше дело, не сомневайтесь! Выдвигая свои контрдоводы, я думаю в первую очередь о вас, о ваших интересах!

Секретарша принесла чай, повела своим гигантским носом над чашками, тряхнула черной челкой и отчеканила:

– Непередаваемый аромат: «липтон» всегда останется «липтоном».

– Я полагаю, – сухо заметил адвокат, – вы приготовили три порции? Угощайтесь в приемной, фрёкен Голман, я знаю, как вы неравнодушны к настоящему чаю.

– О, благодарю вас, господин доктор Мартенс, вы так добры...

Секретарша кивнула Кристе, не взглянув на нее (ненависть к красавицам в женщинах неистребима), и, ступая по-солдатски, вышла из кабинета; бедненькая, подумала Криста, как ужасно быть такой уродинкой; она обречена на одиночество; нет ничего горше, чем жить без любви; хотя можно придумать идола, по-моему, она уже придумала – влюблена в своего шефа, у нее глаза п л ы в у т, когда она глядит на него.

– Чай действительно прекрасен, – сказала Криста, хотя «липтон» был почти без запаха, в Голливуде такой сорт даже не продавали, в основном чай поставлял Китай, феноменальный выбор, сортов тридцать, не меньше, да еще Латинская Америка; все-таки, когда всего слишком много – плохо; приходится долго думать, что купить, одно расстройство.

– Это подарок британского капитана... Случился несчастный случай, он сшиб велосипедиста, я принял на себя защиту, все уладил миром, ну и получил презент: картонную упаковку «липтона», – пояснил адвокат Мартенс.

– Я начну диктовать те фамилии, которые мне известны?

– Вы все же решили начать это дело?

– Да.

– Хорошо, я готов записывать... Не угодно ли сначала выслушать мои условия?

– Я их принимаю заранее, вы же лучший адвокат города...

– Так говорят мои друзья. Если вы повстречаетесь с недругами, вам скажут, что я бессовестный эксплуататор человеческого горя, рвач и коллаборант...

– Но вы не коллаборировали с нацистами? – Криста закурила

мятую «Лаки страйк», сразу же увидев постаревшее лицо Пола близко-близко, так близко, что сердце сжало тупой болью.

– Каждого, кто не сражался в партизанских соединениях, не эмигрировал в Лондон и не сидел в гестапо, поначалу называли коллаборантами, фрёкен Кристиансен. Это бесчестно, а потому – глупо. Я продолжал мою практику при нацистах, это верно. Я не скрывал у себя британских коммандос, но я защищал, как мог, людей, арестованных гитлеровцами. В условиях нацизма понятие «защитник» было аморальным... Если человек арестован, значит, он виноват и подлежит расстрелу или медленному умиранию в концлагере. А я оперировал законом, нашим, норвежским законом... Слава богу, в архивах гестапо нашлась папка с записью моих телефонных разговоров, это спасло меня от позора, – за коллаборантами они не следили... Да, у меня в доме бывали чины оккупационной прокуратуры, я угощал их коньяком и кормил гусями, чтобы они заменили моим подзащитным гильотину каторгой, – хоть какая-то надежда выжить... Я хотел приносить реальную пользу моему несчастному народу, и я это делал... Мне больно обо всем этом говорить, но вы можете поднять газеты, – я обратился в суд против тех мерзавцев, которые меня шельмовали... В начале войны они сбежали в Англию, занимались там спекуляцией, за деньги выступали по радио, призывая к восстанию и саботажу, а я, оставшись на родине, защищал саботажников и спасал их от гибели... Я выиграл процесс, фрёкен Кристиансен, в мою пользу свидетельствовали те, кого я спас... Кстати, клеветали на меня люди моей же гильдии, адвокаты, они потеряли позиции в правозащитных органах за время эмиграции, – вопрос денег и клиентуры, понятно и младенцу...

– В каких газетах был отчет о процессе?

– Во всех. Да, практически, во всех... Если хотите, я покажу вам. У меня это хранится, хотя, честно говоря, каждый раз начинается сердцебиение, когда пересматриваешь все это...

– Я была бы вам очень признательна, господин доктор Мартенс...

– Вы можете взять с собою копию, потом вернете.

– Спасибо... Перед тем, как я начну диктовать вам фамилии...

Адвокат мягко улыбнулся:

– Перед тем, как вы начнете диктовать фамилии, я все же обязан сказать свои условия... Возможно, вас не устроит мой тариф... Я дорогой правозащитник... Словом, вы будете обязаны выплатить мне – в случае успеха нашего дела – пятую часть той суммы, которую вам перечислят из Мюнхена. Понятно, вы оплачиваете мои расходы по поездкам в американскую зону оккупации, перепечатку необходимых документов, телефонные переговоры и аренду транспорта. Полагаю, сумма может вылиться в три, а то и четыре тысячи долларов. Естественно, я не включаю сюда деньги, которые вам придется внести в суд, – если дело дойдет до процесса, – для вызова свидетелей, их размещения в отелях и питания, это еще две, три тысячи... Боюсь, что расходы съедят значительную часть тех денег, которые м ы выручим за ваш дом...

– У меня есть и яхта.

– Я понимаю. Но ведь вместо дома вам надо купить какую-то квартиру? Словом, я ознакомил вас с моими условиями. Они вполне корректны... Если бы дело не было связано с мщением нацистам, я бы запросил больше.

– Я согласна... То есть я позвоню вам вечером, когда прочитаю отчет о вашем процессе... Это будет окончательное согласие... Но я хочу, чтобы вы собрали материалы, уличающие не только Гаузнера, он, мне кажется, был из военной контрразведки, но и гестаповцев, начиная с группенфюрера Мюллера, он отдавал приказы на казнь.

– Как мне известно, он погиб при осаде Берлина.

– Он погиб, но его заместители остались. Словом, меня интересуют материалы о карательном аппарате Гитлера, – пусть это будет стоить не четыре тысячи, а восемь, я пойду на это.

– Муж – в случае нужды – сможет помочь вам?

– Он американец, а это – мое дело, господин доктор Мартенс, это норвежское дело...

– В таком случае, это дело не ваше, а наше... Я тоже норвежец... Диктуйте, я весь внимание...

В редакции «Дагбладет» Кристину направили в отдел новостей; в большой комнате стояло восемь столов, по два телефона на каждом, в промежутке между ними – пишущие машинки, треск и крик: содом и гоморра, как можно работать в таких условиях?

– С кем я могу посоветоваться? – спросила Криста высокого, худого, как жердь, парня в свитере с рваными локтями, что сидел за машинкой, но не печатал, а, тяжело затягиваясь, жевал сигарету, пуская к потолку упругую струю дыма; он не сразу выпускал табачный дым, сначала было чистое дыхание, и лишь потом появлялось голубое, быстро темневшее облачко; Криста представила, какие у него черные легкие; бедный парень, такой молодой, через год начнет кашлять как старик; слава богу, Пол не вдыхает так глубоко, ему важно держать в руках сигарету, поэтому у него такие желтые пальцы.

– О чем вы хотите посоветоваться со мной? – спросил парень, внезапно скосив на Кристу бархатные, с игрою, глаза, – конь на гаревой дорожке.

– О нацизме, – усмехнулась женщина. – Компетентны?

– Нет, это не по моей части, – ответил журналист. – Обратитесь к Нильсену, он дока.

– Где он?

– У нас он бывает редко, работает в кафе «Моряк», на набережной, и живет там же, на втором этаже... Если хотите – могу проводить. Как у вас, кстати, вечер?

– Занят, – ответила Криста и вышла из редакции – давящей, но в то же время какой-то по-особому веселой, полной шального треска машинок, гомона голосов и пронзительных звонков десятка телефонов.

Нильсен оказался стариком с копной пегих – то ли седых, то ли выгоревших на солнце – волос, в легком свитере и американских джинсах; обут, тем не менее, был в модные мягкие туфли, они-то и

рождали некоторое отчуждение между ним и посетителями кафе, которые и говорили-то вполголоса, стараясь не помешать асу журналистики, легендарному партизану и диверсанту, сидевшему здесь с раннего утра и до закрытия; отсюда – не убирая со стола рукописей – он уходил в редакцию и на радио, сюда возвращался на обед, поднимался к себе в мансарду, чтобы поспать среди дня (привычка с времен молодости, когда служил моряком на торгашах); никто не смел подходить к его рабочему месту; хозяйка, фру Эва, была счастлива такому знаменитому завсегдатаю, деньги брала за месяц вперед, но сущую ерунду, реклама стоит дороже.

...Выслушав Кристину, не перебив ее ни разу, не задав ни одного уточняющего вопроса, Нильсен достал из кармана своих широких джинсов трубку-носогрейку, набил ее крупнорезаным табаком, медленно, с видимым наслаждением раскурил и только после того, как сделал две крутые затяжки (явно молодой конь из отдела новостей взял у него манеру затягиваться, отметила Кристина, один стиль, хотя тот курит сигареты), наконец, поднял бездонно-голубые, совершенно юношеские глаза на женщину:

– Таких историй, как ваша, я знаю тысяч пять, милая моя... Нацизм рождает типическое, только свобода хранит образчики сюжетной индивидуальности... Чего вы хотите добиться вашей борьбой? Человечество мечтает забыть нацизм. Страшное всегда норовят выкинуть из памяти. Люди рвутся на концерты джазов и музыкальные вечера, где можно всласть натанцеваться... Если бы вы были писателем – это я понимаю! Нацизм – пища для интеллектуала, есть обо что точить свою ненависть, каждый художник ненавидит жестокость и конформизм; тоталитарное государство Гитлера было воплощением именно этих двух качеств; думаете, сейчас мало дерьма, в условиях многопартийной демократии?! О-го-го! Но ведь я не ее браню, любимую... А прошлое... Всегда удобно бранить прошлое... Вы называли людей в Испании и Португалии, которые вроде бы продолжают дело Гитлера... Доказательства? Факты? А вы уверены, что, если я отправлюсь туда, – хотя вряд ли, слишком дорого стоит билет, – они сразу же откроют мне правду?

– Они вздрогнут, – ответила Кристина. – Они – как пауки. А когда паук вздрагивает, видно трясение всей паутины...

– А у вас есть лаборанты, которые станут наблюдать за трясением паутины? Я допускаю, что она существует, но сколько вы наберете Дон Кихотов, которые готовы на драку? С силой можно бороться только силой. Она есть у вас?

Криста согнула руку, кивнула на плечо:

– Вот мои мускулы.

Нильсен усмехнулся, лицо его подобрело, сделавшись старым и дряблым. Отчего к старости люди делаются добрее, чем в зрелые годы, подумала Кристина, это закономерность, интересно бы посчитать, стыковавшись с биологами, они без нас, математиков, ответ на этот вопрос не дадут.

– Выпить хотите? – спросил Нильсен. – Выбор скуден, но наливают до краев.

– Мне надо в университет, там неудобно появляться пьяной.

– Кристиансен – ваш отец?

– Да.

– Мы пытались его отбить... Его доцент готовил операцию, мы хотели отбить вашего отца, когда его возили на машине из тюрьмы на допрос в гестапо, все было на мази, но потом забрали доцента, дело полетело кувырком...

Закурив, Кристина долго кашляла, потом спросила:

– А вы не сидели?

Нильсен покачал головой:

– Я – везун... Пил много... Пьяные – счастливчики. Я, милая фрёкен, пил от страха... Пять лет прожил в страхе, оттого сейчас и начал писать... Страх подвигает человека к фантазиям... Сколько их у меня в голове?! – Он пыхнул трубкой-носогрейкой. – Объясните, что изменится, опубликуй я список нацистов, которые укрылись от возмездия? Папен был оправдан трибуналом в Нюрнберге, а он лично передал портфель канцлера фюреру. Шахт оправдан, а он финансировал создание армии и гестапо. Их, правда, потом осудили в немецком трибунале, но это же чистой воды ужимки, западные немцы потирают руки: «вот у нас уже и свой суд есть!» Дерьмо не тонет... В политике выгодно сохранять монстров, глядишь, при неожиданном повороте курса пригодятся, политика похожа на калькулятор, любит счет...

– Скажите, адвокат Мартенс – честный человек?

– А что такое честность!? – Нильсен пожал плечами. – С точки зрения «буквы» его можно было лишить права на профессию, но если подойти к делу с прагматической точки зрения, то именно он спас стране десять патриотов, талантливых и добрых людей... Причем в Англии у него были родственники, он бы там не бедствовал, да и образование получил в Оксфорде, – в отличие от тех маленьких адвокатишек, которые и начали против него кампанию, отсидевшись в Лондоне... Нет, не знаю, как кто, а я к нему отношусь вполне спокойно, он оказался честнее многих, он хоть что-то делал...

– Спасибо. Если вы измените свою точку зрения на мое предложение о наци, позвоните, а?

– Я ее не изменю, милая фрёкен. А телефон давайте. Я очень люблю бывать в обществе красивых женщин... Нет, нет, я не о том, – это чисто эстетическое, красота помогает работе, а нет ничего совершеннее женской красоты в мире... Диктуйте...

Криста вдруг рассмеялась:

– Погодите, но я забыла номер телефона! Он отключен, я только-только вернулась... Можно, я позвоню сюда и скажу свой номер?

– Конечно. Я тут торчу круглосуточно... Позвоните, сразу же напрошусь в гости... И научу варить грог... Любите грог?

– Ненавижу, – ответила Кристина. – Терпеть не могу того, в чем есть примесь сахара. У меня мужские вкусы...

В университете ее сразу же восстановили в докторантуре: ах, Кристина, Кристина, все понятно, любовь, но разве нельзя было отправить телеграмму: «предоставьте отпуск на двадцать лет»?!

...Яхта стояла на том же месте, где Кристина оставила ее восемь месяцев назад; краска облупилась, но внутри было все в полнейшем порядке, даже медные поручни не очень почернели; сторож сказал, что он поглядывал за порядком: «Вы же молодые, в голове ветер, ну, ничего, доченька, пока есть на свете старики, можете безумствовать, нам скучно, когда нет дела, слишком навязчиво думается о смерти».

...Страховой агент, который просил называть его по имени (Роберт), заметил, что продавать сейчас яхту – чистое безумие: «Хороших денег не получите, а через пять лет таких корабликов не будет, сделано на заказ, лучшими мастерами; давайте застрахуем ее на четверть миллиона, хоть платить придется много, но уж лучше потом взять, чем сейчас потерять; в крайнем случае утопите, я научу, как это сделать, за риск уплатите пятьдесят тысяч, без меня ничего не предпринимать, дело может грозить тюрьмой».

В кино Криста не пошла, вернулась домой рано, письмо Роумэну написала без помарок, очень кратко: «Дорогой! Видимо, правильнее будет, если ты сам возбудишь дело о разводе. Ты прав: здесь тоже все сломаны. Мои попытки отомстить наталкиваются на мягкую стену плохо скрываемого непонимания или страха. Видимо, – снова ты прав – происходит то же, что и в Америке. Если захочешь, чтобы я вернулась к тебе, – напиши. Если ничего не напишешь, я буду ждать. Если же ты пришлешь телеграмму, заверенную юристом, что не возражаешь против продажи нашего дома и яхты, буду считать себя свободной. Я».

Через пять дней Пол прислал согласие на продажу дома и яхты, заверенное юристом студии «Юниверсал».

Дом купил господин Упсалл, предприниматель из Христиании; уплатил ровно столько, сколько просил адвокат Мартенс. Он же, Мартенс, подобрал Кристине двухкомнатную квартиру на третьем этаже, с окнами в парк, неподалеку от университета.

На телефонной станции Криста написала заявление об установке ей номера в новой квартире, поинтересовалась, может ли она выбрать себе те цифры, которые по душе: «Я математик, верю в значение суммы чисел»; ей любезно ответили, что, поскольку в действие вводится новая подстанция, просьбу фрёкен можно удовлетворить; номер был легко запоминающимся: 25-05-47; рано утром отправила телеграмму в Голливуд, Роумэну, сообщив о продаже дома; дату заполнения бланка проставила сама: «25 мая 1947 года».

...После того, как все формальности были соблюдены, Криста внесла деньги за страховку яхты. Мартенс выехал в Мюнхен, пообещав ей позвонить или написать через две недели: «Раньше не управлюсь, милая фрёкен Кристиансен».

ШТИРЛИЦ, ГАНС (Барилоче, сорок седьмой)

– Иди к ним, иди, – взмолился Ганс. – Это акулы, они набиты

деньгами и не умеют кататься, их перехватит дон Антонио, иди же, только ты можешь затащить их к нам!

– Не суетись, дурашка, – Штирлиц усмехнулся. – Если они американцы, а они, действительно, скорее всего американцы, подойди к ним сам, янки любят тех, кто говорит через пень колоду и с акцентом, им нравится все иностранное... Я их отпугну нью-йоркским акцентом, они своих боятся – те обдерут их за милую душу.

Ганс, не отрываясь от окошка, заросшего ледяным плюшем, посреди которого он выскоблил щелочку и расширил ее быстрым, пульсирующим дыханием, цепко наблюдал за тем, как семь человек – пять мужчин и две женщины, одетые по-американски, достаточно скромно и в высшей мере удобно, но явно не для горнолыжных катаний, – топтались на месте, поглядывая то на коттедж Отто Вальтера, то на прокатный пункт дона Антонио.

– Они меня не поймут, Макс, я же говорю по-английски с грехом пополам! И потом я смущаюсь, я не умею заманивать, это унизительно!

– Ну-ну, – сказал Штирлиц и поднялся. – Попробую. Пожелай мне ни пуха ни пера.

На улице было достаточно холодно, но ветер с Кордильер уже не задувал; значит, через час-другой солнце начнет припекать; снег прихвачен ледяной корочкой, кататься нельзя, унесет со склона, разобьешься о камни; пока-то американцев экипируешь, пока-то поднимешь на вершину, объяснишь, как надо плужить – спускаться, постоянно притормаживая, – установится погода, день будет отменным.

– Я вас заждался, – крикнул Штирлиц американцам издали. – Уже полгода жду! Всех катал – и англичан, и голландцев, и французов, – а вот настоящих янки не поднимал на вершину ни разу!

Седой крепыш, судя по всему старший, резко повернулся к Штирлицу:

– Вы американец? Здесь!? Какая-то фантасмагория!

Заметив, что к прибывшим во всю прыть гонит младший брат дона Антонио, сумасшедший Роберто, Штирлиц ответил:

– За рассказ о моей одиссее дополнительную плату не беру, пошли, я уже приготовил хорошие ботинки прекрасным леди – пятый и седьмой размеры, попробуйте спорить?!

Дамы не спорили; как истинные американки, раскованно и дружелюбно расхохотались, заметив, правда, что джентльмен им льстит, размеры чуть больше, шесть и семь с половиной, и первыми направились к прокатной станции Отто Вальтера.

– Они шли ко мне, Максимо, – прошептал сумасшедший Роберто, пристроившись к Штирлицу, который заключал шествие, словно бы загоняя американцев, будто кур, в сарай, широко расставив руки. – Это не очень-то по-соседски.

– Надо было скорей поворачиваться, Роберто. И не устраивай истерики – побью.

– Тогда они испугаются и уйдут от тебя.

– Верно, – согласился Штирлиц. – Пойдут к вам, увидят твою морду с синяками и тогда вообще побоятся ехать на вершину.

– Но ты хоть позволишь мне подняться вместе с вами?

– Я не могу тебе этого запретить, но объясняться-то я с ними буду по-английски, все равно не поймешь...

Роберто отошел, бормоча под нос ругательства; седой американец поинтересовался:

– Конкурент?

– Если знаете испанский, зачем спрашивать? – ответил Штирлиц.

Ганс встретил гостей, затянув ремень, как молодой кадет на параде, приветствовал их на чересчур правильном английском, осведомился, кто хочет кофе; есть напитки и покрепче; предложил сразу же начать примерять обувь...

Штирлиц сумрачно заметил:

– По поводу того, что «покрепче»... До спуска пить запрещено... Я – ваш тренер, меня зовут Мэксим Брунн, к вашим услугам, леди и джентльмены, кто намерен подняться на вершину?

– Все! – закричали женщины.

– Прекрасно, у моего босса, – Штирлиц кивнул на Ганса, – будет хороший бизнес. Ознакомьтесь с расценками за инвентарь. Лично я беру за день пять долларов с каждого, гарантирую, что за неделю вы научитесь скоростному спуску. Страховку не беру: фирма гарантирует, что вы вернетесь в Штаты с целыми ногами и тазобедренными суставами, – вообще-то, их ломают чаще всего, особенно люди вашего возраста, – обернувшись к женщинам, он добавил: – К вам это не относится, гвапы... «Гвапа», – галантно пояснил, – по-галисийски значит «красавица»...

– А что такое «ходер»? – спросила большеногая американочка, лет тридцать пять, веснушки, ямочки на щеках, в глазах – чистый наив, вполне естественно совмещенный с оценивающей деловитостью женщины, знающей толк в любовных утехах.

– Вы чья-нибудь дочка?! Джентльмены, кто отец этой очаровательной женщины? – Штирлиц улыбался. – Или вы жена? Лучше б, конечно, подруга, тогда бы я ответил правду.

– Мы жены, жены, – прокричали американки. – Я – Мэри, – сказала большеногая, – Мэри Спидлэм.

– А я – Хэлен Эрроу, – сказала маленькая, смуглая, стриженная очень странно, слишком коротко, чуть не под мальчика.

– Если вы жены, то пусть седой господин – мне кажется, он ваш предводитель – объяснит, что такое «ходер», – усмехнулся Штирлиц. – У меня язык не поворачивается.

Седой крепыш, понимавший испанский, смущенно ответил:

– Девочки, это слово идентично нашему «заниматься любовью».

– Не верно, – Штирлиц покачал головой. – Зачем говорите неправду? Это идентично нашему «фак»[1], девушки. В горах надо все называть своими именами... Ладно, к делу... Кто из вас хоть раз стоял на лыжах?

Перестав хохотать над разъяснением Штирлица, Мэри и Хэлен отрицательно покачали головами; седой, укоризненно поглядев на присутствующих, заметил:

[1] Американский нецензурный жаргон

– Нужно ли все называть своими именами?

– Наш инструктор мистер Брунн, – быстро заговорил Ганс, стараясь исправить неловкость, – настолько силен на склонах, что ему здесь прощают все... Они психи, эти тренеры, настоящие психи, но что мы без них можем?

– Мистер Брунн не псих, – Хэлен сбросила куртку. – Просто он любит точность. И мне это нравится. Правда, Эрни? – она обернулась к высокому мужчине в клетчатой куртке. – Ты согласен?

– С такой женой, – усмехнулся Штирлиц, – ни один муж не рискнет не согласиться... А вообще-то, леди и джентльмены, я вас проверял: я вожу на склон только тех людей, которые не выпендриваются... Иногда ведь начинающих горнолыжников надо – за грубые ошибки – ударить палкой по попе, как детей, и это по правилам, иначе не научитесь... И это надо простить тренеру, потому что горные лыжи есть некий момент любви и самоутверждения, вы в этом убедитесь через час... А теперь все, хватит болтовни, дамы раздеваются первыми в комнате наверху, берут брюки и куртки, я поднимаюсь к ним с ботинками через пять минут, мужчины – так и быть – раздеваются при мне...

...На вершине было холодно, нос Ганса сразу же сделался сосулистым, но капля, которую так ждал Штирлиц все эти недели, что они работали вместе, так и не появилась, он так хитро дотрагивался до щек перчатками, запрокидывая голову, или, наоборот, резко присаживался, вроде бы поправляя крепления, что успевал смахнуть ее совершенно незаметно; раньше Штирлиц потешался над этим, сегодня начал анализировать каждый жест молодого хефе; он вообще сегодня смотрел на Ганса по-новому, очень цепко и – поэтому – внешне совершенно не обращал на него внимания.

– Между прочим, я вам не представился, – сказал седой коротыш, опустив уши своей шапочки. – Меня зовут Дик Краймер, я работаю в сфере рекламы... Нашу поездку финансировал нью-йоркский филиал лондонской туристской фирмы «Кук и сыновья»...

– Намерены прославлять наши восхитительные склоны? – сразу же заинтересовался Ганс. – Я готов передать вам, совершенно безвозмездно, материалы об уникальном озере Уэмюль, об его индейском изначалии...

– Изначалие у него вулканическое, – буркнул Штирлиц, и американцы весело рассмеялись: эта нация не терпит угодничества и не считает нужным хитрить по мелочам.

Ганс посмеялся вместе со всеми, но в глазах у него промелькнуло то, прежнее, что Штирлиц прочел во время их первой встречи; тем не менее этот человек умеет проигрывать, отметил он, и обладает отменной выдержкой; сумасшедший Роберто полез бы с кулаками, а как же иначе, над ним смеялись сеньорины, смех – оскорбление для кабальеро, все по правилам...

– Безвозмездно никто ничего не передает, – продолжал между тем Штирлиц, поглядывая на облака, которые становились все более высокими, легкими; в них угадывался розовый цвет, значит, они

вот-вот разорвутся и выглянет солнце. – Безвозмездно – значит неинтересно. Или, хуже того, лживо. Правда, мистер Краймер?

– Вообще-то да, мы не очень верим в безвозмездность, когда речь идет о бизнесе, – согласился тот. – Но если там всякие фонды и пожертвования, то это, конечно, другое дело.

– Э, бросьте, – Штирлиц махнул рукой, – фонды не облагаются налогом, можно спрятать десяток миллионов долларов от ищеек из финансового ведомства, да и потом реклама, связанная с благотворительностью, даст неплохую прибыль, нет?

– Вы американец, – утверждающе заметил Краймер. – Не отказывайтесь.

– А кто сейчас отказывается от вашего зеленого картона? Победители, денег тьма, девушки, – Штирлиц кивнул на Мэри и Хэлен, которые прилаживали лыжи, – хорошенькие, дурак откажется... Ладно, хватит болтать! Представители мистера «Кука» должны оценить своими задницами крутизну, а вы неверно приладили лыжи, давайте помогу.

Он опустился перед женщиной на колени, взял ее левую лодыжку, вогнал ботинок в крепление, затянул и вдобавок обвязал кожаной тесемкой; в сумочке, которая служила ему одновременно и поясом, у него были медикаменты, ремешки, мазь против ожога и плоская фляжка со спиртом.

– Теперь не жмет? – спросил Штирлиц. – Удобно?

– Было бы прекрасно, наладь вы мне и правую ногу таким же образом.

Штирлиц поднял голову; зрачки у женщины стали громадными, подрагивающими; неужели кокаин, подумал он, или муж опостылел; роман на склоне, отдушина на полгода, будет что вспомнить; все же женщины тоньше нас, они подданные чувства, их безрассудство окаяннее нашего, а потому поэтичнее.

Штирлиц приладил ей и правую ногу, поднялся, задрал голову и крикнул:

– Солнце, давай! Время!

И, послушное ему, солнце разорвало радужные, легкие тучи; американцы дружно зааплодировали.

Ганс шепнул:

– Ну и сукин же ты сын, Макс.

– Мальчик, зависть погубила Сальери, а он был довольно одаренным композитором... Ну, «кукины дети», – Штирлиц обернулся к американцам, – признавайтесь, кто из вас хоть раз стоял на лыжах?

– Один раз я корячился, – сказал Краймер. – Но у меня ничего не вышло...

– Где это было?

– В прошлом году в Австрии, около Теплицзее, я там кончал армейскую службу...

Штирлиц посмотрел на Ганса; тот, однако, не спросил, в каком это месте было, кто тренировал, где останавливался американец; поди ж ты, а как много рассказывал про тамошние склоны; впрочем, катается он отменно плохо, так что, быть может, не хочет позориться передо мною.

– Кто вас тренировал? – спросил Штирлиц.

– Какой-то паршивый Фриц, наверняка эсэсовец, они все эсэсовцы, эти поганые фрицы...

– Это уж точно, – согласился Штирлиц, – что верно, то верно, особенно Бах и Моцарт...

Мэри засмеялась:

– Дик, вас умыли холодной водой из-под крана... Мой дедушка, кстати, был фрицем, самый настоящий немец из Гамбурга...

– Ладно, – Штирлиц отчего-то вздохнул. – Объясняю, как надо спуститься с этого склона живым. Все зависит от того, как вы меня будете слушать. Сначала давайте разберемся с палками. Смотрите, как надо продевать руку сквозь тесемки... Поняли? Если потеряете на склоне палку, то не сможете подняться, когда шлепнетесь. А это – конец, особенно после того, как задул ветер... Здесь это происходит в минуту: ясное солнышко, благодать, как вдруг заметет, ни зги не видно и ни хрена не слышно... Замерзнете за милую душу...

– Ну вас к черту, – сказал долговязый муж Мэри. – Вы инструктируете нас, словно мы приехали в крематорий.

– Простите, сэр, больше не буду, – смиренно ответил Штирлиц. – Но если вы потеряете палки и замерзнете, мне придется сопровождать вашу жену в ее траурном турне до Нью-Йорка... Я не хочу этого, право... Если же вам вообще не нравится моя манера – валяйте вниз и бегом к нашему конкуренту, сумасшедший Роберто станет спускать вас на руках, как Дюймовочку...

– Ты несносен, – сказала Мэри своему долговязому. – Мистер Брунн обладает – в отличие от тебя – чувством юмора. У тебя какая-то страсть делать всех людей похожими друг на друга... Продолжайте, Мэксим! Посмотрите, я правильно просунула кисть, чтобы не потерять палку?

– Вы умница. Прирожденная горнолыжница, – кивнул Штирлиц и обернулся к остальным. – Ну-ка, все поднимите руки! Молодцы! Понятливые. Теперь давайте-ка поглядите, что такое плуг... Это – основа основ первого дня обучения... Спуск с торможением – я это называю «плугом»... Вот, я поехал, наблюдайте!

Он оттолкнулся палками, чуть согнул ноги, словно приготовившись к прыжку, слегка развел их и, чуть не упершись кончиком правой лыжи в левую, начал соскальзывать вниз, придавливая опорную ногу так, что еле-еле ехал по довольно крутому склону, будто какой незримый тормоз сдерживал его там, где по всем законам физики человека должно нести вниз с устрашающей, всевозрастающей скоростью.

– Видите, – кричал Брунн, обернувшись к американцам, – смысл в том, чтобы держать корпус развернутым к склону, постоянно чувствовать ноги, собранность спины и радоваться тому, что вы управляете скоростью, а не она вами!..

– Камни! – закричала Мэри. – Вы врежетесь в камни!

– Я не врежусь в камни, – ответил Штирлиц, продолжая спускаться, – я приторможу, я помню, что в тридцати метрах должны быть камни, но я не боюсь их, потому что я разведу лыжи пошире

и спокойно остановлюсь на самом крутяке! Вот здесь. Стоп! Видите, как легко я остановился? Понятно, как надо катить вниз моим плугом?

– Понятно, – прокричали американцы, только долговязый муж Мэри промолчал.

– А ну, валяйте ко мне! – скомандовал Штирлиц. – По очереди. Дик, начинайте, вы ж катались в австрийских Альпах? Вперед!

– Боюсь! Меня может понести. Вы зачем-то выбрали слишком крутой склон, – ответил Краймер. – На какой бок падать?

– Я вам запрещаю падать! Отталкивайтесь палками! Так! Молодец! Хорошо! Больше разводите ноги! Еще больше! Жмите на опорную лыжу! Еще! Еще! Еще! Молодец! Ну-ка, остановитесь! Вам не нужна левая нога! Поднимите ее чуток! Браво! Навалитесь на правую лыжу! Поворачивайте вверх! Молодец, Дик!

Краймер остановился возле него; лицо покрылось капельками пота, цепкий мужик, другой бы грохнулся, спуск, действительно, крутоват.

– Мэри, давайте вы!

– Боюсь, – прокричала американка.

– Все женщины боятся первого раза, а потом за уши не оттащишь, – Штирлиц хмыкнул. – Вперед! Молодец! Садитесь на попу! Ниже! Еще ниже! Ноги плугом! Отводите правую! Жмите на нее! Правую, говорю, правую! Носки вместе! Поворот на склон! Молодец, девочка! Браво!

Хэлен, конечно, шлепнулась сразу же; Штирлиц ожидал этого, малышка прежде всего думала о том, как она смотрится со стороны, а горные лыжи этого не терпят. Действительно, это настоящая, всепожирающая страсть, ей отдают себя без остатка, в противном случае получается сделка, пакость, брррр!

Штирлиц подскакал к ней по-оленьи, легко, вспомнил лицо колдуньи Канксерихи; ай да Шиббл, спасибо ему, все же шпионы добрые люди; чей только он шпион, неужели братство начало вербовать англичан? Побежденные подчиняют себе победителей? Парадокс нынешнего времени.

– Ушиблись, Хэлен? – спросил он, склонившись над женщиной. – Больно?

– Страшно, – ответила та, протягивая ему горячую, податливую ладонь.

– Ну, это ерунда, это вы себе вбили в голову... Поднимайтесь... Вот так... Ноги трясутся?

– Еще как, – сказала Хэлен, не отпуская его руки.

– Пройдет. Постоим минуту, отдышимся, и поедете следом за мной, повторяя каждое мое движение, ладно?

– Какая-то я неспособная к этим чертовым лыжам...

– Таких нет. Все к ним способны... Только одни научились спускам, а другие не рискнули. В жизни надо рисковать раз шесть, от силы семь. И одним из этих семи раз должен быть риск на склоне... Если вдруг стало очень плохо, надо плюнуть на все, одолжить денег и уехать в горы... Поверьте, голова и сердце отдыхают, только когда спускаешься по склону... Ни о чем другом не думаешь, кроме того,

как бы спуститься половчей... Такой отдых мозгу и сердцу необходим... И дают его горные лыжи, ничего больше. Отдышались?

– Вроде бы да.

– Ноги не трясутся?

– Перестали... Когда вы рядом – не страшно.

– Ну, валяйте за мной, повторяйте каждое мое движение, договорились?

– Не получится...

– Дам палкой по заднице – получится. Пошли, девочка, пошли!

...Остальные спустились без приключений; Чарльз, муж Мэри, разогнался, ехал деревянно, но, видимо, раньше занимался коньками; стойкость почти профессиональная; затормозил, точно скопировав манеру Штирлица.

– Поздравляю с боевым крещением, – прокричал Ганс, спустившийся последним, раскорякой. – Я поражен, как все лихо скатились! Вы наверняка тренировались перед поездкой в Барилоче, правда, Макс?

– Скатились они чудовищно, – ответил Штирлиц, – трусили, и особенно Чарльз, который более всего опасался выглядеть смешным...

– Ничего подобного, – сказал Чарльз, и какое-то подобие улыбки промелькнуло на его сухом лице. – Просто я не хочу, чтобы вы сопровождали мою жену в траурной процессии. К мужчинам вашего типа женщины льнут. Видимо, существует своя выгода в том, чтобы родиться хамом...

– Ну и неправда, – Штирлиц тоже улыбнулся. – Хорошо быть горнолыжником, особенно инструктором... Женщины любят инструкторов... Они вообще преклоняются перед теми, кто умеет делать то, чего не могут окружающие, правда, Хэлен?

Та вздохнула:

– Вы обратили вопрос не по адресу. Спрашивайте Мэри. А вот как я спущусь с этого ужасного крутого склона – не знаю. Лучше бы мне забраться наверх и вернуться в долину на фуникулере.

– А он вниз не везет, Хэлен, – сказал Штирлиц. – Так что придется катить за мной... Сейчас мы поучим с вами легкие повороты, главное – научиться тормозить и не разгонять скорость, как Чарльз. Все остальное – завтра...

...В долине, когда вернулись в домик Отто Вальтера, – счастливые, разгоряченные, мокрые, обгоревшие под солнцем – Штирлиц достал бутылку чилийской «агуа ардьенте»[1], разлил по чашкам и стаканам, предложил выпить за Мэри и Хэлен – «будут кататься по первому классу» – и порекомендовал заказать обед у Манолетте: «Самая вкусная и при этом достаточно дешевая еда, никто не делает такую парижжю[2], как испанский итальянец, да и вина у него отменные».

Предложение приняли, Штирлиц отправился к Манолетте, старик обрадовался – пять дней будет хороший заработок, ринулся разжигать угли для парижжю, позвонив при этом племяннику: «Гони что есть сил!»

[1] «Горячая вода» *(исп.)*.

[2] Жареное мясо *(арг. жаргон)*.

– И пусть прихватит с собой какого-нибудь чико[1], – попросил Штирлиц, – который хочет заработать пару долларов, но при этом умеет держать язык за зубами...

– Что нужно сделать чико? – поинтересовался Манолетте, передав племяннику просьбу друга.

– Знаешь, Ганс все-таки большая скотина, – ответил Штирлиц. – Он хочет взять всех моих учеников на себя... По-моему, он сегодня попрется в отель к этим «гринго»... Если не сегодня, то уж завтра наверняка, и возьмет с них деньги за обучение... А я не люблю, когда меня дурят, ты знаешь... Вот мне и надо, чтобы верный чико поглядел за Гансом... Сегодня, завтра, словом, все те дни, пока эти долбанные «гринго» живут здесь, а я дурю их на склоне...

...В отель после обеда Штирлиц проводил американцев сам; Чарльз надрался, на ногах не стоял, пришлось волочь его на себе до автобуса; Мэри вздохнула:

– Мэксим, а что мне с ним делать, когда этот чертов драндулет остановится? Чарльз обычно засыпает после крепкой п о д д а ч и. Давайте затащим его в номер вместе, а?

– С вами я готов затащить его даже в преисподнюю, – ответил Штирлиц и, сев рядом с нею в автобусе, сказал Гансу, который намеревался пристроиться рядом, чтобы тот протер лыжи и посушил инвентарь: «Завтра начнем кататься с самого утра».

– А ты разве не вернешься? – удивился Ганс.

– Дели всю выручку пополам – тогда вернусь, – усмехнулся Штирлиц и обратился к шоферу Пепе: – Трогай, парень. Не застуди этих янки, они платят хорошие деньги, поэтому их надо любить...

...Чарльза затащили не без труда; действительно, он уснул сразу же, как только автобус начал спуск в долину, к озеру, к тем двум островам, на которых день и ночь велось строительство атомного реактора штурмбанфюрера СС Риктера...

...В отеле р а з о ш е л с я Дик Краймер; остальные янки были довольно сдержанны, сразу же отправились спать; седой пригласил Штирлица в бар: «Мне нравится, что вы не увели к себе Мэри, она же отдается вам глазами! Молодец, вы мужчина! Только паршивые дачи[2] режут подошвы на ходу, вы ведете себя, как джентльмен; угощаю я; ужинаем вместе».

Именно за ужином, когда Краймер окончательно размяк, хотя головы не терял, мужик крепкий, Штирлиц и задал ему вопрос:

– «Куки» профинансировали вам поездку только в Аргентину?

– Да. Именно в Барилоче. Уникальный горнолыжный курорт, катают именно в те месяцы, когда у нас солнце, представляете, сколько сюда можно отправить людей на июньские, з и м н и е катания?

---

[1] Паренек *(исп.)*.

[2] Итальяшки *(ам. жаргон)*.

– А если за одну и ту же сумму «Куки» предложат туристам поездку в две страны?

Краймер удивился:

– Какой смысл, Мэксим? За две страны надо брать именно как за две! Вы же сами говорили о вреде безвозмездности...

– А я и не предлагаю устраивать благотворительный тур. «Куки» должны уплатить нам за идею, а мне, в довершение ко всему, дать эксклюзивное право на обмен валюты своим клиентам.

– Что-то я вас не понимаю, – Краймер потер лицо ладонями.

– Ну и хорошо, что не понимаете. Значит, я не дурак, это только дурака можно понять сразу... Если хотите, завтра зайдем к адвокату и заключим сделку: «Куки» рекламируют тур в две страны за цену, которую брали за посещение одной, а я организовываю катания в двух странах... Деньги делим поровну. Первый взнос – пять тысяч долларов. Четыре – мне, одну – вам, точнее, вы мне платите четыре, потом сочтемся доходами.

– Нет, я вас не понимаю, – Краймер выпил две таблетки аспирина. «Хочет протрезветь, почувствовал жареное, дурак не почувствует, дело пахнет большими деньгами».

– А вы подумайте, Дик. Я отвечаю за реализацию идеи, вам только надо приготовить мешок для денег, ничего больше... Всю практическую работу я беру на себя. Хотите серьезно говорить – заключаем соглашение у адвоката Гутоньеса, он здесь главная шишка, мужик с головой, не хотите – не надо, найду другого клиента.

– Вы не верите мне? Не хотите объяснить дело? Как же я могу заключать с вами сделку, не зная, что вы продаете?

– Если вы готовы заключить сделку, идею я выложу у адвоката, – это справедливо, согласитесь...

– Но вы заломили баснословную цену за идею... Четыре тысячи – это нереально!

– Нереально, так нереально, – согласился Штирлиц. – Разве я спорю? Я никогда никому не навязывался, Дик. Я живу так, как мне нравится... Загораю, катаюсь на лыжах и занимаюсь любовью с женами, озверевшими от своих пресных мужей... Очень удобно и никаких трат, они же еще и поят... Ладно, я пошел спать и вам советую... Завтра буду гонять по самому крутому склону...

– Нет, погодите, так не годится, – рассмеялся Краймер. – Вы меня разожгли, а теперь делаете бай-бай ручкой? Это не по-мужски. Я готов купить вашу идею за тысячу баксов, одну идею, это хорошая сделка...

– Ну и заключайте ее с вашим Чарльзом, – ответил Штирлиц и поднялся.

Сговорились на двух тысячах: «К адвокату пойдем завтра, после катания, там и решим все окончательно».

Ночью Штирлиц вернулся к Манолетте, старик уже был в кровати:

– Этот твой Ганс не подваливал к «гринго», Максимо... Он пошел на калле де Чили, второй этаж, контора сеньора Рикардо Баума, ты должен знать его сына, старик занимается транспортировкой красного дерева из Пуэрто-Монта, к ним зашел Чезаре Стокки, он вожжается с этими сумасшедшими физиками, что торчат на островах, а оттуда слинял домой...

Кемп говорил Штирлицу про человека, занимающегося в Барилоче торговлей красным деревом из Чили; имени не знал, но подтвердил, что это резидент Гелена; Стокки был коллегой Мюллера в Риме; вот что значит врать по малости, милый, маленький Ганс! «Я не умею завлекать иностранцев, Макс, это унизительно!» А что же ты нес в первый день нам с Манолетте про то, как заманивал американских солдат в свою венскую контору по сдаче в наем гражданской одежды?!

Неужели и Отто Вальтер включен в систему Гелена? Не может этого быть. Он сказал, что Ганс какой-то племянник двоюродной сестры... Какой к черту племянник?! А если и племянник? Он вполне может быть здесь не тем, кем был дома: Гелен учил своих людей конспирации с первой минуты, – когда еще принимал решение взять человека на службу в отдел армии «Восток» вермахта Адольфа Гитлера; чистая замена, поди, проверь, Вальтер не был в Европе с двадцать девятого!

У адвоката Гутоньеса перед тем, как идти ужинать (катались отменно; Мэри дважды шлепнулась, но оба раза сделала это для того, чтобы Штирлиц, обняв ее, помог встать), составили соглашение: «Я, Макс Брунн, и я, Ричард Краймер, заключили настоящее соглашение о том, что фирма «Кук и сыновья» может продавать за прежнюю цену тур в Аргентину (Барилоче) и Чили, то есть в две страны, рекламируя семидневную поездку как горнолыжную (пять суток) и рыболовную – Чили, порт Пуэрто-Монт (двое суток). В случае, если «Кук и сыновья» (или же другая туристская фирма) заинтересуется предложением за одну цену организовать посещение двух стран, Макс Брунн и Ричард Краймер должны получать – паритетно – три процента с прибыли и обладать исключительным правом обслуживать туристов и проводить обмен долларов на местные валюты.

Идея Макса Брунна оплачена Ричардом Краймером двумя тысячами долларов, которые депонированы на счет «Банко де Архентина» и не могут быть сняты вплоть до сообщения Ричарда Краймера о том, что предприятие начато. В случае, если ни одна из туристских фирм не заинтересуется такого рода предложением, Макс Брунн имеет право получить одну тысячу долларов, и одна тысяча будет перечислена на счет 52678 в «Нэшнл Сити бэнк», отделение в Сан-Франциско, на имя Ричарда Краймера, что вменено в обязанность совершить Хосе-Аделаида-Аугусто-Эсперанса-и-Мирасоль Гутоньесу».

Дата, подписи, печать, документ – все по форме.

...Провожая американцев на аэродром, Штирлиц незаметно сунул в карман Краймера записку:

– Это адрес женщины, которая меня когда-то любила. Если вы поймете, что наше дело перспективно, тогда я позвоню вам и попрошу отправить этот проспект горно-лыжного тура за одну цену в две страны моей подруге. Только в конце допишите: «Если вы остановитесь в отеле «Анды», он будет у вас на следующий день». И все. Не приедет – значит, не судьба, приедет – буду счастлив.

Тот кивнул, вздохнув:

– Меня тревожит во всем этом деле, Мэксим, то, что вы романтик... Такие губят бизнес... В нашем деле нужны люди, скрепленные семьей, постоянной любовницей и необходимостью вносить ежемесячные взносы за строительство нового дома с подземным гаражом – сейчас это входит в моду – и бассейном посреди гостиной...

1

Строго секретно,
в одном экземпляре!

Его превосходительству
генерал-лейтенанту
Армандо Виго-и-Торнадо.

Ваше превосходительство!

Поскольку Вы, любезно инструктируя меня в Мадриде накануне моего возвращения в Буэнос-Айрес, изволили подчеркнуть, что наблюдение за «объектом М. Брунн» ведут в основном наши друзья из «Организации генерала Верена», то на мою резидентуру возлагается исследование контактов «объекта» в основном с испанцами (если таковые будут зарегистрированы), я отдал соответствующее распоряжение моему представителю в Барилоче.

При этом я посчитал возможным запросить представительство в Барилоче сообщить мне все материалы, собранные ранее по интересующему «объекту».

Из данных выборочного наблюдения явствует, что «объект М. Брунн» не проявляет видимого интереса к строительству, развернутому на острове. (К чести аргентинской службы безопасности, здесь проведены такого рода маскировочные работы, которые не дают возможности составить истинного представления о происходящем, если, конечно, речь идет не о профессиональном атомном физике.)

Более всего «М. Брунна» интересуют горнолыжные трассы.

Одним из первых, кого он посетил в Барилоче, был Отто Мейлинг, прибывший сюда еще в 1929 году, построив вместе с Гербертом Тутцауэром первый приют «Серро Отто», положивший начало лыжным трассам в окрестностях Барилоче.

Поскольку разговор с сеньором доном Отто Мейлингом «М. Брунн» провел во время прогулки по склону, записать его не удалось, однако мои сотрудники зафиксировали еще двух наблюдавших за встречей, – судя по одежде, это были австрийцы или немцы.

Затем «М. Брунн» посетил приюты «Серро Дормильон», построенный в 1934 году братьями Майерами, а также «Серро Лопес» и встретился с сеньором доном Х. Неумейром, построившим свой приют в конце марта 1945 года.

«Объект М. Брунн» повстречался с президентом «Клуба Андино Барилоче» Эмилем Фреем, избранным президентом горнолыжного клуба в 1937 году, каковым он остается и по настоящее время, принимая всех немцев, прибывающих сюда, перед тем как распределить их на жительство. Эти вопросы Фрей постоянно консультирует с одним из ветеранов горнолыжной ассоциации сеньором доном Гансом Хильдебрандтом и фотографом сеньором доном Рейнардом Кнаппом.

В течение двух недель «объект М. Брунн» совершал прогулки, знакомясь с местностью, ни разу не приближаясь к секретному строительству на озере.

Он вполне профессионально, как опытный альпинист, поднялся на высочайшую вершину (3554 метра) «Тронадор», затем совершил спуски с вершин «Пунта Принсеса», «Пунта Невада», «Пунта Рефухио», «Рефуджио Лион» и «Пиедра дель Кондор». Следует отметить, что лыжные спуски он совершал лишь по маршрутам, представляющим особую трудность, – «Дель Секундо Ломо» и «Де ля Пальмера».

После того, как «объект Брунн» с помощью австрийского эмигранта Отто Вальтера (левая ориентация) получил работу в качестве инструктора горнолыжного спорта на его прокатном пункте, он совершил поездку вокруг озера Науэль-Уапи и остановился в городке Вилла Ла Ангостура, на дороге «Семи озер», в пансионате «Маленькая Германия»; все это время его сопровождали два человека, представляющие неизвестную нам секретную службу, работу вели высокопрофессионально, хотя «объект М. Брунн» не проявлял никакого беспокойства, ни разу не проверился и не предпринимал шагов, чтобы оторваться от наблюдения, – даже если допустить, что он его заметил.

В следующее воскресенье он отправился на автобусе (через перевал «Пуеуе») в Чили, где остановился в городе Пуэрто-Монт. Поскольку это поселение, как и Барилоче, основано немцами, «объект» в основном разговаривал на немецком или английском языках, что не давало возможности нашим людям понять вопросы, особо интересовавшие «М. Брунна».

Около двух часов «объект» провел на уникальном рыбном рынке «Анхельмо», где представлены наиболее экзотические дары моря, – излюбленном туристском месте. Затем он переплыл на лодке (принадлежит рыбаку Франсиско Рабалю) канал и провел два часа на острове Тенгло,

где обедал в остерии «Бремен», купленной сеньорой Ильзе Ульман, которая прибыла сюда в 1942 году, после того как ее кофейные плантации в Никарагуа были конфискованы президентом Сомосой, – в связи с объявлением Никарагуа войны странам «оси». Разговор «объекта» с сеньорой Ульман зафиксировать не удалось, ибо он проходил на немецком языке.

Через месяц «объект» совершил путешествие в Сан Мартин де лос Андес, где остановился в отеле «Соль де лос Андес» и совершил спуски по наиболее трудным горно-лыжным трассам в районе «Серро Чапелько».

В Барилоче «объект» в основном посещает Библиотеку Сармьенто, Музей Патагонии, кинотеатр «Колизей» и «Клуб гольф». Несколько раз он побывал в ночном клубе «Крису», но ни с кем в контакт не входил, лишь обменивался бытовыми репликами с соседями, известными наблюдавшим.

Хозяин дома, у которого «объект» снял мансарду, ничего подозрительного в поведении «М. Брунна» не замечал, однако в те дни, когда «объект» ночует в городе, а не на склоне, в пункте проката «Отто Вальтер», где он проводит большую часть времени, «М. Брунн» совершает длительные прогулки перед сном (с десяти до двенадцати часов ночи) иногда заходит в бар «Мюнхен», где, как правило, заказывает жидкий шоколад, ни с кем в контакт не входит, обмениваясь лишь несколькими фразами, которые не могут расцениваться как пароль или отзыв для связи.

Поскольку Вы, Ваше превосходительство, поручили мне наблюдать лишь за испанскими связями «М. Брунна», я не могу сообщить о такого рода контактах, ибо в основном «объект» общается с местным населением, редко – с немцами и американцами, приезжающими сюда в качестве туристов.

Однако позволю себе высказать предположение, что наши друзья из «Организации Верена» или же их бывшие коллеги по четвертому управлению РСХА, обладающие ныне серьезными возможностями на континенте, могут иметь (или же имеют) исчерпывающую информацию о «М. Брунне». Моим представителям в Барилоче было бы значительно проще работать, если бы наши друзья нашли возможным поделиться информацией об интересующем объекте.

Арриба Испания![1]

Искренне Ваш
Хосе Росарио,
резидент секретной службы в Аргентине.

[1] Официальное приветствие франкистской фаланги

2

Строго секретно! Директору «Организации»
Государственная тайна! г-ну Верену

Мой дорогой генерал!

Резидент в Аргентине Хосе Росарио, человек, в котором я абсолютно уверен (он прошел двухлетнее обучение в рейхе в 1940-1941 годах в «отделе-42», специализировался в четвертом подразделении РСХА, получил самую высокую оценку покойного группенфюрера Мюллера) прислал мне сообщение о «Брунне», интересующем Ваших сотрудников.

Несмотря на то, что тревожных фактов моя служба до сих пор не зафиксировала, Росарио просит об откомандировании в его распоряжение человека, знающего немецкий и английский языки, чтобы можно было вести не только визуальное, но и общее наблюдение, включающее прослушивание его бесед, даже со случайными контактами.

Конечно, я мог бы откомандировать Росарио такого человека, да и он обладает достаточно квалифицированной немецкоговорящей агентурой в Буэнос-Айресе, однако я не хочу принимать решение, не посоветовавшись с Вами.

Буду рад получить от Вас сообщение.

С пожеланием всего самого лучшего,
искренне Ваш *Армандо Виго-и-Торнадо*,
генерал-лейтенант.

Мадрид.

3

Испания, Мадрид,
Пуэрта-дель-Соль.

Строго секретно!

Мой дорогой друг!

Я был сердечно тронут, получив Ваше в высшей мере любезное послание.

«Объект», интересующий нас в известном Вам пункте, является высокоподготовленным профессионалом. Именно поэтому наблюдение за ним должно носить скользящий характер, – до того момента, пока он не начнет активные действия.

В том же, что он их начнет, у моих коллег нет сомнений.

Именно тогда и потребуется окружающее наблюдение.

Поэтому сейчас, до того момента, пока «объект» не начал действовать, всякая активность может лишь насторожить его.

Поэтому, принося Вам самую глубокую благодарность и свидетельствуя почтительное уважение, прошу сориентировать резидента Хосе Росарио в том смысле, чтобы он держал своих людей в постоянной готовности, но никак не форсировал активных мероприятий.

Для Вашего сведения: «объект» провел двухчасовую беседу с сеньорой Ильзе Ульман о судьбе несчастных немцев, брошенных президентом Никарагуа г-ном Сомосой в концлагеря после начала войны США против Гитлера и японского императора, а также покойного Муссолини.

Поскольку немецкое проникновение в Центральную Америку началось значительно позже, чем в Аргентину, Венесуэлу и Чили, – Вы, видимо, знаете, что наш консул в Гватемале Карл Фридрих Рудольф Клее только в 1941 году отправил в Берлин сообщение о Никарагуа, – «объект» интересовался судьбой моих соотечественников, чьи кофейные плантации были захвачены президентом Сомосой в 1941 году, причем в первую очередь его интересовала судьба г-на Петера из провинции Карасо, который владел имуществом, оценивавшимся в триста тысяч долларов, плантаторов из Манагуа Гильермо Йерико (сто тысяч долларов), Альберто Петерса (двести тысяч долларов), Юлиуса Балке (двести тысяч долларов), Пауля Громайера (сто тысяч долларов), Франца Брокманна (сто тысяч долларов), Карла Бергмана из Сан Хуана дель Норте, владевшего недвижимостью, оцененной в пятьдесят тысяч долларов, Пауля Шуберта и Гео Мориса из департамента Леон, обладавших недвижимостью, оценивающейся примерно в пятьдесят тысяч долларов.

Поскольку президент Никарагуа г-н Сомоса, захвативший все кофейные плантации, принадлежащие немцам, не пускает в страну ни одного из тех немцев, кто был выдан им властям США и Канады и депортирован в концентрационные лагеря, мы были бы чрезвычайно признательны, если бы Ваши службы помогли установить местонахождение указанных выше лиц, чтобы мы могли войти с ними в контакт, ибо мы намерены в ближайшем будущем обсудить с президентом Сомосой вопрос о возмещении убытков, нанесенных лицам немецкой национальности.

Нас также интересует местонахождение именно этих лиц еще и потому, что мы не исключаем возможности контакта «М. Брунна» или же его сообщников с указанными выше лицами: все, чем интересуется «объект», продиктовано вполне прагматическими соображениями.

Остаюсь, Ваше превосходительство,
Вашим искренним, давним другом,
генерал Верен.

Мюнхен.

4

Г-ну Р. Макайру.

Строго секретно!

Дорогой друг!

Мои контакты до сих пор не зафиксировали активности интересующего Вас лица в Барилоче.

Люди «Организации», которым поручена реализация разработанной комбинации, также не смогли подтвердить какой-либо активности «объекта» или же его попыток выйти на связь с известными Вам лицами, проживающими ныне в Голливуде.

Поскольку «объект» весьма квалифицирован, не сочтете ли Вы целесообразным санкционировать его нейтрализацию, чтобы исключить возможность какой бы то ни было случайности?

Искренне Ваш
Верен.

Мюнхен.

5

«Организация»,
г-ну Верену.

Генерал!

Продолжайте наблюдение за интересующим нас «объектом».

Видимо, связь с людьми, проживающими ныне в Голливуде, он будет осуществлять через третьи страны.

В силу известных Вам причин, вызванных достаточно жесткой политикой против генералиссимуса Франко, навязанной ООН русскими, мы лишены возможности поддерживать контакт с секретной службой в Мадриде.

Именно поэтому я рассчитываю на Ваше сотрудничество с коллегами в Испании и, особенно, с резидентурой г-на Росарио в Буэнос-Айресе.

«Объект» представляет стратегический интерес, и его нейтрализация в настоящее время нецелесообразна. Он должен быть схвачен с поличным, улики против него обязаны быть такими, чтобы факт его шпионской деятельности на Южноамериканском континенте ни у кого не вызвал ни малейшего сомнения.

Просил бы также выяснить, используя Ваши испанские возможности: что за строительство разворачивается аргентинским правительством в районе Барилоче?

Дружески,
Макайр.

Вашингтон, Лэнгли.

6

Г-ну Р. Макайру,
Лэнгли, Вашингтон.

Дорогой друг!

Я отдал соответствующие распоряжения в связи с интересующим вас «объектом».

Полагаю, что ряд оперативных шагов, которые подтолкнут «Брунна» к действию, поможет всему мероприятию. Если Вас заинтересуют подробности, готов ознакомить с тем планом, который разработан моими сотрудниками.

Что же касается строительства, разворачиваемого аргентинским правительством в Барилоче, то это, как мне сообщили испанские коллеги, филиал астрофизического комплекса, существовавшего ранее как в Мар дель Плато, так и в Кордове.

По сведениям, которыми располагают испанские коллеги, Перон намерен развернуть в Барилоче один из центров по теоретическим исследованиям, связанным с развитием энергетики.

Искренне Ваш
Верен.

Мюнхен.

7

М-ру Р. Макайру,
Центральная разведывательная группа.
Строго секретно!

Уважаемый мистер Макайр!

Директор ФБР Э. Гувер поручил мне ознакомить Вас с работой, которая была проведена по интересующим Вас «объектам» — м-ру Спарку и м-ру Джеку Эру.

С санкции Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности мы вызвали м-ра Спарка, задав ему вопросы о его связях с агентами Коминтерна м-ром Брехтом, м-ром Эйслером, а также кинодраматургом м-ром Лоусоном, который ожидает вызова для публичного допроса в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

М-р Спарк был растерян, утверждал, что он знает м-ра Брехта шапочно, как и м-ра Эйслера. О м-ре Лоусоне он сказал: но ведь он американец, его фильмы знает вся страна, самый известный сценарист!

На вопрос, не известно ли ему, является ли м-р Лоусон членом коммунистической партии США, м-р Спарк

ответил в том смысле, что он никогда не обсуждал этот вопрос с м-ром Лоусоном.

Как и было обусловлено, ему не были заданы вопросы ни о м-ре Роумэне, ни об интересующем ЦРГ м-ре «Брунне».

После собеседования, которое продолжалось сорок минут, в поведении м-ра Спарка стала заметна еще большая подозрительность, он постоянно проверяется, избегает разговоров с коллегами, резко сократил число лиц, с которыми ранее часто обменивался телефонными звонками.

Более того, он посетил директора кардиологической клиники д-ра Рабиновича, с которым был знаком еще с времен учебы в колледже; тот вызвал для консультации психиатра.

Настроение, в котором пребывает ныне м-р Спарк, весьма угнетенное.

В отличие от него, м-р Роумэн после разрыва с миссис Роумэн спивается. Этот тягостный процесс проходит на глазах службы наблюдения. Если не принять каких-то мер, исход может быть трагичным. Представляется странным его тяготение к режиссеру Гриссару, подозреваемому в связях с синдикатом.

Наблюдение – и в этом смысле – продолжается постоянно.

Что касается м-ра Джека Эра, то он, уволившись из ФБР, открыл в Нью-Йорке частное детективное бюро (адрес и телефон известны Вашему нью-йоркскому филиалу). Он успешно провел два дела, связанных с похищением автомобилей; в настоящее время его бизнес успешно развивается, поскольку он открыл консультационный пункт «Что должен знать американец, когда на него нападают».

В основном он дает консультации одиноким женщинам, предлагая им усвоить азы личной безопасности: ходить только по освещенным улицам, пользоваться «главным оружием самозащиты», то есть голосом, рекомендует постоянно носить с собой зонтик, который может быть употреблен как колющий предмет – в случае насилия; заявляет, что сорок процентов грабежей происходят потому, что хозяева забывают запереть двери и окна, тридцать процентов угонов автомобилей связаны с тем, что не подстрахованы ветровики, через которые похитители открывают двери, и т.д. То, что нам кажется азбукой, вызывает повышенный интерес его клиентов, поэтому престиж его конторы заметно растет.

До сих пор м-р Эр не входил в контакт ни с м-ром Роумэном, ни с интересующим ЦРГ м-ром «Брунном».

Однако мы не можем с полной определенностью утверждать, что между ними нет связи, поскольку постоян-

ное наблюдение за м-ром Эром не ставилось; мы проверяем его периодически, как нашего бывшего сотрудника.

Примите, мистер Макайр, мои заверения
в совершенном почтении.
Заместитель директора ФБР
Честер Стролли.

8

Г-ну Ч. Стролли,
Федеральное бюро
расследований.

Уважаемый мистер Стролли!

Несмотря на то, что данные наблюдения и телефонного прослушивания по Роумэну и Спарку не дали каких-либо материалов, связанных с нашим оперативным интересом, Ваши сотрудники обратились ко мне с вопросом, стоит ли продолжать исследование указанных выше людей.

Хотя Ваши сотрудники и считают, что м-р Спарк близок к психическому расстройству, а м-р Роумэн, по их словам, превращается в алкоголика и, таким образом, деградирует как социально действующая личность, я, тем не менее, просил бы Вас санкционировать тотальное наблюдение за всеми их контактами еще на месяц, с тем чтобы потом, встретившись, мы могли провести совещание, на котором бы приняли решение о том, как организовать развитие ситуации в будущем.

Был бы признателен, если бы Вы смогли поставить наблюдение за м-ром Д. Эром хотя бы в течение двух-трех недель.

Примите, мистер Стролли, мои заверения
в совершенном почтении,
искренне Ваш
Макайр.

Вашингтон.

9

Сеньору Блюму[1],
Вилла Хенераль Бельграно,
Аргентина.

Спецшифром, в одном экземпляре,
через службу аэроклуба в Кордове.
Прошу оказать содействие в подборе материалов на

[1] Псевдоним Мюллера.

некоего «Макса Брунна». Запрос носит личный характер и не подлежит учету.

Бонифасио[1].

ШТИРЛИЦ (Аргентина, сорок седьмой)

– Слушай, Ганс, – сказал Штирлиц, – я сегодня получил телеграмму. Из Штатов. На, прочти, если поймешь...

Ганс быстро пробежал текст, написано было на жаргоне: «Дело взято в работу, ваша часть отныне принадлежит вам безраздельно, присылайте проработку проекта, первую группу, возможно, пришлю через двадцать дней, за маршрут к океану на рыбалку берите наличными, половину перечислите на мой счет в Штаты. Краймер».

Что же ты не просишь помочь с переводом, мальчик, подумал Штирлиц; «я говорю по-английски с грехом пополам, едва волоку», а тут сленг, поймет только тот, кто знает язык отменно; господи, как плохо быть молодым, неужели мужчина делается умным только к старости, глаз видит, да зуб неймет; по-русски говорят «око»; страшно, начинаю терять родной язык, проклятый аккуратизм немецкой «безвыкости», демократизм английского, а тут многосмыслие, как же оно в нас сильно; «глаз», «око», «очи», «зыркалки», «гляделки», «шары»... Вернется ли то время, когда я смогу засесть за Владимира Даля и работать с его четырьмя томами месяц, не отрываясь, – Библия России, ее истинный смысл в океане византийских многосмысленностей...

– О чем это? – спросил Ганс, возвращая телеграмму. – Написано на сленге, я не понял.

– Бери лыжи, пройдем новые маршруты, там объясню.

– Ты с ума сошел! Будет пурга! Фуникулер вот-вот выключат.

– Значит, не бери лыж, сиди тут и пей кофе, я пойду один, мне надо посмотреть трассы и помозговать, можно ли их использовать, когда идет снег, некоторые маршруты особенно хороши во время снегопада, знаешь, сколько психов на свете?! Одному подавай солнце, другой мечтает спуститься через пургу, он себя человеком начинает ощущать – его после этого на бабу тянет – и деньги за такой спуск платит громадные.

– Ну, хорошо, хорошо, пойдем! Отчего ты такой колючий, ума не приложу? Как что, так сразу режешь бритвой по живому.

– Как ты сказал? – спросил Штирлиц. – Режешь бритвой по живому? Занимался биологией? Мучил лягушек?

– Не цепляйся к слову... Я никогда не резал лягушек, я их в руки боюсь взять, от них появляются бородавки... Просто много читаю, в отличие от тебя, это литературная фраза...

Да уж, подумал Штирлиц, литературная. Так писал Эуген Пиппс, классик третьего рейха... Сочиняя про древнегерманских рыцарей, заодно разоблачал интеллигентишек, которые забыли о своем арийском первородстве, «резали по живому великую историю нации»...

[1] Псевдоним резидента Испании Хосе Росарио.

В люльке подвесной дороги здорово болтало, ветер крепчал, над вершинами деревьев посвистывало – к пурге; все, как надо, только б он не соскочил на второй очереди; вполне может; вертит головой, смотрит, нет ли в небе просвета, парень осмотрительный; но и крючок я ему запустил надежный, он хорошо понимает, когда дело пахнет серьезными деньгами; чего он больше всего хочет – так это разбогатеть, что ж, побеседуем... И построить мне надо наш диалог, следуя рекомендации Августа: «достаточно скоро делается лишь то, что делается хорошо»; между прочим, входит в противоречие с нашим «поспешишь – людей насмешишь» и с немецким «поспешай с промедлением»; впрочем, Суворов исходил не из традиционных пословиц, но именно из знания латыни, чтил Августа, оттого и побеждал.

Когда проезжали вторую очередь, Эронимо, служащий канатной дороги, крикнул:

– Максимо, я выключаю штуку, очень дует, к пурге, зарядит на пару дней! Спустишься на лыжах или вернешься на подвесной?

– Подожди! – сказал Ганс. – В такой тьме мы потеряем трассу, спустимся на креслах!

– Выключай мотор! – прокричал Штирлиц. – Выключай через десять минут! Я хочу посмотреть Ганса в деле! Обязательно выключай!

Ганс резко обернулся в кресле, – он сидел перед Штирлицем метрах в двадцати:

– Ты сошел с ума!? Эй, Эронимо! Эронимо-о-о-о!

– Горло надорвешь, – сказал Штирлиц. – Все равно он тебя не услышит.

– Я не стану спускаться через пургу! Я вернусь вниз в кресле, ну тебя к черту, Макс!

– Как знаешь, – ответил тот, подумав: не спустишься ты в кресле, через десять минут Эронимо обесточит дорогу, виси над пропастью, замерзай, станешь сосулькой, снимут через два дня, будешь звенеть – кусок льда – и каплю на носу не скроешь, повиснет; впрочем, я сейчас оказался в проигрышной позиции, на вершине он может почувствовать неладное, соскочит с кресла и, не дожидаясь меня, прыгнет в то, что спускается вниз; он погибнет, ясное дело, но это будет улика против меня, – я видел, что он в кресле, я был обязан предупредить Эронимо, тот живет в хижине рядом со станцией, включить ее – минутное дело, и мерзавец вернется в долину; плохо, если будет так, парень он цепкий, шарики крутятся, сечет быстро.

– Эй, Ганс, – крикнул Штирлиц, – у тебя нож есть?

– Есть. А что?

– Если пурга будет набирать, надо взломать ящик, где кнопка автоматического включения дороги, спустимся на канатке.

– Какой к черту ящик?!

– Ты что, не помнишь?! Под сосной, когда выходишь на трассу!

Вспоминай, капля, я ж дал тебе шанс, ты сейчас мучительно думаешь, под какой сосной этот ящик, подумал Штирлиц, нет ящика и не было, есть приём, как переключать внимание противника, вполне действен.

Он вспомнил лицо Ганса Христиановича Артузова; первый на-

чальник советской контрразведки, швейцарец по национальности, сбитый крепыш, любимец Дзержинского; именно он говорил Исаеву в далеком (был ли?!) восемнадцатом, когда отмечали его день рождения, восьмого октября, в семь вечера, в кабинете Глеба Ивановича Бокия; пришли Кедрин, Беленький, Уншлихт; Феликс Эдмундович заглянул позже, когда веселье шло вовсю: читали стихи, гоняли чаи, сыпали каламбурами. «Чтобы выгадать время, – заметил тогда Артузов, – особенно во время застолья, только не дружеского, а чужого, когда надо собраться с мыслями и дать единственно верный ответ, иначе разоблачат и шлепнут тут же, на каждый вопрос задавайте встречный, пусть даже дурацкий, это дает огромный выигрыш во времени». – «То есть как?» – не понял тогда Исаев. «А очень просто. Хотите, покажу? Допустим, вы меня подозреваете, вам недостает всего нескольких звеньев, чтобы обвинить меня... Начинайте спрашивать, я стану отвечать так, как надо». – «Я мог встретить вас в ЧК, милостивый государь, когда вы беседовали с Пуришкевичем?» – «Я?» – «Конечно, вы». – «Когда это было?» – «Что было?» – «Ну, наша встреча...» – «В декабре семнадцатого». – «Батенька вы мой, спросите Фрола Кузьмича, я тогда еще в Стокгольме сидел». – «Какого Фрола Кузьмича?» – удивился Исаев. Тогда Артузов расхохотался: «Откуда я знаю, Сева! Я выиграл время на дурацких вопросах! Лучше показаться несколько секунд заторможенным дураком, чем красиво сдохнуть, не выполнив свое дело».

Память Штирлица порою становилась похожей на кинематограф: он часто видел лица своих учителей в медленной, трагически-безмолвной панораме, камера памяти словно бы передвигалась с лица на лицо; ах, какие же одухотворенные лица были у этих апостолов революции, какие поразительные глаза, сколько в них дружества и открытости, братья по делу, рыцари духа, подвижники той идеи, которая...

– Макс, я перепрыгиваю в кресло, качу вниз, не сердитесь! – крикнул Ганс. – Вскроете ящик сами, если Эронимо остановит дорогу!

– Не глупите! Он выключит мотор, вы замерзнете. Я и вправду несколько заигрался, но вдвоем мы победим, а поврозь погибнем. Я же ни черта не вижу в пурге, смотрите, как метет. Я сейчас привяжусь к вам веревкой и пойду к этому ящику, а вы будете ее дергать, что, мол, все в порядке, направление верное. Если я не найду ящик, вы замерзнете, а я накануне открытия своей туристской фирмы, не зря ж дал вам прочесть телеграмму, один я не потяну, нужен ваш взнос для раскрутки гигантского дела...

Ганс соскочил с кресла; те двадцать метров, что отделяли от него Штирлица, показались ему сейчас верстою; если этот сукин сын прыгнет в то кресло, что, лязгающе обогнув металлический столб, начало спуск в долину, игра проиграна; слава богу, ждет, глядя на часы; смотри, смотри, мальчик, смотри...

Штирлиц шагнул к Гансу, усмехнулся:

– Давай рискнем, парень. Ей-богу, я спущу тебя по этим склонам, мне хочется поглядеть на тебя в деле.

– Нет, – отрезал тот. – Где ящик? Давайте включать кнопку, я не пойду вниз на лыжах.

– Ну и зря, – сказал Штирлиц и, достав из своего широкого кожаного пояса веревку, протянул ее Гансу. – Держи. Сейчас я встану на лыжи, а ты меня страхуй, ни зги ж не видно... Где этот чертов ящик?

– Какого черта вам пришла в голову эта бредовая идея?! Как мальчишка какой-то!

– Это верно, – согласился Штирлиц и попросил: – Ну-ка, обмотай меня покрепче.

Ганс воткнул свои лыжи в снег и сделал шаг к Штирлицу; в это же мгновение дорога остановилась, на вершине сделалось о д и н о к о - т и х о, только пурга завывала; шум двигателя, казавшийся здесь столь чуждым в солнечные дни, нарушавшим девственность природы, сейчас был последней пуповиной, связующей матерь-землю с двумя капельками, оказавшимися на горе среди пурги, которая с каждой минутой набирала силу.

В тот момент, когда Ганс воткнул лыжи по обе стороны от себя, Штирлиц ударил его что есть силы в поддых. Парень покатился в сугроб, а Штирлиц бросил его лыжи в снег, и они стремительно покатились по склону, исчезнув из глаз через мгновение в метущей белой пелене.

– Ты что?! – заорал Ганс. – Ты что?! – перешел он на шепот. – Зачем?!

– Не вставай, – сказал Штирлиц. – Здесь нет никакого ящика, ты правильно делал, что сомневался в моих словах, я это видел по твоей спине. Если встанешь, я укачу вниз. Сразу же. Лежи и отвечай на мои вопросы. И если ты ответишь на них честно, я поставлю тебя на лыжи у себя за спиной и спущу вниз, в хижину Эронимо, где мы оформим наши с тобой отношения. Согласен?

– О чем ты, Макс?!

– О Рикардо Бауме, малыш, о твоем шефе по линии доктора Гелена. И об итальянце, коллеге Мюллера. Через двадцать минут, если не начнем спуск, – а спустить тебя теперь могу только я, ты встанешь на мои лыжи, мы сделаемся единым целым, – будет поздно, я не найду дороги, ну и черт с ней, я свое пожил, тем более что твое появление здесь, как выяснилось, не случайно, значит, я и тут хожу на мушке, а если это происходит постоянно – страх смерти притупляется. Понял?

– Чего ты хочешь? – Ганс медленно поднялся на ноги; на носу его повисла капля, она росла стремительно, сорвалась, и сразу же начала расти следующая.

Потек мальчик, подумал Штирлиц, иначе капельку бы убрал, знает, как это ж а л к о, забыл о внешности, думает о жизни, сломаю!

– Я хочу, чтобы ты ответил мне: с какого времени ты работаешь на Гелена, кто тебя вербовал, когда и на чем? Если же ты кадровый офицер, назови свой номер и дату начала службы. Скажешь, кто тебя инструктировал, о чем, что вменили в обязанности. Вот здесь, – Штирлиц достал из своего волшебного пояса блокнот с воткнутым в него карандашом, заправленным ярким грифелем, – тебе надо будет

кое-что написать... После того, как скажешь о том, что меня интересует... Текст произвольный: обязуюсь работать на Штирлица, выполняя все его приказы, не прекращая формальной службы в «Организации генерала Гелена». Или Мюллера, разница малая. Дата. Место. Час. Подпись.

– Ты сошел с ума! Мы погибнем! Спусти меня вниз, я согласен, мы там договоримся обо всем! Я согласен, урод! Ты меня победил! Я все скажу внизу!

– Во-первых, урод ты, а не я, – ответил Штирлиц обиженно (он действительно поймал себя на том, что обиделся, никто и никогда не смел так с ним говорить, вот сукин сын). – Во-вторых, вниз мы попробуем спуститься только после того, как ты ответишь на вопросы и подпишешь текст, предварительно сочинив его... Попробуешь финтить с почерком – укачу вниз, я твой почерк изучил, капля...

Ганс быстро вытер нос, поднял блокнот, что валялся около его ног, написал текст, размашисто подписался, бросил Штирлицу:

– Ну вези же меня вниз! Я по дороге расскажу все! Через десять минут начнется вьюга, я погибну!

– Мы погибнем, – поправил его Штирлиц. – Как возлюбленные... Не ты один погибнешь, дерьмо, а мы с тобою... Я не двинусь к тебе, пока ты не ответишь. Или начну спуск. И я спущусь, обещаю тебе. Через час я буду пить грог у Эронимо, а вечером позвоню к горноспасателю Хаиме де ля Крусу и Фредди Альперту, подниму тревогу... Я буду в порядке, понимаешь? Алиби. Я буду в полном порядке. А ты в это время – обмороженный и недвижный – будешь молить бога о скорейшей смерти, но бог не помогает паршивым доносчикам...

– Мой номер двадцать семь тысяч пятьсот два, – прокричал в отчаянии Ганс. – Я лейтенант вермахта, служил у Гелена, в подразделении сорок дробь тридцать три! После разгрома меня привлекли снова... Мне поручили смотреть за тобой, дядя ничего не знает... Мне поручено смотреть за твоими связями. Если ты решишь уехать, я должен сообщить, поэтому я сдружился с начальником железнодорожной станции... Мой руководитель Рикардо Баум... Тебя должны свести с бывшим сенатором Оссорио, он был членом комиссии по антиаргентинской деятельности! Когда он приедет сюда, я должен сделать так, чтобы ты стал его другом! Все! Я сказал тебе все, сволочь!

– Извинись.

– Что?!

– Извинись, сопляк.

– Ну, прости, прости, прости! Прости же! – Ганс повалился на колени, плечи его затряслись. – Я хочу жить! Я так молод! Прости меня, Брунн!

– Кто тебя привлек к работе после краха?

– Лорх.

– Что он тебе сказал обо мне?

– Он сказал, что... Нет, а вот это, – Ганс вскинул голову, – и это самое главное, я скажу внизу!

– Ты скажешь все сейчас.

– Нет.

Штирлиц развернулся на месте и начал скользить вниз; еще мгновение, и он бы скрылся в снежной пелене; Ганс закричал пронзительно, по-заячьи:

– Он сказал, что ты из гестапо! Ты продался янки! А я ненавижу нацистов! Я их ненавижу, понял?! Я патриот Германии, я служил рейху, а не фюреру!

– Какой у тебя пароль для связи?

– С кем?

– С шефами из Мюнхена.

– «Лореляй, прекрасная песня».

– Отзыв?

– «Наша поэзия вечна, в ней дух нации».

– Как ты вызываешь Рикардо Баума на связь?

– Он меня вызывает...

– А если тебе срочно потребуется связь? Тревога, я даю дёру, тогда как?

– Звонок по телефону, фраза: «Дяде плохо, помогите», через час он будет на железнодорожной станции.

– Иди ко мне, – сказал Штирлиц. – Иди скорей, Ганс. Теперь нам с тобой обязательно надо спуститься. Я же тебе тоже обещал кое-что рассказать, я расскажу; не пожалеешь, что повел себя разумно... Поэтому смотри в оба, если я не замечу камней: увидишь ты – только не ори на ухо, я не переношу, когда кричат, предупреждай тихо...

Через двадцать минут они вошли в хижину Эронимо; брови их покрылись льдом, лица были буро-сиреневыми; на кончике носа Ганса висела сосулька.

– Ну и ну, – сказал Эронимо, – спускаться в такую пургу – смерть. Вы с ума сошли, кабальерос?

– Немножко, – ответил Штирлиц и обернулся к Гансу. – Вытри нос, атлет, смешно смотреть...

Ганс привалился к стене, закрыл глаза и шепнул:

– Эронимо, у вас есть спирт?

– Конечно, – тот открыл дверцу деревянного, скрипучего шкафа и быстро налил в тяжелые глиняные чашки Штирлицу и Гансу. – Грейтесь, кабальерос!

– Разбавьте мне водой, – попросил Ганс. – Я не умею пить чистый спирт.

– Смотри на меня, – предложил Штирлиц. – Задержи дыхание. Видишь? Вот так. Открой рот, – он опрокинул в себя легкую влагу, – выдохни, – он даже чуть присвистнул, – и только потом осторожно вдыхай воздух... Валяй, точно повторяй меня, все будет в порядке.

Ганс выпил, закашлялся, упал на колени, потом и вовсе повалился на пол; Эронимо опустился рядом с ним, подложил под голову ладонь; парня трясло, на губах появилась кровавая пена.

– Не кончился бы, – сказал Эронимо, – он глаза закатывает.

– А ты побей его по щекам, – посоветовал Штирлиц и, присев на деревянную лавку, придвинутую к столу, на котором стояла сковородка с жареным мясом, начал снимать свои черно-белые тяжелые ботинки. – Оклемается.

Ганса вырвало, он замычал, вытер лицо, сел и хрипло попросил воды.

– Встань, – сказал Штирлиц. – Поднимись, умойся и садись к столу. На тебя противно смотреть.

После того, как Ганс вымылся, сел к столу, съел мяса, выпил еще полстакана спирта, но теперь уже разведенного, его сморило; Эронимо поднял его, отвел к своей тахте, сделанной из досок сосны, положил на козьи шкуры и укрыл двумя пончо, купленными в Андах, чилийские индейцы умеют их делать так, как никто в Латинской Америке.

Когда Ганс уснул, Штирлиц поднялся, хрустко размялся и спросил:

– Ты можешь спустить меня вниз, Эронимо?

– Рискованно, кресла здорово раскачивает...

– Но еще рискованнее спускаться по склону, особенно после спирта... Выручи, брат... Мне очень нужно быть внизу... А Ганса подержи у себя до утра, он мне понадобится только утром. И – не раньше. Если же и утром будет пурга – держи его здесь, пока не утихнет ветер, скажи, что движок не работает, да и вообще рискованно включать, трос может обледенеть, кресло, неровен час, соскочит. Ясно?

Просьбы Штирлица здесь выполняли: он умел быть полезным людям, – месяц назад помог Эронимо составить прошение в суд по поводу перевода на его имя надела земли, оставшегося бесхозным после смерти двоюродного дяди на восточной стороне озера; просьба была составлена квалифицированно, адвокат за такое взял бы не менее двухсот штук, а поди их заработай, месяц надо пахать, чтобы получить такую сумму; за ум – к глупому адвокату кто идет?! – положено хорошо платить, это тебе не лопатой махать, а думать, мозг сушить.

Просьбу Эронимо удовлетворили; он предложил Штирлицу деньги, тот, посмеявшись, отказался: «Угости обедом, этого будет достаточно».

До этого он вылечил Манолетте; старика скрутил радикулит, не мог двинуться; племянник лежал с инфлюэнцей, конец бизнесу, хоть закрывай бар, а самый сезон, турист шел густо, надо ловить момент, не перевернешься – чем платить налоги?! Что положишь на свой счет? Что пустишь на расширение дела?!

Штирлиц сначала погрел Манолетте ладонями, – он верил в животный магнетизм: если передавать свою энергию, которая есть тепло, другому человеку, он ощутит легкое жжение в том месте, где болит, наступит блаженная расслабленность; в это время надо сделать крутой массаж, нащупать болевые точки, размять их, укутать человека в шерсть, дать немножко грога и заставить уснуть.

В том, что магнетизм существует, Штирлиц лишний раз убедился на себе, в джунглях под Игуасу у Квыбырахи и Канксерихи, дай им бог счастья и долгих лет жизни; как все-таки ужасен консерватизм человеческого мышления! Их бы привезти в хороший институт, дать им лабораторию или же – чтобы не пугать городом – организовать маленький научный центр в джунглях, постараться понять

предмет серьезно, а не отрицать огульно: этого не может быть, потому что не может быть никогда.

Штирлиц поставил Манолетте на ноги за день; старик предложил открыть частную практику:

– Здесь многие страдают от радикулита, знаешь ли... Даже шутят: «раздался страшный крик и стон, радикулит прервал пистон»... Хорошо мне, я уже над схваткой, женщина видится мне все больше в образе дочери, воплощение нежности и красоты, а те, кто помоложе?! Крах семье, измена... Женщина ведь не может жить без ласки мужчины, бесенеет, и я их понимаю, организм есть организм... Давай я внесу деньги, ты подбросишь чуток: «Курандейро Брунн, тайны Амазонки, гарантия излечения от радикулита».

– Знаешь, сколько стоит частная практика? – спросил Брунн.

– Нет.

– Десятки тысяч. У тебя они есть? Аренда помещения! Страховка! Да и потом если с тобой у меня вышло, то с другим может не получиться, ведь все зависит от того, верит тебе человек или нет.

– При чем тут «верит» или «не верит»? Мне жгло, когда ты стоял надо мной, расставив ладони, как епископ на молитве... Жгло, я же чувствовал, как в меня входило твое тепло.

– А другой придет ко мне, будучи заранее уверенным, что такого быть не может. И точка. Знаешь, сколько на земле упрямых ишаков? Миллионы, сотни миллионов, поди их убеди...

С сыном его племянника Сальвадором-Игнасио-и-Санта-Крусом, отставшим по английскому и латыни, Штирлиц занимался недели три и подтянул парня. Он заставил его ходить с собою в горы и не отвечал ни на один вопрос, заданный по-испански, только английский, ничего, кроме английского: «Не можешь сказать, объясняй на пальцах, я тебе помогу, так легче запомнишь слово... Ты только представь себе, что тебе пришлось воевать против «гринго», ты у них в тылу и каждое твое испанское слово выдаст тебя, не сделаешь того, что должен сделать для республики; поэтому либо молчи, изображая глухонемого, либо говори по-английски – пусть даже с ошибками, вполне можешь представиться каким-нибудь итальянцем, а для этого мы подтянем латынь, янки уважают образованных людей, знающих историю». Штирлиц посидел в библиотеке (она помещалась в самом центре города, на первом этаже серого, сложенного из камня п-образного здания, построенного австрийцами в начале тридцатых годов, ни дать ни взять тирольский замок, принадлежавший какому-нибудь отпрыску Габсбургов), нашел две книги на латыни, пролистал их, снова вспомнил отца, который говорил, что культура невозможна вне латыни, – концентрированная мудрость государства, изжившего себя прилежностью к догме, – и приготовил для Сальвадора несколько новелл.

– Смотри, парень, – сказал он, когда они поднялись на вершину проверить склоны, принадлежавшие Отто Вальтеру, – во время войны, когда Троя сражалась против италийцев, два юных героя – Эвраил и Нис – им, кстати, было всего на год больше, чем тебе, – пробрались в лагерь, где стояло племя рутуллов, и, воспользовавшись темнотой и внезапностью – двумя факторами, необходимыми

для победы во вражеском лагере, – уложили пару десятков воинов... Но они потеряли дорогу, заблудились в проулках между палатками рутуллов, и один из них, Эвраил, был схвачен противником. Расправа во время войны коротка, никто не интересуется, отчего ты взял меч в руки – защищаясь или нападая, всеобщее безумие, чего ты хочешь... Рутуллы бросили Эвраила на землю, и палач, громадноростый, бритый наголо, с висящим брюхом, но мощными руками, занес над юношей свой меч. И тогда Нис, спрятавшийся в кустах, закричал: «Я здесь! Обратите ваши железы на меня, рутуллы!» А как это звучит на латыни?! О, ты только послушай: «Ме, ме, адсум, куи феси!»

– Ме, ме, адсум, куи феси! – задумчиво повторил мальчик. – А его казнили?

Штирлиц усмехнулся, подумав, что дело пойдет, мальчишка сдаст латынь по высшему баллу; интерес, да здравствует категория интереса, мир погибнет, если позволит владыкам лишить себя и н т е р е с а, что может быть прекраснее и интереснее ожидания подвига, удачи, любви?! Царство великой скуки никого еще до добра не доводило, Гитлер пытался сделать свой имперский «интерес» общим для нации; это только придуркам казалось что фюрер достиг этого, поставив на шовинизм, который по своей природе слеп; отрицать право других на разум и поступок только потому, что они другие, возможно на протяжении крайне маленького исторического периода, потом все равно наступит крах. Так было со всеми деспотами, стоит лишь прочитать книги по истории человечества. А с падением деспота рушилось государство, а с ним и традиции, которые не имеют права быть окостеневшими; развивающийся мир не терпит статики, все вещи в труде. Выгнав Фейхтвангера, Манна, Брехта и Эйслера, фюрер одел немцев в баварские костюмчики и решил, что традиции нации спасены. А это и было началом краха нации, время китайских стен кончилось, когда американцы подняли в небо первый в истории человечества аэроплан...

...Эронимо проводил Штирлица до канатной дороги; ветер валил с ног.

– Максимо, я бы не советовал тебе спускаться, это опасно.

– А бог зачем? – Штирлиц вздохнул. – Бог помогает тем, кто знает свое дело.

Открыв окно, чтобы вьюга была с л ы ш и м о й, близкой, Штирлиц набрал номер сеньора дона Рикардо Баума, торговца красным деревом, живущего здесь с тридцать девятого года, резидента Гелена; членом НСДАП – по словам Кемпа – не был, адепт великогерманской идеи, в Гитлере разочаровался после разгрома под Минском, в сорок четвертом, в разведке ведал вопросами военно-транспортного характера и экономикой, особенно интересовался развитием национального банковского дела Аргентины.

Обмотав мембрану носовым платком, Штирлиц сказал три слова:

– Дяде плохо, помогите.

И сразу же бросился к автобусу, который шел в город; весь план

он рассчитал, пока спускался вниз, шел в домик Отто Вальтера, кипятил чай, курил сигарету, рассматривал свои обломавшиеся во время спусков ногти и, закрыв глаза, делал упражнения, которые разгоняют соли в загривке.

...На вокзале — старом, точная копия баварских, длинный перрон красного цвета, изразцовый пол, даже столбы, на которых крепился навес, были скопированы с германских — Штирлиц зашел в туалет и приоткрыл окно: платформа, как на ладони; ну, иди сюда, дон Рикардо Баум, я готов к встрече, иди, милый...

...Баум приехал ровно через час, как и говорил Ганс; подошел к большой доске, на которой было вывешено расписание; отчего на маленьких узкоколейках, где бывает два-три поезда в день, особенно большие расписания? Господи, человечество сплошь соткано из комплексов: низкие мужчины льнут к высоким женщинам; нерешительные тянутся к тем, кто славится резкостью, слабые — к сильным; красивые женщины держат подле себя уродливых карлиц; толстые хотят похудеть; тощие мечтают прибавить пару килограммов; лысые тратят огромные деньги на мифические средства, которые гарантируют шевелюру; волосатые бреют руки и грудь, слишком животно, мир вступил в эру утонченности и неги; тьфу, пропади ты все пропадом!

Штирлиц вышел из своего укрытия, подумав, что последние месяцы сортиры стали играть слишком уж приметную роль в его жизни: и в Рио-де-Жанейро он пытался уйти от Ригельта через окно туалета, и в самолете писал письма Роумэну и Спарку, зажатый дребезжащими стенками, с которых на него лупили глаза рыцари и кони, и в Игуасу он играл дурноту в туалете, прежде чем уйти к Шибблу, а теперь здесь, в Барилоче; горите вы огнем, чертовы сортиры!

Он дождался той минуты, когда Баум повернулся, двинувшись в обратном направлении; догнал его, мягко ступая, тронул за руку и тихонько сказал:

— Хайль Гитлер, капитан! Как я рад, что вы откликнулись на мою просьбу.

Да здравствует резкая внезапность и юмор! Надо постоянно нарабатывать в себе два эти качества, — все остальное приложится, если знаешь, во имя чего живешь и чему служишь.

Баум растерялся, лицо его побагровело:

— Простите, вы обознались, кабальеро! Я приехал за билетом.

— А кто поможет бедному дяде? Уезжаете, бросив несчастного старика? Ладно, господин Баум, будем говорить открыто, времени у меня в обрез, да и вы занятой человек... Я знаю, что вы не воевали, так что с этой стороны все обстоит благополучно, и даже членом партии не были. Но вам прекрасно известно, как ревниво относятся янки к своему коронному оружию — атомной бомбе. Они не потерпят соперников, где бы те ни объявились. Тем более, если эту бомбу рассчитывают наши с вами коллеги. Здесь. В Барилоче. Мой хозяин — Ганс вам докладывал о группе американцев, которая сюда приезжала, не так ли? — очень интересовался, что строят

на острове, где сидят наши люди. Я дал ответ, который успокоил босса. Пока, во всяком случае. Я не мог поступить иначе, прежде всего каждый из нас немец! Вы делаете свое дело, я – мое, но мы оба служим будущему, нет? Чтобы окончательно успокоить босса, который выдает себя за туристского шефа, я согласился возглавить здесь новый оффис, открываю фирму по приему американских лыжников. Дело обещает быть крайне выгодным. Я не против того, чтобы вы в него – со временем – вошли компаньоном. Поэтому вношу предложение: вы звоните в свое бюро, предупреждаете, что должны срочно выехать на несколько часов, мы берем билет, едем в соседний город, оттуда я звоню в Штаты и сообщаю, что мы с вами заключили контракт. Вы же, в свою очередь, передаете мне ваш отчет о нашей встрече генералу Гелену, – если, впрочем, сочтете нужным ему об этом писать... Этот отчет будем считать актом вербовки, договорились?

– Я ничего не понимаю...

Штирлиц дождался, пока прошел состав, проводил взглядом нескольких пассажиров и заметил:

– Времени на раздумье у вас мало. Поезд уйдет через двадцать минут, господин Баум. Я дерусь за жизнь, и в этой драке нельзя жить без страховки. Я крепко подстрахован. Так же, как вы. Но мне терять нечего, я одинок, а у вас семья. Думайте.

– Где Ганс?

– Там, где ему следует быть.

– Он жив?

– Да. Кстати, вы уберете его отсюда, передислоцируете в другое место, я отныне не хочу его видеть...

– Что он вам еще сказал?

– Я отвечу. Но только после того, как мы вместе смотаем туда, где мои междугородные разговоры не будут слушать здешние любопытные телефонистки, которым вы платите премию за информацию.

– Какова возможная прибыль от дела?

– Не знаю. Пока не знаю. Но я рассчитываю принимать здесь не менее пятисот американских горнолыжников. Это – много. Это – деньги.

– Сколько я должен буду внести в предприятие?

– Гарантию моей жизни и нашу дружественность.

– Что еще?

– Ничего.

– Но вы понимаете, что в Мюнхене вами заинтересуются еще больше, узнав, что вы в контакте с «гринго»...

– Понимаю. Однако от вас зависит все: либо вы даете информацию Гелену, что ко мне выгодно и дальше присматриваться: «возникают интересные возможности, он нужен ж и в ы м», либо предлагаете выдать меня властям, выкрасть, устранить. Все зависит от вас. Если со мной что-то случится, помните – я подстрахован. Мое горе вернется к вам бумерангом.

– Хорошо, а если я откажу вам?

Штирлиц пожал плечами:

– Ваше дело, господин Баум. Но отказ поставит под удар всю вашу цепь. Я знаю ее... С самого севера. С Игуасу... И повинны в этом громадном провале будете вы. Именно вы.

– Почему именно я?

– Потому что ваши коллеги были благоразумнее. Они понимают лучше, чем вы, что мы – в конечном-то счете – делаем одно и то же дело. Пример с Гансом – явное тому подтверждение. О других я умолчу, это асы Гелена, я дорожу их дружбой. Мы дружим с ними, господин Баум. Они верят нам.

– В таком случае назовите имя хотя бы одного из наших асов.

– Ну, этого-то я никогда не сделаю.

– Значит, блефуете.

– Это самоуспокоение на десять минут. Потом наступит пора мучительных раздумий и раскаяния. Вам известен мой ранг в СД?

– Да.

– Вы понимаете, что я унес с собой определенную информацию из рейха, и на вас в частности: «нелегальный резидент гитлеровского вермахта в Аргентине с тридцать девятого года по девятое мая сорок пятого»?

– Да.

– Вы понимаете, что я могу распорядиться этой информацией и к своей пользе, и к нашей общей?

– Понимаю.

– В таком случае: что интересует Гелена – только в связи со мной?

– Передвижения.

– Еще?

– Контакты.

– С кем?

– Со всеми.

– И ничего больше?

Баум закряхтел; растерянность на его лице была очевидна: человек попал впросак, мучительно ищет выход из трудного положения.

– Ну, давайте же, время...

– Повторяю: контакты. Все контакты... Особенно – с аргентинцами... Точнее, с одним аргентинцем...

– Имя! – Штирлиц прикрикнул, чувствуя, что теряет ритм и натиск.

И Баум сдался:

– Сенатор Оссорио... Бывший сенатор, так вернее...

– Кто его должен ко мне подвести?

– Не знаю. Но – подведут. Ждите. У него есть материалы, которыми интересуется Центр. Это связано с работой комиссии сената по расследованию антиаргентинской деятельности. Люди Перона не смогли их получить, документы исчезли. Вы, как считают в Мюнхене, ищете именно эти материалы...

– Значит, после того, как я их получу, вы должны убрать меня?

– Не знаю.

– Кто возьмет билеты? – спросил Штирлиц.

– Вы.

Из соседнего городка Штирлиц заказал три телефонных разговора: один с ФБР (в Кордове он не зря спросил у Джона Эра номер коммутатора), второй с Краймером, а третий номер был вымышленным.

Когда ответил низкий голос: «Федеральное бюро расследований, доброе утро, слушаю вас», – Штирлиц попросил соединить его с мистером Макферсоном (от Роумэна знал, что этот человек, руководитель подразделения по наблюдению за европейскими эмигрантами, умер семь месяцев назад); бас пророкотал, что мистер Макферсон больше не работает в управлении: «Очень сожалею, может быть, соединить с кем-то еще из его группы?» Штирлиц поблагодарил, сказав, что он перезвонит в другой раз. Краймеру он сказал, что необходима ссуда, пара тысяч долларов, все остальное он берет на себя; «и, пожалуйста, отправьте то, о чем я вас просил; время; теперь я готов к встрече»; третьего разговора не стал дожидаться, вышел из кабины и попросил Баума:

– Выкупите у барышни в бюро заказов бланк с номерами, не надо, чтобы здесь оставались те номера, я напишу ей другие...

И Баум сделал это; Штирлиц порвал бланк, бросил в урну и вышел из почты; на улице Баум схватился за живот: «Сейчас я вернусь, это на нервной почве». Идет подбирать обрывки бланка, понял Штирлиц, очень хорошо, пусть, как раз в это время я и отправлю письмо Роумэну...

ГАРАНТИРОВАННАЯ СВОБОДА ЛИЧНОСТИ (сорок седьмой)

1

«Л»[1]. – Мистер Краймер, я пригласил вас для того, чтобы задать ряд вопросов, связанных с вашей поездкой в Аргентину.

Краймер. – Во-первых, представьтесь, во-вторых, объясните, отчего я вызван в Центральную разведывательную группу, в-третьих, будет ли наше собеседование носить такой характер, что я должен пригласить сюда своего адвоката?

«Л». – Меня зовут Джозеф О'Брайен, я консультирую ЦРГ по вопросам Латинской Америки, где в равной мере опасны как бывшие нацисты, так и коминтерновские представители, готовящие путчи против законно избранных правительств. Это ответ на ваш первый вопрос. Соединенные Штаты не могут не проявлять оправданного беспокойства о своих южных соседях, – так было, есть, так будет. Поэтому ЦРГ внимательно наблюдает за происходящими в том регионе процессами. Это ответ на ваш второй вопрос. Полагаю, что приглашение вашего адвоката нецелесообразно, ибо против вас не выдвигают никаких обвинений, а хотят поговорить как с патриотом этой страны...

Краймер. – «Хотят»? В разговоре примет участие еще кто-нибудь?

[1] «Л» – псевдоним сотрудника ЦРГ Липшица.

«Л». – Как человек, получивший филологическое образование да еще работающий в рекламе, то есть постоянно соприкасающийся со словом, вы очень тщательно следите за фразой. А я говорю с вами совершенно открыто, не придавая, видимо, отдельным словам должного значения... Приношу извинение... Говорить с вами буду я. Один.

Краймер. – Это если я соглашусь разговаривать с вами один на один.

«Л». – Да, конечно, это ваше право, мистер Краймер. Вы можете пригласить адвоката... А можете и вовсе отказаться от собеседования, это право вам гарантирует конституция этой страны.

Краймер. – Все будет зависеть от того, как пойдет разговор... Я, знаете ли, читаю наши газеты, там печатают допросы, проводимые Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности...

«Л». – Вы находите в них какие-то нарушения конституции?

Краймер. – А вы – нет?

«Л». – Бог с ней, с этой комиссией... Меня интересует другое... Во время поездки по Аргентине, финансировавшейся фирмой «Кук и сыновья», не приходилось ли вам встречаться с немцами или русскими? Случайно – в самолете, поезде, автобусе, отеле?

Краймер. – С немцами и австрийцами встречался... Кстати, австрийцы вас тоже интересуют? Я им не верю, как и немцам... Один язык, похожая природа, и не имели партизанских соединений...

«Л». – Да, австрийцы тоже меня интересуют, особенно те, которые были связаны с наци...

Краймер. – Таких в Барилоче полно.

«Л». – Барилоче? Что это? Город? Район?

Краймер. – Неужели не знаете?! Одно из чудес света! Прекрасные лыжные катания – с июня по октябрь... Это на границе с Чили, там невероятно красиво... В Барилоче много австрийцев... И немцев тоже...

«Л». – Фамилии не помните?

Краймер. – Нет... Они для меня все «фрицы».

«Л». – Странно, мы, американцы, называем немцев «гансами»... Только русские называют их «фрицами».

Краймер. – Так это я у русских и научился! Наши полки встретились на Эльбе... Первыми...

«Л». – Хорошо отпраздновали встречу?

Краймер. – О! Первый и последний раз в жизни я позволил себе пить три дня подряд...

«Л». – С кем?

Краймер. – С русскими, с кем же еще?!

«Л». – Фамилии не помните?

Краймер. – Все фамилии зафиксированы вашими службами, мистер О'Брайен. Как и наши – русскими. Я воевал начиная с Африки, с сорок второго года, не надо говорить со мной, как с мальчишкой. Если же вас интересуют фамилии немцев и австрийцев в Барилоче, отправьте туда ваших людей, деньги вам на это отпущены... Я бы, на вашем месте, отправил.

«Л». – У вас есть подозрения против кого-нибудь?

Краймер. – Я же вам говорил: не верю ни одному «фрицу».

«Л». – Увы, должен согласиться с вами... Я ведь тоже во время войны был в Европе... Ненависть к немцам трудно вытравить, вы совершенно правы... Скажите, в той фирме, что вас принимала, были немцы?

Краймер. – Да, был там один Ганс...

«Л». – Это надо понимать – «фриц»? Немец?

Краймер. – Нет, именно Ганс. Из Вены... Но нами занимался американец, Мэксим Брунн, прекрасный инструктор горнолыжного спорта.

«Л». – Он вам ничего не рассказывал о тамошних немцах с нацистским прошлым?

Краймер. – Нас с ним интересовали совершенно иные вопросы, Барилоче – поле для бизнеса.

«Л». – Какого?

Краймер. – Нашего, мистер О'Брайен, нашего с Брунном, проблема не имеет отношения к собеседованию, бизнес есть бизнес.

«Л». – Да, да, конечно, это свято... Но мистер Брунн там живет, значит, он много знает... Возможно, поделился чем-то с земляком?

Краймер. – Мы не земляки. Он из Нью-Йорка, а я южанин, из Нью-Орлеана...

«Л». – Местные власти не мешают вашему и мистера Брунна бизнесу?

Краймер. – Какой им смысл?! Они получают с нас хорошие деньги, тот дикий край заинтересован в валютных поступлениях...

«Л». – Вы оставили мистеру Брунну какие-то поручения?

Краймер. – Конечно. Когда начинаешь дело, партнер должен иметь право на свободу поступка.

«Л». – А что за поручения мистера Брунна вы взялись выполнить здесь, в Штатах?

Краймер. – Насколько я понимаю, Брунн – американец... А вас интересуют нацисты, немецкие нацисты.

«Л». – Для нас, Центральной разведывательной группы, факт проживания американца в тех районах, где, по вашим словам, много немцев, возможно, с нацистским прошлым, представляет немаловажный интерес...

Краймер. – Ну, в этом смысле вы, конечно, правы.

«Л». – Лишь поэтому я и спрашиваю: какие поручения мистера Брунна вы взялись выполнить дома?

Краймер. – Никаких. Конечно, надо кое-что вложить в рекламу, но это моя забота, а не его, напечатать проспекты, хотя, повторяю, это делаю я, он в этих вопросах некомпетентен, он замечательный инструктор, умеет вести себя с людьми, прекрасно катает, знает уникальные места в окрестностях... Славный парень, он понравится вашим людям. Можете им назвать меня, пусть передадут привет компаньона, Брунн не откажется помочь.

«Л». – Вы не представляете себе, мистер Краймер, как мне важно это ваше предложение... А что вы можете сказать о Гансе? Мистер Брунн как-то характеризовал его?

Краймер. – По-моему, он относится к нему с юмором...

«Л». – С доброжелательным юмором?

Краймер. – Да, именно так. Но в горах отношения между людьми особые... Там важно, кто как катает со склонов. Мистер Брунн непревзойденный мастер... Этот Ганс сосунок в сравнении с мистером Брунном... И потом он племянник хозяина той фирмы, где служит Брунн...

«Л». – Кто хозяин?

Краймер. – Я с ним не встречался... Какой-то Вальтер... Отто Вальтер, австрийский социал-демократ, эмигрант... Брунн считает его порядочным человеком.

«Л». – Брунн симпатизирует социал-демократам?

Краймер. – Мистер О'Брайен, в Австрии можно симпатизировать или национал-социалистам, или социал-демократам. По-моему, американец обязан симпатизировать последним.

«Л». – Вы отвечаете, как режете, мистер Краймер... Все, у меня больше вопросов нет... Большое спасибо за ваше предложение отправить в Барилоче нашего человека к мистеру Брунну с приветом от вас, это очень важно... Как, кстати, там со связью? Мистеру Брунну легко до вас дозваниваться?

Краймер. – Легко, но дорого. Лучше телеграмма или письмо.

«Л». – Власти Перона не лезут в переписку? Может быть, вам стоило придумать какой-то примитивный шифр? Перон, знаете ли, есть Перон.

Краймер. – Нам нечего скрывать. Кроме добра себе, нашим клиентам и Аргентине мы ничего не делаем...

«Л». – Еще раз большое спасибо, мистер Краймер, извините, что я отнял у вас время.

2

Расшифровка беседы, проведенной с миссис Мэри Спидлэм осведомителем ФБР «Лиз», откомандированной в распоряжение м-ра Макайра (Центральная разведывательная группа).

«Лиз». – Боже, какой у тебя загар, подружка! Ты совершенно коричневая! Но не такая, как мы, валяющиеся летом на пляже. У тебя – совершенно особый...

Мэри. – Так я же вернулась из Аргентины... Вечно забываю название этого места в горах... Такая красота, Лиз, такое блаженство!

«Лиз». – В Аргентине? Ты сумасшедшая! Это же черт знает где?! Зачем тратить безумные деньги?! Или ты получила наследство?!

Мэри. – Наследство мы, увы, не получали... Просто Чарльз делает буклеты для фирмы «Кук», ну, те и предложили полет в четверть цены, это дешевле, чем отправиться на Майами.

«Лиз». – Не жалеешь, что съездила?

Мэри. – О, нет, что ты! Это незабываемо!

«Лиз». – Неужели встала на горные лыжи?

Мэри. – И еще как!

«Лиз». – Кто тебя учил? Какой-нибудь индеец в шляпе из перьев?

Мэри. – Меня учил Мэксим, подружка, американец, как мы с тобой...

«Лиз». – Ну-ка, ну-ка, погляди мне в глаза!

Мэри. – Нет, действительно, он поразительный тренер... Бородатый, крепкий... Настоящий мужик...

«Лиз». – Ну, и..?

Мэри. – О чем ты?

«Лиз». – Напиши ему записку, представь меня, я тоже полечу в Аргентину...

Мэри. – Нет.

«Лиз». – Ой, ты влюблена! Он пишет тебе письма, а ты отвечаешь ему стихами!

Мэри. – Между прочим, я бы с радостью стала писать ему письма... Но он какого-то особого кроя... Очень сдержан... Я таких мужчин раньше не встречала...

«Лиз». – Каких?

Мэри. – Ну, таких... Я даже не знаю, как объяснить... Если раньше действительно были рыцари, а их не придумал Айвенго, то он настоящий рыцарь...

«Лиз». – Рыцарей придумывал Вальтер Скотт, дорогая. Айвенго был шотландским разбойником... Ну, хорошо, а в чем же его рыцарство? Расскажи, страшно интересно!

Мэри. – Не знаю... Это трудно передать...

«Лиз». – Скажи честно, он волочился за тобой?

Мэри. – Говоря честно, я волочилась за ним...

«Лиз». – Ну и?

Мэри. – Видишь, вернулась. Живая и здоровая... И начала вести на календаре отсчет, когда я поеду в это самое... как его... Барилоче, вспомнила! Я мечтаю туда вернуться... Мечтаю, как девчонка.

«Лиз». – Он тебя ждет?

Мэри. – Я замужем, подружка, ты забыла?

«Лиз». – С каких пор это мешает чувству? Особенно, если оно такое чистое... По-моему, именно новое чувство укрепляет семью, дает импульс былому, возвращает тебя в юность, ты начинаешь поиному оценивать мужа, видишь в нем что-то такое, чего раньше не замечала...

Мэри. – Ну, знаешь, это слишком сложная теория, такое не для меня... Представлять себе другого, когда спишь с мужем? Слишком утомительно, разрушает нервную систему... Я смотрю на мир проще...

«Лиз». – Это как?

Мэри. – Не знаю... Проще, и все тут...

«Лиз». – А у этого самого инструктора есть семья?

Мэри. – По-моему, нет.

«Лиз». – Но ты хоть адрес ему оставила?

Мэри. – Он не просил...

«Лиз». – Вообще ни о чем не просил?

Мэри. – Ни о чем.

«Лиз». – Он образован? Умеет рассказывать истории? Знает стихи?

Мэри. – Он молчаливый. По-моему, за ним – история, но он никому ее не открывает...

«Лиз». – Очень скрытный?

Мэри. – Да нет же... Он ничего не играет, понимаешь? Он сам по себе: «я вот такой, а никакой не другой, таким меня и принимайте, не хотите – не надо!»

«Лиз». – Ну, хорошо, ты хоть поняла, что он любит, что ненавидит?

Мэри. – Он очень любит горы... А ненавидит? Не знаю... Он про это не говорил...

«Лиз». – Он всю войну просидел в этих самых горах?

Мэри. – Кажется, он воевал... Да, да, он воевал, очень ненавидит нацистов, вот что он ненавидит по-настоящему. Он сказал Чарльзу: «Вы не знаете, что такое рейх, и молите бога, что вам этого не довелось узнать»...

«Лиз». – А почему он так грубо сказал? У него были основания?

Мэри. – Разве в этих словах есть бестактность? Я бы почувствовала, ты не права...

«Лиз». – А он и по-испански хорошо говорит?

Мэри. – Как по-английски... У него есть друг, хозяин бара Манолетте, тот уехал в Аргентину после того, как в Испании победил Франко, они вместе поют под гитару такие замечательные песни! Настоящие фламенко!

«Лиз». – А отчего Манолетте уехал из Испании? Он красный?

Мэри. – Откуда я знаю?! Он милый. Какое мне дело, красный он или нет! Он готовит замечательную парижжю... Знаешь, что это?

«Лиз». – Откуда мне...

Мэри. – Это когда на углях жарят мясо – печень барашка, почки, мозги, даже яички, это у них главный деликатес... Объедение!

«Лиз». – Наверняка у этого твоего тренера есть какая-нибудь аргентинка! Уверена в этом... Или индианка... Ты была у него дома?

Мэри. – Как я могла?! Он никого к себе не приглашал, он очень весел на склоне, а в баре сидит и молчит...

«Лиз». – И ты с ним...

Мэри. – Твой вопрос бестактен...

«Лиз». – А я бы на твоем месте сохранила память обо всем этом. И ничего в этом нет постыдного. Если мужчинам все можно, то почему нельзя нам?!

Мэри. – Между прочим, ты бы ему наверняка не понравилась...

«Лиз». – Сначала надо решить, понравится ли он мне... Наверное, он от вас вообще не отходил ни на шаг, что ты так к нему привязалась...

Мэри. – Да мы его упрашивали быть с нами! Мы! Я же говорю: он живет сам по себе! Ему интересно с самим собой и с его горами...

«Лиз». – А кто вас к нему привез?

Мэри. – Никто нас к нему не привозил. Он сам предложил свои услуги, там это у них принято...

«Лиз». – Наверняка он предложил услуги именно тебе!

Мэри. – Ничего подобного, Краймеру. Он наш руководитель, он все и решал.

«Лиз». – А откуда твой красавец знал, что Краймер руководитель?

Мэри. – Какая разница? Почему это должно меня интересовать? Просто я теперь отмечаю календарь каждый день, и это для меня счастье.

3

Г-ну Р. Макайру,
ЦРГ.

Уважаемый мистер Макайр!

Во время командировки в Барилоче с группой туристов фирмы «Кук и сыновья» я познакомилась с интересующим ЦРГ Мэксимом Брунном.

Произошло все в день прибытия, когда мы решали, где начать катания.

М-р Брунн сам предложил нам свои услуги, и все мы согласились с его предложением, что вызвало неудовольствие у его конкурента м-ра Роберта (Локо), но большую радость хозяина фирмы австрийца Ганса.

М-р Брунн более всего контактировал с м-ром Краймером и миссис Мэри Спидлэм; думаю, что между ними возникла близость, – так нежны были их отношения. Это возможно тем более и потому, что м-р Чарльз Спидлэм выключается после приема алкоголя, что позволяет его жене быть свободной всю ночь.

Я не заметила ничего, что могло бы хоть в какой-то мере скомпрометировать м-ра Брунна как лояльного американца.

В библиотеке Барилоче я поинтересовалась его формуляром. Беглое изучение показало, что м-р Брунн не заказывает левую литературу или журналистику, изучает в основном историю немецкого заселения Латинской Америки (Аргентина, Чили, Парагвай, Бразилия и Никарагуа), проявлял повышенный интерес к делу о похищении в 1931 году сына великого американского летчика Чарльза Линдберга, выписывал по этому вопросу газеты из Буэнос-Айреса на английском, немецком и испанском языках. С вопросом о деле летчика Чарльза Линдберга он также обращался в местную газету, но по какой причине – выяснить не удалось, поскольку тур был весьма кратковременным.

У меня наладились вполне добрые отношения с м-ром Брунном, и в случае, если Вы сочтете целесообразным, я

готова отправиться в Барилоче для более тесной работы с этим джентльменом.

Ни с какими просьбами к членам нашей группы м-р Брунн не обращался, к вопросам политического или военного характера интереса не проявлял, его беседы с м-ром Краймером носили деловой характер и касались возможности создания в Барилоче филиала их фирмы.

О м-рах Брехте, П. Роумэне и Г. Спарке разговор ни с кем ни разу не поднимался. О работе Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности – тоже.

...В районе озера ведется активное строительство какого-то комплекса, но что это такое – никому не известно.

Хэлен Эрроу.

Резолюция Макайра: В архив. Командировка Х. Эрроу в Барилоче нецелесообразна. Работу по «Брунну» ведут «Организация» и лично Верен.

РОУМЭН, СПАРК (Лос-Анджелес, сорок седьмой)

Спарк позвонил к нему ночью, в половине первого:

– Я хочу, чтобы ты сейчас же, повторяю, сейчас же приехал к нам, Пол!

Тот вскинулся с тахты, чувствуя, как сердце враз сделалось «заячьим хвостиком»:

– Господи, что-нибудь с детьми?

– Нет, нет, с мальчиками все в порядке... Ты же выполнил условия договора... Я прошу тебя немедленно к нам приехать, речь идет о другом...

– А кто выручит мою шоферскую лицензию? – Роумэн хохотнул. – Я слегка поддал, Грегори. Я не хочу ездить пьяным, этого только и ждут пареньки, я чту законы страны проживания.

– Вызови такси, я оплачу, останешься у нас, здесь и поговорим.

– На подслухе у Макайра? – Роумэн снова хохотнул. – Ты хочешь порадовать начальника?

– Не сходи с ума, Пол. У тебя здесь нет бóльших друзей, чем Элизабет и я. Не сходи с ума. Мне нужно тебя увидеть.

– Ну так и приезжай в город. Пойдем в «Президент»... Там шлюхи съезжаются к полуночи, я покажу тебе самых роскошных потаскух... Там дорого, осведомители не пролезут, они же на бюджете, им нужно просить разрешения на траты, забыл, что ль? Там и поговорим, если тебе это так надо.

– Хорошо. Я выезжаю. Встретимся в «Президенте»? Или заехать за тобой?

– Нет, ко мне не надо, здесь все нашпиговано макайровскими штуками, я ж говорю, они записывают даже то, как я корчусь на унитазе после пьянки...

– Думаю, у них сейчас есть работа поважнее, чем фиксировать твои стоны на унитазе. Я выезжаю.

– Хорошо, я заказываю столик.

Роумэн положил трубку на рычаг осторожно, словно боялся ее сломать, потом резко поднялся, походил по квартире, которая после отъезда Кристы сделалась похожей на его мадридское обиталище в дни, когда не приходила убирать Мариан, такой кавардак: разбросанные по полу ботинки, висящие на спинках кресла рубашки, пыль на книжном столе, заваленном рукописями сценариев; истинно холостяцкое жилье; даже спать он теперь ложился — если возвращался домой — на тахте, возле балконной, во всю стену, двери; на кровати, которую купила Криста, — книги; каждое воскресенье Роумэн отправлялся по книжным лавкам, скупал все, связанное с прошедшей войной, историей разведки, сексопатологией, помешательством, мафией и атомной бомбардировкой Хиросимы; книги по бизнесу складывал на полу, возле батарей отопления, особенно часто листал пособие для начинающих предпринимателей «Как стать миллионером»; потешаясь, делал выписки, прятал их в стол, пригодится на будущее; почему бы, действительно, не стать миллионером; тому, у кого баксы на счету, не страшно и ФБР; воистину, танцует тот, кто заказывает музыку.

Роумэн снял рубашку, надел полосатую куртку и джинсы, бриться не стал, набрал номер «Президента», попросил забронировать столик на имя мистера Спарка: «Платить буду я, Пол Роумэн, да, да, не Раумэн, а Роумэн, это кто-то работает под меня, гоните его прочь, ах, это тот самый Раумэн из Техаса, который держит скот? Очень хорошо, передайте ему привет, скажите, мы с ним братья, пусть подкинет пару сотен тысяч, я восславлю его в фильме, сниму верхом на жирафе с копьем в левой руке и в шляпе, формой похожей на древнеегипетское изображение фаллоса».

— Что это такое? — деловито поинтересовался метрдотель, принимавший заказ; Роумэн посмеялся: у этого ума хватит передать мое предложение мистеру Раумэну, будет очень смешно, наверняка намылит мне морду, они в Техасе прыткие.

— Про фаллос вы ему не говорите, не надо, а про жирафа можете, я буду через полчаса, до свиданья.

...Роумэн вышел на улицу, с океана задувал ветер; нет ничего прекрасней такой погоды, подумал он, все идет, как надо, сейчас меня хорошо проморозит, я буду готов к разговору, мы должны провести этот разговор, от него зависит все или почти все, это точно.

Город уснул, главная улица была пустынной, только в барах слышны голоса и костистые удары бильярдных шаров; именно в барах по ночам собираются либо счастливые люди, либо самые несчастные, которые бегут от самих себя.

В шикарном «Президенте» было светло, как в операционной, и так же холодно; нет ничего отвратительнее огромных гостиниц, какой-то случной пункт, никакого уюта, сплошная показуха, отчего людей так тянет на показуху, будь мы все неладны?!

Войдя в бар, Роумэн спросил, не пришел ли мистер Спарк; мэтр ответил, что еще не появлялся, однако техасский Раумэн гуляет: «Я ему сказал про вас, он очень потешался, хотите познакомиться?»

Раумэн оказался крошечным человечком в ковбойской одежде; хлопнув Пола по плечу, предложил выпить «хайбол», спросил, отку-

да он родом: «Нет, увы, мы не братья, я бы мечтал найти брата, меня раздавило дело, будь оно неладно, нет свободной минуты...»

– Так остановитесь, – посоветовал Пол. – Набрали десяток миллионов баксов – и хватит! Наслаждайтесь жизнью! Видите, сколько здесь прекрасных шлюх? Каждая стоит тысячу в месяц, – это если высшего класса. Сто тысяч за десять лет вперед – гроши. Я бы на вашем месте нанял тройку, завидую шейхам, нет ничего надежнее многоженства, жизнь в радость, никаких обязательств, одни наслаждения...

– Я смущаюсь называть вещи своими именами, – сказал коротышка Раумэн, – тем более, когда речь идет о женщинах.

– Наймите себе «паблик рилэйшенз офиссер»[1]... Возите его с собою, кивнете головой – «хочу вон ту девку», – он вам ее сразу же приволочет...

– Сколько хотите получать в неделю?

– Нет, я не пойду, – Роумэн покачал головой. – Я дорого беру, зачем вас разорять... Если хотите какую из здешних красоток, укажите пальцем, я и без денег все организую.

– Пальцем указывать некультурно, – сказал карлик назидательно, и Роумэн понял, что именно этим ограничивается его соприкосновение с культурой; хотя нет, наверняка он знает, что дичь можно есть руками, наверное, поэтому заказывает в ресторанах фазанов или куропаток, не надо мучиться с тремя вилками, все просто, а заодно соблюден престиж: дерьмовое крылышко птички в пять раз дороже самого прекрасного стэйка; ну и горазды люди на фетиши, выдумают блажь и поклоняются ей, врожденность закодированного рабства...

Спарк приехал через сорок минут, – спустило колесо.

– Знаешь, – усмехнулся он, когда они расположились за своим столиком, – я вожу машину с закрытыми глазами, прекрасно ее ощущаю, но, когда надо менять скат, ощущаю себя Робинзоном, путаюсь с ключами и очень боюсь заночевать на дороге...

– Вози с собой теплую куртку и виски, – посоветовал Роумэн. – Жахнешь от души, укутаешься, поспишь, а утром попросишь шоферов прислать тебе «автосос»[2], двадцать баксов – и никаких забот... Ну, что у тебя?

– Пол, мы получили письмо от Крис.

– Мне она тоже прислала телеграмму.

– Я хочу, чтобы ты прочитал ее письмо при мне.

– Слушай, Грегори, я чертовски не люблю сентиментальных сцен: добрый друг наставляет заблудшего, разговор по душам, глоток виски и сдержанное рыдание... Это все из штампов Голливуда...

– Ты можешь обижать меня, как тебе вздумается, Пол... Я все равно не обижусь, потому что люблю тебя... И знаю, что нет на земле лучшего человека, чем ты... Задирайся, валяй, все равно ты прочитаешь ее письмо при мне... Или, если хочешь, я его тебе прочту сам...

[1] Чиновник по связи *(англ.)*.

[2] Служба помощи автомобилистам.

– Поскольку здесь им трудно оборудовать звукозапись, можешь читать.

– Что с тобой, Пол?

– Ровным счетом ничего. Просто я ощутил себя абсолютным, законченным, размазанным дерьмом. А поняв это, я стал отвратителен самому себе. Ясно? Я помог Крис уйти от меня. Я не хочу, чтобы она жила с дерьмом, понимаешь?

– Погоди. Сначала послушай, что она пишет...

– Я читал, что она написала перед тем, как уехать! Она сбежала! Она бросила меня! Да, да, да! Не делай печальное лицо! Мало ли, что я пару раз не приходил домой! Я всегда жил один, и я привык жить так, как считал нужным! Я тогда не мог ехать пьяным! Я звонил ей, но никто не брал трубку!

– Врешь.

– Если ты еще раз посмеешь сказать мне это слово, я уйду, Грегори, и мы больше никогда не увидимся.

– Хорошо. Прости. Послушай, что она пишет, – Спарк взял письмо в руку; Роумэн заметил, как тряслись его пальцы. – Вот, погоди, тут она рассказывает Элизабет про свое житье... Ага, вот эта часть... «Я не помню, у кого из европейцев я прочитала горькую, но изумительно верную фразу: «порою легче переспать с мужчиной, чем назвать его по имени»... Мне казалось, что Пола порою удивляло мое постоянное «ты», я, действительно, очень не люблю никого называть по имени... Я назвала его «Полом» в прощальной записке. Жест дарующий и жест принимающий дар имеет разъединяющий... Так и те дни, которые я провела с ним, – дни надежды, дни разлук, но более всего я боюсь, что он не узнает, какое это было для меня счастье, какая это была нежность, которую он так щедро подарил мне. Каждый должен во что-то верить: в бога, космос, сверхъестественные силы. Я верила в него. Он был моим богом, любовником, мужем, сыном, другом, он был моей жизнью... Я благодарна ему за каждую минуту, пока мы были вместе, я благодарна ему за то, что он был, есть и будет, пока есть и буду я... Больше всего мне страшно, когда, просыпаясь, я не вижу его глаз. Он говорил, что глаза нельзя целовать, это к расставанию, плохая примета... Нет, уходя, можно все, только нельзя остаться... Я теперь часто повторяю его имя, оно делается ощутимым, живым, существующим отдельно от него... Я села и написала: имя твое – поляна в лесу, имя твое – поцелуй в росу, имя твое – виноградинка в рот, имя твое скрипка поет, имя твое мне прибой назвал, тяжко разбившись о камни скал, имя твое – колокольный звон, имя твое – объятья стон, ну, а если на страшный суд, имя твое мои губы спасут...»

Спарк поднял глаза на Пола, в них были слезы.

Роумэн ударил сцепленными кулаками по столу, заревел медведем:

– Суки паршивые! Дерьмовые, долбанные суки! – он обернулся, крикнув через весь зал: – Да принесите же нам виски, черт возьми!

– Ты должен поехать к ней, Пол...

– Нет.

– Почему? Она любит тебя.

– Я сломан. В каждом человеке живет своя гордость. Я не могу, чтобы она была подле раздавленного, обгаженного, стареющего и спивающегося мужика. Это предательство. А я не из этой породы... Мы с тобою предали Брехта, и Ханса Эйслера тоже предали, их нет в этой стране, их оболгали, извозили мордой об дерьмо и выбросили, как нашкодивших котят... А ведь они не котята, а великие художники, которые будут определять память середины двадцатого века! А кто здесь понял это? Кто встал на их защиту?! Кто?! Ты? Я? Украли мальчиков, раздавили нас подошвой, как тараканов... Я не могу взять на душу грех приучать ее к тараканам... Не могу... Она их и так слишком много повидала в своей жизни... Словом, тут у меня наклевывается одна работенка, предстоит полет в Вашингтон, – оформлю там развод и пошлю ей все документы... У нее впереди жизнь, а мне осталось лишь одно – доживать.

– Как сердце?

– Прекрасно.

– Ты говоришь неправду, Пол. Ты ужасно выглядишь... Ты гробишь себя. Кого ты хочешь этим удивить? Надо выждать... Все изменится, поверь. Так долго продолжаться не может...

– «Изменится»? Да? Хм... А кто будет менять? Ты? Я? Стоит только прикрикнуть, как все уползают под лавку и оттуда шепчут, что «так долго продолжаться не может»... Кто ударит кулаком по столу? Я? Нет, я лишен такой привилегии, потому что мстить за это будут Элизабет и тебе, мальчики – в закладе... Должно родиться новое поколение, созреть иное качество мышления... А кто его будет создавать? Человечество несет в себе проклятие страха, согласись, именно рабовладение определяло мир с его основания до конца прошлого века, когда мы перестали продавать черных, а русские – белых.

Девушка в коротенькой юбочке принесла виски; Роумэн погладил ее по округлой попке:

– Крошка, принеси-ка нам сразу еще четыре порции. И соленых фисташков, о'кей?

– О'кей, – ответила та. – А вам записка.

– От кого?

– От скотовода, – девушка усмехнулась. – От гиганта из Техаса.

Роумэн прочитал вслух:

– «Братишка, если ты и впрямь можешь заклеить здесь любую красотку, то я бы просил тебя побеседовать с той, которая вся в белом». – Роумэн рассмеялся, пояснив: – Это гуляет крошечный ковбой, который стоит пятьдесят миллионов, Раумэн, видишь, вырядился в костюм первых поселенцев...

– Ты что, намерен быть его сводником? – спросил Спарк с нескрываемым презрением.

– А почему бы и нет? Во мне родился инстинкт иждивенца, я постоянно хочу к кому-то пристроиться, чтобы не думать о завтрашнем дне... Я же уволен, Грегори... Я не дослужил нужных лет до пенсии... Я в любую минуту могу оказаться безработным...

Он поднялся, сказал Спарку, что сейчас вернется, пусть пьет, стол оплачен, подошел к громадной корове в белом; странно, отче-

го карликов тянет на таких бабищ, он же с ней не справится; поклонился женщине и спросил разрешения присесть, ощущая на спине скрещивающиеся взгляды Спарка и скотовода.

– Что ж, подсаживайтесь, – голос у толстухи был низкий, хриплый, мужской. – Есть проблемы?

– Мой друг мечтал бы познакомиться с вами, красивая.

– Твой сосед, длинный красавчик?

– Нет, тот не знает никого, кроме жены, он священник...

– У священников нет жен...

– Бывший священник, – усмехнулся Пол. – У него были неприятности с Ватиканом, он вступил в коммунистическую партию, а попам это запрещено под страхом кастрации, вот епископ ему и предложил: либо я тебя кастрирую, либо уходи подобру-поздорову из лона святой церкви... Но у него жена поет в хоре, контральто...

– У тебя больные глаза, – заметила женщина. – Покажись врачам.

– Залеченный сифилис, – ответил Роумэн. – Я показывался. Поздно, ничего не попишешь, хирургия бессильна, а я верю только хирургам.

Женщина вздохнула:

– Пусть тот, больной, отрежут, а пришьют новый, сейчас делают чудеса... Так кто хочет меня пригласить?

– Вон тот гигант, – Роумэн показал глазами на карлика. – Он стоит полсотни миллионов.

– Я лучше с тобой пойду бесплатно, чем с ним пересплю за миллион. Я могу во сне раздавить его, как деревенская кормилица господского младенца.

– Устроим похороны, – Роумэн снова усмехнулся. – Напьемся от души.

– Ты – трезвый.

– Просто я пью хорошо.

– Ты – трезвый, – повторила женщина. – Валяй отсюда, я не пойду к карлику, у меня серьезная клиентура.

– А ко мне бесплатно пойдешь?

– Пойду.

– Давай усыновим карлика? А?

– Пусть уж он нас с тобой усыновит, – женщина осторожно поправила свою пышную прическу. – Я правду говорю... Если хочешь – едем ко мне, ты мне симпатичен.

– Тебя как зовут?

– Мари Флэр, – ответила женщина. – У меня красивое имя. Правда?

– Очень. Слушай, Мари Флэр, сделай милость, позволь все же этому маленькому придурку подойти к тебе, а? Ну что с тебя станет, если он угостит тебя шампанским?

– А ты?

– У меня нет денег на шампанское... Нет, вообще-то есть, но я очень скупой, берегу на черный день...

– Да я тебя сама угощу. У меня сегодня был клиент, я в порядке. А ты совсем отвалишь или потом вернешься?

– Вернусь, честное слово, приду...

– Ладно, – женщина кивнула, – пусть поит шампанским. Я ему сейчас назову марку начала века, – за такие деньги можно стадо купить, поглядим, на что он способен...

Карлик, увидав улыбку Роумэна, поднялся; его высокие сапожки тридцать седьмого размера были на каблучках, как у оперной певицы; важно ступая, он отправился к Мари Флэр, галантно поклонился женщине, сел рядом и сразу же пригласил мэтра.

– Этот в порядке, – вернувшись к Спарку, сказал Роумэн; вздохнув, выпил еще один «хайбол», положил ладонь на холодные пальцы друга: – Не сердись, Грегори. Мне плохо. Мне так плохо, как никогда не было.

– Порой мне кажется, что ты играешь какую-то роль, Пол.

– Хорошо обо мне думаешь...

– Скажи правду: ты ничего не затеял?

Роумэн полез за своими вечно мятыми сигаретами, усмехнулся, сокрушенно покачал головой:

– Спи спокойно, Грегори. Больше я вас не подставлю... Больше никто и никогда не похитит мальчиков...

– Ты говоришь не то, Пол.

– Я говорю именно то, что ты хочешь услышать.

– Ты говоришь плохо, Пол. Мне даже как-то совестно за тебя.

– Зачем же ты приехал? Валяй к себе в Голливуд, тебя заждалась Элизабет.

– Ты похож на мальчишку, который нашкодил и не знает, как ему выйти из того ужасного положения, в которое он сам себя загнал...

– Зачем ты так? Хочешь поссориться?

– Не я хочу этого, – ответил Спарк.

– Почему же? Тебе выгодно поссориться со мной... Тогда от тебя окончательно отстанут...

– Ты плохо выглядишь, Пол... Знаешь, Эд Рабинович купил себе клинику, он лучший кардиолог, какие только есть, потому что добрый человек... Я сказал ему, что у тебя аритмия и сердце молотит, когда меняется погода, он ждет тебя, вот его карточка, возьми...

– Ты очень заботлив. Только я не знаю никакого Рабиновича.

– Знаешь. Вот его визитная карточка, возьми, пригодится... Он воевал, потом поселился в Голливуде, играет на виолончели...

– Ну и пусть себе играет вдвоем с Эйнштейном. Отчего это все евреи тянутся к виолончели? Что им, скрипки мало?

– Не хватает тебе стать антисемитом.

– А что? За это платят. И сразу же объявится множество тайных покровителей...

Спарк усмехнулся:

– Особенно на Уолл-стрите, сплошные протестанты...

– Гейдрих тоже был замаран еврейской кровью, а не было антисемита более кровавого, чем он... Дело не в крови, а в идеологии стада, которое ищет оправдание злу в чужой силе...

– Пол...

– Ну?

– Мы тебя все очень любим.

– Спасибо.

– Ты что сник?

– Я? – Пол удивился. – Я не сник. Наоборот. Будь здоров, Грегори, давай жахнем.

Спарк выпил, улыбнулся:

– А кто будет выручать мою шоферскую лицензию? Ты?

– Оставайся у меня, а? Это будет так прекрасно, Грегори, если ты останешься у меня! Я сделаю яичницу! У меня есть хлеб и масло, кажется, и сыр. Устроим пир! А? И виски я еще не допил, и джин, оставайся, Грегори!

– Пол... там же мальчики... Я и сейчас, как на иголках...

Роумэн сник:

– Вот видишь... А ты говорил...

– Хорошо. Я останусь.

– Не говори ерунды. Я часто теряю ощущение реальности, Грегори. Я не имел права предлагать тебе это, не думай, я не испытывал тебя. Просто я... Не сердись... Езжай, поцелуй Элизабет, она прелесть... И постой над кроватками мальчишек. Посмотри на них внимательно, подивись чуду, они ведь у тебя чудо, правда... Давай выпьем за них, а?

– Едем ко мне, Пол. Там и надеремся. Как раньше, втроем. Элизабет, ты и я. Ты ляжешь спать в комнате, рядом с комнатой мальчиков, где вы спали с Крис...

– Тебе доставляет наслаждение делать мне больно?

Девушка принесла виски; Роумэн снова попросил принести еще три порции, сразу же выпил свой «хайбол», закурил, и Спарк почувствовал, как сейчас жутко во рту Пола, он словно бы стал им, ощутив горечь и судорогу в животе, а потом ощутил симптом рвоты, даже понял ее приближающийся желтый, желчный вкус.

– Не кури, Пол. Не сходи с ума. Ты нарочно играешь жизнью. Зачем? Если уж она тебе совсем не дорога, распорядись ей ко всеобщему благу.

– Это как? Застрелить Трумэна? Привести нашего друга Даллеса в кресло президента и вернуться в разведку? Эмигрировать к Сталину и организовать американское правительство в изгнании? Или поцеловать задницу Макайру и написать покаянное письмо: «меня опутали левые, но теперь я прозрел, спасите»?!

– Едем, Пол. – Спарк поднялся. – Едем.

– Хорошо хоть не посмотрел на часы, брат. Езжай. С богом. Я еще погуляю чуток

– Что мне написать Крис?

– А я разве нанял тебя в посредники? Не лезь в чужие дела, это неприлично.

– Завтра тебе будет стыдно за то, что ты мне говорил сегодня.

– А тебе? Какого черта ты приперся с ее письмом?! Ты думаешь, у меня нет сердца?! Я всегда смеюсь, «ах, он такой веселый, этот Пол, у него прекрасный характер, с ним так легко»... А ты знаешь, чем мне это дается?! Ты знаешь, чего стоит быть веселым, улыбчивым, мягким?! У меня ж внутри все порвано! Мне разорвали все в

нацистской тюрьме! Пытками! А потом... Ладно, Грегори, я не хочу, чтобы мы окончательно поссорились. Линяй отсюда! Я выпью за Элизабет, – он опрокинул в себя виски, – и за мальчиков, – он выпил еще один стакан. – Это все. Шпарь. Я завелся. Шпарь отсюда, ладно?

И, не прощаясь, Роумэн поднялся и, вышагивая ровно, словно солдат на параде, двинулся к карлику, который уже забрался на колени белой корове с красивым детским именем Мари Флэр.

Спарк посмотрел ему вслед с тяжелой неприязнью, потом смачно плюнул под ноги, бросил на столик двадцатидолларовую купюру и стремительно вышел.

– Он плюнул тебе вслед, – сказала Мари Флэр, погладив руку Пола. – Сволочь. Садись, Чарльз поит нас самым лучшим шампанским.

– Ах, тебя к тому же зовут Чарльз? – удивился Роумэн, плавающе поглядев на карлика. – Никогда и никому не говори, что ты Чарльз. Называй себя Ричардом, это твое настоящее имя, Ричард Бычье Сердце...

Карлик посмотрел на женщину вопрошающе и, продолжая хранить на лице улыбку, спросил с вызовом:

– Это он оскорбляет меня, малыш?

– Тебя оскорбила природа, – вздохнула Мари Флэр. – Больше оскорбить нельзя, такой крохотуля...

– Пойдем, я докажу тебе, какой я крохотуля! – ответил карлик. – Нет, ты ответь мне, Роумэн! Ты мне ответь: что это за Ричард Бычье Сердце?

– Я не оскорбляю тебя, – сказал Роумэн, наливая шампанское в бокал Мари Флэр. – Был такой английский король, его звали Ричард Львиное Сердце... Я переиначил его имя, у тебя ж коровы, а не львы... Заведи себе табун львов, тогда можешь называться, как тот английский парень в золотой шапчонке... Старуха, – он потянулся к женщине выпяченными потрескавшимися губами, – поцелуй меня...

– Эй! – карлик поднялся. – Это моя женщина!

– Вали отсюда, – сказала Мари Флэр. – Вали малыш. Моя рука толще твоей талии, мне за тебя страшно.

– Не гони его, – попросил Роумэн. – Лучше едем ко мне, я сделаю яичницу, у меня есть джин, виски, гульнем, как следует. Едем, Ричард? Я уложу вас на роскошной кровати, широкой, как Атлантика, тебе будет где развернуться, ты ж прыткий, все карлики прыткие, это точно...

Скотовод снова обернулся к женщине:

– Я все же не пойму – он нарывается, что ли? Или это он так шутит?

– Он шутит. Ты должен быть добрым, крохотуля. Ты обязан льнуть к людям... Ты ж такой маленький, глядишь, что не так скажешь, – тобой зеркало разобьют... Возьмут за ноженьки, покрутят над головой и побьют зеркала... Едем к Полу... Возьми шампанского, и пусть принесут корзину фруктов, я сижу на диете, так я и стану есть вашу дерьмовую яичницу...

В четыре часа, когда веселье в квартире Роумэна шло вовсю и карлик отплясывал с Мари Флэр, откидывая голову, как заправский танцор, Пол вдруг сполз с дивана и начал рвать на себе воротник куртки, повторяя:

– Болит, душно, болит, душно, душно, болит...

Мари Флэр смеялась, продолжая танцевать:

– Ну, хорош, ну, назюзюкался! Пойди, понюхай нашатыря, сценарист, все вы, ученые, только на словах мужики, а как до дела, так сразу начинаете выпендриваться! Побыл бы женщиной, один бы аборт вынес, тогда б не канючил, что болит...

Карлик, однако, подошел к Роумэну, подложил ему под потную, взлохмаченную голову детскую ладошку и тихо спросил:

– Что у тебя болит, седой? Живот?

Роумэн, продолжая стонать, достал из кармана куртки визитную карточку доктора Рабиновича, что ему дал в баре Спарк, ткнул пальцем в телефон, прохрипел:

– Пусть он приедет! Сердце... Больно... Очень больно, малыш... Прости меня... Пусть они приедут... я... я... скорей...

В восемь утра Рабинович позвонил Спаркам, долго кашлял в трубку, словно съел в жару мороженое, потом, наконец, сказал:

– Слушайте, у вашего друга обширный инфаркт, и будет чудом, если он сегодня не умрет... Словом, можете приезжать, я не знаю, когда я смогу вас пустить к нему, но пущу обязательно, потому что мы привязали его руки к поручням, он буйный, он все время норовит подняться, надо как-то повлиять на него... Я сделал все, что мог... Но это ненадолго... У него нет сердца, ошметки, я давно не видал таких страшных кардиограмм...

ГЕНЕРАЛ ХОЙЗИНГЕР, ГЕЛЕН, ШТИРЛИЦ (сорок седьмой)

Последние недели были крайне напряженными: с разрешения оккупационных властей США генерал проводил постоянные конспиративные контакты с бывшим начальником оперативного управления генерального штаба фюрера Хойзингером; его привозили из лагеря для пленных в маленький коттедж – «на медицинское обследование»; там ждал Гелен. Беседы были не простыми; Хойзингер открыто бранил американцев за их отношение к вермахту: нельзя жонглировать понятиями о «демократии», когда на пороге новая русская угроза; то, что по-прежнему держат в лагерях Манштейна, Гудериана и Гальдера, по меньшей мере недальновидно, пусть мы живем в коттеджах, но ведь они обнесены проволокой...

– Вы готовы? – спросил Гелен своего помощника, вернувшись со встречи. – Надо срочно подготовить запись беседы...

– Да, господин генерал.

Гелен поднялся и, расхаживая по кабинету, начал негромко – но очень четко, по-военному, несколько даже приказно – диктовать:

– Очередная встреча генерала «Вагнера», представлявшего «Ор-

ганизацию», с генералом Адольфом Эрнстом Хойзингером на этот раз состоялась в военном лазарете США; первые двадцать минут беседа проходила в помещении, а затем, по предложению Хойзингера, была продолжена во время прогулки по парку.

Во время этого полуторачасового обмена мнениями в первую очередь рассматривался вопрос о той клеветнической кампании, которая ведется большевистской пропагандой и определенными еврейскими кругами Запада, направленной против самого духа германской армии, дабы придать ей видимость «инструмента в руках Гитлера», хотя каждому непредубежденному исследователю ясно, что вермахт всегда был в оппозиции и к фюреру, и к доктрине национал-социализма.

Яснее всего это подтверждается тем фактом, что именно офицер вермахта, герой германской нации Штауфенберг привез двадцатого июля в ставку Гитлера бомбу, которая должна была уничтожить диктатора, и лишь случай помешал этому.

Генерал «Вагнер» и генерал-лейтенант Хойзингер изучили данные прессы, находящейся в руках Кремля и определенных еврейских кругов, о том, что якобы генерал Хойзингер был награжден фюрером серебряной медалью «За верность» – после трагических событий двадцатого июля – как один из его самых доверенных сотрудников, и подтвердили, что эти публикации носят спекулятивный характер и сфабрикованы Москвой.

Было принято решение подготовить – используя возможности наших друзей – объективную информацию, которая покажет всю сложность ситуации, создавшейся в ставке фюрера накануне покушения.

Решено заново изучить материалы о подготовке операции «Морской лев» и мнимом участии в ней Хойзингера, чтобы нейтрализовать возможные акции У. Черчилля, чья ненависть к Германии сравнима лишь с его ненавистью к большевистской России. Учитывая неожиданный характер бывшего английского лидера, следует опубликовать в Британии документы, носящие сенсационный характер, о том, что генерал-лейтенант Хойзингер на самом деле был одной из потаенных пружин антигитлеровского заговора и только чудо спасло его от казни.

При этом было отмечено, что публикации должны носить атакующий, а не оправдательный характер, время «сдержанной пропаганды» кончилось, пришла пора наступать, разбивая мифы о «жестокости» германской армии во время ее противостояния большевистским ордам.

Хойзингер – заручившись обещанием генерала «Вагнера» о том, что с него будут сняты все обвинения, состряпанные русскими, – дал согласие работать в качестве консультанта «Организации».

Поскольку архивы Шелленберга и Канариса в массе своей попали в руки британцев, признано целесообразным просить генерал-лейтенанта Хойзингера сосредоточиться не на русском вопросе (это следующий, основной этап работы), а на связях ОКВ с режимами стран Латинской Америки накануне второй мировой войны, а также во время битвы (Аргентина, Эквадор, Бразилия, Чили).

В свою очередь, генерал-лейтенант Хойзингер поставил перед генералом «Вагнером» вопрос о трагической судьбе выдающихся германских военачальников, находящихся в тюрьме Ландсберга в ожидании смертной казни. Речь идет о тех, кто стоял в первых рядах борьбы против большевистских орд; историческая справедливость должна быть восстановлена в самом ближайшем будущем, ибо – в противном случае – ни один из молодых немцев, живущих на западе Германии, ни при каких условиях не возьмет в руки оружие для защиты цивилизованного мира от красного владычества...

На вопрос генерала «Вагнера», следует ли добиваться отмены смертной казни для обергруппенфюрера СС Поля, бывшего начальника хозяйственного управления СС, и генерала СС Олендорфа, руководившего акциями по уничтожению славян и евреев на Востоке, генерал-лейтенант Хойзингер ответил, что факт уничтожения славян и евреев еще надо доказать, а компетенция вышеназванных генералов в вопросах антибольшевистской борьбы не подлежит сомнению.

Привлечение Хойзингера к работе в «Организации» было огромной победой Гелена, поэтому фразы его отчета были такими литыми, четкими, рублеными.

Действительно, этот «консультант» был воистину неоценим для возрождавшейся германской разведки.

Политическая биография Адольфа Эрнста Хойзингера сложилась не просто; родившись в семье баварских религиозных проповедников и борцов за охрану природы (особенно вековых дубрав и альпийских лугов), он был далек от экономических бурь и схваток левых интеллектуалов с правыми.

Когда началась первая мировая война, он вступил добровольцем в ряды армии кайзера; под Верденом был ранен, попал в плен к англичанам, заочно произведен в лейтенанты, награжден «Железным крестом» и причислен к лику героев – наравне с Герингом и Гитлером, – сражавшихся на том же фронте, что и он, Хойзингер.

Вернувшись в разоренную Германию, он не примкнул ни к какой политической партии. «Армия – вне дрязг, единственно, кто может защитить достоинство поруганной державы, – солдаты» – так сказал Хойзингер, это было его кредо той поры, вполне устойчивый буй в пору всеобщего разлада, отмечавшего тот период развития Германии.

Когда к власти пришел Гитлер, капитан Хойзингер – ему тогда было тридцать шесть лет – служил в генеральном штабе; его непосредственным руководителем был полковник Йодль; накануне «ночи длинных ножей», когда Гитлер, ворвавшись в альпийский отель «Ханслъбауэр», арестовал и застрелил Рэма, кричавшего перед смертью: «Хайль Гитлер! Да здравствует национал-социализм! Слава тысячелетнему рейху! Смерть большевикам и евреям!», капитан Хойзингер отдавал приказы армейским соединениям страховать акцию фюрера, направленную на то, чтобы разделаться с «изменниками из СА»; вскоре после этого он публично принял присягу новому арийскому мессии: «Клянусь перед богом в моей безграничной преданности Адольфу Гитлеру, фюреру рейха и немецкой нации, и даю слово солдата всегда быть верным этой присяге – даже ценой моей жизни!»

Спустя два года фюрер с позором изгнал из армии двух фельдмаршалов, стоявших к нему в оппозиции, и шестьдесят генералов; Геббельс заранее подготовил истерическую кампанию о банде «гомосексуалистов и моральных разложенцев под погонами, которые ставили свои интересы выше интересов нации; в их жилах была не чисто арийская кровь, этим и объясняется их бесстыдство»; на гребне чистки капитан Хойзингер, выступив с речью по поводу произошедшего перед офицерами генерального штаба, получил повышение, став в тридцать шестом году заместителем начальника оперативного управления генерального штаба.

В тридцать восьмом году Хойзингер сопровождал Кейтеля и Йодля к фюреру, когда тот отдал приказ разработать операцию по удару против Чехословакии; вся непосредственная работа была поручена Хойзингеру – уже майору.

Ему же было приказано готовить детальную разработку плана нападения на Польшу; собственноручно, резким готическим шрифтом, Хойзингер написал проект приказа и доложил его фюреру: «Оперативная задача вермахта на Востоке состоит в физическом уничтожении польской армии».

В сентябре тридцать девятого года Йодль вызвал к себе Хойзингера и, крепко пожав руку, протянул ему серебряные погоны подполковника:

– Поздравляю, приказ о внеочередном присвоении вам воинского звания подписал лично Гитлер, это честь, которой удостаиваются немногие.

Когда разгром Франции стал фактом истории, растущий стратег вермахта позволил себе высказать критику в адрес Гитлера:

– Если бы фюрер дал приказ немедленно атаковать Англию, мы бы пришли на остров через неделю, сделавшись хозяевами Европейского континента.

Видимо, Гитлер узнал об этом, потому что спустя несколько месяцев именно Хойзингеру было поручено разработать план «Морской лев» – вторжение и оккупация Англии.

– Однако, – добавил фюрер, – Хойзингеру необходимо связаться с СС и СД, без их помощи армия не удержит британцев в том подчинении, которое мне угодно. Пусть он проработает совместно с коллегами из СС формулировки приказов о расстреле на месте за отказ повиноваться приказам немецких оккупационных властей.

Хойзингер встретился с начальником хозяйственного управления СС генералом Полем, обсудил с ним все детали организации концентрационных лагерей в Англии и отдал приказ печатать листовки для «оккупированного острова»; слово «смертная казнь» в этом документе было главным; «с британским парламентаризмом можно покончить только устрашающей жестокостью», никаких свобод – все это химера, никаких партий – это игра, рассчитанная на доверчивых младенцев; порядок и дисциплина – вот чего победители требуют от англичан; учитесь жить по-новому, в условиях национального порядка.

Рассчитывая план «Барбаросса», Хойзингер, как и Гитлер, был уверен в блицкриге: шесть недель – и большевистский колосс на глиняных ногах будет повержен; однако, когда в декабре сорок пер-

вого вермахт был остановлен под Москвой, Гитлер в ярости прибыл в штаб-квартиру ОКХ – сухопутных сил армии – и взял на себя верховное главнокомандование, разогнав тех генералов, которые не смогли выполнить его приказ по захвату русской столицы.

Никто не посмел возразить фюреру, когда он разносил генералов, никто не посмотрел друг другу в глаза, – а ведь перед ним стояли люди, командовавшие дивизиями, когда Гитлер был рядовым; начался всеобщий паралич воли; страх перед вышестоящим начальником, которого они же, эти люди, добровольно поставили над собой, сделался постоянным, давящим; однако и от этой чистки Хойзингер вновь выиграл: незаметный, исполнительный, из хорошей баварской семьи, близок к природе, чувствует дух нации, никаких инокровий, настоящий немец, он стал генералом и начальником оперативного отдела штаба, то есть человеком, ежедневно докладывавшим фюреру и подписывавшим приказы, которые полагалось принимать к немедленному исполнению таким полководцам, как Роммель и Клюге, Гудериан и Вицлебен; именно он, Хойзингер, правил приказ Манштейна и визировал его: «Немецкий народ ведет борьбу против большевистской системы не на жизнь, а на смерть. Это борьба не только против советских вооруженных сил... Евреи составляют среднюю прослойку между русским противником в тылу и остатками все еще ведущей бои Красной Армии и правительства. Крепче, чем в Европе, евреи удерживают здесь в своих руках ключевые посты в политическом руководстве и административных органах... Еврейско-большевистская система должна быть уничтожена раз и навсегда... Никогда впредь большевики не должны вторгаться в пределы нашего жизненного пространства... Солдат обязан понять необходимость жестоко карать евреев – духовных носителей большевистского террора. Это необходимо также для того, чтобы в корне пресечь все восстания, которые более всего свойственны евреям».

После разгрома под Москвой Хойзингер начал задумываться о будущем; ничто так не отрезвляет второй эшелон руководителей, как крупная неудача; если фюрер был по-прежнему одержим – фанатик, то Хойзингер начал корректировать свои приказы, проецируя каждую свою подпись на возможность трагического исхода битвы.

Когда Гитлер узнал об ударе русских партизан возле станции Славное, гневу его не было предела; он потребовал от Хойзингера немедленного составления приказа об «устрашающей операции возмездия».

Генерал отправил пожелание фюрера в группу армий «Центр»; через день оттуда поступил ответ: «Во исполнение указания фюрера предусмотрено расстрелять сто русских, подозреваемых в участии или содействии нападению; их дома будут сожжены. Просьба дать разрешение на акцию».

Хойзингер долго сидел над этим документом; он понимал, что его подпись на разрешении казни ста гражданских лиц осядет в архивах, – неотмываемо; поэтому он переслал запрос из штаба армий «Центр» в ставку Гитлера со своей припиской: «Прошу ознакомить фюрера; группа «Центр» ждет его разрешения; прошу выслать письменное указание».

Я принял присягу, говорил он себе, я солдат, а каждый солдат выполняет приказ вышестоящего начальника; пусть отменят этот принцип, существующий в мире с того дня, как была создана армия, и я буду готов к личной ответственности; я бы не дал санкции на это злодейство; я, однако, бессилен противодействовать приказу верховного главнокомандующего.

...В тюрьме – уже после того, как он сдался союзникам, – Хойзингер читал выступления главного американского обвинителя в Нюрнберге Роберта Джексона, ощущая, как его тело становится короче, ссыхается, делаясь маленьким и беззащитным; американец грохотал: «Оказывается, Геринг ничего не знал о зверствах гестапо, которое он сам и создал, и даже «не подозревал» о государственной программе уничтожения евреев... Фельдмаршал Кейтель издавал приказы вооруженным силам, но не имел никакого представления, к чему они приведут! Начальник РСХА Кальтенбруннер действовал под впечатлением, что полицейские функции гестапо и СС заключаются в чем-то вроде регулирования уличного движения! Если и впрямь поверить этому, то в конце концов можно согласиться с тем, что не было никакой войны, убийств и не совершалось никаких преступлений!»

Именно тогда Хойзингер и начал мучительно вспоминать те эпизоды жизни, которые бы позволили обратить их в свою защиту; чем дальше, тем чаще он возвращался мыслью к заговору против Гитлера.

В конце концов он решил, что наиболее надежными гарантами для его спасения будут «бессловесные» – те, кого фюрер повесил; уже после краха Хойзингер узнал, что еще в тридцать шестом году Гердлер, бывший мэр Кёльна, организовал кружок «Среда», в котором собирались оппозиционеры, не имевшие, однако, связей с военными; их несогласие с режимом проявлялось в застольных разговорах, смысл которых сводился к тому, что Гитлер портит национальную идею излишней жестокостью, излишним тоталитаризмом и желанием решать все вопросы внутренней и внешней политики самому, не прислушиваясь к ученым, военным и экономистам; причем, подчеркивал Гердлер, призывы фюрера «принимать участие в общенациональном строительстве» являются бумажкой, пшиком, ибо все заранее предусмотрено и расписано им и его ближайшим окружением, высказывание собственного мнения чревато опалой, а то и хуже того – заключением в концлагерь; с Гердлером он встречался дважды, до его отставки, написал в показаниях об их «добрых отношениях»; пойди, проверь, мертвые молчат!

Кружок, возглавлявшийся графом фон Мольтке-Крейзау, группировал вокруг себя аристократов и призывал к миру; всякий разговор об устранении фюрера немедленно прерывался; неосуществившийся заговор фельдмаршала Бека и генерала Гальдера был бунтом на коленях: военные были убеждены, что нападение Гитлера на Чехословакию вызовет ответный удар Франции, Англии и России, крах неминуем; было предложено отдать Гитлера под суд, обвинив в некомпетентности, восстановить монархию и начать мирные переговоры с Западом. Путч был готов, войска могли выполнить приказ об

устранении фюрера, если бы британский и французский премьеры не подписали в Мюнхене позорный договор с Гитлером, отдав ему Прагу; дело умерло, не начавшись; Бек и Гальдер не смотрели друг другу в глаза; люди из кружка Мольтке разъехались в свои поместья, власть Гитлера сделалась абсолютной.

Когда после падения Варшавы Гитлер решил сломить Францию и Англию, фельдмаршал Бек и Вицлебен, понимая, что это новая мировая война, снова решили убрать фюрера; вопрос упирался в то, как отнесутся к этому их коллеги в генеральном штабе; с Хойзингером — впрямую — не говорили, слишком быстро растет, верен фюреру; Гальдер махнул рукой: «Господа, пусть танки катятся вперед, ставки сделаны, не время менять условия игры».

Адъютант генерала фон Трескова, одного из героев заговора двадцатого июля, Фабиан фон Шлабрендорф остался — каким-то чудом — в живых, несмотря на то, что все его товарищи были казнены... Он-то и дал показания, что заговорщики имели две реальные возможности убрать Гитлера в сорок третьем году, когда он прилетел в штаб группы армий «Центр». Однако, показывал Шлабрендорф, убийство Гитлера неминуемо повлекло бы за собой гибель фельдмаршала Клюге и других военных, которые входили в число тех, кто понял неизбежность краха рейха; «мы не могли пойти на то, чтобы взрывать своих же людей вместе с Гитлером; с ним должны были погибнуть лишь его самые верные палладины»; двадцатого июля полковник Штауфенберг передал портфель с бомбой адъютанту Хойзингера полковнику Брандту; бункер Гитлера должен был оказаться могилой не только для фюрера, но и для Кейтеля, Йодля и Хойзингера; как же доказать, что я был в числе тех, кто сражался против Гитлера?! Как убедить американцев в том, что я был с группой Штауфенберга?! Разве заговорщики убивают своих?!

Более всего Хойзингер — после того, как был посажен американцами в тюрьму, — страшился того, что в их руки могут попасть материалы гестапо о том, как он давал показания; после покушения двадцатого июля гестапо взяло показания у всех, даже у Гитлера.

Хойзингер — в результате длительных раздумий — выдвинул версию, что после взрыва двадцатого июля он был брошен гестапо в подвалы на Принц Альбрехтштрассе.

А если они найдут документы о том, что я на самом деле лежал в госпитале для генералов, спросил он себя со страхом. А если сохранились кадры кинохроники, когда фюрер приезжал в наш госпиталь и пожимал каждому из нас, пролившему за него кровь, руку? Как быть с этим? Нужно еще найти эти кадры, возражал он себе. Они могли сгореть во время бомбежек, они должны сгореть, они не имеют права остаться, а если и остались, надо сделать все, чтобы патриоты Германии уничтожили их. Он думал так не без оснований, — уже состоялся первый контакт с людьми Гелена, начался сорок шестой год, и чья-то добрая рука вычеркнула его имя из списка главных военных преступников, сделав всего лишь свидетелем; три человека определяли сущность гитлеровского вермахта: Кейтель, Йодль и Хойзингер. Кто и как смог сделать так, что его вывели из процесса? «Скорректированная информация» — этот термин значи-

тельно более разумен, чем грубое «ложь», – он угоден ныне, этим и следует руководствоваться...

Однако, когда его вызвал американский следователь и дал прочитать архивные документы гестапо, у Хойзингера подкосились ноги.

Американец был молод, достаточно интеллигентен, представился холодно, пренебрежительно: «Я Дин Эллэн, из военной прокуратуры, есть ли у вас ко мне отводы? Пользуясь правом заключенного, вы вправе отвести меня, потребовав себе другого следователя». – «Нет, отчего же, я еще не начал с вами собеседования, я никого никогда ни в чем загодя не обвиняю, это удел победителей». – «Об этом много пишут в правой прессе, конечно, возможны разные толкования, – согласился следователь, – но сейчас мне бы хотелось получить конкретные ответы: насколько тексты ваших допросов чиновником гестапо соответствуют правде? Нет ли подтасовок? Заведомых неточностей? Сколь верно зафиксированы ваши объяснения? Применялись ли пытки, подобные тем, которым были подвергнуты фельдмаршал Вицлебен, генерал Филльгибль и их мужественные коллеги?» – «Я подвергался моральным пыткам, господин Эллэн, не знаю, какие страшнее». – «Видимо, фюрер показывал вам фильм о казни участников покушения? По-моему, все генералы и офицеры обязаны были просмотреть этот фильм...» – «Я его не видел». – «Подумайте, Хойзингер, у вас есть время... Я не буду вам мешать читать документы? Могу отойти к окну». – «Нет, нет, господин Эллэн, вы мне нисколько не мешаете. Не будете ли столь любезны дать мне карандаш и бумагу, чтобы я мог делать заметки?» – «Да, пожалуйста».

Открыв папку, увидав орла и свастику, тот знак, под которым он прожил последние двенадцать лет, генерал испытал леденящее чувство ужаса: боже мой, неужели это все было со мной?! Неужели я растворил свой талант в личности психически больного человека, одержимого страстью говорить, говорить, говорить, бесконечно поучая окружающих?! Неужели я, зная, что служу маньяку, – да, да, я знал это – мог стоять на парадах, вытянув руку в их идиотском приветствии?! Неужели я не отдавал себе отчета в том, что вся доктрина Гитлера есть мракобесие и фиглярство, обреченное на сокрушительное поражение, и вопрос лишь во времени, ни в чем другом?!

Он пожалел, что так и не научился толком курить, машинально похлопал себя по карманам, потом жалостливо взмолился: всевышний, дай мне сил, чтобы пережить тот ужас, который навлек на меня тиран! Спаси меня, я же был маленьким винтиком в его машине ужаса, что я мог?!

– Что вы ищите? – спросил Эллэн. – Очки?

– Нет, нет, благодарю, это чисто машинальный жест.

Эллэн знал обо всех машинальных жестах арестованных генералов, этим занимались тюремные психиатры, наблюдавшие каждого заключенного в течение вот уже года; растерян, понял Эллэн, еще бы, на его месте я бы тоже растерялся.

«Следователь гестапо. – Г-н Хойзингер, вы признаете, что в течение ряда лет были в оппозиции фюреру?

Хойзингер. – Ни в коем случае. Я, правда, не одобрял все его военные решения... В то же время я всегда считал необходимым стоять на страже интересов наших героических фронтовиков.

Следователь. – С какого же времени вы стали придерживаться таких взглядов?

Хойзингер. – Каких именно?

Следователь. – Вольных, сказал бы я.

Хойзингер. – Я бы назвал их честными. Я всегда был верен фюреру, но после Сталинграда были необходимы коррективы...

Следователь. – И несмотря на то, что коррективы не были внесены, вы служили фюреру?

Хойзингер. – Я никогда не делал тайны из моего убеждения – по крайней мере, насколько это было уместно в рамках кодекса офицерской чести, – о необходимости некоторых изменений в стратегии и тактике нашего сражения против большевиков и англо-американцев.

Следователь. – Но вы требовали устранения фюрера силой?

Хойзингер. – Такие слова ко мне неприменимы. Я просто считал, что фюреру следует переместить Кейтеля как человека бесхребетного.

Следователь. – Вы когда-нибудь требовали насильственного устранения фюрера?

Хойзингер. – Спросите об этом арестованных. Если они сохранили хоть гран благородства, они подтвердят, что я никогда не говорил о «насилии». Опросите тех сподвижников фюрера, кто был вместе со мною в штаб-квартире, когда нас взрывали, опросите их... Они вам скажут, что я, раненый, бросился помогать фюреру... Именно в тот момент и крикнул: «Какой позор и гнусность, удар в спину, и это армия!»

Следователь. – Мы опросили всех, кого считали нужным. Мы выяснили, что многие из окружающих фюрера на словах возносили его, а в душе таили ненависть!

Хойзингер. – Ко мне это неприменимо, для меня пути назад не существует, я несу ответственность за все приказы по армии, в том числе и за операцию «Мрак и туман».

Следователь. – Предательство алогично, генерал.

Хойзингер. – В таком случае передайте мое дело на суд офицерской чести. Я готов смело смотреть в глаза председателя суда чести генерала Гудериана, мы оба солдаты фюрера!

Следователь. – Вы готовы дать развернутую справку о ваших коллегах, замешанных в заговоре? Об их концепции сепаратного мира?

Хойзингер. – Это мой солдатский долг, однако мне не были известны их планы о сепаратном мире. Я знал, когда и кто из генералов высказывал критические замечания по поводу определенных решений фюрера, но делалось это – как и мною – в интересах исправления частных неудач...

Следователь. – Мы еще продолжим наше собеседование»...

Хойзингер прочитал текст дважды, заметил, что Эллэн дал ему только одну папку, вторую отложил в сторону; такой же орел со сва-

стикой, тот же гриф «Совершенно секретно», тот же коричневый цвет...

– Я ознакомился с выдержкой, – сказал Хойзингер, удивившись своему голосу: он внезапно сел, сделавшись каким-то значимым, басистым. – Я готов ответить на ваши вопросы.

– Прекрасно. Вы показали нам под присягой, что были арестованы Гиммлером и находились в подвале гестапо. Однако у нас есть сведения, что вы встречались с сотрудником гестапо в офицерском госпитале. Вы по-прежнему настаиваете на этом своем показании?

– Да.

– Какой смысл столь откровенно искажать правду?

– Доказывайте мою неправоту, господин следователь Эллэн, я сказал свое слово.

– Она доказана, Хойзингер. Вопрос в другом: обнародовать эту объективную правду или скрыть?

– От кого вы намерены ее скрывать?

– От русских союзников. Не играйте, Хойзингер, я отношусь к вам без ненависти... Вы обнаружили хоть какую-то уязвимость того протокола, который я вам передал для ознакомления?

– Это фальшивка, сфабрикованная гестапо.

– Что же там сфабриковано?

– Упоминание об операции «Мрак и туман»: я никогда не отдавал приказов на уничтожение евреев. У меня даже был школьный друг – еврей...

– В каком лагере его сожгли? – Эллэн усмехнулся. – Или вы спасли его от гибели? Советую впредь не оперировать фразами вроде этой... Геринг в Нюрнберге клялся, что у него были приятели иудейского вероисповедания. Это, однако, вызывало презрительный смех присутствующих... Могу вам подсказать линию поведения в этом горестном вопросе... Упирайте на то, что вы, как военный стратег, знали, что государственный антисемитизм по отношению к арабам и евреям – и те, и другие семиты – привел к краху такое великое государство, каким была Испания, низведя ее до уровня третьесортной страны на задворках Европы, настаивайте, что русская империя во многом пала из-за своей неразумной национальной политики, большевики, встав на защиту притесняемых, свергли трехсотлетнюю монархию...

– Большевики свергли монархию, потому что та изжила себя, став поперек объективного хода исторического развития.

Эллэн кивнул:

– Согласен. Но вы жмите на свое, это – в вашу пользу.

– Простите, а вы сами-то... кто?

– Католик, – ответил Эллэн. – В отличие от паршивого рейха, в демократических странах средневековый вопрос чистоты крови изжит... Если я принял католичество – я католик. И все тут. Точка... Настаивайте на том, что вы верите в закон аналогов, вы боялись повторения былых катастроф, поэтому не могли быть автором бесчеловечных антиславянских и антисемитских приказов... Впрочем, вы вправе не верить мне, Хойзингер... Я же не верю ни одному вашему слову... К сожалению, вы нужны нам, только поэтому я собеседую с

вами, а не присутствую на мрачной церемонии вашего повешения... Я вам не верю ни на йоту, особенно после ознакомления вот с этим документом, – и Эллэн подвинул генералу текст расшифрованной записи беседы Гитлера с Хойзингером в сентябре сорок четвертого года, после того, как все герои заговора были повешены на рояльных струнах, причем вешали их не сразу, а подцепляли под ребра крюком, который используют на мясобойнях, и бросали на помост, причем делали это на глазах у других арестованных, в свете юпитеров, ибо Гитлер приказал снять казнь на пленку – от первой до последней минуты...

Читайте, читайте, Хойзингер, читайте, я понимаю, что страшно, но – надо, меня просили ознакомить вас с этим материалом.

«Гитлер. – Сожалею, что и вам пришлось отвечать на вопросы следователей... Я не имел права вмешиваться, порядок есть порядок... Кейтель также отвечал на вопросы, не сердитесь, Хойзингер, жизнь – суровая штука...

Хойзингер. – Мой фюрер, я счастлив, что все позади и правда восторжествовала.

Гитлер. – Ваша записка, составленная в госпитале, произвела на меня сложное впечатление... Я благодарю вас за то, что вы написали правду о тех вероятных просчетах, которые имели место, но вы же понимаете, что мы с вами взяли на себя тяжкое бремя сражения против самого страшного чудовища, которое когда-либо появлялось на земле, – против большевистского еврейства... Я не мог корректировать то, чему посвятил жизнь... Не думайте, что мне так просто увязывать все воедино – экономику, пропаганду, армию, ветеранов, профсоюзы... Каждое ведомство отстаивает свое, я – высший арбитр... Да и потом разве может вождь открывать потаенный смысл каждого своего решения? Что бы у нас получилось с Францией, если бы я позволил вам заранее опубликовать проект военной кампании? (Смех.) Вы бы потребовали моего отстранения, не правда ли? Вы, конечно, понимаете, что теперь, когда мы очистились от внутренней скверны, уничтожив банду изменников, все пойдет к лучшему?

Хойзингер. – Да, мой фюрер. Если, конечно, вы развяжете руки верным вам генералам: очень трудно ждать приказа из ставки день, а то и два, тогда как решение надо принимать в течение часа, а иногда и минуты...

Гитлер. – Просто следует улучшить работу связи... Надо, чтобы мои решения доходили до командующих фронтами незамедлительно.

Хойзингер. – Мой фюрер, поверьте тем, кто в горький час двадцатого июля доказал вам свою преданность, они же опытные военачальники, дайте им право на самостоятельность.

Гитлер. – Я никогда не откажусь от своего призвания быть верховным главнокомандующим, Хойзингер! Запомните это раз и навсегда! Только я знаю, что нужно фронту! Только я, воплощение идеи национального социализма, вправе принимать кардинальные решения, я – и никто другой! Словом, поздравляю вас с заслуженной наградой, вы удостоены серебряной медали «Двадцатое июля

1944 года, Адольф Гитлер». Первую медаль я вручил Борману. Вторую – Гиммлеру. Ваш знак имеет порядковый номер сорок семь. Поздравляю вас также с новым назначением: партия национал-социалистов направляет вас главнокомандующим гренадеров фольксштурма, это бастион нации, оплот рейха, они остановят большевистские полчища и алчную свору американских плутократов».

Хойзингер тяжело сглотнул, во рту пересохло; какой ужас эти архивы! Зачем только человечество придумало их?!

Эллэн усмехнулся:

– Что, страшно?

– Это фальсификация... В тот день я сказал фюреру, что ему не удастся понудить генералов к беспрекословному подчинению! Это люди высокой культуры, которые вполне могут принимать самостоятельные решения в борьбе против большевизма...

– Вот и запишите об этом в своих новых показаниях, – Эллэн снова усмехнулся. – Сочиняйте свою версию, правьте документ, который я вам показал, думайте об истории, Хойзингер, только тогда перед вами откроется будущее... Вы ведь дали согласие на сотрудничество с нами?

– Если вы имеете право задавать подобные вопросы своему начальству, задавайте. Мне не надо. Я солдат, я верен слову германского солдата.

Эллэн открыл третью папку, достал маленький листок клетчатой бумаги; этой низостью – обязательством работать на военную контрразведку янки – Хойзингера вымазал юркий мальчишка-лейтенант еще третьего мая, когда он только сдался в плен под Гарцем; лейтенант оскорблял его и сулил немедленную казнь, если «нацистская сволочь не подпишет обязательство»; подписал, куда денешься; главное – переждать трудное время, а оно всегда самое трудное после крутых сломов, потом все возвращается на круги своя...

– Вот вам спички, – усмехнулся Эллэн, – можете сжечь бумажку, спите впредь спокойно.

...Через неделю к нему приехал Гелен; еще через три недели состоялась вторая встреча, в госпитале; дал согласие работать на возрождающуюся разведку, – огромное, воистину бесценное приобретение; именно поэтому «Вагнер» так торопился составить отчет для Даллеса, не отдав должного информации, пришедшей от Рихарда Баума из Барилоче; оценил ее утром, прогулявшись по дубовому парку, наполненному пением птиц и запахом прелых листьев, непередаваемый, единственный, успокаивающий хмель земли; ах, бог ты мой, скорее бы несчастный Хойзингер оказался здесь, рядом со мною, а не в лагере; как все же несправедлива жизнь к лучшим ее защитникам, солдатам!

...После работы с такой глыбой, каким Гелен по праву считал Хойзингера, после того, как вопрос о его освобождении был, с по-

мощью Даллеса, решен, лишь после этого он – с новым вдохновением – вернулся к текучке.

И первым документом, который он проработал, было сообщение из резидентуры в Барилоче; план, разработанный в Мюнхене для Рихарда Баума и Ганса Крочке, обретал форму реальной комбинации: офицеры разведки подставились под Штирлица и «сдались, припертые им к стенке»; Штирлиц, в свою очередь, не мог не заинтересоваться данными о материалах, спрятанных Мигелем Оссорио, – секретных папках комиссии сената по антинацистской деятельности; разведка Перона летом сорок третьего года – во время военного переворота – не успела захватить их, а ведь это связи военных с организованным, широко разветвленным немецким подпольем времен войны, дорогого стоит.

Получив эти данные, – а, видимо, он их получит, агент высочайшего класса, жаль, что не с нами, – Штирлиц, уже повязанный с Оссорио, одним из лидеров демохристианской оппозиции, при этом еще ставленник Роумэна, человека московских посланников Брехта и Эйслера, будет ждать решения своей судьбы; без Даллеса в данном случае нет смысла предпринимать никаких шагов, хотя, видимо, если со Штирлицем не удастся договориться добром о чистосердечном признании на открытом процессе о шпионаже в пользу Москвы, – сценарий вчерне готов – он будет нейтрализован там же, в Аргентине; жаль, Гелен уважал профессионалов.

ШТИРЛИЦ, КЛАУДИА (Барилоче, сорок седьмой)

Первая группа туристов принесла Штирлицу семьсот долларов чистого дохода.

Вторая группа дала еще больше денег – тысячу пятьсот баксов; Отто Вальтер, вернувшийся из госпиталя, принял Штирлица в дело, потребовав себе двадцать процентов доходов, хотя по всем законам не мог претендовать более чем на десять; Штирлиц не спорил, он жил как спортсмен перед решающим сражением, понимая, что ему отпущены не дни, а часы; он теперь знал, что надо сделать, однако откладывал коронное дело, пока не получил то, без чего не мог его начать.

Третья партия горнолыжников – кто не хочет за прежнюю цену посетить вместо одной страны две? – должна дать самую большую прибыль: Краймер прислал телеграмму, что прибывает специализированная группа – не только американцы, но канадцы, два сумасшедших француза и испанцы, все очень состоятельны, не страшатся расходов экстра, предложите им супер, оплатят все до единого цента.

...Через час после того, как прибыла третья группа, из отеля «Анды» позвонили Штирлицу: «Тот, кого вы ждете, на месте»; портье был свояком Эронимо с подъемника, просьба «дона Максимо» стала для их семьи законом, за добро платят добром.

...Штирлиц почувствовал, как сердце сжало мягкой болью; я не

имел права звать ее сюда, в который раз уже сказал он себе, я не имею права рисковать ею; я – это я, расходы на собственную жизнь плачу сам, это в порядке вещей, вправе ли я рисковать чужой жизнью?

«Без тебя я обречена на медленное старение, Эстилиц, – он часто вспоминал слова Клаудии, когда они прощались в Бургосе. – Ты не знаешь женщин, хотя очень добр, а ведь только добрые мужчины могут понять нас. Даже малое время, которое ты позволишь мне быть подле, станет для меня счастьем; оно, это счастье, продлит мне самое меня; женщина не существует вне любви, которую она может отдать мужчине. Сейчас в мире очень мало мужчин; что-то случилось с сильным полом; жеребцов много, но разве о них можно говорить как о мыслящих, чувствующих, добрых, так быстро стареющих мужчинах?! За любовь надо уметь платить; жизнь – самая дешевая плата; одиночество – страшней и дороже».

Штирлиц дождался, пока городок уснул; в Барилоче засыпают рано; только тогда отправился в «Анды»; около двери Клаудии остановился, стоял долго, словно бы борясь с собою, потом положил ладонь на дверь и тихонько постучал.

Женщина отворила сразу, словно чувствовала, что он вот-вот придет; откуда в ней это?!

– Эстилиц, – шепнула она, обнимая его. – Господи, какое же это счастье – видеть тебя!

Волосы ее пахли лавандой и горькими духами, жженый миндаль, запах смерти, цианистый калий; зачем она покупает эти духи?

Губы женщины – сухие, любящие, осторожные – мягко касались его шеи, ушей, подбородка:

– Я не верю, что это ты, Эстилиц! Ты здесь стал таким молодым, прямо какой-то лесник! Что с тобою сделалось? Кто тебя тут лечил?

– Квыбырахи, – ответил Штирлиц, обнимая Клаудиу, – колдунья Квыбырахи... А может, Канксерихи, я путаю имя колдуньи с именем ее мужа, зеленая...

Когда женщина уснула на его груди, Штирлиц осторожно, страшась разбудить ее, достал из пачки сигарету, закурил, тяжело затянулся и подумал: ну, и как же сказать ей, что я позвал ее для того, чтобы она мне помогла? А почему тебе совестно сказать об этом? Любовь – это милосердная помощь; «милые бранятся – только тешатся» – плохая пословица, в ней что-то снисходительно-барское или, того хуже, хамское, злое. Ты должен сказать ей правду, потому что она сразу же поймет фальшь; нет ничего страшнее фальши в человеческих отношениях. Что ждет тех, кто лежит, прижавшись друг к другу, и дыхание их едино, и тепло общее, и темнота кажется лунным светом, в котором мечутся зеленые звезды, и звучит горькая музыка неизбежного расставания? Все рано или поздно расстаются, только любящим этот срок отпущен на мгновение; тем, кто не знает одержимой увлеченности делом или высокой любви, время представляется иным – ползущим, медленным... Только после пережа-

ла, когда минуло пятьдесят, все начинают ощущать фатальную стремительность времени; «остановись, мгновенье, ты прекрасно» – плач человеческий, высказанная мечта, отмеченная изначальным тавром неосуществимости... А ведь все равно мечтают, несмотря на то, что «мысль изреченная есть ложь»...

На рассвете я должен инструктировать эту прекрасную, нежную, зеленоглазую женщину, думал он, какое ужасное слово – инструктировать, особенно в приложении к той, которая любит; но иначе я не могу, возразил он, нельзя же врать самому себе; мы и так достаточно много заключаем компромиссов с собою, ищем оправдания тому, чему, видимо, оправдания нет; жизнь – крутая штука, но однозначность ей так же противопоказана, как и аморфное безразличие; множественность угодна математике, из тысяч вероятий надо выбрать одно, единственно верное, да и верно ли оно на самом деле? Ньютон казался всем истиной в последней инстанции, но прошло два века – и Эйнштейн опроверг его концепцию, приложив ее к Галактике, а не к одной лишь маленькой и бренной Земле; воистину, все вещи в труде, а разве мысль не есть некое подобие вещи, только в идеальном, то есть самом высоком, смысле?

Она должна, она обязана завтра же... нет, сегодня утром, совсем скоро уехать в Байрес, найти сенатора Оссорио, поговорить с ним так, как я научу ее, спросить о том, про что я ей скажу, и только после этого возвратиться ко мне, и в зависимости от того, с чем она вернется, решится наше будущее: можно ей будет остаться здесь или, наоборот, необходимо отправить ее отсюда с первым же самолетом...

И снова я останусь один; он услышал эти слова явственно, так, словно произнес их вслух...

– Это случится, если ты хочешь этого, Эстилиц, – шепнула Клаудиа. – Все будет так, как хочешь ты...

Сдаю, подумал он, я действительно говорил вслух; я размякаю, когда ощущаю нежность к женщине, так было с прекрасной и доброй Дагмар Фрайтаг, так случилось и сейчас; я собран, лишь когда один; видимо, тогда меня держит ожидание возвращения домой, а рядом с любящей женщиной я испытываю некий паллиатив счастья. А если это не паллиатив, спросил он себя, если это и есть то счастье, мимо которого ты проходишь? В этом году, если бог даст дожить, мне исполнится сорок семь, жизнь прошла, все кончено, чудес не бывает, остановить мгновение нельзя, я остаюсь наедине с памятью, и если писатель может сделать из своей памяти чудо, то я лишен такой возможности, я обыкновенный человек, лишенный божьего дара...

Он погладил Клаудиу по лицу; какие у нее прекрасные щеки, словно у молоденькой девушки: два нежных персика; годы пощадили ее; помню, как в детстве я любовался прекрасным лицом милой Марты, когда мы жили с папой в Берне: девушке было семнадцать, она казалась мне взрослой барышней, я был влюблен в нее, именно в эти персиковые щеки и маленькие уши, открытые высокой прической, сейчас такие не носят, почему?

– Я очень хочу этого, зелененькая моя, – тихо сказал Штирлиц.

– Честное слово... Как мне говорить – всю правду или чуть-чуть прикрашивая?

Клаудиа долго лежала, не двигаясь, потом, прикоснувшись своими сухими, ищущими губами к его пальцам, ответила:

– Все-таки лучше чуть-чуть прикрашивай... Женщины – зверушки, с нами надо осторожно, хотя и приручать опасно, будем кричать и плакать, если придется расстаться...

– Ты понимаешь, что я живу в бегах?

– Понимаю. Я всегда это понимала, Эстилиц... Знаешь, когда я поняла это впервые?

– Нет.

– Помнишь, в тридцать седьмом, когда ты снимал у меня половину квартиры, к тебе пришел Базилио?

– Он приходил ко мне не раз...

– Нет, я говорю про тот день, это было в октябре, когда ты был очень грустный, много пил накануне и утром пил, а потом к тебе заглянул Базилио, и вы долго о чем-то говорили, а потом я пошла к Эстер, а дверь у тебя не была прикрыта так плотно, как обычно, и я услыхала, что ты говорил не по-немецки и не на кастильяно... Это был язык, очень похожий на русский, я слышала, как говорили русские футболисты, когда они приезжали к нам перед войной...

Тогда отозвали Гришу Сыроежкина и Антонова-Овсеенко, сразу же вспомнил Штирлиц, это был страшный день, потому что, если говорят плохое про тех, кого не знал лично, – одно дело, но когда трагедия случается с теми, кто был тебе как брат, тогда – беда; нет, я не говорил по-русски, это Базилио произнес фразу из Фадеева: «Надо жить и продолжать выполнять свои обязанности»; он не сдержался, дорогой Васенька, милый мой Базилио, жив ли он?

– Может быть, – ответил Штирлиц. – Базилио – странный человек, я очень его люблю, он знает много языков и привык цитировать подлинники, может быть, он говорил по-русски, не помню...

– Ты позвал меня сюда, чтобы я сделала для тебя что-то?

Будет ужасно и бесчестно, если я отвечу ей, что не для меня, а для всех, чтобы люди больше не знали горя и войн; на ее месте я бы попросил меня уйти; то, что разрешено двоим, – а им разрешено все, если они любят друг друга и им нежно вместе, – не позволено никому другому, включение чего бы то ни было другого, пусть даже всего человечества, кощунственно, речь обязана идти о ней и обо мне – и ни о ком другом.

– Да, зелененькая, – прошептал он, – да, ящерка, да, нежность, я позвал, чтобы ты помогла мне.

Она прижалась к нему, обняв своими тонкими руками за шею, долго целовала его плечо, грудь, ухо, а после замерла и тихо-тихо шепнула:

– Спасибо...

– За что?

– Так... За тебя...

– И тебе спасибо.

– За меня? – она улыбнулась в темноте, и он сразу же ощутил эту ее улыбку, озаренную грустью и нежностью.

– Да.
– Что нужно сделать?
– Потом. У нас еще есть время.
– Я должна уехать?
– Да.
– Но потом я к тебе вернусь?
– Да.
– И смогу остаться рядом?
– Не знаю. Это зависит от того, как ты съездишь.
– А как быть с катанием на лыжах и поездкой на рыбалку в чилийский Пуэрто-Монт?
Он спросил:
– Ты сразу поняла, что туристский проспект пришел от меня?
– Нет.
– Почему?
– Женщины – тугодумки. Я не могла представить, что ты переехал сюда и начал «бузинес».
– А как же ты догадалась?
– Сказать правду? Или чуть-чуть прикрасить?
– Скажи правду.
– Только сначала ответь: у тебя был кто-нибудь после того как ты уехал от меня?
– Нет.
– Закури, ты же хочешь закурить...
– Да, я закурю.
– Почему ты не спрашиваешь, был ли кто-нибудь у меня?
– Я не имею права на такой вопрос.
– Почему? Я имею право, а ты нет?
– Просто... Это трудно объяснить... Словом, я считаю, что каждый человек должен жить по законам собственной совести... Сколько миллионов людей спят в одной постели, но принадлежат не тому, с кем обвенчаны, а мечте, тому, кто грезится... Сколько мужчин любят не ту, что была с ним в церкви, а потаскуху, свою первую девку, закрывают глаза, только бы не видеть то лицо, что рядом... Когда на любовь проецируют закон собственности, рождается мразь... Прости, что я так выспренно говорил тебе... Просто я так думаю...
– Эстилиц, ты какой-то невероятный человек... Я не знаю, как тебя принимать... Я принимаю тебя любым... Со всеми, с кем я была, я думала о тебе, только о тебе, но это не была мразь, это было отчаяние... Ко мне стал наведываться мужчина, он влюблен в меня, ты его не знаешь, он инженер, реставрирует здания... Он-то и сказал: «В Аргентине такие же цвета, как на картинах вашего друга»... И тогда я поняла, что рекламный проспект пришел от тебя...
– Погоди, а разве там не было строчек про то, что я тебя жду?
Женщина на мгновение напряглась, быстро поднялась, попросила не зажигать света (только испанка, познавшая близость с мужчиной, все равно страшится света), быстро нашла дорожную сумку, открыла ее, достала конверт, вернулась к Штирлицу и сама включила настольную лампу:
– Вот, это то, что я получила...

Штирлиц ощутил, как напряглось тело; господи, неужели и этот Краймер не случаен здесь, в Барилоче? Неужели мир сошел с ума от игр своих обитателей? Неужели верить нельзя никому, нигде, никогда и ни в чем?

Он сделал несколько глубоких затяжек, прежде чем раскрыл рекламный проспект: глянцевая бумага; виды Барилоче – озеро, трасса, подъемники; стоимость тура; перевернул буклетик, увидел строчку: «Остановитесь в отеле «Анды», вас там ждут». Господи, слава богу, не шпион, тот бы запомнил, написал слово в слово: «Он вас ждет»; дурашка, нежность, она решила, что это обычная приписка фирмы...

– Что тут написано? – спросил Штирлиц, взяв ее палец и ткнув им в рукописную строку.

– Здесь написано, что я буду размещена в отеле «Анды». Там ждут нашу группу, это понятно каждому...

– Кто тебе переводил английский текст?

– Я купила словарь.

– Дорогой?

– Нет, я нашла у букинистов, маленький, истрепанный, очень дешево.

– Когда ты купила словарь? После того, как твой друг...

– Он не мой друг, Эстилиц. Он влюблен в меня и хочет, чтобы я стала его женой... Смешно: все женщины мечтают стать женой, а я думаю лишь о том, чтобы ты разрешил мне оставаться твоей любовницей... Я не была с ним, Эстилиц, я не могу с ним быть, я не хочу быть ни с кем, кроме тебя... Скажи, тебе было бы очень больно, если бы я сказала, что он оставался у меня?

– Я дурной человек, зелененькая... Понимаешь, для меня самое главное – ощущение свободы... Такой уж я, ничего не попишешь... И каждый волен распоряжаться своей свободой так, как ему вздумается... Нет, не верно, я сказал плохо... Каждый должен распоряжаться свободой так, чтобы жилось чисто и честно... Это зависит от того, как понимать свободу... Я понимаю ее как справедливость... Если я не хочу или не могу быть с тобой, ты вольна поступать так, как сочтешь нужным...

– Если не хочешь – да, но если не можешь – тогда я должна ждать, когда придет время... То время, когда ты сможешь.

– Зелененькая, ты мечтаешь о ребенке?

– Я уже пропустила это время, – ответила Клаудиа, и Штирлиц ощутил, как она замерла на какой-то миг. – Сначала человек принадлежит родителям, потом братьям и сестрам, после любимому, а уж затем детям... Особенно женщина... Ребенок вытесняет из ее жизни все, остается дитя... А ты для меня и отец, и любимый, и ребенок, ты для меня все, Эстилиц...

– Почему? Я же никогда не давал тебе повода, зелененькая...

– И не надо... Ты мужчина... Женщина сама дает себе повод, вам этого не понять, я и сама-то не очень это понимаю... Наверное, мы, испанцы, – врожденные мистики, во мне это от мистики, правда... Я придумала тебя для себя... И потом у меня был мужчина, первый. Мужчина... И это было плохо, совсем не так, как я мечтала, бы-

ло молчание и запах пота, не было нежности, была сила, а сила, если ее демонстрируют, убивает нежность... Не знаю, у меня это так... А в тебе я видела доброту и нежность, хотя знала, какой ты сильный.

– Ты любишь стихи?

Клаудиа кивнула; начинался рассвет, контуры ее лица угадывались в темно-серой гамме; в горах особый свет, хмурое утро таит в себе ожидание солнца; здесь каждая минута несет новое, в равнинах никогда не бывает такого ощущения, как среди гор; наверное, человек ощущает здесь свою малость, не выставляет себя, а прилаживается к затаенной мощи вершин; вообще-то, малость в людях – это плохо, лишь горные лыжи дают право равенства с природой, а сколько на свете таких, которые могут спуститься по склонам Анд? Единицы, ну, от силы сотни...

– Хочешь научиться кататься на горных лыжах, ящерка?

Она покачала головой:

– Я все время хочу любить тебя, Эстилиц. И смотреть, как ты мчишься со склонов... Я так представляю себе это, так горжусь тобой... Я все время представляла тебя на склоне, когда летела над океаном...

– Было страшно?

Она не поняла, поднялась на локте:

– Страшно? Чего же? Ведь я летела к тебе, любимый...

Господи, как все жестоко и плохо на этой земле, подумал он, как все обречено и быстролетно, как все нехорошо, Штирлиц. Я не Штирлиц, возразил он себе. Исаева любила Сашенька, Дагмар была нежна с Бользеном, только Клаудиа любит Эстилица; человек с тремя лицами... Ты облегчил себе жизнь, Штирлиц, ты хотел сказать: двуликий Янус, ты слышал эти слова в себе, но в самый последний миг ты успел поправить себя; три лица – один смысл, а двуликий Янус – совсем другой... Слово, слово, сначала было слово и вовеки будет, вовеки...

– Нежность моя... Я не умею сказать, сколько счастья ты принесла мне...

– Ты не знаешь, сколько счастья принес мне ты, Эстилиц... Поспи, моя любовь... Тебе же сегодня надо работать... Ты будешь учить этих сумасшедших кататься на лыжах?

– Обязательно.

– Тогда и меня поучи. Мне будет так приятно делать то, что ты хочешь...

– Зелененькая, часа через три ты должна улететь...

Он включил свет; стрелки часов показывали четыре; нет, у нас еще четыре часа, самолет в десять.

– Меньше, чем три? – спросила Клаудиа, прижимаясь к нему, словно увидела что-то ужасное, очень близко, протяни руку – дотронешься.

– Больше, – ответил он. – На целых шестьдесят минут больше...

Штирлиц спустился к портье, свояку Эронимо, попросил сварить две чашки кофе, но так, чтобы об этом никто не узнал: сеньора замужем, понятно?

– Я мертв, – ответил парень. – Меня вообще здесь не было, я не вижу, я не видел, я ничего не увижу, кабальеро.

– Когда кончается твоя смена?

– В восемь.

– Можешь вызвать машину на это время?

– Попробую, такси мало, а люди вошли во вкус, время дороже денег... Куда ехать?

– Недалеко. Обратный проезд тоже будет оплачен.

– Это меняет дело, найду... Кофе готовить с сахаром?

– Нет, горький. Дай несколько кусочков в прикуску, дама не любит сладкий кофе, я тоже...

– Дама очень красива.

– Спасибо.

– У меня есть бутылка брэнди...

– Принеси, хотя дама не пьет, да и я должен днем работать на склоне...

– Так ведь еще есть время отдохнуть...

Штирлиц посмотрел на него и с невыразимой грустью спросил:

– Ты думаешь?

– Любовь моя, – шепнула Клаудиа, – усни... Повернись на правый бок, я буду гладить тебя, и ты уснешь... У тебя вдруг ужасно устало лицо... Ну, повернись, Эстилиц... Вот так...

Клаудиа начала нежно, мягко вдавливая ладони в шею и плечи, гладить его; от рук женщины исходило спокойствие; нет ничего прекраснее рук любящей; мне уже нельзя спать, сказал он себе, светает, время; только разве пять минут, не больше, я умею просыпаться без будильника; пропади ты пропадом это изматывающее ощущение времени в себе самом! Нет, все же ты сейчас не имеешь права спать, сказал он себе, тебе так хорошо, спокойно. И уснул.

...Ему виделось огромное васильково-ромашковое поле, нет, не поле, луг; только в России проводят точное разграничение между этими понятиями: луг – поэтика, поле – работа; ромашки в поле – свидетельство плохой работы; уф, как прагматично и грубо; но почему поют не по-русски, отчего слышна испанская гитара и голос женщины не плачет, тоскуя, как у нас, а жарко зазывает, требует, дразнит?! Как интересно, ромашки, луг, необозримость русского простора – и песня Андалузии, которую поет невидимая мне женщина, поет тревожно и прекрасно, но есть в этом что-то такое, что не совмещается; не только гений и злодейство несовместимы, но и ромашковый луг и эта испанка. Отчего? Мы сами строим внутри себя барьеры, ненавидим их, когда они уже построены и сделались непреодолимыми; ах, как хорошо бы разрушить все эти ужасные барьеры, разделяющие людей, они и так слабы – сами по себе, а тут эти страшные загородки, высокие, из плохо сложенных кирпичей, заляпанных цементом, разве можно так неопрятно строить, – даже барьеры?!

А потом он услышал голос отца; на этот раз он не увидел его, но явственно услышал; голос остается в памяти навечно, лицо – не то, что запечатлено фотообъективом, а живое, – исчезает очень скоро, память хранит абрис образа, то, что тебе хочется сохранить в се-

бе навечно, но все равно чаще всего ты видишь лишь свое представление о тех, кто тебя покинул. Отец читал стихи: «Каменщик, каменщик, в фартуке белом, что ты там строишь у всех на виду? Это я строю, это я строю, это я строю нашу тюрьму...»

Он ведь и пел эти стихи, вспомнил Штирлиц; слуховое воспоминание родило быстрое видение: отец и Мартов, маленькие, нахохленные, сидели на диване, а Якуб Ганецкий — на подоконнике; как же прекрасно они пели это на два голоса; отец и Мартов вели свое, а Ганецкий, со своим легким акцентом, уходил вверх, словно женщина, и даже руки на груди стискивал по-женски...

— Любовь, — шепнула Клаудиа. — Любовь моя...

Штирлиц взметнулся с кровати и сразу же посмотрел на часы: было без десяти восемь; Клаудиа стояла над ним одетая, с дорожной сумкой на плече.

— Черт! — сказал Штирлиц. — Отчего ты не разбудила меня?!

— Ты весь дергался, тебе показывали какие-то сны, ты так тревожно спал, любимый, я просто не смела тебя разбудить... Ты же сказал, что я должна уехать в восемь, у нас было четыре часа...

Он стремительно оделся:

— Я не могу везти тебя на аэродром, зелененькая... Никто не должен видеть нас вместе... Слушай, ты знаешь такого писателя из Америки — Эрнеста Хемингуэя?

— Про него говорят, что он клевещет на Испанию... Его книги запрещены у нас, я не путаю?

— Ты не путаешь, зелененькая, ах, зачем ты меня убаюкала?! Слушай, ты должна найти в Байресе дона Мигеля Оссорио... До сорок третьего года он был сенатором и занимался делами нацистов в Аргентине... Ты должна сказать ему, что человек, который будет предлагать ему отправиться в Барилоче, чтобы встать на горные лыжи в фирме Отто Вальтера, — его враг, желающий ему смерти. Скажи, что тебе сказали об этом два человека: Антонио, друг Хемингуэя, он живет с ним на Кубе, дружит с американцем Диком Краймером, «бузинесменом», занимается туризмом... И некий Макс Брунн... Тот, которого ему рекомендовали как тренера... Скажи, что за ним охотятся... Точнее, не за ним, а за документами комиссии по антиаргентинской деятельности... Не говори с ним ни о чем дома, только на улице, а лучше на лестнице, посмотрев, нет ли кого на следующем пролете... Скажи, что в течение ближайшего месяца я прилечу к нему, и опиши ему меня. Поняла?

— Да.

— Если его уже приглашали сюда, спроси, кто был этот человек, ладно?

— Хорошо, любимый.

— Если он поинтересуется, откуда ты знаешь Антонио, друга Хемингуэя, скажи, что вы дружили в Испании... Ты умеешь говорить так, что тебе верят, зелененькая, потому что ты очень чистый человечек... Скажи ему так, чтобы он непременно тебе поверил, ладно?

— Ладно, любимый... Как странно, два эти слова не стыкуются, очень разные — «ладно» и «любимый».

Штирлиц погладил ее по щеке:

– Знаешь, что такое «не может быть»?

Клаудиа покачала головой.

– Это когда твоя подруга, твоя нежность с зелеными глазами не только красива, но и умна... Слушай, зелененькая, я должен тебе сказать еще вот что, – Штирлиц выглянул в окно так, чтобы его не заметили с улицы, такси уже стояло, возле машины прогуливался, поглядывая на часы, Мануэль, его в городе знали как лихача, но машину водит отменно. – Только не пугайся, ладно? За тобой могут – это один шанс из миллиона – топать дяди и тети, наблюдая за каждым твоим шагом...

– Я знаю, как отрываться, – сказала Клаудиа. – Не волнуйся.

– Откуда ты это знаешь?

– Франко стал показывать американские картины про гангстеров, он хочет дружить с янки, делает жесты! Мы же вроде русских: все норовим выразить жестом, а не простым словом, самые религиозные нации в Европе. Я видела, как надо отрываться, это очень интересно...

– В кино все легко, ящерка... Когда ты поедешь к сенатору, остановись за углом, приготовь заранее деньги и дай их шоферу без сдачи. В машину садись, только если увидишь несколько такси, целую очередь. Если заметишь, что из машины, что шла следом, выскочил человек – скорее всего женщина, за тобою они поставят женщин, если заподозрят, хотя не должны, сволочи, – бросился следом и сел в то такси, что стояло вторым, сделай такой фокус еще раз, но попроси шофера высадить тебя возле такого места, где будет только один автомобиль. Или – если это будет очень хороший шофер и ты поверишь ему – попроси, чтобы он оторвался от преследования, скажи, что тебя догоняет соперница или ревнивец, если следит мужчина, придумай что-нибудь.

– Любимый, я все поняла, зачем ты так долго объясняешь, лучше поцелуй меня.

Он поцеловал ее:

– Зелененькая, тебе пора, иначе ты опоздаешь на самолет... Билет на твое имя зарезервирован и оплачен, так что с этим все в порядке.

– А потом?

– Что? – не понял Штирлиц. – О чем ты?

– Я могу вернуться к тебе?

– Ты вернешься в эту же комнату. И я приду к тебе.

– И я поеду на склон?

– Не надо.

– Почему?

– Потому что те люди, которые постоянно следят за мной, увидят твои глаза. И все поймут. А этого делать нельзя.

– Хорошо, я буду ждать тебя здесь, в «Андах», Эстилиц. Поцелуй меня.

– Я буду ждать тебя.

– Я сделаю так, как ты просил. Я сделаю все, как ты просил, любовь...

– Все будет хорошо, ящерка...

– Конечно, Эстилиц...

Клаудиа вышла из номера в пять минут девятого; свояк Эронимо уже сменился; на его месте восседал Пабло Отоньес, который получал десять долларов в месяц от одного из людей дона Рикардо Баума за информацию о тех, кто здесь поселился; дона Баума заинтересовало, что женщина, прилетевшая из Мадрида вместе с туристской группой, неожиданно уехала, не показавшись на склоне, но еще больше его заинтересовало то, что из ее же комнаты тремя минутами позже вышел дон Максимо Брунн...

...Через два часа информация об этом ушла Гелену: операция, убыстряющая события, началась, все идет по плану!

Первое, что сделала Клаудиа, прилетев в аэропорт Байреса, – опустила, еще до выхода в зал, письмо, адресованное некоей Люси Фрэн, Голливуд, «Твэнти сенчури Фокс»...

1

Совершенно секретно.
В одном экземпляре.

Р. Гелену.

По прочтении уничтожить.

Дорогой генерал!

То, что я прошу сжечь этот документ сразу после того, как он будет Вами прочитан, станет понятным из приводимых в нем соображений ведущих политиков дружественной Вам страны, которая пока еще является одной из четырех держав, осуществляющих оккупационные функции в Германии.

Поскольку мой концерн сотрудничал и впредь намерен сотрудничать с немецкими промышленными фирмами, мне хочется, чтобы наши с Вами отношения были сугубо конфиденциальными, то есть по-настоящему дружескими.

Я не знаю, какой информацией Вы располагаете, но, думаю, то, что я открываю Вам, не могло стать известно Вашей «Организации».

Человек, который вручит Вам этот документ и уничтожит его вместе с Вами, – мой старый и верный сотрудник доктор Грюн, можете ему верить, как себе. Постарайтесь верно понять мою просьбу сжечь это письмо в его присутствии, – жизнь, увы, диктует свои жесткие правила, и, чем тщательнее мы им следуем, тем надежнее дружба между людьми, посвятившими себя политике и бизнесу, что, впрочем, трудно разделимо.

Итак, еще в ноябре 1944 года генерал Донован вручил покойному Рузвельту меморандум, в котором высказал свои соображения по поводу кардинальной реорганизации ОСС. Президент передал этот секретный документ директору Бюджетного бюро Смиту.

Смысл меморандума Донована заключался в том, что разведка США должна стать единым органом, не разорванным между военным министерством, флотом, авиацией и государственным департаментом. Главный посыл Донована формулировался таким образом, дабы именно он, а не государственный департамент, планировал внешнеполитические акции в мирное время, и делать это он должен на основании материалов новой разведывательной организации США.

После смерти Рузвельта президент Трумэн поручил Председателю Объединенного комитета начальников штабов адмиралу Леги и государственному секретарю Бирнсу высказать свои соображения по поводу меморандума Донована.

Государственный секретарь Бирнс потребовал передачи всей разведывательной службы его организации, что, понятно, вызвало неудовольствие армии, флота и авиации. Тем не менее ОСС было распущено, дебаты продолжались, хаос становился угрожающим, пока 26 января 1946 года президент Трумэн не подписал указ о создании Центральной разведывательной группы (ЦРГ); из пятидесяти девяти миллионов долларов его личного фонда двенадцать он передал ЦРГ, помимо, конечно, сумм, ассигнованных Бюджетным бюро.

В ЦРГ начало работать всего две тысячи человек; большинство материалов Белому дому поставляла английская секретная служба, по-прежнему претендовавшая на руководство стратегией разведывательной деятельности США.

Единственным кардинальным решением, связанным с созданием ЦРГ, было одно: Федеральное бюро расследований, занимавшееся ранее разведывательной работой в Южной Америке, было отстранено от региона и вся полнота контроля над операциями перешла в руки профессионалов от политики.

Лишь только сейчас должно быть создано Центральное разведывательное управление в рамках «Закона о национальной безопасности», который обязан подписать президент Трумэн. Молю бога, чтобы он сделал это!

Вы должны отдать себе отчет в особом статусе будущего ЦРУ. Поскольку оно станет консультировать Совет национальной безопасности, а председателем СНБ является президент, в то время как члены правительства обладают лишь совещательным голосом, то именно ЦРУ получит прямой выход на президента и вместе с ним бу-

дет конструировать наиболее важные аспекты мировой политики, где дипломатия бессильна сказать свое слово.

Вероятно, Вы удивитесь тому, что наш друг Аллен Даллес не будет директором будущего ЦРУ. Хочу поэтому, чтобы Вы знали следующее: именно Даллесу президент поручил наблюдение за работой ЦРУ; более того, он попросил, чтобы Даллес внес свои предложения, – но уже не на основании проектов, схем и доктрин, а после изучения практики каждодневной работы сообщества профессионалов, – как следует интенсифицировать дерзкую работу политической разведки.

Могу сказать Вам, что если президент хочет видеть новое Управление совещательным органом, неким исполнительным Бюро президента, то Даллес уже сейчас настаивает на придании ЦРУ самостоятельных функций планирования всех разведывательных и ряда иных мероприятий.

До тех пор, пока Даллес не убедит Белый дом в правильности своей концепции, он не сядет в кресло директора ЦРУ, всячески содействуя тому, чтобы на первых порах Управление возглавили военные; видимо, первым директором станет генерал Хиленкоттер; он обычно исполняет все, что ему приказывает Белый дом; пусть; нас это не страшит, а радует; чем спокойнее начало, тем неожиданнее конец.

Видимо, пройдет год, а то и два, пока наш друг возглавит будущее ЦРУ.

Однако мы не имеем права сидеть, сложа руки, тем более что ЦРУ получит исключительное право работы в Латинской Америке.

Именно поэтому, дорогой друг, я и надеюсь, что Вы с Грюном уже сейчас найдете возможность обговорить наше будущее сотрудничество на этом континенте, ибо Ваши возможности в Аргентине и Чили, Венесуэле и Колумбии позволяют верить, что скоординированная совместная деятельность ИТТ и «Организации» принесет серьезные плоды на ниве борьбы за прогресс и демократию.

В свою очередь, Грюн проинформирует Вас, как ИТТ может быть полезна в Вашей деятельности в странах Восточной Европы, оказывающих мужественное сопротивление московскому диктату.

Поскольку Аллен Даллес теперь будет занят исследовательской работой по созданию проекта будущего разведывательного сообщества, он поручил мне поддерживать с Вами постоянный деловой контакт.

Искренне Ваш
полковник *Сос. Бэн*,
президент ИТТ.

2

Мадрид,
генерал-лейтенанту
А. Виго-и-Торнадо.

Строго секретно!

Мой дорогой друг!

Думаю, Вы найдете возможность проинформировать каудильо, что создаваемое президентом Центральное разведывательное управление – информация получена из первых рук – совершенно не намерено всегда и во всем поддерживать линию государственного департамента, особенно ту, что навязана русскими в Организации Объединенных Наций по отношению к движению фаланги.

Более того, будущее ЦРУ готово сотрудничать (речь в настоящее время идет о неофициальных контактах через мою «Организацию») с секретной службой Испании в совместной борьбе против коммунистической активности; американских коллег особенно интересует возможность опосредованных контактов на Латиноамериканском континенте.

Я был бы глубоко признателен, сообщи Вы мне о том, как Вы и Ваши друзья относитесь к этой доверительной информации.

Искренне Ваш
Верен.

Мюнхен.

3

Хосе Росарио,
резиденту спецслужбы в Аргентине.

Строго секретно!

Уважаемый Росарио!

Прошу Вас в ближайшие дни подготовить мне материалы об истории коммунистической активности в Аргентине и Парагвае, а также о связях этих преступников с «братской» организацией в Чили.

Документ должен быть составлен таким образом, чтобы читающий его смог:

1. Уяснить себе истоки коммунистической активности на юге Латинской Америки;
2. Понять организационную структуру красных;
3. Сделать вывод, что лишь наша служба может оказать максимальную помощь в нанесении сокрушительного удара по опорным пунктам коминтерновских агентов, одержимых мечтой о превращении Америки в вотчину московских комиссаров.

При этом документ должен быть составлен совершенно анонимно – на случай, если кто-либо решит ознакомить с ним лидеров Аргентины, Парагвая или Чили; местные службы ни в коем случае не должны понять, что мы с кем бы то ни было делимся информацией, получаемой от них конфиденциально.

Просил бы Вас ускорить сбор информации обо всех немцах, которые когда-либо жили в Никарагуа, особенно тех, что были депортированы Сомосой в США в январе 1942 года.

Во время сбора этой информации постоянно исследуйте возможность связей (даже опосредованных) между указанными выше никарагуанскими немцами и объектом, известным Вам как «Макс Брунн».

Арриба Испания!
Генерал-лейтенант
Армандо Виго-и-Торнадо.

Мадрид.

4

Генерал-лейтенанту
А. Виго-и-Торнадо.

Совершенно секретно!

Ваше превосходительство!

Я бы не рискнул отправить Вам это весьма доверительное письмо, если бы не обстоятельство совершенно чрезвычайное, связанное с сеньором доном Хосе Росарио, являющимся Вашим резидентом «под крышей» руководителя «домостроительной и дорожной компании».

Право же, не честолюбивые амбиции движут мною, но лишь соображения великого испанского патриотизма, осиянного гением нашего каудильо.

Поскольку Росарио живет совершенно сепаратно от посольства и отказывается от встреч с нами, хотя ему это – судя по имеющейся у Его Величества Посла Испании инструкции – вменено в обязанность, его действия порою носят совершенно непредсказуемый характер. Так, например, двенадцатого июня сего года он привез в свой особняк (причем этот дом до сих пор не куплен нами, а лишь арендуется у человека, не являющегося другом нынешнего режима Аргентины, а, наоборот, явно симпатизирующего бывшему президенту Иригойену) одного из профсоюзных активистов, подозревавшихся в связях с коммунистической организацией.

Назавтра при вывозе из особняка тела этого активиста (в 1937 году принимал участие в путче на стороне «республиканцев» в составе бандитских соединений, именo-

вавшихся «интернациональными бригадами») наряд полиции случайно остановил машину, в которой была обнаружена эта улика.

Поскольку Росарио не контактирует с местной секретной службой (или делает это лишь в крайних случаях), Е. В. Посол Испании был вынужден трижды встречаться с помощником президента полковником Гутиересом, чтобы закрыть дело.

Поскольку ныне Вы соизволили поставить и перед нашими службами задачи, связанные с возможностью налаживания отношений с рядом государств, занимавших ранее недальновидную политику, навязанную русскими, по отношению к Испании, каудильо Франко просил бы Вас дать соответствующие указания сеньору дону Росарио.

Арриба Испания!

Сердечно Ваш
Пабло-Игнасио Кастильяно,
Чрезвычайный и полномочный министр,
Посланник Испании в Аргентине.

5

Х. Росарио.

Секретно!

Росарио!

С сегодняшнего дня Вам запрещается пользоваться транспортом посольства.

Я санкционирую аренду такси; все счета будут оплачены.

Контакты с посольством прервать.

Работать совершенно самостоятельно.

Всю ответственность за решения несете лично Вы.

Арриба Испания!

Виго-и-Торнадо.

6

Мадрид.
Генерал-лейтенанту
А. Виго-и-Торнадо.

Строго секретно!

Ваше превосходительство!

Конечно же, все Ваши указания будут непременно мною выполнены начиная с завтрашнего дня; прошу Вашей санкции на то, чтобы такси было не арендовано, а

приобретено в нашу собственность, ибо аренда невыгодна для финансового управления, тогда как по прошествии времени такси можно продать, потеряв при этом совершенно незначительную сумму.

Поверьте, я пользовался машинами посольства лишь в самых редких случаях, вызванных оперативной необходимостью.

Именно во время той комбинации, когда посланник Кастильяно ополчился на меня и, как чувствую, отправил Вам письмо, в котором факты были умышленно сфальсифицированы, я смог получить крайне важную информацию о том, что Белый дом готовит проведение конференции стран Латинской Америки, чтобы провозгласить эту зону бастионом антикоммунистической борьбы. Я продолжаю работу, чтобы выяснить, какая именно страна выбрана для этой цели и кто персонально будет готовить доклады для конференции. Полагаю, мы бы смогли подсказать ряду дружественных нам лидеров на континенте такие идеи, которые бы свели на нет ту отвратительную пропагандистскую шумиху, поднятую русскими в ООН против нашей страны и ее великого каудильо, генералиссимуса Франко. Думаю, такого рода комбинация понудит руководителей западных, так называемых «демократических» стран, типа Франции, Канады и Голландии, вернуть своих послов в Мадрид.

Думаю, эта конференция, активно антикоммунистическая по своей сути, докажет всему миру последовательную правоту Испании в ее мужественном сражении против мирового большевизма, интернационализма и масонства.

Именно в этом направлении я сейчас и веду работу, чтобы повестка дня предстоящей межамериканской конференции была открыто тенденциозной.

Просил бы Вас – если, конечно, Вы сочтете нужным – проинформировать об этом наших немецких друзей.

И, наконец, последнее. Мне совестно занимать Ваше драгоценное время пустяками, но финансовое управление не разрешит сохранить оклад содержания моему помощнику по оперативной работе, которого я намерен оформить шофером такси. Человек, прошедший фронт, получивший образование в спецшколе гестапо, офицер службы безопасности, не может получать оклад шофера. Но, увы, в финансовом управлении еще встречаются малокомпетентные люди, – Ваше слово будет для них приказом.

Арриба Испания!

Сердечно Ваш *Хосе Росарио.*

7

Х. Росарио.

Строго секретно!

Росарио!

Срочно включитесь в операцию по «объекту Брунн», запланированную в Буэнос-Айресе на сегодня; сообщение наших коллег из «Организации» по поводу этого дела пересылаю вместе с телеграммой.

Операция должна быть проведена крайне аккуратно, абсолютно конспиративно; человек «Брунна» должен быть перевербован, а сенатор Оссорио скомпрометирован контактом с посланцем «объекта».

Об исполнении доложить немедленно.

Аргентинские друзья об этом не должны знать.

В случае неожиданного подключения людей д-ра Блюма[1] немедленно снеситесь со мной.

Виго-и-Торнадо.

КРИСТИНА (Осло, сорок седьмой)

Ощущение пустоты было теперь постоянным. Каждое утро — за мгновение перед тем, как проснуться, — Криста опускала руку на то место, где должно было быть сердце Роумэна, ощущала больничный холод крахмальной простыни и наволочки, вскидывалась с подушки и, не открывая еще глаз, кричала в пустую квартиру:

— Пол!

Только услыхав его имя, произнесенное ею, спящей еще, она открывала глаза, садилась на кровати и сразу же тянулась за сигаретой, хотя обещала Роумэну, что никогда, никогда, никогда, никогда не будет курить натощак.

Она всегда помнила их последний проведенный вместе день; Пол тогда вернулся совершенно раздавленный, поседевший — голова совсем белая, а не с проседью, как раньше, какая сила была в этой его шевелюре, а в седине больше мудрости и отстранения, — пригласил ее поужинать, увез в маленький мотель, показав глазами в зеркальце старенького «фордика» на две фары, упершиеся в их номерной знак; она молча кивнула, положив руку на его ледяные пальцы, сжимавшие руль.

— Знаешь, все время полета я читал Библию, — говорил он тогда. — Там есть прекрасная фраза: «бог есть любовь», кажется, у апостола Иоанна. Он выводит это из того, как Христос восходил на Голгофу; любовь чужда насилию, диктату, она тиха, полна ожидания, причем ожидания сострадающего... Тогда я впервые по-настоящему задумался над тем, что любовь немыслима без свободы. Кстати, первым мне об этом сказал Брунн, тогда я не придал значения

[1] «Д-р Блюм» — Мюллер.

его словам, а в самолете начал тщательно просматривать Библию и открыл для себя, что о свободе, о праве личности на собственную мысль там ничего не написано... Наоборот, когда я заново читал главу про Адама, то не мог не прийти к выводу: он рискнул посчитать себя свободным, подчинился собственному желанию, не заставил себя соотносить чувство с суровыми канонами творения и за это был проклят и изгнан... Первый п а д ш и й мужчина, отринутый от бога за то, что посмел не таить свою любовь к женщине Еве...

Она тогда еще крепче сжала его пальцы, шепнула:

– Хочешь, я подышу на каждый палец? Они у тебя как ледышки...

– Нет, не поможет. Это у меня должно случиться само, я согреюсь, когда чуть успокоюсь, – ответил Роумэн. – Не надо, конопушка... Меня не оставляет страшное чувство, что мир мстит счастливым. Правда... Как страшно: высший трагизм религии заключается в таинстве расстояния... Чем дальше мы от того, что было девятнадцать веков назад, тем неразгаданнее становится начало... Ведь то, что едино, нет смысла вязать морским узлом, правда же? А всякая связь есть желание преодолеть разрыв...

– Мне очень часто кажется, что все, происходящее у нас с тобою, уже было.

– И мне так кажется, любовь. Только я не помню, чем все кончилось в тот, первый раз, много веков назад, когда у нас с тобою только начиналось...

– Ну их всех к черту, родной, а? Давай поставим на всем точку?

И тогда он, обведя глазами приборный щиток машины, тихо, но так, чтобы его слова можно было записать, если в машину в о т к н у л и микрофон, ответил:

– Ее поставили за нас, конопушка. Нашей свободой распорядились по-своему. Остается принимать те правила, которые нам навязаны.

– Ты не мо...

Он сжал тогда ее пальцы, еще раз показал глазами на щиток и вздохнул:

– Я теперь не могу ничего. Ровным счетом ничего. Понимаешь? Ни-че-го...

Мотель находился на берегу океана, неподалеку от того места, куда Грегори привозил Элизабет с мальчишками купаться; кухня была отвратительная, мясо и овощи, но зато можно было сесть у самой кромки прибоя и, не опасаясь п о д с л у х а, говорить то, о чем нельзя сказать ни в одном другом месте на земле; там Роумэн и предложил Кристе г л у б и н н у ю игру: «Начну пить, изменять тебе, опускаться...» – «Изменять по-настоящему?» Она тогда не смогла удержаться от этого вопроса, кляла себя потом, как можно говорить е м у такое, это же о н, Пол, ее любимый и единственный, неужели бабья ревнивая дурь столь неистребима в дочерях Евы?! «Ты сможешь вынести все это?» – спросил он тогда. «Смогу», – ответила она и теперь кляла себя за этот ответ.

...Криста поднялась с кровати, прошлепала босыми ногами по толстым, проолифленным доскам на кухню, – оформила ее точно так, как у Пола в Мадриде, – поставила воду на электрическую

плитку, достала настоящий кофе (после того, как ей уплатили деньги за дом, можно было пользоваться рынком, там продавали все, какой-то пир во время чумы), сварила себе маленькую чашечку медленной, тягучей, темно-коричневой, вязнущей в зубах жижи, сделала два глотка и сразу же почувствовала, как сердце начало биться, раньше она его вообще не ощущала. Нельзя быть такой здоровой в этом больном мире: такое здоровье вызывающе.

Зачем я сказала ему тогда, что «смогу»? В любви необходимо быть точным. Я должна была представить себе весь этот ужас расставания, страх, постоянный страх, что с ним там случилось, он один, без меня, кто поможет ему, кто закроет его, если в лицо ему наведут револьвер, кто будет целовать его грудь, когда сердце молотит «заячьей лапкой»?

Криста заплакала; она всегда плакала беззвучно, только спина тряслась и лились слезы, неутешные, как у маленькой девочки; она помнила свое детское впечатление (чем чище человек, утверждал Пол, тем больше он помнит свое детство), когда соседская Герда, ей было, кажется, четыре годика, каждое утро, просыпаясь, начинала плакать в голос, вой какой-то; папа тогда сказал Кристе: «Видишь, как это некрасиво — голосить на потребу окружающим? Это она так привлекает к себе внимание, вырастет, боюсь, нехорошим человеком».

А вдруг это не игра, а у Пола настоящий инфаркт, подумала она. Телеграмма Элизабет такая тревожная, в ней столько отчаяния... А ты хочешь, возразила она себе, чтобы сестричка сделала приписку: «Игра развивается как надо, все хорошо, мы их дурачим»?!

Ох, боже мой, ну и катавасия, ну и путаница, за что нам все это?!

Я мечтаю только об одном: купить билет, вылететь первым же рейсом к нему и быть подле, это такое счастье — видеть его лицо, целовать его ледяные пальцы, указательный весь желтый от его «Лаки страйк»; мне нравится в нем все — даже то, что он курит солдатские сигареты, то, что они у него крошатся... в этом есть какой-то затаенный, истинно мужской, очень достойный шик.

А что, если его отравят в этой чертовой больнице?!

Эта мысль была до того невыносимой, что Криста сняла трубку телефона; сейчас закажу Голливуд, ну их всех к черту, прилечу к Элизабет и заберу Пола сюда... дальше так невозможно.

Положи трубку, сказала она себе, если ты хочешь потерять мужчину, которого любишь больше жизни, который твоя гордость, поступай так, как подсказывает чувство; если же ты мечтаешь быть с ним столько, сколько определил господь, руководствуйся рассудком. Такие, как Пол, не любят истерик и бабства, потому что слишком высоко чтут женщину, которой преданны. Это слабым мужчинам нравится, когда женщина «ведет корабль», приняв на себя тяжкое бремя ответственных решений; какой ужас; нет ничего страшнее матриархата; мужчина для того и создан господом, чтобы мы имели право ощущать свою женственность...

Криста взяла Библию с маленького столика возле телефона (она постоянно ждала звонка, ей казалось, что Пол должен вот-вот по-

звонить к ней, у него будет сломавшийся, больной голос, и он скажет: «Приезжай, конопушка, я не могу без тебя больше»), открыла наугад страницу и ткнула пальцем в строку (она гадала каждый день и на полях отмечала карандашом, какого числа что выпало); отчего-то она всегда жмурилась, когда открывала страницу и опускала палец на строку (наверное, тоже с детских лет, когда мамочка, папа и я играли по вечерам в карты; проходя мимо папы к чайнику, надо было непременно зажмуриться, чтобы ненароком не увидеть его карт, это же стыдно — подглядывать...).

Открыв глаза, Криста прочитала: «И поставил перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы и сказал им: пейте вино. Но они сказали: мы вина не пьем, потому что Ионодав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина ни вы, ни ваши дети вовеки. И домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками».

Вот видишь, шепнула она себе, как все хорошо! Здесь же написано: «долгое время прожить»; нам с Полом суждена долгая и прекрасная жизнь, только нельзя распускать себя, мамочка верно говорила мне, если любишь человека, растворись в нем, будь его частичкой, уважай его право на поступок, никто так не ценит свободу, как любящий, все разрывы происходят из-за того, если женщина не умеет держать себя в узде, мы ведь хранительницы очага, а его надо беречь, без тепла нет жизни, а без веры в того, кого любишь, нет будущего...

Перед началом войны у отца был роман с женщиной, приехавшей на практику из Стокгольма. Криста узнала об этом от подруги в университете, она только-только начала заниматься на первом курсе, посещая при этом лекции по философии; ей понравились эпикурейцы, отец тогда увлекался этой школой, а она заражалась всем, чем болел отец, даже яхту научилась водить, когда он купил ее в рассрочку, назвав в честь мамочки «Анна-Мария».

Сначала Криста не поверила подруге, а потом увидала папу и ту рыжую, долговязую женщину, когда они садились в трамвай; отец был оживлен как-то совершенно по-особому, нежно помог этой отвратительной лошади войти в вагон, полуобнял и погладил своей большой рукой моряка (дедушка был моряком и прадед тоже, у них у всех были огромные ладони, очень сухие, с глубокими линиями жизни) по нарумяненной щеке этой накрашенной шведки.

Криста тогда долго не могла прийти домой, ей было страшно увидеть мамочку и папу вместе; какая низость, наша мама так красива, как можно предавать ее с какой-то кобылой, у нее ноги, как спички, и волосы накручены перманентом...

Отца дома не было, мама вязала возле камина, ужин был накрыт только для Кристы. Девушка обняла мать, осыпала поцелуями ее лицо, волосы, руки.

— Ты что, маленькая? — спросила тогда мамочка. — Кто-то обидел тебя?

— Нет, нет, просто я очень тебя рада видеть, — ответила Криста,

сдерживая слезы. — Какая ты у меня красивая, мамочка, нет тебя красивей... А где... отец?

— Папочка сегодня будет поздно, он с друзьями...

Кристина почувствовала, как в ней поднялось что-то темное, горячее, слепое:

— Он не у друзей!

Мать отложила вязанье, обняла Кристу, посадила на колени, хотя дочь была уже выше ее на полголовы, взяла ее руки в свои и очень спокойно сказала:

— Я все знаю, девочка...

— Кто тебе об этом...

— Папочка. Наш папочка... И ты не вправе называть его «отец». Так говорят об очень плохих родителях — «отец», «мать»... А у тебя замечательный папочка...

— Но я видела, я видела, видела, видела эту отвратительную лошадь!

— А я с ней и с папочкой пила кофе со сливками... Ты думаешь, любовь — это очень просто? Ты думаешь, это розы без шипов? Но таких нет на свете... Любовь колючая, Кристина, между теми, кто по-настоящему любит, нет тайн и запретов... Я знала, на что иду, когда выходила за папочку... Он был всегда честен... И никогда не лгал... И не унижал мое достоинство... Я сама виновата во всем, если хочешь знать... Папочка, когда мы стали встречаться с ним, сказал, что брак убивает любовь, потому что порождает ощущение властвования... Он ведь дружил с русским послом госпожой Коллонтай, ее очень бранили в Москве за ее книгу о свободной любви... А папочка увлекался ее концепцией... Но я настояла на том, чтобы все было, как у других... Женщина более склонна к единообразию, чем мужчина, это первородная тайна творения, не нам ее понять... Я настояла, понимаешь? Даже того хуже: я понудила папочку пойти в костел... А ведь он у нас с тобою безбожник... Следовательно, всю ответственность за происходящее несу я. Папочка — гений, он загорается, как сухой хворост, он испепеляет себя желанием понять... Все, что ему встречается... А поняв то, что казалось загадкой, он перестает интересоваться... У него было три увлечения, Кристина... И я знала о них.. От него... Он предлагал мне расстаться... Я отказала ему в этом...

— Почему? Из-за меня?

И мама тогда ответила:

— Ты появилась против моей воли. Я не хотела тебя. Я постоянно хотела быть с папочкой. Он умолил меня дать тебе жизнь. Может быть, я не смею тебе этого говорить, но мне кажется, что я люблю его больше всех на земле... А он не может жить ни дня без тебя... И если когда-либо он расстанется со мной, будь доброй к той женщине, которой он увлечется. Пообещай мне это, Кристина...

— Как ты можешь так говорить, мамочка?

— Я просто не умею думать и говорить иначе... Такая уж моя... вера... Слово «ревность» имеет множество значений, и ревность к мужу в этом смысле стоит на последнем месте; на первом — зависть, а потом стремление сравняться... Так вот я выбрала себе второе: же-

лание сравняться, быть рядом... Садись и ужинай, маленькая. А потом сразимся в карты, я тебя непременно обыграю...

– Мамочка, извини... Можно, я задам тебе вопрос?

– Конечно.

– Мне как-то совестно задавать его, но я твоя дочь, и мне уже восемнадцать... Ты очень красивая женщина, тебе сорок лет... Это же очень горько – женское одиночество.

Мама тогда рассмеялась:

– Ну, знаешь ли, душа моя, если все измерять только этим... А зачем людям дана дисциплина? Работа? Ощущение усталости? У нас небольшой дом, всего восемь комнат, гараж. Но ведь их все надо убрать. А это – время и силы. Надо постричь газоны в саду – это тоже время и силы. Надо связать папочке и тебе носки и свитеры на зиму, приготовить обед, купить продукты...

– Мамочка, но ты же просто святая!

– Нет, Кристина, я далеко не святая... Я умная... Понимаешь? Я умная. И чтобы сохранить то, что мне дорого, я готова жертвовать малым... Постель – не главное в жизни тех, кто любит. Да, конечно, без нее трудновато, это ханжество – отвергать плоть... Но в отношениях между мужчиной и женщиной есть и духовное начало... Есть, девочка, – словно бы споря с кем-то, мать упрямо поджала губы. – Ведь когда начинается влюбленность, нами движут полет, мечта, нежность, а не мысли о постели!

...Кристина надела свой самый любимый толстый джемпер, спортивные брюки, башмаки на толстой подошве, сложила тетради в сумку, забросила ее за спину, спустилась вниз, выкатила из-под навеса, что стоял рядом с домом, велосипед и отправилась в университет...

Бедненький Пауль, подумала она о своем коллеге-докторанте, занимающемся проблемой множественности, влюблен, приглашает в кино; как это горько – обманывать его, играя какое-то подобие чувства... Я объясню ему все позже, перед тем, как уеду, он должен понять, он чистый человек, такие добры сердцем.

В университете Кристина сразу же отправилась в библиотеку; Пол просил ее проработать – в свободное время – азы атомной физики: «Нам это пригодится; изо всех нас ты одна умная, конопушка, мы болтуны и шпионы, а ты магистр, который может посчитать уравнение, я же вспоминаю об этом с трепетом и ужасом, для меня нет ничего страшнее математики».

Криста мысленно увидела Пола, когда он говорил эти слова; поразительно, его лицо всегда совершенно не соответствовало тем словам, которые он произносил: когда он шутил, оно у него было серьезным, даже чуть скорбным; если говорил очень серьезные вещи, то обычно весело улыбался, сохраняя обычную снисходительность к самому себе; только гладя ее по щеке и по с ы п у ч и м волосам, скрывавшим лицо, его глаза были полны нежности и покоя...

Она вздохнула, потянулась за сигаретой, – после войны люди стали демократичнее, курить теперь можно практически всюду; про-

фессор Есперсен горько пошутил, что поражения учат больше, чем успехи, – да здравствуют разгромы, предтечи будущих побед! – но запретила себе курить; дала Полу честное слово: не больше трех сигарет в день.

«А сколько же я выкурю сигарет?» – шепнула она тогда; они говорили громко только в квартире, начав игру; о сокровенном шептались даже на улице. «Сто сорок девять», – ответил Пол. Она улыбнулась: «Значит, мы расстанемся на полтора месяца? Зачем же ты пугал меня полугодом?» – «А сколько ты выкуришь за полгода, конопушка?» – «Больше пятисот сорока». – «Почему больше»? Не жульничай. Девяносто сигарет на шесть месяцев будет... пятьсот сорок». – «Любовь моя, ты забыл, что есть месяцы, в которых тридцать один день пока еще не отменен». – «Слушай, конопушка, а тебе не страшно жить в нашем хрупком, непредсказуемом мире? Ты же у меня настоящий арифмометр». – «Хочешь сказать, что я вышла за тебя замуж по расчету, прельстившись миллионами твоего дедушки?» – «Да уж, – ответил он тогда, – бедный дедушка, такой был выпивоха, такой гуляка! Все, что у нас было, спускал в барах за милую душу, особенно по утрам любил засасывать полстакана виски»...

Кристина улыбнулась, оттого что Пол сейчас был совсем рядом, его голос был возле уха, даже щекотал мочку – так близко; господи, как же я хочу, чтобы он стоял у меня за спиной; я постоянно ощущаю его тепло; я сразу согревалась, как только он клал руку мне на лоб; настоящий мужчина обязательно несет в себе заряд избыточной энергии...

Кристина все-таки закурила сигарету, поклявшись, что третью, последнюю, выкурит дома, перед сном, и начала записывать то, о чем просил Пол. «Каждый должен понять, что такое этот чертов атом, – говорил он, – каков к нему путь, какие ученые могут быть экспертами и какие производства должны быть компетентны в его производстве. Это пригодится, конопушка, это может сыграть при самых невероятных обстоятельствах»...

«Что такое вещество? – Криста начала работу с этой простой фразы, он же просил сделать так, чтобы понимали даже свинопасы, впрочем, простота угодна и гениям, не только свинопасам, слишком красиво пишут те, кому нечего сказать. – Видимо, мы должны ответить: все то, что обладает массой, то есть весом, должно называться веществом. К категории вещества можно отнести платье, которое мы носим, пылинку, которая медленно падает в осеннем луче солнца, поле, по которому мы идем, бумагу, кольцо, духи, кофе, что пьем утром. Но ведь кофе можно пролить, запах духов ощутить, а землю пощупать. Следовательно, вещества бывают твердые, жидкие и газообразные. Но если классифицировать дальше, мы упремся в вопросы: земля твердая, и дерево твердое, и камень твердый, да и пыль имеет какой-то вес. Значит, все твердые вещества одинаковы по своей сути? Для обычного человека – бесспорно. Для ученого червя – нет. Возьмем кофе. Подвергнув его перегонке, мы поймем, что его составными частями являются вода и те вещества, которые входят в структуру кофейных зерен. Следовательно, каждое вещество состоит из химических веществ. Из них состоят все тела природы. Химиче-

ских веществ множество, более четырехсот тысяч. А каково их строение? Вот тут-то и сокрыт главный секрет. Химическое вещество есть масса с характерными свойствами; это не зависит от того, какой объем массы мы исследуем – тонну или грамм. А если мы исследуем вещество под микроскопом? Или даже допустим, что изучаем вещество, не видное в микроскоп? Будем ли мы обнаруживать в толике вещества все то, что обнаруживали ранее? Вещество не обладает непрерывной структурой, оно состоит из совокупности молекул. Например, один грамм воды содержит 33 500 000 000 000 000 000 000 молекул – тридцать три тысячи пятьсот миллиардов миллиардов! Но ведь молекулы – это гиганты в сравнении с атомами. Что такое масса атома? Это масса молекулы соответствующего простого вещества, деленная на число атомов, из которого она составлена. Генератором атома, его ядром, является электрон, он – главный переносчик электричества. Заряд электрона мы будем называть элементарным зарядом. А что же такое энергия – в приложении к элементарным частицам, да и не только к ним? Что есть энергия атома? Давайте уговоримся, что теплота является одной из форм энергии, это очень важно. Но мы обязаны постоянно помнить о такой величине, как импульс, то есть количество движения. В противоположность энергии она выражается не только числом, но и направлением; обозначим это направление вектором. И условимся: в изолированной системе ни энергия, ни импульс не могут изменяться, что бы с ней ни происходило».

Криста снова увидела лицо Пола: склонившись над ней, он улыбался, и от него пахло его «Лаки страйк» и сухим лосьоном, которым он протирал щеки и подбородок после бритья, похоже на сушеные яблоки, прекрасный запах: «А что такое изолированная система, конопушка? Разведка? Банк? Наша демократия?»

Криста вздохнула и продолжила выводить своим быстрым, очень четким почерком: «Изолированная система есть совокупность предметов, которые никак не взаимодействуют с другими предметами, не входящими в эту совокупность. Мужчины должны вспомнить бильярд: до удара мы имеем дело с замкнутыми, изолированными системами, все шары стоят на месте. После удара кием движется лишь один шар, ему сообщена кинетическая энергия; когда же он ударит второй шар, то оба будут заряжены энергией; из ничего не будет ничего. Если от бильярдных шаров перейти к атомной физике, то нам необходимо внести коррективы, потому что обычные скорости – это одно дело, а вот атомные – триста тысяч километров в секунду – совсем другое. По Эйнштейну – масса движущегося тела увеличивается со скоростью. Происходит постоянный процесс преобразования энергии и массы. Но в этой концепции отсутствует такое важное звено, как свет. Что это такое? Свет распространяется в виде неких электромагнитных волн. Энергия света сконцентрирована в частицах, которые называются фотонами. При этом условимся, что фотон можно называть квантом света. Вещество, образующее атом, сконцентрировано в крошечной его частице, в ядре. Вся остальная масса атома веществом не заполнена. Если наука овладеет запасами энергии, заключенными в недрах вещества, в его ядре, она может

создать оружие, которое обладает сверхмощной силой, в то время как истинный смысл использования этой энергии заключен в другом: наравне со сжигаемым углем и падающей массой воды она есть источник движущей с и л ы. Надо всегда помнить, что если бы мы смогли превратить в энергию массу одного атома, то смогли бы извлечь из грамма вещества 20 000 000 000 киловатт-часов энергии, – вот что такое секрет атома не в военном, а в человеческом, планетарном смысле.

Следовательно, – заключила Кристина, глянув на часы: пора давать телеграмму, время, – если всерьез говорить о тайне атома, о том, кто втянут в увлекательнейший поиск его г л у б и н н о г о, еще непонятого секрета, то, видимо, надо назвать химиков-теоретиков, физиков самого широкого профиля, а в промышленности – фирмы, связанные в первую очередь с жаропрочностью, энергетикой, радиологией, медициной (рентгенология)».

Кристина закрыла тетрадку, подумав: «А если ты, моя любовь, хочешь подойти к этому узлу самым близким путем, тогда мы займемся фирмами, которые поставляют пленку для ваших паршивых ковбойских фильмов! Вот как ловко я тебя раскусила, какой же ты хитренький, Пол, оберегаешь меня от твоего з н а н и я! Ты прав, связь необходима лишь после того, как был разрыв».

На центральном телеграфе она заполнила бланк очень быстро, текст был выучен заранее; в тот день, когда они, уговорившись обо всем, приняли решение, Пол просил дважды повторить его: «Дорогая Элизабет зпт очень сожалею болезни Пола зпт чем я могу помочь вопр если нужны деньги зпт назови сумму зпт Криста».

Около подъезда ее ждал Пауль, он обещал пригласить ее сегодня на «Женщину моих грез», один из последних фильмов третьего рейха, – комедию снимали в те дни, когда союзники крушили немецкие города, а на экране девочки дрыгают ножками; говорят, актрисам давали дополнительную порцию маргарина, чтобы не выглядели тощими глистами.

– Выпьем кофе? – спросила Кристина. – Или надо бежать – опаздываем?

– Я бы не отказался от чашечки кофе, магистр, – ответил Пауль.

– Что ж, выпьем кофе.

Однако кофе они пить не стали: под дверь была подсунута телеграмма в траурной рамке. Увидев ее, Кристина медленно осела на пол, потеряв сознание.

РОУМЭН (Голливуд, сорок седьмой)

Клиника доктора Рабиновича была маленькой, всего два этажа; внизу лежали выздоравливающие, на втором этаже операционная и две палаты реанимации; Роумэн лежал в той, что ближе к операционной.

– Честно говоря, я не знал, что ваш друг такая важная персона, – сказал Рабинович раздраженно, отодвинув от себя большой старомодный телефонный аппарат. – Вы-то знали это, Спарк? Звонили из трех газет, все как один интересуются его здоровьем.

Спарк и Элизабет переглянулись:

– Он начал работать с режиссером Гриссаром, – задумчиво сказала Элизабет, – они затеяли какое-то суперкино, может быть, тот рассказал им о трагедии?

– Роумэн не сможет делать никакого кино... Я не знал, что отвечать прессе, пока вы не приехали... Пошли к нему, я позволяю навещать пациента в любом состоянии, допинг радости – лучшее лекарство...

В большой палате возле Роумэна сидела толстая негритянка в зеленом халате; увидев доктора, сразу же поднялась.

– Вы свободны, миссис Диббс, – сказал Рабинович. – Это друзья больного.

Когда сестра вышла, Рабинович вытащил из носа Роумэна тоненькие кислородные трубочки, отключил капельницу, из которой в вену шел физиологический раствор, и тихонько рассмеялся:

– Все, люди, здесь-то вас никто не услышит, а в карточку Пола я подшил кардиограмму Лависа, у того третий инфаркт, так что с этим все в порядке, камуфляж абсолютен.

Пол сел на кровати, кивнул на дверь:

– Сюда ненароком кто-нибудь не ворвется?

– Нет, – ответил Рабинович, – у меня штат вышколен.

– А если начнет умирать этот ваш Лавис?

Доктор почесал кончик носа:

– В вопросе есть резон, Пол. Я продумаю это дело, надо будет вмонтировать кнопку в дверь, поставлю пневматику – пройдет полминуты, пока створки распахнутся, так что лучше ляг и я воткну тебе в нос кислород, Лавис действительно должен умереть с минуты на минуту.

– Пусть живет. А я пока полежу, – усмехнулся Пол, – хотя эти игры стоят у меня поперек горла. Ты совершенно убежден, что здесь ничего не всунули мальчики Макайра?

Рабинович развел руками:

– Погляди сам: куда они могли что воткнуть? Я даже щтепсели отсюда перенес в операционную, когда Грегори сказал, что инфаркт ты будешь *играть* у меня... И потом в клинику никто из посторонних не входит... Нет, Пол, это уже психоз, нельзя постоянно оглядываться на собственную тень.

– Умница, – сказал Пол, сунув в нос тоненькие резиновые трубочки, – щекотно, черт возьми. А вообще кислородом дышать приятно, голова делается пьяной, но по-хорошему, очень как-то звонко... Ты иди, Эд, пускай возле тела побудут близкие, нам надо побыть вместе минут пятнадцать...

– Заговорщики, – Рабинович усмехнулся, – шепчитесь, черти... Я зайду через двадцать минут, пока займусь твоей дверью.

– Моей не надо, – заметил Роумэн. – Займись дверями в операционной, это в порядке вещей, не будет бросаться в глаза... *журналистам*, которые так интересуются моей персоной... Они-то как раз и могут войти сюда без стука, так что подключай эту чертову капельницу.

Рабинович покачал головой:

– У тебя вместо головы счетчик, тебе не холодно жить на свете, зная заранее, что произойдет?

– Наоборот, жарко; знание предполагает избыточность движений, вот в чем вся штука.

Рабинович снова подключил капельницу, заметив:

– Тебе, кстати, это не помешает, ты играл всерьез, надо промыть кровь, алкоголь бьет по сосудам – в первую очередь. Значит, сначала я закажу пневматику в операционной, а потом уже у тебя, я верно понял?

– Ты гений, – ответил Спарк. – Понимаешь все с полуслова.

Рабинович снял очки, лицо его сделалось совершенно беззащитным, диоптрия минус восемь, глаза пепельные, в опушке длинных, девичьих ресниц.

Остановившись возле двери, он обернулся к Роумэну:

– Ты помнишь, что тебе надо играть оптимистический истеризм и хамство?

– Мне это и играть-то не надо, – вздохнул Роумэн. – Это моя сущность... Пошел вон, чертов эскулап...

Элизабет вздохнула:

– Дорогие мои шпионы, я никогда не могла предположить, что вы способны на такие длительные игры! Как не стыдно! Отчего вы меня не посвятили в дело с самого начала?

– Ты бы все провалила, – ответил Спарк. – С такими, как ты, играют втемную.

– Не сердись, сестричка, – сказал Роумэн. – Мы с Грегори старые волки, нам это не впервой, а тебя такая игра могла поломать. Слава богу, что Спарк встретил Рабиновича, это лучший выход, и прекрасно, что макайры успели оборудовать в «Президенте» вчерашний стол, – понятны звонки журналистов... Они скоро явятся сюда, вот увидишь... И это будет очередная ошибка Макайра... Теперь по делу, люди. Из Барилоче я получил очень важную информацию – это раз. Джек Эр, в случае чего, знает, что ему делать, – это два. Все, люди, идите. И навещайте меня по очереди. И пусть Элизабет не забывает приносить соки... Позвони двум-трем подругам, расскажи, что мины рвутся рядом, умирает одногодка Грегори, вот они – незарубцевавшиеся раны войны... Письмо Кристе тебе поможет написать Грегори... И всегда помни, сестра, твой дом нашпигован подслушками... Только когда Макайр... Нет, не так, – Роумэн потер лицо пятерней, – только если Макайр поверит, что мне каюк, он оставит вас в покое... И пили Грегори, все время говори ему, как надо беречь здоровье: «Смотри, что стало с бедным Полом, у нас все есть, мы обеспечены на пять лет вперед, не надрывайся на своей паршивой студии, береги себя, ты нужен детям, что я буду делать одна»...

– Фу, как противно, – сказала Элизабет. – Я никогда не смогу так говорить.

– Придумай, как можешь, – усмехнулся Спарк. – Ты порою бываешь невыносима, вот и зуди, вечером поедем купаться, все продумаем на пляже, срежиссируем, чтобы не было ляпов...

– Да уж, – попросил Роумэн, – не подкачайте, ребята.

Когда Спарки ушли, он откинулся на подушку, увидел перед собою веснушки Кристы и сладко уснул.

...Океан был тугим и ревущим, хотя ветер стих еще утром; зеленая мощь воды медленно вываливала самое себя на песок; пронзительно кричали чайки; тихо шелестела листва высоких пальм; блаженство.

Спарк разделся первым, взял Питера и Пола, мальчишки обвили его шею цепкими ручонками, и они вошли в воду.

– Осторожно, Спарк! – крикнула Элизабет. – Что-то чайки слишком громко кричат...

– А ты слышала, чтоб они кричали тихо? – Спарк раздраженно пожал плечами, потому что рядом с ними пристроилась парочка; вышли из машины, припарковавшись через три минуты после того, как Грегори притормозил; появились как из-под земли: пасут.

– Не сердись, милый, – ответила Элизабет, направляясь следом за ним. – Я понимаю, каково тебе, но и я не нахожу себе места...

– А Пол умрет? – спросил младший, названный в честь Роумэна Полом.

– Не говори ерунды, – рассердился Спарк, хотя понимал, что его слова соседям не слышны, океан таит в себе постоянный шум, не то, что море; отсюда и до Японии – вода; что-то в этом есть противоестественное, слишком уж величественное; прижал к себе мальчишек еще теснее.

После того, как их вернули домой, когда Роумэн сдался, – постоянное ощущение тревоги за детей жило в нем каждую минуту; днем, когда он сидел на студии и разбирал с режиссером и актерами мизансцену, ему виделись страшные картины; бросив коллег, Спарк мчался к телефону, набирал номер дрожащим пальцем, ощущая, как внутри все ухает и кровь тяжело молотит в висках, слышал ровный голос Элизабет, визг мальчишек, моментально успокаивался, возвращался работать; однако по прошествии часа, а то и меньше, его снова начинало мучить кошмарное видение: пустой дом, тишина, могила какая-то: зачем жить, если мальчиков нет рядом?! По ночам его мучили кошмары, он страшно кричал, не в силах разорвать душный обод сна; Элизабет трясла его за плечо, он бежал в ванную комнату, пускал воду: смывал дурной сон с кончиков пальцев сильной струей воды, свято верил, что это помогает, – то, что привиделось, ни в коем случае не сбудется, если только вовремя смыть ужас; уснуть больше не мог; утром пил самый крепкий кофе, какой только можно заварить, чтобы на студии не клевать носом; деньги платят тем, кто активен, сонных увольняют и, в общем-то, правильно делают, прогресс движут моторные люди, им и карты в руки. Иногда, возвращаясь домой, он боялся открыть дверь, если не слышал голосов; однажды приехал не в семь, как обычно, а в пять, оттого что разламывалась голова; ни Элизабет, ни мальчиков дома не было; полчаса он метался по комнатам, стараясь найти следы на-

силия, записку, какой-нибудь знак беды; не выдержал, позвонил в полицию; через шесть минут приехали парни; через десять минут вернулась Элизабет с мальчиками, – уезжала в магазин, пятница, надо сделать закупки на уик-энд.

После этого случая Спарк впервые подумал о враче: так дальше нельзя, постоянное ожидание ужаса, можно сойти с ума или порвется сердце: как тогда жить Элизабет, что она может, кроме как растить мальчиков и любить меня?!

Спарк понимал, что к любому врачу идти нельзя, только к другу, которому веришь; начал листать старые записные книжки, натолкнулся на фамилию Рабиновича и сразу же вспомнил человека с беззащитными, детскими глазами; правда, в очках он был другим, лицо становилось надменным и даже чуточку жестоким; на фронте, под Арденнами, потеряв очки, чуть не угодил в плен к немцам, расстреляли б в одночасье, слишком типичное лицо – с карикатур гитлеровского «Штюрмера». «Все-таки я убежал, – веселился Рабинович, – а меня за это наградили «Медалью за храбрость»; смешно, отличают тех, кто лихо бегает». Про то, как он оперировал под бомбами, не рассказывал, об этом написали в «Лос-Анджелес таймс», с тех пор его практика стала широкой, ветераны лечились только у него, даже те, которые не очень-то жаловали евреев.

К нему-то и пошел Спарк; напомнил, как до войны они, еще учась в колледжах, принимали участие в соревнованиях по бегу, рассказал о тех, кто вернулся, кто погиб, поинтересовался, не помнит ли доктор Роумэна. «А, это такой здоровый, он еще ломался пополам, когда смеялся, да?» – «Точно, у тебя хорошая память, он сейчас в «Юниверсал», совершенно сдало сердце, а вот я потихоньку схожу с ума».

Рабинович пригласил своего психиатра, во время беседы Спарка с врачом ни разу их не перебил, молча наблюдал за тем, как коллега выписывал успокаивающие средства, а потом, когда они остались одни, заметил:

– Не вздумай принимать эту муру, Спарк. У тебя шок, понимаешь? И пилюлями тут не поможешь. Только ты сам можешь себя вылечить. Ты рассказал мне все, кроме того изначалия, которое родило в тебе страх за детей. Объясни все, тогда я дам тебе разумный совет. Кардиолог обязан быть психиатром, потому что многие сердечники после инфаркта становятся тюфяками, дребезжащими трусами... А до того, как стукнуло, были орлами, от моих советов отмахивались: бросьте пугать, доктор, жизнь дана, чтобы гудеть, – и все такое прочее... А как прижало, так сразу лапки кверху... А другие – таких, правда, меньшинство, – наоборот, пускаются во все тяжкие, все равно, мол, помирать... И к первому, и ко второму типу нужны свои ключи... У тебя была какая-то трагедия с детьми?

Спарк внимательно оглядел кабинет Рабиновича, его лицо, руки, – он был убежден, что в руках человека сокрыт характер не меньше, чем в глазах и мочках ушей, – вспомнил слова Роумэна, что о похищении никому нельзя говорить, надо лечь на грунт, полная пассивность, игра со всеми, только это гарантирует нас от горя; бить можно лишь в том случае, когда на руках полный покер, силе

противопоставима только сила, закон баланса, ничего не попишешь.

– Мальчиков похищали, Эд, – тихо сказал Спарк.

– Кто? Маньяки?

– Нет, вполне нормальные люди. Деловые, воспитанные, весьма корректные... Если бы мой друг не сделал то, чего от него требовали, эти корректные люди убили бы ребятишек – сначала Питера, а потом Пола, так у них принято.

– Мафия, – понял Рабинович. – «Коза ностра»... С тех пор ты и маешься?

– Да.

– Твой друг выполнил их условия?

– Да.

– Они были удовлетворены этим?

– Иначе бы они вряд ли вернули мальчишек.

– Это все?

И после долгой паузы Спарк ответил:

– Да.

Он не мог, у него просто язык не повернулся рассказать Рабиновичу – хоть он и славный парень, таким можно верить – о разговоре с Роумэном, когда тот прилетел в Голливуд, раздавленный и смятый Макайром. «Они все знают об эпизоде в Лиссабоне, – сказал он, – все, Грегори. И я согласился на капитуляцию, и не только из-за мафиози, но и потому, что Макайр прижал меня: будешь рыпаться, Спарк загремит под суд вместе с твоей любимой. Так что все зависит от тебя: либо я буду продолжать схватку, либо, действительно, на всем надо ставить крест». – «Что твой Штирлиц?» – спросил тогда Спарк. «Он продолжает свое дело». – «Веришь в то, что может что-то получиться?» – «Да». – «В каком направлении он пошел?» – «Намерен войти в бизнес, оттуда начать осматриваться, я жду от него известия, связь оговорена: через «Твэнти сенчури Фокс», твою Люси Фрэн, «заявки» от «Экспериментал синема». – «Что может опрокинуть Макайра? Если, – Спарк горько усмехнулся, – его вообще может хоть что-то опрокинуть...» – «Информация и доказательства. Такие, которых нет ни у кого. Для этого использовать работу Штирлица, мои выходы на мафию, ну, конечно, твою помощь... Ты волен решить – остаешься или отходишь, любой твой ответ не повлияет на наши отношения, брат». – «Я стал дико, по-животному бояться за мальчиков, Пол». – «Я понимаю. Значит, мы будем работать вдвоем с Кристой. Давай продумаем достойную мотивировку для нашей ссоры, я не в обиде, я согласен с твоим доводом, это по-мужски». – «Я не смогу так, Пол. Я просто сказал тебе, как мне худо. Но я не отойду. Нет, не отойду. Только расскажи мне про свой план – с самого начала и до конца. Планировать надо вместе». – «Грегори, подумай. Посоветуйся с сестричкой. Я не тороплю тебя. Но во всех случаях мой план начинается с того, что я пускаюсь во все тяжкие, – я сломан, я начал пить, путаться с бабами, мне необходим мотивированный разрыв с Кристой, я должен дойти до предела падения... Это первая фаза. Если я буду убедителен, Макайр снимет с меня наблюдение. С тебя, понятно, тоже. Криста и Джек Эр будут работать наше дело в Европе, Штирлиц – на юге, а я –

здесь, через мафию... Если, конечно, удастся. Я кладу на все про все год. Если в течение года я не получу такую информацию, которая заинтересует сенатскую оппозицию и ту прессу, которая хочет повалить Трумэна, я кончаю предприятие. Раз и навсегда. Надежда останется только одна: на время, в нем реализуются и разумные эволюции, и темные бунты».

– Скажи мне, – спросил Рабинович, – а когда тебе особенно худо? В солнечные дни или же если моросит дождь и небо обложено тучами?

– Почему тебя это интересует?! – удивился Спарк, отчетливо вспомнив, что самые дурные предчувствия, когда он не находит себе места, случаются с ним именно в сумрачные дни или же накануне резкой перемены погоды.

– Мой вопрос целесообразен, судя по твоей на него реакции, – заметил Рабинович.

– Вообще-то, действительно, когда погода у нас хорошая, я в полном порядке.

– Значит, давай уговоримся о главном: психически ты абсолютно здоров. Ты бугай, понимаешь? Ты здоров, как бугай... У тебя есть симптомы неадекватной реакции, но это пустяки, я дам тебе ряд советов – и все войдет в норму.

– Ты связываешь погоду с психическим состоянием человека? – Спарк удивился. – Лучше свяжи это с тем, что маленький человек в этом большом мире совершенно беззащитен...

– Зависит от человека, – отрезал Рабинович. – Купи пару пистолетов и научи жену, как нажимать на курок... Кстати, я говорю совершенно серьезно... Что же касается погоды, то я просил бы тебя записывать – это я тоже совершенно серьезно, – когда у тебя возникает этот навязчивый кошмар: в солнечный день или же если зарядил ливень... Или накануне резкой перемены погоды... Мы с тобой это вместе проанализируем... И чтобы ты не считал меня полным идиотом, я расскажу тебе ряд фактов, ты поймешь, отчего я этим заинтересовался... Смотри, Дидро, например, которого психом не назовешь, хотя Людовик был бы счастлив этому, прямо говорил: «Во время сильных ветров я чувствую, что мозг у меня не в порядке». Монтень, тоже не придурок, утверждал: «Когда погода ясная, я чувствую себя порядочным человеком». Альфьери писал в дневнике: «Я уподобляюсь барометру; большая или меньшая легкость работы всегда соответствует у меня атмосферному давлению: полнейшая тупость нападает во время сильных ветров, ясность мысли бесконечно слабее вечером, нежели утром, а в середине лета и зимы мои творческие способности живее, чем в остальные времена года. Зависимость от внешних влияний, против которых я не могу бороться, смиряет меня»... А Наполеон? Ты знаешь, что он приказывал топить у себя в комнате камин даже в июле? Не переносил сквозняков, моментально простуживался... Руссо утверждал, что летние солнечные лучи вызывают в нем творческую активность; у Вольтера топили в доме круглый год; Байрон всем писал, что боится холода, как газель; Гейне утверждал, что он потому пишет во Франции, что в Германии климат суровей и зима длинней... Мильтон говорил, что зимой его

муза бесплодна; Шиллер писал Гёте: «В эти печальные дни, под печальным ноябрьским небом, мне необходима вся моя энергия, чтобы поддержать в себе бодрость; приняться же за какой-либо серьезный труд я положительно не способен». А в июле сообщает старику: «Благодаря хорошей погоде я чувствую себя лучше, лирическое вдохновение, которое менее всякого другого подчинено нашей воле, не замедлило явиться ко мне»... Вот в чем штука, Спарк...

– Ты оперируешь проверенными данными?

– Абсолютно. Если бы критики, вместо того, чтобы п о п и с ы в а т ь, смогли стать историками, они бы выяснили, отчего наибольшее количество произведений, написанных Гюго, Ламартином, Беранже, падает именно на конец весны и лето. Микеланджело все свои лучшие произведения создавал с апреля по август! Гёте писал, что весенние дни значат для него больше иных месяцев! Хочешь выдержку из одного поразительного письма?

– Ты и так меня ошеломил...

Рабинович удовлетворенно кивнул:

– Сейчас ошеломлю еще больше... Слушай: «С приближением зимы все привычки мои перепутались, затем болезнь довела эту путаницу до того, что я не спал ни одного часа, я помню, что писал вам, но не знаю, что именно, если вы пришлете мне письмо, я объясню вам его»...

– Но это же писал псих! – воскликнул Спарк. – Полная мешанина мыслей!

– Не торопись с выводами: это Ньютон... Так что составляй график, когда тебя прижимают видения... Если мы убедимся, что дело связано с погодой, продавай дом – и чеши на Кубу или в Майами, значит, тебе не подходит здешний климат. Это я совершенно серьезно, Спарк.

Вдоволь нанырявшись с мальчиками, Спарк вынес их на берег, бросил рядом с собой – песок за день прогревался, становясь горячим, – и позвал Элизабет; она опустилась рядом; п а р о ч к а тоже спустилась к самой кромке океана.

– Все равно они ни черта не слышат, – сказал Спарк, обняв Элизабет. – Ф и р м а теряет квалификацию. Когда мы служили в ОСС, таких глупостей никто не делал, только японцы ставили наглую слежку, да и то, если хотели испугать...

– А может быть, они именно этого и добиваются, Спарк.

– Завтра будет меняться погода, – он усмехнулся. – Мы с тобой оба подвержены климатическим и атмосферным изменениям. Рабинович – гениальный врач...

– Не сердись, милый... Можно, я задам тебе один вопрос?

– Хоть десять.

– Чего ты... Нет, я плохо начала... Чего мы все добиваемся, можешь объяснить мне толком? Мы не стали одержимы навязчивой идеей, Грегори? Посильно ли нам то, что задумывается?

– По-моему, да, милая... Я много раз задавал себе такой вопрос, и очень хорошо, что ты открыто заговорила об этом... Понимаешь,

мы живем в великой стране, другой такой нет, демократия въелась в нас, мы рождены с бациллами свободы в крови... Трумэн повернул вправо, но ведь в сенате и конгрессе сидят люди, которые открыто противостоят ему, разве это не правда? «Нью-Йорк таймс» печатает разгромные статьи против администрации, пишет про то, что нацисты вновь поднимают голову, спрашивает, кто стоит за теми, кто оправдывает генералов вермахта... Но это пишут люди, которые не знают машины гитлеровцев. Ее знает Роумэн и... еще один... Досконально. Ну, и я — в какой-то мере... Если ему удастся выйти на мафию, предложить тем ребятам выгодный контракт — у него есть идея, Лиз, он набит идеями — и перетянуть их на свою сторону, если Джэк Эр и Крис смогут нащупать в Европе трассу гитлеровцев, связь между их прошлым и надеждами на будущее, если все это жахнуть в нашей прессе, — мы, выполнив свой долг перед памятью, обретем спокойствие, поверь. С силой считаются. Америка очень не любит нацистов, никому не удастся сделать нас тоталитарным государством, мы помогаем защищать нашу конституцию, — вот и все. И очень боимся реанимации гитлеризма... Если Трумэн хочет бороться с русскими с помощью бывших наци, это преступление против Питера и Пола, мы проиграем схватку, вопрос вопросов — с кем заключать блок; дьявол — плохой союзник в борьбе за божьи заповеди...

— Сэмэл смог напечатать хоть в одной лондонской газете то, что ему рассказывали ваш друг и Пол? Ты же сам говорил, что материал был сногсшибательный...

— Ты не хочешь понять, — сразу ничего не делается... И потом, тогда именно и включилась мафия...

— А сейчас, если сделать то, что задумал Пол, она выключится? — Элизабет вздохнула. — Не обманывай себя, не надо...

— Главное — верить в успех, тогда дело образуется. Если же дать себе право на трясучку, страх, сомнение, все полетит в тартарары... Вперед — и точка!

Элизабет поцеловала его в шею:

— Почему мужчины такие мальчишки, даже седые? Откуда в вас столько детского идеализма?

— Ты против того, что мы делаем?

Элизабет ответила не сразу, долго рисовала мизинцем какие-то странные фигуры на песке, потом спросила:

— Думаешь, меня не гнетут такие же кошмары, как и тебя? Я ведь теперь не оставляю мальчиков ни на секунду. У меня в ушах крик, которого я не слышала... Хотя они не кричали, их же пригласили покататься на гоночной машине папины друзья, маленькие готовы сесть в гоночную машину, даже если за рулем Люцифер.

— Как я понимаю, ты против того, чтобы мы продолжали все это дело?

— Я не смею тебе сказать так, Грегори. Я слишком тебя люблю... И уважаю... И мне страшно за Пола... И Кристу — веснушчатую нежность... Но ведь все не уместишь в одном сердце... Переубеди меня, Спарк, а то мне что-то очень страшно, особенно когда эта парочка перебирается к нам еще ближе.

– Заплачь, – шепнул он. – Прижмись ко мне и заплачь...

– Это мне очень просто сделать...

Она ткнулась ему лицом в шею, спина ее затряслась, и он понял, что Элизабет не играет, ей очень плохо, она прекрасно держится, но ей так же плохо, как ему, а может быть, даже хуже...

Он поднялся, потрепал ее по волосам, шепнул:

– Не надо, Лиз. Вставай, милая. Пойдем, – он помог ей подняться, обнял и, прижав к себе, повел к машине; они прошли мимо парочки, не обращавшей на них внимания. – Я убежден, что его спасут, – громко заговорил Спарк. – Не верь врачам, они паникеры! Пол выстоит, он крепкий, от инфаркта умирают только слабаки, а он выстоит!

– О, Грегори, милый, ты говоришь, как мужчина! – Элизабет продолжала плакать. – А я смотрела на его лицо, он постарел на десять лет... Он седой как лунь... Такое не проходит даром...

В машине он продолжал утешать ее, – предполагал, что и здесь воткнули запись, – говорил, что поедет в Вашингтон, будет говорить с Макайром, каждый человек имеет право на ошибку, нельзя казнить своих; дома открыл ящик стола и записал в том дневничке, что вел по просьбе Рабиновича: «Завтра погода изменится».

...Погода изменилась ночью, задул холодный ветер, и пальмы гнулись стонуще, а их кроны казались разметавшимися во сне волосами женщины.

...Утром в клинику пришел режиссер Гриссар, в руках у него была корзина с фруктами и огромный термос:

– Я сварил тебе особый чай, Пол! Укрепляет мышцу сердца. Гонит соли, встанешь на ноги через неделю... Я буду заезжать к тебе через день, не грусти... Если нужны деньги – говори сразу, я готов ссудить тебя, отдавать будешь по частям.

– Неужели ты поверил, что у меня инфаркт? – Роумэн усмехнулся. – Просто перепил, а Рабинович хочет заработать на длительном лечении... Что, по-твоему, я плохо выгляжу? Приведи девку, я докажу тебе, что нахожусь в прекрасной форме...

– А я вижу! С чего ты взял, что я верю Рабиновичу? Я тебе верю, Пол. Просто ты зарос, поэтому выглядишь не так, как всегда... Ты что почувствовал, когда тебя прижало?

– Да у меня было так пару раз... Просто запекло в солнечном сплетении, дыхание зажало... Будь я трезвый, и внимания бы не обратил... Я же тогда набрался, вот и...

– Левая рука болела?

– Не то что бы болела... Какая-то стала холодная... Ну, поколо пару раз в локте, наверное, упал...

– Ты устал?

– С чего ты взял? Сиди, я тебе рад...

– Слушай, я довольно долго размышлял над нашим разговором... Вообще-то, если ты согласишься поработать с одним моим

приятелем над сценарием о том, как человек сидит в тюрьме, а на самом деле воюет против наци, может получиться сценарий...

– С кем я должен работать?

– С моим сценаристом... Майклом Вэбстером, ты его наверняка встречал.

– А сколько мне будешь платить?

– Не обижу, Пол, не обижу. Мой продюсер заинтересовался, ему кажется, что в этом есть зерно... Что ты? Болит? Почему морщишься?

– Бабу хочу, вот и морщусь...

– Поспи, Пол. Самое хорошее, это поспать, если заболел. Во сне все болезни проходят. Я оставил Рабиновичу мой телефон, как будет скучно – звони, я сразу приеду, ты мне, действительно, симпатичен...

...Когда Гриссар ушел, оставив после себя тонкий аромат горьких французских духов, Роумэн лежал долго, не двигаясь, ощущая усталость, словно после длительной пробежки. Когда заглянула сестра, он попросил ее налить чая из термоса:

– Это мне принес один дружок, говорит, что сварил особый чай, который укрепляет сердце...

– Я должна показать это доктору Рабиновичу, сэр... Он следит за вашей фармакологией, я не могу разрешить вам пить то, что не он прописывал.

– Позовите его... Не надо делать из меня убогого! Я через два дня выйду к себе в «Юниверсал», мне надоело лежать здесь без толку!

– Да, да, конечно, сэр! Вы молодцом! Сейчас я приглашу доктора, одну минуту.

Рабинович пришел взъерошенный:

– Ну и дружки у... – Роумэн стремительно вытянул руку, показывая на термос, прижал палец к губам, Рабинович все понял, продолжил с еще большей яростью: – у вашего брата кинематографиста! Приносят какие-то чаи без моего разрешения, как можно, а?! Вы тяжело больны, Роумэн, ясно вам? И я запрещаю вам есть или пить что-либо без моей санкции!

– Что значит «тяжело болен»? Инфаркт?

– Не знаю... Об этом еще рано говорить... Во всяком случае, острая стенокардия! Хотите сдохнуть – извольте! Только не у меня в клинике, я престижный врач!

Роумэн показал глазами, что термос надо разбить, Рабинович и это понял сразу же.

– Я сам позвоню этому вашему надушенному другу и скажу, чтобы впредь он консультировался со мной, что вам можно пить, а что нельзя! С него еще станется принести вам виски в термосе!

Он взял огромный сосуд, поднес его к умывальнику, открыл пробку и вылил содержимое; выливал с яростью, не удержал в руках, уронил, стекло разбилось; Роумэн кивнул, попросил глазами дать ему остатки термоса, быстро разобрал, нашел то, что искал, – черненький кубик подслушки; показал Рабиновичу, тот кивнул.

– Зачем бить ценные вещи? – вздохнул Роумэн. – Человек обо

мне заботится, а вы... Термос дорогой, как я теперь погляжу в глаза другу?

– Ничего, выздоровеете – купите новый.

– На какие деньги? Вы же меня разденете за ваше лечение.

– Не болейте, не будем раздевать, мистер Роумэн. Пришла миссис Спарк, но я ее к вам не пущу, на сегодня с вас хватит визитеров.

Роумэн поманил Рабиновича, тот склонился над ним: «Посмотри, нет ли на улице машины, там должны записывать мой разговор с помощью этого долбанного термоса». «Я уже смотрел, – одними губами ответил Рабинович, – стоит «форд» с двумя пассажирами, подъехал сразу же, как только пришла Элизабет». «Ну, сволочи, – шепнул Роумен, – вот ведь обложили, а?!»

Мисс Сьюзен Джилберт,
вице-президенту
«Эксперимэнтл синема инкорпорейтэд»,
Пуэрто-Монт,
почтовый ящик 2177,
Чили.

Уважаемая мисс Джилберт!

Мы с большим интересом прочитали Ваше письмо, однако не можем дать окончательного ответа, поскольку все планы на ближайшие месяцы уже находятся в процессе реализации, а перспектива на следующий год еще не до конца ясна.

Тем не менее оставляем за собой право воспользоваться Вашей любезностью. Мы намерены – в удобное для нас время – прислать квалифицированного специалиста для ознакомления с уникальным Пуэрто-Монтом и его чудными окрестностями.

Жильем и транспортом наш эксперт будет обеспечен, речь может пойти лишь о том, чтобы Вы оказали ему (ей) помощь в ознакомлении с Вашим городом и окружающими районами.

Люси Фрэн,
заместитель помощника директора
по коммерческой продукции,
«Твэнти сенчури Фокс»,
Голливуд,
США.

Ночью Штирлиц прочитал письмо Роумэна, проутюжив его всего лишь один раз; строчки, написанные крутым почерком Пола, были видны отчетливо, читалось легко, без очков:

«Дорогой друг!

Я соответствующим образом проинструктировал человека, который отправился в Европу.

Думаю, он найдет возможность поработать в архивах по тем позициям, которые Вы обозначили. Он и все мы приложим максимум сил, чтобы снабдить Вас материалами уликового характера (если, конечно, они сохранились) еще до начала нового тура переговоров «Дженерал электрик» с людьми Перона. Те каналы связи, которые мы оговорили на крайний случай, остаются в силе.

Теперь о том, что делаю я.

Все мои усилия направлены на то, чтобы найти «Пепе» и встретиться с его боссами, предварительно собрав нужную информацию.

Вы говорили, что Мюллер обладает ключом и шифром к сейфам, где хранятся сотни миллионов нацистских денег. Могу ли я оперировать этими суммами и вышеупомянутой фамилией, если мой план удастся и я смогу выйти на тех людей, которые нас интересуют? Если «да» – сообщите условной открыткой по известному Вам адресу. Телефоном моего друга пользоваться нельзя – по понятным Вам причинам.

Я согласен с Вами, что с Риктером беседу проводить еще рано. Убеждены ли Вы в том, что он напишет Вам те данные, которыми можно оперировать в сенате, конгрессе и в нашей прессе? Без этого нас обвинят в диффамации, – в этом смысле моя страна совершенно особая, требуются неопровержимые доказательства вины... Впрочем, я сразу вспомнил несчастного Брехта, и мне стало не только горько, но и смешно. Тем не менее учтите это соображение. Форма уликового документа должна быть абсолютной.

Я начал наводить справки о Вилле Хенераль Бельграно. Вся информация, которую можно получить, будет нами собрана и отправлена Вам.

Что касается «пустого гроба» Мюллера, то эту новость я передам в Лондон, Майклу Сэмэлу, не сейчас, а в тот момент, когда вся наша партия вступит в завершающую стадию. Коронный удар надо наносить в самом конце схватки. Сейчас еще рано. Можно спугнуть цепь.

Со своей стороны, я начал изучение материалов по делу о похищении сына летчика Чарльза Линдберга. Если появится что-либо заслуживающее внимания, вышлю. В литературе нашей страны существует довольно много версий, однако я пока не вижу, как Мюллер мог быть втянутым в это дело. Не заблуждаетесь ли Вы? Повторяю: уликовый материал, особенно в таком деле, как трагедия Линдберга, должен быть абсолютным и совершенно беспристрастным.

Если удастся доказать его причастность к трагедии Линдберга, вопрос о его возможных контактах с макайрами станет совершенно невозможным, Америка чтит своих героев...

Со своей стороны, меня интересует: не попадались ли Вам в свое время какие-либо материалы о синдикате, прежде всего во время вторжения американо-английских войск в Сицилию, и особенно о нынешнем губернаторе Нью-Йорка О'Дуайере? Может быть, такого рода материалы проходили через ту службу, в которой Вы занимали столь видный пост три года назад?

Я поручил моему посланцу в Европе изучить дело о последних днях Муссолини. Мне кажется, что как раз тут можно проследить

определенную связь с Мюллером. Однако это подлежит самой тщательной проверке, запасемся терпением.

Вы совершенно неправы, когда думаете, что первый нокаут выбил меня из колеи.

Я, как и Вы, убежден в необходимости продолжения борьбы против нации. В этом наш солдатский долг. Будущие поколения проклянут нас, если мы, американцы и русские, не вырвем с корнем ядовитое жало Гитлера и его последышей.

Ждите моих сообщений.

Формы связи – в случае непредвиденных изменений ситуации у Вас или у меня – остаются теми же, что мы обговорили при расставании.

Жду Ваших писем.

Каждая информация, поступающая от Вас, изучается мною самым тщательным образом.

Я благодарен Вам за то, что Вы сообщили мне о м-ре Кэйри и его сестре, столь зверски убитой бандой гангстеров. Я начал заниматься этим делом, но пока еще не знаю, пригодится ли мне м-р Кэйри в будущем. До меня дошли сведения, что он отдал себя школе, где преподает в младших классах, и церкви. Такого рода люди, как правило, зовут к всепрощению, что – в нашем общем деле – исключено».

СЕНАТОР ОССОРИО, КЛАУДИА
(Буэнос-Айрес, сорок седьмой)

Оссорио проснулся рано, когда солнце еще только-только угадывалось в зыбком, сером, зимнем, августовском небе; пять минут он позволял себе понежиться в кровати; с тех пор, как Елена уехала с внуками в провинцию, жил совершенно один; конечно, детям там значительно лучше, ферма хоть и крошечная, три комнаты, зато очень большая веранда, неподалеку прекрасный пруд, минеральная вода – профилактика от рахита, парное молоко, три пони, не говоря уже о табуне, брат разводит лучших коней, счастливчик, всегда брезговал политикой: «От нее пахнет, купля-продажа, фу!» Раньше Елена делала ему получасовой массаж спины, это было настоящее блаженство; перед отъездом она договорилась с сеньорой Грольски, квалифицированной сестрой милосердия (переселилась в Байрес в сорок четвертом, до этого жила в Кёнигсберге); та, действительно, прекрасно разминала соли, но уже после второго массажа сказала, что ей очень жарко; не будет ли сенатор возражать, если она станет массировать его в купальничке («Нет, нет, увольте, я не из этой команды, сеньора Грольски»); больше вызывать ее не стал (он только один раз изменил Елене, и память об этой шальной ночи была столь мерзостна и унизительна, что всякая мысль о другой женщине была ему отвратительна).

Первые месяцы после того, как Оссорио прибавил к своему титулу, ставшему за двадцать лет привычным, короткое «экс», он страдал не от ущемленного чувства самолюбия (хотя и это было, что греха таить), но от того, что сломался привычный уклад жизни. Раньше

ше неделя была расписана по минутам; секретарь Педро Валеро следил за расписанием, как хороший тренер за боксером; в десять он обычно начинал свой день; до сенатских заседаний просматривал корреспонденцию, встречался не только с избирателями, но и с представителями министерств, банков, с юристами, защищавшими интересы профсоюзов и иностранных компаний; в два часа уезжал обедать, отдыхал до четырех, потом возвращался и диктовал письма, работал со стенографистом сеньором Барановичем, готовил тексты выступлений, делал заметки для предстоящих встреч с людьми из правительства, с ними надобно держать ухо востро, каждое слово обязано быть взвешенным, как-никак люди с двумя образованиями — юриспруденция и экономика, чтобы руководить страной, надо понимать толк и в законе, и в бизнесе. С девяти часов начиналось время приемов; заезжал за Еленой, быстро принимал душ, переодевался в ненавистный черный костюм и отправлялся в посольства: от американцев, воевавших с немцами, ехал к немцам, воевавшим против американцев; к французам, представлявшим маршала Петена, не ходил демонстративно, слишком любил Францию, матерь республики; считал за правило наносить визиты вежливости трем французским офицерам, представлявшим де Голля и Жиро; горевал, видя, как они враждебны друг к другу; антифашисты, ведут борьбу против бошей, но при этом с трудом переносят друг друга, неужели чувства сильнее логики, как обидно!

Приемы обычно кончались около двенадцати; когда Оссорио начал работать в комиссии по расследованию антиаргентинской деятельности нацистов, он не пропускал ни одного приема в посольстве рейха, даже выкраивал время для просмотра фильмов, присылавшихся в Буэнос-Айрес из Берлина.

Его потрясли ленты, посвященные «гитлерюгенду»; сделал перевод гимна нацистской молодежи — ни одной мысли, крикливая пропаганда: «Наш флаг развевается над миром, один за другим, ровным строем, мы идем в лучезарное будущее, маршируем за нашим Гитлером сквозь ночи и невзгоды, за флагом свободы, мира и хлеба! Флаг ведет нас к счастью, и верность значит больше, чем смерть!» Тем не менее фильм «Гитлерюнге», сделанный Хансом Штайнхофом, был достаточно популярен в Европе, поскольку над сценарием сидел лично Геббельс, выверяя каждую фразу; героем картины был молодой коммунист, из бедной рабочей семьи; постепенно, шаг за шагом этот молодой парень начинает понимать «правду» национал-социализма, посещает подпольные собрания молодых борцов, где трибуны «тысячелетней доктрины» объясняют обманутому поколению, как большевики, славяне, евреи и американские финансисты плетут всемирный заговор, нацеленный на то, чтобы лишить арийцев их великих традиций, рун и баллад, отторгнуть от прошлого, заменив культуру безродными импрессионистами, новоявленными малярами от живописи; авангардистами типа Брехта, Пискатора, Эйслера, Пудовкина, Эйзенштейна, Протазанова, Мейерхольда; авторами чудовищных по своей ублюдочности проектов Корбюзье и Нимейера, глумящимися над самим понятием формы; писателями, заведомо лгущими читателю, такими как Горький, Роллан, Алексей Толстой, Нексе, Арагон,

Драйзер, Жан Ришар Блок, не говоря уже об ублюдке Фейхтвангере, не умеющем и думать-то по-немецки, не то что писать.

То, что главный удар был нацелен на коммунистов, то, что идеология Гитлера была пунктирной, открыло дорогу картине в коммерческом прокате Западной Европы; коммунисты не были окарикатурены, – несчастные немцы, обманутые Коминтерном, они прозреют, рано или поздно осознают свою немецкость, нужно время, это лучший лекарь против коммунизма, оно работает на истинную свободу и настоящую демократию, которую несет человечеству национальный социализм Адольфа Гитлера. Сразу же после этого фильма Геббельс выпустил картину, рассчитанную на европейских финансистов: режиссер Ф. Харлан пригласил на роль немецкого предпринимателя Эмиля Яннингса; умный, умеющий думать в кадре актер сыграл роль настоящего хозяина растущего производства, который в первую очередь думает не о личной наживе – она неотделима от хорошей работы и преданности стране, – но о рывке вперед, о новой системе национального хозяйствования, когда директор, если он истинный патриот рейха, становится фюрером народной экономики, живет чаяниями рабочих, искомый пример классового мира; единство крови выше противостояния мифических «классов», только почва и кровь роднят людей, все остальное – химера. Геббельс обращал внимание только на ударные темы; комедии, которые выпускали частные фирмы, его не занимали; чиновники министерства следили лишь за тем, чтобы в лентах не было американской музыки (джаз есть кривлянье черных недочеловеков), только мощные хоры или же альпийские оркестры – аккордеон, виолончель и скрипка; дозировалось использование славянской музыки, Чайковский, спору нет, грамотный композитор, но он русский, как можно меньше русских мелодий; Кальман недопустим, еврей, очень жаль, конечно, его оперетты милы, но немцы откажутся слушать музыку недочеловека. По заказу министерства пропаганды Харлан сделал свой новый фильм – «Еврей Зюсс»; Гиммлер приказал всем членам СС и работникам полиции дважды посмотреть картину: борьба против наемников большевизма есть альфа и омега идеологии великого фюрера германской нации, отношение к еврею есть выявление твоего отношения к отечеству. Следующим боевиком, который распространялся через немецкие посольства за границей, была лента Густава Усицки с Паулой Вессели в главной роли: удар против славян; трагедия немецкого меньшинства в Польше, глумление «славянских извергов» над арийцами, «тупая жестокость поляков, белорусов и украинцев, ненавидящих носителей вековой цивилизации». После начала войны Геббельс заказал три фильма: первый был скопирован с «Броненосца "Потемкина"», – восстание буров против англичан, война маленького народа против вторжения империалистов, героическое сопротивление «национальных революционеров»; фильм назывался «Ом Крюгер», поставил его тот же самый Штайнхоф, что делал «Гитлерюнге»; главный удар был обращен против британского премьера Чемберлена и «полковника» Черчилля; второй суперфильм с царственными и батальными сценами был о Фридрихе Великом, снял его тот же Харлан; о Бисмарке ленту сделал Либе-

найнер, пригласив на главную роль Пауля Хартмана, игравшего – до захвата власти Гитлером – в пьесах Брехта, Горького, Чапека.

Когда Оссорио смотрел эти ленты, ему становилось страшно: словно бы какая-то слепая, давящая, неодолимая сила медленно, неотвратимо, фатально двигалась на него дорожным катком, который раздавит, сомнет, превратит в плоскую жестянку; зритель лишался права на мысль, ему, словно слепому птенцу, вкладывали в разинутый клюв готовые рецепты поведения, ответы на все вопросы, которые при этом были сведены к минимуму, – чем меньше вопросов, тем лучше, интеллигенция несет историческую ответственность перед немцами, именно она разрешила чужеродным элементам развращать нацию большевизмом и беспочвенностью.

Именно во время этих просмотров сенатор и проникся какой-то звенящей, несколько даже истерической ненавистью к нацистам: как можно было им позволить изнасиловать и развратить такую великую нацию, как немцы?! Потом, впрочем, он возразил себе: немцы виноваты не меньше, чем нацисты, они голосовали за приход Гитлера к власти, хотя знали, что он принесет им, из своей программы Гитлер не делал тайны; да, жизненное пространство будет расширено за счет славян, да, это недочеловеки, их следует отшвырнуть за Урал, там их место, чем их меньше, тем лучше; да, евреи и цыгане будут уничтожены, нации без государства, паразиты человечества, антисемитизм был, есть и будет путеводной звездой национал-социализма; да, Франция будет наказана за Версаль, это историческая справедливость; колонии должны быть возвращены Берлину, Африку придется поделить так, как это было в прошлом веке, Польша – ублюдочное государство, заплата на карте мира, как, впрочем, и Чехословакия, не говоря уж об Австрии и Югославии. Если бы Гитлер обманывал немцев, если бы он, подобно Наполеону, шел к власти, используя лозунги Вольтера, Робеспьера и Марата, а лишь потом объявил себя императором, – одно дело; в Германии тридцатых годов все было иначе, безумец открыто признавался в безумстве, обещал перекроить земной шар так, как ему хотелось, выделял из всех наций лишь одну, немецкую, назвав ее арийской; въедливая зараза национализма была принята немцами; экономическую разруху, инфляцию, всеобщее разочарование в лозунгах партий и парламентских обещаниях Гитлер компенсировал правом сильного; он забыл математику: сложение нескольких сил всегда больше одной, даже присвоившей себе право на исключительность, – так или иначе грядет крах, возмездие будет устрашающим...

Работая в антинацистской комиссии, Оссорио был самым резким из тех, кто был привлечен к исследованию проблемы гитлеровского проникновения в Аргентину; работал по ночам; почувствовав, что у комиссии есть могучие противники, особенно среди ряда предпринимателей, связанных с оборонной промышленностью и, следовательно, с армейской средой, Оссорио привез часть материалов – наиболее убойную – домой, попросил секретаря Валеро сделать копии; спрятал у надежных друзей, люди церкви поддерживали его в противостоянии гитлеризму, поддерживали и масоны; и те и другие знали, как прятать, этого им не занимать.

В день военного переворота, когда танкисты Перона блокировали центр города, в квартиру Оссорио постучались; три майора были вежливы и корректны:

– Сенатор, генеральный штаб берет в свои руки расследование антиаргентинской деятельности. Не были бы вы так любезны передать ваши материалы? Они необходимы для завершения начатой работы.

– Я не храню дома служебных материалов, – ответил Оссорио. – Все, чем я оперирую, находится в сенате. Вы вольны ознакомиться с ними, испросив разрешения председателя...

– Армии нет надобности на разрешение вашего председателя, сеньор Оссорио. Армии известно, что наиболее важные материалы вы храните у себя. Не понуждайте нас переходить рамки допустимого.

– Если у вас есть санкция на обыск, приступайте к работе.

– Сенатор, армия не нуждается в санкциях. Армия исповедует приказ.

– Гитлеровцы тоже исповедуют приказ.

– У нас слишком много своих проблем, сенатор, здесь, в Аргентине, чтобы заниматься немецкой проблематикой. Это дело немцев, согласитесь. Патриотом мы считаем того, кто прежде всего болеет сердцем за свою родину.

– Я вынужден ответить вам словами Льва Толстого: «Патриотизм – последнее убежище негодяев».

– Не надо вырывать фразу из контекста. Дело сеньора Толстого писать о России, он русский. В Аргентине живут аргентинцы. У них свое отношение к святому понятию патриотизма, мы будем пресекать толстовские толкования святого чувства народа. Итак, вы отказываетесь отдать ваши материалы?

– Повторяю, все материалы находятся в сенате.

– Вам придется последовать с нами в генеральный штаб, сенатор, очень сожалеем.

...Три дня он провел в казармах; в доме все перерыли; парашютисты прилетели и на ферму; после освобождения поставили наблюдение: агенты военной контрразведки т о п а л и за ним, не таясь; все телефонные разговоры прослушивались; прислуга, девушка из Патагонии Хосефа, пришла в слезах: «Меня принуждают писать каждый день отчеты о тех людях, которые к вам приходят, и что говорят за столом, когда я подаю кофе. Лучше увольте меня, сеньор! Я ведь так верна вашей семье!» – «Пиши им правду, Хосефа, – посоветовала Елена, – нам нечего таить от властей». Оссорио возразил: «Тогда из девушки сделают профессионального осведомителя, у нее будет страшная жизнь, я согласен, Хосефа должна уйти». – «Но ведь каждый, кто придет к нам вместо нее, будет о т т у д а», – заметила жена. «Ну и что? Ты совершенно права, нам нечего таить, подождем какое-то время, я не думаю, что хаос будет продолжаться слишком долго». – «Мой родной, раз хаос начался, он надолго! Не обольщайся! К сожалению, только пора законности и спокойствия быстротечна».

Первое время Оссорио взбрасывался с кровати, как и раньше, в семь, – успеть принять душ, сделать гимнастику, просмотреть газеты, с о б р а т ь с я перед началом работы в сенате, непременно посе-

тить своего парикмахера дона Басилио, народный избранник обязан быть красиво причесан и тщательно выбрит; гардеробом занималась Елена, менять костюм надо было три раза в неделю; конечно, испанцы в этом смысле повлияли на нацию, отношение к человеку во многом складывается из того, как он одет и обут, дикость, но не считаться с этим пока что нельзя.

Теперь же он был совершенно свободен, весь день свободен, какое блаженство! Так, однако, ему казалось первые две недели; потом он начал испытывать гнетущее чувство собственной ненужности; он мог выйти из дома в одиннадцать, прогуляться по любимым переулкам, не страшась опоздать куда бы то ни было, а ведь последние десять лет он жил по минутному графику; единственно, что могло вывести его из себя, было опоздание; воистину, точность — вежливость королей, к этому приучает только общественная работа, когда ты весь на виду, любая расхлябанность сразу же заметна; человек, который постоянно срывает встречи, не имеет права брать на себя бремя ответственности.

Не обращая внимания на слежку, он заходил в маленькие кафе или бары, садился к окну, заказывал себе матэ[1] — очень верил в целебную силу этого напитка — и растворялся в людских разговорах; теперь у него был лишь один источник информации — разговоры людей на улицах; около вокзала он вслушивался в то, о чем говорили фермеры, строители, ветеринары; в центре истинных портеньяс[2] — в Ля Боке, на берегу залива, он погружался в заботы художников, исполнителей танго и композиторов, — это был их Монпарнас, самое загадочное место столицы; посещал студенческие кабачки, ездил в рабочие районы, постепенно убеждаясь, что те сводки, с которыми сенаторов знакомила секретная полиция и армейская контрразведка, были тенденциозно сконструированы, далеки от правды и по сути малоталантливы.

Как обидно, сказал он себе, что политик начинает вращаться в гуще народа только после того, как к его титулу прибавляются три буквы — «экс» («бывший»); незнания можно было избежать, если бы раньше шел не по одним лишь верхам; конечно, все решают десять процентов интеллектуалов, определяющих лицо промышленности, армии, полиции, банков, железнодорожных компаний и Академии наук, не говоря, понятно, о людях прессы, те напичканы новостями, но ведь общество подвижно, в нем происходят скрытые процессы, понять которые дано тем, кто не зашорен и хочет получить правду из первых уст, а не расписанную по аккуратным сводкам — две страницы в день, не более того; сенаторы — занятые люди, незачем обременять их избыточной, к тому же чаще всего негативной информацией.

Однажды, когда он вышел из бара «Неаполь» (итальянская семья арендовала в муниципалитете первый этаж старого дома, собрались соседи, покрасили стены белой краской; художник Эусебио Альмейда нарисовал странные картины, — очень любил море и тан-

[1] Особый чай *(исп.)*.

[2] Так называют коренных жителей Буэнос-Айреса.

го; купили на воскресной распродаже три столика и двенадцать стульев, кофеварку помог наладить дон Паскуале, старый мастер, золотые руки), Оссорио окликнули из машины:

– Сенатор!

Номер «паккарда» был столичный, хотя в говоре того, кто к нему обратился, чувствовался иностранный акцент; агент, не отстававший от Оссорио ни на шаг, махнул кому-то рукой, через мгновение из-за поворота выскочила вторая машина, сразу видно, военная.

– Слушаю вас, – ответил Оссорио человеку, который окликнул его.

– Я бы с радостью подвез вас в центр. Я англичанин, работаю здесь семь лет, железные дороги и мосты...

– Я не один, – Оссорио улыбнулся. – Меня сопровождают, – он кивнул на мужчину, который сразу же отвернулся к витрине. – Если вы пригласите и мою тень, тогда я воспользуюсь вашей любезностью, в противном случае кое-кто может решить, что я говорил с вами о чем-то таком, что может представлять военную или государственную тайну. Честь имею...

Тем не менее от встречи ему не удалось уклониться: соседнюю квартиру арендовала семья представителя бразильской фирмы по разработке и продаже минералов (лазурь, аметисты, топазы, изумруды); возглавлял дело Честер Оуэн; балкон был общий, громадный, пятнадцать метров, настоящий зимний сад.

Здесь-то к Оссорио и обратился невзрачный мужчина в мятом сером костюме, но очень дорогой сорочке настоящего китайского шелка:

– Я американец, сеньор Оссорио. Мое имя нет смысла называть, – он говорил очень тихо, мешая себе сигаретой, которую не выпускал изо рта. – Кроме неприятностей оно никому ничего не принесет, в первую очередь вам. С тех пор, как наши войска высадились в Нормандии, нас особенно интересует все о нацистах в Латинской Америке... Мы допускаем, что в последние месяцы битвы удары против наших транспортных судов могут значительно увеличиться, подводные лодки нацистов – смертники Гитлера, некие камикадзе, но без поддержки здешних немцев они ни на что не способны. Нам было бы легче спасти тысячи жизней американцев, да и немцев, кстати, если бы вы помогли нам с теми материалами, которыми обладаете...

– Вы обратились не по адресу, – ответил Оссорио. – Я бывший сенатор, с вашего позволения. Я не вправе распоряжаться теми материалами, которые были в моем распоряжении раньше...

– Через несколько месяцев они будут интересовать только историков, – ответил американец. – Мы все равно победим. Да, ценою больших жертв, да, ценою жизней молодых парней, сражающихся за демократию, то есть за то, что и вы цените превыше всего, сеньор Оссорио...

– Став членом сената, джентльмен, я дал присягу на верность этой стране. Я останусь ей верен, кто бы ни правил Аргентиной в настоящее время... Лидеры – преходящи, народ – вечен.

– Красиво сказано, – согласился американец. – Не смею наста-

ивать, сенатор... Что же касается преходящих лидеров... Что ж, мы уважаем мнение собеседника, право на личную точку зрения есть основа основ демократии. Простите, что потревожил вас... Просить о встрече по телефону – значило бы нанести вам ущерб, только поэтому я пошел на этот балконный разговор, поймите меня верно... Всего вам лучшего...

...После того, как Перон объявил войну Японии (Германии не стал), – за несколько дней до того, как русские захватили рейхстаг, – Оссорио впервые подумал, что он тогда, на балконе, проявил человеческое малодушие; впрочем, поправил он себя, оно неотделимо от гражданского; помоги я американцам, мне бы не было так совестно думать, что я – пусть и косвенно – виноват в десятках жертв; тот американец прав, материалы только тогда важны, когда они могут спасти людей; я смалодушничал...

Второй раз он подумал об этом, когда узнал, что люди Перона дали политическое убежище десяткам тысяч нацистов, особенно военным и деятелям науки, создававшим военную промышленность Гитлера.

Однако сделать он уже ничего не мог: Перон победил на выборах, стал президентом и не считал долгом скрывать свое отношение к тому, что произошло в Европе: «Трагедия немцев касается и нас, будем делать выводы на будущее».

Оссорио тогда понял, что такое пустота, ощущение собственной ненужности; запершись дома, он начал писать исследования, посвященные истории наиболее интересных районов Буэнос-Айреса, потом увлекся музыкальной религией народа, танго; из дома выходил редко, только на дневную прогулку перед обедом.

Во время одной из таких прогулок к нему подошел человек рабочего кроя, сказал, что он представляет немецких антифашистов, ему известно, что господин Оссорио обладает материалом, бесценным для Нюрнбергского трибунала; поначалу сенатор дрогнул, – он внимательно следил за тем, что происходило в поверженном рейхе; однако немец, почувствовав, видимо, что сенатор готов к разговору, нажал; в том, как он говорил, в том, что он ни разу не оглянулся, хотя любой антифашист обязан был понимать особое положение, в котором очутился Оссорио, было что-то слепое, устремленное, жестокое.

Оссорио проверился: слежки не было; это убедило его в том, что немец не прост, возможна игра.

– Все документы в сенате, – ответил он трафаретной фразой, – ничем не могу быть вам полезен, очень сожалею.

После этого он старался не выходить из дома, почувствовав кожей сгущавшуюся опасность: но почему они стали жать на меня именно сейчас, через полтора года после окончания войны?

Елена сказала ему: «Милый, твоя раздражительность совершенно понятна, это следствие слома того ритма, к которому ты привык за многие годы. Ты живешь на нервах! Давай посоветуемся с надежным человеком, может быть, стоит попринимать какие-то успокоительные пилюли». – «Родная, страх не лечат». – «Нам нечего бояться!» – «Я боюсь за тебя и внуков. Постоянно, Елена. Каждую секун-

ду». – «Ну, это ты сам себя изводишь. Боятся только те люди, которые чувствуют за собою хоть какую-то вину».

Доктора звали дон Антонио Ларигес; седоголовый старик с длиннющими пальцами, которые жили своей особой жизнью, словно бы отдельно от него самого; когда он выстукивал Оссорио, его прозрачная кисть казалась гипсовым слепком десницы великого музыканта или ваятеля.

– Скажите, сенатор, вам бы не хотелось уехать в Европу? На год, полтора? – спросил дон Антонио, кончив осмотр пациента. – Сердце у вас хорошее, немного частит, но это вполне поправимо... Печенка в пределах нормы, легкие чистые, почки тоже совершенно нормальны... Переутомление, болезнь середины двадцатого века... Это еще только начало, дальше такого рода болезнь приведет к взрыву сердечно-сосудистых заболеваний и раку, поверьте моему чутью... Уезжайте в Париж, этот вечный город вернет вам спокойствие...

Оссорио улыбнулся:

– Доктор, поскольку я традиционно исповедую идею и норму жизни христианской демократии, моя совесть не позволяла мне брать взятки. Мне не на что ехать в Париж. Я не коррумпирован, доктор. Я жил тем заработком, который получал в сенате.

– Хорошо, тогда, в конце концов, можно уехать в деревню. Сеньора говорила, что у вас есть маленькая ферма на юге...

– Ощущение оторванности от жизни будет там еще более гнетущим...

– Ну, хорошо, – дон Антонио вздохнул, – вы относитесь к породе самолеченцев, вы знаете свой организм, относитесь к нему как к некоему механизму... В чем вы сами видите выход из нынешнего депрессивного состояния?

– В торжестве справедливости, – ответил Оссорио. – А поскольку я понимаю, что сие от меня зависит в весьма незначительной степени, я пребываю в состоянии известной растерянности...

...Доктор Гуриетес, возглавлявший маленькую амбулаторию для сотрудников аргентинского филиала ИТТ, был знаком с Оссорио шапочно: за два месяца перед переворотом он вместе с директором филиала Арнолдом был у сенатора на приеме. – американцы добивались права организовать медицинское обслуживание работников фирмы по нормам и законам Соединенных Штатов.

«Мы не можем разрешить вам дразнить аргентинцев, – ответил тогда Оссорио. – Я считаю, что ваша медицина шагнула далеко вперед, обогнав все страны мира; если вы намерены поделиться с нами своим опытом в лечении тех болезней, которые являются бичом для наших людей, тогда мне будет легче поддерживать вас. Если же вы намерены создать государство в государстве, мы на это не пойдем, опасная вещь». – «Может быть, наоборот, – возразил генеральный директор Арнолд, – государство в государстве есть некий стимулятор мыслей и поступков?» – «Если бы не было оккупации вашими войсками Никарагуа, если бы вы не поддерживали Трухильо, если бы ваши канонерки не высаживались на Кубе, если бы вы не поддерживали монстров в Мексике, тогда было бы легче, сеньор

Арнолд. Наш континент – от границ Техаса и до Огненной Земли – говорит на одном языке, нельзя не учитывать настроения людей».

Доктор Гуриетес, увидав Оссорио на улице, поинтересовался, отчего сенатор так бледен, затащил в кафе выпить чашку экспрессо, чуть не насильно взял руку сенатора, долго слушал пульс, потом спросил:

– Вам известно, что в каждой китайской аптеке сидит доктор? Когда приходит человек, жалующийся на боль под лопаткой, тяжесть в затылке или ломоту в пояснице, лекарь слушает его пульс в течение двух-трех минут и по пульсу, только по пульсу, ставит диагноз! Причем, как правило, безошибочный! Я-то вообще считаю, что глаза пациента и его пульс могут сказать врачу – если только он не полнейший коновал – куда больше, чем данные анализов. При нашем испанском врожденном борделе сестры милосердия могут перепутать пробирки, не там поставить запятую или вообще написать ту цифру, которая им более всего нравится, ведь у каждого человека есть своя любимая цифра, я, например, поклонник шестерки... Вы мне не нравитесь, сенатор. Вы же никогда не пили и не курили, вели вполне размеренный образ жизни... А после того, что началось, когда к власти пришел Перон с его лозунгами, столь близкими доктрине генералиссимуса Франко, каждый интеллигент потерял почву под ногами: очень трудно жить в условиях, когда одураченный народ славит того, кто его дурачит, ощущая при этом свое полнейшее бессилие хоть как-то изменить ситуацию.

Этот человек прочитал мои мысли, подумал тогда Оссорио, вот что значит настоящий врач; прежде всего психолог, остальное приложится; в документах, фиксирующих смерть, никогда не употребляли того слова, которое могло определять летальный исход, – «тоска»; сколько миллиардов погибли именно от этого неизлечимого заболевания! Тоска и алкоголизм – болезни социальные, их можно излечить изменением общественного климата, все остальное – вздор и чушь, припарки из настоя полыни, которые предлагают словно панацею тому, кто умирает от пулевого ранения в живот...

– Ну, а что вы мне можете посоветовать, сеньор Гуриетес?

– Не знаю, – ответил тот с обезоруживающей искренностью. – Просто не знаю. Вы человек азартный?

– В работе – да.

– Ну, азартность и проявляется именно в работе. Если больной жрет, как лошадь, или пьет, словно у него не внутренности, а бездонная бочка, это не азарт, а скотство. Охоту любите?

– Ненавижу.

Гуриетес удивился:

– Отчего?

– Не знаю... В этом какое-то неравенство...

– Езжайте в Игуасу, пойдите в джунгли и попробуйте добыть ягуара, тогда вы поймете, что такое неравенство... Вы повторяете хрестоматийные истины, сенатор... Рыбалка?

– Это слишком тихо... И не видно борения...

– Хороший тунец показал бы вам, что такое борение... Я в прошлом году путешествовал в Чили, Пуэрто-Монт, меня вывезли на

рыбалку, поразительное впечатление... Слушайте, у меня есть идея... Отправляйтесь-ка в горы, встаньте на лыжи, те минуты, которые вы потратите на то, чтобы покорить крутяк, поставят вас лицом к лицу с риском, вы хозяин ситуации, захотели – спустились, испугались – нашли другой склон... Могу устроить поездку, не очень дорого, вернетесь совершенно успокоившимся... По-моему, это единственное средство обрести бодрость духа. Берите ручку, записывайте... Барилоче...

...Звонок в дверь, особенно в утренние часы, когда Оссорио выключал телефон и садился за пишущую машинку, показался ему странным.

Он накинул халат, подошел к двери, посмотрел в глазок: незнакомая зеленоглазая женщина стояла на площадке, то и дело бросая взгляды в пролет лестничной клетки.

– Кто здесь? – спросил Оссорио.

– Пожалуйста, откройте, сенатор, я прилетела из Барилоче, мне необходимо сказать вам несколько слов...

...В жизни каждого человека бывают такие минуты, когда происходит некий внутренний взрыв; поскольку самое понятие взрыва есть следствие соединения двух веществ, таящих в себе несовместимость, нарушение баланса, то и поступок, определяющий новое качество личности, проистекает из мгновенного столкновения веры и подозрительности, добра и вражды, озарения и лености, любви и страха.

Оссорио смотрел на лицо женщины; очень красиво; чувствуется породистость и при этом какая-то бесшабашность – и в том, как волосы, не уложенные у парикмахера, закрывают часть лба, и в отсутствии косметики, и в том, что губам не была придана обязательная форма бантика; причем мажут отчего-то самой яркой краской, по-моему, это разрушает само понятие женственности, но никто так не прилежен моде, то есть защитительной стадности, как женщины.

Ну, хорошо, сказал он себе, я и на этот раз проявлю ту выдержку, которая дорого стоит, это только окружающим кажется, что я флегма; я и на этот раз откажусь говорить с женщиной, прилетевшей из Барилоче, этого немецкого поселения Аргентины; во имя чего же я тогда храню то, что связано с нацизмом? Для будущих диссертаций? А заинтересует ли историков, которые, может, только сейчас родились на свет, история нацистов в моей стране? Может быть, их воспитают – по рецептам наци – в удобном для любой тоталитарной власти качестве следования раз и навсегда утвержденным концепциям, разработанным теми, кто смог взобраться на вершину государственной пирамиды; может быть, я просто-напросто боюсь за собственное благополучие, а еще точнее – жизнь? Но ведь я придумал ее себе! То, что сейчас происходит со мною, есть некая калька жизни, на самом-то деле я убиваю себя, то есть ту индивидуальность, которая определяет субстанцию Эухенио-Сесара Оссорио...

Он снял цепочку с двери, открыл замок и предложил женщине войти; та покачала головой, поманила его пальцем и полезла в су-

мочку; никогда не предполагал, успел подумать он, что смерть приходит так неожиданно, к тому же в облике женщины с зелеными глазами и без косметики.

Какой-то миг Оссорио хотел резко захлопнуть дверь и упасть на пол; пусть стреляет, я отползу в сторону, да и потом дверь достаточно толстая, не так-то ее легко прострелить; однако, представив себя падающим, в халате и шлепанцах, не бритым еще, он не смог переступить в себе потомка испанских конкистадоров: достоинство, прежде всего сохранить достоинство, особенно в последние мгновения жизни.

Женщина достала из сумочки два тонких листка бумаги, шепнув:

– Это вам. Просмотрите. Если заинтересует, тогда я смогу рассчитывать на разговор с вами...

– Почему вы не хотите войти ко мне, сеньора? – спросил Оссорио, испытывая облегченное чувство умиротворенной радости.

– Потому что мой друг сказал: у вас не чисто.

Оссорио пожал плечами, еще раз посмотрел на женщину; быстро пробежал текст: «В Мар дель Плато живет штурмбанфюрер СС Визер, повинен в убийстве семисот белорусских женщин и детей; в Парагвае скрывается штурмбанфюрер СС фон Рикс – на его совести четыреста французов; в Египте под именем Али Бена Кадера скрывается штандартенфюрер СС Бауманн, разыскиваемый Нюрнбергским трибуналом как руководитель эйнзацгрупп по уничтожению поляков и евреев; доктор Вильхельм Байснер живет там же: работник СД Бернхард Бендер скрывается под псевдонимом Бена Салема в Каире, во время войны был штурмбанфюрером СС, возглавлял отдел по борьбе с евреями в гестапо Варшавы; доктор Бубль скрывается в Мадриде под псевдонимом Амана Хуссейна Сулеймана, офицер гестапо из секции по борьбе с евреями; доктор Вальтер Кучман, виновен в расстрелах поляков, русских, белорусов и евреев, проживает ныне в районе Мирамор под фамилией Педро Рикардо Ольмо; штандартенфюрер СС Франц Адомайт, сотрудник военного преступника Эйхмана, проживает в Мадриде под псевдонимом Паоло Саарейба, сотрудничает с фирмой ИТТ; доктор Эрих Альтен, руководитель гестапо в Галиции, находится в Лиссабоне, имеет паспорт подданного Египта на имя Али Бела; ближайший сотрудник Геббельса доктор Ханс Апплер проживает в Малаге, имеет два паспорта – на имя Салеха Шаффара и Эмилио Гарсиа; в Кордове открыто живут под своими фамилиями полковник Рудель и штандартенфюрер СС профессор доктор Танк...»

Клаудиа заметила, как глаза сенатора перестали инспектирующе, словно бы подчеркивая строки, вылущивать из бумаги фамилии; испугавшись, что он вернет ей текст и молча уйдет в квартиру, она сказала:

– Это десятитысячная часть тех материалов, которые находятся в распоряжении моего друга, который направил меня к вам. И еще он просил передать, что человек, который предлагал вам – или в ближайшее время предложит – отдохнуть на горных курортах Барилоче, на тех склонах, где разворачивается бизнес американца Кро-

мера и его компаньона, на самом деле охотится за вашими материалами, он – звено в провокации...

– Войдите, пожалуйста, сеньора, я готов продолжить разговор, но не здесь...

– В вашей квартире нельзя разговаривать, – повторила Клаудиа, – мой друг рекомендовал говорить на лестнице, в подъезде, в автобусе...

– Хорошо, я переоденусь, с вашего позволения, – Оссорио улыбнулся. – А вы молча посидите в гостиной.

– Лучше уж я доскажу здесь то, что меня просили передать вам. Если вы решитесь включиться в борьбу против нацистов, которые развертывают свою активность в Аргентине, мой друг позвонит вам и представится именем Массимо... И еще: он очень ждет хоть каких-то фамилий тех немцев, которые начали переселяться в Барилоче накануне военного переворота Перона... И окружение нациста Зандштете и доктора Фрейде также интересует моего друга... Он сказал, что эти люди сохранили в своих руках все нити национал-социалистской подпольной организации...

– Проходите же, – повторил Оссорио, – я мигом.

Он усадил женщину возле радиоприемника, шла веселая утренняя передача, предложил посмотреть последние иллюстрированные журналы и отправился в ванную комнату. Остановившись возле зеркала, он посмотрел на свое изображение и сразу же увидел рядом с собою доброго доктора Гуриетеса из ИТТ, который столь вдохновенно описывал красоты сказочного горного курорта, куда добрались безумные «гринго», намереваясь превратить этот уголок Аргентины в филиал Скво-вэлли; видимо, Перон им этого не позволит, как-никак традиционное австрийское местечко, закрытая зона: «Но если вы хотите по-настоящему отдохнуть, отправляйтесь туда, спросите фирму Краймера и отключитесь от изводящего душу безумия столичной жизни, только там вы сможете прийти в себя, никто не достанет...»

РОУМЭН (Голливуд, сорок седьмой)

Каждое утро теперь Роумэн начинал с гимнастики.

Рабинович сам показывал ему упражнения; занимались они во дворике, никто не подслушает; Эд передавал последние новости, которые приходили от Джека Эра, тот сообщал и про работу в архивах, и про Кристу, которая – в случае надобности – будет ждать их на яхте в открытом море, именно там, где будет заранее оговорена встреча.

В тот день, однако, Рабинович был хмур, дал Полу взбучку за то, что тот плохо прогибается: «У тебя в загривке большие отложения солей, надо разгонять, иначе действительно свалишься, все сосуды проходят там»; потом объяснил, что вчера приезжали два типа из Вашингтона: «Мы бывшие коллеги мистера Роумэна, разрешите посмотреть историю его болезни, возможно, удастся поставить вопрос о пенсии, человек честно воевал, нельзя забывать героев».

– Ну и как? – поинтересовался Роумэн, делая утомительные

приседания с обязательным выбросом рук в стороны. – Удовлетворились?

– Разговором со мною – да... Но потом они пошли по сестрам и санитаркам, в открытую, нагло. Увидав это, я прогнал их.

– Не бери в голову, Эд. У тебя работает какой-то человек, который дает обо мне ежедневную информацию. Черт с ними... Я веду себя верно.

– Я не хотел тебе говорить... Словом, их приезд совпал с новым слушанием Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности...

– Принес?

– Довольно подробный отчет... Лично я ощущаю себя обгаженным...

Роумэн, однако, гимнастику не прервал, закончил, лишь когда взмок; поднялся в палату, принял контрастный душ – сначала горячий, потом ледяной, прекрасный массаж сосудов, – и лишь потом углубился в чтение материалов комиссии.

В нижнем левом углу полосы давалось сообщение, набранное петитом, о том, что Чарльз Чаплин предложил Пабло Пикассо организовать комитет в защиту Ханса Эйслера; комитет был организован в Париже; американскому послу во Франции вручили протест против травли комиссией великого композитора, подписанный Матиссом, Пикассо, Кокто, Арагоном, Элюаром. В свою очередь, Альберт Эйнштейн и Томас Манн обратились к генеральному прокурору Тому Кларку с требованием прекратить издевательства над Эйслером.

Две полосы были отданы допросу, проведенному комиссией в Голливуде, куда были вызваны – в качестве свидетелей, подтверждающих коммунистический заговор в киноиндустрии Штатов, – писательница Анн Рэнд, актеры Гари Купер, Адольф Менжу и Роберт Тейлор, самые известные в Америке.

«Следователь Стриплинг. – Пожалуйста, миссис Рэнд, как бывшая советская подданная, объясните комиссии, что вы понимаете под термином «коммунистическая пропаганда».

Рэнд. – Коммунистической пропагандой я считаю все то, что изображает жизнь в России как вполне нормальную, даже хорошую. Возьмите, к примеру, фильм, снятый в Голливуде, «Песнь о России». Он посвящен дружбе наших стран в борьбе против Германии. Роберт Тейлор играл роль американского дирижера, приехавшего в Россию. Он встречает девушку из русской деревни. Она умоляет его, великого дирижера, приехать к ним в деревню. Агенты ГПУ не мешают ей сделать это. Доверчивый американец влюбляется в хорошенькую крестьянку. Он показывает ей Москву. Зритель видит высокие дома и чистые улицы, – но таких нет в Москве! Потом вы посещаете московский ресторан, – но ведь их нет в городе! Там есть только один буфет для партийных бюрократов и приезжающих иностранцев, куда впускают по разрешению НКВД! Но русская девушка, которая по советским законам не имеет права въехать в Москву без специального разрешения, оказывается с американским дирижером в ресторане! Он протягивает ей меню... Но в России нет таких меню! Разве что были до революции! А из ресторана они отправля-

ются на прогулку, ездят в роскошных вагонах метрополитена, а потом заглядывают в парк, где бегают чистенькие, улыбающиеся дети! Это совсем не те бездомные оборвыши, каких я видела в России двадцать лет назад, это какие-то херувимчики! Затем дирижер отправляется с любимой в ее деревню, и нам ни слова не говорят о тех миллионах мужиков, которых по решению правительства погубили голодной смертью, чтобы остальных заставить войти в колхозы!

Стриплинг. – А священники были показаны в фильме «Песнь о России»?

Рэнд. – Конечно! Я собиралась сказать об этом! Священник венчает дирижера с его русской пассией! Но ведь каждому известно, что в России запрещены свадебные обряды в церкви! Зачем нужна эта ложь, вводящая в заблуждение американского зрителя?! А после свадьбы колхозники слушают его концерт по радио. Еще одна ложь! В России не больше ста человек владеют собственным радио! И вот начинается война, Гитлер напал на бедненькую, не ожидавшую войну державу Сталина, который был союзником нацистов! Дирижер хочет увезти русскую жену в Америку, но она отказывается: «Я должна сражаться с врагом». И это не есть коммунистическая пропаганда?! А кончается киноидиллия тем, что русские уговаривают жену дирижера поехать в Штаты, чтобы рассказать там о борьбе русских против немцев... Я верю хозяину фирмы «Метро-Голдвин-Майер» мистеру Майеру, что он не думал о коммунистической пропаганде, делая этот фильм. Однако показ нормальных, смеющихся и симпатичных людей в стране террора и рабства – это коммунистическая пропаганда, вне зависимости от благих намерений мистера Майера.

Сенатор Вуд. – Но ведь фильм был сделан в годы войны, когда русские противостояли нацистам.

Рэнд. – Это не имеет никакого отношения к вопросу о коммунистической пропаганде.

Вуд. – Вопрос в этом фильме шел о поддержке русских, которые воевали...

Рэнд. – А мы помогали им ленд-лизом. Но не надо при этом врать американцам, что в России есть счастливые люди! Пусть бы сказали правду: «На какое-то время мы кооперируемся с диктатурой Сталина, чтобы разрушить диктатуру Гитлера». Это было бы честно! А еще надо было послушать, что бы на это ответили американцы. Согласились бы они с таким предложением или отвергли б его...

Вуд. – Можно ли вас понимать в том смысле, что мы не должны были поддерживать русских в их борьбе против Гитлера?

Рэнд. – Мы обсуждаем не этот вопрос. Мы обсуждаем другое: что нужно говорить о России – правду или ложь? Я считаю, надо было постоянно повторять слова Черчилля: «Мы идем на блок с дьяволом, чтобы одолеть другого дьявола».

Вуд. – Вы полагаете, что лучше было бы позволить России потерпеть поражение в войне?

Рэнд. – Я против того, чтобы мораль базировалась на лжи.

Сенатор Макдовэлл. – Вы нарисовали довольно мрачную картину русской действительности... Скажите, в России действительно нельзя встретить на улице смеющихся людей?

Рэнд. — Очень мало. Они улыбаются только при закрытых шторах. Они просто-напросто не могут смеяться в условиях той системы, в которой живут.

Макдовэлл. — Правильно ли я вас понял, что все их разговоры сводятся к вопросу о пище?

Рэнд. — Да, там говорят только о еде и ни о чем другом.

Макдовэлл. — Ну, хорошо, а они могут делать хоть что-то такое, что делаем мы, американцы? Например, посетить тещу? Или приятеля? Да просто перейти улицу, в конце концов?!»

Роумэн сломался от смеха; надо запомнить этого сенатора; выходец из Шотландии, видимо, крутой парень; зачем мракобесы выставили эту свидетельницу? Девочка для битья? Или что-то случилось в комиссии?

«Рэнд. — Человек, живущий в условиях свободы, никогда не поймет людей, оказавшихся в тираническом государстве социалистической диктатуры. Там каждый шпионит друг за другом! И ни от кого нет защиты!»

Странный свидетель, снова подумал Роумэн, а вот с сенатором Макдовэллом надо бы увидеться... Постараться увидеться, поправил он себя, Криста права: во всем необходима сослагательность, только тогда можно ждать исполнения желаний...

«Стриплинг. — Мистер Адольф Менжу, сколько лет вы заняты в киноиндустрии?

Менжу. — Тридцать пять лет я считаю себя актером.

Стриплинг. — Правда ли, что вы занимались изучением коммунистической активности в Соединенных Штатах?

Менжу. — Да, это так. Я изучал марксизм, фабианский социализм, коммунизм и сталинизм.

Стриплинг. — Исходя из этого анализа, замечаете ли вы угрозу киноиндустрии Соединенных Штатов?

Менжу. — Коммунистическая активность суть антиамериканская активность. Это работа, направленная против свободной инициативы и предпринимательства.

Стриплинг. — Вам известны фильмы, использованные для коммунистической пропаганды?

Менжу. — Мне не нравится термин «коммунистическая пропаганда». Коммунисты не так глупы, чтобы бить в лоб... Другое дело, я видел много фильмов, произведенных в Голливуде, которые были направлены против американизма... Вот такие фильмы здесь делали!

Стриплинг. — А какие-нибудь антикоммунистические фильмы вы видели?

Менжу. — Нет, сэр. А я очень хочу посмотреть такие фильмы. Я думаю, что для тех продюсеров, которые ранее делали антифашистские фильмы, настало время переключиться на производство антикоммунистических картин... Думаю, они добьются невероятного успеха с такими лентами...»

Не прошло и двух лет после победы, подумал Роумэн, как нам — в сенатской комиссии — предлагают оставить в покое фашизм и начать атаку против коммунистов. Слишком быстро меняют лошадей, некрасиво, форма провокации, русские не преминут ответить.

«Стриплинг. – Вы знаете мистера Джона Кромвэлла?

Менжу. – Да, сэр.

Стриплинг. – Вам известно, что он коммунист?

Менжу. – Я никогда не видал его членской карточки, сэр.

Стриплинг. – Но он похож на коммуниста?

Менжу. – Да, сэр... Он самолично сказал мне – в своем огромном доме на берегу океана, – что эре капитализма приходит конец и что я буду свидетелем этого. Достаточно странное заявление для человека, зарабатывающего двести сорок тысяч долларов в год и владеющего рядом предприятий в Лос-Анджелесе и Голливуде. Он зарабатывает на капиталистической системе и в то же время заявляет, что ей приходит конец...

Стриплинг. – Мистер Менжу, каковы ваши наблюдения о коммунистической активности в Голливуде? Особенно после тридцать шестого года, когда подрывные элементы стали проявлять себя совершенно открыто?

Менжу. – Я заинтересовался социализмом еще во время первой мировой войны. Тогда я прочитал «Капитал». Это была довольно трудная работа для меня, не скрою... В начале тридцатых годов здесь создались группы, которые говорили правду о восточной тирании мистера Сталина. В ответ на это был создан Независимый комитет искусств, науки и профессий. Ясно, это был коммунистический комитет. Я понял это, когда попал на заседание директоров и они отказались принять антикоммунистическую резолюцию... Это было, мне кажется, в тридцать третьем году... Одним из заправил, кстати, там был сын Рузвельта – Джеймс... Но он вышел из этого комитета накануне президентских выборов... Потом была создана Американская ассоциация за демократические действия, ее возглавляла миссис Элеонора Рузвельт, жена президента... Это тоже была коммунистическая организация, поскольку они не принимали антикоммунистических резолюций...

Стриплинг. – Какой период вы считаете наиболее опасным – с точки зрения коммунистической инфильтрации в Голливуд?

Менжу. – Сразу после Пёрл-Харбора, в декабре сорок первого, когда мы вступили в войну против японцев и Гитлера. Это было как раз то время, когда Сталин и Гитлер были союзниками, заключив договор о ненападении[1]... Именно коммунисты организовали тогда забастовку в Голливуде... А возглавлял ее Герберт Сорелл, явный коммунист, выполнявший приказы Коминтерна...

Стриплинг. – Какой путь борьбы с коммунизмом в Голливуде вам видится наиболее целесообразным, мистер Менжу?

Менжу. – Ну, вообще-то я считаю, что борьба уже начата. То, что здесь работает Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, пробудило людей ото сна и апатии. Все поняли, какая угроза нависла над нашей страной. Показания о коммунистическом шпионаже никого не оставят равнодушными. Даже те актеры, которые раньше были против комиссии, сейчас начали понимать, как важна ее работа. Теперь все поняли, что Коминтерн никогда не был

[1] В декабре 1941 года Красная Армия нанесла первый сокрушительный удар Гитлеру под Москвой начиная с 1939 года, когда была объявлена вторая мировая война.

распущен и что Коминформ, заседающий у Тито в Белграде, есть подпольный штаб мирового коммунизма... Все члены коммунистической партии Америки являются агентами Коминтерна.

Стриплинг. – Считаете ли вы, что члены американской коммунистической партии являются изменниками?

Менжу. – Конечно.

Стриплинг. – Во время работы нашей комиссии поступило несколько предложений запретить коммунистическую партию Соединенных Штатов. Как вы к этому относитесь?

Менжу. – Она должна быть запрещена решением конгресса. Это не политическая партия, а группа подпольщиков, ставящая своей целью свергнуть наше правительство путем вооруженной борьбы и поставить во главе страны правящее политбюро из четырнадцати членов.

Стриплинг. – Мистер Менжу, о нашей комиссии кое-кто пишет, что, мол, мы хотим установить в стране «жесткий контроль», стать законодателями всех тем для книг и фильмов. Так ли это?

Менжу. – Меня самого называют «охотником на коммунистов». Что ж, я этим горжусь! Я действительно охочусь за ними... Мне стыдно, что американское командование выдало красным генералов и офицеров, которые сражались в русских соединениях[1]... К счастью, один из таких генералов сбежал в Буэнос-Айрес. Я считаю, что Соединенные Штаты не должны никого выдавать русским!»

А как же быть с теми русскими, которые воевали в частях Гиммлера, подумал Роумэн. Как быть с теми русскими гестаповцами, кто возглавлял зондеркоманды и расстреливал женщин? Как быть с теми, кто по приказу генерала Власова воевал против наших ребят во Франции?!

«Сенатор Вайл. – Мистер Менжу, в газетах появляются письма видных голливудских актеров, которые публично называют работу нашей комиссии «охотой за ведьмами». Как вы относитесь к такого рода заявлениям?

Менжу. – Это пишут некомпетентные люди. Они не смогут назвать даже четырех имен членов политбюро! Они ничего не читают, они необразованны! Они изменят свою позицию!

Сенатор Никсон. – Можете ли вы назвать человека или людей, которые бы действовали как активные коммунисты?

Менжу. – Конечно. Все те концерты, на которых выступает Поль Робсон со своими коммунистическими песнями, позорят Америку. Сталин мечтает, чтобы наступил крах капитализма, он четыре раза спрашивал Гарольда Стассена, когда наступит новая «черная пятница», он ее ждет, но она не наступит!

Никсон. – Что должен сделать кинопродюсер, если ему станет известно, что сценарист является членом коммунистической партии? Должен ли он уволить его?

Менжу. – Вообще-то среди коммунистов все же есть талантливые писатели... Просто им нельзя позволять писать по-коммунистически... Надо постоянно следить за ними, за каждым их шагом...

[1] Речь идет о власовцах.

Никсон. – Иными словами, голливудской киноиндустрии надо запретить показ хотя бы какой-либо демократии у русских?

Менжу. – Да. И еще я считаю, что мы должны открыто сказать народу про то, как безобразно ведут себя русские с американцами. Я считаю необходимым прищучить русских с визами. Мне говорили, что сейчас в Штатах живут три тысячи красных, а в России всего двести американцев. Так вот, надо вышвырнуть отсюда две тысячи восемьсот русских! И еще... У нас слишком много границ... И весьма мало пограничников... Поэтому коммунисты массами проникают в Америку, особенно через мексиканскую границу. И китайцы тоже лезут сюда. Я считаю, что нам пора вооружиться до зубов. Необходимо военное обучение всей молодежи! Всеобщее военное обучение приведет народ к дисциплине и патриотизму!

(Аплодисменты присутствующих в зале.)»

Роумэн отложил газету, лег, положив под голову высокую подушку, забросил руки за голову; ведь это по-настоящему страшно, подумал он, замени слово «коммунист» на «еврей» или «славянин», и вполне можно было печатать в прессе Германии начала тридцатых годов. Неужели Штирлиц прав? Как это страшно – оказаться страной свободы, обнесенной колючей проволокой...

«Следователь Стриплинг. – Мистер Лоусон, вы писатель и кинодраматург. Являетесь ли вы при этом коммунистом?

Лоусон. – Перед началом допроса я прошу разрешения зачитать заявление.

Председатель. – Дайте мне его. *(Читает.)* Нет, я не разрешу вам читать это заявление! С меня было достаточно прочитать первые две строчки.

Лоусон. – Вы потратили неделю, чтобы публично позорить мое имя в глазах американской общественности, и лишаете права прочесть заявление?!

Председатель. – Мы – комиссия, созданная по закону этой страны! Приступайте к допросу, следователь Стриплинг.

Лоусон. – Я протестую! В этой комнате вы разрешили прочитать заявления директорам кинокомпаний – Майеру, Уорнеру и другим, отчего вы лишаете меня этого же права?

Стриплинг. – Ваше имя?

Лоусон. – Джон Хоуард Лоусон, и я требую дать мне право, гарантированное первой и пятой поправками к Конституции!

Председатель. – Отвечайте на вопросы следователя Стриплинга!

Лоусон. – Я не в тюремной камере, председатель! Я в суде! Здесь проходит суд над вашей комиссией перед лицом американского народа!

Следователь. – Какую должность вы занимали в Гильдии американских сценаристов?

Лоусон. – Этот вопрос является вторжением как в права Гильдии, так и в гражданские права!

Председатель. – Если вы не будете отвечать, мы проведем слушание дела в ваше отсутствие.

Лоусон. — Права вашей комиссии точно такие же, как и мои, гражданина Соединенных Штатов! Вы не можете слушать мое дело, не выслушав мое заявление и мои ответы!

Председатель. — Ведите себя как остальные свидетели!

Лоусон. — Вы не третировали остальных свидетелей, как меня!

Председатель. — Надеюсь, вы знаете, что произошло с теми людьми, которые вели себя подобно вам на наших заседаниях?!

Лоусон. — Я очень рад, что вы признали открыто, как вы третировали свидетелей и обвиняемых на ваших заседаниях! Но я американец! И я не позволю вам третировать меня так легко, как вы это делали с другими, рожденными не в этой стране!

Стриплинг. — Повторяю вопрос: вы занимали какие-то должности в Гильдии американских сценаристов?

Лоусон. — Хотя этот вопрос и незаконен, я отвечу: да, я был первым президентом Гильдии сценаристов и начиная с тридцать третьего года постоянно являюсь членом ее Совета директоров.

Стриплинг. — Назовите ваши фильмы.

Лоусон. — Вы же их прекрасно знаете! Их знает вся Америка.

Стриплинг. — Назовите их.

Лоусон. — Повторяю, они вам прекрасно известны!

Стриплинг. — «Сахара» — ваш фильм?

Лоусон. — Да.

Стриплинг. — «Блокада»?

Лоусон. — Да.

Стриплинг. — Этот фильм посвящен войне в Испании, событиям тридцать седьмого года, не так ли?

Лоусон. — Именно.

Стриплинг. — «Успех любой ценой», «Динамит», «Контратака»?

Лоусон. — И много, много других.

Стриплинг. — Вы работали для «Твэнти сенчури Фокс», «Коламбиа», «Метро-Голдвин-Майер» и «Юнайтед артистс»?

Лоусон. — Да.

Стриплинг. — Являетесь ли вы членом коммунистической партии?

Лоусон. — Этот вопрос является попыткой ввести тоталитаризм и таким образом поставить под контроль государства мою личную жизнь! Такого рода вопрос был отвергнут конституцией Соединенных Штатов, которая не позволяет вторгаться в права гражданина, кем бы он ни был: протестантом, демократом, католиком, иудаистом или республиканцем!

Председатель. — Тише, тише, мистер Лоусон! Спокойнее! Вопрос о вашем членстве в коммунистической партии является для нас самым главным. Вы намерены отвечать?

Лоусон. — Вы используете технологию допроса, принятую в гитлеровской Германии, чтобы нагнести атмосферу истерии и подозрительности.

Председатель. — Мистер Лоусон...

Лоусон. — Вы хотите сделать так, чтобы в стране нарушились

все контакты между гражданами, чтобы здесь царили страх и подозрительность друг к другу!

Стриплинг. – Господин председатель, свидетель не отвечает на вопросы...

Лоусон. – Потому что свидетель хорошо знает закон о гражданских правах, который оберегает достоинство каждого американца от вмешательства в его личные дела! Я требую, чтобы сюда были приглашены ваши свидетели, чтобы я и мои адвокаты могли подвергнуть их перекрестному допросу!

Председатель. – На это потребуется неделя. Являетесь ли вы коммунистом, вот что нас интересует!

Лоусон. – Трагично, что мне приходится учить комиссию конгресса основным принципам американской конституции...

Председатель. – Это не ваше дело! Ваше дело ответить: вы коммунист?!

Лоусон. – Я готов отвечать на все те вопросы, которые являются конституционными и не ущемляют моих гражданских прав!

Председатель. – Встаньте со свидетельского кресла!

Лоусон. – Я всегда писал для Америки, я всегда был патриотом моей страны, я всегда исповедовал американизм, и впредь я буду таким же – то есть я буду бороться за гражданские права, которые вы намерены отнять у нашего народа!

Председатель. – Охрана, уведите его! Следователь Стриплинг, продолжайте дело в отсутствие мистера Лоусона.

(Лоусона удаляют из зала.)

Стриплинг. – Следствие располагает неопровержимыми данными, что Лоусон является членом коммунистической партии Америки. Об этом прежде всего свидетельствуют его портреты, печатавшиеся на первых полосах газеты «Дейли уоркер», а также две его статьи... Я вызвал сюда мистера Луиса Рассела, он даст исчерпывающие показания... Могу ли я допросить его в вашем присутствии?

Председатель. – Да.

Стриплинг. – Вы следователь нашей комиссии, мистер Рассел?

Рассел. – Да.

Стриплинг. – До этого в течение десяти лет вы были агентом ФБР?

Рассел. – Да.

Стриплинг. – Говорите громче! Что вы расследовали, работая в ФБР?

Рассел. – В нашем распоряжении находятся копии учетных карточек... Одна из них, за номером 42275, выписана на имя Джона Лоусона. Подчеркнуто, что он состоит в клубе пишущих для «Дейли уоркер»... Я готов передать вам меморандум на девяти страницах о Лоусоне, данные наблюдения за ним начиная с тридцать четвертого года... Здесь, в частности, есть статьи Лоусона, в которых он открыто защищает агента Коминтерна Эйслера и генерального секретаря коммунистической партии США Юджина Денниса».

Роумэн не выдержал, закурил; черт с ним, подумал он, пускай ищейка Макайра, которую он перекупил здесь, напишет рапорт, что тяжелобольной, с разорванным сердцем, курит; все равно, именно сегодня настало время принять решение; ожидание — великая штука, кто не умеет ждать, тот проигрывает, но еще сокрушительнее проигрывает тот, кто тянет с началом дела; если ожидание, то лишь как предтеча поступка; только так и никак иначе; если же успокаивать себя тем, что, мол, повременю еще чуток, время не созрело, можно пропустить тот именно момент, когда действие угодно всевышнему; перезрелый плод так же плох, как и недозрелый...

Он пролистал полосы, нашел заявление Лоусона, которое ему не позволили огласить, — петит, заметить почти невозможно, — цензурировать можно и не вычеркивая материал: окружи его сенсационными фото, дай сообщение о том, что Роберт Тейлор женится на греческой королеве, а в горах Аляски открыта золотая жила, столбите, пока не поздно, — никто Лоусона читать и не станет.

«...Я никогда не писал сценариев, которые бы не служили идеалам американской демократии. Я никогда не писал того, что мне приказывали диктаторы, амбициозные политиканы или самоконтролирующие гестаповцы. Мое право на свободу выражения чувств и мыслей не есть объект купли-продажи в обмен на записку председателя Комиссии по антиамериканской деятельности: о'кей, может писать — но лишь «впредь до особого указания».

Следствие, начатое против меня, есть следствие против миллионов тех американцев, которые смотрели мои фильмы и писали о них самые лестные слова, ибо мои фильмы исполнены высокого духа американского патриотизма. Если комиссия раздавит меня, она раздавит всех тех американцев, которым дорого мое искусство, живопись Пикассо, музыка Эйслера, драматургия Брехта, поэзия Элюара, фильмы Чаплина...

Страна вошла в пору национального кризиса. Я вижу только один выход из сложившейся ситуации: общенациональная дискуссия по поводу происходящего. Американцы должны узнать факты — с обеих сторон. Заговор против американского народа заключается в том, чтобы скрыть от него факты, историю, истину. Комиссия по антиамериканской деятельности с самого начала приняла решение: заявление Лоусона не имеет права быть прочитано перед лицом прессы всей страны, перед микрофонами радио, потому что оно подлежит предварительной цензуре. А если оно подлежит цензуре, то и вся киноиндустрия, для которой он пишет, также должна цензурироваться. А поскольку продукцию Голливуда смотрит Америка, значит, и народ должен находиться под контролем, а его мысли обязаны быть проштампелеваны цензорами. Чего же боится комиссия? Она боится американского образа жизни, она боится нашей демократии, которая гарантирует каждому свободу выражения мыслей, она хочет навязать нам свои представления о демократии, о контролируемой демократии, она хочет науськать народ на негров и евреев, обвинив их в экономических неурядицах, она хочет науськать на-

род на инакомыслящих, возложив на них, честных и неподкупных граждан, вину за все наши недостатки. Борьба между контролерами мыслей и теми, кто стоит за свободу самовыражения, есть сражение между народом и непатриотичным, трусливым меньшинством, которое боится народа...»

Еще более мелким шрифтом было набрано: «Все, привлекающиеся к допросам в комиссии и отказывающиеся отвечать на вопросы о своей подрывной деятельности и принадлежности к коммунистической партии, обязаны – на основании Указа № 9806 президента США – предстать перед временной президентской комиссией по проверке лояльности государственных служащих; по предварительным подсчетам, два с половиной миллиона чиновников государственного департамента, министерств и ведомств обязаны пройти строжайшую проверку».

Все, понял Роумэн, это начало конца; я обложен; если не я нанесу первый удар, они меня превратят в пыль... Сотрудничество с Геленом не может не наложить отпечатка на нашу жизнь; диффузия демократии и гитлеризма, оказывается, тоже возможна; господи, спаси Америку!

...Днем приехала Элизабет с мальчиками; Роумэн пригласил их на прогулку; когда малыши начали свой обычный визг и беготню по лужайке, а Пол сделал вид, что вот-вот припустит за ними, Элизабет, дождавшись, когда мимо проходила сестра, сокрушенно заметила:

– Милый, пощади же себя! Доктор запрещает тебе резкие движения.

– Я здоров, как бык! Я занимаюсь гимнастикой, – ответил Роумэн, – не делайте из меня инвалида!

Когда сестра скрылась в здании, Элизабет сказала:

– Пол, пришло какое-то странное письмо на «Твэнти сенчури», тебе рекомендуют учиться летать на самолете, подпись «М».

– Это Штирлиц.

– Второе. Получена информация от Джека Эра, он накопал материалы, которые интересовали тебя: о летчике Чарльзе Линдберге, нацистах, особенно шефе гестапо...

– Сделай копию, сестренка, три, четыре копии, две спрячь надежно, одну отдашь мне, а одну сегодня же отправишь в Буэнос-Айрес, до востребования, фамилию, надеюсь, помнишь? Ко мне больше не приезжай. Возможно, Спарку придется слетать в Гавану, если, конечно, в этом возникнет необходимость. Если у меня ничего не получится, пусть хорошенько покупается в Кохимаре и возвращается домой – через две недели...

Той же ночью Роумэн исчез из госпиталя, оставив Рабиновичу записку: «Вы делаете из меня больного, а я здоров. Если я буду по-прежнему ощущать себя инфарктником, сверну с ума. Лучше пожить месяц здоровым, чем тлеть годы. Не сердитесь. Пол».

СТЕНОГРАММА ДОПРОСА БРИГАДЕНФЮРЕРА СС ВАЛЬТЕРА ШЕЛЛЕНБЕРГА (Лондон, сорок седьмой)

Вопрос. – Можете ли вы назвать ваших сотрудников, состоявших в контакте с аргентинскими военными? С теми именно, которые свергли законного президента и распустили сенат, – в дни, когда англо-американские войска высадились в Сицилии, летом сорок третьего?

Шелленберг. – Я не занимался этой проблемой. Я понимал, сколь серьезно может повлиять на исход мировой битвы приход дружественных нам сил... Поэтому я на юге Американского континента делал все, чтобы не начинались новые авантюры... Кардинально изменить исход войны было уже невозможно... Зачем продлевать мучения нации? Летом сорок третьего я полностью отдавал себе отчет в том, что Гитлер проиграл войну...

Вопрос. – Когда вы впервые подумали о возможном крахе рейха?

Шелленберг. – После триумфальной высадки англо-американских войск в Северной Африке... То есть в конце сорок второго года...

Вопрос. – Разгром под Сталинградом оказал на вас меньшее впечатление?

Шелленберг. – Если бы вы не поддерживали красных, они были бы разгромлены.

Вопрос. – Не согласны с мнением сэра Уинстона Черчилля? Он считал, что русские бы и в одиночку уничтожили Гитлера, захватив при этом всю Европу...

Шелленберг. – С мистером Черчиллем вообще-то рискованно спорить, даже если он не премьер, а лидер оппозиции.

(Общий смех.)

Вопрос. – Вам знакомо имя Хосе Росарио?

Шелленберг. – Нет... Не припоминаю.

Вопрос. – Этот человек достаточно долго работал в Берлине... За два месяца до переворота в Буэнос-Айресе он посещал РСХА... Не был ли он связным между аргентинскими военными – Фарреллом, Перoном – и вашей службой?

Шелленберг. – Чем занимался этот... Росарио?

Вопрос. – Разведкой... Под дипломатическим прикрытием... Есть мнение, что именно Хосе Росарио привез вам для консультаций документы «Г.О.У.» – секретной «ложи» военных, готовившей переворот... Помните материалы «Г.О.У.»?

Шелленберг. – Через меня прошло так много документов... Помогите, пожалуйста, прочитайте несколько фрагментов...

Вопрос. – Хорошо, мы зачитаем несколько фрагментов из основополагающего документа «Г.О.У.»: «Постараемся в коротких тезисах резюмировать политическую ситуацию, переведя ее затем в эмпирическую формулу, которая на языке математики означает: это верно, поэтому примите без дополнительных рассуждений. Итак, Аргентина уклоняется от активного участия в вооруженном межкон-

тинентальном конфликте; ее соседи стараются заставить ее отказаться от этой позиции; наиболее мощная из соседних стран[1] оказывает на нас постоянное давление.

Отказ Аргентины от участия в конфликте основывается на ее исторической традиции свободного мышления и уважения своей независимости; соседние страны предвидят чрезвычайный рост аргентинского влияния на континенте, если в войне победят Германия и Япония...» Вспомнили?

Шелленберг. — Мне кажется, с аргентинскими военными поддерживал контакт рейхсляйтер Боле, руководитель загранорганизаций НСДАП...

Вопрос. — Он давал вам какие-либо поручения по Аргентине? Ведь переворот произошел именно в дни, когда сенат страны заканчивал изучение нацистской активности в комиссии по антиаргентинской деятельности... Опубликование выводов комиссии, куда входили такие выдающиеся политические деятели, как сенаторы Соляри, Гамара, Годой, Оссорио, нанесло бы сокрушительный удар по нацистам.

Шелленберг. — Рейхсляйтер Боле что-то говорил о «клеветнической работе комиссии аргентинского сената»... Пожалуйста, прочитайте текст, возможно, я узнаю почерк, каждый политик обладает особым, политическим почерком, если я смогу понять проблему, мне будет легче помочь вам.

Вопрос. — Хорошо. Продолжим: «На Американском континенте имеются страны, которые придерживаются разных позиций в отношении военного конфликта; есть те, которые разорвали отношения со странами Тройственного союза (Германия, Италия и Япония); к ним примыкают страны, которые объявили им войну; в этом конфликте Аргентина занимает позицию посредника. Страны, разорвавшие отношения с Берлином и Токио, сделали это не для сохранения собственного достоинства, а лишь стремясь заслужить «благодарность» США, предполагая при этом, что их пригласят для дележа добычи, если североамериканской плутократии удастся выиграть войну».

Шелленберг. — Это почерк рейхсляйтера Боле! Значит, я прав — контакт с Буэнос-Айресом поддерживала НСДАП... Мы, в разведке, никогда не упоминали расхожее «североамериканская плутократия», это чисто партийный лексикон! Дальше, пожалуйста...

Вопрос. — Продолжим: «В условиях общей неопределенности США натравливают Чили против Перу и Боливии, Перу против Эквадора; подогревается соперничество между Бразилией и Аргентиной, в борьбе за нефть Патагонии сталкивают лбами Аргентину и Чили... Перед лицом таких обстоятельств можно судить о возможной позиции каждой отдельной страны — в случае военного конфликта в Южной Америке:

1. Да, действительно, Чили разорвала отношения со странами оси, оставив в одиночестве Аргентину с ее политикой нейтралитета.

2. Вице-президент США Уоллес прибыл в Южную Америку,

[1] Имеются в виду США.

чтобы добиться объявления войны Берлину всеми остальными южноамериканскими странами; Аргентину он м и н о в а л.

3. Он пытается умиротворить Перу в ее претензиях относительно территорий Эквадора и, в свою очередь, оказывает давление на Эквадор, чтобы тот уступил Перу.

4. Боливия устраивает Уоллесу пышную встречу и, опережая всех остальных, объявляет войну странам оси, объявляя при этом мобилизацию.

5. Чили и Парагвай с подозрительностью наблюдают за услужливостью Боливии.

6. Чили запрашивает Перу об отношении к мобилизации в Боливии; лидеры Перу отвечают, что они не согласны с этой акцией.

7. Мистер Уоллес возвращается в Лиму, чтобы узнать, что решили Чили и Перу; его освистывают.

8. Парагвай вопросительно смотрит на Аргентину; наш президент притворяется, что не понимает намека. Тогда Парагвай обращается к Бразилии, выражая готовность следовать в фарватере ее политики...

Несмотря на объявление войны странам оси, позиция Чили не является недружественной по отношению к Аргентине.

Позиция Парагвая также не является недружественной по отношению к Аргентине. Парагвай знает, что его судьба полностью связана с судьбой Аргентины. Парагвай не забывает, что США больше других притесняют его во время войны против Тройственного союза. Его нынешнее сближение с Бразилией является фикцией. Парагвай может быть легко завоеван и превращен в союзника Аргентины. К сожалению, наша дипломатия этого не понимает, поскольку она не понимает Парагвая. А ведь Парагвай — это клин между государствами атлантического и тихоокеанского побережий.

С Аргентиной или против нее Парагвай будет всегда находиться на фланге или в тылу нашей страны.

Имеется возможность создать ось Чили — Аргентина — Парагвай. Если бы это произошло, гегемония на Южноамериканском континенте снова перешла бы в руки Аргентины. Чили пристально следит за Перу, поскольку знает, что ее интересы находятся в опасных противоречиях с интересами этой страны. Эта опасность объясняет политику сближения Чили с Аргентиной, несмотря на видимый разрыв отношений со странами оси».

Ш е л л е н б е р г. — А это почерк адмирала Канариса! Я совершенно убежден, что переворот консультировал вермахт, разведка армии! Если, конечно, такого рода консультации вообще имели место...

В о п р о с. — Вы легко узнали «политический почерк» рейхсляйтера Боле и адмирала Канариса, хотя мы вам зачитали всего несколько страничек из секретного меморандума аргентинских военных, готовивших переворот — во главе с Фареллом и Пероном — в разгар нашей борьбы с нацизмом. Неужели ваша служба не имела об этом никакой информации?!

Ш е л л е н б е р г. — Я бы просил ознакомить меня со всеми материалами... Какова терминология военных в оценке внутреннего положения Аргентины? Такие документы сохранились?

Вопрос. – Да. Зачитываю: «Блок партий национальных демократов и антиперонистов поддерживается международным банком, иностранными газетами и плутократическими силами, которые действуют в защиту интересов, чуждых интересам страны.

Демократический союз Аргентины до конца еще не выработал собственную платформу. Но мы считаем, что уже сейчас он включает в себя элементы Народного фронта, в котором объединяются коммунистические, социалистические, профсоюзные и радикальные силы. Ими руководят из-за рубежа, их финансируют и контролируют агенты, действующие в нашей среде в интересах иностранных государств.

Следовательно, речь идет о чисто революционной группировке, которая стремится воспроизвести в Аргентине красную панораму Испании.

Эта фракция следует программе Москвы, направленной на экспансию Третьего Интернационала.

В настоящий момент лишь «националисты» представляют собой наиболее чистые силы, обладающие наибольшей духовной ценностью.

Страна не может ожидать какого-либо разрешения сложной ситуации в рамках легальных средств, которыми она располагает. Результаты выборов не будут благоприятны для страны. Нация не сможет избрать свою собственную судьбу, напротив, она будет увлечена в пропасть коррумпированными политиками и элементами, продавшимися врагу. Закон превратился в инструмент, который политики используют в своих личных интересах во вред государству, и Нация отдает себе в этом отчет, понимая, что не она выбирает своих правителей.

Средний человек с улицы жаждет покончить с таким положением. Некоторые хотят, чтобы армия взялась разрешить эту ситуацию, другие считают это делом «националистов», третьи возлагают надежды на коммунистов; остальные готовы на все...

В то время, как капиталисты наживаются, перекупщики эксплуатируют как производителя, так и потребителя, крупные землевладельцы обогащаются за счет крестьян, крупные чиновники наслаждаются своими высокими окладами, не думая ни о чем другом, как только о том, чтобы эта ситуация продлилась как можно дольше, правительство, сложа руки, наблюдает за внешним благополучием... Города и сельская местность наполнены жалобами, которых никто не слушает. Производитель задушен спекулянтом. Рабочий эксплуатируется фабрикантом. Потребитель обкраден коммерсантом. Политик на службе у спекулянта, иностранных компаний и еврея-коммерсанта.

Разрешение этой проблемы состоит именно в устранении политического, социального и экономического посредника. Для этого необходимо, чтобы государство превратилось в орган, регулирующий богатство, управляющий политикой и являющийся средством установления социальной гармонии».

Шелленберг. – Нечто похожее Канарис и Боле писали для генералиссимуса Франко... Вообще-то, почерк НСДАП... Аргентин-

ская модификация фаланги и национал-социализма... Скажите, слово «нация» в оригинале написано с заглавной буквы?

Вопрос. — Какое это имеет значение? Да, с заглавной.

Шелленберг. — Это имеет очень большое значение, если вас действительно интересует, кто именно стоял за аргентинскими военными... Мы, в разведке, старались вообще не употреблять это слово... Оно не по делу... Пропаганда... Только НСДАП жонглировала понятием «нация», особенно рейхсляйтер Боле... Идеально, если бы вы получили возможность познакомиться с материалами испанской фаланги... Боле мог действовать через спецслужбы Франко... Еще, пожалуйста.

Вопрос. — Что ж, продолжим: «Тайные силы, руководимые из-за границы, наводнили страну; вовсю действуют иностранные агенты; их активность направлена на достижение следующих целей:

— краткосрочная цель: заставить Аргентину вступить в войну, вложив в нее средства, которые будут способствовать военным усилиям союзников. Во-вторых, подготовить и финансировать политическую кампанию во время выборов, с тем чтобы навязать президента, склоняющегося к разрыву отношений со странами оси;

— долгосрочная цель: подготовить наиболее благоприятные условия для экономического и политического проникновения на территорию Аргентины, чтобы обеспечить возможность ее всесторонней эксплуатации в послевоенное время.

В достижении обеих целей агенты получают помощь из-за рубежа; легион иностранных шпионов и агентов, вступивших в альянс с частью населения (продажными политиками, газетчиками, евреями, персоналом иностранных компаний), действует в двух направлениях: поддерживает «демократов», но при этом занимается подготовкой Народного фронта.

Группировки типа «Аргентина в действии», «Защита свободных народов» финансируются иностранными агентами и получают помощь от коммунистов посредством подписок и сборов пожертвований разного рода.

Все это создает невыносимую политическую обстановку, выход из которой может дать лишь армия Нации».

Шелленберг. — Но ведь это лето сорок третьего... Канарис еще ведает абвером, дружит с Гиммлером и Боле... Это их работа... Мои люди не планировали переворот, я бы рассказал честно и открыто.

Вопрос. — Вы когда-либо писали директиву о том, каких руководителей — из числа коллаборационистов в оккупированных странах — надо выдвигать на руководящие посты?

Шелленберг. — Не помню.

Вопрос. — Мы поможем вам. Один из сотрудников СД возил ваш меморандум Квислингу, в Осло, в сорок втором...

Шелленберг. — Можно посмотреть?

Вопрос. — Мы вам зачитаем: «Будущие руководители страны должны делиться на три категории: честные, способные и осмотрительные люди; честные но со средними способностями, однако обладающие здравым смыслом; честные, способные, однако не обладающие характером.

Первые: честные, способные и осмотрительные – идеальные люди, поэтому их так мало; они-то и должны стать выдающимися руководителями.

Вторые: честные, но со средними способностями, однако обладающие здравым смыслом – гораздо более многочисленная прослойка. Из них получаются достаточно хорошие руководители среднего уровня, поскольку, чтобы управлять, не требуется слишком большого ума, а требуется ум, достаточный для того, чтобы воспринимать хорошие советы.

(Тшеславные и самонадеянные люди не могут быть хорошими руководителями, так как обидчивы.)

Третья категория людей: честные, способные, однако не обладающие характером – также встречаются в большом количестве, но они не способны быть в правительстве, поскольку отсутствие характера ставит под угрозу их честность. К этой категории относятся люди, которые – являясь умными и честными – обладают крутым характером, что выражается в их повышенной энергичности; к ним надо относиться с опаской. Они не годятся для того, чтобы быть в правительстве на руководящих постах. Этих людей можно использовать в системе исполнительной власти или в органах контроля, поскольку речь идет о такой энергичности, которая иногда приводит к бурным вспышкам или импульсивным поступкам, но, как говорит пословица, «гнев человека не приводит к справедливости бога».

Осмотрительность – необходимое качество человека, способного стать эффективным правителем.

Осмотрительность и осторожность предполагают наличие «практического ума».

Это – сдержанность, не переходящая в скрытность; покладистость, не переходящая в простодушие; учтивость, не переходящая в слабость.

Таким образом, движение должно искать и организовывать в соответствии со своими идеями две группы безусловно честных людей: во-первых, умных и знающих, чтобы служить советниками, и, во-вторых, простых, осмотрительных и с сильным характером, чтобы управлять». Это ваш текст?

Шелленберг *(смеясь)*. – Боюсь, что да.

Вопрос. – Вы не ошибаетесь?

Шелленберг. – Нет.

Вопрос. – Хотите взглянуть на подлинник?

Шелленберг. – Да... Погодите... Но это же...

Вопрос. – Вот именно, Шелленберг! Мы прочитали вам текст, написанный сотрудниками Перона. Итак, когда и как, через какие каналы ваша служба помогала перевороту Фарелла – Перона? И посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию. Кто на ней изображен?

(Предъявляется фото для опознания.)

Шелленберг. – Посредине шеф гестапо Генрих Мюллер... Слева – обергруппенфюрер СС Поль, начальник хозяйственного управления СС, отвечавший за концентрационные лагеря... Справа,

если не изменяет память, испанский посол... Рядом с ним... хм, странно, редактор «Штюрмера» Юлиус Штрайхер... Это генерал Виго-и-Торнадо, разведка Франко... А это... Уж не секретарь ли это испанского посольства?!

Вопрос. – Фамилия?

Шелленберг. – Не помню. Он, действительно, какое-то время контактировал между моей службой и Пуэрта-дель-Соль.

Вопрос. – Под какой фамилией?

Шелленберг. – У него был – во всяком случае для нас – псевдоним... Кажется, «Мигель».

Вопрос. – Переверните фотографию, там есть расшифровка фамилий... Это именно тот Хосе Росарио, которым мы заинтересовались в начале допроса... Вам известно, что он окончил особую школу СС и стажировался лично у Мюллера – накануне передислокации в Аргентину?

СЕНАТОР ОССОРИО, КЛАУДИА
(Буэнос-Айрес, сорок седьмой)

– И вы не знаете, кто ваш друг? – снова спросил Оссорио, отодвигая от себя чашку (Клаудиа, как и просил Штирлиц, вышла из квартиры первой, попросила сенатора назначить встречу в кафе: «Я вас там буду ждать минут через двадцать»; увиделись в «Тортони»). – Не знаете, кто он? Зачем родился на свет? Что любит? Что ненавидит?

– Он ненавидит тупость. Цинизм... Трусость... А я его просто люблю... Не знаю, за что... За все... Этого достаточно, наверное, – ответила Клаудиа. – Человек, который смог сотворить себе кумира, самый счастливый человек на земле.

– А если кумир пал? Разбился вдребезги?

Клаудиа покачала головой:

– Такого не может быть... Нет, может, конечно, но, значит, вы не любили.

– Сколько лет вы его знаете?

– Десять.

– Все эти годы были вместе?

– Нет... Что бы я вам ни объясняла, вам не понять меня, сенатор... Даже женщина меня бы не смогла понять, а ведь у мужчин совершенно иной образ мышления... О чувствах уж не говорю...

– Почему он так интересуется известной нацистской проблемой?

– Я же говорю: ему отвратительна тупость, слепота, муштра... Его живопись... Он рисовал, когда жил у меня, в Испании... Такие цвета, которые он мог создавать, я не видала больше ни у кого...

– Он был республиканцем?

Клаудиа ответила не сразу:

– Кем бы он ни был, он всегда был честным... Можете спросить о нем у Антонио, друга дона Эрнесто...

– Как?! Он знает его?!

– Да.

– С этого бы и начинали! Друг сеньора Хемингуэя – мой друг!

– Знаете, я солгала вам, когда произнесла его имя... Я за него постоянно боюсь... Его зовут не Массимо, он не итальянец... Макс, его зовут Макс Брунн...

– Немец? – насторожился Оссорио. – Он немец?

– Он Брунн, – ответила Клаудиа. – Он просил описать вам его внешность, он допускает, что его именем вам может представиться другой человек... Вы слушаете меня?

– Да, да, конечно... Меня удивило, что он немец...

– Сначала я опишу вам его, ладно?

– Еще кофе?

– Нет, спасибо... Он очень волновался за вас... Он говорил, что все попытки, которые предпринимались, чтобы получить ваши материалы, были только подступом... Главное – впереди. Вас намерены скомпрометировать... А он очень верит в человеческие глаза, мой... друг... Когда вы посмотрите на него, вы поймете, что я пришла не как влюбленная дура... Я реальный человек, сенатор, реальный, хоть и женщина...

– В чем вы видите свой реализм? – сухо поинтересовался Оссорио. – В чем его разница с романтизмом, например? С натурализмом?

– Не знаю, – Клаудиа заставила себя улыбнуться, потому что внезапно ощутила стену недоверия между собой и собеседником, хотя он поначалу любезно согласился встретиться с нею, пообещав по мере сил оторваться от слежки («Да, конечно, я знаю, что за каждым моим шагом следят, но я уйду от них»); однако сейчас, когда они устроились напротив друг друга в уютном «Тортони», где в это время никого, кроме них, не было, Оссорио вновь стал таким, каким был дома, в проеме двери, в первое мгновение их встречи.

– А если подумать? – по-прежнему сухо спросил он.

– Наверное, реализм – это когда я утверждаю, что перед нами стоят две пустые чашки, на улице довольно прохладно и вы не верите ни одному моему слову.

– Пустые чашки – мнение индивидуума, что есть венец натурализма, – возразил Оссорио. – Это же проецируется на ваше отношение к погоде, которая совершенно очевидна... Что же касается того, верю ли я вам... Суть реализма в том, чтобы взрывать тайну, отказываться от догматов веры, а вот романтизм, да и натурализм тоже тщатся сохранить прекрасную тайну, для этого холят в человеке веру...

– Мне уйти? – спросила Клаудиа. – Вы очень жестки, сенатор. Вы боитесь приблизиться к человеку, это очень плохо, вы так не выдержите, нельзя жить в себе...

– Что можете предложить? – спросил Оссорио, вздохнув. – Верить каждому, кто приблизился к тебе? То есть стать дураком? Доверчивым дураком, который тянется к тому, кто говорит угодное?

– Мне уйти? – повторила Клаудиа.

– Да, пожалуй.

– Зачем же вы согласились на встречу со мной?

Оссорио откинулся на спинку кресла и честно признался:

– Я испугался имени вашего многознающего друга, сеньора.

– Меня зовут Клаудиа, я испанка, а не немка, хотите посмотреть паспорт?

– Был бы весьма обязан.

Женщина достала из дорожной сумки серый паспорт и протянула его Оссорио; он пожал плечами:

– У вас на родине, действительно, большие перемены. Женщине, которая не любит нацистов, разрешают летать за границу.

– Я никогда не была с друзьями сеньора американского писателя, не воевала против Франко, как этот янки...

– Кого вы имеете в виду? – лицо Оссорио было по-прежнему холодным, непроницаемым. – Какого янки? Какого американского писателя?

– Ну... Этого... У которого работает Сааведра...

Оссорио усмехнулся:

– Вы что, не читали книг Хемингуэя? Или у вас плохая память?

– А вы что, не знаете, что он запрещен в Испании?

– Догадываюсь... Странно, что такая мощная нация позволяет маленькому генералиссимусу запрещать великое слово...

Клаудиа отодвинула от себя чашку еще дальше и холодно отчеканила:

– А вот я, посидев с вами, не удивляюсь, отчего аргентинская нация, далеко не последняя на свете, так легко отдала власть другу нашего подонка Франко. Все горазды говорить о прошлом, кто б подумал про будущее?! До свидания, сенатор! Очень жаль, что вы не захотели выслушать меня... Я была готова описать вам моего друга... Теперь мне расхотелось делать это.

Поднявшись, она взяла со стула свою сумку и, не прощаясь, пошла к двери.

– Погодите, – остановил ее Оссорио. – Погодите. Сядьте. Речь в конечном счете идет не просто о моем добром имени, но и о жизни семьи.

Клаудиа какое-то мгновение раздумывала, стоит ли возвращаться; Оссорио стал ей в эти минуты остро несимпатичен; не человек, а какая-то скрежещущая касса, что выбрасывает мелочь в лавке, где она обычно покупала каталонский сыр.

– Пожалуйста, – повторил Оссорио. – Я вас очень прошу...

Она вернулась; поднять глаза на сенатора ей стоило большого труда; лицо его, однако, изменилось, на нем было написано страдание и усталость, такая нечеловеческая усталость, что женщине стало жаль его; вот отчего, подумала Клаудиа, только матери, отшлепав ребенка, уже через минуту могут его ласкать, прижимая к себе, – жалость – черта материнства, на ней держится мир и ни на чем другом.

– Еще кофе? – снова предложил Оссорио; было заметно, что и он растерян, прежняя манера поведения более невозможна, жизнь состоит из пауз, во время которых люди кардинально меняют свои воззрения, далеко не всегда поняв, как себя следует вести в будущем.

– Спасибо. С удовольствием. – ответила Клаудиа. – Так вот. Брунн такого же роста, как и вы... У него высокий лоб, очень морщинистый... И прекрасные глаза... Вы его сразу узнаете по глазам:

они говорят, когда он молчит. И еще он умеет слушать, как никто другой, он вбирает в себя ваши слова, очень редко возражает, разве уж вы что-нибудь невообразимое отчубучите...

– Я постараюсь говорить связно, – пообещал Оссорио, вздохнув. – Продолжайте, пожалуйста...

– Ох, я же не сказала вам главного! – Клаудиа, наконец, улыбнулась. – Он отпустил бороду и усы, в горах это необходимо, иначе можно обгореть, он же постоянно учит кататься людей на склонах...

– Ответьте мне... Это для меня очень важно... Ваш друг немец?

– Святая церковь всю свою историю травила евреев, сенатор. Сейчас священникам стыдно за это, особенно после Гитлера... Неужели человечество изберет себе немцев в качестве единственного источника мирового зла? Сатана внутри каждого... При чем здесь народ?

– При том, что есть народы фашизоидные, отмеченные печатью традиционного гегемонизма, и есть народы, исповедующие иные моральные качества! Не сердитесь, но испанцы до сих пор страдают от того, что из-за своей полуостровной изолированности, из-за того, что были отделены от вихрей революционной Франции непроходимыми горами, отстали от прогресса... Испанская инквизиция, подвергавшая гонению самых умных, рухнула тогда, когда в остальной Европе об ужасах костров и камерных пыток забыли... Поэтому вы так легко попали под власть Франко? Нет, не легко, конечно... Но ведь он противоисторичен, следовательно, неестествен, точнее говоря, нереален... Тем не менее он уже десять лет царствует в вашей стране... И собирает стотысячные демонстрации в свою поддержку... И ездит по улицам и площадям своего имени... То же и с немцами... Национальная память по сю пору кичится далекими временами великой римской империи германской нации... Достаточно проверенных документов той поры не сохранилось, все больше легенды, но ведь они так заманчивы, за мифом о былом величии так легко спрятать собственную малость и страх... Фашизм рождается страхом перед могучим господином, который один лишь может навести порядок и отдать приказ, как надо жить... Нация, которая учит себя фанатичному преклонению перед былым, лишает своих детей права на выражение талантливости... Поймите, при Гитлере не было ни одного писателя или музыканта! Он правил механизмами... А в Испании? Сервантес писал в тюрьме, Гойя лгал владыкам, чтобы выжить. Извините мой страх перед немцами и постарайтесь его понять...

– Эсти... Макс Брунн – человек всей земли, он сын ее, сенатор...

– У него есть второе имя?

– Да. Но я вам его не открою. Вы же не верите мне... Всякое неверие рождает встречное неверие.

– И я о том...

– Что мне передать Брунну?

После долгой паузы Оссорио, наконец, ответил, словно бы сопротивляясь самому себе:

– Я готов с ним встретиться. Пусть скажет, что он друг Клаудии, я отворю ему дверь.

– Вы не хотите ничего передать ему со мной? На словах? Или записку? Он просил сказать, что в Барилоче происходят странные вещи... Там собрались те немцы, которые у Гитлера занимались обороной... Хотя нет, он не говорил про оборону... Он сказал, что они готовили для Гитлера оружие... Да, именно так он сказал мне.

– Возьмите карандаш и листок бумаги, – сказал Оссорио. – Запишите три имени, пусть ваш друг постарается поискать их в Барилоче. Готовы?

– Да.

– Но эти имена не имеют права попасть в руки кого бы то ни было, кроме вашего друга... Я поверил вам, Клаудиа, пожалуйста, не поступите со мною бесчестно... Мне тогда будет очень сложно жить на земле... Понимаете?

– Я вас очень хорошо понимаю, сенатор... Когда вы увидитесь с Брунном, настанет иная пора вашей жизни, он, правда, особый человек, других таких нет, с ним все видится четко, спокойно и надежно. Пожалуйста, поверьте мне...

– Я уже поверил... Иначе я бы не попросил вас вернуться. И постарайтесь не сердиться на меня. Я, видимо, был несносен, мне стыдно за себя... Запишите первое имя... Зайнитц... Фридрих Зайнитц... Вообще-то, лучше бы вам это запомнить, а? – вопрошающе заметил Оссорио, наблюдая, как женщина мучилась с написанием немецкой фамилии (это, кстати, окончательно его успокоило, – если бы она легко написала то, что он ей диктовал, он бы, возможно, закрылся вновь). – Зайнитц... По-немецки – Фридрих, на кастильяно – Федерико... Инженер радиоаппаратуры, живет в Барилоче с сорок второго года. Второй – доктор Фрибль, Эрнандо Фрибль, живет в окрестностях Барилоче, поддерживал постоянную связь с Людовико Фрейде... Запомнили? И третий – Зигфрид Труле.

– Боюсь забыть... Лучше мне все же написать...

– Нет, лучше выучить... Давайте поучим вместе, если у вас есть полчаса времени.

– О, у меня есть время! Самолет возвращается в Барилоче вечером, я все выяснила в Аэрогаре[1]...

– Ну, давайте повторять... Хотите – сначала запишите, некоторые лучше запоминают по написанному, хотите – повторяйте про себя, я тоже не тороплюсь, мне приятно быть с женщиной, которая так верит своему бородатому другу, который умеет слушать как никто другой...

На улице Клаудиа оглянулась; никто за нею не шел; Эстилиц смешно говорил: «могут топать». Это малыши топают своими перевязанными ножками – топ-топ-топ, полицейские крадутся, у них отвратительные глаза, я помню их глаза, когда работала стенографисткой в военной контрразведке, они такие подозрительные, такие настороженные, кажется, что не верят даже самим себе, как можно жить такой изнуряющей, боязливой жизнью?!

[1] Так называется аэродром внутренних линий Буэнос-Айреса.

На стоянке такси никого не было; какое счастье, сегодня ночью я увижу Эстилица; в ней сейчас была поющая радость, предчувствие счастья; он позволит мне остаться в горах, у меня есть сбережения, я вполне могу обеспечить себя, я не буду ему в тягость, я же видела в его глазах такую усталость, такое одиночество, у меня сердце перевернулось. Как это ужасно, когда люди обрекают себя на одиночество. Хотя мы все рабы обстоятельств; наверное, он живет жизнью волка не потому, что ему это нравится... Интересно, а кем я стану после смерти? Я много раз чувствовала себя собакой – рыжей, с темными подпалинами и пронзительно черными глазами. Странно, я ощущала себя собакой без хозяина, но при этом удивлялась, отчего у меня черные глаза, такие бывают только у немецких овчарок, а я их не люблю, они постоянно рвутся вперед, в них слишком силен инстинкт хватки, это противно...

Шофер подъехал к ней с выключенным мотором, распахнул заднюю дверь:

– Куда вас доставить, сеньора?

– В Аэрогар, пожалуйста.

– Доставим, – ответил шофер. – Только, пожалуйста, отодвиньтесь от двери, а я запру кнопки, позавчера на Пласа дель Майо был ужасный случай: из машины вывалилась мать с дочкой, ребеночку всего полтора годика, можете себе представить?

– Погибли?

– Ребенок погиб, мать изуродована, но врачи говорят, что выживет... Стоит ли? Знать, что ты виновата в гибели своего дитя, хоть даже и косвенно...

– Она молода?

– Лет двадцать...

– Какой ужас...

– Вы, наверное, подумали, что она сможет родить еще одного ребенка? Ах, сеньора, кому дано забыть ужас? Разве можно вычеркнуть из памяти ту страшную секунду, когда летишь в воздухе и на тебя надвигается неотвратимое, а ты бессилен помочь крошечному комочку, вырывающемуся из твоих рук?

– У вас есть дети?

– Трое, сеньора, – ответил шофер и, обернувшись, улыбнулся. – Две девочки и мальчик. Девочки старше, они занимаются Мигелем, жена не знает забот с малышом, какое счастье, если первенцы девочки... Я, конечно, хотел сына... Наследник, продолжатель рода, носитель фамилии. И пошел к врачу – советоваться, как быть... А он ответил, что девочки рождаются в том случае, если в браке сильнее мужчина, мальчики рождаются только у тех кабальеро, кто слаб или очень устал от жизни... Когда у вас самолет, сеньора?

– В шесть вечера.

– Вы не будете возражать, если я на минутку заеду домой? Это по дороге к Аэрогару... Честно говоря, я забыл свою шоферскую лицензию, поэтому не езжу, а крадусь по городу... С приходом новой власти полиция стала крайне жестокой, карает за малейшее нарушение... Хотя с нами так и надо, наверное! Только дашь послабление, как мы сразу садимся на шею... Люди привыкли к кну-

ту, уважают только тех, кого боятся, без страха нельзя править народом...

– По-моему, народом надо править по справедливости, – возразила Клаудиа. – Нет ничего разумнее справедливости... Страх рождает насилие, жестокость, его вспоминают с содроганием... Вы недолго задержитесь дома?

– Нет, нет, только возьму бумажник... Девочки вчера гладили пиджак, ну и вытащили документы из кармана... Они у меня очень аккуратные, такие чистюли, спасу нет.

– Но мы не опоздаем?

– Да что вы?! Тем более, дом, где я живу, совсем рядом, – шофер резко свернул с широкой улицы, поехал по маленьким переулкам, обсаженным высокими платанами; после ночных дождей мощные стволы казались скользкими; это ощущение было противоестественным спокойной мощи, сокрытой в них; а в Барилоче пахнет сосною, подумала Клаудиа, сосною и снегом, удивительный запах, в нем есть что-то музыкальное, очень грустный запах, как детская песенка, зато такой прекрасный рассвет в горах, столько в нем надежды, там день не так стремителен и ночь кажется бесконечной, а это так прекрасно, если в бесконечной ночи рядом с тобою Эстилиц...

Шофер еще резче свернул в маленькие металлические ворота, подъехал к подъезду, стремительно выскочил из машины, обошел ее, а точнее – обежал, отворил дверцу, предложив Клаудии:

– Хотите подождать меня во дворике? Или познакомитесь с моими малышами?

– Спасибо, – ответила Клаудиа. – С удовольствием познакомлюсь с маленькими.

Он пропустил ее перед собой к дому; лестница была мраморная, тщательно вымытая.

– У вас такой шикарный особняк? – удивилась Клаудиа. – Неужели шоферы здесь так хорошо зарабатывают?

– О, нет, сеньора, – ответил водитель, отворяя тяжелую дверь, – я живу в подвале, квартиры на первом и втором этажах арендуют сеньоры...

– А дети? Они ведь могут шуметь, – заметила Клаудиа, входя в холодный, отделанный мореным дубом холл. – Это вызовет неудовольствие хозяев...

Шофер со всего размаху ударил ее ладонью по лицу; Клаудиа полетела в угол; из скрытой двери появились двое молодчиков; один из них, почувствовав ее крик за мгновение перед тем, как женщина закричала, зажал ей рот мокрой ладонью, пахнувшей тухлой водой и хозяйственным мылом.

Они затащили ее в дверь и, не дав встать на ноги, поволокли по металлической лестнице вниз; казалось, лестница была бесконечной; Клаудиа почувствовала, как у нее слетела левая туфля; я ведь купила их специально для того, чтобы понравиться Эстилицу, я оделась так, чтобы ему было приятно смотреть на меня, женщина должна постоянно бояться перестать нравиться тому, кого любит... Подумав это, она беззвучно заплакала, потому что с холодной тоской поняла, что никогда более не увидит того, кого любила всю жизнь; как ужасно,

что я так мало была с ним рядом, – это было последнее, что она услыхала в себе, потом ее швырнули в комнату, обитую матрацами; в тени за столом сидел мужчина; посредине в луче прожектора высился табурет, на таких малышей учат играть на пианино; топтуны; топ-топ-топ; как же карапузики тянутся ножками к полу, как поскорее им хочется вырасти, надеть костюмчик, а не отвратительные коротенькие штанишки, и выйти на помост, в свет юпитеров, чтобы сыграть ту вещь, которой отданы многие месяцы коротенькой жизни...

– Садись, – услыхала она высокий голос, доносившийся из тьмы. – Садись на табурет.

– Где я? – спросила Клаудиа. – Зачем вы привезли меня сюда?

– Садись, я сказал!

Она послушно села на высокий табурет, привинченный к полу, ощущая, как от страха всю ее молотит мелкой дрожью.

– Расскажи мне все, что хочешь рассказать!

– Где я нахожусь?

– Ты находишься на территории Испании! Вот где ты находишься, з е л е н а я! Имей в виду, мы шутить не любим! Если ты попала во вражеские сети, – расскажи все честно, и мы поможем тебе! Ты гражданка великого государства, которое не дает своих в обиду! Но если ты намеренно пошла в услужение к врагам, участь твоя будет ужасной! Поняла?!

– Я не была ни у кого в услужении, сеньор...

– Бабы служат, как кошки, тому мужику, в которого втюрились! Они служат любому кобелю! Им плевать на родину и нацию! Только б получить свое в постельке! Кто прислал тебе адрес Штирлица?! Ну, отвечать!

– Мне... Мне... никто не присылал... адрес... Я не понимаю, о ком вы говорите, сеньор...

– Я говорю о том, кого ты так нежно называла «Эстилиц». Неужели не можешь произнести его фамилию на немецком?! Кто тебе прислал его адрес?!

– Я... Вы не так поняли, сеньор... Мне захотелось поехать в Барилоче... я прочитала об этом курорте и отправилась туда...

– А кто тебе дал денег на поездку?

– Я сняла деньги со своего счета... Это просто проверить, сеньор.

– Откуда же у тебя деньги на полет в Аргентину?

– И это просто проверить, сеньор... Семь лет назад я получила наследство от дяди, достаточно большие деньги, чтобы безбедно жить на ренту...

– Значит, тебе никто не присылал никаких писем от сеньора Макса Брунна, который на самом деле Штирлиц?! И ты просто так, за милую душу, отправилась в Барилоче?!

– Конечно... Этот курорт стали рекламировать...

– Так отчего же ты, прилетев в Барилоче, провела там только одну ночку со своим любимым и смоталась сюда, в Буэнос-Айрес? С кем ты здесь встречалась? К кому тебя послал Эстилиц?

– Просто... Мне захотелось... Посмотреть столицу Аргентины... Я же никогда здесь не бывала раньше...

– И ты здесь ни с кем не встречалась?

– Нет.

За что мне все это, подумала Клаудиа, боже милостивый?! Не обращайся к нему, ответила она себе, оставь бога на самый последний момент, он облегчит страдания; во всем виновата ты, одна ты, ведь Эстилиц просил, чтобы я ходила только по людным улицам, пропускала первое такси, а садилась во второе, чтобы я не ждала машину на той стоянке, где нет других людей, он все предвидел, мой Эстилиц, а я... Что ты? Ты любишь его, ты выполнила его просьбу, и тебе хотелось как можно скорее оказаться на аэродроме – все ближе к милому, вот и... Но ведь не может всевышний допустить несправедливость! Чем я прогневала его? Чем Эстилиц вызвал его гнев? Почему он обращает свой гнев на тех, кто предан ему более других? Неужели он думает, что с детьми сатаны паству легче привести в царствие божье? Почему он позволил умереть маме, когда ей было всего двадцать три? Зачем отец погиб в расцвете сил и любви? Почему я была обделена моим маленьким счастьем? Разве я просила себе больше, чем он мог дать мне? Или в ущерб другим?

Мужчина вышел из-за стола; на нем были кремовые широкие брюки из тонкой шерсти, темно-синий пиджак с подложенными плечами, которые делали фигуру несколько опереточной, словно бы скачущей, и остроносые ботинки темно-малинового цвета, начищенные до зеркального блеска. Лицо его было малоприметельным, пройдешь на улице и не обратишь внимания; только губы; если всмотреться в них, были пересохшие, скорее бело-синие, чем красные, а уголок рта порою сводила быстрая, как тик, судорога.

– Послушай, ты, – сказал он, подняв одним кулаком подбородок Клаудии, а в другой ухватив ее волосы. – Нам известно все, понимаешь? Каждый твой шаг. Мне жаль тебя... Ты испанка... И я испанец... Мы люди одной крови... Поэтому я задаю вопрос в последний раз: о чем тебе сказал сенатор Оссорио в кафе? Если ты расскажешь правду, я отпущу тебя... Конечно, просто так я не смогу тебя отпустить, ты замарана связью с врагом испанской нации... Ты женщина, в тебе много чувственности, я разрешу тебе спать с Брунном... С твоим Эстилицем... Ты будешь обязана спать с ним и жить подле него... Но ты будешь сообщать раз в неделю обо всем, что происходит с твоим любимым... Если ты откажешься делать это, мы его пристрелим... Либо он будет жить так, чтобы мы знали все о его друзьях, врагах, чтобы ты передавала нам все те имена, которые он называет, либо он не будет жить вовсе... Ну, а если ты решишь сказать ему об этой беседе со мною и вы рискнете бежать из Барилоче, что невозможно, я распилю его ржавой пилой. На твоих глазах. Ты знаешь, что мы не умеем шутить... Слишком велика наша ответственность за Испанию перед каудильо... Но поверить тебе я смогу только в том случае, если ты сейчас сядешь к столу и напишешь мне все о Штирлице. Все! С того самого дня, когда он пришел в твой дом одиннадцать лет назад. Ты напишешь мне все, но, если ты решишь шутить со мною и рисковать телом любимого, подставляя под ржавую пилу с поломанными зубцами, я покажу ему твои показания перед тем, как мы начнем его резать... Ты себе не можешь представить,

как ему будет обидно узнать, что его любимая служила мне все то время, пока спала с ним в одной постели...

Только бы вырваться отсюда, подумала Клаудиа, он поймет и простит; мы убежим на край света, скроемся в Америке, там нет такого ужаса, поселимся в Англии, где угодно, только не в той стране, где говорят на моем родном языке...

– Ну, ты надумала?

– Да... Но я успею на самолет? После того, как я напишу, вы отвезете меня на самолет?

– Зачем? Вызовешь Эстилица сюда, мы позволим тебе позвонить к нему... В тот час, когда наши люди зайдут к нему в гости, ты и позвонишь... И скажешь, что тот человек, у которого ты была, ждет его завтра... С первым же самолетом... Понятно?

Заплакав, Клаудиа кивнула.

Мужчина отпустил ее волосы, погладил по шее, вздохнул чему-то, закурил, потом сокрушенно покачал головой:

– Зачем ты во все это полезла? Ума не приложу... Такая красивая баба, тебе б детей рожать да в церковь ходить... Ну, валяй, имена людей сенатора...

– Он не назвал имен...

Мужчина замер, не сел за стол, на котором кроме одного листка бумаги и автоматической ручки «монблан» с длинным золотым пером ничего более не было, и, не оборачиваясь, попросил:

– Восстанови-ка твой с ним разговор... О чем ты вообще с ним говорила? Кто дал тебе его адрес? Кто попросил тебя прийти к нему домой?

– Я... Просто...

– Смотри, что мне придется сейчас сделать, зеленая... Мне придется пригласить сюда моих парней... Они довольно крепкие спортсмены... Они разденут тебя, мы установим фотокамеру и сделаем хорошие картинки тех моментов, когда ты будешь заниматься с ними любовью. Мы снимем крупным планом твое лицо, тело... Знаешь, какое это произведет впечатление на Брунна? Он тебя близко к себе не подпустит... Он прогонит тебя, как потаскуху! Мужчины брезгуют такими бабами, это я тебе говорю, кабальеро, настоящий испанец! Будешь писать имена?! – мужчина сорвался на крик. – Ну?

Клаудиа зарыдала; она почувствовала, как ноги и руки сделались ватными, чужими, и ясно поняла, что все кончено, выхода нет, гибель...

Мужчина подошел к двери, распахнул ее:

– Давайте, ребята, дама готова поразвлечься с вами...

– Нет! – попросила Клаудиа. – Закройте дверь, я все напишу.

– Иди к столу, – ответил мужчина, но от двери не отошел; Клаудиа заметила два лица, возникших рядом с ним, в сумрачной тишине. Она вспомнила тот страшный запах, который исходил от потной ладони того, кто тащил ее вниз, зажав рот, – дешевое хозяйственное мыло и застоялая вода из грязной кастрюли; тело ее на какой-то миг сделалось совершенно бессильным, она испугалась, что упадет, огромным усилием воли заставила себя добраться до стола, села на стул и сказала:

– Я не могу в темноте писать. И потом здесь всего один лист бумаги.

– Давно бы так, цыпочка, – сказал мужчина с белым ртом и, склонившись над нею, достал из ящика пачку белой бумаги. – Этого хватит?

– Этого хватит, – ответила Клаудиа и что есть силы ткнула пером «монблана» ему в глаз.

Вопль мужчины был звериным, раздирающим душу.

Клаудиа ударила себя «монбланом» в один глаз, потом, страшась, что испуг не позволит ей сделать то, чего она не могла не сделать, ударила себя пером во второй глаз; темнота стала грохочущей, она ощутила, какая она кровавая, эта темнота, и, теряя сознание, закричала:

– Ну, давай, снимай меня, тварь, со своими скотами! Снимай ласки слепой потаскухи!

Через два дня в газете Барилоче в разделе новостей было напечатано фото женщины, зверски убитой в горах неизвестным преступником; перед смертью у жертвы были выколоты глаза – скорее всего пером самопишущей ручки; работают экспертиза и следствие; Штирлиц сразу же узнал Клаудиу; все звуки мира исчезли, в ушах была стонущая и чавкающая вязкость.

...В этот же день раздел скандальной хроники столичной «Кларин» дал сообщение, набранное петитом: «Испанский коммерсант сеньор дон Росарио был доставлен в госпиталь «Ла пас» в отделение неотложной хирургии; прохаживаясь по своему кабинету, сеньор Росарио поскользнулся и упал, держа в руке ручку «монблан»; все попытки спасти глаз не увенчались успехом».

Сенатор Оссорио, читавший все газеты страны, – можно убить пять часов, карандаш в руке, делай себе заметки на будущее; несмотря на цензуру, попадалась совершенно неожиданная информация, – не обратил внимания на оба эти сообщения; как всякий человек, считающий себя культурным, он потешался над детективами, этой второсортной поделкой, мусором литературы, поэтому и скандальную хронику – если она не касалась политических лидеров или серьезных промышленников – также не жаловал вниманием.

Лишь только поздно вечером, после того, как с фермы позвонила Елена, рассказала, как прекрасно отдыхают мальчишки («Ты их не узнаешь, дедуля, давай-ка приезжай к нам поскорее, ребят пора сажать на коней, я плохая мать, не выучила девочек искусству амазонок, а теперь твоя очередь сделать из внуков отличных наездников»), он, слушая жену, вспомнил фотографию убитой женщины, заметку о коммерсанте в «Кларин», сказал, что перезвонит позже, бросился к вороху газетных полос, – он кидал их на пол – нашел оба материала, прочитал их дважды и понял то, что надлежало понять юристу, давно забросившему практику по уголовным делам...

ШТИРЛИЦ (Барилоче, сорок седьмой)

Штирлиц вошел в центральный банк за пять минут до закрытия; пятница, начало уик-энда, все поедут на склон или же отправятся ловить рыбу; тоже прекрасно; у всех свои заботы, – как и у тех, кто сообщил отсюда про Клаудиу, чтобы ее убили, – маленькую, тихую, верную, зеленоглазую женщину.

Он вошел лишь после того, как уехали директор банка сеньор дон Пассенада и его заместитель сеньор дон Миллер, именно он – по пятницам с семи до девяти тридцати – играет несколько партий бриджа с сеньором доном Рикардо Баумом; именно через него проходят все счета на оплату расходов, связанных с проектом «Соль», который курирует сеньор профессор доктор Риктер, улица Моралес, дом двенадцать; именно он дважды встречал гестаповского финансиста доктора Нагеля, когда тот прилетал из Игуасу, через Санта-Фе, Кордову и Ведму.

Штирлиц вошел в банк в тот момент, когда любой чиновник, так или иначе связанный с сеньором доном Миллером, то есть с подпольной нацистской (или геленовской, какая разница?) цепью, должен будет предпринять максимум усилий для того, чтобы сообщить своему руководителю (руководителям) про случившееся.

Впрочем, Штирлиц полагал, что не каждый банковский служащий был включен в с и с т е м у Баума – Миллера – Риктера. Далеко не все «белые воротнички» могут вычислить значение весьма простой финансовой операции: один из вкладчиков переводит свои деньги в сумме четырех тысяч семисот тридцати двух долларов с текущего счета на «дорожные чеки»; в любом случае банк получает проценты, ничего тревожного.

В окошке аккредитивов и дорожных чеков сидел молоденький паренек:

– О, сеньор Брунн, рад вас видеть! – он легко глянул на часы. – У нас совсем мало времени.

– Вы катались на склоне в прошлую пятницу, – улыбнулся Штирлиц, – по-моему, на красных лыжах с севера, нет?

– Именно так. Я восхищаюсь вашими спусками! Сколько достоинства, какая стойка! Вы король склона, сеньор Брунн...

– Тогда уважьте короля, – сказал Штирлиц. – Мне нужно перевести деньги на чеки, везу большую группу туристов в Чили.

– Да, сеньор Брунн, это мы успеем сделать. Я опасался, как бы у вас не было сложной операции. Кстати, на ваш счет вчера перечислили еще две тысячи долларов.

– Ну?! Я хотел взять четыре с лишним, а сейчас возьму пять тысяч семьсот, глядишь, покучу в Пуэрто-Монте.

– Какого достоинства чеки вы предпочитаете?

– Тысячу, пожалуй, все же я возьму наличными, а чеки – любого достоинства.

Парень еще раз взглянул на Брунна, заметив:

– Вы стали совершенно белым... Неужели волосы так выгорели за эти дни? Я не думал, что на склоне вчера было такое яркое солнце...

– Очень яркое, – ответил Штирлиц. – Пекло, как никогда; выгорел.

Выписывая чеки, оперируя с бумажками, стремительно перепроверяя себя на тяжелых костяных счетах, «белый воротничок» (здесь подражают англичанам, банковское дело ставили люди с Острова, поэтому так традиционна одежда: черный пиджак, серые брюки и высокий белый воротничок с темным галстуком, затянутым узеньким, в ноготь, узелком) заметил:

– Мне даже показалось, что вы внезапно поседели, сеньор Брунн.

– С чего мне седеть? Это от горя седеют... Или от старости...

– Действительно, вы молоды и полны сил, горе обходит вас стороной, по-моему, вы самый счастливый человек на склоне, сеньор Брунн.

Штирлиц кивнул, достал сигарету, закурил, подвинул пепельницу, медленно, как-то завороженно помахивая спичкой, затушил бесцветное пламя, обжигающее пальцы, и ответил:

– Это верно... Простите, я запамятовал ваше имя?

– Хайме Ангилас-и-Лус.

– Очень красиво звучит – сеньор Ангилас-и-Лус... Приезжайте на склон в будущую субботу, спустимся вместе, кресло на моем подъемнике я вам предоставлю бесплатно.

Из банка Штирлиц поехал на склон, поднялся на подвесной дороге к Эронимо, постоянно жмурясь, чтобы хоть как-то отвести лицо Клаудии, постоянно стоявшее перед глазами, зашел в хижину приятеля и спросил:

– Слушай, кто сможет помочь мне?

– В чем? Мы рады помочь тебе, Максимо. В чем?

– Я завтра везу группу в Пуэрто-Монт... Там у них рыбная ловля... Прилетели очень богатые дяди, попросили продлить экскурсию, если будут попадаться большие рыбы... Словом, я могу там застрять... А в следующую пятницу прибывает еще одна группа... Кто сможет обслужить их вместо меня? Я оставлю ключи от дома с лыжами, Манолетте приготовит обеды и ужины, все оплачено вперед, доверенность на управление делами я сейчас напишу, если что потребуется, – в понедельник вышлю из Чили, оформлю у нотариуса, с печатью...

– Перекусить хочешь? – спросил Эронимо.

– Выпью кофе.

– Ты здорово похудел за последнюю неделю.

– Часто спускался, сильные нагрузки...

– И стал белым...

– Выгорел... Катался без шапки...

– А мне казалось, ты совершенно не катался... Словом, меня вызывали в секретную полицию, Максимо.

– Поздравляю, – Штирлиц вздохнул. – Туда вызывают только уважаемых граждан... С шантрапой дела не имеют, ее просто сажают в подвал...

– Меня спрашивали о тебе, Максимо.

– Обо мне?! Вот уж, действительно, делать им нечего!

– Они спрашивали, не учил ли ты кататься одну испанку...

– Почему «одну»? Я учил пятерых испанок, ты что, забыл?

– Я-то помню... Но их интересовала женщина с зелеными глазами, которая могла быть на горе только один раз, потом исчезла.

– Хм... Я такой не помню...

– Я тоже, – ответил Эронимо. – Сколько сахару класть?

– Не клади.

– Ты расстроен тем, что я тебе сказал?

– Вообще-то, я не люблю, когда мной интересуется тайная полиция.

– А кто любит? Только все под ней живут... Ходят, влюбляются, планируют, плачут, ищут, мечтают, а все равно сверху тайная полиция... Как словно в душу постоянно глядит...

Штирлиц тихо сказал:

– А ты не позволяй! До тех пор, пока можно не позволять, – не рискуя при этом зазря потерять голову – не позволяй. А прижмет – бери топор и уходи в горы; к лесорубам они не подкрадываются... Если человек один на один с природой, нарубил красного дерева, сдал подрядчику, – он их не интересует... Их интересует общность, Эронимо... Когда слово и мысль одного могут, словно пожар, перекинуться на всех...

– Я им ничего не сказал, Максимо...

– Зря. Надо было ответить правду.

– Может, они только того и ждут, чтоб я ответил правду. С ними лучше всего молчать, как пень, не знаю да не помню...

– Кого еще вызывали?

– Не слыхал. Я не мог не сказать тебе, что было со мной.

– Спасибо, Эронимо... Я должен понять так, что тебе меня подменить – в этой ситуации – не с руки?

– Только не подумай чего плохого, Максимо... Я должен тебя спросить: сколько будут платить твои компаньоны-»гринго»?

– Правильный вопрос... Обычная людская глупость: неудобно прямо спросить о деньгах, решат, что, мол, шкура, только и думаю, что о монетах... Янки молодцы, с самого начала договариваются о цене... «Ах, как вульгарно, ах, все ценят монетой!» Все так, зато потом нет страданий, «почему мало запросил, зачем задешево отдал, надо было б больше просить»... Ну и проси! Чтоб потом не таить в душе обиду... А вы все как один гранды, деньги – суета, главное – душа и достоинство... Вот и живите без денег, на одно достоинство. – Штирлиц раздраженно допил кофе, снова закурил. – Мои компаньоны, конечно, захотят тебя обобрать. Это закон бизнеса. А у тебя на то зубы, чтобы кусаться... И руки, чтобы врезать по уху. И никогда не экономь в долларе, в песо: пойди к юристу, уплати ему столько, сколько он просит, но уясни себе все, абсолютно все – что могут компаньоны, а что нет. Пока не научишься пользоваться законами, будут прижимать к ногтю... Люди изобрели закон, чтобы защищаться без оружия, умом... Словом, получать будешь в три раза больше, чем тебе сейчас платит хозяин.

– Но ты говоришь так, Максимо, словно уходишь навсегда, – тихо заметил Эронимо.

– А если и так? – спросил Штирлиц. – Тогда что? Даже если ты скажешь об этом в тайной полиции, они тебе уплатят десять песо, не деньги...

– Хорошо, я уйду с этого места, брошу хижину, а меня через десять дней турнут твои компаньоны-«гринго». Тогда как? Такое может быть?

Штирлиц устало вздохнул:

– Может. Но если мы с тобой заключим договор хотя бы на полгода, то ты за эти полгода заработаешь столько, сколько здесь. – Штирлиц обвел глазами его маленькую деревянную хижину, – за два... У тебя отложится резерв... Не суй деньги в металлический ящик... Вкладывай в дело... Купи право на постройку своего подъемника... Не надейся, что тебя прокормит нынешний хозяин или муниципалитет... Думай о себе сам. То, что тебя турнут с моего места, – шанс из ста, но я не имею права лгать тебе хоть в малости... Если ты хорошо обслужишь «гринго», если они будут нахваливать тебя, когда вернутся в Штаты после склонов Барилоче, моим компаньонам нет смысла отказываться от твоих услуг... Их инструктор приедет с женой, значит, фирме надо платить ему за квартиру, это раз... Он должен знать испанский, это два... А сколько таких горнолыжников, кто живет в Штатах, говорит по-испански и хочет уехать на край света?

– Я тебе крепко помогу, если соглашусь с твоим предложением, Максимо?

– Да.

– Тогда делай все, как надо, я подменю тебя, езжай спокойно

В отеле «Интерлакен» дым стоял коромыслом: загоревшие за четыре дня туристы из Чикаго и Далласа веселились вовсю; Штирлица встретили восторженными возгласами, усадили за свой стол, – сдвинули из трех, гулять так гулять, – сразу же налили виски и предложили выпить за этот благословенный уголок, нет ничего подобного в мире, за здешних обитателей, таких достойных и красивых, индейская кровь далеких предков, поэтика испанских конкистадоров и последних европейских переселенцев. Штирлиц согласился, молча осушил свой стакан, выбросив предварительно лед в хрустальную пепельницу, и предупредил гостей с севера, что завтра разбудит рыбаков в пять утра.

– Автобус особой конструкции, – заметил Штирлиц, – начала века, так что комфорта не обещаю, и дорога далека от уровня американских автострад, советую как следует выспаться и особенно не перебирать.

– Че, но это же прекрасно! – воскликнул один из шести рыбаков, взлохмаченный, краснолицый, восторженный аптекарь из Далласа. – Мы приехали не за комфортом, а за экзотикой!

– Кто вас успел научить этому аргентинскому «че»? – поинтересовался Штирлиц.

– Здесь так говорят все! Имеющий уши да услышит!

– К инструктору надо обращаться «маэстро», – сказал Штирлиц.

Аптекарь расхохотался:

– Но ведь «маэстро» играет в ресторане на скрипке!

– Это у вас в городе он играет на скрипке. А здесь слово «маэстро» означает «учитель». Приедете в следующий раз, обращайтесь к тренеру именно так, как я вам сказал.

– А почему на юге нашего континента, – спросила пожилая женщина в легком свитере, который подчеркивал ее – до сих пор еще – привлекательную фигуру, – так трепетно относятся к слову? Какая разница: «че», «маэстро»? И то, и другое красиво...

– Народы, которые выросли из рабства, – устало ответил Штирлиц, – относятся к слову религиозно, потому что начинали не с чистого листа, как в Штатах, а на обломках царств, где человек был лишен элементарных прав – в первую очередь на слово. Они еще до сих пор не выкарабкались из-под обломков абсолютизма. У них своды законов составлены так, что одна статья может опровергнуть другую... Постановления двухсотлетней давности не отменены, – боятся резких поворотов и поэтому постепенно погружаются в трясину... Чтобы начинать новое, надо открыто отринуть старое... А этого боятся... Поэтому такая прилежность традициям, а именно традиция предписывает форму обращения к каждому в соответствии с титулом и рангом.

– Что-то в ваших словах есть радикальное, – заметил далласский аптекарь. – Не знаю что, но я ощущаю это кожей.

– У вас хорошая кожа, – заметил Штирлиц и поднялся. – В пять бужу, до утра!

Он вышел из гомона, из жаркой, дружеской духоты бара на улицу; небо было близким и звездным; новолуние; ну, загадывай желание, сказал себе Штирлиц, обязательно сбудется. Я загадал его, ответил он себе, я загадал в ту минуту, когда увидел то страшное фото; я отплачу им за тебя, ящерка, я отомщу им так, что это запомнится надолго, зелененькая... Человек рожден для того, чтобы увидеть прекрасное и быть счастливым, ведь его пускают в этот мир ненадолго, на какой-то миг, все быстролетно, а ему приходится воевать, становясь жестоким животным, только во имя того, чтобы осуществить заложенную в нем с рождения мечту о красивом и добром. Неужели в этом и есть диалектика: лишь становясь жестоким и холодным, ты можешь удержать то прекрасное, что есть окрест тебя?!

В час ночи, когда ни одного огонька в городе уже не было, засыпают здесь рано, Штирлиц, не включая света, оделся, натянул черный свитер с высоким воротником, чтобы прикрыть бороду; этот мальчик из банка прав, я поседел за пять дней, я стал седеть, как только прочитал ту газету о ящерке, седой, как лунь; плохо, когда ночью что-то выделяется на лице; краситься смешно; просто, когда начну дело, укрою нижнюю часть лица темным воротом, седина останется только у висков и на щеках, пусть, такое запоминают как неопрятность, старик не побрился, никто не воспримет камуфляж как желание скрыть седую бороду.

Из дома (он снимал мансарду на улице Эльфляйн) Штирлиц выскользнул тенью; подобрал такое жилье, чтобы из парадного было два выхода – во двор и на тротуар; перемахнул через небольшой заборчик и оказался в темном проеме между двумя коттеджами; отсюда вышел на параллельную улицу Морено; прижался к стене дома; конечно, если бы шел снег и пуржило, все было бы легче, подумал он, ничего, в конечном счете у меня теперь есть выход, он единственный, особых размышлений не требует, я так устал, что надежды уже нет; механическая работа, словно бы я не живой человек, а металлический автомат, запрограммированный на выполнение определенной задачи.

Он стоял, прижавшись спиною к деревянному дому, вслушиваясь в ломкую тишину ночи; только не торопись, сказал он себе, нельзя торопиться, работа только тогда удается, когда ты не сделал ни одного лишнего шага и убежден, что один; если тебе будут мешать, дело не выгорит; бедный Бальзак, он и погиб-то раньше времени оттого, что ему мешали заниматься любимым делом – сочинять его, бальзаковские, миры, пить несчетное количество маленьких чашечек кофе, сваренного на спиртовке, и курить табак... Зелененькая говорила, что перечитывает «Шагреневую кожу», когда ей грустно... Нежность моя, ящерка, прости меня, прости...

Лишь убедившись, что ни одного постороннего шума вокруг него не было, Штирлиц пересек дорогу и отправился на улицу Моралас, двенадцать, к оберштурмбанфюреру СС Риктеру.

У Штирлица по-прежнему не было никаких известий от Пола; но откладывать беседу с Риктером нельзя, – началась облава, меня гонят под выстрелы, что ж, ударю первым.

Он знал, что Риктер, приезжая сюда из Кордовы или Байреса, живет не один; в угловой комнате спит высокий парень с перебитым в переносье носом; не говорит ни слова, так что трудно понять – аргентинец или немец; судя по лицу, нервы в полном порядке, значит, спит сладко. Комната Риктера отделена от его – судя по матовому стеклу – ванной и туалетом; если говорить негромко, телохранитель не проснется; главное – попасть в дом и войти в спальню к Риктеру.

Как всякий немец, он спит с открытым окном, воздух излечивает все недуги, особенно здешний, высокогорный, кругом сосна, а в озере Науэль-Уапи полно минералов, она целебна, за ночь организм полностью реанимируется; кто-то из аргентинских физиков, кажется, Гавиола, говорил, что в будущем медицина будет продлевать жизнь за счет климатологического лечения; верно; древние не зря ездили из Апеннин на целебные кёльнские воды, Древний Рим знал толк в медицине, чем дальше человечество стремится вперед, тем стремительнее теряет то, что было в прошлом, а тогда жили неглупые люди, по сей день никто не смог опровергнуть ни Аристотеля, ни Платона.

...Штирлиц уже сотни раз заносил ногу на подоконник своей мансарды, подтягивался на руках, стараясь не дышать, добиваясь главного: с подоконника надо слезть беззвучно; он долго наблюдал за котом хозяина, – тот прыгал, как циркач; мягкие лапы глушат

шаг; сшил некое подобие калош из войлока, звука – при прыжке – почти не было.

...Он вошел во двор дома Риктера и снова замер, прижавшись к холодной стене коттеджа, – совершенно новая архитектура, много стекла и кирпич, не закрытый штукатуркой; каждый камень пущен в отделку: ощущение мощности, и в то же время элегантно; деревянные рамы с толстыми наличниками, окна без форточек, открываются целиком, чтобы шло больше воздуха, очень толстое стекло, отдающее голубизной, словно линза фотоаппарата, если смотреть на ярком солнце.

Ну, с богом, сказал он себе, давай, Штирлиц, занимайся не своим делом, без которого, увы, ты не можешь всерьез заняться тем, что умеешь...

Он расслабился, надел свои войлочные калоши и отчего-то вдруг вспомнил эпизод, связанный с Макиавелли. Тот в своем безудержном желании утвердить свой философский принцип – «личность подчинена государству в лице монарха, сначала общее, национальное, а лишь потом индивид, человек с его мечтами и заботами», – выстроил войска у стен Милана, чтобы потрясти кондотьера Джиованни делле Бане-Нере, ибо понимал, что философ, не подтвержденный силой, обречен на крах, мыслитель обязан быть сильными, тогда кондотьер пойдет за ним. В течение двух часов Макиавелли пытался выстроить свои войска; строй, однако, рассыпался; когорты казались бесформенными, люди не слышали команд, потому что военный должен обладать приказным голосом, иначе грош ему цена.

Тогда кондотьер, которому надоела эта буффонада мыслителя, выдвинул своих барабанщиков и флейтистов, гаркнул; порядок был наведен в пять минут; солдаты Макиавелли пожирали глазами того, кто заставил их подчиниться себе, с силой разве поспоришь, ей лучше служить.

Тем не менее, заметил Штирлиц, в памяти потомков осталась интеллектуальная наблюдательность Макиавелли, требовавшего растворения человека в обществе, – метода более удобная для правления плебсом, чем командный голос кондотьера Банде-Нере.

О чем ты, спросил он себя, положив пальцы на подоконник спальни Риктера. О том, ответил он, что надо совмещать в себе фанатизм Макиавелли с вышколенной умелостью военного, вот о чем. Ну и ну, волнуешься, брат; затяни пояс; держись; верь в удачу.

Он снова увидел лицо ящерки, яростно спружинился, вскинул тело, забросил ногу на подоконник, подтянулся; в ушах звенело, поэтому он не мог понять, действительно ли все те движения, что он ежедневно репетировал последний месяц, были беззвучны или он просто-напросто ничего не слышал из-за нервного напряжения...

Риктер, положив руки под щеку, спал, чуть посапывая.

Достав из-за пояса пистолет, Штирлиц осторожно спустился в комнату; балансируя руками, пересек комнату, уперся дулом в ухо Риктера, вторую руку положил ему на плечо, сразу же почувствовав, как оно сначала напряглось, а потом безвольно обмякло.

– Хайль Гитлер, дружище Риктер, – шепнул он, склонившись

над головой немца. – Это я, Штирлиц. Если крикнешь – пристрелю. Тебе есть что терять, а мне – нет, все потеряно. Понял?

Тот резко кивнул головой и спросил:

– Можно повернуться?

– Разговаривай шепотом.

– Хорошо, штандартенфюрер.

– Помнишь мое звание?

– Конечно.

– Поворачивайся.

Лицо Риктера в лунном свете показалось Штирлицу таким белым, будто его обсыпали мукой.

– Кто по национальности твой телохранитель?

– Аргентинец... Это соглядатай... Мне ведь некого опасаться, я не числюсь в списках разыскиваемых, просто он постоянно сопровождает меня.

– Как его зовут?

– Мануэль.

– Спит хорошо?

– Да. Он никогда не просыпается...

– Он может пройти к тебе только через ванную комнату?

– Нет, у него есть и другой ход. Через кабинет...

– Двери запираются?

– Он не придет, штандартенфюрер.

– Повторяю вопрос: двери запираются?

– Да, там есть защелки...

– Сейчас я закрою обе двери... Где у тебя оружие?

– У меня его нет.

– Но ты понимаешь, что я буду вынужден сделать, если ты включишь какую-нибудь систему?

– Понимаю.

– Я пришел к тебе с торговым предложением. В твоих интересах провести переговоры в обстановке взаимного понимания, нет?

– Можно сесть?

– Пожалуйста.

Штирлиц, не спуская с него глаз, подошел сначала к двери, что вела в ванную комнату, потом к другой тяжелой, массивной, соединявшей спальню с кабинетом, осторожно закрыл их и быстро вернулся к Риктеру, который сидел, словно приговоренный к смерти средневековый ученый, – в белой длинной ночной рубашке, опустив безвольные руки между острыми коленями.

– Ты понимаешь, зачем я пришел к тебе, Риктер?

– Не совсем...

– Ты успел унести с собою идею *моего* Рунге... Человек, которого я чудом спас от гибели... У меня есть твои рапорты Мюллеру о работе, которую ты с ним проводил, анализ его исследований, описание *методов*, применявшихся во время допросов с устрашением, словом, все то, что позволит союзникам посадить тебя на скамью подсудимых, потребовав выдачи трибуналу... Позиция ясна?

– Да.

– Оспаривать не будешь?

– В общем-то, позиция поддается раскачке, штандартенфюрер... Меня здесь поддерживают...

– Тебя поддерживают до тех пор, пока мы, братство, не сказали своего слова. Ты подошел к Перону, минуя нас, ты обошел нас, Риктер, нет?

– Я действовал самостоятельно, это верно.

– Ты отдаешь себе отчет в том, как мы нуждаемся, особенно в это трагическое время, в рычагах влияния на здешних руководителей? Ты – рычаг такого рода... Мы заинтересованы в тебе... А особенно я. Понятно?

– Да.

– Ну и хорошо. Сейчас ты напишешь согласие работать на меня: во-первых, кратко сообщишь, на каком этапе находятся твои разработки, какие фирмы и откуда поставляют тебе товар: во-вторых и в-третьих, перечислишь тех физиков из НСДАП, которые прибыли сюда и в Кордову по твоим рекомендациям.

– Зачем вам все это? – прошептал Риктер с отчаянием. – Если нуждаетесь в деньгах, скажите, я готов помогать постоянно... Хотите работать – пожалуйста, здесь нуждаются в людях вашего типа... Зачем нужны эти забытые упражнения по конспирации?

– Очень плохо, что ты забываешь упражнения по конспирации, Риктер. Ты не получал такого приказа...

– Неправда... Сеньор Рикардо Блюм дал мне полную санкцию на действия...

– Ты имеешь в виду...

– Да... Очень похож на группенфюрера Мюллера, но вы же знаете: раз не говорят – не спрашивай...

– Он тебя принял дома?!

– Нет, нет, конспиративная встреча...

Штирлиц играл сейчас, балансируя на проволоке, только она была натянута не над ареной цирка, а над пропастью, и страховки нет, и нет в руках спасительного шеста, который позволяет соотносить себя с линией горизонта, никакого отклонения...

– Посмотри на меня, Риктер. Можешь потрогать бороду, она настоящая... И очки с диоптрией... Приказ получить от тебя три документа я получил именно от него... Ты же знаешь систему: начальник корректен и добр, а подчиненный делает черновую работу, отбирает подписку, оформляет отношения, ничего не попишешь... Но дело в том, что интересы группенфюрера не во всем совпадают с моими... И подачкой тут дело не ограничится... Я хочу, чтобы ты написал и четвертую бумагу: «Дорогой Штирлиц, приглашаю Вас принять участие в разработке моего проекта. В случае Вашего отказа те идеи, которыми Вы располагали и передали мне безвозмездно в рейхе в сорок четвертом году, будут вознаграждены тридцатью процентами из моего авторского гонорара...» Ну, как? Сговоримся?

– О тридцати процентах не может быть и речи. Десять.

– Двадцать. Номер счета я скажу, когда встретимся в более удобном месте... Писать в темноте можешь?

– Я включу настольную лампу...

– Как раз этого делать не надо, Риктер... Темнота – друг жули-

ков и возлюбленных...

– Противно это все, – вздохнул Риктер. – И самое ужасное, что я дважды видел сон именно обо всем том, что сейчас происходит...

– А тебе не показывали сон о том, что пришло время идти к Перону и предлагать ему переводить исследования по бомбе в русло атомной энергетики?

– Зачем?

– Затем, что это выгоднее Аргентине. С бомбой ее задушат, а с энергетикой она станет первой страной этого континента. Подумай над моими словами... Станции – это навсегда, Риктер, бомба – ненадолго... Но к этому разговору мы еще вернемся, у меня есть все твои телефоны, я позвоню или от меня позвонят – встретимся... Обязательно скоро встретимся...

...В пять часов утра Штирлиц разбудил своих американцев, усадил их, сонных, толком еще не протрезвевших (отчего все начинающие горнолыжники так пьют после первого спуска?!), в раздрызганный автобус и попросил шофера Педро не гнать, начнут блевать, будет вонища, противно...

Когда выехали из города, Штирлиц устроился рядом с шофером и, приложив ко рту металлический рупор, громко спросил:

– Джентльмены, что вам больше по душе: всласть похрапеть или же послушать мои разъяснения про здешний край?

– Если бы можно было пропустить глоток виски, – сказал аптекарь из Далласа, – мы бы взбодрились...

– У каждого под сиденьем сумка, – ответил Штирлиц, – там найдете три сандвича, фляжку виски и фрукты.

Аптекарь застонал от наслаждения, достал холщовую сумку, припал к фляжке, блаженно зажмурился, откусил кусок груши, хрустко разгрыз ее (Штирлицу показалось, что у него зубы как у коня; все-таки что-то от животного в человеке – даже такого замечательного, как конь, – вызывает отвращение), закурил и, оглядев спутников, сказал:

– Джентльмены, по-моему, теперь самое время послушать маэстро...

– Просим, просим, – дружно поддержали остальные; лица помятые, мешки под глазами набухли, глаза покрыты красной паутиной, были б артистами или писателями, те проживают за один час несколько жизней, изнуряющее внутреннее напряжение, да и несправедливость ощущают не так, как остальные, а кончиками нервов, тем нужен стакан, чтобы хоть как-то успокоиться, а эти-то что?!

– Ладно, – ответил Штирлиц, – слушайте... Вообще-то, сначала я хочу задать вам один вопрос...

– Валяйте, – загалдели в ответ; добрая нация, дети, в них много открытости, а может, просто привыкли к гарантиям, уважают себя, поэтому так снисходительны и к себе, и к другим.

– Кто-нибудь из вас воевал?

Аптекарь ответил первым:

– Я служил в Сан-Диего, на авиабазе.

– А в Европе или на Дальнем Востоке? – спросил Штирлиц.

– Нет, никто, – ответил кряжистый крепыш, чем-то похожий на японца. – Все служили в Штатах.

– Тогда вам не понять, – сказал Штирлиц. – Вы ведь катались на лыжах в аргентинской Германии... Город начали строить австрийцы, а после того, как Гитлер повалился, сюда переехали сотни нацистов...

– Всех нацистов посадили в концентрационные лагеря, – возразил аптекарь. – Так им и надо, этим свиньям.

– Ничего подобного, – сказал Штирлиц. – Когда вернетесь, внимательно посмотрите названия магазинов, кафе, отелей, баров, компаний, каждое второе – немецкое... А особенно после того, как Перон пригласил в Барилоче немецких физиков... Не иначе, как здесь готовят атомную бомбу.

Американцы дружно расхохотались, зааплодировав Штирлицу.

– Между прочим, я серьезно, – ответил он, заставив себя улыбнуться. – Вокруг водопады, дармовая электроэнергия, вдали от людских глаз... Да вы на острова посмотрите, мимо которых проезжаете, когда отправляетесь на склон... Попробуйте туда пройти! Интересно, что с вами потом случится... Да не смейтесь вы! Это же сенсация! Расскажете американским газетчикам – заработаете деньги, окупите часть трат на путешествие... Ладно, сейчас мы начнем огибать озеро, дорога по другому берегу дерьмовая; зато можно будет выпить «агуа ардьенте» у сеньора дона Фрица Крабба...

И снова американцы расхохотались, повторяя: «сеньор дон Фриц».

– Чего гогочете?! – спросил Штирлиц. – А еще через три километра будет асиенда сеньора дона Валера, Ганса-Фердинанда Валера... А потом мы въедем в Анды, будем их резать насквозь, сорок миль, пока не упремся в чилийскую границу... Оттуда шестьдесят миль до Пуэрто-Монта – самого красивого рыбного рынка, зарядите свою сексуальную мощь мясом морских ежей, рапанами в два кулака величиной и устрицами, которых в Европе никто никогда не видывал! Впрочем, можно проехать пять миль, отогнать автобус в лес, а самим пойти по тропе в горы, через двое суток остановимся перед воротами, над которыми укреплен портрет великого фюрера Адольфа Гитлера, это колония «Дигнидад», никто в Штатах не верит, что там обосновались люди СС, а я...

– Кто такие «люди СС»? – спросил аптекарь.

– Уф, – вздохнул Штирлиц, – до чего же темные вы люди, прямо спасу нет.

Всего просчитать невозможно, сказал он себе, не мог же я всерьез рассчитывать на то, что среди туристов появится какой-нибудь журналист или ветеран, вроде Пола, который сидел в лагерях Гиммлера... Никогда нельзя рассчитывать на везение; американцы верно говорят: оптимальный подсчет должен исходить из концепции «фифти – фифти»... А из чего ты исходил, когда рассчитывал полет Клаудии в Буэнос-Айрес, спросил он себя. Этот вопрос был ужасным, как пощечина. А что я мог поделать, ответил он себе вопросом, стыдясь его; ему даже показалось, что он произнес его вслух;

поступать надо, исходя только из того, чего ты не имел права делать; если каждый научится следовать такому жизненному принципу, горя будет меньше. Вздор, возразил он себе. Война продолжается, она не кончена, а лишь обрела иные формы, в чем-то, быть может, более страшные, потому что началась борьба за корродирование идей, за подмену сущности скорректированными суррогатами былой правды, страшный процесс предательства прошлого... В войне не бывает нейтралов. Нейтрализм — фикция. Третьей силой пользуются те, которые противостоят друг другу. Клаудиа никогда не была нейтральной, она еще в тридцать седьмом слышала, как я говорил на другом языке, очень похожем на португальский, а все испанцы убеждены, что русский и португальский очень похожи, особенно в интонациях...

...Когда Штирлиц в таверне Фрица Крабба заговорил по-немецки, именно так, как говорили в американских фильмах про войну, и Фриц отвечал ему, с радостью внимая командирскому голосу сеньора Макса, настоящий берлинец, что ни говори, хозяева страны, с е р е д и н а рейха, лица американцев изменились, они как-то притихли, заново присматриваясь к окружающему...

Всю дорогу до Пуэрто-Монта Штирлиц отвечал на вопросы; их было множество; тот, что был похож на японца, записывал что-то в телефонную книжку; Штирлиц смог прочитать тисненые золотые буквы: «Налоговое управление, Нью-Йорк».

Звали его Джеймс Мацумото, он действительно служил агентом налогового управления; однако его Штирлиц ни о чем не попросил; в Пуэрто-Монте передал конверт молоденькому парнишке, морячку, в порту:

— Браток, я ухожу на Огненную Землю, не успел бросить весточку подружке, опусти в ящик, сделай милость, а?

В конверте была вырезка из газеты с рекламой летных школ: «Научитесь водить самолет — и вы обретете счастье!» И ничего больше, только буква «М». Адрес простой: «Твэнти сенчури Фокс», Голливуд, США. Так же прост обратный адрес: «Синема инкорпорэйтед».

Если за эти месяцы ничего не изменилось, письмо будет у Спарка в тот же день, как придет на студию.

...Через семь дней Штирлиц высадился со шхуны «Амиго» в Пунта-Аренас. Возле асиенды «Наталия» перешел границу, здесь ее никто не охранял.

Через двенадцать дней он позвонил в дверь квартиры сенатора Оссорио.

Тот, как только взглянул в глазок, сразу же понял: Брунн, друг той чудесной женщины, которую убили.

ПОЗИЦИЯ (Нью-Йорк, сорок седьмой)

Перед утренним заседанием Совета Безопасности Громыко увиделся с английским коллегой лордом Галифаксом за кофе; представители великих стран достаточно часто практиковали такие встречи, чтобы договориться о тактике предстоящей дискуссии: несмотря на возникшие разногласия, представители «большой тройки» должны

стараться соблюдать какие-то рамки общности; в единении боевых союзников человечество по-прежнему видит гарантию будущего, нельзя травмировать людей, это безжалостно.

Громыко внимательно выслушал доводы лорда Галифакса, высказанные, понятно, в общей форме: «Я понял вашу позицию, милорд»; в свою очередь, Галифакс поинтересовался, на каком языке будет выступать чрезвычайный посол и полномочный министр; то, как он произносил этот титул молодого русского дипломата («тридцать девять лет не возраст для политика»), доставляло ему видимое удовольствие; форма — великий организатор политики, приучает к взаимной корректности; Сталин поступил разумно, вернув мундиры своим финансовым чиновникам, горнякам и дипломатам; порою шаг в прошлое оказывается на самом деле большим подспорьем для будущего; когда Литвинов стоял в своем мятом пиджаке рядом с послами Европы, одетыми во фраки, шитые золотом, чувствовалась известная дискомфортность.

— Было бы лучше, если этот вопрос, — повторил лорд Галифакс, — ваше превосходительство изложили на английском языке. У вас прекрасный, настоящий английский — в отличие от наших младших братьев; признаться, я с трудом понимаю американцев, такое небрежение к грамматике... Обещаю вам, господин чрезвычайный посол и полномочный министр, найти в своем ответе формулировки, которые будут содействовать общей надежде на возможность продолжения дискуссии о вооружениях; видимо, я остановлюсь на вопросе целесообразности более глубокого исследования разности наших точек зрения...

С французами было легче: и радикал Мендес-Франс, просидевший в гитлеровском концлагере все годы войны, и Бидо, политик старой школы, значительно более правый, чем Мендес, не могли не соотносить свою линию с позицией де Голля, — тот относился к русским с нескрываемым респектом: «Без них победа над нацизмом была невозможна; жертвенность народа делает ему честь; Россия — традиционный — особенно в потенции — союзник Франции».

Поэтому, заняв свое место за столом и пододвинув микрофон, Громыко уже мог — в какой-то мере — предвидеть то, как будут разворачиваться прения; говорил, как и рекомендовал лорд Галифакс, по-английски:

— Думаю, что мы все согласимся с тем, что созданная Советом Безопасности Комиссия по обычному вооружению еще не сделала заметного прогресса в своей работе. В комиссии подверглись обсуждению два предварительных плана: Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. В советском плане содержится должная увязка вопроса о всеобщем сокращении вооружений и вооруженных сил с задачей запрещения атомного и других видов оружия массового уничтожения. Собственно, увязка этих двух задач представляет собой основное отличие советских предложений от американского плана, в котором вообще отсутствует какая бы то ни была увязка вопроса о всеобщем сокращении вооружений с вопросом о запрещении атомного оружия.

В советском плане предусматривается установление общих принципов сокращения вооружений и вооруженных сил и определение минимальных потребностей для каждого государства по всем видам вооружений и вооруженных сил, с учетом запрещения атомного оружия. Советский план предусматривает также установление общих принципов, которые должны быть положены в основу сокращения военной продукции и определения мощности производства военной продукции для каждого государства. Эта задача также увязывается с решением вопроса о допущении производства и применении атомной энергии лишь в мирных целях. Очевидно, что установление принципов, определяющих сокращение производства военной продукции, есть одна из важнейших задач, стоящих перед Советом Безопасности. Не скрою некоторого своего удивления, что предложение рассмотреть вопрос о военной продукции встречает сопротивление. Проблема производства военной продукции почему-то считается деталью.

Нелишне напомнить, что история дает поучительные примеры того, к чему ведет игнорирование значения проблемы военного производства. Примером может явиться гитлеровская Германия, располагавшая большими потенциальными производственными возможностями в части производства вооружений даже задолго до того, как она порвала и выбросила в мусорный ящик международные документы, в которые, как в фетиш, верили многие политические деятели мира. Германия смогла быстро вооружить и создать громадные армии потому, что вопрос о ее военных производственных возможностях не привлекал достаточного внимания тех, кто нес ответственность за судьбы мира.

Комиссия и Совет Безопасности не могут заниматься общими дефинициями, не имеющими конкретного содержания. При подготовке предложений они должны иметь дело с цифрами, временем и пространством.

Несколько слов об американском плане. Пункт, указывающий на необходимость определения общих принципов в связи с регулированием вооружений и вооруженных сил, по существу, не ставит каких-либо конкретных задач, хотя бы в самой общей форме. А в плане работы как раз и необходимо было бы сказать, в каком направлении должен решаться вопрос об определении общих принципов. То же можно сказать о пункте, указывающем на необходимость сформулировать практические предложения по регулированию и сокращению вооружений и вооруженных сил. Нашей задачей как раз и является указать, по каким проблемам такие практические предложения должны быть подготовлены. Шестой пункт вообще не имеет отношения к плану. Совершенно нет необходимости указывать на то, что комиссия должна представить Совету Безопасности доклад; это и без того является очевидным, это рутинный процедурный вопрос.

То же самое можно сказать о содержащемся в этом пункте указании на необходимость рассмотрения рекомендаций, предложенных различными делегациями по плану работы. Эта мысль является настолько очевидной, что непонятно, зачем нужно включать это по-

ложение в план. Единственным вопросом, включенным в американский план, подлежащим рассмотрению комиссии, является проблема о гарантиях. Однако поскольку он является единственным конкретным вопросом, поставленным в плане, то значение гарантий не только чрезмерно гипертрофируется, но и, по существу, отрывается от самих мероприятий по всеобщему сокращению вооружений. По-видимому, такое выпячивание вопроса о гарантиях не случайно. Оно, надо полагать, является выражением определенной линии, которая, если бы мы ей следовали, привела бы к тому же результату, к которому ведет и отрыв вопроса о всеобщем сокращении вооружений и вооруженных сил от вопроса о запрещении атомного и других видов оружия массового уничтожения.

...После окончания заседания, на котором прения, начатые французским представителем, послом Пароди, прошли достаточно спокойно, без той нервозности, которую порой пытались навязать Совету такие эмоциональные представители, как Ван Клеффенс из Нидерландов или австралийский посол Эватт (сменивший его генерал Макинтош был значительно более сдержан, с великолепным чувством юмора), молодой человек, работавший в протоколе посла, заметил, что Генеральный секретарь ООН Трюгве Ли остановил Андрея Андреевича, задав ему какой-то вопрос (отношения с норвежцем были отменные; Ли знал, что именно русские активно поддерживали его кандидатуру во время выборов; понимал, что это политический жест по отношению к Норвегии; русские соседи первыми освободили север страны от нацистов; перспектива возможного дружества должна закладываться по кирпичикам; «что ж, я готов быть кирпичиком такого рода»).

Молодой дипломат озабоченно посмотрел на часы: гость, о котором Громыко справлялся еще вчера, должен вот-вот подойти, чай и печенье готовы, заранее принесли две большие пепельницы, знали, что человек, который сейчас приедет, заядлый курильщик; очень рассеян, – несколько раз ему намекали, что посол не курит, плохо переносит запах табака, на что гость отвечал: «Что вы, у меня особые сигареты, их запах нельзя не любить, в нем тепло и аромат тропиков».

Громыко отвечал Трюгве Ли в своей обычной неторопливой манере, обстоятельно, всесторонне, пытаясь понять глубинную причину интереса, проявляемого собеседником; не глядя на часы, он точно ощущал время;разговор закончил без суеты, обменялся дружеским рукопожатием и направился в свой кабинет.

...Любопытно, подумал Громыко, неужели этот юноша из протокола запишет предстоящую встречу как «деловую»? Видимо, да; как-никак беседа с представителем французского правительства в Комиссии по атомной энергии ООН должна быть оформлена именно таким образом; Вышинский в этом смысле неумолим: «Прежде всего официальный пост; личность собеседника имеет последующее значение, меня интересует вес человека, а это как раз и определяет занимаемый пост».

Но ведь не титул – верховный комиссар Франции по атомной энергии – заставил Альберта Эйнштейна ввести гостей – посла и его

жену – в зал Принстонского университета, когда праздновалось двухсотлетие старейшего центра науки. Все собравшиеся с о р в а л и с ь со своих мест, устроив такую овацию двум парижанам, сравниться с которой могло лишь безумие в Ковент-гарден во время выступлений звезд эстрады.

Не титул – эксперт Франции – заставил Массачусетский технологический институт, самый м о щ н ы й центр атомных исследований Соединенных Штатов, собрать специальную сессию в честь человека, который сейчас сидел напротив Громыко и судорожно рылся в своем бумажнике, отыскивая что-то такое, что, видимо, было для него крайне важно и дорого.

– Вот, – сказал он наконец, протягивая Громыко истрепанную маленькую фотографию. – Полюбуйтесь! Это вам не россказни! Это не блеф! Запечатлено камерой! Ну, какова ш т у к а?! Настоящий экземпляр устрашения, а?! И где?! Представьте, в Бретани, прямо напротив моего дома, в Аркуэсте! Подлинность подтверждается, подписи Ланжевена и Пикассо!

Громыко взял фотографию: огромная рыбина лежит на гальке; рядом с ней счастливый – лицо мальчишки – верховный комиссар Франции, лауреат Нобелевской премии, величайший ученый мира Фредерик Жолио-Кюри.

Однажды, после утомительного приема у Трумэна (были приглашены все послы, множество политиков и ученых, каждый сам по себе крайне интересен, но не было духа Рузвельта, который умел объединять р а з н о с т и), Громыко, вернувшись домой, сказал жене:

– И все-таки лучшими университетами – после того, как человек закончил университет, то есть научился систематике мышления, – являются встречи с разнонаправленными индивидуальностями... Даже дурак может чему-то научить, – он усмехнулся, – только ум ограничен, а глупость границ не знает.

...Несмотря на р а с п и с а н н о с т ь каждого дня, – работа посла начиналась в восемь и заканчивалась заполночь, после того, как отправлены все телеграммы в Москву, – Громыко, по возможности, сдвигал протокольные мероприятия, чтобы пригласить на ужин Людмилу Павличенко, которая потрясла Америку, Оппенгеймера, Орланди, Кусевицкого, Симонова, Михоэлса, Ицика Фефера, Скобельцына, Стоковского, Орсона Уэллса, Эренбурга.

Орсон Уэллс, как только появлялся в советском посольстве, сразу же приковывал к себе общее внимание: этот человек того стоил. Именно он поставил на нью-йоркском радио сенсационный спектакль, смонтировав его, словно это был прямой репортаж с места события; не только в крупнейшем городе побережья, но и по всей стране началась паника, которую можно было сравнить разве с ужасом «черной пятницы», с днем экономического краха...

Голос диктора дрожал, говорить мешали зловещие помехи: «В Америке высадились марсиане, я веду этот репортаж с места боя... Мы беспомощны их остановить!»

Орсон Уэллс сумел так н а г н е с т и страсти, что люди бросились из города – кто куда, любым путем, но только поскорее выбраться. скрыться где-нибудь, затаиться, переждать...

...Жолио-Кюри попросил еще одну чашку чая, он очень любил грузинский. «Говорят, самое красивое место Абхазии – это республика, входящая в состав Грузии, – пояснил Громыко, – в Гаграх. Мы, правда, с женой еще ни разу там не были, но мечтаем там отдохнуть; именно в Абхазии собирают какой-то уникальный сорт чая, без которого грузинские сорта теряют необходимый компонент качества».

– А где вы отдыхали последний раз? – поинтересовался Жолио-Кюри.

– Дай бог памяти, – ответил Громыко. – По-моему, это было, когда нам с Лидией Дмитриевной не исполнилось еще тридцати... Кажется, в тридцать девятом... мы ездили в Белоруссию, в деревню... К маме...

– Есть где заниматься спортом? Корты, бассейн?

Скрыв улыбку, Громыко ответил:

– Там у нас другие задачи...

Не говорить же, что надо было хоть как-то подправить дом, – рушится, углы хоть подвести, перестелить крышу, зимой текло, хоть корыто подставляй...

– А нас с женой свела не наука, а спорт, – словно бы удивляясь этому, заметил Жолио-Кюри. – Ирен пловчиха, и я пловец... Она любит парусный спорт, и я обожаю... А лыжи?! О, каждую свободную неделю мы отправляемся в Альпы! Я освоил поворот «Аллен», это считается верхом мастерства, нет, правда!

Как ребенок, подумал Громыко, все гении хранят в себе детство значительно дольше, чем ординарные люди; раскованность поведения есть продолжение безбрежной раскованности мысли.

– Мы не можем поладить с Ирен только в двух видах спорта: рыбалка и джиу-джитсу.

Громыко искренне удивился:

– Занимаетесь джиу-джитсу?

Жолио-Кюри улыбнулся своей мягкой, чарующей улыбкой:

– У меня есть друг, прекрасный мастер этой действительно увлекательнейшей борьбы... Попал в затруднительное положение – налоги, что-то не сложилось в семье, долги, – я не люблю задавать вопросы, друг сам говорит то, что считает нужным... Словом, надо было сделать ему рекламу... А я в колледже был первым бомбардиром, порою думал – не пойти ли в профессиональный футбол? Обзвонил своих спортсменов и физиков, начали кампанию за джиу-джитсу... Мне пришлось пройти начальный курс, увлекся... Реклама, прежде всего реклама, теперь мой друг преуспевает, к нему записываются за год – только бы попасть к великому мастеру джиу-джитсу... Он начинает свои занятия с любопытной новеллы – про то, как австрийская полиция, после попытки фашистского путча тридцать четвертого года, пригласила тренеров джиу-джитсу из Японии... Масенький человечек из Токио сказал, что он уложит любого громилу: джиу-джитсу может все! Ему вывели двухметрового венского силача. «Бей меня, что есть силы, – сказал японский мастер и неторопливо изготовился к отражению удара, – если я слишком сильно переброшу тебя через плечо – не взыщи, я должен проиллюстрировать со-

бравшимся всю силу джиу-джитсу»... Австриец ударил что есть мочи, и несчастный инструктор из Токио отлетел в угол, потеряв сознание... Когда его откачали, он даже расплакался от обиды: «Вы поставили против меня левшу, а я приготовился отразить удар справа»... Да, да, правда! – воскликнул Жолио-Кюри. – Вот мой друг и заключает эту вводную новеллу сентенцией: «Если джиу-джитсу поможет вам быстро думать и принимать немедленное решение, а не только слепо повторять приемы, которые я стану вам показывать, моя задача будет выполнена»... Прекрасно, а?

– Кстати, – внезапно лицо Жолио-Кюри изменилось, сделавшись медальным, настоящий патриций Древнего Рима, – вам не кажется, что месье Вышинский оказывает медвежью услугу Сталину? Я был на его вчерашней речи, присутствующие пожимали плечами, спрашивая друг друга: «Неужели дух Византии по-прежнему угоден Москве? Ведь истинное величие должна отличать скромность».

...Сегодняшнюю ночь Громыко провел, вычитывая речь Вышинского, который – это было уникально – являлся одновременно заместителем и Сталина, и Молотова. На одной только странице он умудрился затолкать:

«Но, – говорил генералиссимус Сталин, – выиграть войну еще не значит обеспечить народам прочный мир. Задача состоит в том, чтобы предотвратить новую агрессию».

Что для этого нужно?

Отвечая на этот вопрос, генералиссимус Сталин говорил, что кроме полного разоружения агрессивных наций существует лишь одно средство: создать специальную организацию защиты мира.

Генералиссимус Сталин говорил, что «это не должно быть повторением печальной памяти Лиги Наций». «Это, – говорил Сталин, – будет новая, специальная, полномочная международная организация».

Однако остается еще вопрос о том, можно ли рассчитывать на то, что действия этой международной организации для достижения указанных целей будут достаточно эффективными. И на этот вопрос генералиссимус Сталин дал точный ответ, значение которого приобретает особенную силу в свете той дискуссии, какая идет вокруг вопроса о вето.

Генералиссимус Сталин указал, что действия этой международной организации будут эффективными в том случае, если «великие державы, вынесшие на своих плечах главную тяжесть войны против гитлеровской Германии, будут действовать и впредь в духе единодушия и согласия». Сталин добавил: «Они не будут эффективными, если будет нарушено это необходимое условие».

...Слушая Жолио-Кюри, – слова его дышали искренностью, неподдельной обидой за Советский Союз – Громыко вспомнил недавний прием, на котором был Лион Фейхтвангер; маленький, нескладный, в допотопных очках, он задумчиво, словно бы с самим собою, размышлял: «В моей брошюре «Москва, 1937» был приведен эпизод, который мне рассказали советские друзья: на встрече Нового года – среди близких друзей дома – Сталин поднял тост за «гениального учителя народов, выдающегося революционера, блестящего полити-

ка, автора всех наших побед» с надеждой, что это будет первый и последний тост такого рода в его адрес в наступающем году... Мне понравился этот рассказ, я ему поверил, вставил в свою брошюру. Я понимаю, в трудные годы войны народ должен был иметь святое, патетические здравицы в его честь были как-то оправданны, но сейчас иное время, отчего же снова бесконечное повторение его имени, зачем это постоянное — «гениальный учитель всех времен и народов»? Нужно ли это России? Ее достоинству?»

...Громыко в высшей мере тщательно выверял свои речи и в Совете Безопасности, и на заседаниях Генеральной Ассамблеи; старался избегать славословия, предпочитал несколько суховатую, чуть отстраненную доказательность; постоянная ссылка на авторитеты не всегда целесообразна, чем тверже каждый гражданин отстаивает общую позицию, тем она сильнее; любимой книгой посла была история Пунических войн, к ней он прибегал весьма часто, — кладезь политического ума, тревога аналогий...

Молотов одобрил линию, занятую Громыко: «Вам здесь виднее». Вышинский, однако, придерживался иной точки зрения; его ледяные глаза-буравчики таили в самой глубине постоянную зажатую настороженность; в нью-йоркской прессе писали: «Меньшевик, брат известного анархиста, отбитого из бакинской полиции во время вооруженного налета;родственник одного из самых талантливых польских ксендзов, мистер Вышинский являет собою загадку; будущее, однако, найдет возможность ее разгадать».

Во время одного из обедов — собрался узкий круг — Вышинский рассказывал:

— Хотя бы раз в году, но обязательно я вижу один и тот же сон... Или, говоря точнее, не сон, а эпизод из жизни... В двадцать четвертом году я был следователем уездной прокуратуры... Отправился в глухую деревню пешком, повозку на станцию не прислали, хочешь не хочешь, иди... А шагать надо по глухомани, верст двенадцать... Отошел я от станции, миновал поле, просквозил один перелесок, второй, вышел на поляну и увидел перед собою три пары красно-зеленых глаз... Волки... Обернулся: сзади еще два зверя... Медленно, затаенно они обошли меня, образовав круг. Я сделал шаг вперед... Круг сузился... Поднял ногу — круг стал еще теснее... Один, в лесу, до станции верст пять, до деревни семь — гибель... Небо высокое, дневное еще, но уж месяц появился... В зимние, морозные дни появляется рано — к беде... Я стою недвижно, и волки вокруг — тоже недвижны. Чуть руку подымешь, они — ближе... Да... Все же повозку-то за мной послали... По-русски, как всегда, с опозданием в два часа... Это меня и спасло, я еще ничего не слышал — ни песни кучера, ни острого скрипа полозьев, а звери уже исчезли. Я так боюсь этого сна, но и жду его — хоть бы поскорее прошел, еще год можно спать спокойно...

— Тем не менее, — задумчиво сказал Громыко, — «мистером вето» называют не Вышинского, а меня... А что делать? Не примени я вето, послы демократических стран по-прежнему бы позорили себя пребыванием в столице фашистской Испании... Организация Объединенных Наций, по-моему, наработала огромный авторитет, публично ошельмовав Франко нацистом...

— А в какой мере вето применимо к ситуации в Греции? — спросил Жолио-Кюри. — В Турции? Всякому непредубежденному человеку понятно, что мистер Трумэн решил окружить Россию своими базами, явный вызов...

— К сожалению, не все понимают, что это вызов и попытка создать новый санитарный кордон против моей страны... Но если строить выступление именно так, меня немедленно обвинят в коммунистической пропаганде, сейчас это модно в Соединенных Штатах... Я должен оперировать фактами, только фактами и ничем иным, кроме фактов.

Действительно, свое выступление Громыко построил на исследовании данностей; никакого ухода в прошлое — разбираем сложившуюся ситуацию, забудем на время «политику аналогов», столь угодную англо-американцам, имеющий уши да услышит.

На заседании Совета Безопасности Громыко тогда говорил, чеканя каждое слово, чтобы скрыть понятную озабоченность происшедшим; всего полтора года минуло после окончания войны, а Вашингтон уже намерен разворачивать строительство военных баз на границах с тем государством, которое считалось, да и поныне продолжает считаться, его боевым союзником:

— Как можно согласиться с утверждением, будто бы действия Соединенных Штатов в отношении Греции и Турции способствуют укреплению Организации Объединенных Наций, когда своим выступлением правительство Соединенных Штатов игнорировало Организацию Объединенных Наций, не посчиталось с авторитетом этой Организации?! Правительство Соединенных Штатов не обращалось в Организацию Объединенных Наций по вопросу о помощи Греции и Турции, предпочитая действовать в этом вопросе, обходя Организацию и лишь постфактум информируя ее о намеченных им мероприятиях.

...Представитель США стремился убедить нас в том, что так называемая американская помощь Греции и Турции будет способствовать укреплению мира и безопасности в этом районе. Он указывал при этом на существующее напряженное положение в Греции, особенно в ее северной части, связывая это напряженное положение с якобы существующей по отношению к этим странам угрозой извне.

Но в таком случае правительство Соединенных Штатов было бы обязано доказать соответствующему органу Объединенных Наций, при данных обстоятельствах — Совету Безопасности, что угроза, о которой говорит американское правительство, в действительности существует в отношении этих стран. Наличие подобной угрозы необходимо было бы доказать для того, чтобы Совет Безопасности мог принять предписанные Уставом мероприятия в интересах поддержания мира.

Однако правительство Соединенных Штатов предпочло, по-видимому, значительно более легкий для него метод односторонних действий. Нельзя не отметить, что характер «помощи», которую правительство Соединенных Штатов намерено оказывать Греции и Турции, таков, что ее никак нельзя признать соответствующей целям и принципам Объединенных Наций. Это видно хотя бы уже из того,

что объявленная правительством Соединенных Штатов политика в отношении этих стран предусматривает, как известно, не только экономическую помощь, но также и военную. Больше того, из сообщений представителей правительства Соединенных Штатов следует, что большая часть ассигнуемых для Греции сумм предназначается не для восстановления экономики этой страны и не для оказания материальной помощи населению, а для военных нужд. Это означает, что оказание так называемой «помощи» не может принести экономического оздоровления Греции и улучшения материальных условий греческого народа.

Что же касается Турции, то из выступления тех же представителей правительства Соединенных Штатов в конгрессе следует, что все ассигнования для Турции предназначаются фактически только для военных нужд.

...Греция, как союзная страна, сильно пострадавшая от войны и вражеской оккупации, имеет право на получение помощи извне. Однако можно ли сказать то же самое относительно Турции? В борьбе с сильным и жестоким врагом демократических стран, против немецко-фашистских полчищ, Турции не было в демократическом лагере. Можно ли игнорировать эти факты при обсуждении в Совете Безопасности вопроса о действиях Соединенных Штатов в отношении Турции?

Действительная материальная помощь, в которой нуждается греческий народ, может и должна быть ему оказана, но эта помощь должна быть именно помощью, а не прикрытием целей, не имеющих с помощью ничего общего, эта помощь должна быть оказана через Организацию Объединенных Наций, что устранит возможность какого бы то ни было иностранного влияния на эту страну.

– А не попробовать ли обсудить эту проблему напрямую – с американскими военными? Они-то должны понимать, что, создавая военные базы в ста километрах от Сочи, они не могут не вызвать ответной реакции Москвы? – спросил Жолио-Кюри. – Я начал военную службу еще в двадцатых годах, капитан французской армии, чем весьма горд... Военные люди обладают определенным прагматизмом мышления, да и потом войну знают не по книжкам...

– Такого рода контакт, даже если вы и считаете его целесообразным, – ответил Громыко, – противоречил бы моему статусу, он определен достаточно жестко – Организация Объединенных Наций...

Жолио-Кюри улыбнулся своей чарующей улыбкой:

– А знаете, я ведь не просто капитан артиллерии! Я был связан с военной разведкой Франции! Мы нанесли такой удар бошам, который в чем-то определил исход войны! Нет, правда!

Громыко отметил, что Жолио-Кюри снова сомневается, верят ли ему; воистину гений и дитя в одном лице.

– Я ничего об этом не слыхал, – заметил Громыко. – Наверное, государственная тайна?

– Какая «тайна»?! Парижские газетчики уже написали об этом,

все переврали, а ведь дело было совершенно поразительным! Хотите, расскажу?

— Конечно. Еще чаю?

— Потом, — Жолио-Кюри был уже весь в прошлом, совсем, кстати, недавнем. — Вы же прекрасно знаете, что существовали разные мнения об атомной реакции, но то, что без тяжелой воды не обойтись, было ясно всем... А накануне войны ее производил только один завод в мире, в Норвегии, кажется, «Норск хайдро»... Пара сотен килограммов тяжелой воды — все, чем обладало человечество в Западной Европе, когда нацисты захватили Норвегию... Мы с Львом Коварским, это мой близкий друг, — пояснил Жолио Кюри (добавив щедрое: он гений), — обратились в министерство обороны: тяжелая вода не должна попасть бошам, ее необходимо вывезти из оккупированной Норвегии, тогда мы можем продолжить наши работы по созданию своего ядерного реактора... Знаете, военные нас поняли! Видимо, наши военные особые люди, ведь именно они выдвинули из своей среды де Голля, с ним можно соглашаться или нет, но ясно, что это настоящая звезда на политическом небосклоне мира... Словом, в это дело вошел лейтенант нашей разведки Жак Аллье, совершенно поразительный человек, других таких я не встречал! Он совмещал в себе талант исследователя, озорство и бесшабашность шалуна и чистоту и трепетность влюбленного юноши! Представляете, что это за гремучая смесь! Да к тому же шумен, смешлив, пьющ, не оставляет без внимания ни одной привлекательной женщины — хрестоматийная иллюстрация несерьезности... Словом, расспросив всех моих коллег о том, что его интересовало, он вылетел в Стокгольм, а оттуда перебрался в Осло... Учтите: в Осло, оккупированное нацистами! С которыми мы находимся в состоянии войны! И было это — страшно вспомнить — за три месяца до падения Парижа; какой прекрасный роман написал Эренбург об этой трагедии, — лицо Жолио-Кюри сделалось мягким, улыбчивым, вокруг глаз собрались мелкие морщинки («Так бывает у всех, — отметил Громыко, — кто часто смеется, плохие люди смеются редко»). — Он всегда просил меня, когда приезжал в гости, играть ему Равеля и Прокофьева... Я это делал с радостью, он прекрасный ценитель, хотя страшно резок, бритва, а не человек... Так вот, лейтенант Аллье придумал совершенно феноменальный план... Он пошел не по пути авантюр и трюков, а стал действовать как преуспевающий коммерсант и заключил с этим самым заводом вполне официальный контракт на приобретение тяжелой воды... Причем с помощью норвежских юристов-патриотов он з а с а д и л в договор пункт, что товар передается не частному лицу, а французскому правительству! Можете себе представить?!

— С трудом, — ответил Громыко. — В условиях оккупации это почти немыслимо...

— Вот именно! Если бы Аллье стал советоваться в Париже с начальством, боюсь, они бы замучили его коррективами, все могло сорваться, надо брать ответственность на себя или уж советоваться с тем, кто, сказав «да», не меняет его на «нет».

Громыко кивнул, снова вспомнив глаза Вышинского; когда советская делегация обсуждала вопрос о Палестине, тот бегло пробе-

жал текст выступления посла, написанный прошедшей ночью, резко заметил: «Не годится». Молотов – в отличие от Вышинского – читал достаточно медленно, вбирая в себя не то что фразы, а, казалось, слова, каждое в отдельности:

«Вопрос о Палестине стал острым политическим вопросом. Известно, что представители Великобритании неоднократно отмечали в разное время, что мандатная система управления Палестиной себя не оправдала и что решение вопроса о том, как быть с Палестиной, должно быть найдено Организацией Объединенных Наций. Так, например, господин Бевин заявил в Палате общин 18 февраля 1947 года: «Перед администрацией в Палестине стояла труднейшая задача. Она не пользовалась поддержкой народа, она подвергалась критике с обеих сторон».

Действительно, Палестина представляет собой вооруженный лагерь. Следует ли удивляться, что при том положении, которое сложилось там, ликвидации мандата требуют как евреи, так и арабы? На этом они полностью сходятся. По этому вопросу между ними нет разногласий. А с этим Объединенные Нации не могут не считаться. Наше внимание не может не быть приковано к другому важному аспекту этого вопроса. В последней войне еврейский народ перенес исключительные бедствия и страдания. Эти бедствия и страдания, без преувеличения, не поддаются описанию. На территориях, где господствовали гитлеровцы, евреи подверглись почти полному физическому истреблению. Общее число погибшего от рук фашистских палачей еврейского населения определяется приблизительно в шесть миллионов человек.

Но эти цифры, давая представление о жертвах, которые понес еврейский народ от фашистских агрессоров, не дают представления о том тяжелом положении, в котором очутилось еврейское население после войны. Позволительно спросить: могут ли Объединенные Нации, учитывая тяжелое положение сотен тысяч уцелевшего еврейского населения, не проявлять интереса к положению этих людей?

То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилий со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Я сейчас подхожу к вопросу, являющемуся основным в связи с обсуждением задач и полномочий комиссии, которую мы предполагаем создать, – к вопросу о будущем Палестины. Из числа наиболее известных проектов необходимо отметить следующие: образование единого арабско-еврейского государства с равными правами для арабов и евреев; раздел Палестины на два самостоятельных государства – арабское и еврейское; создание из Палестины арабского государства без должного учета прав еврейского населения; создание из Палестины еврейского государства без должного учета прав арабского населения.

Историческое прошлое, равно как и условия, создавшиеся в Палестине в настоящее время, не могут оправдать любое одностороннее решение палестинского вопроса как в пользу создания независимого арабского государства, без учета законных прав еврейского

народа, так и в пользу создания независимого еврейского государства, игнорируя законные права арабского населения».

Закончив изучение текста Громыко, министр поднял глаза на Вышинского:

— Собственно, п-почему «не годится»? Изложите возражения, Андрей Януарьевич...

Тот почувствовал нечто в интонации Молотова, пожал плечами, ответил обтекаемо:

— Мне показалось, что надо подредактировать ряд формулировок...

— К-каких именно? — по-прежнему тяжело, наступающе поинтересовался Молотов. — Что конкретно вы п-предлагаете отредактировать?

Вышинский отступил:

— Если у вас нет возражений, Вячеслав Михайлович, то...

Молотов вернул Громыко текст:

— По-моему, годится. Линию вы нащупали правильную. Выступайте.

Жолио-Кюри между тем достал новую пачку сигарет.

— Моя Ирен делает все, чтобы я бросил курить, — вздохнул он, — но это выше моих сил... Такое наслаждение затянуться черным табаком... Вы не курите, господин посол?

— И не пробовал... Чту мать...

— Верующая?

Громыко помедлил с ответом и, тем не менее, сказал определенно, четко:

— Да.

— Мои родители тоже... Видимо, у каждого существует естественный рефлекс против небытия... Сама эта идея, — он тяжело затянулся, щеки провалились, резко выступили скулы, — невыносима, поэтому люди старались уйти от нее, создавая веру... Но я с детства был рационалистом, не верил в хрупкость мечты о загробной жизни... Мои размышления о смерти — еще в молодости — привели меня к вполне земной проблеме: не состоит ли вечность в том, чтобы установить зримые, живые связи, которые соединяют нас с людьми и вещами, существовавшими на земле ранее? Между прочим, именно об этом был долгий разговор с лейтенантом Алльe накануне его операции... Кстати, дело ведь чуть не сорвалось... После того, как Алльe — на территории, оккупированной нацистами, — стал законным владельцем тяжелой воды, все уперлось в «мелочь»: как транспортировать груз?! В чем?! Попробуйте заказать сварные канистры на заводе в Осло, полном гестаповских соглядатаев?! Провал! И лейтенант нашел мастера, простого рабочего, тот сделал великолепные емкости, воду привезли на аэродром Форнебю, продекларировали на тот рейс, что вылетал в Амстердам, а загрузили в самолет, отправлявшийся в Шотландию! А?! Великолепно?!

— Действительно, лихо, — согласился Громыко.

— И в середине марта сорокового года весь запас тяжелой воды был у нас, в Париже. Но ведь в июне боши ворвались в столицу!Мы увезли «продукт зет» в Клемон-Ферран... Знаете, где спрятали? В сей-

фе французского банка! Но через несколько недель директор потребовал, чтобы мы немедленно забрали свой «продукт», видимо, что-то прослышал, люди фатально боятся всего, что связано с нашими исследованиями... Тогда мы спрятали канистры в камере тюрьмы, где содержались особо опасные преступники... А боши уже рыскали по всей Франции в поисках нашей тяжелой воды, гестапо напало на след... Тогда я решил отправить моих сотрудников с «продуктом зет» в Англию... Тем более, большинству из них просто-напросто нельзя было оставаться со мною, их бы сожгли в крематории, евреи... Я бросился в Бордо и оттуда успел отправить бесценный груз в Лондон, только чтобы он не достался нацистам... О, сколько раз меня потом допрашивало гестапо! Как я остался тогда жив — не знаю...

— Вы рассказали сюжет романа, — заметил Громыко. — А фильм вообще мог бы получиться совершенно поразительный...

Жолио-Кюри махнул рукой:

— Почему-то такого рода ленты начинают снимать только после того, когда уже нет на свете участников дела... Странно, но это так... Я не замучил вас?

— Каждая встреча с вами — радость для меня, господин Жолио-Кюри.

Внезапно лицо ученого изменилось, скулы выступили еще острее, глаза потухли, сделавшись усталыми, полными растерянного недоумения:

— Как вы думаете, с американским представителем в Атомной комиссии удастся хоть о чем-то договориться?

— Вы имеете в виду Бернгардта Баруха?

— Да.

Громыко ответил не сразу:

— Видите ли, меня с ним связывают добрые отношения... В личном плане... Мы встречаемся домами, и, как мне кажется, Барух отдает себе отчет в том, сколь трагична проблема атомного оружия... Но ведь он не может вести свою линию, не консультируя ее с Белым домом... Человек он самобытный — бывший грузчик, боксер, самоучка, невероятно тянется к культуре, лишен зла, предвзятости, однако он лишь выразитель позиции, занятой Вашингтоном...

(Лидия Дмитриевна, жена посла, проводив Баруха после очередного ужина, — на этот раз стол был белорусский, гречневые блины, американцы это блюдо обожали, — посмеялась:

— У меня такое впечатление, что Барух берет у тебя бесплатные уроки:задаст вопрос по истории или экономике, ты ему все обстоятельно излагаешь, а он слушает да на ус мотает, они ж любят, когда все доходчиво объясняют, словно дети...

Когда седовласый, кряжистый Барух пригласил советского посла на день рождения, — ему тогда уж было за семьдесят — в отеле «Мэй Флауэр» на Коннектикут-авеню — там работал русский повар, очень тянулся к советским — заказали утыканный кукурузными початками, сделанными из сахара, торт; вручая «новорожденному» подарок, Громыко пожелал:

— Живите столько лет, господин Барух, сколько зерен в этих початках!

Восторг гостей, собравшихся в небольшом особняке американского «атомного посла» на Кони-Айленде, был совершенно неописуемым, тем не менее Барух остался верен себе; когда понял, что веселье удалось, взял Громыко под руку: «Пожалуйста, объясните-ка мне Талейрана, особенно его парадоксы во время главных конференций, в которых он принимал участие»; Громыко переглянулся с женою, та с трудом сдерживала улыбку: «Ну и хитрый американец!»

Громыко подробно рассказал ему о французском министре; Барух слушал зачарованно, потом спросил:

– Скажите, мистер Громыко, как вам покажется такая фраза: «В дни войны все мечтают о мире, но, когда мир наступил, он скоро делается невыносимым»?

– По-моему, ужасно, – ответил Громыко. – В этом есть нечто циничное, жестокое... Кому принадлежат эти слова?

– Пока никому, – ответил Барух. – Но будут принадлежать мне.

– Это невозможно! Вы не вправе произносить такое!

– Уже написано, – Барух вздохнул. – И принято... Видимо, такое сейчас угодно. Не браните меня особенно жестоко за эти слова, думаю, они не помешают нам продолжать дискуссию об атомном оружии. Думаете, я его не боюсь? – Барух потянулся к Громыко, понизил голос. – Разве есть на свете люди, свободные от ранее принятых на себя обязательств?!)

– Обидно, если не удастся договориться. И очень горько, – сказал Жолио-Кюри. – В глазах простых людей понятие «атомная энергия» связано сейчас с бомбой и Хиросимой... Но мы-то, ученые, знаем: это и энергетика, и биология, и медицина... Заметьте, переход от мысли единиц к действию масс протекает крайне медленно... «Атом» еще не полностью понят, а уж реализован – тем более; поверьте, мир еще ждут невероятные открытия, «атом» послужит цивилизации...

– Если только не будет новой Хиросимы, – заметил Громыко.

– Да, – Жолио-Кюри снова закурил. – Если не будет повторения ужаса...

– Хотите взглянуть, как я намерен закончить свое выступление в Комиссии по атомной энергии?

– Это же, наверное, секрет? – Жолио-Кюри рассмеялся. – Разве можно?

– Вам – да, – ответил Громыко серьезно. – Если будут замечания, отметьте карандашом, люблю спорщиков, особенно таких, как вы...

Достав из кармана «монблан», Жолио-Кюри взял страничку: «Уяснение действительного положения вещей, быть может, посодействует нам в том, чтобы справиться с серьезными задачами, которые стоят перед Организацией Объединенных Наций в области установления международного контроля над атомной энергией, чтобы не допустить ее использование в военных целях и обеспечить ее применение лишь во благо человечества, подъема материального уровня народов, расширения их научных и культурных горизонтов».

Жолио-Кюри удовлетворенно кивнул, вернул текст Громыко:

– Хотите, подпишусь под каждым словом? Я готов.

ШТИРЛИЦ, ОССОРИО
(Буэнос-Айрес, сорок седьмой)

– Вам известно, кто убил женщину, которая вас любила? – спросил Оссорио шепотом, поднявшись со Штирлицем на один пролет вверх.

– Нет... Обвинять будут меня.

Оссорио кивнул:

– Верно. Того человека зовут Хосе Росарио, он испанец, дом на углу улиц Сармиенто и Уругвай, второй этаж, «Конструксьонес сегуридад анонима»... Я начал юридическую практику, у меня сегодня ужин с клиентом, он итальянец, назначил встречу в Ла Боке; знаете, где это?

– Куплю карту.

– Итальянский район, там полно туристов, спросите, где Молодежный клуб атлетов, каждый покажет, рядом стадион, найдете улицу Некочеа, ресторан «Альмасен», сядете за стол рядом с моим, когда я кончу ужин и попрощаюсь с клиентом, обратитесь с просьбой показать вам что-то по карте. Это не вызовет особых подозрений... Ваша любимая не говорила мне, что вы такой седой...

– Она и не могла вам этого сказать...

– Я ей назвал три имени...

– Я назову больше... И дам адрес в Штатах, куда это можно отправить, – если, конечно, захотите... А еще лучше, если бы вы взяли такое дело, которое бы позволило – без подозрений со стороны военной контрразведки – съездить в Штаты.

– Ну, я не привык загадывать так далеко, да и предпочитаю полагаться на собственные силы... До свидания, мне должны звонить.

– Спасибо, сенатор.

– За что? Только-только попытался стать гражданином – и...

Досадливо, как-то по-стариковски махнув рукой, Оссорио быстро спустился в квартиру и осторожно прикрыл за собой дверь.

Штирлиц вышел на улицу, в шум и гомон, какой-то совершенно особый в Латинской Америке, очень испанский, только в Аргентине ему придана особая деловитость Штатов и Британии, он, этот постоянный шум, отличается стремительностью, но, в отличие от Перу, Боливии или Панамы, он здесь не шальной, но устремленный; страна дела, входит в десятку наиболее развитых государств мира, конкурент северу, растет как на дрожжах.

Где же они держат пункт слежения за сенатором, подумал Штирлиц. Наверняка в одном из соседних домов. Однако стереотип испанского мышления должен помочь мне: за седым сеньором в роскошном костюме и с тростью они вряд ли сразу же пустят наблюдение, видимо, ждут иных персонажей;не могли же они за неделю разослать мои новые фото; наверняка, меня зафиксируют, как фиксируют каждого, кто входит в его подъезд; надо бы сенатору снять квартиру в том доме, где много офисов, труднее следить, я скажу ему об этом; он очень подозрителен, постоянно борется с самим собой, таким людям трудно жить... Если поверил человеку – верь до конца, отводи все мыслишки, которые лезут в голову,

нет ничего страшнее постоянных сомнений в правильности намеченного курса, единственно, что убивает в человеке художника, так это комплексы, никакой психиатр не поможет, только ты сам и хозяин, и подданный самого себя. Правильно, ящерка, спросил Штирлиц Клаудиу, которая теперь постоянно стояла в глазах: костюмчик очень шел ей, а туфельки подчеркивали прекрасную форму ноги, все в тон, со вкусом, нежность моя, это же ты все делала для меня...

Штирлиц отправился в центр, остановился возле небоскреба, построенного в тридцатых годах итальянцем Марио Паланти, усмехнулся, прочитав надписи у входа в здание, — каждый подъезд обозначен своей: «Слова убивают, дух побеждает»; «Человека, как можно больше человека!»; «Искусство — это человек, обращенный к природе»... Верно, подумал Штирлиц, только порою самая абсолютная мысль может быть чушью, если приложена к человеку в моем положении... Мною сейчас руководит иное — очень короткое слово «месть». А сопрягается с этим словом совершенно странное, вроде бы несочетающееся — «автомобиль».

Он купил себе маленький подержанный «форд»; машину выгнали прямо из магазина на улицу; продавец съездил в полицию и привез номер, все дело заняло пятьдесят минут; у них хорошие учителя, подумал Штирлиц, научили экономить время, в Испании эта процедура заняла бы день.

Разложив на коленях карту, он нашел пересечение улиц Сармиенто и Уругвай, припарковал машину в близлежащем дворе, поднялся на второй этаж и остановился перед массивной дверью, на которой красовалась большая медная табличка: «Конструксьонес сегуридад анонима».

Он посмотрел на свое отражение в этой желтой, начищенной до солнечного блеска медной табличке — седой мужчина в чуть затемненных очках, коротко стриженная седая эспаньолка, седые усы, чуть подвитые седые волосы; в Барилоче я был как дед: борода рыжая, усы длинные, волосы до плеч; если у Росарио есть под рукой мои мадридские фотографии, там я без усов и бороды. И потом я был тогда болен, а болезнь всегда п р о п е ч а т ы в а е т с я на фото, болезнь делает лицо человека иным; нет, он не узнает меня. Хорошо, возразил себе Штирлиц, но ведь здесь, видимо, находится одна из испанских резидентур, работающих в контакте с полицией или военной контрразведкой Перона. Меня начнет пасти здешняя служба, даже если желание вложить деньги в их бизнес, построив себе домик в Патагонии, вполне мотивировано.

Штирлиц спустился в вестибюль, хотя рука его уже невольно потянулась к звонку — тоже медному, пошлейшему, сделанному в форме женской груди; мужчина в униформе, сидевший за столиком, на котором стояли два телефона, один белый, а другой красный, видимо, местный, посмотрел в справочные книги и написал Штирлицу номер сеньора дона Росарио: «Вам ответит его секретарь сеньорита Бенитес-Ламарк, она очень любезна и соединит сеньора с доном Хосе незамедлительно, особенно если речь идет о выгодном бизнесе, можете позвонить прямо от меня».

– Благодарю, вы очень любезны, – ответил Штирлиц, – но я не взял с собою документацию.

Десятки людей заходили в вестибюль, выходили из него; этот служащий не зафиксирует меня, слишком много народа посещает здание, подумал Штирлиц, но звонить надо из автомата.

– Скажите, а кто еще строит коттеджи по заказу иностранных фирм? – спросил, тем не менее, Штирлиц. – Я ткнулся в первое попавшееся объявление, может быть, в «Конструксьонес» занимаются лишь промышленным строительством?

– О, они занимаются всем, сеньор, очень престижная фирма.

– У вас, случаем, нет их проспекта?

– Нет, сеньор, к сожалению, нет! Проспекты печатают только к рождеству, вместе с записными книжечками и календарями, расходятся моментально, каждому приятно иметь дома сувенир...

Штирлиц перешел улицу; в одном блоке от «Конструксьонес» находился бар «Эль Форо», спустился в туалет, набрал номер Росарио, ответила сеньорита Бенитес-Ламарк:

– Добрый день, «Конструксьонес», чем могу вам помочь?

– Добрый день, – ответил Штирлиц, – вы можете помочь информацией...

– Я к вашим услугам, сеньор...

– Если у меня возникло желание построить себе дом в Патагонии, я могу прибегнуть к услугам вашей фирмы?

– О, конечно, сеньор! Мы это сделаем в кратчайший срок по самым последним проектам! У вас свой архитектор? Или вы намерены поручить нам проект тоже?

– У меня набросок. Но, конечно, я бы хотел поручить вам все.

– Простите, у вас испанский акцент... Вы испанец?

– Вообще-то моя матушка была испанкой, но родился я в Германии.

– Вы гражданин Аргентины?

– Нет.

– Простите, я не знаю вашего имени...

– Я Кастильо Аречага-и-Бернштрам.

– Очень приятно, дон Кастильо... Кто вам дал наш телефон?

– Мне никто не давал вашего телефона. Я был в нескольких фирмах... Условия, предложенные мне, не подошли по срокам... Тогда я начал звонить наугад... Я могу встретиться с вашим директором? Чтобы обсудить мое дело предметно?

– Пожалуйста, подождите у телефона, дон Кастильо...

Женщина не отключила аппарат, поэтому Штирлиц мог слышать ее разговор: «Дон Хосе, к нам обратился сеньор Аречага-и-Бернштрам, он намерен построить себе дом в Патагонии, когда вы сможете принять его? Так... Нет, на семнадцать тридцать у вас уже назначена встреча... В восемнадцать? Боюсь, что вы не успеете закончить переговоры с «Пуэнто лимитед». Хорошо, я передам ваше предложение».

Женщина подняла со стола трубку (мембрана ударилась о что-то стеклянное, наверное, вазочку с цветами):

– Дон Кастильо, я...

– Простите, но я слышал ваш разговор с доном Хосе. Вечером я занят... Когда у дона Хосе время ланча? Возможно, мы бы встретились в это время? Я бы с радостью пригласил его...

– Простите, ваша профессия, дон Кастильо?

– Адвокат. Я консультирую фирмы, осуществляющие морские путешествия и нефтеперевозки.

– Вообще-то дон Хосе обедает с часу до трех тридцати, я могу передать ему ваше предложение... Какой день вы бы предпочли?

– Что у дона Хосе запланировано на завтра?

– Обед с его окулистом, он не сможет отменить эту встречу. Словом, если вы позвоните через полчаса, я дам вам ответ, – женщина добавила, улыбнувшись, – вариантный ответ, вполне удобный и для дона Хосе, и для вас, до свидания, спасибо, что вы обратились в нашу фирму...

...Штирлиц сразу понял, что человек, вышедший из здания, и есть Росарио: левый глаз был аккуратно заклеен легкой бинтовой повязкой; шофер, сидевший за рулем такси, выскочил из машины с военной выправкой, открыл заднюю дверь, помог Росарио поудобнее устроиться и, вернувшись на свое место, резко тронул с места новенький «плимут».

Ну, давай, сказал себе Штирлиц, вези дона Хосе домой, парень, обязательно домой, а не в ресторан на какой-нибудь ланч; а даже если и в ресторан, тоже не беда, посижу рядом, погляжу на дона Хосе вблизи, все равно он потом отправится домой, сиеста, испанец не может жить, если он не отдохнет хотя бы часок после обеда.

Машина Росарио спустилась вниз, к заливу, повернула налево, в направлении Аэрогара; у светофора, что позволял пересечь Авениду, чтобы попасть в район старого Палермо, самый дорогой баррио[1] столицы, сделала еще один поворот налево, проехала мимо испанского посольства и консульства, завернула в маленький переулок, усаженный платанами, и вкатила во двор коттеджа; двери – металлические, видимо, с глазком – плавно затворились: автоматика.

Штирлиц неторопливо проехал мимо, точно запомнив адрес, припарковал свой «форд» в трех блоках от дома Росарио, неторопливо прогулялся по району, дважды обошел дом, – высокий забор из металлических прутьев, не перелезть; такси стоит у подъезда; странное такси, видимо, на такой машине похитили Клаудиу; если бы это была вызывная машина, то шофер сидел бы за рулем, а его нет в «плимуте»; окна дома закрыты шикарными шелковыми шторами; ниспадают, как волны, ни одного открытого окна – ни на первом, ни на втором этаже.

Купив в киоске журналы, Штирлиц устроился на скамеечке так, чтобы видеть ворота; отчего-то зацепился за информацию о том, что аэроклубы Кордовы, Виллы Хенераль Бельграно и Эльдорадо проводят традиционный праздник авиаторов через две недели: высший пилотаж, парад асов, съезд ведущих авиаторов; не в этот ли день Геринг праздновал «день Люфтваффе»? Машинально запомнил номер машины, которая въехала туда минут через двадцать: ВА 7155.

[1] Район, часть города.

Поднявшись со скамейки, он вернулся в свою машину, медленно проехал по переулкам тихого, тенистого баррио (а ведь в самом центре, как великолепно спланирован этот город; некий сплав Парижа, Рима, чуточку Мадрида, но при этом никакой эклектики, найден свой стиль!), высматривая какой-нибудь побитый автомобиль; заметил старинный немецкий «мерседес», подъехал к нему, легонько стукнул правым крылом, услышав тягучий скрежет металла, сразу же прибавил скорость и, выехав на центральную улицу, притормозил; выйдя из машины, удовлетворенно кивнул, царапина на крыле была впечатляющей; сел за руль, разложил карту города, нашел нужную улицу и отправился в отделение страховой фирмы; по документам, которые ему вручили в автомагазине, значилось, что его машину и жизнь страховал филиал лондонского «Ллойда».

Перед тем, как войти в шикарный офис, он позвонил сеньорите Бенитес-Ламарк, извинился, сказал, что ему придется срочно вылететь в Рио – скандал с двумя танкерами Южно-Африканского Союза, которые ходят под флагом Греции, – и пообещал позвонить сразу же по возвращении. «Как жаль, дон Кастильо, сеньор Росарио согласился принять ваше приглашение на ланч на пятницу». – «Думаю, в пятницу я вернусь. В крайнем случае, я позвоню из Бразилии, пожалуйста, пока что не отменяйте встречу, послезавтра мне все станет ясно». – «Вы очень любезны, дон Кастильо, попробуем сохранить нашу тайну, до свидания и еще раз спасибо, что вы обратились именно к нам».

В «Ллойде» чиновник, отвечавший за осмотр поврежденных машин, сразу же спустился со Штирлицем во двор, осмотрел царапину, посетовал, что здешние водители совершенно одержимые люди, впрочем, их можно понять, особенно шоферов такси, надо вертеться, чтобы заработать, в стране бум, все мечтают купить землю, построить дом, все так быстротечно, родился, поработал, а там и время собираться в тот мир, откуда никто не возвращается, единственное, что гарантирует жизнь детей, – в любой ситуации – земля и дом.

– Я запомнил номер машины: BA 7155, – сказал Штирлиц. – Я бы хотел поговорить с водителем, это не такси. Если вы поможете мне узнать фамилию, адрес и телефон владельца машины, я бы предпочел получить деньги непосредственно от этого хама, а не вводить в лишние расходы вашу фирму... И так вы много тратите из-за постоянных аварий.

Чиновник вздохнул:

– Ну, если бы мы только расходовали деньги, то незачем было бы держать такой штат во всем мире... Получаем мы куда больше, чем тратим, сеньор. В этом смысл страхового бизнеса. Другое дело, здесь еще не поставлено такое обслуживание машин, попавших в аварию, как на Острове... Там мы гарантируем клиенту реставрацию автомобиля за три-четыре дня, здесь это труднее... Если бы Перон позволил нам открыть свои фирмы по ремонту, мы бы зарабатывали сотни миллионов. Когда человек вынужден ждать более двух недель – пока ему выкатят починенный автомобиль, он не очень идет на то, чтобы платить большой полис. В Штатах платят невероятно много за страховку именно потому, что деньги экономят время, от-

дал тысячу, но сэкономил полторы, прямой смысл... Я постараюсь сейчас же дать вам номер телефона нарушителя, присаживайтесь, не угодно ли кофе? Или минеральной воды? У нас есть и то, и другое.

– Благодарю, – ответил Штирлиц, – кофе, если можно.

Чиновник сварил ему кофе, позвонил в полицию, занимавшуюся безопасностью на дорогах, назвал номер автомобиля, совершившего аварию: «Ничего страшного, жертв нет, превышение скорости, наш клиент не хочет возбуждения дела, он готов удовлетвориться денежной компенсацией, нет, вмятина и царапина, нет, сеньор американец, они же не обращают внимания на внешний вид машины, им важен мотор и тормоза; в отличие от нас, они прагматики, сеньор лейтенант; можно только позавидовать такому отношению к автомобилю, он стал для них бытом, а не роскошью... Да, да, я подожду»...

Через двадцать минут чиновник «Ллойда» протянул Штирлицу листок твердой бумаги с номером телефона фирмы и адресом, на котором каллиграфическим почерком было выведено: «сеньор Родригес-и-Санчес де Лильо, профессор-окулист, собственная клиника на улице Висенте Лопес, напротив кладбища Риколето, телефон 52-86-22; домашний адрес: баррио Бельграно, улица Куба, 1742, телефон 41-46-88».

Штирлиц отправился в район Риколето, зашел на старинное кладбище, – время сиесты, профессор наверняка еще у Росарио, вместе обедают, – походил между роскошными памятниками; пристроился к группе английских туристов; гид, веселый, взлохмаченный парень, шел среди помпезных усыпальниц, словно между столиками кафе, и рассказывал про тех, кто здесь покоится вечным сном, так, будто только что расстался с ними, закончив быстрый обед в соседнем ресторанчике.

– Обратите внимание на этот памятник, леди и джентльмены! Руфина Камбарсес, пятнадцатилетняя красавица высшего света! Личико совершенно ангельское! Такой же характер... Умерла в начале века, ее смерть была страшной загадкой, похороны потрясли город... Однако наутро ее – в изорванном платье – нашли у выхода с кладбища, оказывается, девушка впала в летаргический сон, ее похоронили живой, каким-то чудом ей удалось вырваться из гроба, но нервное потрясение было столь велико, что сердце ее не выдержало, разорвалось от пережитого ужаса... Этот страшный случай дал повод политическим противникам ее отца начать против него оголтелую кампанию! Какая низость! Травить человека, пережившего два горя, одно следом за другим... Вам, как британцам, будет особенно интересно узнать, что на этом кладбище похоронена Мария дель Пилар Гуидо Спано де Костильянес, дочь Софии Хиэнес, связанной с внебрачным сыном короля Георга Пятого. Он прибыл сюда в восемьсот седьмом году во время английского вторжения... Простите, леди и джентльмены, но в наших учебниках по истории именно так называют эту военную экспедицию... Кстати, на этом же кладбище похоронена внучка Наполеона Бонапарта! Да, да, Исабелла Валевска! Это зарегистрировано в кладбищенских книгах, но памятник исчез, возможно, его разрушили при очередной реставрации, в Латинской Америке крушат все, что не охраняется полицией... Исабелла, мы

называем ее Исабель, потому что она появилась на свет в Буэнос-Айресе в восемьсот сорок седьмом году, прожила всего двадцать семь дней, бедная... Отец малютки Эрл Алехандро Флориан Хосе Колонна родился в замке Вавель, Польша, в восемьсот десятом году, его мать — графиня Мария Валевска, а отец — Наполеон... Алехандро Валевски, так его звали по-польски, получил образование в Женеве; после революции тридцатого года, когда герцог Орлеанский короновался как король Луи-Филипп, сын Наполеона был отправлен в Польшу с дипломатическим поручением и принимал там участие в восстании, став помощником главнокомандующего. Поляки отправили его в качестве своего посла в Лондон; однако в Польшу он вернулся уже французским подданным, потом ушел в отставку — кругом интриги, вы же понимаете, — начал работать журналистом, был отправлен специальным представителем при правительстве конфедерации Аргентины, здесь-то родилась и умерла его дочь, он вернулся во Францию, сделался послом при лондонском дворе и при неаполитанском короле, потом стал министром иностранных дел Франции, затем государственным министром и умер в Страсбурге, а крошечная Исабеллита Валевска осталась здесь, и нет о ней памяти, кроме как запись в церковных книгах, какая жестокость!

Жестоко, когда бросают живых, подумал Штирлиц. Кладбищенская истерика — это форма вымолить прощение за то, что был жесток к другу, равнодушен к отцу, невнимателен к старенькой матери, неверен любимой. Любить мертвых легче, чем помогать живым жить. Да, ящерка, это так... И очень жестоко, когда прощают жестокость. Она обязана быть наказанной. В противном случае наступает эра всепозволенности. Я отомщу за тебя, зелененькая, ты будешь отмщена, моя нежность, хотя я не смогу приходить на кладбище и класть цветы на твою могилу. Да и потом, если душа человека переселяется в другое существо, нужны ли цветы той земле, где покоятся твои останки? Вся наша земля — кошмарное кладбище останков... Люди ходят по тому, что раньше было людьми, оленями, львами...

Штирлиц вышел с кладбища. Клинику профессора Родригеса-и-Санчеса де Лильо нашел легко. Сестра милосердия в голубом халате мягко его поправила: профессор де Лижжо — настоящий аргентинец. До сих пор я прокалываюсь со здешним «ж» вместо «л», подумал Штирлиц, плохо, если когда-нибудь придется легендировать себя здешним жителем, надо быть внимательным, хотя нет более интернациональной страны, чем Аргентина, каждый гражданин, какой бы национальности он ни был, полноправен; любопытно, продавец в магазине сердито заметил: Перона обвиняют в том, что он фашист, но разве фашист может спокойно разрешать русским организовывать свои поселения, дружить с евреями и помогать цыганам?

— Что с вашими глазами, сеньор? — сестра была воплощением милосердия: чистенькая, улыбчивая, излучавшая доброту и спокойствие.

— Болит левое веко, сеньорита, порою чешется, словно попала какая-то соринка.

— Пожалуйста, скажите ваше имя.

— Рафаэль Рьяно-и-Лопес, сеньорита.

– У вас есть документы?

– Конечно. В отеле, – ответил Штирлиц, подумав, что фашизм, в каком бы обличье ни существал, тщательно следит за учетом всех и каждого, ни один человек не имеет права жить без бумажки, на которой приляпана его фотография и стоит полицейский штамп, указывающий адрес постоянного проживания; порядок прежде всего, тотальная раскассированность индивидуумов по профессиям, вероисповеданиям, возрастам, национальностям, партийным симпатиям и состоянию здоровья. Но ведь любое ограничение свободы личности может помочь удержать нацию в узде только какое-то время, подумал Штирлиц, ничто не в состоянии понудить человека жить запеленутым целую вечность;не отец, так сын или дочь сбросят незримые оковы «орднунга»; впрочем, никакой это не порядок; высший порядок можно наблюдать через микроскоп, когда видишь, как свободно живут частицы, подчиняясь высшему закону свободы; оболочка лишь гарантирует их свободу, охраняя от вторжения инокультурных тел, защита от внешнего вторжения необходима, и она никак не мешает обмену, а ведь обмен – это свобода...

– О, я не знаю, сможем ли мы принять вас без документов.

– Возможно, вы спросите профессора?

– Но ведь есть закон, сеньор...

– Я понимаю... Что ж, ехать за паспортом? Я бродил по кладбищу, там достаточно пыльно, много людей... Какая незадача...

– Хорошо, я спрошу профессора, сеньор... Пожалуйста, постарайтесь понять меня...

Сестра поднялась, вошла в соседний кабинет, вернулась оттуда через мгновение:

– Профессор ждет вас, пожалуйста...

Это он, сразу же понял Штирлиц, это он сидел за рулем машины, которая въехала в особняк Росарио; высокий, крепкий человек с сильным лицом – глубокие морщины, седина, широко расставленные глаза с умным прищуром, очень чистые, странного цвета, похожи на глаза Клаудии, зеленые... Нет, у нее были нежные глаза, в них всегда светилось добро; вообще-то зеленые глаза тревожны, потому что слишком выразительны, всякая открытость чувств тревожна, люди привыкли скрывать самих себя, родители с раннего детства начинают вдалбливать в голову детей: «проведи языком по нёбу десять раз, прежде чем сказать что-нибудь»; «не торопись сходиться с этим мальчиком, приглядись к нему»... Чувства боятся, все норовят сокрыть самих себя в себе же; так спокойнее, будто человек не предает себя чаще, чем окружающие! Порою десять раз на день!

– Садитесь, пожалуйста, – мягко сказал профессор. – И не взыщите, бога ради, за этот отвратительный порядок – требовать документы во всех частных клиниках. Правительство боится, что мы сможем врачевать повстанцев, когда они выйдут на улицы.

– По-моему, восстанием пока не пахнет, – заметил Штирлиц, – экономический бум, все довольны.

– Садитесь, я погляжу ваш глаз, – профессор отошел к голубой раковине, вымыл руки и, вытирая их стерильным полотенцем, сказал: – Жизнь страны подобна приливам и отливам... Сегодня – хо-

рошо, завтра – плохо, но ведь главное не решено; призывы к справедливости и классовой гармонии носят лозунговый характер, столица окружена пригородами, где люди живут в ужасающих условиях...

Он посмотрел веко Штирлица, пожал плечами:

– Странно, все чисто... Может быть, вы перенервничали? Или что-то аллергическое? Когда у вас это началось?

– Часа три назад... На кладбище...

– Любите кладбища? – профессор усмехнулся, продолжая разглядывать глаза Штирлица. – Странно, мне кладбища портят настроение... И потом: надо любить живых...

Штирлиц нескрываемо удивился:

– Вы повторили мои слова.

– Я не слышал ваших слов, – возразил профессор. – Так что не упрекайте меня в плагиате... Давайте-ка закапаем успокаивающее, а дома сделаете компресс из спитого чая, я сторонник консервативной медицины...

– Спасибо, профессор. Я могу уплатить вашей ассистентке? Или вы сами продиктуете номер вашего счета?

– Полно, платить ничего не надо... Я же не потратил на вас времени, да и потом это не операция, пустяки...

– Спасибо, – повторил Штирлиц. – Что же касается «лозунгового характера» призывов к классовой справедливости и национальной гармонии, то такое порою случается надолго, – возьмите хотя бы Испанию... Я там был недавно... Франко держит страну в узде, и люди даже рады этому: хоть какой-то порядок...

– В тот момент, когда Франко сдохнет, – ответил профессор, и Штирлиц заметил, как яростно побелели его глаза, – его эпоха кончится.

Поднимаясь с кресла, Штирлиц поинтересовался:

– Почему вы так думаете? Обладаете информацией? Или прилежны логике?

– И так и эдак, – ответил профессор. – Вы стоите на противоположной точке зрения?

– Как вам сказать... Франкисты убили многих моих друзей... Я ненавижу каудильо, но ведь этот фашист живет припеваючи, несмотря на все бури в Совете Безопасности... Значит, он кому-то угоден?

– Если бы вы ответили иначе, я бы с радостью налил вам в глаза немного щелочи, – рассмеялся профессор, – конечно, это противоречит врачебной этике, но у меня там погиб брат во время войны...

Штирлиц приехал в район Ла Бока задолго до того времени, которое назначил Оссорио.

Совсем другой мир, подумал он, выйдя из машины. Не то, что город или страна, а просто другой мир; окраина Неаполя, какой была лет десять назад; что за чудо этот Буэнос-Айрес, какое вместилище разностей!

Маленькие улочки были полны музыкантов: играли на гитарах, прислушиваясь друг к другу; когда кончал свою мелодию один, сразу же начинал второй, ощущение непрерывности музыки делало ее похожей на журчание горных рек; художники сидели у мольбертов,

не обращая внимания на зевак, которые в молчании стояли у них за спинами.

Маленькие домики были выкрашены в разные цвета; каждый домик – бар, ресторанчик или кафе; Штирлиц заметил вывеску: «Зал танго»; господи, ведь я попал на родину этого танца, раньше, до того, как он пошел отсюда по миру, это было «вульгарным прижиманием мужчин и женщин», «безнравственной пошлостью», «скотством». Как же причудливы изменения, претерпеваемые миром! Тот, кого считали вероотступником, по прошествии времени делается столпом справедливости, а страстный борец за чистоту идеи, каким был наш Победоносцев, сразу после смерти оказывается отцом-инквизитором, зверем в облике старца с добрыми голубыми глазами; песнопения негров называли кривляньем, а теперь выстраиваются тысячные очереди, чтобы попасть на концерт, где выступают эти артисты, ну и люди, ну и нравы!

Ресторанчик, где ужинал Оссорио, найти было нетрудно, здесь каждый старался помочь приезжему, объяснения давал поэтические, непременно советовал посмотреть махонькую Каменито: «Нигде, кроме Ла Боки, нет улицы, состоящей из одного блока, вы никогда не сможете купить живопись столь прекрасную, как там!»; «Не торопитесь посещать чудо-парк Лесама, сначала надышитесь воздухом Италии в нашей Ла Боке, он так прекрасен!»

...Штирлиц зашел в ресторанчик, сел за столик недалеко от Оссорио, который беседовал с пожилым капитаном в белом кителе, заутюженном так, что, казалось, человек боится шелохнуться, – только б не сломать линии.

Разложив на своем столике карту, Штирлиц заказал спагетти и бутылку вина, попросил принести кофе («Я пью вино вместе с кофе, не сердитесь, я знаю, это шокирует итальянцев») и углубился в изучение туристской карты, прислушиваясь к разговору Оссорио с клиентом; тщетно; как и во всем италоговорящем мире, гомон стоял невообразимый, хотя гостей было мало; кричали повара, смеялись официанты, бранились уборщицы на кухне, гремела музыка, и услышать хоть что-нибудь – даже если присматриваешься ко рту человека – далеко не просто.

Когда капитан, пожав руку Оссорио двумя громадными ладонями, отвалил, Штирлиц, извинившись, обратился к сенатору:

– Сеньор, не помогли бы вы мне найти несколько интересующих меня архитектурных ансамблей на карте?

Оссорио сделал вид, что не понял Штирлица, подошел к нему, переспросил, что угодно сеньору, присел рядом и сказал негромко:

– Мне кажется, сегодня я чист... Они вообще последнее время, особенно после того, как я сообщил, что вернулся к практике, отстали от меня.

– Наоборот, – возразил Штирлиц. – Сейчас они обязаны быть более внимательны... Клаудиа погибла из-за того, что встретилась с вами... А они знали, что прилетела она к вам от меня... Вас должны были подвести ко мне, она же сказала вам?

– Да. Пытались. Это был доктор Гуриетес, начальник медицинской службы ИТТ.

– Вам известен его телефон? Адрес?

– Да... Она, конечно, не смогла назвать вам имена, которые я передал?

– Нет. Вас не могли подслушать? Вы говорили с ней в таком месте, где не было звукозаписи?

– Нет. Думаю, что нет.

– Где это было?

– В кафе... Там не было посетителей, только она и я.

– Кто назвал кафе?

– Я.

– Вы там часто бываете?

– Редко.

– Хозяина знаете?

– Нет.

– Это точно, что в зале никого, кроме вас, не было?

– Да. И на улице никого... Я сидел лицом к улице.

– И машины не проезжали?

Оссорио внимательно посмотрел на Штирлица.

– Машины проезжали... Вы правы... И одна из них проехала довольно медленно.

– Такси?

– Не помню.

– Какого цвета?

– Не помню... Но вы правы – это было такси! – убежденно ответил Оссорио. – «Плимут», точно, «плимут».

– Такси, – повторил Штирлиц. – Такси... Лица шофера вы не помните...

– Не помню.

– А если я покажу вам его?

– Можно попробовать...

– Хорошо. Какие имена вы назвали Клаудии?

– Зайнитца. Фридриха Зайнитца, Фрибля и Труле.

– Зигфрида Труле?

– Вы знали это имя?

– Да. Я знаю еще пятнадцать имен старых наци, которые там живут... Про Рикардо Баума у вас не осталось материалов?

– Не помню, – ответил Оссорио, ощутив прежнюю настороженность, потому что Баум, по его сведениям, был представителем военной разведки рейха в Барилоче.

– Он представлял Канариса, – сказал Штирлиц, не отводя взгляда от лица Оссорио. – Вам, конечно, знакомо имя адмирала?

– Да.

Штирлиц откинулся на спинку кресла:

– А как вы себе представляете национал-социализм, сенатор?

– Как самое страшное зло! Примат нации и рейха. Презрительное отношение к личности. Вера в приказ, спущенный сверху. Страх перед каждым, кто позволяет себе думать по-своему, а не по-предписанному. Попытка превратить народ в стадо слепцов, послушное воле и слову одного человека...

– Верно, – Штирлиц кивнул. – По роду моей работы, моей

прежней работы, мне пришлось бывать в концлагере Треблинка... Я пытался спасти профессора Корчака, не слыхали про такого?

– Нет.

– Это великий педагог... его отправили в Треблинку вместе с его учениками – это были в основном еврейские и польские дети... Поскольку у меня были неплохие связи со скандинавской прессой, удалось начать кампанию протеста против его ареста... И Гитлер, стараясь сохранить отношения со Швецией, разрешил отпустить Корчака... Но старик ответил, что он уйдет только вместе с учениками... И ему предложили пойти вместе с ними в печь... Так вот, я видел Треблинку воочию, сенатор... А еще я знал, что каждый двухтысячный житель рейха является осведомителем гестапо... Из шестидесяти миллионов жителей... То есть триста тысяч штатных провокаторов, которым платили заработную плату за предательство друзей... Порою – родственников... В стране было триста тысяч домовых партийных организаций национал-социалистов, то есть около трех миллионов добровольных доносчиков, смотревших на каждого, кто иначе одет, подстрижен, иначе ведет себя, говорит не как все, словно на зверя, которого надо затравить.

Штирлиц заметил, как тело Оссорио передернуло, а лицо замерло, сделавшись на какой-то миг маской.

– Вы были в Треблинке? – спросил сенатор после долгой паузы. – У вас есть татуировка? Мне говорили, что у всех узников этого ада был свой номер.

Штирлиц кивнул:

– Это делалось не только в Треблинке, но и в Освенциме, и во всех других концлагерях. А их было более семи тысяч. Примерно два миллиона узников... Впрочем, нет, больше, – постоянно работали крематории: те, на ком поставили медицинские эксперименты, – особенно в этом смысле отличился доктор Менгеле, я неплохо его знал, – немедленно уничтожались, примерно тысяча людей ежедневно... И шесть тысяч ежедневно умирали от голода – в основном русские, польские и югославские узники...

– Почему у вас нет татуировки, сеньор Брунн?

– Потому что я посещал эти лагеря в немецкой военной форме, сенатор.

– Вы...

– Видимо, вы помните, что бункер Гитлера взорвал кавалер трех рыцарских крестов, герой третьего рейха полковник Штауфенберг. Бороться с гитлеризмом, не состоя в его рядах, было невозможно. Нет, я неверно сказал, его победили русские армии и войска союзников... Я имею в виду оппозиционную борьбу... Этим я и занимался, сенатор... Почему меня интересуют ваши материалы? Только потому, что в Нюрнберге был освобожден министр Гитлера банкир Ялмар Шахт, творец армии рейха и гестапо, – без его денег они бы ничего не смогли сделать... Палач был оправдан, вы же знаете об этом, нет? Даровали жизнь преемнику фюрера, президенту гитлеровского рейха адмиралу Денницу. Оставили в живых Гесса... Не тронули Круппа, без пушек которого Гитлер не смог бы начать войну... Так вот, я и мой американский друг – фамилию его я вам не открою, во

всяком случае, пока – решили доделать то, чего не хотят довести до конца западные победители... В Аргентине существует гигантское гитлеровское подполье. Вашу страну хотят превратить в полигон. В Барилоче создают атомную бомбу. И делают это нацисты. Вы знаете об этом?

– Я слышал об этом, сеньор Брунн... Вы представляете интересы иностранного государства?

– Я представляю интересы человечества, простите за патетизм ответа. А еще – Клаудиу. Поэтому я хочу вас спросить: вы согласны помочь мне? А propos[1], вам я помогать согласен во всем...

– Что вас интересует? – после долгого молчания спросил Оссорио.

– В настоящий момент меня интересует только одно: можно ли верить профессору медицины сеньору дону де Лижжо. Он окулист, его адреса и телефоны я знаю, он лечит Росарио...

Через два дня встретились – таким же образом – в районе Сан Тельмо, в старинном баре «Ла Палома» на улице Обороны, старейшей в городе; шум здесь был еще более ревущий, чем в Ла Боке; повторив прежний трюк с картой, он шепнул сенатору про низенького парня с портфелем: «Поглядите, не будет ли за мною хвоста», – тот молча кивнул, сказав:

– Профессор де Лижжо – выходец из семьи радикалов, его брат сражался в интернациональных бригадах, он действительно лечит сеньора Росарио, который, по его словам, эмигрировал из несчастной Испании, раздавленной франкистской диктатурой...

КРИСТИНА, ДЖЕК ЭР (Осло, сорок седьмой)

Когда Пауль, подняв Кристину под мышки, – на руки взять не мог, слабосильный, ручки как спички, – затащил ее в комнату, положил на кровать, бросился в ванную, – таких огромных никогда не видел, вделана в пол, троим можно плавать, ну и роскошь; трясущимися пальцами открыл дверцу аптечки, уронил два пузырька, которые разбились о черный кафельный пол, разорвав тишину словно револьверные выстрелы во время комендантского часа, нашел нашатырь, прибежал в спальню, Кристы там не было; он услыхал истерический смех в прихожей, обернулся и не поверил своим глазам: женщина каталась по желтому полу, сложенному из толстых, хорошо проолифленных досок, пришитых медными гвоздями, будто палуба дорогой яхты, и то принималась хохотать, как одержимая, то утирала слезы...

Почувствовав, что у него еще больше затряслись пальцы, Пауль опустился на колени рядом с женщиной:

– Криста, милая, что с вами?! Как мне помочь? Что стряслось, Кристина?!

– Умер! Он умер, умер мой...

[1] Кстати *(франц.)*.

– Кто, боже?!

– Мой адвокат, доктор Мартенс, пришла телеграмма, видите, он умер в Мюнхене... Он умер...

Какой ужас, что я смеюсь, подумала Кристина, в душе у меня сейчас все поет от счастья; я бы умерла, если это пришло о Поле, а если бы бог не позволил умереть, я бы совершила грех, достала из-под матраца тот пистолетик, который он подарил мне на прощание и сказал, чтобы я всегда носила его, прижала бы к сердцу и выстрелила... К голове бы не смогла – грязные мозги на стене, в этом есть что-то противоестественное, неопрятное, человек обязан думать, как он будет выглядеть после смерти...

Это ужасно, что я смеюсь, повторила она себе. Но ведь я и плачу! Ты не о Мартенсе плачешь, а о себе: ты испугалась за Пола, вот отчего ты плачешь! Ты еще толком и не поняла, что этот аккуратный, благовоспитанный, тихий человек, которого завистники обвиняли в коллаборационизме, умер.

Пол запрещал мне предпринимать что-либо, он просил только ждать. Это самое опасное предприятие, сказал он тогда, нет ничего страшнее ожидания, конопушка, но выигрывает только тот, кто умеет ждать, стиснув зубы. Что бы ни случилось, ты должна ждать, понимаешь? Затаиться и ждать. А если случится что-то такое, что поставит тебя в тупик или по-настоящему испугает, отправь Элизабет телеграмму и попроси ее выслать тебе какие-нибудь книги по математике, каких нет в Европе, это значит – беда, тебе нужна помощь. Ты ее получишь.

Через три дня после того, как она отправила вторую телеграмму Элизабет, выражая удивление, что не поступил ответ на первую (а заодно просила любимую сестру, если, конечно, ее это очень не обременит, выслать последние публикации Ферми – издавал Принстонский университет, сюда ни один экземпляр не дошел), в дверь ее квартиры ночью, около двух, раздался условный стук.

Кристина взметнулась с кровати; сердце бешено заколотилось: это Пол; он бросил все, к черту эти игры, и прилетел к ней, я же знаю его, господи! А я спросонья, надо бы наложить тон, ладно, после, я не стану включать свет в прихожей, он не заметит, какая я дурнушка, господи, вот счастье-то, он, любовь моя, здесь...

– Пол?!

– Я привез вам книги от сестры, – тихо, едва слышно ответил низкий голос; слова того пароля, который дал ей Роумэн в ночь перед их «разрывом». – Извините, что без звонка...

Кристина почувствовала ватную усталость, отворила дверь и включила свет: на пороге стоял громаднорослый парень, стриженный «под бокс», с перебитым носом, в типично американском костюме и коротеньком белом плаще.

– Джек Эр, – одними губами сказал он. – Привет от Пола, мне сообщили, что я вам нужен, вот я и прилетел.

– А он?!

– Он делает свое дело, мэм. И делает его хорошо, – по-прежнему шепотом ответил Эр. – Если бы вы позволили мне помыть лицо – я не спал полтора суток – и дали кофе перед тем, как я отправ-

люсь искать отель в этом чертовом городе, был бы вам весьма признателен...

– Сейчас я пущу воду в ванну... Скажите, что Пол? Как он выглядит? Хотите есть? Он, правда, здоров? У меня есть яйца и сыр. Он ничего не написал мне? Раздевайтесь, Джек, я вас таким и представляла, Пол говорил, что вы очень сильный и добрый. Хотите, пожарю сыр? Это невероятно вкусно, – она металась по квартире, вновь испытывая поющее чувство счастья, почти такое же, как было в те дни, когда они с Полом поселились у Спарков; в Джеке Эре она почувствовала того, кто еще три дня назад видел Роумэна, говорил с ним, пожимал его руку, нес на себе отпечаток того тепла и нежности, которые постоянно излучал Пол. – Вы любите очень горячую ванну? Или предпочитаете полухолодную, как мы, скандинавы, живущие в этом чертовом городе?

Джек Эр снял ботинки, открыл свой плоский чемодан, достал из него наушники и какой-то странный прибор с индикатором, показал жестом, чтобы Криста продолжала говорить, а сам начал обследовать отдушины, штепсели, телефон; удовлетворенно кивнув, сказал громко и не таясь:

– У вас чисто. Подслушки вроде бы нет, так что могу ответить: мистера Роумэна я не видел, мэм. Я получил указание вылететь к вам от его друзей.

– От Спарков?

– Мэм, поскольку я обучался в Федеральном бюро расследований и был его агентом, я никогда не открываю имен моих контактов.

– Кого, кого? – не поняла Кристина.

– «Контакт» на жаргоне ФБР означает человека, с которым я поддерживаю конспиративную связь в интересах той или иной комбинации, мэм.

– Перестаньте вы называть меня дурацкой «мэм»! Я себя чувствую старухой в кринолинах.

– Простите, мэм, а как я должен обращаться? Миссис Роумэн? Или вы взяли девичью фамилию после развода?

– Вы это серьезно? – Кристина резко обернулась, бросив Эру полотенце и простыню. – Кто вам сказал об этом?

– Мой контакт.

– Он идиот, этот ваш контакт! Вы что, не понимаете, что развод – пустая формальность?!

– Если вы и впредь будете так говорить даже в чистой квартире, рискуете оказаться вдовой, мэм.

Кристина стремительно оглядела стены, потолки, двери; во взгляде ее появилась растерянность:

– Да что вы такое говорите?! Как можно?!

– Нужно, мэм. Ваш адвокат не умер в Мюнхене, как это написано в телеграмме. Его убили.

– Как?!

– За этим я и отправляюсь в Мюнхен, мэм... Однако я прибыл сюда, – с вашего позволения, я частный детектив, хозяин фирмы «Прайвет инвистигэшн Джек Эр лимитэд», – чтобы выяснить, кто из мужчин вас ныне окружает... И сделано это по просьбе вашего

мужа... Или, точнее сказать, бывшего мужа. Мистера Пола Эс. Роумэна...

– Слушайте, идите купайтесь, а? – сказала Кристина устало. – Плещитесь, мойтесь, жаль, у меня нет целлулоидных игрушек, вы похожи на младенца с кольтом...

– Не сердитесь, мэм. Я делаю мое дело, вы – свое. Чем лучше каждый из нас будет заниматься своим делом, тем большую пользу принесем тому, чему служим.

...Из ванны Джек Эр вышел свежим и еще более юным, хотя подбородок и щеки были покрыты рыжей щетиной.

– Я не взял с собой станок, – заметил он. – Таскать бритву – плохая примета. Я не шокирую вас тем, что не брит?

– Меня зовут Кристина.

– Я знаю, мэм. Вы для меня объект. А не Кристина. Я должен оказывать вам протекцию. И расследовать то дело, которое показалось вам знаком тревоги.

– Да что вы говорите, как заводная игрушка, черт побери?! Садитесь к столу, яичница и сыр стынут.

– Я как раз люблю холодную еду, мэм. Это не разрушает желудок и кишечник. Люди, употребляющие горячую еду, рискуют заработать язву.

И тут Криста, наконец, рассмеялась; смех ее был вымученным, но она просто не могла не смеяться, – такой Эр может довести до сумасшествия, не говорит, а изрекает, наверное, читает только справочники, да и то в популярном издании, где об учении Вольтера и Конфуция все сказано на одной странице.

– Нет, нет, – продолжил между тем Джек Эр, набросившись на яичницу, – это не выдумка. И не досужие разговоры бабушек. Я проходил курс судебной медицины. Мы ездили на вскрытия. А я сам резал трупы скальпелем. Интересное занятие. Необходимо пройти каждому сыщику...

– Доешьте сначала, Джек, а после говорите о трупах. Даже мне делается плохо, а вы еще при этом уплетаете за обе щеки, как можно?

– Детектив с плохими нервами – это не детектив, мэм.

– Но если вместо нервов у него веревки – это тоже не подарок.

– А вы знаете, что нервы не имеют ни вен, ни артерий? – поинтересовался Эр, подбирая хлебом остатки яичницы с большой тарелки. – Моя ма... – продолжил он и вдруг осекся. Дурашка, застеснялся слова «мама», поняла Криста, играет во взрослого; как можно верить такому юнцу?! Все же Пол порою ставит совершенно не на тех, на кого следовало бы.

– Так что мама? – помогла ему Кристина.

– Моя мама, – Эр благодарно улыбнулся ей и принялся за жареный сыр, – была убеждена, что нервы проходят через сухожилия. Старшее поколение достаточно темное. Прогресс движут молодые силы.

– Ох, господи, – вздохнула Кристина. – Любите большую подушку? Или спите на думке, как грудные?

– На думке, мэм. А вообще-то последнее время я сплю на дере-

вянном подносе. Очень тренирует шейные позвонки. Если у вас нет деревянного блюда, можно употребить кухонную доску... Вы решитесь оставить у себя холостого мужчину?

– Я спою баюшки «холостому мужчине». И покачаю кроватку, чтобы не плакал.

– Сыр был дьявольски вкусным, мэм. Теперь о колыбельных песнях. Я их очень люблю. Но засыпать можно и без них. Знаете как? Надо лечь головой на деревянное блюдо. Резко, пальцами, опустить веки на глазные яблоки. Приказать себе: «спать!» И через три минуты вы заснете. Только перед этим надо погулять десять минут. Вы не покажете мне, куда лучше идти? Я боюсь заблудиться. У вас слишком узенькие улочки. И все одинаковые...

На улице, отвернувшись от Кристины, он тщательно высморкался, заметил, что здешнее небо отлично от германского: там даже в звездах заметна какая-то заданная аккуратность.

– Откуда вам знать, какие звезды в Германии? – усмехнулась Кристина.

– Меня там расстреливали, мэм. В концентрационном лагере. Куда я попал тяжелораненым.

Кристина резко обернулась:

– Но вы же такой молоденький!

– Я младше вас всего на три года, семь месяцев и двенадцать дней, мэм... А теперь по делу: хотя квартира у вас чистая, но я все же побаиваюсь говорить в закрытых помещениях. О главном. На улице спокойней. Особенно если за тобою никто не топает. Скажите, у вас есть лицензия на управление яхтой?

– Нет. Пока нет. А что?

Джек Эр, словно бы не услышав ее вопроса, продолжил:

– Это долго – получить ее?

– Не знаю... Видимо, нет... А что?

– Вы ужасно нетерпеливы, мэм. Пожалуйста, следите за собою. Это не просьба. И не совет. Это указание. Мистер Пол Эс. Роумэн находится под неусыпным и постоянным наблюдением его бывшего босса...

– Макайра?

Продолжая идти размашистым шагом, так, что Кристе приходилось чуть ли не бежать за ним, Эр раздраженно, с некоторым пренебрежением ответил:

– А представьте себе, что я перехватил пароль Пола Эс. Роумэна! И представляю интересы его бывшего босса! Что, если я вызвал вас на улицу, чтобы посадить в автомобиль? И увезти в заброшенную мызу на берегу моря?! Что, если в мою задачу вменено устранить вас?! Сломав на этом мистера Роумэна?! Все люди – враги, мэм! Запомните это. И не козыряйте знаниями. Вы ведь советовали мистеру Полу Эс. Роумэну не показывать свое чувство любви к кому бы то ни было! Чтобы не сделаться безоружным! Так вот, знания в настоящей фазе комбинации еще более опасны, чем демонстрация любви. Ясно?

– Да что вы рапортуете, как автомат?!

– Я вынужден повторить вопрос, мэм! Вам ясно?!

– Ясно, ясно, ясно! Что мне делать с этой чертовой лицензией на управление яхтой?!

– Иметь ее при себе... И быть готовой в любой момент уйти в море. И добраться до Гамбурга. И там пришвартоваться. Место покажу на карте попозже. Нанять команду сможете?

– Нужен еще всего один человек, какая команда?!

– Вот и хорошо. Наймите. В Гамбурге к вам придут. Или я, или тот, кто не нуждается в пароле...

– Пол?!

– Мэм, мистер Пол Эс. Роумэн мне про это не говорил. Я передаю то, что должен передать. Пошли спать? Я дам вам восковые бришоли. Дело в том, что я по ночам кричу. Меня мучают кошмары. Даже мама боится этого, не может уснуть. Я не хочу причинить вам хоть малейшее неудобство... И по дороге расскажите все о вашей встрече с адвокатом Мартенсом. Если вас не затруднит...

В то утро Кристина впервые проснулась без того постоянного чувства страха, которое испытывала, уехав в Осло; она слышала ровное и глубокое дыхание Джека Эра в соседней комнате; иногда он резко всхрапывал, замирал и долго-долго не дышал, потом раздавался такой *ввинчивающий* храп, что ей делалось страшно за нос Эра: сломаются перегородки; как же это важно, когда рядом с тобою друг любимого; он несет в себе частичку Пола; нет ничего прекраснее ощущения надежности; любовь – это надежность. В детстве и юности у человека есть папочка и мама. Потом приходит любимый. А после дети... Как все логично придумано; только нет ли в этом какой-то заданной безжалостности по отношению к человечеству? При всей разности полутора миллиардов людей, населяющих землю, – ни одного одинакового, ни одного, ни одного, ни одного, – всем им предписана одна судьба. Неужели это и есть закон бытия, расписанный по возрастным фазам? Для всех обязательный и беспрекословный? Новобранцы какие-то, а не дети божьи...

Кристина тихонько поднялась с кровати и, ступая босыми ногами по теплым доскам пола, пошла в ванную; храпение мгновенно прекратилось: ну и чуток! Словно какой зверек, а ведь только что выводил такие рулады...

– Я не мешал вам спать, мэм? – спросил Джек Эр. – Боюсь, вы проклинаете свою доброту. Весь день будете клевать носом.

– Вы не кричали во сне, – сказала Криста. – А храпите, действительно, как иерихонская труба. Сейчас будем пить кофе, я только приму душ... С едой, правда, плохо – хлеб и маргарин...

– О, я умею делать прекрасные гренки, мэм! Если разрешите, я пойду на кухню...

Гренки он сделал вкусные, пальчики оближешь; внимательно смотрел, как Криста ела; и кофе заварил по особому рецепту, мешал сахар с порошком очень тщательно, видно, мама научила, чисто женская тщательность, мужчины готовят веселее и раскованнее.

Женщины поминутно заглядывают в поваренную книгу, все меряют на весах – и сколько надо положить картошки, и сколько морковки, страшатся отойти от напечатанного, зверьки; вот почему в цирке сначала дрессируют львицу, а уж потом работают со львами. Женщины легче поддаются авторитету власти, – кусочек сладости и резкий окрик, что еще надо?!

И кофе Джек Эр сделал вкусный, с пеной; в маленьких стаканчиках смотрелся очень красиво, красота – стимулятор вкуса; можно приготовить прекрасную еду, но если она подана в убогой тарелке или выглядит мешанно, тогда подсознательно возникнет отталкивание; а ведь можно подать кусочек обычного мяса, но так украсить его зеленью, что человек будет совершенно искренне убежден, что ничего вкуснее ему не приходилось пробовать.

– Я помогу вам помыть посуду, мэм. А вы собирайтесь. Я всегда сам мою посуду. И стираю свои вещи.

Кристина приложила палец к губам:

– Никогда не признавайтесь в этом своей девушке.

Джек Эр искренне удивился:

– Почему?! Не надо признаваться в пороках! Это может оттолкнуть! А тем, что у тебя есть хорошего, следует гордиться. Выставлять напоказ. Реклама делает промышленность и торговлю. Зачем избегать ее в отношениях между любящими?

– Нет, положительно сегодня я спою вам колыбельную и куплю игрушек, чтобы вы могли на них укреплять зубки. Агу, масенький, агу! Девушка хочет видеть в мужчине добытчика! Опору! Надежду! А вы хвастаетесь, что простыни умеете выжимать! Не ваше это дело! В лучшем случае девушка в вас разочаруется, в худшем – будет на вас ездить, как на пони!

По лицу Джека Эра было видно, что он озадачен:

– Странно. Мама говорит, что отец помогал ей по дому... А она очень его любила... И по сю пору любит.

– Что значит «помогал по дому»? – спросила Кристина, положив тарелки и чашки в медный тазик. – Если он мог починить мебель, сделать красивую дверь, поставить в окна старинные рамы, придумать что-то для гаража или погреба – это одно дело... А стирать простыни не нужно, это не мужское дело...

– Странно, – повторил Джек Эр. – Человек, которого я хотел порекомендовать вам в спутники, сам стирает простыни. И моет посуду.

– Тоже агукает?

– Не знаю, – Джек Эр вдруг рассмеялся. – Это Нильсен. Журналист Нильсен. Вы же были у него после разговора с несчастным Мартенсом?

В Мюнхене Джек Эр позвонил другу – Конраду Куллу, тот воевал с ним в одной бригаде, прошел войну без единой царапины, хотя был парнем не робкого десятка, лез в пекло; перед каждой операцией ходил к капеллану, подолгу исповедовался, утром и вечером проводил по меньшей мере пятнадцать минут в молитве; однако,

когда бои кончались и часть входила в немецкий городок, Кулл пускался во все тяжкие: пил до потери сознания, гонялся на «джипе» за немками и менял яичный порошок на картины и серебряную утварь, обманывая людей без зазрения совести. Картины он отправлял домой, а серебро – через друзей – вывозил в Швейцарию, сдавал на аукционы, после этого закупал вино и коньяк, от души поил солдат бригады; то, что он помнил о товарищах и не мелочился, снискало ему добрую славу; получил офицерское звание, потом внеочередное; после победы остался в оккупационных частях, почувствовав в развалённой стране резкий, бьющий в нос запах денег.

Он ссудил деньгами одного из немецких аристократов (графа Йорга фон Балс унд Вильштейна), вернувшегося из Швейцарии; Конрад Кулл сидел в отделе экономики оккупационного штаба и поэтому имел доступ к информации о всех предпринимателях, разошедшихся – по той или иной причине – с Гитлером; решив ставить на аристократов, владевших землями и рудниками, он подвел к каждому из них молодых парней с челюстями. Главное условие: чтобы те – ни по возрасту, ни по укладу мышления – не были связаны с нацизмом; поручил им раскрутку бизнеса; обеспечивал лицензиями на открытие новых фирм; помогал транспортом и горючим; после полутора лет работы в штабе отправил домой, на ферму родителей, двух Рубенсов и Тинторетто; счет в банке открывать не торопился; деньги вкладывал в золото; сначала покупал все, что ни попало, потом решил приобретать только антикварные вещи, ожерелья средневековых мастеров; увлекся изумрудами; в каждом – своя тайна; это тебе не холодный высверк бриллианта или аморфность жемчуга, тем более, говорят, этот камень приносит несчастье.

Джеку Эру обрадовался, посадил на свое место сержанта, только-только прилетевшего из Штатов, сказал, что уезжает на два дня, срочное дело, потащил фронтового друга в тайный бордель на Ремерштрассе, там же и кормили – домашняя кухня: зайчатина, фазаны и седло козы; хозяйке притона фрау Рубих приказал запереть двери, никого не пускать; выстроил девиц, их было девять – на все вкусы; предложил Джеку выбрать для облегчения: «Вечером поедем в кабаре, там есть кое-что для души, выступим по первому разбору, как я рад, чертяка, что ты выбрался ко мне, вот уж не ждал, надо было позвонить или прислать телеграмму, я б тебе снял особняк в предгорьях с тремя потаскушками, обожаю, когда три девки моют ноги, ты ведь учил в колледже про цезарей, почему им можно, а нам заказано?»

Гудели всю ночь. Наутро проснулись желтые, изжеванные; Кулл сразу же бросился в церковь, вернулся через сорок минут, сделал «блади-Мэри», присыпал перцем и солью; прошла хорошо, звонко; повторили по второй, лоб осыпала испарина: «Сейчас поедем в турецкую баню, она моя, на мои деньги построили, бери свою Анну-Лизу, а я, пожалуй, возьму Ингрид, прекрасная массажистка».

– Слушай, Кон, давай без девок, а? – попросил Джек Эр. – У меня к тебе просьба... Я же тут по делам. Мой клиент интересуется одним парнишкой... Его тут пришили... Надо разобраться... Поможешь?

– Если не смогу, то купим! – Кулл рассмеялся. – О чем ты, Джек?! Мы здесь, слава богу, хозяева! Девки не помешают, правда. Массаж после пьянки возрождает! А делом займешься завтра, дам тебе машину и солдата, который знает язык гансов, кого надо – расстреляем, кому надо – сунем банку ветчины, раскроешь преступление за час. Ты вообще бери дома дела, связанные с Германией. Пока я здесь, можешь сделаться новым Пинкертоном, от заказов не будет отбоя, честно!

– Слушай, а в Гамбурге у тебя есть связи?

– В этой сожженной деревушке на севере?! Нет, так купим. – Кулл снова рассмеялся. – Там сидят британцы, в детстве проглотили аршин, сплошная фанаберия... Нет, кто-то у меня там есть! Поспрашиваю своих гансов, они сделают все, что тебе надо.

– Спасибо. Мне бы там арендовать дом – под офис.

– Зачем?! На севере?! У англичан?! Я тебе здесь выставлю три прекрасных дома, выбирай!

– Мне нужно на севере. Чтобы связь с портом, поездки...

– Ладно. Давай жахнем еще по одной, поедем в баню, а завтра с утра начнем заниматься делами.

– Слушай, а в архиве у тебя нет людей?

– В каком?

– Ну, где дела нацистов собраны...

– Майкл Мессерброк мой приятель, у него все нацисты в руках... Запомни: Майкл Мессерброк, завтра сведу...

...Из морга тело Мартенса уже отправили в Норвегию; Эр попросил ознакомить его с заключением экспертизы; текст был написан по-немецки, готическим шрифтом; солдат, которого Конрад придал Эру, с трудом продирался сквозь стрельчатость странных букв.

– Зачем писать сложно и непонятно?! – Парень сердился. – Есть же нормальный латинский шрифт!

– Как зачем? – Эр усмехнулся. – Ты не понимаешь зачем? Ведь их фюрер хотел, чтобы немцы были особой нацией. Он сохранял традиции. Все должны читать и писать так, как в прежние столетия. Он же говорил про исключительность нации. Остров в Европе. Будущие владыки мира, псих ненормальный... Бедные дети... Каково-то им было мучиться с этим долбаным алфавитом?! И все ради прихоти психа! Ну, так что пишет этот долбаный врач?

– Он пишет... что смерть наступила от отравления спиртом... Вроде бы получается так, что этот хмырь из Норвегии жахнул древесного спирта... От него либо слепнут, либо отбрасывают копыта... Кто как... Вот если по утрам лопаешь поредж на сливках, то вроде бы можно оклематься, в овсе много витаминов... Конь же не ест мяса, а сильнее собаки! А ведь та мяса жрет до отвала. – Солдат рассмеялся. – У нас дома – до отвала, а здесь люди про мясо уж и не помнят...

– Как фамилия этого самого эскулапа?

– Кого? – Солдат не понял. – О ком вы спросили?

– «Эскулап» на иностранном языке означает «доктор медицины».

– А... Фамилия у него какая-то слишком уж длинная... Сейчас, я по слогам... До-брен-дер... Франц Добрендер...

– Я был на вскрытии не один, – ответил доктор Добрендер, внимательно рассматривая лицо Джека Эра; на переводчика он не обращал внимания, словно бы его и не было в комнате. – Там был офицер вашей армии, можете обратиться к нему...

– Обращусь, – пообещал Джек Эр. – Это уж как полагается. Фамилию помните?

– Вам скажут в морге.

– Вы приехали в морг? А в отель? Не были там, где нашли покойного?

– Я же судебный эксперт, а не врач скорой помощи.

– В отеле, где нашли труп доктора Мартенса, мне сказали, что вы прибыли туда. Вместе с врачом скорой помощи.

– Это неправда. Я туда прибыл, когда меня вызвал врач скорой помощи, зафиксировавший смерть.

– Значит, вы все-таки были в отеле?

– Да, был. Разве я это отрицаю?

– И у вас не создалось впечатления, что доктора Мартенса привезли в номер мертвым?

– Опять-таки это не моя забота. Это дело прокуратуры. Вашей военной прокуратуры в том числе... Там и наши были, из криминальной полиции, но ведь нашим ничего не позволяют... Все дела ведет ваша служба... Мы только оформляем то, что говорят ваши люди.

– Кто из ваших был в отеле?

– Не знаю... Кто-то из молодых, не помню...

– Но Уго Шранц был?

– Да, господин Шранц приехал перед тем, как тело отправили в морг для вскрытия.

– Следовательно, вы убеждены, что Мартенс отравился древесным спиртом?

– И ваши люди, и я убеждены в этом.

– Ладно. – Джек Эр поднялся. – Я еще приглашу вас. Для беседы.

– К вашим услугам, – ответил доктор Добрендер.

А где мне его мять, подумал Джек Эр, садясь в «виллис». А мять придется, он многое знает.

Основания так думать у него были. Ответ, полученный им по телефону из Осло, гласил, что древесный спирт был влит в кишечник покойного доктора Мартенса уже после того, как наступила смерть.

Зафиксирована также точка от шприца в ягодице, однако установить, что было введено в организм Мартенса, не представлялось возможным; ясно только, что в мышечной ткани остались следы никазинтронуола, быстродействующего яда, производимого в свое время в тайных лабораториях «ИГ Фарбениндустри».

У Джека Эра были все основания считать, что этот яд был вко-

лот Мартенсу после того, как тот начал работать в архивах СС, СД и абвера, получив на то соответствующее разрешение того самого Майкла Мессерброка, о котором вчера говорил Конрад Кулл.

ДАЛЛЕС, МАКАЙР, ИТТ, ВИЗНЕР (сорок седьмой)

Эухенио Пареда долго стоял перед зеркалом, разглядывая свое лицо: ранняя седина на висках; рубленые морщины на лбу, – перед тем как перебраться сюда, в столицу Чили, работал на медных рудниках, работа адовая, пропади все пропадом. Он долго стоял перед зеркалом: глаза потухшие, словно бы лишенные зрачков, тусклые.

Он вышел из маленькой ванной на цыпочках, приблизился к кроватке сына; мальчик по-прежнему лежал бледненький, со скрюченными ножками и бессильными ручонками: пальчики худенькие, синие, ноготки совершенно белые, с голубизной, – полиомиелит...

Месяц назад, после пресс-конференции по поводу предстоящей забастовки, к нему, как руководителю профсоюза, подошел седой американец, увешанный фотоаппаратами; вытирая обильный пот на лице и шее, сказал на довольно приличном испанском:

– Сеньор Пареда, а не разрешили бы вы сделать несколько кадров у вас дома? Наших профсоюзных боссов травят за то, что они, мол, слишком шикарно живут, коррупция и все такое прочее... Они поэтому любят, когда мы посещаем их скромные квартиры, какой-никакой, а фотоответ недругам...

– У меня болен ребенок, приятель, – ответил Пареда, – у мальчика... Словом, жена не может никого видеть, у нее плохо... с нервами...

– А что с ребенком?

– Полиомиелит...

– Погодите, так ведь врач в нашем филиале ИТТ пишет докторскую диссертацию на эту тему! Я привезу его к вам...

– Сколько он запросит денег за визит?

– Ничего не запросит, – человек усмехнулся. – Он бессребреник, прекрасный парень, помогает каждому, кто к нему обратится.

Доктор, действительно, был прекрасным человеком, звали его Честер Гиффорд, осматривал мальчика минут сорок, руки добрые, отеческие, сказал, что ребенка надо госпитализировать, пообещал прислать лекарства (через три дня завез сам, от денег, фыркнув, отказался), заметил, что было бы идеально отвезти мальчика в Штаты: «Мы начинаем лечить эту чертову болезнь, правда, гарантировать стопроцентный успех невозможно, но сейчас вопрос в том, чтобы мальчику вернуть речь и движение... Я постараюсь связаться с каким-нибудь благотворительным обществом, денег на лечение нормальный человек не наберет, совершенно астрономическая сумма, попробую написать в профсоюз наших портовиков, черт его знает, возможно, у них есть средства по обмену, но главное – не отчаиваться! Имейте в виду, ваше настроение – гарантия успеха! Вы обязаны быть уверенным в благополучном исходе! Иначе ваша жена может сломаться. Вы отвечаете не только за мальчика, но и за нее, она на пределе».

...А через шесть дней, когда Пареда выходил из портового кафе, его окликнули; он оглянулся, недоумевая;увидел машину, за рулем сидел довольно пожилой, нездорово полный мужчина:

– Это я звал вас, Пареда, я! Я Веласко, из Пуэрто-Монта, у меня к вам дело, садитесь, подвезу, по пути и поговорим.

– Но я вас не знаю...

– А это неважно. Я знаю вас, это хорошо, когда рабочие страны знают своего профсоюзного вожака... Садитесь, садитесь, это по поводу вашего мальчика...

Пареда сел рядом с этим потным, толстым Веласко; тот нажал по газам, – машина, по-козлиному подскочив, резко набрала скорость; в кабине остро запахло бензином.

– Так вот, Пареда, мне поручили передать, что можно легко заработать на лечение мальчика. Стоимость курса – этот блажной доктор из ИТТ получил письмо, мы его прочитали – десять тысяч долларов. Их вам могут вручить в том случае, если вы исполните нашу просьбу.

– Кто это «вы» и что за «просьба»?

– Мы – это мы, а просьба – это просьба. Не хотите – откажитесь, никто не неволит. Просто нам казалось, что вы нуждаетесь в помощи... Всегда хочется помочь своим... Вы ведь не являетесь членом коммунистической партии?

– Остановите машину. Я хочу выйти.

Веласко аккуратно притормозил.

– Пожалуйста, Пареда. Если все-таки решите помочь маленькому – позвоните, телефон просто запомнить, двадцать два, тридцать, сорок один. Попросите меня. У вас есть время на раздумье.

Когда Трумэн пригласил на завтрак группу самых доверенных экспертов, чтобы утвердить позицию американской делегации, которая поедет в Рио-де-Жанейро, чтобы понудить все страны континента подписать Межамериканский договор о взаимной помощи, Даллес, как всегда, сел в последний ряд, так, чтобы не выделяться, любил быть «с краю и позади», шутил, что эта позиция выгодна в марафонском беге, легче вырваться вперед на финишной прямой, на трассе целесообразнее идти за лидером, экономя силы для последних секунд, когда решается судьба золота.

Со своего места, возле двери, он прекрасно видел чеканный профиль брата, который сидел рядом с адмиралом Леги, наиболее доверенным человеком Трумэна; какое это счастье, когда есть такой брат, как Джон, – махина, умница, сама доброта; что бы ни происходило в наших семьях, мы сохранили до седин главное, спасающее людей от духовных кризисов, – чувство братства; боже, храни Джона, без него я останусь сиротой в этом мире, совсем один, никому – по-настоящему – кроме него не нужный...

Он внимательно слушал выступавших; слишком много общих рассуждений: «мы за демократию и свободу»; назовите хотя бы одного политика, который хоть раз выступил против свободы и демократии, не надо клясться тем, что очевидно, пустословие; предложения, где предложения, обращенные в будущее?!

Партитуру они с Джоном разобрали заранее: старший молчит, ему нецелесообразно выступать открыто, тем более что Трумэн наверняка знает о том, что позавчера состоялась встреча с Эйзенхауэром, главным конкурентом на президентство; все, что скажет Джон, будет подвергнуто сомнению, – не игра ли политических противников?

Однако младший должен выступить; сделать это целесообразнее в самом конце; видимо, речи советников Трумэна будут достаточно бесцветными и аккуратными, надо взорвать спокойствие, пусть в Вашингтоне заговорят о скандале в доме, это пойдет на пользу семье Даллесов; тщательно взвесили все пункты в концепции Черчилля, которой он поделился с Джоном во время ланча на ферме; бульдог – настоящий мудрец, его имя занесено на скрижали при жизни без особых стараний со стороны премьера, жил, как жил, но всегда держался одного, только так и можно.

Пока у власти Трумэн, надо сделать все, чтобы получить такое стратегическое преимущество в противостоянии с русскими, чтобы новый президент – истинный избранник этой страны – мог сесть за стол переговоров с московским диктатором, не повторяя ошибок доброторца Рузвельта.

Через три часа, когда высказались все, кроме Джона Даллеса, младший поднял руку, в которой была зажата неизменная трубка:

– Разрешите несколько слов, мистер президент?

– Да, да, пожалуйста, Аллен, – кивнул Трумэн, глянув на часы.

Даллес подошел к карте, что висела на стене, и провел трубкой линию от Северного полюса к Южному; пик овала отстоял от Панамского канала примерно на полторы тысячи миль, приближаясь к Филиппинам:

– Наша делегация должна уговорить все американские государства провозгласить эту линию западной границей нашего континента; всякий, кто так или иначе вторгается в эту «зону безопасности», автоматически становится агрессором, против которого обязаны выступить все страны Северной и Южной Америки... А на востоке, – Даллес переместил руку, – мы объявляем о включении в «зону безопасности» всей Гренландии, – он переместил трубку к Дакару, – этой зоны Атлантического океана, разделяющего нас с Африкой, но мы берем акваторию поближе к Африканскому континенту и утверждаем свой приоритет над тем же Южным полюсом... Это все. Без такого рода решения конференция в Рио-де-Жанейро не имеет смысла...

Кто-то сразу же возразил:

– Мистер Даллес, нас неминуемо обвинят в экспансионизме!

Даллес, направляясь на свое место, лишь пожал плечами:

– А когда нас в этом не обвиняли?

По залу прошел шорох.

Трумэн поднял неизменный карандаш, зажатый в узкой ладошке:

– Аллен, ваше предложение не пройдет в Рио-де-Жанейро... Наши южные соседи полны уважения к русским из-за их роли в борьбе против нацистов... Если бы на юге зрела конфронтация с русскими – это одно дело... Нет, не пройдет, хоть и заманчиво...

Вернувшись из Белого дома к брату, пообедав и обсудив создавшуюся ситуацию («Ты прекрасно вмазал, Аллен, «мистер желе» не знал, что делать»), Даллес позвонил Макайру:

– Боб, хорошо бы сегодня вместе поужинать... Жду вас в моем клубе.

– Ах, Аллен, у меня сегодняшний вечер занят.

– Допоздна?

– Увы. День рождения родственника, вы же знаете, как трудно уйти шишке, начнутся обиды...

– Хорошо, а как у «мистера шишки« складывается завтрашний день?

– Сейчас я посмотрю записную книжку...

Даллес закрыл ладонью мембрану и тихо сказал брату:

– Ишь, он уже начал смотреть свой блокнотик, чтобы найти для меня время...

Макайр тем временем, пролистав записи на завтра, предложил:

– Часов в девять вечера? Вас это устроит, Аллен?

– Я позвоню вам на работу, – ответил Даллес, – черт его знает, как все сложится завтра, знаете нашу нынешнюю неустойчивость...

– Какая жалость, что не вы директор Центрального разведывательного управления, Аллен... Все-таки, согласитесь, это несправедливо... Я был убежден, что именно вы возглавите нашу организацию...

Даллес вздохнул:

– Вышел в тираж, Боб, кому нужны ветераны, время выдвижения новых людей...

Через два часа Аллен Даллес встретился с полковником Бэном.

Тот выслушал его, поднялся, поинтересовавшись:

– Проводите на аэродром? Я сразу же лечу в Чили, это надо делать самому, работа по душе, вижу серьезный политический резон.

– Хотите, чтобы я уплатил за такси? – Даллес рассмеялся. – Конечно, провожу, дорогой Бэн, мне приятно быть с вами, больше всего ценю в людях ощущение надежности... У вас есть прикидки плана?

Тот кивнул:

– И не одна... У вас действительно нет машины?

– В городе полно такси, зачем? Шофер очень дорог, а сам я плохо вожу машину, жму на акселератор, не ощущаю скорости...

– ИТТ наймет вам двух шоферов, – усмехнулся Бэн, – только согласитесь...

...Нити, связывающие людей, – а все люди планеты так или иначе связаны друг с другом миллиардами незримых, тончайших нитей (торговля, спорт, музыка, кинематограф) – подчас являют собою одну из самых высочайших загадок цивилизации. Проследить за системами такого рода микронных связей практически невозможно, поскольку их пунктирность слишком зыбка и опосредованна.

Можно, тем не менее, набросать определенную схему, – благо-

дарение архивам, хранилищу будущих возмездий, наград, переоценок, корректив! Прошлое лишь потому занимает людей, что оно определяет вариантность будущего; от кого зависит выбор оптимального пути — задача иного исследования; закономерность, однако, играет в такого рода выборе наименьшую роль, превалирует субъективный фактор, который есть выражение случайного.

Итак, лето сорок седьмого года на юге Американского континента определялось факторами, поразительными по своей неоднозначности, но, тем не менее, завязанными в один узел.

Объективным фактом являлось то, что во время войны против стран «оси» во всех государствах Латинской Америки были легализованы коммунистические партии, разрешены профсоюзы и установлены дипломатические отношения с Советским Союзом, — в этом смысле Трумэн был прав: никакой конфронтации с русскими.

Сразу же после окончания великой битвы рабочие, интеллигенция, крестьяне и студенты поднялись против ужасных условий, как экономических (в первую очередь), так и политических, в которых реализовывалась жизнь поколений.

Причем гнев людей направлен как против местных диктаторов (или же вполне легально избранных президентов), так и против англо-американских монополий.

Консультантом ведущих монополий Севера был Даллес.

В нарушение закона Соединенных Штатов — в пику ему — Аллен Даллес превратил концерн ИТТ и полковника Бэна в свои личные резидентуры, работавшие по его, Даллеса, заданиям, предварительно скорректированным с семьями Рокфеллеров, Дюпонов и Диллонов — Морганов.

Во время приема в советском посольстве Эухенио Пареда пригласил русского дипломата на встречу с рабочими порта Вальпараисо.

После доклада о жизни в России он вручил советскому атташе рукописные отчеты о работе профсоюзной организации.

По дороге из Вальпараисо в Сантьяго-де-Чили машина русского попала в аварию; папку с материалами заменили другой; назавтра в газетах началось улюлюканье по поводу «русского подстрекательства»; в тот же день президент Гонсалес Видела встретился в загородном гольф-клубе «Морские львы» с генеральным директором ИТТ; вечером было сообщено о разрыве дипломатических отношений с СССР, запрещении коммунистической партии Чили и контроле над профсоюзами.

В знак протеста Эухенио Пареда эмигрировал в Перу; там ему был вручен чек на десять тысяч долларов для лечения сына и предложена работа в системе ИТТ.

По такому же рецепту была проведена комбинация и в Бразилии; правительство маршала Дутры расторгло дипломатические отношения с Советским Союзом почти одновременно с Чили.

Очередь за Гондурасом, Боливией, Эквадором, Гватемалой, Доминиканской Республикой, Аргентиной.

Предложение Аллена Даллеса, внесенное им на совещании у Трумэна, было принято и включено в программный документ американской делегации; полнейшая победа семьи!

...За день перед очередной встречей с полковником Бэном, вернувшимся из Чили, Аллену позвонил Фрэнк Визнер, старый и верный дружочек по работе в ОСС, резидент в Стамбуле, Бухаресте и Венгрии, человек достаточно левых убеждений, стоит что-то около восьмидесяти миллионов долларов, поэтому совершенно независим в суждениях; порою его парадоксальность изумляла собеседников, некоторых пугала.

Попыхивая трубкой, Даллес только посмеивался: «Свои имеют право на все; будь он нищим, не знай, где взять денег, чтобы купить жене автомобиль, тогда его следовало бы остерегаться. Своим надо верить и смотреть сквозь пальцы на их шалости. Бойтесь чужих, они опасны».

Республиканец Даллес, приверженец Томаса Дьюи, многолетнего кандидата на пост президента от своей партии, тем не менее оказывал постоянное покровительство всем, кто составлял структуру ОСС, – а это были в основном демократы, выпускники университетов Восточного побережья, либералы левой ориентации, все как один члены демократической партии, члены «Лиги плюща».

– Эти люди сидят с нами за одним столом, – повторял Даллес своему другу Вильяму Джексону, генеральному директору издательского концерна «Джордж Г. Витни энд компани». – Они едят одну и ту же еду из одних и тех же тарелок. Пусть они верят в осла, если их пугает слон, какая разница? Нет ничего страшнее драки среди своих... На этом Гитлер свернул себе шею... Когда армейская разведка тянула одеяло на себя, гестапо на себя, а несчастный Шелленберг суетился между двумя этими слепыми гигантами, начались хаос и взаимопожирание.

(Именно они, Вильям Джексон и Аллен Даллес, были приглашены к президенту Трумэну; именно им он поручил сконструировать дух нового разведывательного управления.)

– Я не против молодых левых демократов, в конце концов, мы – единственно свободная страна на этой земле, – ответил Джексон. – Просто они часто впадают в транс и костят все то, на чем стоим не только мы, но и они сами... Надо же думать о будущем, о подрастающем поколении! Если низвергать все святое, молодежь может разболтаться, ее надо держать, как хорошего коня, в узде.

– Ах, перестаньте, Вильям, – возразил Даллес. – Коня не удержишь уздой. Его можно удержать обильным овсом в закромах, сочным пастбищем и правом выступать на хорошей гаревой дорожке ипподрома... Кони, как и люди, обожают быть первыми... Уздой ни-

чего не удержишь, – повторил он. – Только свободой поступка, правом на самость, когда выигрывает сильный. Мы – страна, живущая по закону отбора талантливых... Неприспособленные отваливаются, становясь удобрением для тех, кто определит будущее нации американцев. Ребята из «Лиги плюща» должны на деле почувствовать преимущества от того, как они служат этой стране... Повторяю – на деле, а не декларативно... Человек есть то, что он ест, – в этом смысле я не берусь спорить с Марксом...

– Аллен, простите поздний звонок, – сказал Фрэнк Визнер, – но я только что от государственного секретаря, мне не терпится обсудить с вами состоявшуюся беседу.

– Приезжайте, рад вас видеть.

Этим человеком Даллес восторгался; именно он тридцатого апреля сорок пятого года привез на своем заляпанном грязью «виллисе» генерала Гелена; тот под его диктовку написал: «Обязуюсь работать во имя интересов Соединенных Штатов, – до той поры, пока не будет создана демократическая Германия, антибольшевистский бастион Европы, однако же и тогда я буду координировать каждый свой шаг с американской стороной, признав – отныне и навсегда – ее первенство в вопросах тотального противоборства с тоталитаризмом».

Именно Фрэнк Визнер (мог бы, кстати, сидеть в Нью-Йорке, денег куры не клюют) ворвался с тремя солдатами в маленький силезский городок, куда немцы вывезли архивы СД; на улицах еще стояли танки вермахта; слышалась канонада, наступали русские; сумев угнать оттуда пять грузовиков с бесценными документами в американскую зону, он сделал практически невозможное.

В свое время именно Фрэнк Визнер (у него не было интересов в Латинской Америке, все филиалы его фирм находились в Европе и Юго-Восточной Азии) сразу же поддержал идею Аллена Даллеса: да, Юг континента необходимо очистить от красных, да, во время войны они наработали авторитет и симпатии латиносов, это угрожает Соединенным Штатам; при этом – одновременно с ударом на Юге – необходимо планировать операции в Восточной Европе; русские должны жить в своей берлоге, общение с цивилизацией – даже восточноевропейской – может принести Москве определенные дивиденды; кооперация с передовой технодогией, дисциплиной, организованностью венгров и чехов может оказаться таким стимулятором, который позволит Сталину превратить свою страну не только в военного, но и в промышленного колосса; недопустимо.

Визнер сразу же согласился с тем, что филиалами разведывательного сообщества на Юге должны стать представительства ИТТ: «Нет, я лишен чувства ревности, Аллен; я не против того, что Бэн стрижет купоны, риск следует вознаграждать сторицей, только чуть придержите аппетиты полковника в Европе; пусть Латинская Америка сделается его вотчиной, я не возражаю, думаю, с Рокфеллерами вы договоритесь без моей помощи, они меня не очень-то жалуют...»

...Фрэнк приехал через двадцать минут; в Вашингтоне Даллес снимал скромную трехкомнатную квартирку, чаще жил у себя в

Нью-Йорке; тихие комнаты сразу же наполнились шумом, смехом, грохочущими раскатами голоса Визнера, – как все добрые и смелые люди, он был невероятно открыт и шумен.

– Слушайте, Аллен, признайтесь, вы знали, что мне предложат?

– Вам предложили пост заместителя государственного секретаря? – Даллес улыбнулся, радуясь той жизни, которая ворвалась с этим человеком в его тихий, грустный дом. – Отказывайтесь. Вы не умеете подчиняться, и это прекрасно.

– Мне предложили продумать организацию разведывательного управления, которое бы проводило политику активных корректив: то, чего не смогут добиться дипломаты, должен выбить я.

– Поздравляю, Фрэнк. Это великое дело. Не стану отказываться – моя идея. Я предложил ее Трумэну, но вы же знаете эту черепаху: пока-то он посоветуется со всеми своими галантерейщиками, пока разложит пасьянс и выслушает мнение жены... Если бог хочет покарать страну, он награждает ее медлительным и слабым лидером, который живет традициями, боясь необходимых новаций... Как думаете назвать свое детище?

– За этим я к вам и приехал.

– Назовите Управлением по координации политики... Пока что вы будете иметь нескольких хозяев: и государственного секретаря, и министра обороны, да и самого президента – Трумэн обожает секреты, он подарил ребятам, вошедшим в Центральную разведывательную группу, – вы тогда были в Европе, не знаю, рассказывали ли вам, – черные плащи и деревянные кинжалы: «Отныне вы мои рыцари плаща и кинжала...» Смешно, конечно, но мы вырвали у него то, чего никогда бы не дал Рузвельт: отныне разведка в этой стране пользуется влиянием большим, чем в любом другом государстве планеты... Название, которое я вам предлагаю, ставит вас над всеми. Вы не кто-нибудь, а координатор политики, сводите воедино концепции военных и дипломатов, выгоднейшая позиция, можно только мечтать.

– Слушайте, это гениальная идея, Аллен! Думаете, разрешат?

– Наверняка будут ставить палки в колеса, – убежденно ответил Даллес. – А что новое рождалось без боя? Человечество продирается к добру и прогрессу сквозь тернии, Фрэнк. Такова уж судьба несчастных землян... Если нам удалось вытеснить русских из Чили и Бразилии без крови, то теперь настало время трагического действа... Судя по всему, мы его начнем в Боливии и Коста-Рике – одновременно. Нужна кровь, Фрэнк. Я говорю ужасные слова, я понимаю, что это входит в противоречие с нашей моралью, но, если мы решили спасти свободу, мы не имеем права на удобную ложь: пришло время называть вещи своими именами. Удар в Чили и Бразилии – это только начало, Фрэнк. Это политическое бескровие, в то время как человечество заносит в анналы лишь трагедии и горе, болевые точки исторической памяти... Мне бы хотелось, чтобы вы – пока ваш проект будет прокручиваться – в течение недели разработали наметку нескольких драм в Боливии. Никто, кроме вас, мудрого флибустьера и романтика, не сможет этого сделать...

– Есть конкретные предложения?

– В определенной мере... Часть материалов я уже для вас приготовил, а часть придется собрать вам... Меня, например, интересует, как Роберт Макайр комплектует разведывательное управление, основные тенденции...

– Не проблема, это я выясню завтра же. Что еще?

Даллес грустно улыбнулся:

– А ничего... Просто я очень рад, что такой чистый романтик и флибустьер занялся делом, которое принесет много пользы этой стране...

– Макайр – ваша креатура?

– Чепуха, – Даллес пыхнул трубкой. – Он креатура Гувера, но уж никак не моя.

Визнер понял, что получил свободу рук, – ему было известно, что раньше Даллес поддерживал Макайра; значит, что-то произошло, пахнет комбинацией, нет ничего прекраснее комбинации, это посильнее наркотика.

Через три дня Визнер сообщил Даллесу, что Макайр работает на износ, день и ночь проводит в доме; переместил либерала из «Лиги плюща» Рэйнолдса в Люксембург: слишком «радикален, пусть пересидит крутые времена подальше от Комиссии по расследованию, место тихое, но интересное, рядом Париж, может катать туда на отдых»; засунул в архивное управление Айвэна Полычко, натурализовавшегося украинца, мать и вовсе русская, а тот сидел на самых узловых проблемах, в ОСС пришел вместе с Донованом, ас.

Визнер говорил об этом, как всегда, весело и шумно, прекрасно понимая, что доставляет боль Даллесу, – речь шла о его людях, которые работали под ним не один год; тем не менее Аллен, пыхнув трубкой, ответил, что, видимо, Макайр руководствуется здравыми соображениями, не может же он просто так, за ради живешь, задвигать в угол талантливых людей: «Не будьте к нему строги, Фрэнк...»

– Не буду, – пообещал Визнер, – как скажете, большой босс с трубкой мира! Кстати, он предложил Марку Липшицу отправиться на Ямайку, пришло сообщение, что дедушка и бабушка Липшица дома говорят по-русски, только в синагоге говорят на исковерканном идиш...

Липшиц был посажен Даллесом на планирование долгосрочных комбинаций, узловой пост; тем не менее Аллен снова усмехнулся:

– Это уж по вашей линии, Фрэнк, боритесь за единокровца, сам бог велел!

– А вы-то к нему как относитесь?

Даллес задумчиво переспросил:

– Как я отношусь к нему? Черт его знает... Особой симпатии я к нему не испытываю, но вам без него будет трудно, ума палата, поразительная информированность, терять таких людей неразумно.

После разговора с Визнером, походив по квартире, Даллес надел скромный пиджак – на плечиках штопка, – вышел на улицу, купил

билет на сабвэй и долго катался под огромным городом, угадывая, какой район проезжает вагон, по тому, кто стоял на перроне; легко определил Гарлем; еще проще дело с улицами, где жили китайцы; наслаждаясь, слушал их быстрый говор; пуэрториканцы отчего-то были всюду: откуда такая страсть кататься в метро?! Видимо, не могут найти работу, бедненькие... Все же это глупо – не брать человека на завод или в мастерскую только потому,что он похож на Монтигомо Ястребиный Коготь; расизм – государственный предрассудок отсталых наций... Страшно: после того, как Гитлер уничтожил шизофреников, нация – как утверждает профессор Климс – поглупела... Видимо, психически больные люди угодны цивилизации; вполне допустимо, что мы кажемся им больными, они ведь живут в своем мире, возможно, он прекрасен и красочен, интереснее нашего. Пусть шизофрениками будут художники и музыканты; другое дело, когда больные люди становятся организаторами науки, политики и производства, особенно если у них сдвиг на национальной почве, фатальная ненависть к какому-то народу, – сколько Карданов, Кювье и Ньютонов может быть среди этих несчастных пуэрториканцев?!

Он понял, что, думая об этом, исследовал поведение Макайра; как он посмел расправиться с моими людьми? Ты сам толкал его к независимости, ответил он себе. Ты сам звал его к спору. Все верно, так было, но он знает мое отношение к Рэйнолдсу и Полычко с Липшицем. Он осведомлен, что я верил им и поручал самые сложные узлы операций... Почему он так повел себя?

...Даллес вышел в китайском квартале, вкусно поужинал в маленьком ресторанчике, засиделся там допоздна, наслаждаясь прекрасной музыкой; в метро ехать не решился, опасное время; вызвал такси.

Уснул со снотворным; наутро связался с Визнером, договорился о встрече и ознакомил его с досье на Макайра, – тот притащил с собой в Штаты нацистского шпиона: «Раньше об этом знали он и я, а теперь узнали и вы, Фрэнк».

РОУМЭН, МАФИЯ (Нью-Йорк, сорок седьмой)

В Нью-Йорке Роумэн поселился в Гринвидж-Виллэдж; снял мансарду, хозяин не спрашивал ни водительской лицензии, ни документов на ношение оружия, только попросил уплатить деньги за месяц вперед: «Если вам понравится в этой глухомани, если не сожжете дом, договоримся на будущее; да, и еще: внесите часть страховки, верх деревянный, бросите спичку – станете Джордано Бруно».

Первый день Роумэн отлеживался; ночью вышел из убежища и тщательно проверился: хвоста не было; сбежать из госпиталя – прекрасная идея; Рабинович объяснил, что такие бзики бывают у тяжелых сердечников – форма нервного шока, желание уйти от самого себя, начать жизнь с чистой страницы, предсмертная ремиссия.

Он передвинул скрипучую кушетку к окну, чтобы видеть улицу. Криста наверняка бы устроилась в углу, села б по-китайски, кофе на полу, вокруг книжки; господи, вот счастье – иметь такую люби-

мую,которая умеет вмиг обживаться в любом месте... Люди, влюбленные в цифру семь, вспомнил он ее слова, талантливы, склонны к авантюрам и несут на себе незримую печать удачи. Хорошо, что я дернул от Рабиновича седьмого, подумал он, действительно, счастливая цифра, макайры не просчитали возможность такого исхода, иначе бы поставили в клинике пост, у меня есть дня три форы, конечно, они меня найдут, в этом нет сомнений, но пара свободных дней – это очень много, это сорок восемь часов, вечность...

Нет, не вечность, возразил он себе, еще неизвестно, как пойдет разговор с Джоном Кэйри; это четыре года назад он требовал покарать убийц сестры; сколько воды утекло; возможно, его перекупили, а может, напугали, а может, споили, всяко может быть... Да и потом, наконец, отчего он должен мне поверить? Должен, сказал себе Роумэн, люди верят, если говоришь им правду про себя, всю правду, без остатка. Он воевал, он знает, что такое нацизм, он был ранен. Мне нечего скрывать, все надо называть своими именами, только тогда может получиться разговор. А если он позвонит в ФБР? Ну и пусть. Я не под судом. Против меня пока не возбуждено дело. Я свободный гражданин свободной страны... Как кинодраматург Лоусон... Или режиссер Чаплин... Или Брехт с Эйслером... Ох, не надо об этом, взмолился он, нельзя начинать, не веря в успех! Как бы ни было трудно, всегда следует верить в успех, ты должен сообщить всю свою энергию этому желанию, чем большим количеством энергии оно заряжено, тем вероятнее победа.

О деле Кэйри он узнал еще в самом конце сорок второго, за неделю перед вылетом в рейх; он тогда принимал участие в разработке разведывательных операций перед высадкой американских войск в Сицилии, запланированной на весну; Донован, отбирая кандидатуры военных, которые должны были контактировать с ОСС, довольно долго изучал формуляр генерала О'Дуайера: достаточно молодой политик, иммигрировал из Ирландии в семнадцатом; ну их всех к черту, этих католиков с протестантами, сказал он, приехав в Штаты, они готовят почву для большевиков, все междоусобицы приводят к революциям, а я их ненавижу, у нас нет разницы между католиками и протестантами, каждый молится, где хочет.

О'Дуайер поступил в полицию Нью-Йорка и вскоре провел десять блистательных операций, схватив убийцу Макдональда, за которым охотились сотни агентов в течение четырех лет, арестовал банду Эндрюса Валси – их было трое, а он один, – получил пулю в руку, пристрелил одного из мерзавцев, а других изуродовал так, что пришлось отправить в госпиталь; потом вышел на Банелли, тот был наемным убийцей, служил «Коза ностре»; старый полицейский Макрайен покачал тогда головой: «Не советую тебе связываться с мафией, сынок. Все, что угодно, только не они. Снесут голову, поверь». Тем не менее О'Дуайер скрутил мафиозо, хотя тот был на голову выше его и весил фунтов на двадцать больше.

Ночью к нему приехал Альберто Анастазиа, руководитель одной из семей мафии, которая контролировала порт Нью-Йорка и направляла деятельность «корпорации наемных убийц». Он приехал не один, а в сопровождении своего заместителя Энтони Ромеро и трех

телохранителей; О'Дуайер не успел вытащить пистолет из-под подушки, вошли к нему, пользуясь набором отмычек, ступали по-кошачьи, пойди услышь шаги профессионалов...

– Послушай, парень, – сказал Анастазиа, сев рядом с кроватью О'Дуайера, – ты мне и впрямь нравишься, я люблю тех, кто лишен страха... Я сам такой же дурень... Но ты пошел не туда, поверь... Моего Банелли завтра отпустят под залог, ведь на меня работают лучшие адвокаты города... Я не хочу размазывать сопли об стену, вдруг кто заметит, что у тебя были гости, не надо этого. Тебе не надо, мне-то плевать, сам понимаешь, я, к сожалению, не смогу стать президентом этой страны, итальянец, а вот твое будущее зависит только от тебя.

– Если ты, паршивый бандит, пришел, чтобы убить меня, – сказал О'Дуайер, ощерившись, – убивай! Посмотришь, как умирают ирландцы...

– Если бы я хотел тебя убить, это бы уже сделали. Нет, я пришел к тебе с дружбой... Вот моя рука, пожми ее, и тогда я тебе расскажу, что я намерен тебе предложить...

О'Дуайер взял руку Анастазиа и начал медленно сжимать его пальцы; тот – тоже; в комнате было тихо, так тихо, что было слышно, как хрустят суставы; лицо Анастазиа стало красным от напряжения; О'Дуайер был по-прежнему бледен, никакого напряжения, только щерился, как волк.

– Ты победил, – сказал Анастазиа. – Не вздумай понудить меня встать на колени перед тобою, этого тебе не простят мои люди, я-то могу опуститься перед тем, кто сильней...

О'Дуайер отпустил его руку и сказал:

– Лучше пойдем в полицию. Пойдем, Анастазиа... Тебе многое простится, если ты сам придешь с повинной.

Тот кивнул:

– Верно. Скинут лет сорок... Получу всего двадцать, больше не натянут... И ты станешь лейтенантом, это уж точно... Но у меня есть иное предложение: мы купим тебе адвокатскую контору в городе... Нет, нет, нас защищать не надо! Нас защищает Таманни-холл, как-никак штаб-квартира демократической партии Нью-Йорка. А проработав тройку лет в адвокатской конторе, – ты ирландцев защищай, бедняков, набирай очки, – мы сделаем тебя судьей... А дальше – посмотрим... У тебя уже есть имя, ты сделал его без чьей-либо помощи, но теперь тебе нужна помощь, ирландец... Если ты не дурак, а человек, который хочет выбиться в первые... словом, в этой стране без помощи сильных невозможно подняться.

...Через семь лет О'Дуайер стал окружным судьей; когда в профсоюзах США произошел раскол и из Американской федерации трудящихся выделился мощный конгресс производственных профсоюзов, Анастазиа понял, что настал его час: кто держит профсоюзы, тот владеет страной. Руководители нью-йоркских демократов выдвинули О'Дуайера на пост окружного прокурора Бруклина: там катилась волна политических убийств, мафия нуждалась в человеке, который защитит ее деятельность, дела будут положены под сукно, а прятать было что: убили Сирника, члена профсоюза моряков, исчез профсо-

южный лидер, борец против мафии Питер Панто, застрелили активистов профсоюза Бергстрома, Роберста, Симпсона, Ноя, Брайна...

– Я выведу мафию на чистую воду, – заявил журналистам Нью-Йорка О'Дуайер. – С «корпорацией убийц» будет покончено! Они знают, что со мной шутки плохи!

Через два дня О'Дуайер встретился – с соблюдением всех норм конспирации – с Анастазиа в маленьком домике на берегу Кони-Айленда.

– Слушай, брат, – сказал он главе семьи, державшей весь бизнес в портах побережья, сотни миллионов долларов ежегодной прибыли, – услуга за услугу. Либо ты отдашь мне десяток твоих подонков и я посажу их, – после погони, перестрелки, ну и всего прочего, спектакль должен быть поставлен как в Карнеги-холл, – либо я ничего не смогу сделать для тебя в главном...

– Как странно, – мягко улыбнулся Анастазиа, – вы, северяне, начинаете разговор с ультиматума, вместо того, чтобы спросить о здоровье, передать привет родственникам, посетовать, что мы так редко видимся...

– Между прочим, ты выглядишь достаточно плохо.

Анастазиа покачал головой:

– Ты не прав. Просто я сегодня мало спал. У меня было плохое настроение из-за того, что проиграла моя команда. И я много пил. А потом взял девку. Но она оказалась тигрицей. А я, глупый сицилиец, вместо того, чтобы послать ее куда подальше, изображал из себя Голиафа... Мы же южане! Не можем показать слабину, пускаем пар ноздрями. Ничего не попишешь, национальный характер. Такая уж у нас участь...

– Я тоже дышу ноздрями, – усмехнулся О'Дуайер, – хоть и северянин...

– Кстати, будь осторожен с Лилиан, мы смотрели за ней, она принимает Никлсона, а он ставит на республиканца Дьюи... Не сердись, но он покрепче тебя, а баба с потрохами отдаст того, кто слабей... Кошки – они служат тому, кто гладит сильной рукой.

– Ты это серьезно? – спросил О'Дуайер.

– Да. Увы, я обречен на серьезность в разговоре с людьми, подобными тебе. Мы заинтересованы в тебе. Поэтому оберегаем от проколов. Не сердись. Я понимаю, как это противно, когда за тобой смотрят в оба глаза... Что же касается твоей просьбы, я отдам тебе пяток одиночек... Вполне престижные гангстеры... Волокут за собой мокруху. Газетчики будут довольны. Станешь звездой первой величины...

– Этого недостаточно... Мне надо, чтобы ты пока чуть сократил свою активность в Бруклине...

– Знаешь завет мудрых? – улыбнулся Анастазиа.

– Их много.

Анастазиа покачал головой:

– Один... Только один... «Проси у друга только то, что он в силах сделать». Не ставь его в неловкое положение. Это означает конец дружбы...

– Я вношу встречное предложение, Альберто... Ты проходишь мимо золотой жилы... Это Голливуд, профсоюз кинематографистов...

Положи руку на владельцев кинотеатров, договорись с руководителями крупнейших кинофирм... Там другое побережье, дай мне здесь стать... После того как это случится, будет лучше и тебе, и мне, если я хозяин, то и ты хозяин.

– Но ведь ты знаешь, что в Голливуде работает Вильям Биофф, телохранитель Аль Капоне, весьма сложный человек?

– Знаю. А ты не трогай его. Я дам тебе кое-какие сведения, которые позволят тебе войти в долю с тем, кому он платит. С преемником Аль Капоне – с Фрэнком Нитти.

– Хорошо, – ответил Анастазиа. – Это дельное предложение. Спасибо тебе. Я его изучу...

В тот же день он вылетел в Чикаго, повстречался с главой тамошней семьи Фрэнком Нитти, затем отправился в Голливуд и внес сто тысяч долларов в кассу профсоюза межнациональной ассоциации концертно-театральных служащих; деньги принял председатель исполкома Джордж Браун; рядом с ним, устроившись в удобном кресле, сидел его первый заместитель, «подвижник охраны интересов трудящихся» Вильям Биофф, бывший начальник личной гвардии Аль Капоне; о'кей, сказал он тогда, ты в доле, Анастазиа, но имей в виду, над нами собираются тучи. Если потребуется, привлечешь своих законников. И еще: если ты не наладишь братские отношения с Фрэнком Кастелло, а он, как и ты, представляет интересы Нью-Йорка, мне будет трудно скользить между вами... Держать в кулаке хозяев «Уорнер бразерз», «Коламбиа», «Твэнти сенчури Фокс» – не простое дело. Пока мы справляемся, но, если мне потребуется помощь, я хочу ее получить от всех вас незамедлительно...

Через месяц Биофф был внезапно арестован; О'Дуайер узнал, что дело будут разбирать не в Голливуде и не в Чикаго, а в Нью-Йорке; на конспиративной встрече он сказал Анастазиа:

– Альберто, к Биоффу подвели таких легавых, которые его раскрутят. Исчезни, вступи в армию, сейчас нужны солдаты, ты на мушке, брат.

Анастазиа записался добровольцем, его сразу же перебросили в Англию; Биофф развалился, назвал главу чикагской семьи Нитти и Ника Чирчелла, который собирал деньги, посещая руководителей крупнейших кинокомпаний; после полугода и он дрогнул; спросил следователя:

– А если я назову имена руководителей нью-йоркской мафии, можно рассчитывать на снисхождение?

– Тебя освободят до суда, – ответили ему.

Об этом стало известно людям, представлявшим интересы Анастазиа; через день Чирчелле принесли в камеру газету: на первой полосе было фото изуродованной Эстел Кэйри. Перед тем как женщине перерезали горло, ее пытали сигарами, прожигая дыры в икрах, а после того как она изошла кровью, сняли скальп.

Чирчелла забился в истерике, от встреч со следователями отказался, ни на один вопрос не отвечал, с трудом сдерживал икоту, которая била его, словно кашель.

Следствие установило, что Эстел Кэйри начала свою карьеру с официантки; прирожденный ум, сметка, прелестная мордашка и аб-

солютная фигура позволили ей за десять лет сделаться одной из самых престижных кокоток Чикаго; она снимала роскошную квартиру, сделалась членом самого престижного в городе яхт-клуба и получала часть прибыли из доходов игорного зала, находившегося здесь же, в клубе, владельцем был Ник Дик, он же содержал Эстел, относился к ней с нежностью, без ее совета не предпринимал ни одного сколько-нибудь серьезного шага; через три дня О'Дуайеру сообщили, что настоящее имя Ника Дика — Чирчелла...

На суде Чирчелла молчал: молчал и глава чикагской мафии Нитти; его место занял другой телохранитель Капоне — маленький, неповоротливый Энтони Аккардо; он включился в борьбу за судьбу друзей, которые были осуждены, несмотря на то, что молчали все, как один...

Первую тайную встречу, которую он провел, была с О'Дуайером; тот заверил Аккардо, что все гангстеры будут отпущены...

Тогда, в сорок втором году, Донован долго изучал дело О'Дуайера, потом наконец принял решение:

— Поскольку мафия в Сицилии является самой серьезной силой, поскольку Муссолини обещал ее искоренить, я пойду на риск и передам наши связи О'Дуайеру, в конце концов, он протестант, северянин, обдумывает свои решения, и уж если мы отправляем в тыл фашистам Лаки Луччиано, пусть один сукин сын поддерживает контакт с другим, на этом этапе они служат нашему делу...

...Джон Кэйри, брат Эстел, женщины, с которой сняли скальп, работал в школе, преподавал историю в младших классах, жил в Бронксе, самом дешевом районе города.

Роумэн подошел к нему во время перемены; вокруг с визгом носились дети: почему они так истошно визжат, неужели и я был таким же; попросил выкроить часок для разговора: «Я Пол Роумэн, работал в разведке, воевал в Германии, был в нацистском концлагере, речь идет о сотне-другой гитлеровцев, которые живут припеваючи, мне это отвратительно, надеюсь на вашу помощь».

— Давайте через два часа, — ответил Кэйри, поглядывая на своих питомцев влюбленными глазами. — Я отпущу оболтусов, и мы посидим в «Джиппсе», это бар за углом, ждите меня там, о'кей?

Роумэн решил не искушать судьбу, всякая прогулка — в его положении — чревата, наверняка его ищут; они могут меня найти сразу же, если повторят ужас с мальчишками, подумал он, но они пойдут на это в экстремальной ситуации, сейчас еще рано; что ж, посмотрим, кто обгонит время. Если Спарк точно сыграет истерику после моего исчезновения, если Рабинович привезет к нему врачей с добрыми глазами наемных убийц, — все психиатры такие, они ж лишены реальной власти над больными, в отличие от хирурга, дантиста или педиатра, поэтому им приходится ставить на добрую, неотвратимую жестокость, — если они предпишут ему поменять климат и он спросит про Кубу, все пойдет как надо... Ой ли, спросил

он себя. Не смей сомневаться, не смей! Ты делаешь чистое дело, и ты победишь. Рушатся те, которые ставят на грязь и зло. А на что ставят те, кто пришел с Трумэном? На что ставит эта сволочь Стриплинг из антиамериканской комиссии? На что ставит Макайр? На святые догмы справедливости? Ничему так не мешают, как добру. Зло идет по трупам. Оно не отягощает себя раздумьями о морали и принципах. Оно подчиняет себе и мораль, использует всуе слово божье, кричит о патриотизме и нации, зовет к порядку и справедливости, обращаясь к темноте среднего уровня, к обывателям, к тем, кто не умеет мыслить, но привык идти за большинством... Ох, не думай об этом, попросил он себя, не к добру это! Тогда уж лучше кончить все это дело, подписав перемирие с самим собою; дождемся иных времен, а они настанут, страна не может долго жить в изоляции, а мы катимся в изоляцию, мир начнет брезговать Маккарти... А кто тебе сказал, что изоляция не есть смысл того, чему служат все эти антиамериканские комиссии? Им всего удобнее удерживаться на плаву, когда границы тверды и непроходимы, когда все думают, как один, когда каждому ясно, что все неурядицы в стране происходят из-за красных, от кого же еще?! Вот покончим с ними, тогда все и образуется, но покончить с ними непросто, нужны годы, вот тебе и вексель на время – самый дорогой, единственный, по которому не надо платить проценты...

Какая мне разница, коммунист Лоусон или мусульманин? Мне важно только то, что он пишет для кино. Я не пойду смотреть фильм, напичканный коммунистической пропагандой, это не по мне, но ведь Хемингуэй воевал вместе с коммунистами в Испании, что ж мне – не читать книг Эрни?! Американцы сами умеют решать, что им нравится, а что нет. Свобода приучает к самостоятельности мысли; когда творчество человека запрещают только потому, что ему симпатичен Маркс, который мне совершенно несимпатичен, тогда начинается тихий террор, и еще надо решить, какой страшнее...

– Хай, Роумэн, – Джон Кэйри сел напротив, – я освободился чуть пораньше... Что будете пить?

– Я угощаю.

– Тогда стакан апельсинового сока.

– Что, не пьете?

Кэйри улыбнулся:

– А что делают с соком? Едят?

– Смешно, – Роумэн достал свои «Лаки страйк», размял сигарету, сунул ее в рот, закурил. – Тогда я тоже пожую сок... В зависимости от исхода нашего разговора у меня может быть довольно хлопотный день, да и ночь тоже...

– Спрашивайте, – просто сказал Кэйри. – Я отвечу, если сочту ваши вопросы заслуживающими интереса.

– Где вы кончили войну?

– В Зальцбурге.

– Не приходилось освобождать концентрационные лагеря?

– Моя часть ворвалась в Дахау.

– Тогда мне легче говорить с вами... Я – Пол...

– А я Джон.

– Очень приятно, Джон... До недавнего времени я работал в разведке... У Донована... Слыхали про ОСС?

– Я очень уважал ваших ребят... Почему, кстати, вас разогнали?

– Потому что Донован собрал нас для борьбы против наци... А сейчас главным врагом Америки стали красные... А мы с ними порою контактировали, особенно в Тегеране, да и накануне вторжения на Сицилию тоже... И перед Нормандией... Мы не нужны нынешней администрации... Не все, конечно... В основном те, которые имеют хорошую память и верны основополагающим принципам нашей конституции... Словом, когда я узнал, что новые люди в разведке начали использовать нацистов, попросту говоря, привлекать их к работе, и не только в качестве платных агентов, но и как планировщиков операций против русских, а началось это уже в сорок пятом, осенью, когда слушались дела гитлеровцев в Нюрнберге, я очень рассердился...

– Я бы на вашем месте тоже рассердился.

– Спасибо... Словом, меня выгнали... Но и это полбеды... Я устроился на хорошую работу, двадцать тысяч баксов в год, вполне прилично, согласитесь...

– Соглашусь, – улыбнулся Джон Кэйри; улыбка у него была медленная, какая-то нерешительная, но добрая.

– Меня ударили с другой стороны, Джон. Меня заставили замолчать, хотя я имею что сказать американцам: мафия похитила детей моего друга...

Зря я сказал «мафия», сразу же подумал Роумэн, заметив, как скорбные морщины возле рта сделали лицо Кэйри старым и настороженным. А что мне делать, спросил он себя. У меня нет времени на то, чтобы разводить комбинацию, или – или...

– Вы обратились ко мне из-за сестры? – спросил Кэйри. – Из-за несчастной Эстел?

– Да. И я поясню, почему я это сделал... Во-первых, я обещаю не упоминать ваше имя – ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах, даже под страхом смерти... Во-вторых, я обещаю не использовать вашу информацию против людей мафии... Но мне надо к ним подступиться, а для этого я должен знать. Меня интересует О'Дуайер...

– Вильям О'Дуайер? – уточнил Джон Кэйри. – Наш губернатор?

– Именно так, губернатор Нью-Йорка О'Дуайер... Но я знаю его как бригадного генерала, я передавал ему имена наших людей в Сицилии, когда он отправлялся туда с десантом... Он, кстати, храбро воевал, надо отдать ему должное... Теперь я хочу узнать все о его втором лице...

– Вам надоело жить? – спросил Кэйри.

– Наоборот. Я люблю самую прекрасную женщину на земле. И поэтому я хочу, чтобы она не знала горя... Я предложу генералу бизнес: баш на баш. Но для этого я должен знать то, чего не знает пресса. Я должен знать подробности, Джон. Генералы очень не любят подробностей, которые могут бросить тень на их репутацию. Они порою становятся сговорчивыми...

– Вы убеждены, что в этом кабачке нет людей, которые смотрят за вами?

– Я профессионал, Джон. И, повторяю, я очень люблю жизнь.

Кэйри допил свой сок, вытер рот ладонью; совсем как мальчишка, наверное, пьет молоко вместе с ними на большой перемене; покачал головой:

– А почему я должен вам верить?

– Как раз наоборот, – согласился Роумэн. – Вы должны мне не верить. Я понимаю вас, Джон... Знаете, как пытали нацисты?

– По-разному...

– Пошли в сортир, я покажу, как они это делали...

– Да вы здесь покажите... Если я захочу удостовериться, пойдем в сортир...

– Они прижигали сигаретами подмышки, тушили свои «каро» о кожу...

– Пошли, – Джон поднялся. – На это я должен посмотреть.

...Они вернулись через минуту; Кэйри взял спичку в рот, погрыз ее, пояснив, что бросил курить и ни в коем случае не начнет снова, что бы ни случилось:

– Измена начинается с маленькой сделки с самим собой, ведь правда?

– Это точно, – согласился Роумэн и снова закурил.

– А нас сейчас подводят к этому...

– Вам известно имя Эйба Рилза? – после долгой паузы спросил Кэйри. – Он не имеет прямого отношения к трагедии с моей сестрой, но губернатор о нем очень хорошо знает...

– Нет, неизвестно.

– Эйб Рилз был членом «корпорации убийц»... Он работал под руководством Анастазиа... Ну, а отношения Анастазиа с нашим губернатором вам, видимо, известны, это притча во языцех...

– Кое-что знаю.

– Так вот, Эйб Рилз сидел в тюрьме, его взяли с поличным, и парню грозил электрический стул. Тогда его жена – она ждала ребенка – пришла в ведомство окружного прокурора Вильяма О'Дуайера и сказала: «Мой муж во всем признается в обмен на жизнь». Через час О'Дуайер был в тюрьме, а еще через два часа, поздним вечером, привез мафиозо в свой кабинет. «Я дам вам ключ, прокурор, ко всем нераскрытым убийствам, а вы скостите мне срок и не обернете против меня ни одно из показаний, которые я намерен вам дать». Рилз был на связи у Анастазиа, Кастелло, Лаки Луччиано и Дженовезе, словом, у всего руководства подпольного синдиката. Он давал показания две недели. Стенографист исписал несколько томов, все улики были в руках у прокурора О'Дуайера. Когда его спросили, можно ли считать, что с «корпорацией убийц» покончено, он ответил: «Да, раз и навсегда, Рилз – мой коронный свидетель, как только мы оформим его показания и выведем его на процесс, я посажу на электрический стул мерзавцев из «Коза ностры». Рилза – после того, как он до конца раскололся, – отправи-

ли в отель «Халф Мун» – под чужим именем, ясное дело, и в сопровождении бригады полицейских агентов, которую возглавлял Фрэнк Балз. Ну и, понятно, через несколько дней Рилза нашли во дворе отеля, – кто-то выкинул его из номера, как-никак шестой этаж, свободное парение.

Зачем Штирлицу понадобился самолет, в который уже раз подумал Роумэн. Почему я должен научиться летать? Я же не говорил ему, что прошел курс во время подготовки к работе в ОСС... Но он никогда не обращается с просьбой, если не продумал ее досконально. Видимо, он придумал трюк. Почище, чем с Рилзом...

– А что показал начальник бригады сыщиков, этот самый Фрэнк Балз? – спросил Роумэн, прикидывая, как он может использовать эту информацию в разговоре с О'Дуайером и сможет ли вообще обернуть ее на пользу дела...

– Балз выдвинул версию... Он занятный человек, этот Балз, он сейчас заместитель шефа нашей полиции, могучий человек, все в его руках.

– Уголовные дела он ведет?

– Да. Особенно по борьбе с организованной преступностью.

Роумэн сломался, долго не мог успокоиться, потом сказал:

– Нет, знаете ли, все же я без виски дальше говорить не смогу. Составите компанию?

– Ни в коем случае.

– Что, когда-нибудь травились?

– Нет, я просто очень верю в бога и в то, чему он нас учит.

– Ну-ну, – согласился Роумэн, – с этим не поспоришь. Я вообще-то тоже верю в бога, но у меня с ним доверительные отношения, он многое мне прощает... Ночью надо крепко зажмуриться, в глазах сделается черно-зелено и появится божий лик... И я его спрашиваю: «Ну, что делать? Подскажи!» А он молчит. Тогда я начинаю ему рассказывать версии: можно так поступить, а можно эдак; если какая-то комбинация ему нравится, он мне улыбается... А однажды даже сказал: «Жми, парень, все будет о'кей».

Джон улыбнулся своей обезоруживающей, скорбной и в то же время детской улыбкой:

– Убеждены, что бог знает английский?

– Он знает все, – ответил Пол. – Попробуйте поспорить... Джон, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос... Я понимаю, он причинит вам боль... Вы пытались найти виновников гибели вашей сестры?

– После этого я и пришел в лоно церкви, Пол.

– Можете рассказать, как это случилось?

Кэйри пожал плечами, и только сейчас Роумэн заметил, какие они у него крутые, словно у профессионального боксера.

– Если это вам неприятно, я не смею настаивать, Джон...

– Мне это очень неприятно, но я вам расскажу, Пол... Я никому никогда не рассказывал про это, но вам расскажу, потому что вы очень правильно сделали, когда показали мне свои подмышки... Словом, Анастазиа ушел в армию, и О'Дуайер заставил своего преемника вычеркнуть его из списка разыскиваемых: «герой, доброволец, бо-

рец против нацистских ублюдков, бандиты так не поступают». И – точка... Его преемником стал Моран, кстати... Не слыхали?

– Нет.

– Это ближайший друг Фрэнка Кастелло... Знаете что-нибудь о нем?

– Мало.

– Некоронованный король Нью-Йорка. Именно он финансировал предвыборную кампанию губернатора О'Дуайера... Игорные дома, организованная проституция – миллионный бизнес, связи с сильными мира сего, – где, как не в клубе, за рулеткой, можно дать голове отдых?! Словом, когда я вернулся после победы, люди, связанные с убийством Эстел, еще сидели в тюрьме, но должны были вот-вот освободиться, хотя сроки они получали огромные, лет по двадцать каждый... За них по-прежнему бился Энтони Аккардо – с помощью О'Дуайера. Юристом Аккардо был Юджин Бернстайн, он еще Капоне обслуживал... А ближайшим приятелем Бернстайна является Пол Диллон, друг президента Трумэна, один из боссов демократической партии в Сент-Луисе... Словом, их освободили, перекупив всех, кого надо было купить, вы знаете, как это делается... Я установил адреса всех, кого выпустили... Чирчеллу, правда, пока держат в двухкомнатной камере, но он уж слишком замазан... А его друзья д'Андреа, Рикка и Кампанья начали крепко выступать... Что вы хотите, вышли из тюрьмы, когда каждому еще надо сидеть по пятнадцать лет... К ним сюда прилетел один из боссов мафии Фрэнк Синатра, певец, слыхали, наверное?

– Да. Я с ним знаком.

Кэйри вскинул глаза на Роумэна; взгляд был странным, ищущим:

– Ну и как?

– Сильный человек. Не хочу врать: он мне симпатичен...

– Ну-ну... Хорошо, что говорите правду... У меня к ним однозначное отношение... Словом, я стал охотником, настоящим охотником за двуногими зверями... Я ведь до этого трижды бывал у О'Дуайера, семь раз у Морана. «Дорогой Джон, поверьте, мы делаем все, что в наших силах; те мерзавцы, которые надругались над вашей несчастной сестрой, будут найдены. Мы посадим их на электрический стул, клянемся честью»... Охота предполагает умение скрадывать зверя... Вот я на свою голову и выяснил, что Моран, ставленник О'Дуайера, посетил Фрэнка Синатру, а там в это время гуляла вся голливудская четверка... Тогда я и сказал себе: «Они водят тебя за нос, Джон. Они прекрасно знают, кто убил твою сестру, чтобы заставить замолчать Чирчеллу. Если ты не заставишь их говорить, никто не откроет тебе правды». Ясно, куда идет дело?

– Ясно... В общих чертах... Вы начали свою войну... Как я – мою.

– Я выяснил, что освобожденный гангстер Рикка прекрасный сын, обожает отца, дона Витторе, старику шестьдесят четыре года, к мафии не имел никакого отношения, очень набожный человек... Вот я его и выкрал... Это было нетрудно сделать, он сам покупает овощи, все итальянцы, особенно старики, ходят на овощной базар, это у них какая-то страсть... А дальше... Знаете, какая-то трагикомедия... Старик – когда я привез его в хибарку на берегу – сказал: «Сынок, если

тебе надо помочь, я и так помогу, без этих фокусов... У тебя глаза больные и руки трясутся... Ты не из тех, кто умеет делать зло...» Ну, я и открыл все старику... Он спросил, где здесь поблизости телефон... Я сказал, что в полумиле отсюда есть аптека. «Пойдем туда, сынок, – сказал он мне, – позвоним этому проказнику, думаю, все образуется». Пришли мы с ним в аптеку. «Знаешь, сынок, у меня диабет, мне надо по часам есть, давай-ка попросим омлет, а?» Я заказал омлет, мы с ним перекусили, а потом он позвонил сыну и начал говорить по-итальянски. Я понял, что через полчаса сюда приедут мафиози... Обидно, конечно, подыхать после того, как прошел фронт, но что делать, я знал, на что шел... Больно уж у старика были хорошие глаза... Словом, он дал мне два имени и адрес... «Мой мальчик не имел к этому делу никакого отношения, сынок, – сказал старик, – он поклялся, он не посмел бы мне лгать». – «Откуда же он знает эти имена?» – спросил я. «Сынок, чтобы быть в его деле, надо знать все и обо всех. Чем его бизнес позорней, чем работа шерифа? Или губернатора? Давай-ка будем искать такси, тебе надо спешить, если хочешь сквитаться; мой мальчик назвал имена, но он – по их законам – имеет право предупредить тех людей... Ты не вернешь несчастную девочку, а сам можешь погибнуть, стоит ли, сынок?» Вот так, – Джон Кэйри разгрыз еще одну спичку. – Понимаете, какая штука вышла...

– Вы отомстили?

– Один уже скрылся... А второго я пристрелил... Он собирал чемодан, а я выпустил в него обойму... А потом пошел в церковь. Когда я кончил исповедь, священник сказал, что я должен пойти в полицию. «Но там же Моран», – ответил я. «Кто бы ни был, но ты обязан предстать перед законом. Потому что закон на твоей стороне». И я пошел к Морану и сделал ему заявление. А он только посмеялся: «Мы знаем, кто убийца Джузеппе Сарелли, милый Кэйри. У нас есть информация, что это дело мафии, мы идем по пятам за настоящим преступником. Иди и проспись. Ты пьян. Или свихнулся на фронте...»

– Похоже на добрую рождественскую сказку, – заметил Роумэн.

– Мне тоже тогда так показалось... Пока не убили мою невесту... Через неделю... И я понял, что на мне проклятье... Я обречен на то, чтобы всегда быть одному... Кого бы я ни полюбил, где бы это ни случилось, – они найдут и погубят эту девушку... Вот и делю каждый день: утром – в школе, вечером – в церкви... Я очень люблю играть на органе... Если у вас есть время – приглашаю...

– Они не оставили никакой записки – после того, как погубили вашу невесту?

– Нет. Они не оставляют улик...

– Вы не пытались встретиться с отцом Рикки?

– Пытался.

– И что?

– Старика отправили на Сицилию.

– Куда именно?

– Про это вам никто не скажет. Нарушение обета молчания карается смертью.

– О'Дуайер в курсе этого дела?

– Губернатор в курсе всех дел, – Джон усмехнулся. – Народный избранник должен знать все обо всех... Не вздумайте идти с вашим делом к нему, вас пришьют при выходе из здания...

– Почему? – Роумэн снова закурил. – Я ведь приду к нему с деловым предложением...

– Он губернатор, прет вверх, к таким людям нельзя обращаться с предложением человеку с улицы...

– Как же быть?

– Не знаю... Если уж рисковать – то через их адвокатов, люди с хорошей головой, от них многое зависит, сейчас на мафию работают лучшие адвокаты страны... Кстати, откуда вы знаете Синатру?

– Я ждал этого вопроса, – ответил Пол. – Я работаю... точнее – работал в Голливуде... Там довольно демократичная обстановка... Мы встречались на приемах...

– Вы знаете, что Синатра прилетел в Нью-Йорк?

– Нет.

– Он самый умный из них... Артист, человек с фантазией... Он знает все, они его обожают и прислушиваются к его словам.

– Думаете, есть смысл начать с него?

И Джон ответил:

– Я думаю, что вам лучше вообще бросить это дело...

– Спасибо за совет, – грустно сказал Роумэн, – но я им не воспользуюсь... Что должно заинтересовать Синатру? Что позволит мне рассчитывать на встречу?

– Деньги. Большие деньги. Миллионы... И обязательно интрига, они, как дети, обожают таинственность, ритуалы, загадки, романтику... Странно, но это так...

ШТИРЛИЦ, ДЕ ЛИЖЖО, РОСАРИО
(Аргентина, сорок седьмой)

– Профессор, простите, что я к вам без звонка... Так разумнее... Во всяком случае, для вас...

Де Лижжо не сразу узнал Штирлица, тот был в своем черном свитере с высоким воротом, кожаной тужурке, в джинсах и тяжелых ботинках; с утра зарядил промозглый дождь, облака висели низко над городом, рваные, серые, безысходные.

– А, это вы, – профессор не сразу пропустил его в квартиру; он снимал этаж в престижном доме, напротив парка Лесама, на улице Касерос. – Что-нибудь случилось?

– Да, – ответил Штирлиц. – Я займу у вас несколько минут, продолжение разговора о положении в Испании.

– Ну, хорошо, – несколько раздраженно ответил профессор, – войдите, я не узнал вас... Вы сейчас похожи на шкипера... Вообще-то я привык, что ко мне приходят после звонка, договорившись заранее о встрече.

– Поскольку вы лечите офицера разведки Франко, – ответил Штирлиц, – ваш телефон могут прослушивать.

– Кого я лечу?! – профессор изумился. – Какого еще офицера Франко?!

– Его зовут Хосе Росарио.

– Не говорите глупостей, сеньор... Росарио вполне интеллигентный человек.

– А Гитлер рисовал проекты будущих городов рейха. А Муссолини выпустил сто томов своих сочинений – довольно хлесткая публицистика. А... Продолжить? Могу. Мир знает множество вполне интеллигентных мерзавцев... Вы убеждены, что Росарио выбил себе глаз, наткнувшись при падении на перо?

– Он сам мне сказал, что это вздор, – профессор изучающе посмотрел на Штирлица. – На него было совершено нападение франкистами, они за ним охотятся... Поэтому он и стал лечиться у меня, открытого республиканца, поэтому мы и записали в его историю болезни сказку... Удел изгнанников – таиться, бежать скандала...

– У вас остались данные анализов, сделанных в кабинете неотложной помощи?

– Конечно.

– Мы сможем их посмотреть?

– Зачем? – Профессор начал сердиться. – К чему это? Простите, но я вас не знаю! Один раз вы пришли ко мне на прием с совершенно здоровыми глазами, теперь этот странный визит... Вообще, что вам угодно?

– Я пришел к вам только потому, что сенатор Оссорио рассказал мне вашу историю, точнее – историю вашего брата. Вот его записка, прочитайте.

– С этого и надо было начинать, – удовлетворенно ответил де Лижжо. – Садитесь, пожалуйста. Я не приглашаю в холл, там собрались друзья жены, устроимся здесь.

Прочитав письмо сенатора, де Лижжо вернул его Штирлицу, закурил, хрустнул пальцами, потом резко поднялся:

– Хорошо, едем в клинику, там все сверим.

...Сверив результаты анализа чернил и следов металла, оставленных в глазных яблоках Клаудии, – это явствовало из данных судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Барилоче, – и анализа, проведенного в столичной клинике «Ла Пас», куда доставили Росарио, которого сопровождал, как всегда, шофер такси, сеньор Пенеда, они убедились в их идентичности.

Профессор долго расхаживал по кабинету, курил одну сигарету за другой, потом достал из рефрижератора бутылку вина, разлил красную «мендосу» по стаканам, фужеров не держал: «Это только психиатры, наука для богатых неврастеников, которые не знают, сколько стоит фунт хлеба», – выпил, остановился над Штирлицем, который сидел молча, сложив на груди руки, – лицо казалось сонным; так с ним бывало всегда в моменты самых рискованных решений.

– Ну и что вы намерены предложить? – спросил де Лижжо.

– Поступок, профессор.

– А именно?

– Вы должны позволить мне позвонить от вас Росарио. Я назовусь рентгенологом. Скажу, что для правильного протезирования ну-

жен повторный осмотр. И вызову его по тому адресу, который известен одному мне.

– Звоните, я-то здесь при чем?

– Притом, что он наверняка не поверит мне. И скажет, что должен перезвонить вам, надо посоветоваться с профессором. А я отвечу ему, что звонить не надо, профессор рядом, передаю трубку... И вы возьмете трубку... И подтвердите, что приезд желателен... Сейчас же... Это все, о чем я вас прошу.

– Зачем вам все это?

– Затем, что я должен поговорить с Росарио лицом к лицу. Он убил женщину, которую я любил. Она ни в чем не виновата... Разве что в том, что любила меня... А потом Росарио должен назвать мне те его центры, которые здесь организовывают транспортировку нацистов из Европы в глубь континента.

– А потом?

– А потом я его убью.

– В таком случае я не имею права лгать ему. Я врач, сеньор... Я не знаю вашего имени...

– «Во многие знания многие печали»... У меня много имен... «Сеньор» – вполне достаточно... Больше я никогда не появлюсь у вас, профессор... Или вы хотите, чтобы я пообещал вам: Росарио останется жить?

Профессор снова заходил по своему кабинету, выпил еще один стакан «мендосы», сел рядом со Штирлицем:

– Кто вы?

– Что вас интересует? Национальность? Имя? Партийная принадлежность? Семейное положение?

– Все.

– Вы убеждены, что я должен отвечать? – Штирлиц поправился: – Я сказал неточно: «полагаете, что мой ответ нужен вам?» Зачем? Я могу сказать только, что во время войны в Испании нелегально работал в тылу франкистов... Та женщина, которую... зверски, нечеловечески, по-животному убил Росарио... была моим другом... Мы жили... Я жил у нее в Бургосе... Я делал все, что мог, в трагичном тридцать седьмом, чтобы помочь... республиканцам... Не моя вина, что победил Франко... Я честен перед своей совестью... Хотя нет, не так... Если бы мы смогли помочь процессу... Если бы за один дружеский стол собрались все республиканцы – коммунисты, анархисты, поумовцы, если бы не было драки между своими, – Франко бы не прошел... Так что я не снимаю с себя вины за случившееся... Каждый может больше того, что делает...

– Вы говорите, как чистый идеалист... И – в то же время – хотите убить больного человека.

– Убеждены, что он человек?

– Так же, как и вы, – во плоти... Обычный человек... Как вы докажете мне, что он франкист?

– О, это нетрудно... Он заговорит сразу же, как только мы останемся с ним один на один и он поймет, что его никто не услышит... Он начнет торг... Когда пистолет упирается им в лоб, они все разваливаются. Они, видите ли, очень любят жизнь... Потому что слиш-

ком часто видели, как ужасно умирают их жертвы...

– Вы предлагаете мне присутствовать при вашем собеседовании?

– Я готов пригласить вас, когда оно закончится...

– Обещаете оставить его в живых? – настойчиво повторил де Лижжо.

– А вы бы оставили в живых человека, который убил вашего брата?

Де Лижжо снова хрустнул пальцами; какие-то они у него квадратные и маленькие, подумал Штирлиц, у всех врачей особые руки, в них угадывается прозрачность, а этому бы поваром работать, разделывать мясо; не цепляйся к мелочи, сказал он себе, нельзя выводить человека по тому, какие у него пальцы; глаза – да, манера говорить и – особенно – есть – да, человек открывает себя, когда ест; впрочем, злодейство или подлость не выявляются в том, как он грызет кость, скорее – жадность, леность, застенчивость, но не подлость; пожалуй, слово, манера произносить его выявляют подлеца; а еще явственнее понимаешь это, когда наблюдаешь спор мерзавца с другими людьми, характер нигде так не выявляется, как в споре; жестокий и подлый человек страшен, особенно если растет; взобравшись на вершину пирамиды, он может взорвать ее, не думая, что и сам погибнет под ее обломками.

– Чем вы докажете мне, что Росарио – франкист? – наконец спросил де Лижжо.

– Я же сказал: тем, что я ознакомлю с его показаниями.

– Я знаю, как стряпают признания. Я не верю этому. Если он убил вашу любимую, передайте его правосудию...

– Вы это серьезно? – Штирлиц увидел рядом ящерку, зелененькую, она была очень близко, он ощутил ее тепло.

– Да, вы правы, – де Лижжо снова заходил по кабинету. – Здесь его в обиду не дадут... Хорошо, – он устало опустился на стул. – Звоните... У меня голова идет кругом... Зачем вы пришли ко мне? Зачем?!

– Чтобы вам не было стыдно самого себя...

– Но я же врач!

– Между прочим, два американских врача присутствовали при казни палачей в Нюрнберге... Они спокойно наблюдали, как Риббентроп падал на колени и целовал сапоги солдат, которые вели его в комнату, где была виселица... Они не ударились в истерику, когда Розенберг впал в прострацию, когда рыдал гауляйтер Франк... Даже виски потом не пили... Наоборот, испытали чувство освобождающего облегчения... Судя по всему, Клаудиа сначала ударила его пером в глаз, а потом, чтобы избежать чего-то самого ужасного, что не в силах перенести женщина, ослепила себя... Я как-то рассказал ей о судьбе моего очень близкого друга... Он попал в беду... Или смерть – или муки, которых не вынести нормальному человеку, потом, когда тебя сломают, ты станешь предателем, ты предашь и себя, и друзей... А ведь это невыносимо, лучше уж решить все разом... Со слепой они не станут работать – нет смысла, время будет упущено... Слепую надо убить, причем поскорее, чтобы никто не слышал кри-

ков женщины... Слепой женщины... Она помнила все, что я рассказывал ей, профессор... Это страшно, что я вам говорю, но ведь у меня сердце постоянно рвет болью, мне некому открыть себя, некому, понимаете?!

– Звоните, – сказал де Лижжо. – Знаете номер?

Штирлиц кивнул, набрал номер Росарио, представился доктором Антонио Пла Фонтом; попросили обождать; Росарио проворковал в трубку:

– Добрый вечер, сеньор Пла Фонт, здесь Росарио, слушаю вас.

– Добрый вечер, сеньор Росарио, я просмотрел еще раз ваши рентгеновские снимки, боюсь, вам придется подъехать ко мне, через полчаса я вас жду, завтра я начинаю работу с протезом, доля миллиметра решает все, я хочу посмотреть вас, не откладывая.

– Да, но сейчас достаточно поздно... И потом, я должен посоветоваться с профессором де Лижжо... Оставьте ваш телефон, я перезвоню.

– Профессор рядом... Мы вместе мудрим над вашим глазом... Он не должен отличаться от живого...

Штирлиц протянул трубку де Лижжо; тот заметно побледнел, сделал шаг назад, губы сжались в узкую, несколько истеричную щель – вот-вот закричит. Штирлиц тряхнул трубкой: «Ну же, профессор!» Тот взял ее трясущейся рукой:

– Добрый вечер, Росарио... Если вы не очень устали, подъезжайте... Пла Фонт продиктует вам адрес...

И, не дослушав ответа пациента, вернул трубку Штирлицу, побледнев еще больше.

(Два дня Штирлиц – с утра и до ночи – ездил по городу, поставив перед собой две задачи: во-первых, найти квартиру в новом доме, еще не заселенном до конца, арендовать ее; во-вторых, найти такой дом, где у входа уже укреплена вывеска практикующего врача, который бы при этом еще окончательно не переехал в свой врачебный кабинет; телефон, который он назовет, не внесен еще в справочник, перепроверить нельзя, однако Росарио успокоит и то, что с ним говорил де Лижжо, да и вывеска медика у входа.)

Продиктовав адрес, Штирлиц резко поднялся и, молча пожав руку профессору, бросился вниз, к машине.

...Привратник того дома, где Штирлиц арендовал квартиру, был, судя по всему, человеком пьющим; лицо его было отечным, под глазами висели желтовато-синие мешки, руки мелко дрожали, а на висках серебрились мелкие капельки пота.

Штирлиц о щ у т и л его, потому что в далеком двадцать втором году, после того, как он выкрал начальника белой контрразведки Гиацинтова, переправил его в партизанское соединение и там, в землянке, получив приказ Дзержинского вернуться во Владивосток, чтобы уйти с казачьими полками атамана Семенова в эмиграцию, ему пришлось неделю пить с редактором газеты Ванюшиным и начальником генерального штаба генералом Протасовым.

Владивосток тогда жил шальной жизнью, люди рвались на паро-

ходы, чтобы спастись от большевиков, но в штабе еще шла размеренная жизнь, отдавались приказы, дотошно планировалось «сокрушительное поражение» войск Уборевича, однако вечером, часов в шесть, начиналась вакханалия: Протасов разливал спирт по гранены шам, закусывал луковицей и тоненьким, словно папиросная бумага, куском сырокопченой колбасы, глаза бесенели; в семь приходилось повторять вместе с ним, – как человек пьющий, он зорко следил за тем, как ведут себя окружающие, трезвых не переносил – «интеллигентишки»; в девять отправлялись в ресторан «Версаль»; тогда Исаев, уже не Владимиров, решил менять бокалы – давиться водой и пригублять водку; склонившись к нему, Протасов шепнул: «Максим Максимович, за столом не пьют лишь те, которые хотят вызнать; сейчас такая пора настала, что лазутчиков мы расстреливаем во дворе, без суда, включив мотор автомобиля, чтобы не пугать соседних обывателей».

Штирлиц до сих пор помнил то страшное ощущение похмелья, которое наступало утром; просыпался в темноте еще, часа в четыре; давило незнакомое ему ранее, тревожное чувство надвигающейся беды; обостренно воспринимался любой шорох; редактор Ванюшин, пригласивший тогда Штирлица жить в своем огромном трехкомнатном «люксе», угадывал в темноте состояние своего любимца, заставлял похмелиться: «Ты рюмашку протолкни, Максим, сразу тепло ощутишь, пот высеребрит, – и спокойно уснешь». Действительно, стало легче, бросило в пот, захотелось поговорить с Ванюшиным, сделать ему что-то доброе; несчастный, мятущийся человек, сколько таких на Руси?! Понимает, что не туда идет, не с теми, но как изменить это, как принять решение, не умеет, страшится, не может.

Штирлиц помнил и то страшное забытье, которое наступало, когда медленный, серый, осенний рассвет вползал в номер, словно ощупывая каждый предмет, будто слепец, попавший в незнакомую комнату. Сон был тревожным, еще более страшным пробуждение, голова звенела, сердце молотило тяжело, с замираниями; на третий день он мечтал уже только о том, чтобы настало утро и Протасов, достав факирским жестом из шкафа зеленый штоф, разлил по гранены шам, а там и до обеда недолго, горячие щи с чесноком, смех генерала: «Да, остограмься, соколик, остограмься, полегчает!» Не оглянешься, как время ехать в «Версаль»; постепенно день стал разделяться на провалы, когда надо было что-то делать, читать, пытаться писать, и минуты бездумного облегчения, которое несла с собою рюмка.

Ощущение силы – при полнейшем бессилии; постоянное желание что-то делать, но делать ничего не можешь; паралич воли; необходимость сказать доброе тому, с кем пьешь, а оборачивается все оскорбительной ссорой; дерьмо прет наружу, дерьмо, бессилие и страх; все потаенное, гадкое становится зримым, заметным, неуправляемым...

Оказавшись в Шанхае, Штирлиц поселился в китайском доме, у И Лю; тех, с кем проводил последние дни в России, не видел; с утра и до вечера пил чай; через месяц пришел в себя; о том времени,

когда запойничал, не мог вспоминать без содрогания, потому что в мельчайших подробностях помнил тот ежеминутный отчаянный, беспросветный ужас, который владел им, если не мог выцедить стаканчика, – спаси, господь, сохрани и помилуй от этого...

– Слушайте, – обратился Штирлиц к привратнику, – сейчас ко мне должна приехать приятельница, а у меня даже кофе нет, не могли бы вы махнуть в какой ресторан, такси я, конечно, оплачу, и привезти мне через часок все то, что я вам сейчас запишу...

– Но я не могу оставить свое место, сеньор... Вдруг заглянет хозяин? Он очень строгий... Справедливо-строгий человек.

– Давайте вашу фуражку, я буду вызывать лифт жильцам, – Штирлиц улыбнулся. – А хозяину скажу правду... Мы с ним друзья, вы же знаете...

– Но...

– Держите, – Штирлиц достал из кармана деньги, – на оставшиеся купите себе фляжку, мне привезете кофе в зернах, хамон, сыр, тройку пирожных, шампанского и шоколад.

– Как-то я все же побаиваюсь, сеньор...

Штирлиц посмотрел на часы; прошло двадцать пять минут, вот-вот приедет Росарио; если приедет, поправил он себя. Кто-то из режиссеров (господи, когда ж это было?! Году в тридцать пятом, кажется? Тогда еще в Баварии некоторые фирмы сохранили самостоятельность, экранизировали классику или делали крутые детективы, стараясь сохранить у зрителей чувство достоинства и умение отстаивать собственную точку зрения на то или иное преступление), когда Штирлиц предложил тост за успех нового фильма, в ужасе вскочил с кресла: «Никогда, нигде, ни в коем случае не пейте за будущий успех, – картина неминуемо провалится!»

– Но вы же знаете, что я ваш жилец, дружище, – растягивая слова, сказал Штирлиц (самое страшное – показать тому, кого о чем-то просишь, нервозность или торопливость; это, как зараза, передается немедленно; не зря же говорят, что шизофрения заразна; интересно, мог ли Гитлер – с помощью радио, газет и фильмов – заразить нацию? Почему нет?). – Нам с вами еще жить и жить, а вы не хотите помочь мне в сущем пустяке. Всю ответственность я беру на себя.

– А можно вызвать такси?

– Конечно... Только придется дольше ждать... Лучше прогуляйтесь, за углом, на стоянке, полно машин, три минуты хода...

– Но как вы будете сидеть в форменной фуражке, сеньор? На вас рабочий костюм... Я, конечно, понимаю, у богатых свои заботы, они не обращают внимания на одежду, говорят, сеньор Рокфеллер отдает в починку свои полуботинки, а мы-то убеждены, что он каждый день надевает новые...

– Да, с ним такое бывает, – кивнул Штирлиц. – Доктор Пла сегодня не приезжал?

– А он и сейчас тут... Сказал, что останется ночевать, с утра придут мастера монтировать для него новую проводку, врачи теперь не могут без мощного электричества...

– Скоро все переедут, – сказал Штирлиц, ощутив тепло Клау-

дии, – будет весело... Ну, давайте вашу фуражку, все равно мне надо быть возле дома, приятельница – топографическая идиотка, может заблудиться в трех соснах...

– В трех соснах невозможно заблудиться, – ответил портье и, поднявшись, протянул Штирлицу свою синюю фуражку с черным лакированным козырьком.

– У вас есть сумка? – спросил Штирлиц и сразу же пожалел о том, что задал этот вопрос; портье начал открывать ящики стола, заглядывая в них; пот на лбу засеребрился еще больше; ему сейчас каждое движение в тягость, понял Штирлиц, после перепоя наступает ощущение опустошенности, лечь бы поскорей или, на крайний случай, сидеть, не двигаясь, борясь с кошмарами, и мечтать о том моменте, когда можно припасть растрескавшимися, сухими губами к стакану.

– Сейчас я схожу домой, – сказал портье. – За сумкой. Это неподалеку, я живу за углом, в подвале... Кстати, если вам нужно приготовить ужин – в любое время ночи, – смело обращайтесь ко мне, я пришлю жену, она прекрасно сервирует стол, служила на трансатлантических кораблях, там народ вышколенный.

– Не надо заходить за сумкой, – Штирлиц взял портье под руку, чуть не подталкивая его к двери. – В ресторане попросите, чтобы вам упаковали, они это прекрасно делают... Когда вернетесь, позвоните мне, подниматься в квартиру не надо, – он усмехнулся, – без звонка... Женщины так пугливы...

– Уж и пугливы, – вздохнул портье и начал спускаться по широкой мраморной лестнице к входным стеклянным дверям. – Нажмите кнопку, – попросил он Штирлица, – возле телефона, она открывает дверь без шума, автомат, очень удобно, не надо бегать взад-вперед...

Когда он наконец вышел, Штирлиц облегченно вздохнул, отошел к лифту, открыл дверцы, достал пистолет из кармана куртки, сунул его за ремень, вернулся за стол и снова посмотрел на часы: Росарио должен приехать именно сейчас; хотя он испанец, не зря существует выражение «тьемпо кастильяно»[1], опоздание на полчаса считается правомерным: встретил друга, не мог не ответить на его вопросы, это оскорбительно.

Штирлиц вспомнил, как Дзержинский однажды заметил своему помощнику Беленькому:

– Послушайте, Гиршл, вы опоздали на семь минут, это же бесстыдно!

– Но я ждал в машинописном бюро, пока закончат перепечатку документа, Феликс Эдмундович!

– Опоздание не объясняют, – отрезал тогда Дзержинский. – Его констатируют. Это слом графика; когда в человеческом организме ломается график обращений, начинаются необратимые процессы; хорошо, если заметили вовремя, можно вылечить, да и то с превеликим трудом...

– Ну что я мог поделать, если машинистки малоквалифицированные, Феликс Эдмундович?!

[1] «Испанское время».

– Найдите толковых.

– Их не пропускают особисты! Плохое прошлое, родственники в эмиграции...

– У меня тоже сестры и брат в эмиграции, – усмехнулся Дзержинский. – Подготовьте проект приказа, чтобы поднять машинисткам оклад содержания... Оставьте десять вместо нынешних двадцати и платите им двойной заработок, они тогда будут костьми ложиться... А вы с ними политзанятия проводите... Лучшее политзанятие, знаете ли, это когда человек убежден в том, что его работа оценена по справедливости, а не по тому, сколько часов он отсидел на стуле...

Потом, в кругу близких сотрудников, Дзержинский еще раз вернулся к этой проблеме: почему немец не опаздывает? Англичанин? Швед? Потому что они вышколены капитализмом. Время есть та субстанция, в которой создается товар, то есть деньги. А у нас капитализма не было; надежда на новую экономическую политику, родится когорта оборотистых предпринимателей – ресторанщиков, портных, сапожников, столяров, вокруг них сгруппируются миллионы помощников, заинтересованных в прямом результате своего труда, а у нас будут развязаны руки для того, чтобы отменно платить рабочим и инженерии, занятым в государственном секторе – в станкостроении, на железных дорогах, в градостроительстве. До тех пор пока человек не поймет желудком выгоду экономить время, – политбеседы бесполезны, а порою даже вредны; заговариваем проблему... Поляки тоже не знали капитализма – такие же разгильдяи... Я встречался с испанскими анархистами в Париже, прекрасные товарищи, самоотверженны, видят всю гнилость монархии, но ждать мне их пришлось двадцать с лишним минут, – аграрная страна, техники нет, а именно техника большой регулятор человеческого порядка... Обломовы рождались потому, что не было нужды заинтересованно работать: мужик сеет, урядник смотрит, куда больше-то?! Я посмотрел наши учебники литературы: чеховский купчишка из «Вишневого сада» дело делает, Чехов к нему относится с интересом, нигде о нем плохого слова не говорит, а смотрите, как литературоведы его разложили: и такой он, и сякой, и эксплуататор, и черствый... А никакой он не эксплуататор: видел человек, что добро пропадает, на вишне аграрную индустрию не поставишь, ну и занялся делом! Так ведь нет, волка из него представляют, кровососа... Странно все это... Гляжу я на иных наших пропагандистов, которые все более к сознанию взывают – в пику ленинской экономической политике, – и только диву даюсь: уж не в патриархии ли они по совместительству служат?! Церковь всегда настаивала на примате сознания: деяние – суетно, бытие – быстролетно... Преступно подменять постулат, утверждающий примат бытия, преклонением перед одним лишь сознанием, разве две эти ипостаси расторжимы?!

Штирлиц расслабился; отдыхайте, мышцы, приказал он своему телу, сейчас вы должны быть мягкими и спокойными, потому что через пару минут вам надо стать тугими, как канат, которым травят на причалах океанские лайнеры; почему ты сравнил мышцы с канатами, спросил себя Штирлиц. Потому, видимо, что портье сказал про свою жену, про то, что она работала на океанских лайнерах. Та-

инственная все же вещь – наш мозг, правда, ящерка? Какая-то клетка, одна из многих миллиардов, вобрала в себя эту информацию, и она теперь будет жить во мне столько дней или часов, сколько мне отпущено; я забуду об этом, а она будет нести эту информацию в себе; какое все же таинство – человек! Нам бы изучать себя, гордиться собою, искать общность со всеми, кто населяет землю, разве собака – плохой человек? Или конь? А гляди ты, воюем! Постоянно воюем, гоняемся друг за другом, делаем гадости – осознанные, заранее спланированные, искусные...

Ты намеренно не хочешь думать о том, что сейчас должно случиться, спросил себя Штирлиц. Экономишь себя? Правильно делаешь. Ты прорепетировал операцию, в твоей квартире включен приемник, он должен заглушить крик, он может поднять крик, этот Росарио; выстрел, конечно, радио не заглушит, но я попросил принести шампанское, не зря говорят, что шампанское стреляет... Да и потом, какая разница, что будет потом? Я не имею права не сделать того, что должен сделать. Сначала отмщение. А уж потом дело: связи с нацистами, пересекаемость их путей, ИТТ, гестапо, Гелен, все это потом, сначала я обязан отомстить за зелененькую. Мужчина, который мучает детей и женщин, не может считаться человеком, он подобен гнили; тигры бьются с тиграми, но не трогают тигриц, это противоестественно. А львы? Волки? Даже отвратительные гиены? Только люди калечат женщин и детей – ради того, чтобы их собственная жизнь была удобной, хорошо оплачиваемой, комфортной.

Ни один настоящий художник или мыслитель не продавал душу дьяволу; бессердечными злодеями становятся бездарные люди с неуемным честолюбием, желающие жить по-царски, какая уж тут идея?!

Судя по его лицу, думается, – Штирлиц достал сигарету, медленно закурил, снова глянул на часы, Росарио опаздывал уже на шесть минут, – что он выложит все. Я ударю его рукоятью пистолета в затылок, чтобы оглушить, свяжу руки и ноги, кожаные ремни я купил, чудо что за ремни, нигде их так не делают, как здесь и в Испании, кляп тоже готов, после брошу его возле приемника, сделаю музыку еще громче и сяду напротив... Он быстро очухается, шок страха проходит моментально... Они так трусливы, когда рядом нет их палачей, готовых на все... Начинают лепетать про приказ, про то, что они поручили *другим* выяснить, сами никогда не давали санкцию на то, чтобы мучили... Кальтенбруннер плакал в Нюрнберге: «Я лишь охранял общественный порядок! Чиновники, замеченные в злоупотреблении своим положением, предавались дисциплинарному суду СС»; видимо, он верил себе, когда говорил так; нет ничего загадочнее дистанции времени; сразу после преступления человек рвет на себе волосы, катается по земле, а пройдет день, месяц, год, и он забывает это, придумывает совершенно иную версию, живет ею, верит в ее точность; а где же те клетки, которые хранят память? Почему же память так выборочна и снисходительна? Порою она напоминает мне шлюху; где память о Блюхере и Постышеве? Какие это были прекрасные люди! Как нежен был Василий Константинович – иначе и не скажешь, – когда встретил меня в Чите, как прекрасно

приготовил пюре с салом и луком, как был внимателен к любому моему желанию – министр вооруженных сил, уральский мужик с большими, мозолистыми руками... А ведь всего десять лет прошло с той поры, как он разгромил японцев под Халхин-Голом, всего десять лет назад его портреты не сходили со страниц газет... Не думай сейчас об этом, приказал себе Штирлиц. Это развалит тебя, потеряешь те качества, которые позволят выиграть схватку; случившееся не поправишь, надо делать так, чтобы понять, кому это на руку; впрочем, каждому понятно, что это было больше всего на руку фашистам, вопрос в том, как это смогли сделать? Кто? Есть какие-то вещи, о которых нельзя думать перед тем, как предстоит схватка, сказал он себе, прости меня, Василий Константинович, прости, пожалуйста, что я не хочу сейчас видеть твое лицо, твои пронзительно-черные глаза, коротко стриженные усы, твою улыбку, когда обнажались ослепительные кукурузные зубы и ты становился мальчишкой; ты и смеялся, как мальчик, заливисто, откинув свою голову римского патриция; откуда в тебе такая порода, уралец?!

«Плимут» медленно подъехал к парадному; шофер в фуражке – точно такой же, какая была сейчас на Штирлице, – обежал автомобиль, отворил дверь, помог Росарио выйти и, взяв его под руку, повел по мраморным ступеням к стеклянной двери.

Неужели шофер пойдет вместе с Росарио, подумал Штирлиц, нажимая кнопку, которая автоматически открывала огромную стеклянную дверь, отделанную медными планками; как можно сверлить стекло, неожиданно подумал он, чтобы пропускать сквозь него медные болтики? Почему оно не рассыпалось? Очень просто, ответил он себе, умные люди умнеют так стремительно, что далеко не все поспевают за ними; а сколько их, вырвавшихся в авангард? Процент? Вот бы посчитать на досуге...

Двери отворились, Росарио, сопровождаемый шофером, подошел к Штирлицу; тот поднялся, склонив голову в полупоклоне.

– Где здесь доктор Хуан Пла Фонт? – спросил Росарио.

– А, это вы к нему? – Штирлиц поднялся.

– Сеньор профессор Пла Фонт велел мне проводить вас, пожалуйста, в лифт...

– Он там один? – спросил Росарио.

– Нет, сеньор, у него какой-то коллега, тоже занимается лечением глаз...

– Идите в машину, – сказал Росарио шоферу.

– Лучше я провожу вас, дон Хосе, – ответил шофер. – Передам де Лижжо, а потом вернусь в автомобиль.

– Я провожу сеньора, не волнуйтесь, – сказал Штирлиц, открыв дверь лифта. – Можете отдыхать в автомобиле.

– Ничего, – ответил шофер, – я не устал.

И первым двинулся к лифту, придерживая Росарио под локоть.

Ну и что, спросил себя Штирлиц. Все кончено? Пристрелишь мерзавцев и уйдешь? Разве это месть? У приговоренного к расстрелу самые страшные часы начинаются, когда он ждет ответ на апелляцию, он живет надеждой, впадает в ужас, строит радужные планы, плачет, постоянно ощущая при этом, как страх постепенно разлага-

ет его, превращая в животное... Нет, если я смогу пристрелить их, это не будет местью... А что же сейчас случится? Ведь у тебя только два ремня, чтобы связать Росарио, на шофера не хватит... Да к тому же он крепыш, сильнее меня... И он наверняка войдет в квартиру, чтобы сдать Росарио с рук на руки профессору; а у меня пустая прихожая... И включен приемник, настроенный на ту станцию, которая передает вечерний радиоспектакль – с погонями, криками и стрельбой... Вот что значит планировать операцию, проецируя ее на свои поступки, сказал себе Штирлиц, всегда надо проигрывать роль за противника, а уж исходя из этого, придумывать свою линию поведения... Ты проиграл, Штирлиц. Ты погиб. И нет мне прощения за это, правда, ящерка? Я так хотел отомстить за тебя, зелененькая моя... Прости...

РОУМЭН, СИНАТРА (Нью-Йорк, сорок седьмой)

Фрэнк Синатра гордился своим отцом; выходец из Италии, он влачил жалкое существование на окраине Нью-Йорка, семья ютилась в полуподвале – спальня и кухня пяти метров; один из «усатых»[1] заметил, как ловко Синатра кидал с повозки тяжелые мешки; мышцы его играли, силища.

– Эй, поди-ка сюда, – сказал «усатый». – Иди, иди, не пожалеешь.

Синатра спрыгнул с повозки, улыбнулся:

– Я догадываюсь, кто ты, но в ваши игры не буду играть, чту бога.

– Дурак, – изумленно сказал «усатый». – Меня зовут Витторе, я принимаю ставки на соревнованиях по боксу, почему бы тебе не прийти в мою школу атлетов и не постучать кулаками по груше? Один хороший бой даст тебе больше, чем два месяца работы на этом вонючем складе.

Синатра пришел в клуб Витторе; тренер, Серж д'Аспиньян, оглядел его, словно коня на ипподроме: на победы рассчитывать не приходится, мышцы истощены работой, но может держаться хороших десять раундов, зрелищен.

Синатру нещадно били, выставляя против профессионалов, которые никогда не занимались тяжелой работой – в бокс пришли мальчишками; зрители ставили на количество раундов – сколько выдержит старик; ему тогда было двадцать семь: возраст, особенно в боксе.

Однажды, впрочем, он сорвал куш: Витторе выставил против него Билла-Наглеца; перед началом поединка Наглец кричал зрителям, что он вотрет левой ногой в ринг этого паршивого макаронника, ему только б спагетти заглатывать и нянчить детей, все даги такие, в них нет ничего мужского – или наемные убийцы, или подкаблучники, вытирают слюни своим черномазым выблядкам; Синатра, слушая его, испытал слепое желание вмазать ирландцу в лоб до начала схватки; затаись, приказал он себе, ты должен уложить эту сволочь; стань лисой, прикинься трусом, сыграй страх, но задави его...

[1] Так называли первых мафиози в США.

Первый раунд Синатра бегал от Наглеца по рингу; зрители вопили от яростного предчувствия скорой расправы; во втором раунде Синатра подыграл, упав в нокдаун; поднялся, начал плавать, наваливаясь на здоровенного Наглеца так, что тот был лишен маневра, особенно удара правой; Наглец любил дистанцию, вкладывал в выброс всего себя, становясь жгутом мышц; в близком бою был бессилен, плевался, мычал ругательства, как-то раз даже выплюнул капу и укусил противника за ухо; тот в растерянности отскочил, Наглец мгновенно вытянулся, достал его, удар пришелся точно в печень, выиграл бой нокаутом.

Только в пятом раунде, почувствовав, что Наглец окончательно сбесился, Синатра и вовсе повис на нем, ожидая, когда тот выплюнет капу; так и случилось, вцепился зубами в ухо; Синатра чуть отклонился и вложил всю свою ненависть в короткий удар по зубам Наглеца, не защищенным капой; кровь брызнула изо рта; Синатра ударил еще раз, – такого удара у него больше никогда не получалось; Наглец обрушился на настил; с ринга его унесли.

Фрэнк во всем подражал отцу: в сдержанности, мягкости, смелости, умении выслушивать обидные слова; такой силы, правда, у него не было, пошел в мать – худенький, стройный, он прекрасно двигался и пел; это нравилось тем, кто был постарше и пробавлялся мелким воровством. Поначалу лбы держали Фрэнка за паяца, – после дела, щипнув пару десятков долларов, они просили парня спеть, Фрэнк никогда не отказывался, присматриваясь к старшим ребятам; однажды заметил: «Вы неверно работаете, вас скоро заметут легавые, нельзя щипать в своем районе, я предлагаю переместиться в Бруклин, там нас никто не знает, клиентов я соберу своими песнями, вы щипайте, моя доля – пятая часть с выручки».

Однажды на них напала банда таких же, как и они, подростков; Синатра схватил с земли кусок металлического бруса и перетянул того, кто достал нож, по спине, парень упал без сознания; когда Синатра повернулся ко второму – на голову выше его, – тот бросился бежать. Именно тогда он сделал вывод – на всю жизнь: считаются с силой и бесстрашием.

Как-то в Бруклине, когда он пел свои песенки, а его приятели присматривались к собравшимся, кого бы обобрать, пожилой мужчина в скромном костюме, но с бриллиантовым перстнем на мизинце сказал:

– Завтра в восемь часов приезжай в мой ресторан «Венеция», это по дороге на Кони-Айленд, я дам тебе возможность выступить.

Синатра приехал в отцовском пиджаке, который был ему велик, и в целлулоидном воротничке, резавшем шею.

– Ты что, – усмехнулся хозяин, – намерен исполнить арию сутенера? Сними свое барахло, мы тут тебе что-нибудь подыщем... Ты ж поешь песни нью-йоркских улиц, ну и будь веселым парнишкой, который помогает своим друзьям таскать из карманов зевак зелененькие...

– На мне не барахло, – ответил Фрэнк Синатра, – а костюм отца. Извольте принести извинение за ваши слова.

– Ну, если это пиджак отца, то, конечно, я виноват... Мне нравится, что ты так чтишь его, молодчага... Играть-то умеешь?

– Подбираю, – ответил Фрэнк.

– А сможешь петь с оркестром?

– Чего ж не смочь? Конечно, смогу!

– А пробовал хоть раз?

– Сейчас и попробуем.

– Ну и наглец, – рассмеялся хозяин, – но это хорошо, только наглецы побеждают. Пошли на сцену, порепетируем...

В тот день Синатра не выступал, петь с оркестром, конечно же, не смог; выступил лишь через две недели; через год Фрэнк приехал в Голливуд – там началась его карьера. После того как он сыграл роль карточного игрока, погибающего от кокаина, ему дали «Оскара». Получив деньги, он вернулся в Нью-Йорк и отправился к дону Витторио, усатому старику, владельцу атлетического клуба. Тот свел его с доном Бенито. А тот назвал имя друга Лаки Луччиано – Бена Зигеля: «Иди к нему, сынок. Он будет знать о тебе. Он поможет, и, хотя он не нашей веры, сердцем он наш. Лаки без него не предпринимает ни одного шага, голова».

Бен Зигель тогда только начинал разворачивать работу в Голливуде; в свете появлялся с маленькой, юркой женщиной – раньше ее звали Дороти, хорошенькая модель, всему училась сама, папы и мамы с деньгами не было, по ночам читала, научилась ловко говорить, вышла замуж за графа ди Фрассо, довольно быстро от него отделалась, Бен Зигель стал ее кумиром, – все знали, что он вытворял во время сухого закона: с автоматическим ружьем в одной руке и с гранатой в другой проводил транспорты с виски там, где, казалось, пройти невозможно; десятки полицейских поплатились жизнью, пытаясь преградить ему путь; тщетно.

– В нашем бизнесе самое главное – связи, – наставлял Бена его старый друг Лаки Луччиано, выходец из того же квартала итальянской и еврейской бедноты. – Но связи можно удержать только в том случае, если ты ведешь себя как джентльмен. А что такое джентльмен? Это человек, который выполняет то, что пообещал. Это человек, который одевается не как попугай, вроде тебя, а следит за модой и чтит скромность. Это человек, который не лапает при всех графиню, но беседует с ней о Ренессансе – было такое училище в Италии, куда принимали только талантливых... У тебя есть семья, а ты всем показываешь, что графиня готова тебе пальцы целовать! Не солидно. Не по-мужски, Бен. Джентльмен не должен носить оружия, не должен вступать в пререкания, не должен повышать голос, не должен капать густым жиром на брюки, – жадно едят бедняки... Научись пить соки и жевать зелень... Это ценят в тех клубах, где ты начал вращаться... Только в этом случае ты будешь иметь верных друзей среди политиков, судей, актеров, газетчиков. Понял? Связи важнее денег. После пятидесяти важнее всего деньги, осталось доживать... А нам пока только-только тридцать – можно пожить.

– Ты думаешь, я обиделся на тебя за эту выволочку? – усмехнулся Бен. – На правду обижаются придурки. Ты говорил правду.

Но ты от рождения хитрый, а я нет. Ты умеешь скрывать свое естество, а я привык выступать, живем-то один раз, Лаки!

– Пришла пора кончать, Бен. Хватит выступать. Я никогда не забуду, что ты два раза спас мне жизнь. Я никогда не забуду, что мы утвердили свой бизнес благодаря твоей сумасшедшей храбрости. Ты брат мне. Такой брат, который роднее родного. Но если ты хочешь быть в нашем деле – запомни, что я тебе сказал. Мне это было непросто сделать, я слишком люблю тебя, Бен. Даешь слово?

– Ну и сволочь, – вздохнул тот. – Надо бы тебе стать государственным секретарем – так ты умеешь ломать людям кости!

...Вот к нему-то, к Бену Зигелю, и пришел Фрэнк Синатра со своим «Оскаром», не бог весть какие деньги, зато престиж, связи, имя.

– Фрэнки, я скажу тебе правду, – вздохнул Зигель, бросив банкноты Синатры, тщательно перетянутые белыми резинками, в свой портфель, – а она, правда, всегда чуточку обидна. То, что ты внес, – не деньги. Это кучка монет. Но я возьму тебя в долю, потому что ты Синатра...

– Если это кучка монет – верни их мне, – сказал Синатра, – я никогда ни у кого не одалживался.

– Ну вот видишь, ты и обиделся... Знаешь, какие взбучки дает мне Лаки Луччиано? А я терплю. Да, да, терплю! Потому что он желает мне добра и поэтому говорит обидную правду. Я вложу твои деньги – не сердись, это не кучка монет – в игорный бизнес. Каждый человек мечтает раз в жизни поставить сто баксов на цифру «семнадцать» и получить взамен триста шестьдесят. Я намерен построить в пустыне, где-нибудь в Неваде, город мечты, город-миф – игорные дома, автоматы, карты, пари и ничего другого. Это даст мне миллионы, тебе – сотни тысяч.

Синатра покачал головой:

– Бен, сотни тысяч мне будут давать концертные турне, которые организуют твои люди. Я хочу получать с твоего города-мифа миллионы, потому что ты станешь получать десятки миллионов. Не пытайся обдурить меня, не выйдет. Я ведь тоже сделал себя так же, как и ты, – сам, без чьей-либо помощи.

...Роумэн поднялся на четвертый этаж отеля «Плаза»; девять номеров занимали Фрэнк Синатра, его телохранители, оркестранты, гример, костюмер, массажист и врач-отоларинголог.

Телохранитель, сидевший на стуле при выходе из лифта, выставил ногу, преградив путь Роумэну, и поманил его к себе пальцем.

– Со мной так не говорят, парень, – сказал Роумэн. – Если ты хочешь меня обыскать – обыщи, – он поднял руки, – но не смей манить меня пальчиком, я не голубой, понял?

Телохранитель поднялся, ощупал карманы Роумэна, провел руками под мышками, в промежности, похлопал по щиколоткам и только после этого спросил:

– Что тебе нужно?

– Мне нужно, чтобы ты сказал боссу, что пришел Пол Роумэн,

которого он знает по Голливуду, друг режиссера Гриссара, работник ОСС и государственного департамента.

– Ишь, – телохранитель вздохнул, – ну и титулов у тебя! Руки не опускай, пошли в четыреста седьмой номер, там все объяснишь.

Начальник охраны Синатры был его старым другом, вместе росли в Бронксе; выслушав Роумэна, поинтересовался:

– А почему, собственно, я должен тебе верить? Может, ты пришел к нам со злом?

– Слушай, ты получаешь деньги за то, что охраняешь дона Фрэнка, правда? Вот этим и занимайся. У тебя тупая голова, чтобы обсуждать со мною то, в чем ты отроду ничего не смыслил. Пойди и доложи, что пришел Пол Роумэн, мы знакомы по Голливуду, у меня предложение, которое может стоить триста миллионов долларов. Скажи, что я ни к кому с этим не обращался.

– Сядь на стул, – сказал начальник охраны. – И не двигайся, пока я не вернусь. А ты, – он посмотрел на телохранителя, – посиди с ним. Проверил его?

– Чистый, – ответил телохранитель.

– А на бритву глядел?

– Нет.

Начальник охраны попросил Роумэна снять пиджак, вывернул карманы – нет ли бритвы, посмотрел карманы брюк, подошвы туфель, воротник рубашки, только после этого вышел из комнаты, подтянув галстук, – Синатра требует постоянной опрятности: «Учитесь быть европейцами, терпеть не могу свинопасов из ковбойских фильмов»...

– Пол, как я рад видеть вас! – Синатра пошел навстречу Роумэну, протягивая ему крепкую руку. – Какими судьбами?! Надолго?

– Зависит от вас.

– В таком случае вы пробудете здесь три года, семь месяцев и девять дней, сорок пять минут и две секунды. Садитесь, что будете пить?

– Виски. Много виски.

– В таком настроении, как у вас, пьют безо льда, не так ли?

– Что значит великий артист! Все понимает по интонации. К черту слова, да здравствуют интонации!

– Интонация вне слова невозможна, – заметил Синатра с неожиданной жесткостью, наливая Роумэну виски. – Фисташки? Миндаль?

– Ничего не надо.

– Значит, соленый миндаль. Меня с души воротит, когда я вижу, как пьют, не закусывая. Вино – куда еще ни шло, но виски?! Гадость, вонючая гадость! Ну, рассказывайте, что произошло, где лежат триста миллионов и как мы их с вами получим...

– Вам известна структура гитлеровского рейха, Фрэнк?

– Совершенно неизвестна.

– Хорошо, а что такое гестапо? Про это слыхали?

– Не издевайтесь над бедным артистом, Пол, бог вас за это по-

карает. Гестапо – это их тайная полиция, они ходили в черном, про это знает любой мальчишка.

– Далеко не любой. А скоро вообще все забудут.

– Это вы по поводу процесса в Голливуде? Да, конечно, слишком круто, мне не нравится, когда так давят художников, но все же красные распоясались, не будете же вы это отрицать, Пол?

– В чем?

– Да во всем! Они лезут всюду, куда только можно!

– Где? В Турции? Франции? Бразилии? Ладно, бог с ними, они меня интересуют меньше всего. Меня интересую я. И нацисты. С этим я к вам пришел.

– Кстати, по поводу вашего сценария с Джо Гриссаром... Кто вам рассказал, что Лаки Луччиано во время войны был заброшен на Сицилию?

– Я готовил ему легенду, если бы он нарвался на немцев, Фрэнк. Но я умею хранить тайны, я знаю, что вы дружны с Лаки.

– При чем здесь Лаки и я? – Синатра пожал плечами. – Он сам по себе, я сам по себе.

– Фрэнк, я пришел говорить в открытую, и меня очень устраивает, что вы дружите как с Зигелем, так и с Лаки. Мне нужна ваша помощь... Скажем, их помощь.

– Сначала давайте ваши триста миллионов, а потом станем обсуждать, чем вам можно помочь. Последовательность и еще раз последовательность...

– Когда я работал в ОСС...

Синатра мягко перебил:

– Предысторию я знаю, Пол.

– А то, что случилось в Мадриде?

– Нет.

– Там похитили мою жену... В похищении участвовал мистер Гуарази... Или Пепе... Как это ни странно, мистер Гуарази подписал контракт с немцами... С теми, кто работал на Гитлера... Меня это очень удивило, Фрэнк, люди мистера Луччиано неплохо дрались с нацистами... Да... А потом, когда я нашел нацистскую цепь, которая реанимирует партию Гитлера в Голливуде, похитили мальчиков Грегори Спарка, вы его, возможно, встречали, он был резидентом ОСС в Португалии. И меня понудили прекратить мое дело, – я не мог ставить на карту жизнь детей друга... Мистер Гуарази – еще в Мадриде – заметил, что его контракт стоил сто тысяч баксов... Сейчас мне представилась возможность получить значительную часть нацистского золота, это действительно сотни миллионов... Я готов отдать его мистеру Гуарази, его боссам, кому угодно, только пусть мне позволят доделать мое дело...

– Пол, про мафию много чего говорят, возводят дикие обвинения, часть из них, видимо, справедлива, мы страдаем от организованной преступности, но порою нападки носят расистский характер, не находите? Я не очень верю, что люди мафии мешали вам покарать гитлеровских бандитов.

– Моего честного слова недостаточно?

– Вы мне симпатичны, право... Но одного честного слова не-

достаточно... Мне нужны факты... Взвешенные предложения... Имена...

– А мне нужна гарантия, что взвешенные предложения, имена и факты не будут обернуты против меня.

– Моего честного слова недостаточно?

– У меня нет иного выхода, Фрэнк... Достаточно... Только хочу предупредить, что мистер Гуарази, этот самый Пепе, скорее всего связан с нашей секретной службой... Он осуществляет – так мне кажется – оперативный контакт между Центральной разведывательной группой и немецкими генералами, которых спасли от Нюрнбергского процесса.

– Этого не может быть, Пол. Я не верю в то, что американская секретная служба поддерживает генералов Гитлера.

– Хотите посмотреть кое-какие материалы?

– Хочу.

Роумэн достал из кармана аккуратно сложенные странички и протянул их Синатре. Тот положил бумагу на краешек стола – антиквариат, начало прошлого века, сплошная гнутость.

– Нет, Фрэнк, пожалуйста, поглядите это при мне, – попросил Роумэн.

– Не можете оставить до завтра?

– Не могу. Я не убежден, что завтра буду жив.

– Как у вас с нервами?

– Другой бы на моем месте запсиховал, а я верчусь, думаю, как построить комбинацию... Если вы прочитаете этот огрызок материалов, – подлинники документов, диктофонные ленты, расписки и собственноручные показания нацистов лежат в сейфе банка – я внесу предложение. Абсолютно взвешенное. С именем.

Синатра читал очень цепко, никакой актерской легкости, глаза вбирали текст, какие-то места он просматривал дважды; ему не больше тридцати, подумал Роумэн, певец в зените славы, но какая дисциплина, цепкость, въедливость; я правильно сделал, что пришел к нему. Даже если его друзья решат вывести меня в расход, я гарантирован каким-то люфтом во времени. Неловко гробить меня при выходе из его отеля. Пару месяцев они мне теперь дадут.

– Страшный документ, – заметил Синатра, возвращая Роумэну аккуратно сколотые листочки рисовой, прозрачной бумаги. – Вы один проводили эту работу?

– Нет, не под силу.

– Почему вы не заставили Гриссара сесть за фильм? Это, – он ткнул пальцем в то место стола, где только что лежали документы, – может послужить основой боевика, какого Голливуд еще не знал.

– Комиссия по расследованию требует создания антибольшевистских фильмов, мой сейчас не пройдет.

– Как сказать, – задумчиво заметил Синатра. – Думаю, можно найти людей, которые профинансируют предприятие... Дайте мне подумать, Пол... Повторяю, я не считаю такое дело безнадежным...

– Спасибо. Сделав такое кино, мы бы очень помогли Америке... Все же мы кое-что сделали, чтобы сломить нацистам шею... Так вот, Фрэнк, я иду по следу начальника гестапо, группенфюрера СС

Мюллера... Его люди перевели в швейцарские и аргентинские банки сотни миллионов долларов...

– Аргентина не отдаст его золота.

– Отдаст Швейцария.

– Допустим. Но при чем здесь я?

– Чтобы я смог выйти на Мюллера, мне нужна лишь одна гарантия: моей жене, семье Спарка, ну и желательно мне не должны угрожать со спины... Синдикат должен дать фору. Мне нужен только Мюллер, это улика, от которой не отвертеться... Деньги меня не интересуют... Я отдам его деньги людям синдиката. Если вы поможете мне увидеться с мистером Гуарази и его руководителями, я буду считать вас настоящим солдатом, Фрэнк.

– Вы и вправду считаете меня связанным с мафией?

– Я читал в газете, что вы летали на Кубу для встречи с Лаки Луччиано, лишенным гражданства США.

– Верите писакам?

– Но это же самая правдивая пресса... Как ей не поверить?

– Зря. Верьте себе, не ошибетесь. Знаете, сколько у меня врагов? Знаете, как действуют нынешние сальери? Их оружие осталось прежним – клевета, но они научились ею пользоваться с индустриальным размахом.

– Я верю себе, Фрэнк, и поэтому разбил термос, в котором Гриссар принес мне целебный чай. И вот что я нашел в этом термосе, – Роумэн достал из кармана жучка – крошечный передатчик, последнюю модель секретной аппаратуры ИТТ. – Либо Гриссар работает на легавых, либо именно синдикат интересовался, о чем я говорю с друзьями в палате больницы...

– Почему вы оказались в госпитале? Что с вами было?

– Ничего. Я симулировал инфаркт...

– Слушайте, это же настоящая детективная история, Пол! Я слушаю вас и ощущаю себя секретным агентом, втянутым в кровавую интригу...

– Поможет петь, – усмехнулся Роумэн. – Говорят, нервные нагрузки помогают людям творчества...

– Я перестал им быть. Творчество сопутствует человеку, когда ему нет тридцати и он рвется к успеху. Если он смог состояться, все последующие годы подчинены только одному: сохранить наработанное, закрепить успех, найти точные модификации того, что нравится публике... Я ничего не обещаю вам, Пол... Где вас можно найти?

– Гринвидж-Виллэдж, седьмая улица, пансионат «Саншайн». Этот адрес знаете вы. И больше никто. Грегори Спарк вылетает в Гавану, остановится в «Гранд-отеле».

– Завидую Спарку, – сказал Синатра, поднимаясь. – Сейчас, говорят, на Кубе самый сказочный сезон, прекрасные купания. Если у вас возникнет ко мне какое-то срочное предложение – валяйте, моя дверь для вас открыта, желаю удачи.

Роумэн позвонил в Голливуд, заказав номер Спарков из бара; сказал всего несколько фраз, закрыв мембрану носовым платком, что сильно меняет голос:

– В «Гранде» хорошо кормят, а сестра пусть берет ребят и жарит на морскую прогулку...

Это значило, что Элизабет должна вылететь в Осло, взяв с собою детей; Криста ждет ее на яхте, сразу же уходят в море; через неделю могут появиться в Гамбурге, каждое утро их будет ждать в порту Джек Эр, с девяти до десяти тридцати; Спарк обязан завтра же быть на Кубе.

Все, комбинация вступила в заключительную фазу.

Вечером того же дня радиостанция Эн-би-си дважды передала сенсационное сообщение: «Офицер американской разведки открыл тайну гигантских запасов нацистского золота. В ближайшее время он представит доказательства своей многотрудной работы, постоянно связанной со смертельным риском».

Вот как они разыгрывают партию, подумал Пол, лежа у себя в мансарде на Гринвидж-Виллэдже, смотри-ка, настоящая режиссура; этим американцы заинтересуются; соберись-ка, Роумэн, игра близится к эндшпилю...

Через два дня в восемь часов вечера в дверь Роумэна постучали.

– Кто? – спросил он, не достав даже пистолета из кармана; если пришли те и пришли с плохими вестями, отстреливаться бесполезно, ребята знают свою работу.

– Мистер Роумэн, мы от мистера Гуарази... Если не раздумали с ним повидаться, мы отвезем вас на встречу.

– Дверь не заперта. Входите. Я оденусь.

– Зачем? Мы не станем мешать вам. Одевайтесь и валите вниз, мы ждем в машине.

ДЖЕК ЭР, ГЕЛЕН, МАКАЙР (Мюнхен, сорок седьмой)

С Майклом Мессерброком, начальником специального архива, Джек Эр встретился в Нюрнберге, когда тот после ужина заглянул в бар, чтобы выпить один хайбол – больше себе не позволял, – жесткое правило, дед умер от алкоголизма, в семье боялись спиртного как огня; тот день, когда в Штатах провозгласили сухой закон, был самым, пожалуй, счастливым для Мессерброков.

Впрочем, по прошествии года, когда развернулась мафия, отец, Герберт, возглавивший фирму после самоубийства деда (тот покончил с собою во время белой горячки), переменил свое отношение к этому декрету: «Пить начали еще больше... Начинать, видимо, надо с другого... С экономики... Если удастся вовлечь максимум людей в бизнес, если дать им хотя бы иллюзорную надежду разбогатеть, открыв свое дело, что-то может получиться... Впрочем, в этом случае и сухой закон не нужен; все будут работать с утра и до ночи, времени на алкоголь не останется». Когда, по прошествии двенадцати лет, Рузвельт отменил закон, предложив экономические реформы и корректив политического курса, пить действительно стали меньше.

Майкл Мессерброк многое взял от отца: независимость мышления, несколько истерическое чувство американского патриотизма (баварцы, выходцы из Мюнхена, они сделали в Штатах карьеру, разбогатели, поэтому служили новой родине с некоторой долей фанатизма, истово), но при этом холодный, точно просчитанный прагматизм.

Поэтому, когда Эр представился ему, сказав, что в работе специального архива по нацистам заинтересован не только он, представляющий интересы женщины, потерявшей во время войны родителей, причем ее отец — выдающийся норвежский математик, профессор университета, но и его друзья, кинематографисты Штатов и журналисты Великобритании, Мессерброк сразу же просчитал возможную выгоду от беседы с симпатичным, правда, чуть прямолинейным, видимо, не очень-то эрудированным, но зато хватким частным детективом.

— Чего конкретно хотят ваши друзья из Голливуда? — поинтересовался Мессерброк. — Вообще-то у меня в архиве не только нацистские преступники... У меня там собраны дела на совершенно фантастических людей... Например, друг отца Гитлера... Старик воспитывал молодого Адольфа... Или тот бес, у кого фюрер списал «Майн кампф»... До сих пор живы... Могу устроить встречу... Ваши люди намерены снимать художественный фильм? Или документальный? Если документальный — вхожу в дело! Сделаем бомбу, все будут поражены. Я ведь и с родственниками Гитлера поддерживаю отношения, они, правда, психи, но вдруг какая бумажка всплывет — все в дело, на полку, в сейф! У меня даже допросы доктора Блоха хранятся... А ведь он лечил и Гитлера, когда тот был маленьким, и его мать, представляете?!

— А что с этим в кино делать? — Эр недоуменно развел руками. — Бумажки, они и есть бумажки...

— Эти бумажки составлены в ОСС! В сорок третьем году! Когда асы нашей разведки делали психологический портрет Гитлера, чудо! — Мессерброк рассмеялся. — Допросы этого самого доктора Блоха позволяли прогнозировать будущее, исход битвы, жизнь и смерть сотен тысяч...

— Ах, так... Тогда другое дело, — согласился Джек Эр. — Правда, не знаю, сколько люди Голливуда смогут уплатить за вашу работу...

Мессерброк искренне удивился:

— Пошли телеграмму, да и спроси!

— А сколько вы хотите?

Мессерброк снисходительно похлопал Эра по плечу:

— Так в бизнесе вопрос не ставят, Джек... Надо формулировать иначе: сколько они намерены предложить? В зависимости от этого мы и оформим наши отношения.

— Такую телеграмму я прямо сейчас и отправлю, — сказал Джек Эр, хотя ответ на нее знал заранее: Роумэн сказал, что у него припасено три тысячи долларов, какие-никакие, а все же деньги.

— Валяйте.

— А не дожидаясь ответа, можно начать работу?

— Хотите завтра поехать в Линц, к бывшему бургомистру Мейрхоферу?

Джек Эр подумал мгновение, потом ответил – с ухмылкой:

– Это, наверное, киношники поедут... С камерой... Если, конечно, вы согласитесь с их предложением... А мне бы документы посмотреть... На Гитлера, Мюллера... Этого... Как его... Хоффмана...

– Какого Хоффмана? Личного фотографа Гитлера?

– Нет... Рихарда Бруно Хоффмана... Был такой немецкий гангстер в Штатах...

– Не слыхал, – удивился Мессерброк. – Я просматриваю все материалы, но такая фамилия не попадалась... Рихард Хоффман? – переспросил он. – Точно, не слыхал и не помню, а я цепучий: если что увижу, значит, навсегда... Впрочем, ты говоришь – гангстер? Это я погляжу в делах крипо[1], назови только год и город...

– А дело летчика Чарльза Линдберга тут не мелькало?

Мессерброк удивился еще больше:

– Какого? Нашего Чарльза Линдберга?! А он здесь при чем?! Слушай, парень, ты вообще-то понимаешь, где мы с тобой сидим? Это не офис шерифа, это архив нацистских документов, тут вся история их паршивой партии, СС и гестапо, вот где мы с тобой разговариваем...

– Понимаю, – кивнул Джек Эр. – Чего же не понять? Сейчас дам телеграмму и сяду за Гитлера с Мюллером...

– Чтобы понять Мюллера, надо сначала уяснить себе, кто такой Гитлер, – назидательно заметил Мессерброк, – без этого ты ничем не поможешь своей клиентке...

...Через час Джек Эр устроился в небольшой комнате при кабинете Мессерброка и начал листать дела, аккуратно разобранные по отдельным папочкам.

Первым было дело о родителях Гитлера и его детстве.

– Без этого, – сказал Мессерброк, выходя из комнаты, – ты ничегошеньки не поймешь... Я сам в этом только-только начал разбираться, и то на все головы не хватает.

Джек Эр начал листать папку с бумагами, посвященными Алоизу Шиккльгруберу-Гитлеру, отцу Адольфа. Поначалу он это делал без всякого интереса; поскольку Мессерброк маленько трехнулся на этих бумажках, нельзя сразу же садиться ему на шею и требовать все дело Мюллера; «торописа надо нет» – так говорят гансы. А чего, верно! Все должно быть шаг за шагом, тогда получится, с нахрапу ни хрена не возьмешь, время пока есть.

Внезапно, быстро пролистав первый десяток желтых страниц, Джек Эр вздрогнул, вчитавшись в смысл написанного: ну, ладно, женился Адольфов папашка на бабе, которая была старше его на четырнадцать лет, ее предок был правительственным чиновником, господин Глассль: помогло Алоизу Гитлеру в карьере, при этом спал с горничной Антониной Майр, с подругой жены Франциской Матцельбергер и со своей племянницей шестнадцатилетней Кларой Пёльцль... Ну и ну!

[1] Уголовная полиция *(нем.)*.

Джек Эр не сразу поверил своим глазам, перечитал текст еще раз: все точно, жил и с племянницей! Ну и отец был у фюрера! Не зря первая жена взяла у него развод, а Франциска, пожив с ним пяток лет, дала дуба от туберкулеза... Тогда-то он и женился на племяннице Кларе; в браке она его продолжала называть «дядюшка», а он ее – «племянница».

У нас бы такого в перьях вымазали, подумал Джек Эр, чудовище; вот почему Гитлер такой прибабахнутый; еще бы, смешанная кровь, это ж запрещается, грех...

Дальше шел перевод допросов, которые – после прихода фюрера к власти – проводило гестапо: опрашивали всех, кто знал отца и мать Адольфа; прочитал показания кухарки Хёрль: «Господин Алоиз Гитлер был человеком страшного характера, несчастный мальчик так страдал от него»...

На собственноручном показании кухарки стояла резолюция: «доставить для допроса в Берлин». Подпись вроде бы не мюллеровская, образец Джек Эр хранил, нашел в записной книжке покойного адвоката Мартенса; другое послание: «Господин Алоиз Гитлер запрещал своим сотрудникам на таможне курить в рабочее время, хотя сам не выпускал изо рта трубки»; и этого свидетеля дернули в гестапо; ничего себе, как следили, чтоб даже предки фюрера были ангелочками!

Этот самый старик, бургомистр Леондинга, про которого говорил Мессерброк, давал показания еще австрийским властям. Тогда Австрия была свободной, до тридцать восьмого (неужели жив мужик?! Вообще-то интересно к нему смотать! Мессерброк знал, что предлагать!). Бургомистр говорил: «Алоиз Гитлер был настоящим тираном, несчастный Адольф боялся его как огня, трепетал перед ним постоянно... А как он бил детей?! Как избивал свою жену Клару?! Адольф в его присутствии и слова не смел пикнуть, стоял навытяжку, обращался к нему только «господин отец», «герр фатер»... Если б сказал «ты», как все нормальные люди, забил бы хлыстом... Он раз дал ему двести тридцать плетей... Просто так, по пьянке... Иногда казалось, что Адольф боготворит отца, а порою в глазах мальчика вспыхивала к нему дикая ненависть»...

Прочитав это, Джек Эр уже по-новому, ввинчиваясь в каждое слово, просмотрел показания о том, что и поездка Адольфа Гитлера в Вену – после смерти отца, – и попытка стать художником были сами по себе мщением покойному: тот никогда бы не разрешил сыну заниматься «мурой»... И еще: во всех своих выступлениях Гитлер утверждал, что родился в семье почтового служащего, видимо, стыдился, что отец был таможенником, это ведь вроде полиции...

Страх Гитлера перед рейхспрезидентом Гинденбургом, – отмечалось в других документах, – его скованность в присутствии рейхсмаршала, то, что он не начал зверствовать, пока был жив старик в форме, является следствием того патологического страха, который Адольф испытывал к отцу... Однажды, уже в конце войны, накануне краха, он прервал диктовку очередного приказа и, глядя остановившимся, мертвым взглядом на стенографисток, сказал: «Как это страшно для ребенка – ненавидеть отца, который издевался над

самым любимым существом – матерью... Она же умерла такой молодой, ей было всего сорок семь».

В архивной справке отмечалось, что как мать, Клара Гитлер, так и Адольф были привязаны друг к другу психически нездоровой привязанностью; после того, как муж в очередной раз избил ее так, что она не могла подняться с мокрых ступенек, покрытых снегом, Клара прошептала: «Мой бедненький братик, каково-то ему будет без меня».

Вот ужас, подумал Джек Эр, перечитав фразу несколько раз, это ведь она про сына! Про Гитлера этого самого! Он ведь ей был братом, раз муж – ее дядя!

И уж совсем растерялся Джек Эр, когда прочитал заключение врача (подпись неразборчива), что у пациента «А.Г.» нет левого яичка и «это не может не влиять на возможные психические отклонения»...

Ну и ну, подумал Джек Эр, неплохого фюрера избрали себе немцы!

Потом он прочитал допросы тех, кто в детстве дружил с Гитлером; все они – Франц Винтер, Йохан Вайнбергер и Болдуин Висмайер – показывали, что Адольф набирал себе малолеток для «игры в войну», другие игры не признавал, себя считал «вождем индейцев», как это было в романах Карла Мэя, а мальчишек из соседнего Унтергаумберга называл «паршивыми англичанами»... А еще он часто, особенно когда исполнилось двенадцать, во время сильного ветра становился перед деревом и произносил перед ним речь, взбрасывая над головой свои тоненькие руки...

Когда умерла мать и ее хоронили, и шел мокрый снег, Гитлер, юноша еще, поклялся себе: «Когда-нибудь, когда я стану тем, кем я хочу стать, Рождество будет отменено, вместо этого я провозглашу День матери и передвину этот праздник на весну, когда все будет цвести и не будет этого ужасного, мокрого, леденящего душу снега...»

Ну и ну, снова подумал Джек Эр, даже на Рождество замахивался! Вот скотина! Хотя, если б меня «дедушка-отец» так же бил и мать была б мне сестрой, а он бы ее выбрасывал на холод и от этого у нее б начался рак, может, я б не такое еще выкинул...

Во второй папочке содержалась история болезни Клары Гитлер; лечил ее, как и всех в округе, доктор Блох. Диагноз заболевания: «рак». Мать в больницу лечь отказалась, операцию делать было поздно. «Одно счастье, – шептала она, – подольше видеть моего мальчика, видеть его до самой последней минутки...»

Потом шло заключение какого-то английского профессора: несмотря на то, что доктор Блох лечение пациентки К.Гитлер вел правильно, несмотря на то, что все его называли «доктором бедных», воспоминание о мучениях матери на смертном одре – в присутствии доктора Блоха, который ничем не мог облегчить ее муки, – ввергли юношу Гитлера в патологию антисемитизма. Эта маниакальная идея завладела им еще больше, поглотив целиком, когда профессора венской Академии искусств (среди них были евреи) не приняли его на курс: «низкий уровень техники рисунка». Во время войны, особенно

когда Гитлер перенес отравление газами, его ненависть перенеслась на французов; однако маниакального характера не носила, – скорее ее можно определить как «животную ненависть».

А вот следующая папка с грифом «Совершенно секретно, рапорты шефу гестапо группенфюреру СС Мюллеру» заставила Джека Эра расслабиться; вот оно, подумал он, только не волнуйся, отсюда потянутся нити.

Однако, к его разочарованию, нити не потянулись; в папках содержались лишь краткие характеристики учителей фюрера и данные наблюдения за некоторыми из них, поставленного по приказу из штаб-квартиры РСХА.

Ничего, сказал себе Джек Эр, ощущая какую-то гнетущую усталость от всего того, что успел прочитать; «торописса надо нет», не зря Роумэн говорил, что это тяжелая работа; но ведь без нее мы не сделаем того, что не можем не сделать...

Первым в папке было донесение о Георге Ланце фон Либенфелсе, 1872 года рождения, проживающем и поныне в Вене; затем шла запись допроса, снятого с него американскими следователями год назад:

«Вопрос. – Правда ли, что Гитлер приходил к вам в тысяча девятьсот девятом году, когда жил в Вене?

Либенфелс. – Да.

Вопрос. – Как долго продолжался визит?

Либенфелс. – Минут двадцать.

Вопрос. – Чем он был вызван?

Либенфелс. – Он сказал, что потерял несколько комплектов моей газеты... Просил помочь... Говорил, что собирает все номера, делает подшивку...

Вопрос. – Что вы ему на это ответили?

Либенфелс. – Подобрал недостающие номера... И еще дал две кроны, чтоб он мог всю эту кипу увезти на извозчике.

Вопрос. – Чем был вызван интерес молодого Гитлера к вашей газете?

Либенфелс. – Это его надо было спрашивать... Я не знаю.

Вопрос. – Как называлась ваша газета?

Либенфелс. – «Остара».

Вопрос. – Скажите, это вы провозгласили в девятьсот седьмом году создание общества «Новый порядок» и вывесили над развалинами замка в Верфенштайне флаг со свастикой?

Либенфелс. – Наша свастика не имеет никакого отношения к нацистской. Это древний арийский символ... Гитлер похитил у меня идею свастики... Мы вкладывали в нее иной смысл.

Вопрос. – Скажите, это ваши слова, – можете ознакомиться с подшивкой газеты «Остара»: «Белокурые арийцы находятся в постоянном конфликте с «черными силами», которые состоят из славян, евреев и негров... Только решение национальной проблемы и сохранение чистоты расы в условиях нового порядка поможет миру спасти цивилизацию... Необходимо организовать «братство арийцев»... Смешение крови разных национальностей – самое страшное преступление перед будущим... Недочеловеки не имеют права даже

приближаться к истинным арийцам! Дети, рождаемые в смешанных браках, подлежат проклятию, а их матери – публичному наказанию! В будущем женщина должна быть лишена вообще всех тех прав, за которые ныне столь усердно борются сторонницы эмансипации... Женщина будет провозглашена хозяйкой кухни и гардероба, но, главное, матерью детей!.. Ни на что другое она не вправе претендовать, – только это и есть образец настоящей арийской женщины! Будущее общество чистокровных арийцев, оберегая свое потомство, обязано предусмотреть границы знания. Чрезмерно грамотные дети вырождаются в идиотов, а дипломированные профессора всегда были, есть и будут рассадниками крамольных идей!»? Это вы писали?

Либенфелс. – А разве в Соединенных Штатах негры имеют право учиться вместе с белыми? Разве вы не оберегаете своих женщин от черных?! Разве ваши женщины не заняты домом и детьми?! Разве не ваш Генри Форд, перед которым вы преклоняетесь, требовал защищать нацию от чужекровных идей?! Разве не он распространил в Америке три миллиона «Протокола сионских мудрецов»?! Не связывайте меня с Гитлером, господа! У нас были значительные различия во взглядах. Я, например, считал Вену столицей будущего государства германо-арийцев, а фюрер назвал этот город «Вавилоном»! Я считал, что лишь Габсбурги могут стать вождями арийской общности, а он сделал все, чтобы самому сделаться мессией белокурых немцев! Я считал, что «черные силы» состоят из трех компонентов – славян, евреев и негров, а он замкнулся только на славянах и евреях!

Вопрос. – В этом вся разница между вашими доктринами?

Либенфелс. – Я был и остаюсь мыслителем... Вы же гарантируете право на свободу слова... Почему – в таком случае – допрашиваете меня?

Вопрос. – Вам знаком Гуидо фон Лист?

Либенфелс. – Конечно. Но вы не ответили на мой вопрос.

Вопрос. – Мы допрашиваем вас потому, что среди своих самых дорогих учителей, среди имен Вагнера, Чемберлена, Оскара Шпенглера и Теодора Фритча, фюрер упомянул и вас с Листом... Итак, где вы познакомились с Листом?

Либенфелс. – В Вене.

Вопрос. – Когда?

Либенфелс. – В начале века... Мы с ним были политическими противниками...

Вопрос. – В чем это выражалось?

Либенфелс. – В том, что он отвергал мою теорию «черных сил» и утверждал, что славяне и негры – не наша забота. Прежде всего арийцы должны расправляться с евреями... Их ведь тогда было достаточно много в Вене... Нас часто задирали в контролируемых ими газетах, высмеивали; разве такое проходит бесследно? И потом Лист писал, что будущее человечества решит лишь война, поэтому нацию арийцев надо готовить к ней постоянно. А я никогда не считал войну необходимой... К тому же в нем было слишком много бунтарства... Он вообще призывал сместить все границы и религии, провозгласив вместо этого культ германской земли...

Вопрос. — А в чем еще вы видите различие между вашими концепциями?

Либенфелс. — Да во всем! Не я, а он придумал название «рейх» и «гауляйтер»! Не я, а он стоял на том, что другому, мол, немцы не станут подчиняться, нужны страх и воля, необходимо появление фюрера с железной рукой. Не я, а он провозгласил необходимость создания «Закона о расе»... Не я, а он предложил, чтоб каждый хозяин дома имел свидетельство о «чистоте крови» и предъявлял его по первому требованию. Не я, а он требовал, чтобы все нации, кроме арийцев, были лишены права гражданства в новом рейхе... Если уж у кого Гитлер и передрал все, от начала и до конца, так это у Листа... Он даже своим СС повесил руны в петлицы, а это тоже предлагал Лист: «Руны есть символ защиты германского духа, руны разобьют конструкцию звезды Давида, руны энергичнее, страшнее...» Нет, нет, я лишь пользовался правом на свободу мысли и слова, а вот Лист и Фритч писали за этого мальчишку программу будущего рейха, он же сам ничего не выдумал, взял все готовенькое.

Вопрос. — «Мальчишка» — это Гитлер?

Либенфелс. — А кто же еще?!

Вопрос. — Теодор Фритч был знаком с Листом?

Либенфелс. — А как же?! И с Гитлером тоже... Это ведь он выпустил «Настольную книгу по еврейскому вопросу»... Ничего своего — набрал цитат из Тацита, Эразма, Лютера, Вольтера... Даже еврея Канта использовал, шельмец... Из Бисмарка, конечно, Шопенгауэра, Фихте, Вагнера... Он начал с чего? С того, что происходит евреизация музыки и поэзии... Он, знаете ли, подсчитал — с помощью Листа, — что хотя евреи и составляют один процент населения, но тридцать восемь процентов поэтов, пишущих по-немецки, прокля... евреи... Фритч боялся, что именно евреи станут дирижерами, композиторами, певцами; провел большое исследование по этому вопросу... Он доказывал, что еврей не может понять дух арийцев, его цель — разложить германскую нацию изнутри, постепенно... Между прочим, он предупреждал и о другой опасности: евреи лезут в медицину, особенно в педиатрию... Это, считал он, неспроста... Музыканты разлагают душу, а врачи травят арийское тело вредными лекарствами... Вот уж у кого Гитлер взял все — от начала до конца! Ни один музыкант или врач в рейхе — если имел шестнадцатую долю еврейской крови — не имел права практиковать... Разве я к этому призывал?! Пусть бы славяне, негры там разные с евреями имели свои театры, оркестры, свои книги, только пусть не лезут в нашу арийскую общность... Я всегда проповедовал терпимость... Ассимиляция убивает тех же славян с евреями, я и о них думал, они становятся полуарийцами, полунедочеловеками, жаль несчастных, ни тот, ни другой берег их не принимает, стреляют по быстрине, тонут бедненькие... Вы говорите, я учитель фю... Гитлера... Нет... Когда умер Теодор Фритч, его Гитлер оплакивал, а Юлиус Штрайхер написал в «Штюрмере», что этого человека немцам послало провидение... Вы ищите вокруг да около, а не заглядываете в самое существо проблемы... Отчего Гитлер так обожал Вагнера? Оттого, что тот, как и Гитлер, боялся наличия в своей крови еврейских живчиков... Фю... Гит-

лер боялся, что его бабушка сожительствовала с евреем, разве не знаете об этом? А Вагнер? Ведь до четырнадцати лет он был «Гейером»... А кто такой Людвиг Гейер? Любовник, а затем муж мамочки, обожаемой матери... «А не сын ли я этого самого Гейера?» Вагнер не сразу стал антисемитом... Мне кажется, он им сделался для того, чтобы убедить всех в своем арийстве. Мол, никакого отношения к проклятому «Гейеру» я не имею, они ж евреи, а я антисемит... Все не так просто, господа...

Вопрос. – По вашей логике выходит, что, поскольку Гитлер мог быть потомком евреев, значит, в том зверстве, которое он учинил в Германии и оккупированной Европе, опять-таки виноваты евреи?

Либенфелс. – Этого я не говорил! Не приписывайте мне этих слов! После краха я многое переосмыслил... Не евреи виноваты в крахе... Немцы... Сами немцы...

Вопрос. – Среди учителей фюрера упомянуто имя «Чемберлен»?

Либенфелс. – Хьюстон Стюарт Чемберлен, англичанин, который женился на дочери Вагнера... Вдова Вагнера, Косима, пригласила Гитлера в Байрёйт, еще в двадцать третьем году... Тогда Чемберлен и сказал фю... Гитлеру: «В вас я вижу надежду... Ваши глаза спасут мир арийцев...»

Вопрос. – А с Антоном Дрекслером вы встречались?

Либенфелс. – Да.

Вопрос. – Где?

Либенфелс. – В Мюнхене. Уже после войны.

Вопрос. – Правда ли, что Гитлер заимствовал и у него часть своей расовой теории?

Либенфелс. – Правда... Дрекслер привлек его в свою «немецкую рабочую партию», хотя теперь говорят, что Гитлера туда отправил Рэм в качестве осведомителя... Испугался названия партии, нет ли связей с Москвой; «рабочая партия», как-никак девятнадцатый год... Гитлер вступил в его партию потому, что Дрекслер требовал защиты расы путем кровавого уничтожения чужих... Я про такое никогда не писал, наоборот... А уж если кто и лепил Гитлера, так это Дитрих Эккард, поэт и переводчик, он «Пер Гюнта» на немецкий переложил... Это он в двадцать четвертом выпустил книгу: «Большевизм – от Моисея до Ленина. Мои диалоги с Адольфом Гитлером»... Но Эккард только лепил Гитлера, глина уже обрела форму, Лист и Фритч сделали свое дело, не я... В основном Эккард помог Гитлеру переписать «Протоколы мудрецов»... Там ведь что говорилось? Мир, мол, не может жить без абсолютного деспотизма... Вся политическая власть на земле должна перейти в руки демонического вождя... Мнение обывателей надо конструировать с помощью хорошо скалькулированного террора... Каждый, кто нам противится, должен быть арестован, а собственность его конфискована... Гражданские права следует давать только тем, кто следует за новым демоном... Постепенно вождя-демона следует делать богом, чтобы разрушить прежние религии...

Вопрос. – Вы встречались с Сергеем Александровичем Нилусом, который передал вам в Вене «Протоколы мудрецов», напеча-

танные в императорской типографии Царского Села в девятьсот пятом году?

Либенфелс. – Не помню».

...Мессерброк вошел в комнату, когда уже начало темнеть:

– Слушай, парень, я тут кое-что нашел и по Мюллеру, и по Линдбергу, только копии я тебе отдам после ответа киношников из Голливуда, о'кей?!

Ужинали у Мессерброка, он снимал две комнаты в немецком доме.

– Тут, Джек, – жаловался он, – ни хрена не поймешь, что происходит... Конечно, красные готовятся к агрессии, спору нет, но нельзя же из-за этого миловать гитлеровцев! Смотрю в газете: «Адвокаты Франца Шлегельбергера требуют освобождения их подзащитного в связи с тяжелым заболеванием...» А знаешь, кто он такой? Заместитель гитлеровскою министра юстиции Тирака! Подписывал санкции на повышения... Тирак покончил с собой, знал, что шлепнут, а этот, видишь ли ты, «заболел»... Тысяч сорок, а то и больше на нем висят... Я как начал смотреть его подписи на смертных приговорах, так даже в глазах потемнело. Выступил, а мне советуют: «Тише, не надо скандалов»... Или Лауц... Он был прокурором на процессе по делу двадцатого июля, требовал вздернуть всех обвиняемых. Когда их вздернули на рояльных струнах, – лицо Мессерброка сморщилось, как от боли, – так он на фоне трупов сфотографировался! В форме и при орденах... Адвокаты бомбардируют наших: «Он выполнял приказ, требуем пересмотра дела!» А ведь всего десять лет получил, хотя наши юристы доказали его вину в четырехстах смертных приговорах... Это только те, которые нашли... А сколько еще найдем?! А знаешь, что такое «качели Богера»?

– Откуда же мне? – ответил Джек Эр. – Что-то зябко делается от того, что ты рассказываешь...

– Зябко? Так трясись... Я вон трясусь, не скрываю... В Освенциме Богер был начальником политического отдела, представлял гестапо... Вот послушай, что показывал его подчиненный, тоже, кстати, эсэсовец, Перри Броад: «Два стола стояли в метре друг от друга. Жертва должна была сесть между ними на пол, согнуть колени и сложить на них руки. Руки прикрепляли наручниками к ногам. Между коленями и локтями просовывали толстую железную штангу, клали ее обоими концами на столы, так что жертва беспомощно повисала головой вниз. Затем заключенного начинали избивать толстым кнутом из воловьей кожи по заду и голым пяткам. Удары были такими сильными, что жертва каждый раз совершала почти полный оборот вокруг штанги. И после каждого такого оборота следовал новый сильнейший удар. Когда вопли истязуемого становились слишком громкими, ему на лицо надевали противогаз, раздавались только сдавленные стоны. Время от времени противогаз снимали и спрашивали, сознается ли, наконец, допрашиваемый. Его обвиняли в хранении оружия.

Примерно через пятнадцать минут конвульсивные движения

жертвы прекратились. Человек не мог уже отвечать и только слабо качал головой, когда с него сняли противогаз и потребовали сознаться. Тело его стало багрово-красным, и кровь капала на пол. В конце концов голова бессильно свесилась – наступил обморок. Но это никого не смутило. Богер вытащил из кармана бутылочку с едко пахнущей жидкостью и сунул ее узнику под нос. Через несколько минут тот пришел в сознание. Так как его зад был настолько исечен, что удары вряд ли смогли бы еще вызвать страдания, применена была новая пытка: жертве накапали в нос кипяток. Жгучая боль была, вероятно, неописуемой; на очередной вопрос, который он задал с издевательской самоуверенностью, истязуемый утвердительно кивнул.

Тогда штангу сняли со столов и опустили одним концом на пол. Жертва соскользнула, и штангу вытащили. Только с трудом удалось стащить наручники с распухших, ставших фиолетовыми кистей рук. Заключенный валялся на полу безжизненным телом. Он был не в силах реагировать на окрики и требования встать, подписать у стола свое «признание». И снова на его бритую голову, на спину посыпались удары воловьего ремня, его стали топтать сапогами. Наконец он с величайшим трудом приподнялся и непослушными, едва шевелившимися пальцами подписал «показания».

– Я был у них в плену, – сказал Джек Эр, накинув куртку. – Вот почему так ненавижу наци... Но они нас так не пытали... Может, это эсэсман придумал?

– Это пытки для славян, евреев и цыган, Джек, наших расстреливали...

– Не всех... Одного моего приятеля тоже пытали... Только иначе...

– Смотри, – продолжал между тем Мессерброк, – приходят данные, что в нашем лагере сидит доктор Менгеле...

– А это кто такой?

– Не знаешь?! Врач из Освенцима... Он полмиллиона человек загубил, резал живых людей без наркоза, доктор философии, сукин сын! Ну, я, понятно, отправляю запрос... Отвечают, что у них сидит «Иозеф Менгерле», а не Менгеле... Я прошу прислать его фото, у меня-то в делах оно есть, сравню... Тянули, тянули, а потом ответили, что «Менгерле» умер... Нашел документы на Барбье, этот работал во Франции, был с Эйхманом... Садист, зверь... А мне рекомендуют: «надо подождать»...

1

Роберту С. Макайру.
Центральная разведывательная группа,
Вашингтон.

Совершенно секретно!
С курьером, по прочтении уничтожить!

Прошу сообщить, действует ли сотрудник ФБР Джек Эр в Мюнхене по указанию своего руководства. Если «да»,

то кто именно уполномочил его проводить работу в архивах, хранящихся в Мюнхене, в штабе американского оккупационного корпуса?

Гелен.

2

Генералу Гелену.
Мюнхен.

С курьером, по прочтении уничтожить!

Джек Эр не является сотрудником ФБР. Сообщите о его активности, этот человек нас интересует.

Макайр.

3

Роберту С. Макайру.
ЦРГ,
Вашингтон.

С курьером.

Джек Эр собирает материалы уликового характера на тех немецких чиновников (в основном Мюллер, Кемп, Газнер и т.д.), которые в период диктатуры Гитлера выполняли свой долг, следуя данной им присяге.

Сейчас, когда угроза русского большевизма стала совершенно ясна всем непредубежденным людям цивилизованного мира,такого рода работа может нанести существенный удар по задачам, которые ныне встали перед нами: создание на пути азиатских полчищ демократического, антикоминтерновского бастиона в Европе.

Сфабрикованные материалы г-на Эра могут оказаться пропагандистским оружием в руках как Москвы, так и левых организаций Западной Европы.

Я глубоко сострадаю всем, кто погиб во время жестокой битвы, но нагнетание страстей может помешать нам в решении общих задач.

Прошу сообщить, кто разработает комбинацию, чтобы пресечь несвоевременную активность г-на Эра. Мы готовы внести предложения, понимая всю меру нашей общей ответственности в деле защиты демократии и свободы.

Гелен.

4

Генералу Гелену

Строго секретно!

Пришлите план комбинации с курьером. Вручить лич-

но мне. Сообщите, имела ли «Организация» какое-либо отношение к делу норвежского адвоката Мартенса.

Макайр.

Прочитав шифрограмму, Гелен рассмеялся; удовлетворенно потер руки; сказал помощнику Лорху:

– Ответьте, что нам вообще неизвестно имя Мартенса... Мы услышали имя этого человека в первый раз... От него, Макайра... Запросите информацию, кто это такой... Я хочу, чтобы в нашем архиве остался ответ господина Макайра... Когда-нибудь он мне очень пригодится...

– Вы гений, генерал, – тихо сказал Лорх. – Я не верил, что за полтора года вам удастся столкнуть лбами двух главных врагов немцев – американцев и русских... Это ведь не удалось Гитлеру... Но как смело и четко это сделали вы! Поверьте: будущие поколения немцев за одно лишь это поставят вам памятник... Вы его заслужили. Как никто другой...

...Именно в это время Джек Эр отправил (слежку за ним еще не наладили) в Нью-Йорк, Голливуд и Буэнос-Айрес толстые конверты с копиями найденных документов...

ШТИРЛИЦ, РОСАРИО, МЮЛЛЕР
(Аргентина, сорок седьмой)

Штирлиц распахнул дверь лифта, услужливо поддержал Росарио под правый локоть, левый постоянно страховал шофер; вставил длинный латунный ключ в замок, отпер дверь и, войдя первым в прихожую, где ярко горел свет и звучала веселая музыка, крикнул:

– Сеньор Пла, к вам пришли!

Обернувшись, он взял Росарио под руку и ввел его в прихожую; шофер, поколебавшись какое-то мгновение, вошел следом.

Штирлиц распахнул дверь, что вела в апартамент:

– Пожалуйста, сеньоры, здесь в комнатах запутаешься, они нас не слышат, заходите.

Росарио шагнул первым; шофер, по-прежнему поддерживая его под локоть, протиснулся вторым; Штирлиц мгновенно вытащил пистолет и нанес хрусткий удар по затылку шофера; тот обвалился кулем, не пикнув; со всего маху, стонуще Штирлиц ударил рукоятью Росарио в переносье – моментальное выключение сознания; так и случилось, упал рядом с шофером.

Штирлиц опустился на колени, достал из-за пояса шофера пистолет, сунул его в задний карман брюк, отметив, что это «вальтер-полицай» – оружие, которым снабжали агентуру СД, ощупал костюм Росарио, в заднем кармане лежал плоский бельгийский браунинг ручной работы; Штирлиц выщелкал патроны, проверил, не осталось ли в стволе, сунул обратно, пусть будет вооружен, посмотрим, как станет себя вести; достал из карманов пиджаков документы, за-

писные книжки, положил на маленький столик, что стоял возле камина (хозяину поручил обставить квартиру по своему вкусу: «Тысячи пятисот песо, полагаю, хватит?» Разговор состоялся вчера днем, сегодня утром все было обставлено), связал ноги и руки шофера, сунул кляп в рот, достал ремень из брюк Росарио, разрезал, связал и того, потом сел в кресло, выкурил сигарету, швырнул окурок в камин, разжег его, поднял Росарио, бросил в кресло, вплотную придвинул к нему второе, уселся поудобнее и пошлепал испанца по щекам.

Повязка, скрывавшая выбитый глаз, сбилась, и на Штирлица глянула кровавая запекшаяся масса, пронизанная синенькими пульсирующими сосудиками.

Время, сказал себе Штирлиц, я начинаю терять время; наверняка он оставил адрес, по которому выехал; если его люди позвонят профессору де Лижжо, невозможно просчитать, как тот себя поведет.

Взяв документы, он пролистал испанский паспорт Росарио, внимательно изучил записную книжку, обратил внимание на телефон инженера Лопеса в Кордове, контакт с Кемпом, все верно, дважды прочитал телефон сеньора Блюма в Вилле Хенераль Бельграно, подчеркнул зеленым карандашом, усмехнулся, заметив телефон без имени в Барилоче, – явно сеньор Рикардо Баум; да, союзнички, эк поддерживают друг друга, не разольешь водой; если не очухается через несколько минут, плесну ему в ли... в рожу, в одноглазую фашистскую рожу стакан воды, задергается...

Штирлиц поднялся, прошел в спальню, сел к телефону и набрал номер профессора де Лижжо:

– Мы тут беседуем... Возможно, к вам позвонят... Знаете ли, жены беспокоятся во время длительных отлучек мужей, особенно пьющих... Так вы скажите, что никуда из дома не выходили, никому не звонили и никакого протезиста не знаете..

– Но ведь вы назвали адрес! – Профессор говорил надтреснутым, севшим голосом.

Когда он успел простудиться, подумал Штирлиц, наверное, от волнения; некоторые начинают гундосить, словно у них спонтанный приступ насморка; пройдет.

– Неважно, – ответил Штирлиц. – Все в порядке, профессор, все идет лучше, чем я мог представить... Вы поняли, что я вам сказал?

– Да.

– Жена заметила, что вы уезжали из дома?

– Нет.

– Ну и веселитесь с ее гостями. Жахнете как следует, а то вы все «мендосу» да «мендосу» посасываете. Пора переходить на «агуа ардьенте». И еще: если вы захотите меня найти, – в том случае, конечно, если это можно будет сделать физически, – Штирлиц усмехнулся, – позвоните тому, кто прислал вам со мною письмецо, и скажите, что нужна квалифицированная консультация, назначьте встречу в ресторане, там все и решите. Поняли – о ком я?

– Да, – буркнул профессор и повесил трубку, не попрощавшись.

Плохо, конечно, если он сейчас позвонит домой Оссорио, подумал Штирлиц; трудно жить, допуская такие вероятия, которые никому другому не приходят в голову, кроме людей моей профессии,

каждый по-своему Жюль Верн, столько переберешь возможностей, столько отринешь предложений, так много остается шлака ради одной унции, вмещающей в себя оптимальность решения, его единственность.

Ну и что? Его люди ринутся к профессору Пла; там пусто; но они поговорят с портье, эти люди умеют говорить с представителями инфраструктуры, СД в их лице имело самую надежную агентуру; все хозяева баров, ресторанов, кафе, отелей и пансионатов были добровольными осведомителями гестапо; отберут патент — куда денешься?! К сладкой жизни пробиться трудно; отвыкнуть от нее невозможно, да и сделка с совестью вполне пристойная: всякий, кто так или иначе не вписывается в систему представлений о настоящем немце или испанце, должен быть известен полиции, может, какой бандит, нечего с ним миндальничать, его место за решеткой...

Штирлиц вернулся в холл; шофер оклемался — лежал на животе, задрав голову; Росарио был по-прежнему неподвижен; налив в стакан воды из высокого кувшина — хрусталь, прекрасная ручная работа, сине-белые высверки, которые, соединяясь, дают эффект багрового, растекающегося светового удара, — плеснул в лицо Росарио.

Тот вздрогнул и сразу же открыл глаз, в котором не было ничего человеческого — животный, истерический страх.

— Времени у нас мало, — сказал Штирлиц, — так что исход событий зависит от вас... Дома оставили адрес профессора Пла?

— Да, — ответил Росарио. — Через час сюда приедут.

— Мы закончим раньше. Вы меня узнали?

— Нет.

— Я Брунн. А вы убили Клаудиу...

— Вы меня путаете с кем-то, сеньор Брунн... Я никого не убивал, я коммерсант и финансист, строю дома...

Штирлиц достал из правого кармана заключение экспертизы из Барилоче, из левого — заключение его, Росарио, врачей и дал ему посмотреть:

— Хватит? Или показать кое-что еще?

Росарио облизнул свои истрескавшиеся серо-голубоватые губы и — неожиданно для Штирлица — усмехнулся жестко и ненавидяще:

— Вы, видимо, знаете, как погиб сын командира крепости Алькасар?

— Что вы хотите этим сказать?

— Этим я хочу сказать то, что если отец смог произнести сыну, пятнадцатилетнему мальчику, единственному наследнику: «Я не сдамся даже ценою твоей жизни, прими смерть, как подобает испанцу» — и парнишку расстреляли, то уж я, поживший на этом свете, не скажу вам ни слова, так что можете кончать всю эту историю...

— Что ж, ответ, — Штирлиц кивнул, отошел к шоферу, опустился перед ним на колени, спросил: — Ты тоже будешь молчать?

Тот кивнул, говорить не мог, во рту кляп, промычал что-то невразумительное.

Штирлиц вынул кляп, поднял его лицо за нос:

— Ну, отвечай, так легче.

– Если б я мог перекусить тебе горло, – прохрипел шофер, – я бы перегрыз его.

– Это ты увез женщину?

– Грязную потаскуху, подстилку для вонючих красных, а не женщину!

Штирлиц закрыл глаза; он должен был закрыть глаза на мгновение, чтобы не ударить дулом пистолета в глаз этому фашисту; сначала в один, а потом во второй; хотя, что ему слепота? Он и так слепец, он видит лишь то, что ему разрешают видеть, от и до, ему не страшно ходить с тростью по улицам, – сколько таких слепцов ходит по Мадриду, продавая лотерейные билеты?! И как еще хохочут по вечерам, после розыгрыша, собираясь в барах за бутылками тинто?! Жизнь как жизнь... Есть, конечно, некоторое неудобство, можно упасть, приходится ощупывать тростью мостовую, чтобы не угодить в сточную яму, их порою забывают закрыть люком, а так – все нормально, ложку мимо рта не пронесешь, стакан – тем более, а уж на бабу взгромоздиться и вовсе труда не составляет, иная и сама на себя затащит, они обездоленные, скольких мужчин унесла война!

Вздохнув, Штирлиц открыл глаза, снова воткнул кляп в рот шофера, вернулся к Росарио, достал его портмоне, записную книжку, восемь дорожных чеков на тысячу каждый, целое состояние, вытащил из-за обложки паспорта дипломатическую карточку с синей полосой посередине – удостоверение офицера службы франкистской безопасности, показал все это Росарио:

– Разве можно так пренебрегать законами конспирации, которые обязательны для каждого, работающего за кордоном, Росарио? А телефоны агентуры, которые ты таскаешь с собой? Резидент! – Штирлиц усмехнулся. – Что ты умеешь делать, кроме того, как убивать беззащитных женщин? Все эти материалы будут опубликованы в прессе – если не здесь, то в Европе... Там этого очень ждут... Тебя выгонят с работы, что ты станешь делать?

– Поэтому я и предлагаю поскорее кончать все это дело. Если я выйду отсюда, тебя разрежут на мелкие куски... Пилой... Тебя будут мучить так, что даже нельзя себе представить... Я не скажу ни слова, Брунн.

– Скажешь, – вздохнул Штирлиц. – «Если враг не сдается, его уничтожают», есть такие слова, слыхал? Мне с ними легче... Сначала я убью твоего мерзавца, – он кивнул на шофера, – а потом предложу тебе альтернативу: либо я выбью твой единственный глаз, либо ты ответишь на все вопросы, которые меня интересуют.

– Нет, – ответил Росарио. – Делай что угодно, все равно я буду молчать.

Штирлиц почувствовал слепую, животную, трясущуюся ярость, схватил Росарио за уши и начал выворачивать их с чудовищной силой.

– Бо-о-ольно! – захрипел Росарио.

Штирлиц плюнул себе под ноги и шепнул:

– Вот видишь, Росарио... Ты и заговорил... А ведь я мог бы воткнуть тебе иголку, ты знаешь, куда, – ведь вы так работаете в подвалах Пуэрто дель Соль, – и ты бы заговорил... Я бы мог зажать те-

бе пальцы в двери – это у вас норма допроса, – и ты бы заговорил... Но я взываю к твоему разуму... Пока еще у меня есть время взывать к разуму, осталось сорок минут, потом будет поздно... Вообще-то ты ведь для меня не человек, Росарио... Ты фашист, то есть заразный гной, от таких, как ты, человечество должно освобождаться... Поэтому мне только поначалу трудно переступить... Но если я пойму, что иного выхода не осталось, – я преступлю... Всегда и всему есть предел, Росарио... Вы научили мир зверству... Чтобы оно не повторялось, я готов пожертвовать собой... Наверное, после того как я заставлю тебя говорить, я не смогу жить... Ты ведь знаешь, кто я? Ты все про меня знаешь, нет?

– Я знаю все, Штирлиц. Я знаю про тебя все, русская свинья, и моя смерть только приблизит твою... Но ты меня застрелишь, а тебе придется ждать смерти многие годы, вдали от людских глаз, в таких муках, которые еще неизвестны человечеству.

И в это время резко зазвонил телефон; Росарио тихо засмеялся; Штирлиц напрягся, по-кошачьи бросился в спальню, снял трубку:

– Слушаю...

– Так это я, сеньор, – голос портье был сейчас другим, благостным; видимо, успел приложиться, дай ему бог, есть люди, которые пьют без страха за завтрашний день, трутни; страдает тот, кто понимает ужас потерянного времени, ощущая, что все восполнимо в жизни, кроме неосуществленных дел.

– Все в порядке? – спросил Штирлиц.

– Да, сеньор. Я подниму пакеты?

– Не надо, – ответил Штирлиц, – я попозже сам...

Дав отбой, он продолжал говорить в трубку:

– Нет, нет, это мое дело, пусть ребята ждут, да, да... А сундуки поднимите чуть позже, мы загрузим их на пароход в сундуках... Да нет же, у меня есть шприц, проснутся уже на борту, там пусть вопят... Хорошо, сейчас...

Они слушают каждое мое слово, подумал он, пусть думают; но я не мог себе представить такой реакции, значит, я не нащупал болевой точки, плохо.

Он прошел мимо Росарио и шофера, которые смотрели на него глазами, показавшимися Штирлицу белыми, так они были яростны, но и – впервые за все время – испуганными, вернулся, воткнул кляп в рот Росарио, спустился вниз, сказал портье, что отгонит машину приятельницы, сел за руль «плимута», отогнал его за угол, въехал в темный двор, открыл капот, порвал все провода, бегом вернулся в дом, забрал пакеты и поднялся в квартиру.

Росарио уже лежал на полу; видимо, сполз и, извиваясь, хотел подкатиться, чтобы развязать шоферу руки зубами, кляп был жидкий, если постараться, можно выплюнуть.

Штирлиц молча поднял Росарио, снова бросил в кресло, вынул из саквояжа шприц и две ампулы, достал из кармана рекламный проспект компании, где он сидел «под крышей», и, развернув, показал одноглазому:

– Твоя подпись?

Тот стремительно глянул, отвернулся, ничего не ответил.

– Твоя, – словно бы за ним повторил Штирлиц. – А теперь представь, что она стоит под таким обращением: «Я, известный в Буэнос-Айресе как Хосе Росарио, офицер контрразведки генералиссимуса Франко, в течение многих лет выполнял все поручения руководства. Я служил генералиссимусу без страха и упрека. Я представитель нации, которая исповедует силу, но в первую очередь – благородство. Когда мне поручили подвергнуть пыткам женщину, испанку, Клаудиу Вилья Бьянку, только во имя того, чтобы заполучить антинацистские материалы сенатора Оссорио, я был потрясен силой ее духа. Она предпочла изуродовать себя, только б не опозорить высокое звание испанки. Да, косвенно я виноват в ее гибели, да, я никогда не прощу себе случившегося, но для того, чтобы мир узнал правду о том, что наша служба пытает женщин, я решил уйти в свободный мир и открыть человечеству всю правду»... Как? Ничего? Сколько твоих родственников, Росарио, ответят за это письмо? Я увезу ведь тебя отсюда в ящике и погружу на пароход, где капитаном служит мой друг...

– Не делай этого, – сказал Росарио, и Штирлиц заметил, как рванулся шофер, уставившись на своего шефа ненавидящими глазами...

– Хорошо. Я могу этого не делать. Но тогда ты пойдешь со мной в соседнюю комнату и ответишь на вопросы, которые меня интересуют.

– Развяжи руки.

– Рано. Я развяжу твои руки, когда мы кончим собеседование.

– Не будет никакого собеседования!.. Красная сволочь! Иха де пута, кохонудо[1] долбаный! – Росарио сорвался на тонкий крик.

– Тебя не услышат, – заметил Штирлиц. – Подъезд еще не заселен. А когда в одной фразе слишком много мата, это не действует, Росарио... Но я хочу продолжить мысль, чтобы тебе стала понятна неизбежность нашей беседы... Смотри, что получается: я только что отправил в верное место твое удостоверение, паспорт и телефонную книжку, – кстати, ты наивно конспирировал агентуру, это просчитывается в два счета: красный, синий, черный цвета – так работали районные уполномоченные гестапо, занося в книжечку телефоны наиболее мобильных осведомителей. Их, между прочим, за это наказывали... Волей-неволей ты провалил сеть, а ты, как выяснилось, имел на связи друзей Евы Перон, журналистов, людей из армии – ай-яй-яй... Ты хоть понимаешь, что после такого провала тебе не подняться? Даже если я сейчас уйду, оставив вас здесь, – могу завязать морды наглухо, сдохнете через пяток дней, могу не очень туго завязать, будете дышать, продержитесь дольше, глядишь – чудо, ваши получат санкцию на то, чтобы войти в эту квартиру, хотя ты знаешь, как это трудно – получить санкцию на то, чтобы войти в такой дорогой дом, это в барак нетрудно, накостылял по шеям обитателям, они ж безграмотные, жаловаться не решатся, на власть не пожалуешься, сгноят, а сюда – ого-го-го... Но если представить себе чудо, если бог смилостивится над вами, то и в этом случае ты

[1] Исп. ругательство.

погиб. Думаешь, твой пес, – он кивнул на шофера, – будет молчать? Думаешь, он не передаст слово в слово, что я говорил тебе? Думаешь, он тебя пощадит? Эй, шофер, слушай внимательно и запоминай! Твой хефе носил с собой в кармане документы, из которых явствовало, что он держал на связи в Барилоче немца Рикардо Баума, в прошлом офицера абвера, связан с организацией генерала Вагнера, или Верена, у него много псевдонимов, а фамилия одна – Гелен, Рейнхард Гелен, запомнил? А в Вилле Хенераль Бельграно контактировал с Блюмом. Ты запоминай, запоминай, память твоя – гарантия твоего спасения, посидишь в лагере, отпустят, зато на Пуэрта дель Соль не будут пытать, ты же знаешь, как там это делают... Или изнасилуют у тебя на глазах жену... или мать... Там держат ублюдков, животных, которые лишены человеческих чувств... Теперь слушай дальше... Инженер Лопес в Кордове – это Кемп, из ИТТ, тоже немецкий агент, живет здесь «под крышей»... А сеньор Блюм из Бельграно и вовсе.

– Хватит! – просипел Росарио и облизнул совершенно синие губы. – Убей его. Тогда я стану говорить.

– Я? – Штирлиц удивился, снова ощутив тепло Клаудии; она сейчас стояла за спиной, очень близко, даже чувствовался аромат ее духов – жареный миндаль, запах смерти. – Я не стану марать о него руки. Если тебе это нужно – ты и делай.

– Развяжи руки.

– Я развяжу тебе одну руку, Росарио. Вторую мы привяжем к шее. С тобой надо держать ухо востро... Ты ж такой принципиальный, верен присяге. Отказываешься от беседы...

Штирлиц загнул левую руку Росарио за шею, обмотал ее ремнем вокруг горла и затянул крутым узлом; достав из заднего кармана его кремовых брюк плоский браунинг, сунул его в правую руку, чуть придерживая ее за плечо.

Если ты решишь изловчиться, подумал Штирлиц, и пальнуть в меня, раздастся щелчок, и тогда все станет ясно; если же ты выцелишь висок своего телохранителя и нажмешь на спуск, значит, я победил, значит, не зря убежден, что все они разваливаются до задницы, когда понимают приближение краха. Если инженер запорет станок, он может отремонтировать его; если капитан посадит корабль на камни, он может в конце концов, отдав по суду все свои деньги, начать с нуля, нанявшись матросом в сложный рейс; даже врач, зарезавший больного, отсидев год в тюрьме, – если был пьян во время операции – потом вернется в медицину и спасет человечеству тысячи жизней; через тернии – к звездам. А что может шпион, проваливший сеть? Ту, которая стоила секретной службе миллионы долларов, годы работы, чья информация положила начало новому курсу, в котором были задействованы политические деятели и директора банков, командиры армейских подразделений и руководители внешнеполитических ведомств?! Что ему делать, если благодаря его оплошности произошел провал такого рода?

Росарио плавающе поднял руку и начал выцеливать висок своего телохранителя. Рука его подрагивала, как он ни старался держать ее твердо.

Шофер смотрел на него, выпучив глаза, они, казалось, вот-вот лопнут, вылетят черными брызгами, испачкав светлый ковер. Он что-то мычал, мотал головою, потом начал биться лбом об пол; господи, какой страшный звук, подумал Штирлиц, удары молотком о ствол свежеобструганной сосны.

– Я не попаду, – сказал наконец Росарио. – Рука трясется.

– Что ты предлагаешь? – спросил Штирлиц, стараясь говорить спокойно, хотя тело его била дрожь, пальцы сделались ледяными, как раньше, в Мадриде, до Канксерихи.

– Подвинь его ко мне.

Штирлиц легко взял браунинг из рук Росарио, подтащил к нему шофера, тот пытался кричать что-то, из глаз его катились слезы, казалось, что это и не слезы – так их было много, – а капли пота; они струились по его мертвенно-бледному лицу; лицо, действительно, было мокрым и от пота, таким мокрым, как у гимнаста, который весело делает упражнения под лучами палящего солнца, и весь он бронзово-коричневый, живой, излучающий здоровье, а шофер белел с каждой секундой все больше и больше, печать животного ужаса изменила его до неузнаваемости, морщины сделались такими глубокими, что лоб, виски и щеки стали походить на печеные яблоки...

– Так лучше? – спросил Штирлиц. – Тебе удобно, Росарио?

– Да, – ответил тот.

Штирлиц снова вложил ему в руку браунинг, намеренно забыв придержать плечо франкиста.

– Давай, – сказал он. – Бей.

Росарио отбросился назад, выгнул руку и нажал на спусковой крючок, как только ствол поравнялся с лицом Штирлица; сухо лязгнуло, а потом стало так тихо, что казалось, все звуки вокруг исчезли и растворились.

– Ну и что? – спросил Штирлиц. – Поигрался?

– Спусти меня с кресла, – сказал Росарио.

– Зачем?

– Дашь нож. Я его зарежу.

– А вдруг ты метнешь нож, как индеец из Голливуда?

– Поставь меня перед ним на колени.

– Зарежешь?

– Да.

– Вынуть у него кляп? Пусть орет?

– Если не боишься воплей – сними.

Штирлиц вынул кляп у шофера:

– Ну, помолился?

– Развяжи меня, развяжи, – прошептал шофер, – я буду говорить тихо, я расскажу тебе, как он мне велел привезти твою бабу, я скажу, кто ее убивал, я все видел, я ездил в Хенераль Бельграно к Блюму, я один знаю тот дом, куда он меня отправлял...

– Где он? – спросил Штирлиц.

Росарио откашлялся:

– Штирлиц, вы будете слушать либо его, либо меня.

– Я буду слушать обоих. Мне интересно, когда вы говорите дуэтом.

– Этот особняк на окраине Бельграно, – сипел шофер. – Там немцы... Около аэродрома... Это как замок, туда не пройдешь просто так, там три системы охраны, там...

– Послушайте, Штирлиц, – сказал Росарио, – мои контакты по линии ИТТ заинтересуют вас больше, чем фантазии этого придурка... Дайте нож...

– Но ведь ты начал с того, как комендант Алькасара дал расстрелять своего сына, пожертвовав жизнью мальчика во имя торжества Франко... Допустим, я позволю тебе зарезать этого подонка, а ты скажешь: «Все, теперь я спокоен, он молчит, а уж я тем более не скажу ни слова»... Может быть такое?

– Я открою все, – хрипел шофер, – все, до конца! Я скажу тебе, красный, как они убили твою женщину, я не трогал ее, я только привез ее к ним, но я видел, что они с ней делали!

– Верно, он привез ее по моему приказу, – сказал Росарио. – А вот кто сообщил мне о ней, я могу сказать, только я.

Штирлиц полез за сигаретами:

– Кто?

Росарио как-то странно, словно горбатый (хотя сейчас он так сидит, я же привязал ему руку к шее), пожал плечами:

– При нем говорить не стану.

– Ты ж все равно зарежешь его, – Штирлиц усмехнулся. – Какая разница, что он услышит?

Достав из кармана нож, Штирлиц нажал кнопку на рукоятке, выскочило длинное лезвие; вытерев рукоять платком, Штирлиц вставил нож в руку Росарио; тот судорожно сжал пальцы, прохрипев:

– Опусти меня перед ним на колени.

Штирлиц посмотрел на шофера:

– Говори, что хочешь сказать, пока он не перерезал тебе горло.

Шофер снова задергался, лицо стало и вовсе мучнистым:

– Я знаю все адреса, по всей Аргентине, я ездил по его приказам... Я помню все номера домов, я скажу все...

– Говори, – сказал Штирлиц.

Шофер, дергаясь, словно бы за ним кто гнался, начал говорить; в уголках рта появилась сухая пена; Штирлиц отметил, что ряд адресов ему знаком; остальные запишет магнитофон, не зря он истратил на него столько денег, американская новинка, микрофон лежит у двери в спальню, запись прекрасна, все будет на пленке.

– Он говорит правду, – кивнул Росарио. – Только он не знает главного. Паролей, связей, истории вопроса. При нем я этого говорить не стану.

Штирлиц поднял Росарио под руки и опустил на пол рядом с шофером.

И тут шофер тонко завизжал; Росарио уперся ножом в его шею, шофер начал извиваться; Росарио нажал что есть силы, и Штирлиц увидел, как разорвалась кожа и металл всасывающе вошел в тело.

Штирлиц оторвал Росарио от дергавшегося шофера, приложил его окровавленные пальцы к листу бумаги, – надо сохранить улики; снова закурил, чтобы хоть как-то унять дрожь, которая била его все сильнее.

– Ну? – спросил он. – Теперь закончим беседу?

Росарио странно залаял; Штирлиц не сразу понял, что он смеется.

– Ты ж все правильно понял, иха дель пута! Зачем ты позволил мне кончить его?! Я ничего не скажу тебе! Ничего!

– Скажешь, – вздохнул Штирлиц. – Все скажешь.

Он подошел к столу, взял шприц, сунул его в руку Росарио, сделал инъекцию снотворного, позвонил в «Кларин» и сказал:

– Соедините-ка меня с отделом новостей... Передайте репортеру, что его ждет сенсация...

– Не делай этого! – крикнул Росарио, упершись взглядом в бумагу с кровавыми отпечатками своих пальцев, которая валялась возле трупа шофера. – Не делай! Я буду говорить!

– Говори, – Штирлиц опустил трубку. – Я слушаю. Но если ты хоть что-то утаишь, пенять придется на себя. Ты должен уснуть через час. Говори.

И тот заговорил...

...Когда Росарио уронил голову на грудь, Штирлиц развязал шофера, снял ремни с резидента Пуэрта-дель-Соль, позвонил в «Кларин», назвал адрес, куда надо приехать («Дверь открыта, вас ждет сенсация, можете успеть в утренний номер»), пошел в соседнюю комнату, взял кассету, сунул ее в портфель, оглядел комнату, все ли в порядке; все в порядке, собаке собачья смерть, и де Лижжо не будет в претензии – главный убийца спит; он жив; медленно направился к выходу; шорох за спиной услышал не ушами, а кожей спины; резко пригнулся; нож, брошенный Росарио, врезался в дверь рядом с головой; Росарио смотрел на него дурными глазами, медленно поднимаясь с кресла; Штирлиц подошел к нему и всадил еще один шприц со снотворным.

После этого позвонил представителю Франс Пресс и корреспонденту «Нью-Йорк таймс», оставил адрес, заметив, что копии заключений экспертиз о таинственном убийстве женщины в горах и об инциденте с Росарио лежат на столе: «Сделайте снимки и вызывайте полицию; можете задать вопрос, где сейчас «подозреваемый» Брунн и почему его подозревают. Он будет отрицать все. Но вы жмите. К сожалению, не могу быть с вами, потому что улетаю в Европу, самолет через семь минут, пограничный контроль уже прошел, схватить меня невозможно при всем желании».

А потом он бросился на почту, получил пакет и выехал на своем «фордике» из Буэнос-Айреса, взяв направление на Кордову, оттуда до Виллы Хенераль Бельграно полтораста километров, не больше.

РОУМЭН, СИНАТРА, ЛАКИ (сорок седьмой)

Фрэнк Синатра прилетел в Майами; не выходя из аэропорта в город, пересел на ожидавший его «дуглас» Луччиано, раскрашенный, словно карнавальный паяц, – красно-белые продольные линии, много синих звезд, некий паллиатив национального флага, – и, кив-

нув трем безъязыким телохранителям Лаки, прошел в кабину пилота: любил летать вместе с экипажем, садился обычно на место второго летчика, в воздухе брал штурвал на себя, испытывая острое ощущение счастья оттого, что громадная машина послушна ему, словно маленький ребенок, которого водят на помочах, когда он только-только начинает учиться ходить.

В Гаване на летном поле его ждали два «паккарда»; Лаки умел встречать друзей. «Все же во мне неистребимо итальянское, – подшучивал он над собой, – прекрасно известно, что от пули не уберегут и десять телохранителей; в бронированную машину можно засадить пластиковую мину, да и вообще человек слаб и хрупок, словно стрекоза, но ощущение бесшумной множественности, постоянная тайна щекочут нервы. Что еще может щекотать нервы человеку, у которого нет врагов?!»

Лаки Луччиано ждал Фрэнка Синатру в загородной вилле, на Варадеро, неподалеку от замка Дюпона; долго хлопал его по плечам, говорил, что наконец-то Италия получила своего национального героя в Штатах: «Нет человека в стране, кто бы не знал твоих песен, Фрэнки-Бой, знаешь, какое это для нас счастье?!» – «Не надо дразнить янки тем, что я итальянец, – заметил Синатра, – в стране взрыв национального патриотизма, сейчас лучше быть стопроцентным американцем, поверь, Лаки. Когда все успокоится, мы еще скажем свое слово, а пока давай будем обычными янки. Слава богу, что в Голливуде рубят головы в основном неграм, евреям и славянам, я слишком хорошо помню ту пору, когда судили Сакко и Ванцетти, мне плевать, что они были красными, но ведь нас били другие банды подростков не за то, что мы красные, а потому, что принадлежим к нации «грязных итальяшек».

Луччиано посмеялся: «Это хорошо, что ты стал мудрым, как тигр, Фрэнки-Бой. Но, если тигр долго не пускает в ход зубы, они у него крошатся. Мне плевать на то, что про меня говорят. Пусть только не трогают. Я вырос в условиях американской демократии: «говори, что угодно, но не пробуй затронуть мои интересы, не спущу...» Пойдем, нас ждут Фрэнк Кастелло и Джо Адонис, предстоит принять пару решений, и они далеко не просты...»

Луччиано говорил правду: решения, которые следовало принять, были сложны, потому что речь шла о жизни и смерти его названного брата Бена Зигеля и о новом бизнесе – наркотиках...

...После того как Луччиано был вывезен из американской тюрьмы, прошел специальную подготовку на конспиративной базе военно-морской разведки США с привлечением инструкторов ОСС, после его выброса на Сицилию и головоломной работы против нацистов, когда армия Паттона прошла сквозь немецкие и фашистские укрепления практически без потерь, после того, как Лаки вернулся в Нью-Йорк героем, но сразу же оказался под прессингом старых политических противников из республиканского лагеря и был вынужден покинуть страну, которую он любил, обосновался он не в Италии, как ему было предписано, а на Кубе, девяносто миль от Майами, свой самолет, связь постоянна, контакты не прерваны, а что есть важнее надежных контактов, когда вертится бизнес?!

Лаки снял этаж в «Империале», купил виллу на Варадеро, два его «паккарда» носились по улицам Гаваны под красный свет, полиция брала под козырек, – ему это нравилось, он не считал нужным скрывать, как ему это нравилось, чем меньше таишь сокровенное, тем лучше; в конечном счете на Сицилии, прокладывая путь для американских войск, блокируя партизан-коммунистов, он жил в пещере, спал на досках и ел черствый хлеб; если сейчас человеку воздается за его труды, значит, это знамение божие.

Он устраивал приемы, на которые приходили сотни людей; угощения славились изысканностью и, конечно, обилием; манера янки ставить на стол салаты и фисташки казалась ему жлобской, – если уж позвал людей, дай им поесть от души; он понимал, что это в нем от голодного детства и столь же голодной юности; острее всего люди помнят чувство голода и ощущение безнадежности, когда в кармане нет ни цента, а нужно купить билет на сабвэй, чтобы доехать до биржи труда; переступить себя он, однако, не мог, да и знал, что американцы народ прагматичный: где можно вкусно поесть – забудут про диету, навернут так, что только хруст будет стоять за ушами.

Вот эти его щедрые приемы и привели к неожиданному краху: какой-то журналист сообщил в американские газеты, что Лаки и не думает отдыхать в Италии, шикует в Гаване, ошеломляя приезжих американцев и местную власть царскими пирами и развлечениями в его ночных барах.

Поначалу Лаки Луччиано отмахнулся от этой новости; помощник его адъютанта Гуарази сообщил об этом за завтраком; однако вечером он собрал совещание штаба, поскольку ситуация стала развиваться стремительно: посол Соединенных Штатов посетил министра иностранных дел Кубы и сделал официальное заявление: «В случае, если мистер Луччиано не будет выдворен с острова, правительство Соединенных Штатов предпримет экономические санкции; всю ответственность за их плачевные результаты для Кубы власти возьмут на себя».

Ночью Луччиано созвонился с американским резидентом:

– Эндрю, я был бы рад, если бы вы нашли для меня полчаса.

– О, конечно, Фрэдди, – ответил тот, впервые назвав псевдоним Лаки, не имя, – давайте встретимся прямо сейчас, в нашем обычном месте, в «Бодегите дель медиа».

Однако в этот маленький кабачок в районе Кавалерии (старая Гавана) он не приехал: там обычно выступал Эрни Хемингуэй, да и многочисленные американские туристы таращили глаза на певцов, исполнявших «гуантанамеру»; увиделись на конспиративной квартире Луччиано возле «Яхт-клуба».

– Что случилось, Эндрю? – спросил Лаки. – Я что-то никак не возьму в толк: что произошло?

– Лаки, тебе надо лечь на грунт, – ответил резидент. – Я бессилен что-либо сделать. Честное слово, если бы я знал правду, я бы сказал: против тебя играют. Попробуй поглядеть линию Пендергаста, – это единственное, что я могу тебе отдать... Информации у меня нет, я бы с тобой поделился, ты знаешь, мне дороже дружба с тобою, чем с Генри, поверь...

– Это посол? – спросил Луччиано.

– Да. Формально я хожу под ним, хотя у меня свой код и особые интересы. Звони в любое время, но будет лучше, если ты сыграешь испуг и отвалишь; пусть улягутся страсти.

– Я подумаю, Эндрю. Жаль, что бессилен помочь. Это обижает меня, – сказал Лаки Луччиано. – Спасибо за ниточку Пендергаста, попробуем размотать.

Через два дня разведка синдиката передала Лаки Луччиано меморандум, и составлен он был не на кого-нибудь, но на президента Соединенных Штатов Гарри Трумэна.

Оказалось, что еще в девятьсот восьмом году демократической партией Канзас-сити, родного города президента, руководил Том Пендергаст. Именно он ввел в свой клуб застенчивого, худенького, очень молодого редактора «Канзас-сити стар» Гарри Трумэна.

– Обкатайся в наших кругах, сынок, – посоветовал тогда Пендергаст, – пойми, как делается политика. Это сложная наука. Искусство, точнее говоря. Навык создавать коалиции и взрывать их, как только возникнет более интересное предложение, которое можно обернуть во благо процветания этой страны. А процветание гарантирует только одно: стремительный оборот денег. Чем быстрее они совершают круговерть, тем больше прибыли оседает в банках. А те обращают это на могущество державы, на что ж еще?!

Тогда Пендергаст понял, что чем круче Белый дом завинчивает гайки сухого закона, тем большую силу набирает «Коза ностра»; он съездил в Чикаго, повстречался там с нужными людьми и вернулся в родной город с неким Филиппе Каролло: «Это мой новый заместитель, знающий юрист и надежный партнер в бизнесе».

Газета Гарри Трумэна повела кампанию за избрание Каролло в местный сенат; п р о в е л и; вскоре после этого Каролло выдвинул Трумэна в сенат Соединенных Штатов.

Трумэн испытал шок, когда – в Вашингтоне уже – узнал об аресте Каролло; хотел связаться со своим боссом – Пендергастом, но тот лежал в клинике; Трумэн полетел на родину, но успел лишь на похороны Пендергаста; венок, который он положил на могилу старика, поражал обилием роз и гвоздик с вкрапленными синими гиацинтами, цвет национального флага: патриотизм прежде всего.

После траурной процессии Трумэн обмолвился несколькими словами с племянником Пендергаста и его наследником Джимом. «Пусть все идет, как идет, Гарри, – сказал Пендергаст-младший, – наши друзья прислали своего человека, это Чарли Бенаджо, крепкий парень, пришло время выдвижения новых кадров, Каролло – сыгранная карта, мы ему поможем, не думайте, но ставить на него больше нет смысла, тем более что ему еще сидеть восемь лет».

Уже после того как Трумэн сел в кресло президента, между Пендергастом-младшим и Бенаджо произошел разрыв; скандал грозил перерасти в излишне громкий; несколько раз упоминалось имя Трумэна; надо было успокоить общественное мнение; именно поэтому объектом для удара по мафии выбрали Лаки Луччиано, арест ему не

грозит, а шума много, – пусть все знают, что президент и его штаб беспощадны по отношению к любому представителю мира организованной преступности.

Лаки снова позвонил в резидентуру; Эндрю приехал на встречу через час. Выслушав Лаки, сказал:

– Ты же понимаешь, что я не в силах противостоять Белому дому?

– А я бы встал на твою защиту, Эндрю... Даже если бы сам господь бог обидел тебя без всякого на то повода.

– Ты – богатый, – вздохнул Эндрю. – Тебе можно задирать даже бога. А я чиновник, Лаки. Бедный чиновник, который вынужден держаться за кресло. Такая уж у нас судьба...

– Стоит ли бросать друга в беде, Эндрю?

– Стоит ли требовать от друга невозможного, Лаки? Ты же сам часто повторяешь эти слова...

– Ты не пытался связаться с боссами?

– Пытался. Они тоже считают, что ты должен лечь на грунт. Пока что. На какое-то время. В конечном счете мы поможем тебе в Европе.

– Хорошо, Эндрю, – ответил Луччиано. – Я приму твой совет к сведению.

С этим и ушел.

Твари, сказал он себе, садясь в машину, маленькие, трусливые люди; получив свое, прячутся в норку, как мышата; что ж, они еще пожалеют о том, что так легко о т д а л и меня мистеру президенту. Я не та монета, которой можно расплачиваться за собственные грехи, они в этом убедятся.

В свои апартаменты, снятые в отеле, Лаки Луччиано не вернулся; сразу же отправился на Варадеро; вызвал на совещание Фрэнка Кастелло, брата создателя чикагской мафии Ральфа Капоне, мудрого Джо Адониса и автора к о н ц е п ц и и игорных домов нового типа Вильяма Моретти; попросил прилететь и Синатру, тем более Фрэнки-Бой отчего-то заинтересовался Пепе Гуарази.

– Поскольку я на мушке, – сказал Луччиано, когда друзья собрались на огромной террасе (двести квадратных метров, выдвинутых в океан), – и этот ужин можно считать в какой-то мере прощальным, встретимся, видимо, лишь через полгода, когда утихнут страсти, мне бы хотелось обсудить с вами два кардинальных вопроса... Первое: виски продают в каждой аптеке, в любом баре и ресторане, виски дорого, люди предпочитают пиво, от него тоже балдеют, но стоит это в семь раз дешевле... Вношу предложение: Сицилия превращается в мировой центр по переправке наркотиков в Штаты... Таким же центром, но в основном кокаиновым, должен стать какой-то регион Латинской Америки. Это предстоит проработать. Времени мало, а решение надо принять до моего отъезда... Кто за то, чтобы утвердить сицилийский план?

– Болезнь наркомании может оказаться неуправляемой, Лаки, – заметил Моретти. – У меня трое детей... Как бы этот бизнес не ударил бумерангом по нашим семьям.

– На то ты и отец, чтобы держать детей в узде, – отрезал Лаки.

– Ты не янки, которые цацкаются с отпрысками. Ты итальянец. Твое слово – закон для семьи. Нет, твое опасение несерьезно, Вильям, итальянцы умеют быть сильными, когда речь идет об их женщинах и детях. Сила – это форма доброты, согласись... Пусть ученые выдумают противоядие, найдут что-нибудь безвредное, что могло бы так же веселить людей, как опиум или кокаин. В конечном счете мы поможем человечеству не быть злым, не кидаться друг на друга в ярости, подходить ко всему с точки зрения здравого смысла... Люди выдумали атомную бомбу, но ведь через полгода каждый мог приобрести чертеж бомбоубежища... Изобрели газы – ужас, конец света, мор! Появился противогаз, и все встало на свои места. Нельзя регулировать прогресс, Вильям. Это пустая затея. Он не поддается коррективам, идет сам по себе. Каждое действие рождает противодействие, логика, не сердись, что я был резок, но среди друзей нельзя кривить душой...

– Я – за, – сказал Кастелло, – хотя я тоже вижу в этом деле бумеранг...

– Спасибо, друзья, – заключил Лаки. – И, наконец, второе... Вы все знаете, что Бен Зигель для меня больше, чем брат... Как и для Фрэнки-Боя... Вы все знаете, сколько раз он спасал мне жизнь... Но то, что он вытворяет, ставит под угрозу не только наше дело, но и его самого. А он ведь нам всем очень дорог, верно?

– Он замечательный парень, – сказал Синатра. – Просто ему крепко не везет... У каждого человека бывают такие полосы, надо ее пережить...

Лаки положил свою ладонь на длинные пальцы Синатры:

– Ты очень добрый человек, Фрэнки-Бой, за это тебя так любит Америка... Знаешь, сколько Бен задолжал банкам?

– Три миллиона, – ответил Вильям Моретти. – Мы навели справки.

Лаки покачал головой:

– Шесть с половиной. Если быть точным, шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи баксов.

– Он взял под двенадцать процентов три миллиона у семьи дона Кало, – заметил Кастелло. – Мне это очень не нравится.

Лаки кивнул:

– Мне тоже. Поэтому я предлагаю следующее: мы возьмем на себя все долги Бена Зигеля, сделаем его генеральным директором отеля «Фламинго», поручим игорный бизнес в Лас-Вегасе и запретим принимать какие бы то ни было решения без нашей санкции.

– Ты хочешь простить ему шесть с половиной миллионов долларов? – удивился Кастелло. – Слишком дорогой подарок.

– Эти деньги вернутся к нам через полтора года. Я все просчитал с моими адвокатами. Они летали в Неваду, потом провели беседу с агентами налогового управления в Вашингтоне. Бену не под силу реклама на радио и в газетах. Он не знает, как ладить с властями штата. Он слишком уверовал в то, что все покупается непосредственно за деньги. Это обижает уважаемых людей, ставит их в положение потаскух, так нельзя, прежде всего надо быть джентльменом.

– Я поддерживаю Лаки, – сказал Синатра. – Бен Зигель – чистый человек, он лишен чувства жадности, такие – редкость.

– Голосуем? – спросил Лаки. – Мне бы очень хотелось, друзья, чтобы вы доверились мне. В крайнем случае, если убыток не будет покрыт, я берусь внести его долг в нашу общую кассу.

...Когда наутро Зигель узнал о решении совещания, он позвонил Лаки: тот купался вместе с Синатрой, гоняли вдоль по берегу брассом, – в глубину плавать нельзя, акулы; впрочем, Лаки порою уплывал на яхте в океан, три его телохранителя с карабинами устраивались на мачтах, а он нырял с борта; когда начинали грохотать выстрелы, он быстро оглядывался, стараясь угадать, где появится кровавый круг, – ребята били по акулам без промаха, купание между хищниками щекотало нервы, возвращало в молодость, почему так быстролетна жизнь?!

– Слушаю тебя, Бен, – сказал Лаки, наблюдая за тем, как горькая океанская вода стекала с его крепкого тела на изразцовый пол веранды, – очень рад, что ты позвонил, брат.

– Брат? – переспросил тот с нескрываемой яростью. – Ты назвал меня «братом»?

– А как же мне называть тебя?

– Ты подонок, Лаки! Неблагодарный, мелкий подонок!

– Зачем ты обижаешь меня, Бен? Что я сделал тебе плохого?

– Нет, вы посмотрите на этого апостола! – Бен, видимо, был пьян, говорил громко, как на рынке. – Ты разорил меня, любимый брат! Пустил по миру! Мне теперь положено распахивать дверцу твоего «паккарда», когда ты решишь провести ночь во «Фламинго», в том отеле, куда я вложил всего себя?! Или я должен рапортовать тебе о ситуации после того, как ты примешь ванну и вызовешь в свой апартамент? Или я должен передавать сводки о доходах кому-то из твоих адъютантов? Скажи кому! Я приготовлюсь заранее. Витторио? Луке? Гуарази? Николо?

– Бен, ты болтаешь ерунду... Причем по телефону... Как ты был моим другом, так ты им и остался. Мне стоило большого труда отбить для тебя то, что я смог отбить... Генеральный директор, получающий процент с дохода, – не так уж и плохо...

– Ты бы на такое согласился?!

– Я бы не стал влезать в авантюру, Бен. Я бы сначала посоветовался с братьями... Выслушал их мнение... Только после этого я бы начал дело...

– Словом, так, брат... Либо ты отменяешь то, о чем вы за моей спиной сговорились, либо пенять тебе придется на себя. В Голливуде любят сенсации, а ты знаешь, что я умею рассказывать байки.

– Хорошо, Бен, – задумчиво ответил Лаки. – Я постараюсь что-нибудь для тебя сделать.

– Только не очень долго старайся, Лаки! А то ведь я тоже знаю, как надо поступать! Я очень не люблю, когда меня отдают на съедение волкам! Я умею отвечать ударом на удар! Я скажу Америке то, чего никто не сможет ей сказать.

– Дай мне время, Бен, – сказал Лаки. – И не глупи. Мы же с тобой братья. Неужели ты позволил себе забыть, как мы начинали?

– Я сказал свои условия, – отрезал Бен. – И ты знаешь, где меня найти.

Лаки Луччиано долго стоял у телефона, слушая, как резко, словно SOS в ночи, пищали гудки отбоя; яростно бросил трубку на пол, она раскололась, как кокосовый орех; обернулся к Гуарази:

– Позвони к Джонни, передай, что Бен тяжко заболел, пусть отправят к нему самых хороших врачей...

И вернулся на берег.

– Что-нибудь случилось? – спросил Синатра.

– Ровным счетом ничего. Почему ты решил, будто что-то случилось?

– Потому что я артист, Лаки. Я обладаю даром чувствования.

– Ну и что ты почувствовал?

– Что-то плохое. И ты совсем белый...

– Ну, это легко исправить, Фрэнки-Бой, – Лаки обернулся к телохранителю, что сидел под пальмой, крикнул, чтобы принесли виски; раздраженно выбросив лед на песок, выпил; протянул лакею стакан; тот плеснул еще раз – на донышко, по-американски. «Лейте до краев, – тихо сказал Луччиано, – я же хочу выпить, а не выгадать паузу»; медленно, маленькими глотками вобрал в себя желтую влагу, бросил стакан на песок, поднялся, разбежался, прыгнул в океан и пошел кролем на глубину.

Синатра закричал:

– Лаки! Не сходи с ума! Лаки!

На берег высыпали телохранители, столкнули в воду лодку с сильным шведским мотором, понеслись следом за Лаки; он обернулся в ярости:

– Вон отсюда! Я что, звал вас?!

Заплыв в океан, он перевернулся на спину и заплакал, потому что явственно, словно в кино, увидел худенького Бена, который швырнул его на землю, а сам выпустил очередь из автомата в тех, кто стоял напротив с пистолетами в руках: «Ну, псы, ну, твари, они смеют поднять руку на моего брата, ну, падаль подзаборная! Вставай, Лаки, прости, что я был вынужден толкнуть тебя, нельзя толкать друзей, даже если хочешь им добра, но они бы прошили тебя насквозь, так что купи себе новые брюки, я виноват, что эти порвались, зато ты у меня здоровенький; черт с ними, с этими брюками...»

Пусть меня сожрут акулы – это быстрая смерть, думал Лаки, глядя на растекшиеся слезами облака, пусть придет конец, я его заслужил, но ведь он сам во всем виноват! Что я могу сделать, если против него встали все?! Разве можно ссориться со всеми, разве можно считать себя умнее всех?! Господи, прости меня! Но я не мог поступить иначе! Не мог, ну никак не мог! За мною дело, тысячи людей, я отвечаю за них, неизвестных мне, маленьких и темных, я Лаки Луччиано, а брат хочет нанести удар по этим людям... Нет, он не хочет, он уже нанес удар! Что же мне остается делать? Ждать, пока он соберет пресс-конференцию и расскажет о нашем бизнесе?!

Лаки вернулся на берег через полчаса; лицо было, как обычно, улыбчивым, спокойным:

– Прости меня, Фрэнки-Бой, – сказал он, – очень хорошо, что

ты не поплыл следом, я был бы очень раздосадован этим, я люблю рисковать в одиночку, вместе я люблю побеждать...

– Лаки, а теперь я бы хотел обсудить с тобой одним некий сумасшедший проект, – сказал Синатра. – Он настолько сумасшедший, что говорить о нем при ком-то третьем – значит ронять свой авторитет...

– Давай обсудим сумасшедший проект, – легко согласился Лаки. – Иногда сумасшествие таит в себе высший разум.

– Тебе ничего не говорит имя Роумэн? Пол Роумэн из ОСС?

– Откуда мне знать людей ОСС? – усмехнулся Лаки; даже с самыми близкими он никогда не говорил ни слова о работе на разведку во время войны; об этом знали только два человека из синдиката – Меир Лански и Ланца; итальянцы не простят сотрудничества с правительством другой страны, такой уж они народ, да и потом, будь то политики ОСС или стратеги флотской разведки, все равно они все легавые, такая уж у них суть, нельзя же переделать пойнтера, заставив его пасти выводок вальдшнепов.

Он всегда помнил, как к нему обратились ребята Макайра по поводу одного их друга, потерявшего голову из-за девки: «Резидент в Испании, идеалист, зовут Пол Роумэн, надо помочь ему сделаться реалистом; объект – его девка, красотка из Норвегии, он ее очень любит, и семья Спарка, тоже в прошлом был с нами, вел Португалию, у него дети, малыши очаровательны, пусть, в случае нужды, поиграют на вашей ферме, дадут каждому по пони, научат седлать, мальчишки забывают родителей, если им дать собак и пони, но относиться к ним надо как к своим детям... Контракт будет стоить сто тысяч, больше у нас нет денег, но зато есть память – мы отблагодарим тебя, Лаки».

Наиболее деликатные операции Лаки поручал Гуарази; тот был обязан ему всем, не столько даже он, сколько семья: именно Лаки спас его отца от тюрьмы, а сестру вытащил из квартиры Чарли-Беса, сутенер умел играть роль священника, сколько девушек погубил, падаль...

– Тогда я расскажу тебе фабулу дела, – продолжил Синатра, наблюдая за тем, как Лаки выпил еще один стакан виски; такое он видел первый раз: Луччиано никогда не пил и бранил Бена за то, что тот любит гулять, а напившись, лезет на рожон, действительно лишен страха, тоже какая-то аномалия, оборотная сторона трусости.

Выслушав Синатру, выпил еще полстакана; лицо побледнело, осунулось за этот час, даже скулы стали выпирать; Лаки вспомнил растерянное лицо резидента Эндрю, его испуг по поводу происходящего: «Зря вы меня бросили, ребята, так друзья не поступают; прощать можно ошибку, неловкость, пьяную грубость; нельзя прощать продуманное, заранее спланированное отступление, когда друга бросают в беде».

– А почему бы не рискнуть? – задумчиво спросил Лаки. – Ты знаешь этого самого Роумэна?

– Видел пару раз... За ним топают...

– Кто?

– По-моему, семья дона Кало... И разведка...

– Чем он может интересовать дона Кало? – Лаки насторожился. – Я не хочу ссор между друзьями.

– С доном Кало дружит режиссер Гриссар... А он довольно часто ездит в Европу, видимо, помогает разведке... У меня нет доказательств, я так чувствую, Лаки... Я допускаю, что у дона Кало нет интересов к этому самому Роумэну. Просто Гриссар обратился с просьбой, режиссер, хорошая связь, почему не помочь? Да и потом сам Гриссар присматривается к Роумэну – тот набит сюжетами...

– Чем?

– Всякого рода историями про войну. Он служил в Европе, забрасывался в немецкий тыл, я же тебе говорил... Человек должен дозреть, – только тогда он сможет связно изложить то, что пережил. Писать, как и петь, надо начинать в тот момент, когда ты просто не можешь не делать этого...

– Я могу поверить тебе, Фрэнки, что дон Кало не имеет интереса к этому самому...

– Роумэну...

– Роумэну, – повторил Луччиано задумчиво. – Слушай, а ведь ты чувствуешь, что мне известно это имя. Ты ощущаешь, что я с тобой играю. Почему ты не скажешь мне об этом открыто?

– Зачем? Друзей теряют в том случае, если говорят им в лицо то, что они хотят скрыть. Думаешь, я не скрываю от тебя что-то? Мужчина обязан скрывать от друга какие-то вещи... Друг не имеет права знать, что ты когда-то оказался трусом, уступил женщине, предал близкого... Разве можно обижать друга знанием такого рода?

– Так говорит Бен, – заметил Лаки. – Ты повторил его слова.

– Ты поможешь ему?

– Конечно, – ответил Лаки. – Я сделаю все, что в моих силах. Но ведь ты видел, как себя вели остальные, я не всемогущ... А с Роумэном... Ладно, я отправлю к нему Гуарази, пусть поговорят, может, действительно этот самый гестаповец отдаст им ключи от своих кладов...

– Кстати, именно Роумэн рассказал мне, что готовил тебя к забросу на Сицилию по линии ОСС, – сказал Синатра. – И он ставит Гриссару условие: роль Лаки должен сыграть я...

...Через час Пепе, он же Гуарази, он же Манетти, вылетел в Нью-Йорк; провожая его, Лаки сказал:

– Меня обидели те, кого мы провели по горным дорогам Сицилии, Пепе. Меня обидели те люди, которым ты помогал в Лиссабоне и Мадриде. Ударь их. Пусть они знают, что мы не прощаем трусов. Гарантируй Роумэну свободу поступка. Будь с ним – это наше условие. А с нами пусть побудет его жена.

– Нет, босс, – Гуарази покачал головой. – Роумэн умеет применять силовые приемы. Ни его жены, ни семьи Спарка мы не сможем найти. Они на яхте. В Европе. А Спарк, я вам говорил о нем, ждет наших людей здесь, в «Гранд-отеле». Вы заберете его, пока я не кончу экспедицию?

– Мужчина мало чего значит, – заметил Лаки.

– Этот мужчина для Роумэна значит многое. – Он поднял свои

грустные, иссиня-черные глаза на Лаки. – Он для него значит то же, что для вас Бен Зигель...

Через два часа после вылета Гуарази позвонили из Лос-Анджелеса, жена Зигеля, захлебываясь плачем, прокричала:

– Лаки, Лаки, Лаки, брат мой! Только что убили Бена! Его больше нет! Его убили, Лаки!

...Лаки Луччиано обнял Синатру, погладил его по затылку и тихо сказал:

– Ты обязан лететь на похороны моего брата. Поцелуй его в лоб, Фрэнки-Бой. И положи в ноги венок. И пусть там будет написано: «Твоя жена и твои дети, незабвенный Бен, это моя сестра и мои племянники». И пусть это увидят Кастелло и Адонис. Пусть это увидят все.

ШТИРЛИЦ, ТРУМЭН (сенат США, сорок седьмой)

Свой «фордик» Штирлиц оставил в Кордове, возле катедрала, там, где собирались по воскресным дням местные художники – писать с натуры, обменяться новостями, продать пару пейзажей или портрет (почему-то чаще всего приносили на свой Монмартр смуглые лики индианок на фоне вигвамов).

Он понимал, что его уже ищут, поэтому еще из Буэнос-Айреса сделал два звонка в Голливуд и Нью-Йорк, получив на центральной почте два пакета из Мюнхена, отправитель – фирма «Медицина и фармакология»; заранее уговорились с Роумэном, что Джек Эр будет именно так обозначать свой обратный адрес (более всего боялся, что еще не дошли, связь с Германией была из рук вон плохой); Штирлиц молил бога, чтобы его не перехватила дорожная полиция в районе Санта-Фе или здесь, под Кордовой.

С другой стороны, он понимал, что полиция и те, кто ей с о в е т о в а л, прежде всего блокировали аэропорты и побережье; только безумец может отправиться в Кордову, где кишмя кишат немцы, а среди них наверняка есть те, которые прекрасно знают «объект поиска» в лицо.

Но ему было необходимо – прежде, чем оказаться в Вилле Хенераль Бельграно, – задержаться в Кордове, поскольку именно там заканчивала свой визит по стране представительная делегация «Дженерал электрик» во главе с профессором Патерсоном, – об этом дважды сообщала столичная «Кларин» и несколько раз передавала радиостанция «Магальянес», – Штирлиц постоянно читал все газеты и слушал новости – именно так он получал максимум информации; важно рассортировать сообщения по темам, отбросить шумное, пропагандистское и оставить главное – факты, сопоставить их со своим замыслом, тогда информация будет работать на тебя, а это крайне важно.

Номер своей машины Штирлиц заменил другим еще при выезде из столицы, благо номера продавались не только в мастерских, но

и в антикварных лавках; автомобиль был запылен и помят, вполне сходил за старую развалюху фермера; тем не менее он допускал, что по прошествии недели и такой машиной заинтересуются; за неделю я должен управиться; больше у меня нет времени; если не выйдет – значит, все, конец; я научился проигрывать за последние два года, это будет последний проигрыш, ничего не попишешь...

Не доезжая до города, ночью еще, Штирлиц отогнал машину на проселок, расположился возле маленького пруда, достал из портфеля ножницы, обстриг волосы, бороду и усы, потом вынул станок, заправил его хорошим «золингеном» (в лавках еще продавали продукцию рейха, сорок третий год, футлярчик проштемпелеван аккуратным орлом и свастикой) и побрил голову, сделавшись похожим на какого-то американского актера из второразрядных вестернов – бритая голова, лоснящиеся щеки, очки в черепаховой оправе, ни дать ни взять гастролирующий герой-любовник; смешно, конечно, игры в маскарад, прошлый век, но ведь и портье того дома, где он оставил палачей, и посетители ресторанчиков, где встречался с сенатором Оссорио, и два-три внимательных старика, которые где-нибудь сидели на лавочке, алчно высматривая все происходящее (почему старики и старухи делаются какими-то добровольными осведомителями, подумал Штирлиц, откуда такая подвижническая страсть донести и сообщить, чем это объяснимо?!), все эти люди в столице знали, что водитель «форда», снимавший апартамент напротив парка Лесама, был седым мужчиной, с седой окладистой бородой и седыми, несколько прокуренными усами. Пусть полиция ищет седого, они ж доки на точное выполнение предписаний.

В Кордове Штирлиц снял номер в пансионате на окраине: «Ищу работу, видимо, останусь здесь, совершенно замечательный город, никакого сравнения с федеральной столицей»; поинтересовался, где сейчас наиболее красивая вечерняя служба, выслушал ответ, что церковь переживает трудное время (сразу вспомнил профессора Оренью; хорошо бы навестить его, есть старики, в которых много детского, самые прекрасные люди на земле; встречая таких, понимая, что для продления их жизни ничего нельзя сделать, рождается ощущение безнадежности, собственной беспомощности и людского несовершенства; как же несправедлив творец!), и отправился в центр, дождавшись, когда зажглись фонари на улицах.

В зимних (плюс четыре градуса) сумерках лицо человека размыто, несколько ирреально, да еще если он принял иной облик; побрившись, Штирлиц сменил и костюм: кожаные штаны гаучо, белый, тонкой шерсти свитер, высокие шнурованные башмаки; поскольку люди, в жилах которых течет испанская кровь, весьма внимательны к предметам туалета, Штирлиц купил свитер в дорогом магазине; есть какая-то грань, отделяющая обычную вещь от очень дорогой; и ботинки он купил в самом престижном охотничьем магазине Байреса – английские, спецзаказ, такие могут себе позволить носить только очень состоятельные люди.

В отеле «Континенталь», где остановилась делегация из «Дженерал электрик», Штирлиц зашел в бар, заказал себе рюмку хереса и спустился вниз, в туалеты, к телефонным аппаратам.

Попросив соединить его с семьсот седьмым номером, он сказал:
– Профессор Патерсон, добрый вечер, я Ирвинг Планн, у меня к вам есть предложение, связанное с проектом энергокомплекса... Я англичанин, был связан с «Бэлл», если спуститесь в бар, я буду ждать вас у стойки, разговор займет пятнадцать минут.

Штирлиц понимал, что рискует; наверняка аппарат профессора прослушивается – американцев здесь слушают почти так же, как русских; впрочем, он видел их дипломатов, – за ними просто ш л и, любой контакт исключен; он стоял в лавке, напротив того отельчика, где расположилось трое русских, покупал авокадо, выбирая самые зрелые, сочные; при этом поглядывал на голубой «паккард» с дипломатическим номером; дождался, когда вышел н а ш; определил сразу – и по тому, как туго завязан галстук и начищены старомодные башмаки, и по тому, что был в реглане старого покроя и в странной шляпе, сидевшей на крепкой голове несколько смешно, как словно бы на ряженом; горло перехватило; никто не знает, какое это горе, когда десятилетиями не можешь говорить на родном языке; воистину высшая тайна духа – язык; казалось бы, набор слов, состоящих из звуков, выражающих буквы, ан поди ж ты...

Московское радио – когда Штирлиц умудрялся ловить передачи радиостанции Коминтерна в Берлине – еще больше подчеркивало его трагическую отдельность от России; уезжая на уик-энд в Шварцвальд, он останавливался в доме лесничего Фридриха Хермана, гулял по аккуратным дорожкам, присыпанным песком, в громадном еловом черном лесу; люди, встречавшиеся ему, мило здоровались; если было солнечно, замечали, какое чудное выдалось воскресенье, когда шел дождь, улыбались: «прекрасно для полей»; после бурелома деловито осматривали просеки: «в конечном счете погибают только больные деревья, естественная очистка леса, не правда ли?»

Когда Штирлиц приехал в Германию, берлинцы казались ему – несмотря на инфляцию, безработицу, крайнюю политическую нестабильность – самыми доброжелательными и при этом воспитанными людьми в Европе; «доброе утро», сказанное в Шварцвальде, не было обязательным, заученным с детства приветствием, а каким-то поэтическим актом признания доброты утра; если тебе объясняли, как найти нужную тропинку, делали это с любовью к лесу и с желанием приобщить тебя к окружающей красоте; но ведь потом, по прошествии трех лет, мне так же показывали тропинки в окрестностях Веймара, совсем невдалеке от Бухенвальда, из труб которого валил серый сладковатый дым. А может быть, спрашивал себя Штирлиц, это есть нормальное отталкивание неразрешимого? Ведь раковые больные о т т а л к и в а ю т от себя знание приближающегося конца, происходит психологическая ломка сознания; нежелательное, страшное, неподвластное ни телу, ни духу исключается, будто этого нет и в помине; может быть, нечто подобное произошло и с немцами, когда народ понял безысходность положения? Нет, ответил он себе, слепая любовь подталкивает родителей к тому, чтобы находить любые оправдания ужасным поступкам детей; это чревато; я лишен такой привилегии, когда думаю о феномене немецкого народа. Поляки и югославы первыми в Европе поняли безысходность своего

положения, но ведь они начали борьбу против того, что было объективным злом. Отчего же немцы так легко смирились со злом? Легко ли, переспрашивал он себя. Не мне судить. Нацизм предполагает тотальную закрытость. Такая категория, как откровенность, исключается из общежития. Никто не верит никому. Начинается двойная жизнь: на службе, в университете, трамвае и «убане» – говорят одно, думая при этом совершенно другое; дома страшатся детей, и не потому, что не верят им, но лишь опасаясь,что несмышленые малыши повторят что-то крамольное в киндергартене (деталь: в Аргентине детские садики так и называются – «киндергартен», первые были созданы немцами); воспитательница обязана сообщить об этом. А что последует? Увольнение? Превентивный арест? Каторга? Крематорий? Уровень крамолы определяет местное отделение гестапо; народный имперский суд есть крайняя мера, как правило, дорога на эшафот...

Но почему, уж в сотый раз спрашивал себя Штирлиц, даже в июле сорок четвертого, когда Красная Армия стояла на границах Восточной Пруссии, а союзники вторглись в Нормандию, когда конец был очевиден, когда продукты нормировались самым жестким образом, бомбежки стали ежедневными, почему же и тогда, когда нация могла сбросить Гитлера, – после покушения прошло три часа, во время которых люди имели возможность выйти на улицы городов и проголосовать массой против диктатора, – все, наоборот, старались перещеголять друг друга в изъявлении чувства рабской преданности параноику с бесцветными глазами? Неужели размытая чехарда правительств, определявшая политическую ситуацию в Германии после Версаля, породила в народе алчную тягу к власти непререкаемо сильного, который не позволяет перечить себе и слово которого – истина в последней инстанции?

А может быть, возражал себе Штирлиц, дело тут не в народе, а в тех государственно-правовых традициях, привычных людям? После феодальной раздробленности пришли Бисмарк и кайзер, которые приучили дедов и отцов тех немцев, которые истошно орали «хайль Гитлер!», что лишь избранник, мессия, может объединить нацию, дав ей таким образом спасение от окружающих ее врагов. Действительно, концепция возникновения германского государства построена не на сообществе личностей, обладающих конституционным правом на мысль и поступок, но на идее «вражеского окружения», которое единственно виновато во всех внутренних неурядицах, – до тех пор, пока не будет разгромлено и поставлено на колени. Перекладывание вины за экономические провалы и социальные катаклизмы на других дает резерв безнравственной власти, цепляющейся за те привилегии, которые она, эта абсолютистская власть, гарантирует охранительному, разбухшему, стремящемуся удержать «орднунг» фискально-надзирающему аппарату принуждения...

Веймарская республика – при всех ее издержках – была неожиданностью для немцев. Но, с одной стороны, они не привыкли к такому размаху свобод, и, с другой – социал-демократическое правительство не решилось на социально-экономические реформы, которые бы позволили не тысячам, а миллионам включиться в демокра-

тический эксперимент. Двойственность и трусливая непоследовательность мстят реанимацией прошлого. Но при этом оно, это прошлое, обретает еще более страшные, уродливые и неодолимые формы; обращение к нации как к панацее от социальных зол и было той фишкой, которую Гитлер бросил на зеленый стол истории; «немецкость», «германский дух», «арийская общность» — эти термины, понятные обывателю, подмяли; быть частью общего легче, чем отстаивать — ежедневно и ежечасно — свою самость, личностную независимость, право на мысль и действие; господи, как же слаб человек на этой земле, как норовит он сбиться воедино и вычленить из своих рядов того, кто возьмет ответственность, провозгласив то, что угодно — на данном этапе — услышать всем?!

...Профессор Патерсон подошел к Штирлицу, — тот стоял у стойки один, время ужина, из ресторана сюда переберутся позже, часам к девяти, — протянул руку, назвал себя, сказал, что тронут звонком коллеги, и сел на высокий вращающийся стул.

— А если мы отлучимся на двадцать минут? — спросил Штирлиц. — Вся документация у меня в машине, я ее заберу, и мы вернемся, чтобы вместе проглядеть ее здесь?

Профессор взглянул на часы:

— Не опоздать бы на ужин...

— Ужин кончается в одиннадцать, Кордова — самый испанский город Аргентины, здесь едят поздно... В крайнем случае, приглашу вас в хорошую парижжю, гарантирую отменное мясо.

Когда они вышли на улицу, — гостиница была в самом центре — Штирлиц аккуратно проверился, не пасут ли американца, нет, все вроде бы чисто, пригласил его свернуть в переулок и там передал ему портфель.

— Профессор, здесь, — он кивнул на дорогой, еще довоенный карээновский портфель малиновой лайковой кожи, — ряд материалов, с которыми надо ознакомить сенат Соединенных Штатов... Посмотрите документы... Прочитайте мое обращение в сенат, — к сожалению, я подписал его псевдонимом, там объяснено, отчего я вынужден поступить так, — поглядите мое открытое письмо президенту Трумэну... Распорядитесь этими бумагами так, как это обязан сделать человек, которому дорог престиж Америки. Покажите документы людям Рузвельта — бывшему вице-президенту Уоллесу, Моргентау... Портфель не оставляйте без присмотра, хорошо? В городе работают самые приближенные ученые Гитлера, их крепко охраняют как местные власти, так и люди СС, — они умеют охранять, это я вам говорю, мне доводилось бывать в рейхе... Я позвоню вам через час... Если вас заинтересует то, что я вам передал, скажите, что вы удовлетворены, тогда я буду знать, что меморандум попадет по назначению... Если же все это покажется вам ерундой, скажите, что вы уже легли спать... И сожгите бумаги, ладно? У меня есть копии, буду искать другие пути, чтобы сообщить миру о происходящем здесь, никаких претензий. До свиданья...

И, свернув во дворик, Штирлиц быстро вышел на другую улицу.

Он сел в подошедший автобус и отправился на окраину, в темноту, только там чувствовал себя более или менее спокойно.

...Через час позвонил Патерсону; тот снял трубку после первого же гудка, видимо, сидел у аппарата:

– Слушайте, Планн, это же черт знает что такое! Я не верю глазам!

– Не понял, – усмехнулся Штирлиц: понесло профессора, конец конспирации, – не понял, – повторил он сухо. – Вы удовлетворены или нет?

– Что?! Ах, да, ну, конечно! Это ужас! Настоящий ужас!.. Я не мог себе и представить такого! Теперь скажите мне вот что...

Штирлиц опустил трубку на рычаг. Простите меня, профессор Патерсон; если вы начнете выяснять детали, портфель у вас уведут; его и так скорее всего уведут, если вы начнете обсуждать содержимое с коллегами, но ведь вы возглавляете патентное бюро концерна, вы научены конспирации не хуже, чем я, вы умеете охранять свои секреты так же надежно, как и тайная полиция. Неужели вы так растерялись, прочитав о профессоре Танке, Руделе, о новых моделях штурмовиков, которые строят здесь, в Кордове, гитлеровские ученые, и про Риктера, и про тайну острова Уэмюль, и про виллы нацистов на Жао-Жао, что возле Барилоче, и про атомный проект, который набирает силу с каждым днем? Впрочем, я бы на вашем месте тоже начал задавать вопросы. У любого здравомыслящего человека отвиснет челюсть, прочитай он те документы, что лежат в портфеле, но только бога ради, профессор, потерпите до той минуты, пока самолет не приземлится в Штатах, там начинайте задавать вопросы, да и то надо знать – кому и где... И не забудьте про Уоллеса, про Моргентау, про тех, кто был с Рузвельтом, пожалуйста, не забудьте, профессор...

Той же ночью Штирлиц уехал в горы по направлению к Вилле Хенераль Бельграно, вылез в маленькой деревушке, нанял проводника и ушел в горы, – теперь надо ждать...

...Политические решения далеко не всегда продиктованы логикой. Симпатии, расчет, эмоции, пристрастия, скрытые пороки, память о прошлом, страх, влияние жены (матери, отца, брата, сестры, сына, дочери, ближайшего друга), давление разнонаправленных сил – дипломатии, которая видит свою задачу в том, чтобы решить конфликт мирными средствами с наибольшей выгодой для страны; армии, которая постоянно хочет опробовать самое себя в открытом столкновении; банков, заинтересованных в расширении рынков; промышленности, страшащейся конкурентоспособности «соседей-врагов», – все это и составляет тот комплекс, в котором вызревает жесткая однозначность государственного акта.

Профессор Патерсон – портфель держал в руках, не расставался с ним ни на мгновение, – вернувшись домой, сразу же отправился к генеральному директору концерна; материалы, переданные Штирлицем, были изучены в исследовательской группе; затем Патерсон отправился в Гарвард, подключились социологи и экономисты, занимавшиеся проблемой иностранного проникновения на Юг Американского континента; затем, после того, как были получены

развернутые заключения специалистов, состоялась встреча руководства концерна с генералитетом Пентагона: материалы об атомной бомбе повергли военных в ярость; вопрос о том, что работы в Барилоче и Кордове проводились нацистскими учеными, титулованными высшими званиями СС, награжденными наиболее престижными наградами третьего рейха, удостоенными званий «лауреатов премии имени Адольфа Гитлера», хранившими золотые значки почетных членов НСДАП, как-то и не занимал тех представителей администрации, которые познакомились с сенсационной документацией.

Сообщение, запущенное в правительственные учреждения, не имеет права заглохнуть, раствориться, исчезнуть; самое трудное — запустить, дальше в действие вступает некий закон потока; бумага становится хозяином людей; информация подчиняет себе политиков, подсказывая необходимость тех или иных блоков и внутриадминистративных коалиций.

Прежде чем запросить Центральную разведывательную группу, генералитет Пентагона, усмотревший в организации сообщества, замыкавшегося не на конгрессе или сенате, а непосредственно на президенте, нарушение баланса, провел консультацию с героем тихоокеанской битвы генералом Макартуром. Сделано это было не случайно, ибо в Вашингтоне знали яростную нелюбовь легендарного генерала к разведке. «Мы, — говорил Макартур, — страна свободы, нам не нужны шпионы, потому что каждый имеет право носить огнестрельное оружие для защиты собственного достоинства; сто восемьдесят миллионов, объединенных одним чувством собственного достоинства, являют собою непобедимый народ, готовый сражаться за свободу до конца; только тоталитаризму нужны шпионы, чтобы следить; мне это отвратительно; промышленность даст мне новые самолеты, которые проведут аэрофотосъемку сил противника, а подводные лодки, подкравшись к вражеским берегам, запишут те разговоры, которые ведут офицеры противника на палубах своих крейсеров, — вот и вся разведка!»

Необходимость консультаций с Макартуром диктовалась и тем еще, что он был именно тем военачальником, который санкционировал атомный удар по японскому агрессору, — начавшаяся критика его приказа была крайне обидна: «На войне как на войне, ради спасения жизни одного американского солдата я был готов сжечь всю Японию».

Макартур, выслушав коллег, пришел в ярость:

— Запросите шпионов! Президент вменил им в обязанность следить за миром! Чем же они, интересно, занимаются?!

Военный и военно-морской атташаты США в Аргентине, запрошенные Пентагоном, частично подтвердили полученные профессором Патерсоном сведения, однако сообщили, что «военные весьма надежно охраняют свои секреты; фамилии Танка, Руделя, Риктера не есть вымысел, эти люди интересуют нас уже в течение полутора лет, однако до сего времени ни одна из наших комбинаций по подходу к ним не увенчалась успехом».

Когда Пентагон провел совещание с заместителем государственного секретаря, сообщив ему все те сведения, которые были достав-

лены профессором Патерсоном, шифровки из военного атташата, заключения исследовательских центров, анализ рокфеллеровского банка «Чейз Манхэттэн», было принято решение срочно запросить данные в Центральной разведывательной группе; это не могло пройти мимо Белого дома.

Десятиминутная встреча Штирлица с Патерсоном на улицах вечерней Кордовы обретала контуры события государственной важности: появление атомного оружия в Аргентине могло повести к политическому кризису на латиноамериканском континенте.

Начальник Центральной разведывательной группы потребовал от руководителей ведущих подразделений представить ему соответствующие доклады, дав на эту работу сутки, – президент затребовал информацию для принятия немедленного решения.

Когда Макайр ознакомился с копиями документов профессора Патерсона, он сразу же понял: Штирлиц. Это работа Штирлица и Роумэна.

Перед тем как садиться за справку, он позвонил Даллесу; тот знал о случившемся из своих источников; являясь членом совета директоров института по международным отношениям в Нью-Йорке, который объединял финансистов, политиков, наиболее талантливых исследователей, работавших в авангардных отраслях науки, так или иначе связанных с обороной, крупнейших промышленников и директоров наиболее престижных газет, радиостанций и журналов, он уже знал, что вся сеть немцев, работающих на американскую разведку, засвечена; неожиданностью для него было то, что Перон форсирует работы по созданию атомного оружия; после некоторой растерянности, с которой он не сразу справился, пришло решение: «что ж, чем хуже, тем лучше; давление на Аргентину даст возможность привести к власти управляемого человека; пришло время заново разыгрывать фашистские симпатии Перона».

– Боб, сегодня и завтра я совершенно закрыт, – ответил Даллес, поняв, что отныне контакты с Макайром нецелесообразны. – Я обещал брату, что проведу с ним эти дни. Что-нибудь случилось? У вас встревоженный голос. Что произошло?

– Произошло, Аллен, мне очень нужен ваш совет...

– Через три дня я к вашим услугам, – ответил Даллес, зная, что директор ЦРГ дал Макайру – как и остальным руководителям ведущих подразделений – всего сутки для разработки справок. – Неужели дело не терпит?

– Совершенно не терпит, Аллен. Я бы просил вас, очень просил найти для меня хотя бы полчаса.

– Да хоть три, – Даллес хохотнул, – но только через три дня. Счастливо, Боб.

И, положив трубку, подумал: «С кем бы мне сейчас следовало увидаться, так это именно с Роумэном».

Связавшись с директором ФБР – «другом-врагом» Гувером, договорился пообедать; этот бульдог найдет иголку в стоге сена; Роумэн не иголка, он нам нужен, неужели все же Макайр неспроста привез сюда этого агента абвера с сорок третьего, неужели он у них в руках?!

Совещание, которое Трумэн собрал у себя в Овальном кабинете, было кратким; присутствовали его помощник по вопросам разведки адмирал Сойерс, адмирал Леги и военно-морской министр Форрестол.

Будучи газетчиком, Трумэн на этот раз не тратил время на многочасовые обсуждения проблемы с аппаратом; в прессе, где все еще была сильна рузвельтовская тенденция, его критиковали за то, что военная администрация в Германии освобождает из тюрем немецких генералов, германская военная промышленность вступила в прямые (хоть и негласные) переговоры с американскими промышленниками и финансистами, работа Комиссии по антиамериканской деятельности стала притчей во языцех, «нацизм реабилитирован, прямой вызов духу Потсдама и Ялты», скандал с Пендергастом-младшим, который совершенно запутался со своими мафиози, грозил сделаться достоянием прессы; левые в Европе травили его за поддержку реакционных политиков, переживших немецкую оккупацию; Восточная Европа настаивала на выдаче гитлеровских военных преступников, скрывшихся на Западе и в Латинской Америке; информация профессора Патерсона давала возможность одним ударом прихлопнуть двух зайцев.

Трумэн был резок и – что всех поразило – стремителен в своем решении:

– Необходимо, чтобы завтра же наш посол посетил Перона. И потребовал немедленной выдачи всех нацистских преступников – список приложите, – которые нашли убежище в Аргентине. Сообщения об этом обязаны появиться в завтрашних вечерних газетах. Естественно, в первую очередь удар должен быть нанесен против немцев, связанных с атомным проектом Перона. Пусть ваши люди позаботятся о том, чтобы кампания в прессе была широкой и нагнеталась день ото дня: Америка была, есть и будет бастионом антинацизма! Вопрос об атомной бомбе Перона пока открыто не ставить! Если мы изолируем его нацистских атомщиков, это затормозит работу и даст возможность поработать разведке. Поработать, а не поболтать!

Через день в газетах Соединенных Штатов началась кампания против гитлеровцев, окопавшихся в Аргентине: «Америка требует немедленной выдачи нацистских палачей!»

После беседы с американским послом Перон отправил полковника Гутиереса на встречу с русским дипломатом; выслушав личного представителя президента, московский посланец ответил:

– Сеньор Гутиерес, моя страна выступает против атомного оружия, вам это прекрасно известно. Однако мы никогда не возражали против исследований в области мирной атомной энергетики. Мы полагаем, что это служит прогрессу, а не войне. В этом смысле моя страна готова к кооперации с любым государством, – если мы получим заверения, что расщепленный атом будет служить делу энергоснабжения промышленности и сельского хозяйства, но не рычагом в военно-политическом шантаже, – о каком бы уголке земного шара ни шла речь...

Прослушав последние известия (в здешних туристских избушках были надежные «блаупункты»), Штирлиц попросил проводника открыть бутылку «агуа ардьенте», щедро расплатился, сказал, что в услугах Хосе Эухенио (так звали парня) больше не нуждается, уснул, как только голова коснулась подушки; наутро был на окраине Виллы Хенераль Бельграно.

Устроившись на опушке леса, он наблюдал в бинокль этот маленький поселок с семи утра до шести вечера: типичная Бавария; только отели построены как концлагеря, точно такие же вышки, только вместо аппельплаца бассейн; Мюллера узнал сразу, хотя тот тоже изменил внешность – борода, усы, очки в толстой оправе (он знал, что я ношу черепаховую, не оттого ли заказал такую же?), одет в традиционный альпийский костюм; впрочем, большинство мужчин в таких же костюмах (неужели еще не слышали радио? Или ничего не боятся?).

Штирлиц проследил путь Мюллера, вместе с другими тот вошел в костел; господи, он же неверующий, всегда потешался над попами; хотя здесь нельзя быть атеистом, Перон этого не поймет.

Спрятав бинокль в футляр, сунув его в портфель, где лежали пистолет и две запасные обоймы, Штирлиц поднялся с земли, отряхнул колени от искрошенной листвы и хвойных иголок, улыбнулся Клаудии, которая по-прежнему была рядом, спустился в поселок, вошел в церковь, осторожно прошел по полупустому, гулкому залу, присел на скамью, – место за Мюллером пустовало – положил ему руку на плечо и шепнул:

– Хайль Гитлер, группенфюрер...

Не оборачиваясь – только плечо закаменело, – Мюллер ответил:

– Рад вас слышать, Штирлиц...

РОУМЭН, ПЕПЕ, МАКАЙР (сорок седьмой)

Коттедж, куда привезли Роумэна, был за городом, где-то в районе парка Токсидо; глаз ему не завязывали, сидел он сзади, не стиснутый охранниками; шофер о чем-то весело болтал по-итальянски с тем человеком, что пришел в мансарду на Гринвидж-Виллэдже; внутреннее состояние говорящих даже на незнакомом языке все равно четко просчитывается; смысловая интонация определяет не только речь политического лидера (она обязана таить в себе множество смыслов и вероятий), но именно беседы людей улицы.

Роумэн машинально запоминал дорогу, но, когда шофер резко свернул с шоссе на проселок, а потом начал вертеть среди рощ и маленьких коттеджей, ориентиры потерял; а что в конце-то концов могут дать эти самые ориентиры, подумал он, если получилось – значит, получилось, а нет, так нет, ничего уж теперь не попишешь.

В коттедже, обставленном с чисто итальянской роскошью, было пусто, ни одного человека; шофер предложил Роумэну перекусить: «Сейчас сварганим спагетти, я это делаю мастерски, в рефрижераторе должна быть лямбруска и кьянти, впрочем, вы, янки, больше любите виски, разве можно любить горечь, от которой вяжет рот?»

– Как долго я должен ждать встречи? – спросил Роумэн.

Тот, кто привез его, ответил:

– Видимо, встреча состоится сегодня ночью. Или в крайнем случае завтра утром.

– А звонить отсюда можно?

– Куда угодно... Только имейте в виду, что телефон, видимо, прослушивается.

– Какой службой? – спросил Роумэн. – Налоговое управление, полиция, ФБР?

Шофер рассмеялся:

– По-моему, всеми... Иногда можно слышать, как втыкаются сразу три подслушки... Но вы же не будете говорить о чем-то таком, что даст против вас улику?

– Против меня каждое слово даст улику, – ответил Роумэн. – Ладно, начнем готовить спагетти... А я, кстати, могу вас научить делать попару.

– Что это? – поинтересовался шофер, снимая пиджак и облачаясь в белую поварскую куртку.

– Сказка, – ответил Роумэн. – Это делают болгары, меня выучил их князь, страшный пьяница, но очень милый человек... Берете черствый хлеб, масло, натираете сыр, все это заливаете кипятком и даете постоять на медленном огне пять минут. Потом разливаете в глубокие тарелки; виски не рекомендуется, только сливовица – это крепчайшая водка из черных слив, сшибает с ног. Попара особенно хороша после ночной пьянки, вместе со стаканчиком сливовицы вы возвращаетесь к жизни – ни томления духа, ни боли в затылке, полнейшее счастье.

– Попробуем, – пообещал шофер-повар. – Только у нас нет болгар. Одни итальянцы, янки и евреи...

Спагетти были отменны, соус очень острый – томат с перцем, сыр какой-то совершенно особый, очень соленый и плавкий, тянулся, как вар, раскаленный на солнце.

– Мистер Роумэн, меня просили задать вам несколько предварительных вопросов, – сказал тот, кто приезжал за ним. – Сказали, что, если вы хотите, можете не отвечать, но лучше б ответили, потому что мы сможем кое-что подготовить, если ваше дело надо реализовывать вне этой страны.

– Вне, – ответил Роумэн. – Большая часть дела должна быть проведена за границей.

– Где именно?

– Я скажу об этом мистеру Гуарази.

– Ясно, – кивнул шофер. – Как знаете... Только штука в том, что у нас не везде есть свои люди... О нас ведь пишут много ерунды... Если, например, операция предстоит в Китае или Венгрии, Австралии или Чили, у нас там нет верных людей... Пока найдем или же передислоцируем тройку наших – можем потерять драгоценное время... У вас вообще-то как со временем?

– Как у всех, – улыбнулся Роумэн. – Плохо... В Панаме или Никарагуа у вас есть свои люди?

Шофер снял свою белую поварскую куртку:

– Мистер Роумэн, вы, видимо, плохо нас поняли: вопросы задаем мы. Вы отвечаете. Или молчите – на ваше усмотрение.

– Если на мое усмотрение, то я бы лег соснуть. На меня нападает сонливость, когда все становится на свои места. Это можно?

– Конечно, мистер Роумэн. Выбирайте себе комнату и заваливайтесь отдыхать. Мы вас разбудим, если приедет тот, кого вы ждете.

Вито Гуарази – Пепе – прилетел поздно ночью; Роумэн не слышал его голоса, он проснулся из-за того, что хлопнула дверца машины.

Ну, сказал он себе, с богом, Роумэн, валяй, иди к нему.

– Добрый вечер, – сказал Пепе, поднимаясь навстречу Роумэну, – очень рад вас видеть...

– Здравствуйте, я тоже, говоря откровенно, рад этой встрече.

– Только я не «Пепе». А вы не «Роумэн». Поскольку нам, видимо, предстоит делать одну работу, давайте выберем себе новые имена.

– В таком случае, я буду называть вас Габриэлем, – сказал Роумэн. – В вас есть что-то от Габриэля Анунцо, глаза похожи...

Пепе усмехнулся:

– Часто встречались? Привлекли к работе? Как это у вас говорят, «заагентурили»?

– Это запрещено, Пепе. Мы не имели права агентурить ведущих поэтов и представителей царствующих фамилий; даже экс-королей можно использовать лишь в качестве источников информации.

– Ишь, – Пепе покачал головой, – какое джентльменство.

– Отнюдь, – возразил Роумэн. – Математический расчет. Люди они балованные, дисциплине не учены, жизни не знают, язык развязан, запрещенных тем для дискуссий нет, вот вам и провал, поверьте... Ну, хорошо, Габриэль, действительно, трудно... Дик?

– С Диком согласен. Вам я даю имя Макс.

Роумэн полез за своими мятыми сигаретами; не отводя глаз от Гуарази, спросил:

– А если мне такой псевдоним не нравится?

– Придется привыкнуть. Как-никак операцию поручено провести мне, а не вам. Прежде чем я познакомлю вас с моими помощниками, пожалуйста, расскажите подробно, что нам предстоит сделать.

– Я расскажу... Я все расскажу, Дик... Только сначала позвольте задать один вопрос.

– Пожалуйста.

– Тот, прежний контракт, по которому вы работали с Гаузнером, Кемпом и Ригельтом, расторгнут?

– Почему вы интересуетесь прошлым?

– Потому что сейчас мы должны работать против них. Сидеть на двух стульях невозможно.

– Будем считать, что контракт расторгнут. Но я хочу внести ясность, Макс... Мы не заключали соглашения с нацистами... Соглашение было достигнуто здесь, в Нью-Йорке, с американцами.

– Значит, Макайр, – задумчиво, словно бы самому себе, сказал Роумэн. – Я так и думал, обидно...

– Я не знаю фамилии того американца.
– Но вы его видели?
– Да, однажды.
– Опишите.
Гуарази покачал головой:
– Вы же знаете, мы исповедуем закон молчания, нарушение стоит жизни, а я люблю жизнь... Итак, к делу...
– К делу так к делу, – согласился Роумэн и посмотрел на часы. – В нашем распоряжении трое суток, Дик. Если мы опоздаем – местечко называется Вилла Хенераль Бельграно, сто сорок километров от Кордовы, Аргентина, – то можно и не вылетать...
– Сколько я помню авиакарты мира, Макс, такого авиапорта не существует.
– На картах нет. А в жизни – да. Там аэродром, который может принять одномоментно три транспортных самолета, иначе говоря, батальон захвата... Мы должны прибыть туда на маленькой южноамериканской авиетке, в противном случае мы демаскируем себя.
– У вас есть средства, на которые мы приобретем авиетку? – поинтересовался Гуарази. – Где? Кто ее будет вести?
– Маленький самолет нам даст диктатор Никарагуа Сомоса, Дик.
– Гарантии?
– Мы их получим в Панаме завтра днем, – самолет уходит в семь тридцать, так что в два часа будем на месте. Адрес у меня есть. Я имею в виду адрес человека, который даст нам показания под присягой... А вечером вылетим в Манагуа... Правда, с пересадкой, рейсом девятнадцать пятьдесят семь. Той же ночью должна быть организована встреча с Сомосой. Ваше присутствие необходимо. Ваших помощников – тоже. В зависимости от результатов этой беседы – а она, думаю, закончится в нашу пользу – мы вылетаем на юг, в Виллу Хенераль Бельграно, на встречу с шефом гестапо Мюллером.
– Думаете, он рад предстоящей встрече?
– Это меня как-то не очень заботит. Меня заботит то, чтобы мы были на поле аэродрома не позже тринадцати ноль-ноль во время авиапарада равно через три дня.
Гуарази поднялся:
– Простите, Макс, я должен связаться с боссом; в вашем плане есть несколько позиций, которые я не могу принять без санкции.
– Да, да, конечно, Дик. Я понимаю, валяйте, звоните. Только, пожалуйста, постарайтесь их уговорить, если они начнут выкобениваться.
– Боссы не выкобениваются. Наши боссы взвешивают меру реальности внесенных предложений, они прагматики с мужественными и добрыми сердцами... И еще: Мюллер там будет один? Или с охраной?
– Скорее всего с охраной.
– Численность?
– Не знаю.
– Но с ним, видимо, будет ваш Макс? Или я ошибаюсь?
– Кто вам назвал это имя?
– Не комментируется.

– Хорошо, я поставлю вопрос иначе: о моем Максе вы узнали от Макайра? От того американца, который подписывал контракт с вашими боссами? И сказал, что это нацист? А я попал в его сети? И Крис тоже с ними?

– Не комментируется, – повторил Гуарази, и глаза его стали такими же грустными, как тогда, в мадридской квартире Роумэна (господи, когда же это было, да и было ли вообще?!).

Поднявшись с кресла, он извинился:

– Мне придется соединяться с несколькими городами, простите, если я буду отсутствовать минут двадцать. Хотите чего-нибудь выпить?

– Да, пусть принесут виски.

– Я плохо разбираюсь в марках... Какие вы предпочитаете?

– Не важно. Сейчас не важно... Что есть... И желательно побольше.

Лаки Луччиано выслушал Пепе; тот говорил на сицилийском диалекте, используя зашифрованные термины, ни один бес в ФБР не разберет; долго молчал, обдумывая услышанное, потом спросил:

– Ты действительно считаешь его серьезным партнером?

– Да, – ответил Гуарази не задумываясь.

– Меня смущает тот человек, который будет ждать вас на аэродроме вместе с немцем. Он нам не нужен, Пепе.

– Хорошо. Я его оставлю там?

– Насовсем, – улыбнулся Лаки. – Это помирит меня с теми, кто ведет с ними борьбу. Всегда надо думать впрок.

– Это вызовет гнев партнера, с которым я сейчас беседую.

– Ты убежден, что он нам нужен?

– Может понадобиться в будущем.

– В каком качестве?

– Очень сведущ.

– Больше наших юристов?

– Да.

– Тебе жаль его?

– В какой-то мере.

– Хорошо, поступай как знаешь, но тот, второй, пусть останется там. Ты знаешь, в чем его подозревают. Это может бросить тень на общее дело. А мы патриоты, Пепе, согласись.

– Верно. Тут я не спорю... Как быть в Манагуа?

– Сава[1] игнорирует нас. Он поставил на северян. Мы для него никто. А это же обидно и мне, и Фрэнки. Если, действительно, партнер получит факты, которыми его можно прищучить, – сделай это. Нам он пригодится. Его город перспективен, неподалеку канал[2], оттуда мальчики в форме будут летать к нему на отдых, пусть понюхают сладенького[3]. Обратишься к «Жареному», найдешь его телефон в справочной книге, он выведет на Саву. Это крепкий парень. Он не

[1] Псевдоним диктатора Сомосы. принятый в мафии.

[2] Панамский канал

[3] Кокаин.

засвечен, крутит серьезное дело, и Сава в нем заинтересован с давних лет. Что еще?

– Больше ничего... Только вообще-то, как мне кажется, у нас пара шансов из миллиона, что это дело выгорит.

– Хочешь отказаться? – спросил Лаки. – Я не обижусь, нет, что ты... Я подберу другого, если тебе все это невмочь.

– Вы меня плохо поняли, босс... Вы знаете, что я не боюсь летального исхода. Иногда я даже мечтаю о нем... Просто не надо обольщаться...

– А я никогда не обольщаюсь, маленький, – ответил Лаки. – Но даже если там не окажется того, что мы хотим получить, в нашем распоряжении будет человек, который заставит с нами считаться ребят[1]. Без их помощи невозможно делать наш бизнес. Фрэнки думает как художник, он полон фантазий, а мне-то приходится все высчитывать, как старому кассиру в овощной лавке. Мне нельзя ошибаться, Пепе, кто, как не ты, знает это?! Если мы докажем ребятам, что умеем делать то, чего они не могут, наши акции подскочат. И они будут долго думать, прежде чем дать меня в обиду. Кому бы то ни было. Ведь сейчас они проиграли с немцами в Аргентине, ты видишь, как шумит пресса... А мы их щелкнем еще больше, а потом предложим переговоры. Вот так.

Когда Гуарази вернулся в гостиную, Роумэн допивал второй стакан.

– Ну и как? – спросил он. – Что боссы?

– Они просили передать вам привет, Макс. Операция санкционирована. Так что ложимся спать, а утром гоним на аэродром, билеты сейчас закажем. – Гуарази, не оборачиваясь, негромко позвал: – Ребята, ну-ка сюда...

В гостиную вошли двое черноволосых, квадратных молодых парней; один был небрит, глаза мутные, мешки, как у старика.

– Что, траур? – спросил Роумэн.

Парень не ответил, молча посмотрел на Пепе.

– Да, убили его брата, – ответил тот. – Вы снова верно поняли, Макс. Его зовут Леон. А второго – Джузеппе. Если трудно запомнить имена, зовите Леона «первым», а Джузеппе – «вторым». Это надежные люди, я им верю.

– Говорят по-английски? – спросил Роумэн.

– Да, – ответил Пепе. – Они здесь родились. Ну, пошли спать? Ребята, распорядитесь, чтобы были заказаны билеты на Панаму. Два первых класса, два экономических. Ответ, что билетов нет, меня не устроит.

Оба молча вышли; создалось впечатление, что они немые; Пепе понял Роумэна:

– Не судите их, Макс. Они дети улицы, рождены в кварталах нищеты. Они смущаются говорить, не знают, как стоять и что за чем есть в ресторане, когда им приходится сопровождать меня. Зато они умеют работать. Так, как никто в этом городе... Не судите их строго. Не судите строго всех нас... Мафия, мафия, злодеи, убийцы... А вы знаете, с чего мы начинались в этой стране?

[1] Работники разведки США.

– С того, что торговали вот этим, – Роумэн кивнул на бутылку виски, – когда ввели «сухой закон».

– Нет. Все в прошлом веке, когда несчастные итальянцы ринулись в эту страну... Вы с удовольствием принимали норвежцев, немцев; ирландцев, а на нас смотрели с презрением, Макс, согласитесь. И сейчас о нас говорят как о «паршивых макаронниках»... А ведь это мы, макаронники, дали миру и Рафаэля, и Данте, и Пуччини... Ну, ладно, это все трум-трум, удары в медные тарелки, а вот когда мои соплеменники в прошлом веке приехали в Новый Орлеан, они оказались на положении бездомных бродяг, и обращались с ними как с собаками. Вот тогда-то и организовалась группа «Черная рука» братьев Матранга, которые прибыли из Палермо. Да, они собирали дань с торговцев фруктами, с итальянцев, заметьте, а за это защищали их от грабежа со стороны янки, – бандитами город кишел. А когда кто-то убил шефа местной полиции Энесси, он перед смертью шепнул, что во всем виноваты мы, макаронники. И был устроен суд Линча, и наших людей повесили вниз головами. Вот с чего все началось, Макс... И тогда мы поняли, что в этом государстве надо быть организованными, как нигде в мире: или ты – их, или они – тебя... Да, мы организовали группу «Зеленые» в Сент-Луисе, да, мы стали опекать гетто в Чикаго, особенно «зону спагетти», возле Вест-Тейлор-стрит и Гранд-авеню. А уж после того, как вы приняли восемнадцатую поправку к конституции, запрещавшую производство и продажу алкоголя, после того, как преподобный отец Билл Санди в двадцатом году опустил в землю штата Вирджиния гроб с телом Джона Ячменное Зерно, вы, янки, обратились к нам за помощью. И мы не смогли отказать вам, ведь вы наша вторая родина, мы стали снабжать вас виски, и в это дело вошли ваши губернаторы и судьи, банкиры и депутаты. Мы, макаронники и евреи-христопродавцы, объединились, чтобы делать свой бизнес, – вы же не пускали нас в свой, респектабельный, охраняемый законом. Вот с этого все и началось, Макс, – с бесправия, нищеты и расовой сегрегации. И, пожалуйста, не надо обвинять нас во всех смертных грехах: вы, янки, породили нашу организацию, вы и несите всю меру ответственности, ладно?

– Не хотите перейти на работу в прессу? – спросил Роумэн. – Складно излагаете мысли.

– У нас все складно излагают мысли. Только грамотных мало. школ не кончали, пишем с трудом, Макс.

– Ваши люди дрались против фашистов на Сицилии... Как же вы могли пойти на сотрудничество с нацистами в Лиссабоне и Мадриде, Пепе?

– Дик, пожалуйста, не забывайте, что я Дик.

– Простите, – Роумэн налил себе третий стакан, медленно выпил, – простите и не сердитесь... И ответьте на мой вопрос, я же ответил на все ваши...

– Вы заинтересованы во мне, поэтому и отвечали. Все вы заинтересованы в нас. Это же так удобно, когда есть люди, которые спокойно нажмут на спусковой крючок пистолета, похитят нужного человека и заставят его сделать то, что нужно вам, протестантам, лю-

дям света, чурающимся грязи, для этого есть «даги» из «зоны спагетти», «макаронники».

– Выпьем, Дик?

– Я не пью.

– Вообще?

– Вообще не пить нельзя. Это мучительная пытка – лишать человека жидкости. Я пью «кьянти», соки и кофе. Это вкуснее, чем ваша гадость.

– А что вы делаете, когда вам очень плохо?

– Мщу.

– Кому?

– Тем, кто виноват в том, что мне плохо.

– А если вы не знаете, кто конкретно виноват в этом?

– Я знаю, – отрезал Гуарази. – А если мне хорошо, я собираю цветы. Уезжаю за город и собираю огромный букет. И дарю моей младшей сестре. Она этого заслуживает. Пошли спать, Макс.

Роумэн покачал головой:

– Нет, Дик. Мне нужно позвонить. Отсюда я этого делать не стану. Вы – организация, вы – сила, а я – один. Если меня запишут те, которые охотятся за мною, удар будет таким, от которого я не оправлюсь.

– Намерены позвонить той очаровательной веснушчатой девушке?

– И ей тоже.

– Вы к ней не дозвонитесь.

Роумэн поднялся стремительно, словно бы подброшенный пружиной; Гуарази усмехнулся, и глаза его стали еще более грустными:

– С ней все в порядке, Макс. Она в море. Мы ведь тоже пытались ее найти. Она и семья Спарка в море. И никто не знает, где они. Хотите позвонить Спарку в Гавану? Звоните отсюда, я дам вам его номер.

– Дайте номер, но звонить я буду не отсюда. Пусть ваши люди отвезут меня на центральный телеграф, там трудно фиксировать переговоры.

– Я могу, конечно, отправить вас в центр, Макс, но стоит ли попусту светиться? Вас ищут, Макс. Причем весьма активно.

– Кто? Я имею в виду почерк?

– Люди Гувера. Так, во всяком случае, кажется моим коллегам, отвечающим за нашу безопасность... Кому вы еще хотите звонить?

– В Лондон.

– Кому?

– Репортеру. Это необходимая страховка. Ваша – в том числе.

– Фамилия?

– Майкл Сэмэл.

– Телефон и адрес?

Роумэн долго раскуривал сигарету, тяжело затягивался, потом наконец ответил, поинтересовавшись при этом:

– Вообще-то, вы с кем-нибудь дружите, Дик?

Тот поднялся, позвал шофера и ответил:

– Не комментируется...

На центральный телеграф Роумэна – с приклеенными усами, перекрашенного в черный цвет – повез шофер и двое помощников Пепе.

Роумэн заказал разговор с Гаваной и Лондоном, сел на скамейку возле переговорных кабин, закурил; когда дали Гавану, бросился к телефону, словно мальчишка; Спарк уже спал; услышав Пола, несказанно обрадовался: «Я в полном порядке, дай тебе бог, чтобы получилось все, что задумал, у меня хорошее предчувствие, старый; здесь райский климат, в случае чего жду вызова; у меня давно не было такого хорошего настроения, и хандра прошла».

Лондон дали через три минуты; в соседнюю кабину вошла женщина с заспанным лицом; не глядя на Роумэна, сказала (если смотреть со стороны, то казалось, что она ведет разговор по телефону):

– Пол, меня прислал ваш друг, которого вы знаете по Швейцарии. Запомните адрес Макайра. Шестьдесят седьмая улица, сорок два, пятый этаж, условный звонок: три раза кратко, последний – долгий, это значит – свои, из управления... Пусть ваши сопровождающие сейчас же поедут к нему и скажут следующее... Да вы беседуйте с мистером Сэмэлом, беседуйте, с ним все в порядке, его безопасность угодна комбинации... Так вот, ваши люди скажут Макайру, что мистер Вальтер Кохлер объявился в Гамбурге. Это агент абвера, который обыграл Макайра в Мадриде в сорок втором, был привезен им в Штаты и здесь шпионил по Манхэттэнскому проекту вплоть до апреля сорок пятого. Об этом знают только Макайр и тот, кому это положено. Макайр получил за Кохлера награду и повышение по службе. Пусть ваши люди пообещают изолировать Кохлера, если Макайр напишет рекомендательное письмо на ваше имя всем резидентурам – с просьбой оказывать безусловную помощь. Пусть он отправит такие же шифровки во все резидентуры – немедленно. Таким должно быть условие ваших людей. Ясно, что все это должно быть написано на ту фамилию, под которой вы намерены действовать, кроме его первой записки, где ваша фамилия будет дана полностью, а в скобочках псевдоним... В случае, если у вас возникнут какие-то вопросы, найдете меня здесь же, через две недели в это же время, – заметив взгляд сопровождавших Роумэна, женщина улыбнулась телефонной трубке, прикоснулась губами к мембране. – Или я вас... Целую тебя, милый, я позвоню еще раз завтра, до встречи, любимый, – женщина еще раз поцеловала мембрану и вышла из кабины.

Роумэн, внимательно следивший за словами женщины, слышал, как надрывался Сэмэл, спрашивая, что случилось; потом, видимо, понял, что надо ждать; дождался; Роумэн сказал ему только одну фразу:

– Вылетай в известный тебе город и на том кладбище, о котором тебе писали, проведи вскрытие могилы известного человека... Тела там нет. Или будет другое. Засвидетельствуй это и опубликуй. Если я не выйду на связь через десять дней... Наш друг все же победил; ты читаешь прессу о нацистах на юге?! Скоро ты получишь письмо по известному тебе каналу, где будут подробности... Используй их как хочешь. Если же я вернусь, все обмозгуем вместе...

...Через час Гуарази снова позвонил в Гавану; телохранитель Паоло рассердился:

– Я не могу будить босса, он спит.

– Ты разбудишь его, потому что так надо, Паоло, – тихо сказал Гуарази. – Ты даже не представляешь себе, как это всем нам необходимо.

Лаки был раздражен, сказал, что пора все-таки научиться такту, люди имеют право на сон, как я теперь отключусь, снова пить снотворное?! А нервы?!

Однако, когда Гуарази перешел на сицилийский жаргон, сон слетел с Лаки:

– Пахнет жареным, – усмехнулся он. – Знаешь, езжай-ка к пареньку, ты ведь был со мною, когда мы беседовали перед Лиссабоном? Жми, Пепе. Всякая бумажка такого рода может сыграть в будущем серьезную службу нашему делу.

...Макайр открыл дверь, не спрашивая, кто пришел: условный звонок, видимо, помощник, что-то чрезвычайное, иначе в три часа ночи кто б рискнул потревожить, подъезд заперт, портье вооружен, район патрулируется полицией, как-никак Пятая авеню.

Увидав на пороге Гуарази, не сразу вспомнил его, а вспомнив, испуганно отшатнулся.

– Я пришел к вам с добром, мистер Макайр, – шепнул Гуарази. – Не волнуйтесь и разрешите мне пройти в ваш кабинет. Дело в том, что только что объявился мистер Вальтер Кохлер... Он грозит вам разоблачением...

В семь утра Фрэнк Визнер позвонил Даллесу:

– Все в порядке, он сдался. По всем позициям. Теперь мы будем знать, куда обратятся за помощью и Роумэн, и Штирлиц, так что операция абсолютно подконтрольна. Мы проводили их до самолета, ушедшего в Панаму. Их там встретят мои люди, все идет как надо. Через неделю начнем спектакль... Но с Макайром нужно заранее поговорить, чтобы он подыгрывал. Кто это сделает? Вы или я?

Даллес пыхнул трубкой и ответил:

– Вы.

ШТИРЛИЦ, МЮЛЛЕР (Аргентина, сорок седьмой)

– Группенфюрер, я пришел к вам, чтобы договориться, – сказал Штирлиц, когда они сели к камину в особняке Мюллера; молчаливые люди (глаз нет, алюминиевые монетки, никакого выражения) опустили жалюзи, принесли аккуратно наколотые березовые поленца и, следуя ленивому взгляду Мюллера, исчезли, словно бы их и не было. – Все подлинники документов – у американцев, так что ликвидировать меня, пока мы не кончим собеседование, – неразумно, вы окажетесь под еще большим ударом.

– Вы пришли договориться? – задумчиво повторил Мюллер. – О чем?

– О вашей работе на меня, – ответил Штирлиц.

Мюллер заколыхался в кресле, положил руку на колено Штирлица, ласково его погладил:

– Экий вы, право, фантазер.

– Что есть, то есть, – согласился Штирлиц. – Будете слушать? Или не хотите попусту трепать нервы? Можете убрать меня, но, повторяю, про то, где вы, какими документами пользуетесь, с кем контактируете, знают еще два человека, которые должны увидеть меня живым и здоровым. Если этого не случится, у вас будет жизнь загнанного зверя, потому что в дело вошел не только мой американский друг, – мне-то какая вера, красный, – но и человек итальянской национальности, связанный с синдикатом. Видите, я открыл все карты, теперь решать вам...

– Хотите представить какие-то компрометирующие меня документы?

– Да.

– Зачем?

– Я уже сказал: чтобы договориться... Кстати, ваши люди нас не прослушивают?

– Теперь нет ни Кальтенбруннера, ни доверчивого идеалиста Гиммлера, – кто же даст приказ меня слушать?

– Борман, – ответил Штирлиц. – Нет?

Лицо Мюллера сделалось жестким; он закрыл глаза, сидел неподвижно мгновение, потом сказал:

– Я готов послушать вас, Штирлиц. Будь проклята моя любознательность.

...После разгрома спартаковского восстания, когда Люксембург и Либкнехт были замучены солдатней, представитель русских Советов депутатов товарищ «Карел», прибывший на съезд рабочих и солдатских депутатов Германии, был арестован и заключен в тюрьму Моабит; то, что произошло с русским представителем в последующие недели, могло показаться нереальным и противоестественным; на беседу с ним приехал адъютант Людендорфа, бывшего начальника генерального штаба, – полковник Бауэр; речь шла о том, как помочь выйти стране из трагического кризиса, вызванного версальскими требованиями союзников, оккупировавших в то время и русский Архангельск, Одессу, Владивосток; следом за Бауэром узника Моабита навестил один из представителей германской индустрии Вальтер Ратенау, которого прочили на пост министра иностранных дел.

– Посол Иоффе, которого вы выслали, – отвечал «Карел» как правому Бауэру, так и центристу Ратенау, – уже внес предложение Москвы: заключение немедленного договора между Россией и Германией. Не наша вина, что лидер социал-демократов Эберт отверг этот план. А он – по моему глубокому убеждению – единственный способен вывести вашу страну из хаоса.

Бауэр на предложение заключенного русского комиссара ничего не ответил; Ратенау задумчиво прокомментировал:

– Но ведь вы понимаете, что договор с большевистской Росси-

ей может спровоцировать гражданскую войну в нашей стране: ни армия, ни юнкера не согласятся на альянс с революционерами...

Товарищ «Карел» пожал плечами:

– Если можете ждать – ждите, но иного выхода у вас нет...

– У нас есть иной выход, – сказал генерал Людендорф своим ближайшим помощникам. – Берлин полон русских эмигрантов, их здесь десятки тысяч, в основном офицеры. Они группируются вокруг Федора Винберга, его газеты «Призыв». Пусть их соберут на конференцию, пусть к ним присмотрятся, мы должны им помочь стать силой: если они вернутся в Москву, союз с белой Россией спасет Германию от хаоса.

Штабс-капитан Винберг был, как и Альфред Розенберг, выходцем из Прибалтики, хотя называл себя столбовым русским дворянином; одержимо, денно и нощно проповедовал необходимость «окончательного решения еврейского вопроса»; до тех пор, говорил он, пока все евреи в Европе не будут уничтожены, зараза большевизма будет захватывать все новые и новые регионы континента.

Именно он перевел на немецкий язык «Протоколы мудрецов Сиона»; эта фальшивка, сработанная в особом отделе охранки в конце прошлого века, была компиляцией новеллы Германа Гудше «Биариц», опубликованной еще в 1845 году в Штутгарте, и книги Мариса Жоли «Диалоги между Макиавелли и Монтескье», а также нескольких брошюр анонимных авторов, которые писали политические доносы – по заданию германского банкира Криппеля в его борьбе против финансовой империи евреев Мендельсона и Ротшильда.

Смысл «Протоколов» заключался в том, чтобы показать человечеству «истинные планы» евреев, записанные в двадцати четырех секретных стенограммах, когда собирались «мудрецы Сиона», чтобы выработать стратегию распространения в мире социализма и демократии, которые неминуемо свергнут законные монархии в ведущих странах Европы.

Русская либеральная (не говоря уже о социал-демократической) журналистика доказала, что «Протоколы» есть вымысел охранки, которая пыталась перевести гнев измученного народа на рельсы спасительного погромного антисемитизма.

Однако, когда штабс-капитан Федор Винберг опубликовал «Протоколы» в своем «Призыве», а Розенберг перевел их на немецкий язык, брошюра разошлась стотысячным тиражом за два месяца: немецкие обыватели получили вполне удовлетворявший их ответ на вопрос, кто виноват в разыгравшейся трагедии.

Адольф Гитлер именно тогда прочитал «Протоколы»; до этого он был вполне нормальным антисемитом, без зоологических отклонений; в то время он фанатично ненавидел французов – особенно после того, как получил газовые ожоги на фронте под Седаном; именно Гитлер поддержал предложение своего политического советника, балтийского немца Макса фон Шёйбнер-Рихтера собрать русских эмигрантов типа Винберга на антибольшевистскую конференцию.

Деньги на съезд генерал Людендорф достал у Круппа; после долгих проволочек гости съехались в Баварию, в тихое местечко Бад-Рейхенхаль; бригаду агентов секретной полиции, которая должна была работать с русскими офицерами, возглавлял капитан Райнерт; его помощником был активист Немецкой народной партии Генрих Мюллер, двадцати одного года, из крестьян, посещает курс на факультете права, холост, активный противник как коммунистов, так и национал-социалистов, вполне лоялен и верен немецким традициям.

«Среди ста тридцати русских эмигрантов, собравшихся на первое заседание в ресторане «Пост» в Бад-Рейхенхале, – доносил Мюллер, – наиболее видную роль играют генерал Василий Бискупский, киевский митрополит Антоний и сенатор Римский-Корсаков. Каждый день начиная с десяти часов утра русские обсуждают вопрос об экономическом возрождении страны после того, как будет реставрирована монархия. Во время перерывов в вестибюле и коридорах они более всего интересуются, кто из собравшихся является германским агентом, а кто французским осведомителем. В конце четвертого дня противоречия между делегатами сделались неуправляемыми, случился скандал, поскольку бывший парламентарий Николай Марков-второй обвинил всех присутствующих в том, что они служат масонам и евреям вместо того, чтобы заняться военными формированиями и инфильтрацией в Россию. Не придя к соглашению, съезд русских изгнанников закончил работу. Полагаю, что впредь такого рода собрания психически неуравновешенных людей разрешать нецелесообразно. Если уж и начинать диалог с русскими, то с теми, которые обладают реальной властью. Такими, увы, являются большевики».

Штирлиц достал из кармана листок бумаги, протянул его Мюллеру:

– Ваша подпись? Не фальшивка?

Тот снял свои декоративные очки (действительно, оправа была черепаховая, большая, очень дорогая, надел свои маленькие, в тоненьком золоте), внимательно прочитал документ, покачал головой, усмехнулся чему-то, удивленно посмотрел на Штирлица:

– Ну и что?

– Это начало, группенфюрер... Поскольку вы преемник идей Гитлера – во всяком случае на этом континенте, – призыв к переговорам с красными не очень-то украшает вашу биографию.

– Наоборот. Очень украшает. Это свидетельствует о реализме и мобильности мышления молодого полицейского агента. Уже в двадцать первом году он, Мюллер, обладал умом политика, то есть человека, исповедующего прагматизм как альфу и омегу поступка.

Штирлиц кивнул:

– Я продолжу?

– Перекусить не хотите?

– Чем будете угощать?

– Черт его знает... Есть вареное мясо, пара зажареных куропаток, вымочены в красном вине, пальчики оближете... Ну, сыр, понятно...

– Текут слюнки, – Штирлиц вздохнул. – Может быть, следующий документ мы обсудим за столом?

– О чем? В этом же роде? Тогда вы меня не завербуете, – Мюллер мягко улыбнулся. – Вы же профессионал, в вашем материале нет удручающей грязи, которая рождает чувство стыда за поступок. Стыда и страха...

– Так я все же продолжу, – сказал Штирлиц. – Речь пойдет о деле Ратенау.

Лицо Мюллера на мгновение собралось морщинами, резко изменившись; так, впрочем, было одно лишь мгновение; он откинулся на спинку удобного, т о п к о г о кресла и кивнул:

– Любопытно, валяйте, слушаю...

Члены могущественного «Стального шлема» – одного из предтеч гитлеровского национал-социализма, борцы за чистоту «германской истории и немецкого духа» – маршировали по улицам Германии, распевая свой гимн: «Кнальт аб ден Вальтер Ратенау, ди готтферфлюхте юденшау!»[1]

В кабинете канцлера Вирта не было человека более ненавистного националистам, чем министр иностранных дел, возвратившийся из Рапалло с договором между разрушенной Германией и большевистской Россией, договором, который сразу же изменил баланс сил на Европейском континенте, заставивший Париж и Лондон перейти от презрительного третирования поверженного Берлина к сдержанным переговорам с немцами; те ныне опирались на мощь русских; с такого рода фактором нельзя не считаться.

Однако этот процесс, заметный политикам, прошел мимо обывателя; и члены «Стального шлема», и «национал-социалисты» Гитлера, Штрассера и Рэма собирали митинги, на которых неистовствовали истеричные ораторы: «Еврейский министр Ратенау предал немецкий народ русским большевикам! Смерть Ратенау!»

Они словно бы не хотели знать (хотя их вожди знали), что именно Ратенау, силясь доказать свою н е м е ц к о с т ь, был одним из финансовых покровителей «Стального шлема», внес пять миллионов марок на создание «союза германских патриотов, хранителей святых традиций имперского духа»; они не хотели помнить, что он, Ратенау, промышленник и финансист, во время войны разработал вместе с Людендорфом план принудительной депортации семисот тысяч бельгийцев на германские военные заводы – «ковать оружие для победы великой армии кайзера»; они не желали оценить и тот факт, что социал-демократы находились к нему в оппозиции, как к «денежному тузу и эксплуататору»; они постоянно помнили, знали и слепо ненавидели в нем только то, что он был евреем, подписавшим договор с большевиками.

Единственный человек, с которым Ратенау был по-настоящему откровенен, писатель Стефан Цвейг заметил как-то: «Ни в ком я не видел более трагичной судьбы еврея в стране, где антисемитизм стал болезнью общества, как в нем – великогерманском патриоте, преданном идее тех, кто травил его и преследовал до последней секунды жизни».

[1] «Разобьем лоб Вальтеру Ратенау, богом проклятому жиду».

...Веймарская республика, пришедшая на смену тысячелетнему периоду княжеской и императорской власти, гарантировав равные права всем религиозным группам и национальностям, но не проведя экономической реформы, породила страшного зверя: одержимый шовинизм неграмотного люмпен-пролетариата, с одной стороны, и, с другой – тотальное, внешне, правда, достаточно корректное, неприятие этого «неразумного и преждевременного» шага со стороны аристократии, юнкерства, промышленников, финансистов и ряда историков, незыблемо стоявших на великогерманской доктрине расового превосходства немцев не только над евреями, но и вообще над всеми европейскими народами – славянами, понятно, в первую очередь.

(Промышленники типа Ратенау, писатели вроде Фейхтвангера, Цвейга, Брехта, Зегерс, режиссеры Рейнгард и Пискатор, мыслитель Эйнштейн, композитор Эйслер – истинные патриоты немецкой философии и культуры были слепо и бездумно отринуты только потому, что средневековое темное зверство проникло в поры людских душ; главное – обозначить чужого; прежде всего оттолкнуть, запретить делать что-либо каждому, кто несет на себе тавро иноплеменного проклятия. С евреем бороться легко; с властью – опасно; антисемитизм – религия стадной трусости.)

...Семнадцатилетний школьник Ганс Штубенраух был первым, кто решил убить «паршивого еврея Ратенау, предавшего Германию русским большевикам»; сын генерала, вынужденного – после краха империи – выйти в отставку, он записал в своем дневнике: «Из-за мерзавцев типа Ратенау наш великий кайзер никогда больше не сможет провести колонны победоносных солдат через Бранденбургские ворота. Имеет ли смысл жить, если немецкая история лишилась своего главного символа – великого вождя, воплощавшего в себе германскую идею? Что может нация без того, кто единолично, твердой рукой правит ею? Коварный замысел «мудрецов Сиона», поставивших себе цель лишить мой народ монарха и ввергнуть его в пучину безнравственной, чуждой нам демократии, когда каждый мерзавец может открыто говорить все, что ему вздумается, когда чернь вправе возражать хозяину, одержал верх. Но мы еще посмотрим, кто выйдет победителем! Мы еще решим, за кем последнее слово! Мы еще потанцуем на руинах чужеродных и отвратительных понятий: «демократия» и «социализм»!»

Ганс Штубенраух поделился своим планом с учеником параллельного класса – Гюнтером; тот, в свою очередь, дружил с двадцатипятилетним отставным морским лейтенантом Эрвином Керном; несмотря на свою молодость, Керн был ветераном «Стального шлема», крепко порезвился во время спартаковского восстания, запретил своим солдатам расстреливать захваченных социал-демократов – только забивать насмерть, продлевать мучения жертв, делать это при зрителях, пусть другие спартаковцы видят, что их ждет, хороший урок для всех: ощущение ужаса жертвы – залог мужества в предстоящих битвах.

Вокруг Керна сформировалось ядро: бывший кадет, двадцатилетний фанатик национальной идеи Эрнст фон Саломон («Я не чи-

таю ничего, кроме книг, связанных с историей германской нации; нынешняя литература глумится над святынями; когда мы победим, немцы будут получать только то, что возвеличивает их в их же глазах; все остальные тома будут сожжены на площадях, а брехты, цвейги, фейхтвангеры повешены вниз головой на фонарных столбах: уж если пока живут среди нас, то пусть живут тихо, как мыши; их посягательство на равенство с нами должно караться смертью»); в группу входил двадцатипятилетний инженер Германн Фишер и сын одного из руководителей берлинской магистратуры Эрнст-Вернер Техов.

Все они впервые встретились во время капповского путча, руководимого тайным «Организационным комитетом», во главе которого стоял прусский офицер Эрхардт, старший «товарищ» Адольфа Гитлера.

После разгрома путча связи остались; националисты разбились на пятерки; план покушения на Ратенау разрабатывали вместе...

Был проработан маршрут, по которому следовал автомобиль Ратенау из парковой зоны Грюневальда на Вильгельмштрассе, в министерство иностранных дел; заговорщики встретились в пивном подвале Штеглица; отставной лейтенант Керн сообщил, что у них есть машина, шестиместный зверь; Техов должен опробовать ее.

Видимо, кто-то из заговорщиков говорил слишком громко, — пили достаточно много, подстегивая себя пивом, коньяком и рислингом; наутро премьер Вирт пригласил к себе Ратенау:

— Дорогой Вальтер, полиция считает, что на вас готовится покушение.

Ратенау побледнел, только мочки ушей сделались красно-синими; какое-то время он был словно бы парализован, потом тихо сказал:

— Я не верю... Кому я делаю зло? Наоборот, я прилагаю все силы, чтобы помочь несчастной Германии выйти из кризиса...

В тот же день его навестил шеф прусской полиции.

— Господин министр, из сводок мне известно, что вы ездите в открытой машине и с черепашьей скоростью. Я бы просил вас переменить автомобиль и приказать шоферу ехать с большей скоростью. В противном случае я не могу гарантировать вашу безопасность.

— Не могу понять, что движет заговорщиками — если таковые на самом деле существуют — в их желании убить меня? — Ратенау пожал плечами. — Чем я прогневал их? Неужели, чем больше делаешь во благо родины, тем большую ненависть к себе вызываешь? Но я был патриотом Германии, я им и останусь, — даже ценою жизни...

Назавтра пятерка отправилась в рейхстаг слушать выступление Ратенау.

Техов сжался, стараясь исчезнуть: Ратенау то и дело обращал свой взор именно на них, сидевших в первом ряду гостевой галереи; он говорил о том, что Германия восстает из хаоса ныне, когда мы имеем договор с Москвой, западные державы ищут с нами контактов, время версальского унижения пришло к бесславному концу: только от нас, немцев, зависит мирная победа, когда не пушка и карабин принесут славу нации, но ее созидающий гений.

После того как пятерка вышла из рейхстага, Керн внимательно посмотрел на Техова: «Что с тобой, Эрнст-Вернер? Ты ощутил в себе колебание? Ты не согласен с нашим решением?»

– Он говорил то, что хотят слышать немцы, – тихо ответил Техов. – Я не уловил в его словах фальши.

– Он паршивый большевик, – ответил Керн, и лицо его передернуло презрительной гримасой. – Он пожимал руку этой русской свинье Чичерину. Он делал это открыто, перед репортерами, не стыдясь. Он начал переговоры с Парижем и Лондоном, – значит, он отдаст наши богатства мерзким демократиям Запада, которые доживают последние дни, источенные изнутри тлетворностью своих парламентов и палат депутатов... Он служит тайному еврейскому плану растоптать германский дух, лишить нас идеала верховного вождя и создать республику, которая противна имперскому духу арийцев... Он играет немца, Эрнст-Вернер, но разве может сыграть его человек с такими глазами, с таким носом и с такими ушами?!

Ратенау, будучи типичным буржуа, предпринял свои шаги, особенно после того, как его посетил шеф прусской полиции. Он полагал, что компромисс с одержимыми националистами, с лидером немецких ультраправых Карлом Хельферихом успокоит безумных: если главарь прилюдно пожмет руку политическому противнику, горячие головы начнут думать думки, а они у них долгие, быстро шевелить извилинами не умеют; всякая оттяжка угодна делу; через год средние классы ощутят результаты его деятельности, в стране будет больше мяса, станет весомее марка, о каком покушении может идти речь?! Террор есть порождение неуверенности в завтрашнем дне.

Созвонившись с Карлом Хельферихом, министр пригласил его к себе в Грюневальд на ужин; беседа была прощупывающей, достаточно мирной; расстались, обменявшись рукопожатием; назавтра, однако, Хельферих выступил в рейхстаге: «Политика Ратенау наносит непоправимый удар по средним классам, его совершенно не интересует судьба устойчивости нашей валюты, люди не верят словам, нация требует реальных дел!»

Тогда Ратенау созвонился с американским послом; тот, выслушав министра, пригласил на ужин некоронованного короля Рура Хуго Стиннеса – старого врага Ратенау; встретились в восемь, расстались в четыре часа утра; Ратенау довез Стиннеса до отеля «Эспланада» в своей машине. «Вот видите, – говорил он, мягко улыбаясь, – американцы поддержат нас, нажмут на Лондон и Париж, особенно на этих паршивых французов; выдержка и еще раз выдержка, облегчение грядет, вопрос месяцев... Мне очень больно слышать, когда меня обвиняют в том, что я не могу быть немецким патриотом, оттого что в моих жилах течет еврейская кровь... Но вам я скажу правду: моя религия – немецкая церковь, моя страсть – немецкий фатерланд, и нет большего антисемита, чем я, господин Стиннес...»

...В одиннадцать часов утра Ратенау выехал из своего особняка.

Техов, увидев приближающуюся машину министра, сделался белым: «А что мы будем говорить в полиции, если нас схватят?»

Керн усмехнулся:

— Скажешь, что мы уничтожили одного из «мудрецов Сиона», нас поймут и простят.

На углу Эрднерштрассе Ратенау был убит Керном из длинноствольного автоматического пистолета; убийцы сняли с себя кожаные черные куртки и черные шлемы, бросили их на газон и кинулись в центр; полиция приехала, когда Ратенау был мертв.

Керн и его пятерка шли по улицам, которые быстро заполнялись пульсирующими толпами берлинцев; через два часа весь город был запружен народом, появились лозунги: «Смерть наемным бандитам!» Над толпами демонстрантов развевались флаги; к вечеру открылась внеочередная сессия рейхстага; на трибуну вышел лидер ультраправых националистов; депутаты и зрители согнали его прочь: «Вон, паршивый убийца!» Поднялся премьер Вирт: «С тех пор как мы подняли знамя республики, намереваясь превратить Германию в демократическое государство свободы слова и мысли, тысячи лучших сынов народа поплатились за это своей жизнью».

Растерянные Керн, Фишер и Техов стояли среди плачущих людей на Александерплатц; они не ждали такой реакции немцев; Керн потянул Фишера за рукав, кивнув на Техова: «Идем, он развалится, на грани истерики». На следующий день они приехали на побережье, в Варнемюнде, чтобы на пароме отправиться в Швецию; паром, однако, не работал — траур; здесь же они прочитали объявление: «Миллион марок за голову убийц министра Ратенау». Купив мотоциклы, они рванулись на юг, по направлению к Тюрингии. Техов, выбравшись из города, пришел в деревню, на ферму к дяде; тот вызвал полицию; через час имена всех участников заговора стали известны прусской криминальной службе.

Портреты Керна, Фишера, фон Саломона были развешены на всех досках для объявлений; полиция блокировала дороги, в стране было объявлено чрезвычайное положение: охота! Ратенау лежал в зале рейхстага; два дня от гроба не отходила его мать, ставшая седой за эти часы; голова ее мелко тряслась; когда к ней подошел президент Эберт, женщина сказала:

— Когда я спросила мальчика, зачем он согласился на то, чтобы занять пост министра, он ответил: «А кто еще захочет расчистить авгиевы конюшни?»

Десять миллионов немцев прошли по городам в скорбном молчании; было внесено предложение объявить день убийства Ратенау Днем скорби; в «Стальном шлеме» началась паника: покушение привело к обратному результату, позиции правых «ультра» обрушились, их сторонились, презрительно называя «психами», — не может быть ничего страшнее для тех, кто претендовал на национальное представительство и защиту немцев...

Керна и Фишера нашли в заброшенном замке возле Кёзена, в ста пятидесяти километрах южнее Берлина; сюда были стянуты наиболее опытные агенты уголовной полиции; среди тех, кто шел по лестнице, чтобы захватить мерзавцев, был Генрих Мюллер; он не смог этого сделать, потому что Керн и Фишер застрелились; зато он арестовал фон Саломона и провел его первый допрос.

...Через одиннадцать лет, в год прихода Гитлера к власти, в день

убийства Ратенау, семнадцатого июля тридцать третьего года, в Берлине состоялся парад частей СС и СА; официальное торжество открыл Гиммлер:

– Сегодня мы чествуем героев тысячелетнего рейха великой римской империи германской нации, двух подвижников национального духа, отдавших свои молодые жизни в борьбе против мирового большевизма и еврейства, что есть две стороны одной и той же медали, лицемерно именуемой «демократией» и «социализмом». Они бесстрашно поднялись на борьбу с сионскими мудрецами, этими спрутами международного коммунизма и американской финансовой олигархии. Они приняли на себя первый удар прогнившей Веймарской республики, но они зажгли в сердцах немцев ненависть – то качество, которое ныне ведет народ от победы к победе.

Эрнст Рэм сказал всего три фразы:

– Керн и Фишер! Ваш дух, дух патриотов и героев, вошел в души черных солдат СС, верной гвардии фюрера. Хайль Гитлер!

Теперь день гибели Керна и Фишера был объявлен Днем национальной скорби; это произошло на памяти одного поколения: миллионы людей, скорбно прощавшихся с Ратенау, теперь шли в скорбном молчании, отдавая долг сердца его убийцам; ах, память, память, кто же так умело играет с тобою в прятки?! Не ты ли сама?! Воистину, дьявол внутри нас!

– Факты соответствуют правде, – Мюллер, напряженно слушавший Штирлица, удовлетворенно кивнул. – Действительно, я был брошен продажным веймарским режимом на захват наших героев... Окажись я там первым, Керн и Фишер ушли бы от веймарской полиции...

Штирлиц усмехнулся:

– Такого рода признание не устроит американцев, группенфюрер...

– В данном конкретном случае я говорю о немцах, Штирлиц. О тех немцах, которые окружают меня. Человек не может жить в безвоздушном пространстве, он становится силой только в том случае, если его окружают единомышленники...

– Тогда прочитайте вот это, – сказал Штирлиц, – а потом отправимся ужинать, если у вас не испортится аппетит...

Мюллер взял два листка, водрузил на крупный нос свои тоненькие очки и углубился в чтение; по тому, как изменилось его лицо, Штирлиц понял – в яблочко!

> «Я, Эрнст фон Саломон, был арестован на второй день после того, как погибли Керн и Фишер. Первый допрос проводил неизвестный мне агент полиции, ограничившийся выяснением общих сведений. Я был так растерян, что не пытался скрыть что-либо. Второй допрос проводил агент баварской уголовной полиции Генрих Мюллер. Сказав мне, что я «грязная свинья, поднявшая руку на подвижника германской нации», он избил меня, потре-

бовав подробностей, которые бы представили Керна и Фишера в том смысле, что они были садистами. Я ответил, что они не были садистами, хотя Керн и говорил, что мы служим вагнеровскому духу разрушения: террор должен раскачать общество, посеять в людях страх и неуверенность, особенно в тех, которые, по его словам, позволяли себе слишком много думать и отклоняться от единственного верного национального сознания, которое не терпит никаких «фокусов»: «одна мысль, одно слово, один поступок!» А уж потом придет мессия.

Избиения, которым меня подверг Мюллер, были столь ужасающи, что я был вынужден сочинить много лишнего, повторяя те слова, которые он, Мюллер, мне диктовал.

На суде я отказался от этих показаний, хотя он посетил меня в камере и сказал, что если я посмею хоть что-то сказать о наших «собеседованиях», то мне головы не сносить.

Естественно, я молчал на суде, не говорил ни слова о тех издевательствах, которым он меня подвергал.

Техов и я были приговорены к пятнадцати годам каторги, но через четыре года мы были освобождены, Техов поступил на юридический факультет университета, стал адвокатом, я же начал работать в киноиндустрии. После победы Гитлера директор кинофабрики вызвал меня и сказал, что я должен уйти, поскольку моя фамилия несет на себе отпечаток еврейства.

Я, немец, самый настоящий немец, отправился к Геббельсу и сказал, что, если бы мы знали про подобное свинство, мы бы никогда не стали убивать Ратенау. Геббельс успокоил меня, позволил мне сделать свое имя фамилией, я работал как «господин Эрвин», а с переводом Мюллера в Берлин, опасаясь его мести,– он должен был уничтожить меня как свидетеля, поскольку в нашем деле он выступал, словно красный, против «Стального шлема» и великогерманской идеи, в защиту еврея Ратенау, – я отправился в Швецию, где представлял интересы кинопроката третьего рейха.

Эрнст фон Саломон,

Гамбург,
21.05.47 года».

– Ну и как? – спросил Штирлиц. – Можно ли работать с вашими людьми, если они узнают про этот документ?

– Но ведь они про него не узнают...

– Зависит от вас, группенфюрер... Повторяю: вы читаете копии, подлинники будут опубликованы, случись что со мной...

– Допустим, я позволю вам уйти, заключив договор о ненападении, Штирлиц...

– Нет, – ответил тот, – договора о ненападении не будет... Я ведь только начал знакомить вас с нашим досье, группенфюрер.

Мюллер кивнул:

– Во-первых, я не знаю, что вы еще наскребли обо мне, а во-вторых, даже если я и решу отпустить вас, – как это сделать? Мои люди знают, кто вы, каждый ваш шаг подконтролен, как вы уйдете? Вы знали, на что шли, Штирлиц. Вы поставили в трудное, точнее, безвыходное положение не только себя, но и меня.

Разве я могу приказать: «отпустите красного»? Чем я замотивирую такой приказ? Договором о сотрудничестве – куда ни шло, да и то мы должны будем оформить этот договор при свидетелях... При моих свидетелях... В противном случае я бессилен сделать что-либо.

– Утро вечера мудренее, – сказал Штирлиц. – Будете угощать?

– Отдайте другие материалы.

Штирлиц покачал головой:

– У меня их много, группенфюрер... Давайте играть в тысячу и одну ночь: каждый день – по сказке, это залог моей жизни. К чему торопиться? Я не хочу умирать.

Мюллер вздохнул:

– А кто хочет? Никто не хочет умирать, дорогой Штирлиц... Скажите, вы имели какое-то отношение к той пакостной кампании в американской прессе, которая началась против нашего здешнего братства?

– А как вы думаете?

– Если вы смогли помочь американским левым в этом деле, я поздравляю вас с профессиональным успехом.

– Что ж, я принимаю поздравление... Только я в блоке с американскими правыми, группенфюрер, именно с ними...

– А почему же среди имен немцев, опубликованных в Штатах, нет моего? Почему не требуют моей выдачи?

– Ждут, – ответил Штирлиц. – Ждут окончания нашего собеседования, группенфюрер.

МАКАЙР, ВИЗНЕР, ЛАКИ (сорок седьмой)

Шеф стратегической разведки Фрэнк Визнер позвонил Макайру после того, как из Панамы поступило сообщение: четверка от наблюдения оторвалась, люди словно бы растворились в городе; на ноги поставили армейскую контрразведку, представителей ФБР, которые еще сидели в стране, и подключили местных детективов, прошедших стажировку в Штатах. Связь между всеми группами поддерживалась – через штаб корпуса, расквартированного вдоль канала, – постоянно.

Услышав Макайра, его резкий, рубящий голос, Визнер спросил:

– Боб, у вас не найдется десяти минут?

– Я к вашим услугам. Подняться к вам или спустимся в кафе?

– Как угодно... Поднимайтесь ко мне.

Визнер встретил его дружески, отметил, что лицо Макайра бледно, глаза запавшие, без обычного азартного блеска, хотя, как всегда, выбрит до синевы и причесан с обычной тщательностью – пробор

ниточный, кажется, что пришел не из своего кабинета, а прямиком от парикмахера; пригласил к маленькому столику, сказал секретарю, чтобы сделали кофе, и спросил:

– Плохо себя чувствуете, Боб?

– Почему? – тот пожал плечами. – Три дня назад дул в резиновые шары, емкость легких, как у спортсмена... Давление восемьдесят на сто двадцать... Неприлично здоров, Фрэнк.

– А у меня давление скачет... Как только меняется погода, сразу же ломит в висках... К тому же, в отличие от вас, я пьющий... Знаете, какое страдание, если гулял при хорошей погоде, а проснулся, когда зарядил дождь?! Пять пилюль, как минимум, пять штук... Слушайте, у меня к вам вопрос: кого вы просили опекать в панамской резидентуре? Вы же сегодня ночью отправили туда шифровку, а эти люди исчезли... Какая-нибудь неожиданная комбинация?

Лицо Макайра стало еще более бледным:

– Аллен в курсе этого дела.

– Даллес – Даллесом, – ответил Визнер, – но ведь не он наш директор...

– Это дело начиналось, когда он был одним из шефов ОСС.

– Тогда все в порядке, – Визнер удовлетворенно кивнул. – Тогда вопросов нет. Просто я подумал, что люди, которыми я интересуюсь и которые так таинственно исчезли в Панаме, не могли не воспользоваться вашим указанием резиденту... Такие шифровки, вроде той, что ушла ночью, дают в экстренных случаях, когда дело горит...

Секретарь принес кофе, неслышно вышел, мягко улыбнувшись Визнеру и Макайру (воевал, был ранен, потом переброшен в Швейцарию, там проводил с Визнером самые головоломные операции).

Визнер снял трубку телефона, пояснив Макайру:

– Я хочу поставить в известность Даллеса, что та четверка, которой и он интересуется, ушла от нас в Панаме.

– Корректно ли это по отношению к мастеру? – спросил Макайр. – Все же пока что в нашем управлении он никто... Может быть, разумнее попросить санкцию адмирала на то, чтобы проинформировать нашего общего друга?

Визнер аккуратно положил трубку на рычаг:

– Вообще-то, вы правы... Такт, прежде всего такт... Хотя порядочность я бы все же вынес на первое место... Не согласны?

– Порядочность обязана быть константой человека, вы правы, Фрэнк, но я постоянно сопрягаю два этих понятия, они для меня неразделимы.

– Скажите, а я преступлю нормы порядочности, если спрошу: что вас побудило приехать сюда в четыре утра и самому шифровать телеграммы на юг и в Гамбург?

– Повторяю, Фрэнк, это все согласовано с Даллесом. Не ставьте меня в неловкое положение перед ним. Вы же помните его любимую пословицу: «секрет двоих – секрет свиньи», то есть то, что знают двое, узнает и свинья.

Визнер рассмеялся:

– Так кто из нас троих свинья, Боб?

Продолжая смеяться, он поднялся, отошел к столу, достал плоский диктофон, поманил Макайра и, кивнув на черный удлиненный ящичек, спросил:

– Знаете, что здесь?

Тот отрицательно покачал головой; глаза его сделались еще меньше и вроде как бы втянулись в череп.

– Знаете, Боб, знаете... Во всяком случае, догадываетесь... Хотите прослушать вашу беседу с сеньором Гуарази? Или вы ее помните до последнего слова?

Макайр тихо спросил:

– Вы следили за мной?

– Нет. Я не слежу за тем, кого считаю другом...

– Включите, – попросил Макайр. – Я хочу послушать.

Визнер кивнул, нажал на кнопку, загорелась красненькая лампочка индикатора; запись шла без помех; узнаваемость голосов абсолютная:

Макайр. – Я вызову наряд ФБР, Пепе. Утро ты встретишь в камере.

Гуарази. – Мне не привыкать, мистер Макайр. Вы, кстати, допустили ошибку, назвав меня по имени, это уже улика. А вот вам будет трудно привыкать к новому состоянию, если мистер Вальтер Кохлер даст свои показания про то, как вы на него работали....

Макайр. – Замолчите! Что вы несете?!

Гуарази. – Он в Гамбурге, мистер Макайр. У нас есть возможность повлиять на него в нужном направлении... Можем решить вопрос кардинально... Все зависит от вас... Если вы согласитесь выполнить мои просьбы, я гарантирую молчание мистера Кохлера. Вы же знаете, ваша карьера будет закончена, как только он заговорит. А он голодный... Ему надо есть... Он готов на все.

Макайр. – Что вам от меня надо?

Гуарази. – Охранную грамоту для Роумэна. И шифротелеграммы южноамериканским резидентурам.

Макайр. – Что?!

Гуарази. – Охранную грамоту для Пола Роумэна и шифротелеграммы... Причем фамилия его будет написана через дефис, вместе с той, которую он сейчас использует, – в интересах дела...

Макайр. – Вы сошли с ума.

Гуарази. – До свиданья, мистер Макайр, простите за поздний визит.

Макайр. – Погодите же! Сядьте. Объясните ситуацию.

Гуарази. – Мы не объясняем ситуацию. Мы обращаемся с просьбой. Вы вправе выполнить ее, можете отказать – все зависит от вас.

Визнер выключил диктофон и обернулся к Макайру; тот медленно осел на пол: лицо синюшное, глаза прикрыты набрякшими желтыми веками.

Обидно, если умер, подумал Визнер, и содрогнулся: какая безнравственность, у него же семья, в конце концов!

Обидно, если умер, повторил он, вся комбинация летит к черту, а это могла быть неплохая комбинация.

Визнер обошел стол, набрал в рот воды из графина и обрызгал лицо Макайра; веки дернулись; тогда Визнер начал похлопывать его по щекам, приговаривая:

– Давай, давай, миленький! Все будет хорошо! Открой глаза!

И Макайр открыл глаза, полные слез.

– Помочь подняться? – спросил Визнер.

Макайр оперся руками о ковер (у него же бицепсы, как у профессионального боксера, подумал Визнер, я бы на его месте свернул мне челюсть и унес запись, никаких доказательств), с трудом поднялся; фигура его сделалась за эти минуты опущенной и дряблой.

– Можете говорить? – спросил Визнер. – Или хотите уехать домой?

– Я могу говорить, – тихо ответил Макайр. – Только... Есть о чем?

– Да. У меня деловое предложение. Выпить хотите?

– Нет.

– Сейчас вам надо выпить, Боб. Совсем немного. Это приведет вас в норму. Не считайте, что все потеряно. У меня есть предложение, и оно вполне серьезно...

– Хорошо, я выпью, – еще тише ответил Макайр.

– Только не говорите, как раввин на похоронах, Боб. Возьмите себя в руки. И если я говорю, что выход есть, значит, он есть.

– Даллес в курсе всего произошедшего?

– Не знаю. Комбинирую я, а не Даллес. Я его очень люблю и ценю, но свои планы вынашиваю сам и никому их не доверяю. Даже когда Аллен станет хозяином этого предприятия, я буду продолжать вести свою линию. А если она ему почему-либо не понравится, уйду к себе на Уолл-стрит; политику могут делать люди, имеющие состояние, то есть не страшащиеся риска. Пейте. Залпом. Вот так, молодец... А теперь дышите носом, сильней, молодчина! Порозовел... Как не стыдно распускаться...

– Что теперь со мною будет, Фрэнк?

– Мистер Визнер... До тех пор, пока мы не закончим беседу, я не Фрэнк, а Визнер, мистер Визнер.

– Простите, мистер Визнер.

– Уже простил... Как голова? В порядке?

– Да.

– Тогда слушайте внимательно, Макайр. Очень внимательно. Сейчас у вас на счету сорок девять тысяч долларов, верно?

– Да.

– Вы согласны с тем, что это гроши?

– Для вас – да. Квартира у меня выплачена, я считаю, что это вполне приличные накопления.

Визнер покачал головой:

– Это гроши, Макайр. Знаете, сколько получает за роль хороший актер Голливуда?

– Сто тысяч... Так, во всяком случае, пишут в «Сошиал»[1].

[1] Светские новости в американской прессе.

– До трехсот тысяч. Но в будущем станут платить больше... Вот я вам и предлагаю триста тысяч... Как звезде... Согласитесь, хорошие деньги... За то, что вы сыграете роль, которую вам напишут... А мы ее с вами прорепетируем...

– Какую роль?

– Интересную.

– Какую роль? – настойчиво повторил Макайр, по-прежнему тихо, так тихо, что Визнеру приходилось напрягаться,чтобы слышать его.

– Роль Макайра. С сорок второго года. С той поры, как он привез сюда агента абвера Кохлера... А в сорок пятом получил из Мюнхена задание – под страхом разоблачения – делиться информацией, представляющей оперативный интерес...

– Вы хотите разгромить организацию Гелена?

Визнер удивился:

– А что это за организация? Я про такую ничего не слышал. Нука, ну-ка, объясните, чертовски интересно...

– Не играйте со мною так жестоко, Фр... мистер Визнер...

– Я не играю, а фантазирую, Макайр... В Мюнхене есть силы, связанные с гитлеровцами. Вы это знаете. Мы, патриоты Америки, их ищем. И мы их – рано или поздно – найдем... Но за их спиной стоит русский резидент Штирлиц, который подвел к нашему чистому и мужественному разведчику Полу Роумэну свою девку, агента высокой квалификации. Скрывшиеся нацисты, агент Москвы и вы, чиновник разведки, изгнавший из наших рядов Роумэна, которого человек сломал на Кохлере... Вы знаете, в нашем государственном аппарате, в его высших эшелонах затаились люди, связанные с Кремлем, они открывают Москве самую секретную информацию... Поэтому противник и забросил вашего Кохлера в Гамбург... Да, вы допустили слабость – не более того... Вы ведь хотели захватить четверку, как только бы они сунулись в наши резидентуры на юге, не правда ли?! И потом во всем признаться? Или нет? Возможны варианты ответа. Либо вы играете роль человека, служившего – через немцев – Москве давно и осознанно, либо тянете линию человека, который совершил трагическую ошибку... Вас уволят – это, надеюсь, понятно... Но вас не осудят... Возможно, вам дадут три, четыре месяца тюрьмы, но за вас внесут залог... После этого вы получаете деньги и переезжаете на юг... А уж потом делаете фильм-исповедь... Мы вам будем помогать в этом, мы сделаем сценарий самого сильного антикоммунистического боевика, который только можно себе представить... Это даст вам еще триста тысяч, если не больше. Можете, конечно, отказаться, но тогда я на вас не поставлю ни цента. Вы же сломались, Макайр, вы преступили долг, помогли врагу. Это все. Теперь я готов слушать ваши доводы, вопросы, условия...

– Сначала давайте расставим все точки над «i». Речь идет о заседании Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности? Или о федеральном суде?

– Комиссия отпадает.

– Почему?

– Потому что она работает целенаправленно. коммунистическое проникновение в идеологии. И вы знаете, как она непопулярна среди интеллектуалов. А именно в них мы заинтересованы, – они рассчитывают бомбы, снимают фильмы, пишут книги... Толпе нравятся скандалы такого рода – пусть... Но ведь мы работаем впрок, на будущее, а не на толпу... Ваше дело иного толка, оно боевое, в нем есть качественно новая информация... Оно может повлиять и на интеллектуалов, здесь же не слова, но дело; нацисты, несчастный, честный патриот Роумэн, красные, этот их суперагент Штирлиц...

– Значит, суд? – утверждающе, по-прежнему тихо заключил Макайр.

– Да.

– В таком случае, мое имя будет опозорено?

– Я вижу вашу роль несколько иной. Вы – жертва заговора. И вам прекрасно известно, как американцы сострадают тому, кто оказался в нитях шпионажа.

– Пресса... На прессу может быть оказан определенный прессинг?

– Этого обещать не могу. Слава богу, мы живем не в тоталитарной стране... Реакцию прессы предсказать трудно.

– Это уязвимое звено, мистер Визнер... Я читал ответ редактора Сульцбергера, когда он обещал нам знакомить соответствующие подразделения с обзорными материалами своих корреспондентов... Если он готов на такое, неужели нельзя объяснить ему ситуацию со мной?

Визнер усмехнулся:

– Какую? Мол, милый Сульцбергер, мы ребята особые, даже когда наш наложил в штаны и начал помогать врагу, мы все равно не даем его в обиду и вытаскиваем за уши из дерьма? Ты уж поддержи, Сульцбергер, коррупцию такого рода, как-никак мы близки к президенту, на нас лежит ответственность за безопасность этой страны... Давайте, придумывайте текст, который устроит меня. Я согласовывать ни с кем не буду, приглашу Сульцбергера на ленч и обговорю с ним все совершенно открыто... Давайте текст, я весь внимание...

Макайр вдруг странно усмехнулся; после виски лицо его в первые минуты порозовело, а сейчас снова сделалось мертвенно-бледным, поэтому улыбка казалась дикой, противоестественной:

– А вы ему скажите, что все это игра... То есть не все, конечно, но именно мое дело...Нужна пружина спектакля – вот я и пожертвовал своим положением... Жертва во имя общего блага...Такое бывало в мировой юриспруденции, все верили, особенно если подсудимые хорошо выглядят, в галстуках и без явных следов пыток.

– То есть, – мягко уточнил Визнер, – вы предлагаете ознакомить Сульцбергера со всем делом?

– А почему нет?

И тут Визнер рассвирепел:

– Потому что вы, Макайр, совершили преступление! А это не игра! Вы перепугались за себя, за привычку каждое утро приезжать сюда, вертеть кадры, расставлять своих людей и конструировать

комбинации! Причем все это бескорыстно! А вот я, например, постоянно думаю о моем бизнесе, когда обсуждаю вариант предполагаемой комбинации! В этом, видимо, главная сила этой страны – каждый защищает собственные интересы, где бы он ни работал: чистильщиком сапог, директором департамента или губернатором! Только несчастный президент трудится во имя общего блага! Все остальные связаны друг с другом незримыми путами интереса... А вы – нет... Почему, Макайр? Почему бы вам не вложить ваши паршивые сорок девять тысяч в акции наших компаний в Чили накануне расторжения отношений с русскими и запрета профсоюзов? Вы же знали об этом заранее. Отчего не сделали того, что обязан сделать любой американец?! Жадность? Или какая-то иная причина? Какая? Неверие в успех? Какие основания? Или у вас были такие основания? От кого поступила информация?

Макайр выбросил руки, словно заслоняясь от удара:

– Перестаньте! Хватит! Как вам не совестно! Я так и впрямь могу подумать о себе невесть что!

Ну и прекрасно, подумал Визнер, этого я и добиваюсь, ублюдок безмозглый; мы изучаем возможные связи сотрудников с красными, какая глупость. Их надо проверять на пластилиновость, вот на что их надо проверять!

– Ладно, – вздохнул Визнер. – Думаю, вариант введения прессы в игру мы отвели. Будет скандал, превыше всего журналисты блюдут достоинство. Какие еще предложения?

– Вы позволяете мне отправиться в Панаму, – еще тише, шепотом сказал Макайр. – Прямо сейчас. Если нет рейса, можно сговориться с Пентагоном, от них в зону канала самолеты уходят каждый час. Я лично включусь в поиск четверки. Все же Роумэна я лучше всех вас знаю, я замечу его из тысячи, даже в камуфляже... Не говоря уже о Гуарази.

– Прекрасная идея. Допустим, вы их нашли. Дальше?

– Я привожу их сюда.

– Макайр, думайте, что говорите! Никто из нас не знает, зачем они рванулись на юг. Никто. Ясно, что на встречу с русским агентом, с этим самым Штирлицем... А зачем? Почему такая срочность? Отчего в это предприятие вошел синдикат? Почему ваши люди, Макайр, ваши, вы с ними контачили, разорвали контракт и стали поддерживать Роумэна? Можете дать ответ на эти вопросы? Допустим, вы привезли сюда Роумэна и Гуарази, – а что дальше? Кто будет выплачивать им нанесенный ущерб? Люди поехали отдыхать в Панаму, а вы одели на них наручники. Выплачивать ущерб станете вы, сотрудник новой разведывательной институции.

– Хорошо, – Макайр как-то по-новому, подобострастно кивнул, – я попытаюсь... Я нахожу их там и неотступно следую за ними...

Визнер изумился:

– Вы следите за Гуарази и Роумэном?! Вы, который ни разу не был ни на фронте, ни в тылу врага, следите за двумя профессионалами?!

– Значит, выхода нет?

– Я с самого начала предложил вполне достойный выход, Ма-

кайр. Нашкодили – умейте платить по векселю. Причем, поскольку вы наш, поскольку вы поведете роль, вам переведут триста тысяч долларов. С такими деньгами вас возьмут в любое дело...

– Что я должен сейчас делать?

– А ничего. Идти к себе и продолжать работу. Как ни в чем не бывало. Когда я получу какую-то информацию с юга, вызовите врача – боли в области сердца... И ждите указаний... Еще выпьете?

– Да.

– Разбавить водой?

– Не надо.

Макайр выпил полстакана, содрогаясь; долго тяжело дышал, потом откинулся на спинку низкого, мягкого дивана и сказал:

– Я хочу встретиться с Алленом.

– Он не станет с вами встречаться.

– Я согласен сделать все, что вы сказали, мистер Визнер. И поэтому я должен увидеться с Даллесом.

– В таком случае считайте, что нашего разговора не было. Пусть все идет, как шло. Повторяю, у Даллеса свои игры, у меня свои. Я решил начать с той игры, которую доверчиво открыл вам. Если вы расскажете о ней Даллесу – выкручивайтесь из создавшегося положения сами. Меня перестанет интересовать ваша судьба, если в дело войдет кто-нибудь третий. Я не вижу какую-либо выгоду во всем этом предприятии.

Макайр поднялся.

– И тем не менее я обязан увидаться с ним.

– Валяйте, – Визнер кивнул. – И передайте ему вот это, – он достал из кармана пять страниц бумаги.

– Что это? – спросил Макайр, обрушиваясь на диван.

– Ваша исповедь. Когда вы написали ему, каким образом протащили в Штаты агента абвера Вальтера Кохлера... Берите, берите, у меня есть копии... Да и потом это собственность Аллена, а не моя...

– Я написал... это... в одном экземпляре и передал... Даллесу...

Визнер раздраженно закурил:

– Только, бога ради, не падайте больше в обморок! Не вызывать же мне сюда доктора...

– Я хочу знать, как очутилась у вас эта бумага?

– Это не бумага, а ваш приговор. Даллес не любит выносить приговоры. Он любит миловать и помогать идти вверх. Он не станет встречаться с вами. Вы меня вынудили сказать вам правду. Я не хотел этого, честное слово... Садитесь к столу и пишите то, что я вам продиктую.

– У меня трясутся руки...

– Помассируйте... Соберитесь в конце концов, как не стыдно... Итак, договорились или нет?

– Да. Мы договорились.

– Ну и слава богу, Боб. У меня камень свалился с плеч. Садитесь и пишите...

Макайр медленно, по-стариковски поднялся, шаркающе обогнул диван, сел в кресло Визнера, взял ручку, медленно, как-то заторможенно отвернул колпачок, придвинул блокнот и сказал:

– Диктуйте, мистер Визнер.

– Фрэнк. Теперь я снова Фрэнк, ладно? Я снова для тебя Фрэнк. Пиши, Боб: «Пепе. Сколько можно травить меня Кохлером? Кто сказал вам о нем? Поверь, я не знал, что он нацист, когда привез его в Штаты. Вы поступаете как марионетка в руках Штирлица. Вы на грани измены этой стране, Пепе. Одумайтесь. Я готов понести наказание за Кохлера, но оно будет сущей ерундой в сравнении с тем, что может ждать вас. Ваш друг Макайр». Дату пока не ставь, помозгуем вместе... Теперь второе: «Пепе, я никогда не был человеком робкого десятка. Тебе не удастся меня запугать. Я не пойду на то, чего ты требуешь. Молю тебя, одумайся! Макайр». Это подпиши сегодняшним днем... А первое датируй тем днем, когда Роумэн был у тебя перед вылетом в Голливуд... Он вернулся из Кордовы, помнишь, со списком нацистов, которые скрывались в Аргентине, а ты выгнал его из кабинета...

...Эти письма обнаружат в кабинете Макайра, в его сейфе, после того, как тело найдут в порту, с тремя огнестрельными ранами в животе, – месть мафии; на этом Лаки Луччиано будет сломан – раз и навсегда. Лаки терять нельзя – умница и настоящий мастер своего дела, без таких, как он, будущая работа серьезной разведки немыслима...

МЮЛЛЕР, ШТИРЛИЦ (сорок седьмой)

Штирлиц проснулся, словно от удара; не открывая глаз, совершенно явственно ощутил, что на него кто-то пристально, неотрывно, изучающе смотрит.

Сколько сейчас, подумал он, видимо, восемь, а может, восемь пятнадцать, но никак не больше, правда, ящерка?

Он ощущал время, ошибаясь в пределах десяти, максимум пятнадцати минут. В детстве, когда был жив папа, он мог спать до десяти, а то и одиннадцати, особенно если накануне собирались гости; впервые он проснулся ни свет ни заря после того, как Мартов и Воровский привели в их маленькую цюрихскую квартирку вождя мирового анархизма князя Кропоткина.

Петр Александрович пил чай легкими глотками (отец потом заметил, что весь аристократизм князя как бы сфокусировался в той грациозной элегантности, с какой князь держал чашку, ставил ее на блюдце, пробовал варенье и брал крекер), говорил по-юношески увлеченно:

– Перед тем как поспешить к границам, чтобы спасти страну от нашествия чужестранцев, восставшие парижане казнили дворян, содержавшихся в тюрьмах. Нет сомнения, что аристократы примкнули бы к немцам и вздернули всех революционеров на столбах. Тех, кто обвиняет в жестокости поднявшихся против тирании, следует спросить: «А ты сам страдал в темницах?! Ты провожал своих друзей на гильотину?!» Если не страдал – молчи и стыдись обвинять восставших! Тем более, что в массе своей народ сострадателен к своим

жертвам; террор подготовляет диктатуру, а гильотина требует нового прокурора и попа, все возвращается на круги своя. Зло заразно, как и добро. Людей будущего надо приучать к мысли: «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой». Справедливость и энергия перевернут мир. Энергия еще более заразна, чем зло. Будущее за людьми, наделенными энергией, которая всегда окрашена созидающим духом творчества...

Эти слова Кропоткина навсегда запали в душу Исаева; именно после того, как князь, приезжавший на встречу с социал-демократами (высоко чтил Ленина, несмотря на кардинальные разногласия идейного порядка), посетил их дом, отношение Всеволода к самому себе во многом изменилось: «энергия и справедливость» сделались путеводными звездами юности; пожалуй, именно тогда, в Швейцарии, он начал ощущать время, его быстротечность, а ведь именно в минуте реализуются как энергия, так и справедливость..

Штирлиц открыл глаза; комната, куда его ночью проводил Мюллер, была на третьем этаже особняка; окно, закрытое тяжелыми металлическими жалюзи, выходило на поле аэродрома; видимо, подумал он, за мною наблюдают из соседних комнат; зеркало возле умывальника — особое, сквозь него видно каждое мое движение, каждый жест, выражение лица, только цвет чуть изменен, синеватый, трупный какой-то; через такое же зеркало из соседней камеры наблюдали за Канарисом, довольно часто в тюрьму приезжал Кальтенбруннер, садился возле этого чуда техники и молча смотрел на адмирала, стараясь открыть для себя что-то такое, что мучило его — чем дальше, тем, судя по всему, больше.

Штирлиц протянул руку, взял со столика часы, посмотрел на циферблат: восемь часов девять минут, у меня осталось еще два дня; если через сорок восемь часов не произойдет то, что запланировано у нас с Роумэном, мое пребывание на этой прекрасной, сумасшедшей, не собранной воедино земле окончится раз и навсегда. Перевоплотишься в волка, сказал он себе. Или в березку. Ничего, посуществуешь, лишенный счастья общения посредством языка; волки объясняются по-своему, да и березы обладают даром говорить друг с другом. Только мы еще не сумели разгадать их язык. Впрочем, язык ли это? Наверное, явление совершенно иного порядка; даже перемещение облаков каким-то образом организовано — нет той давки и сумятицы, какая сопутствует людским перемещениям в часы пик.

Штирлиц не стал затыкать пробочкой раковину, как это делают немцы, — время игр кончилось, разговор идет в открытую, времени мало, поступать надо так, как хочется, а мне хочется мыться из-под крана, по-русски, подставляя под ледяную струю голову, шею, лицо, ощущая при этом особый, горный запах этой воды, таящей в себе легкую голубизну, до того чиста; что значит источник, бьющий в горах!

Дверь, понятно, была заперта снаружи; Штирлиц трижды постучал, замок сразу же открылся, видимо, в коридоре дежурил постоянный пост.

Двое рослых парней, стриженных «под бокс», стояли прямо перед ним, и в глазах у них была нескрываемая, тяжелая ненависть.

– Доброе утро, ребята, – сказал Штирлиц, – как отдохнули?

Те, не ответив, сопроводили его в холл, – там уже был накрыт стол: ветчина, фаршированные колбасы, сухой сыр, молоко; Мюллер сидел возле окна, задумчиво перелистывая книгу; услышав шаги по широкой деревянной лестнице, поднялся, пошел навстречу Штирлицу:

– Вы слишком долго спите, Штирлиц, – сказал он, чуть кивнув охранникам; те растворились; ну и школа, ай да Мюллер, так сохранить былое дано не каждому, да здравствует незыблемость традиций!

– Я сплю ровно столько, сколько необходимо для реанимации нервных клеток, – ответил Штирлиц.

– Единственно, что не реанимируется, а постоянно умирает, именно нервные клетки, мой друг. . Кстати, я запамятовал, какое у вас звание в русской секретной службе?

– Было полковник, – ответил Штирлиц.

– Значит, сейчас вы генерал? – оживился Мюллер. – Или, наоборот, разжалованы до рядового? Со всеми вытекающими последствиями?

– Вполне может быть, – согласился Штирлиц.

– У вас еще много информации, которую предстоит обсудить?

– Много. На три дня, как минимум. Кстати, гулять вы меня намерены пускать? Или полный затвор?

Мюллер сел во главу стола:

– Погуляем, Штирлиц, погуляем. Располагайтесь по правую руку, мне приятно ухаживать за вами.

– Спасибо, группенфюрер... Или, быть может, вы хотите, чтобы я обращался к вам как к сеньору «Рикардо Блюму»?

Лицо Мюллера закаменело:

– Мне жаль, что эта информация стала вашим достоянием. Сейчас вы нанесли мне удар, Штирлиц. Я полагал, что «Рикардо Блюм» известен только четырем моим самым верным контактам... Кто вам назвал это имя?

– Угостите кусочком фаршированной колбасы, группенфюрер, – попросил Штирлиц. – Я опасаюсь, как бы вы не решили вновь попробовать меня на выдержку, перед пытками надо как следует подкрепиться...

– Надеюсь, вы понимаете, что мои люди восстанавливают весь ваш маршрут? Полагаю, вы отдаете себе отчет в том, что я узнаю, как вы сюда прибыли, откуда, с чьей помощью?

– Убежден.

– Хорошо держитесь. Порою я вообще сомневаюсь: есть у вас нервы или вам сделали какую-то хитрую операцию, заменив их совершенно новой субстанцией, которая ни на что не реагирует, а лишь фиксирует происходящее?

Штирлиц несколько удивился:

– Раз вы сомневаетесь, значит, у меня есть нервы. Все то, что вызывает сомнение, – существует... У меня, например, тоже есть со-

мнения по поводу вашей активности в северной Италии в апреле сорок пятого... Я снова хочу спросить: нас никто не слышит, группенфюрер? Я не зря задавал вам этот вопрос вчера, не зря повторяю его сегодня. Не думайте, что в мире мало людей, которые хотят занять ваше место. А будет – когда кончится «дух Нюрнберга» – еще больше... Так что мой вопрос в ваших интересах...

И Мюллер дрогнул.

По-кошачьи, бесшумно поднявшись, он подошел к двери, что вела на кухню, резко распахнул ее: два индейца-повара сидели на подоконнике, наблюдая за тем, чтобы не переварить кофе, стоявший на большой плите; Мюллер подкрался к той двери, что вела в его кабинет; там тоже никого не было.

– Тем не менее включите радио, – посоветовал Штирлиц. – Дело того стоит.

Мюллер ткнул пальцем в шкалу «Блаупункта»; как обычно, передавали испанские песни – гитара, кастаньеты и захлебывающийся голос женщины.

– Теперь вы спокойны? – спросил Мюллер, вернувшись на свое место.

Штирлиц покачал головой:

– Теперь спокойны вы, группенфюрер... Помните, как двадцатого апреля сорок пятого года вы расписались на приказе, полученном от фюрера: «службе гестапо обеспечить вывоз в Альпийский редут вождя мирового фашизма, дуче Италии Бенито Муссолини»?

– Если я и забыл, то у вас должен быть этот приказ, не правда ли?

– Конечно.

– Дадите ознакомиться?

– Пожалуйста, – Штирлиц протянул ему копию, сделанную на тонкой бумаге.

Мюллер пробежал глазами текст, кивнул:

– Да, подпись моя. Но ведь в получении этого же приказа расписался и Кальтенбруннер, и обергруппенфюрер СС Вольф.

– Кальтенбруннера повесили, Вольф в тюрьме, а вы являетесь неким преемником идей фюрера, нет? Следовательно, отвечать за неисполнение приказа – перед лицом членов партии – придется вам, группенфюреру Генриху Мюллеру; больше некому.

– Я сделал все, что мог, Штирлиц, – Мюллер положил себе ветчину и начал тщательно жевать, скрывая полнейшее отсутствие аппетита.

Штирлиц покачал головой, сострадающе вздохнул:

– Нет, группенфюрер. Все не так. У меня есть документы, которые говорят об обратном...

– Очень любопытно услышать систему доказательств от противного...

– А кофе дадут?

Мюллер нажал на кнопку под столом; индейцы принесли кофейник, аромат был горьким, чуть пьянящим.

– Сливки нужны? – поинтересовался Мюллер

– Ни за что, – ответил Штирлиц. – Водкой не угощаете, напьюсь крепким кофе.

– Могу угостить и водкой.

– Спасибо. Чуть позже.

– Я весь внимание, Штирлиц...

– Сейчас, только доем фаршированную колбасу... Вкусна, сил нет оторваться...

Он деловито, с видимым, а не наигранным наслаждением доел колбасу, налил себе кофе и неторопливо заговорил:

– Как мне кажется, Гитлера на самом деле не очень-то тревожила жизнь Муссолини... Его более всего волновала судьба диктатора: если бы с дуче не произошло то, что ныне известно всем, – а случилось это двадцать восьмого апреля, и Гитлер читал радиосообщение о трагедии, – я не знаю, как бы себя повел великий фюрер германской нации... Я расскажу вам, отчего оставшиеся в живых лидеры национал-социализма не простят вам гибели Муссолини... Помните, еще в феврале сорок пятого, когда генерал Вольф впервые прибыл в Швейцарию к Даллесу, вам поступили сведения о контактах Муссолини с миланским кардиналом Шустером?

– Я не помню этого, Штирлиц, – ответил Мюллер скрипучим голосом, что свидетельствовало о высшей степени раздражения. – Я руководил слишком большим подразделением, чтобы помнить все...

– Сохранилась ваша переписка с представительством гестапо при штабе дуче. Я оперирую фактами. Иначе я рискую провалить ту миссию, которая возложена на меня американскими друзьями... Так вот, уже в конце февраля вы знали, что кардинал Шустер передал англо-американскому командованию письмо Муссолини... Текст помните?

– Нет.

– Я помню. «Силы социальной республики, – писал дуче, – должны воспрепятствовать тому, чтобы жизнь нации потонула в хаосе, анархии и гражданской войне. Всякое неконтролируемое экстремистское движение (коммунистические партизанские отряды, митинги, забастовки) должно быть подавлено совместными силами моей социальной республики и союзников с помощью священников, которые приложат все усилия для пропаганды идей всеобщего умиротворения. При этом я, как дуче республики, должен знать, какова будет судьба членов правительства и руководящих деятелей моего движения». Вспомнили?

– Да вы продолжайте, Штирлиц, продолжайте, – сказал Мюллер. – Смеется тот, кто смеется последним.

– Ладно, не буду смеяться, – согласился Штирлиц. – Да и до смеха ли мне, группенфюрер? Вскоре после этого начальником «корпуса добровольцев свободы» стал генерал Кадорна, помните? Интересная личность: противник фашизма, но при этом практик антикоммунистической борьбы. И отправился генерал Кадорна не куда-нибудь, а в Швейцарию, и не к кому-либо, а к Аллену Даллесу. И там-то мистер Даллес поставил вопрос в лоб: «Сможет движение дуче удержать север Италии от коммунистического восстания? Хватит ли у Муссолини сил и авторитета спасти страну

для демократии?» И Кадорна, который был реалистом, ответил, что дуче не сможет спасти север Италии от коммунистического восстания. Он имел постоянный контакт с доктором Захарисом, отправленным Гитлером к дуче в его «столицу» Гарньяно; тот, поняв, что дело проиграно, снабжал генерала Кадорну интимной информацией о Муссолини: «Он в состоянии депрессии, плохо понимает происходящее, убежден в том, что нация стоит за его спиной, готова дать смертельный бой союзникам; порою, однако, обсуждает с главой секретной полиции Тамбурини подробности предстоящего побега на подводной лодке в Японию. Генерал Вольф, возглавивший немецкие войска на севере Италии, перестал общаться с Муссолини; впрочем, его заместитель успокоил дуче, сказав, что на днях будет пущено в ход секретное оружие фюрера, которое сметет русских, англичан и американцев; оснований для беспокойства нет; все идет, как запланировано...» И было это двадцатого апреля сорок пятого, группенфюрер, когда Гитлер возложил на вас ответственность за спасение дуче. А сделал он это не зря, ибо Шелленберг — торгуя всеми, кроме себя, — отдал в бункер информацию, что Муссолини отправился на встречу с врагами: двадцать пятого апреля в Милане дуче Италии сел за стол переговоров; напротив него расположились генерал Кадорна, христианский демократ Мараца и член ЦК партии действия Рикардо Ломбарди. Эта делегация Комитета национального освобождения имела указание: переговоры продолжаются ровно час; условие только одно — безоговорочная капитуляция. Вел встречу кардинал Шустер. Выслушав слова о «капитуляции», дуче недоуменно заметил, что ожидал совершенно иного; поинтересовался, какая судьба ждет лидеров фашизма. Ему ответили, что их судьба будет решаться по закону. «По закону военного времени? — сразу же спросил Муссолини. — Или мирного?» — «По действующим законам», — ответили ему. «Я должен посоветоваться с немцами, которые ведут бои, — сказал дуче, — только я могу понудить их сдаться, если вы гарантируете жизнь». Он прервал заседание, отправился в свой штаб, а там ему сказали, что Вольф уже сидит за столом переговоров с американцами. «Они предали меня», — сказал Муссолини и сел в машину; а ведь его сопровождали ваши люди, группенфюрер... Они должны были вывезти его в Тироль... А они его бросили, как только дуче переоделся в немецкую форму и натянул на голову каску... Один из этих ваших людей жив... Он дал показание, что вы отправили приказ: «Пусть с дуче разбираются сами итальянцы, охрану снять». Зачем вы отдали такой приказ? Чтобы поскорее уничтожили свидетеля, который лучше всех других знал, что творило гестапо в Италии? Или же — я вправе трактовать этот приказ и так — хотели помочь американцам схватить Муссолини, в случае чего зачтется?

— Текст моего приказа у вас есть?

— Есть показания.

— Одного человека?

— Трех. Дуче ведь пытался пробраться в Альпийский редут с немецкой зенитной батареей... Все солдаты, присутствовавшие при его

аресте, опрошены и в один голос показали, что люди гестапо бросили Муссолини, когда он решил ехать на озеро Комо...

– Еще кофе? – спросил Мюллер.

– С удовольствием.

– За сердце не боитесь?

– Боюсь. А что делать? Разве можно лишать себя удовольствия, постоянно высчитывая, что может из-за этого произойти в ближайшем будущем?

– Тоже верно, – согласился Мюллер задумчиво. – Ну, это, я надеюсь, все?

– Только начало, группенфюрер, – Штирлиц рассмеялся. – Я хочу напомнить вам дело Кисселя... По-моему, именно вы вели с ним переговоры в тридцать втором, а?

Мюллер резко встал из-за стола, отошел к окну, забросил руки за спину:

– У меня есть выход, Штирлиц, – сказал он тихо. – Я пристрелю вас и уйду из Виллы. Вы же понимаете, я не зря провел два года в этом регионе, мне есть где обосноваться на юге Америки.

– Бесспорно, – согласился Штирлиц. – Но если здесь вы бог национал-социализма, то в любом другом месте станете загнанным зверем. И каждый раз, когда ваши люди будут получать от вас шифры к банковским сейфам, где хранится золото СС и партии, ожидание их возвращения станет для вас муками ада... Они ведь будут брать золото изменника, группенфюрер. А зачем отдавать изменнику то, что ему по праву не принадлежит?

Мюллер повернул колесики громкости радио, увеличив мощность; вернулся к столу:

– Ну, так и что же вам известно по делу Кисселя?

– Все, – ответил Штирлиц. – Но этот документ я перешлю вам лишь только после того, как мы заключим договор. Я не принес его с собой, опасаясь обыска... Это ведь такой документ, который равнозначен для вас смертному приговору, вы же понимаете это, нет?

Мюллер понимал это.

– Комбинация была начата в тридцать втором году, когда Гитлер в третий раз отказался от должности вице-канцлера, которую ему предлагал канцлер Папен, выражавший волю Круппа и Тиссена, всего крупного капитала. После того как Папен был вынужден уйти, президент Гинденбург передал власть генералу Шлейхеру; как опытный политик, этим назначением генерала он грозил и коммунистам, и нацистам, и ненавистному Парижу: в конечном счете все и везде решает армия.

Шлейхер сразу же начал действовать; он знал, что в НСДАП произошел раскол: Штрассер рассорился с Гитлером; денег у партии не было, штурмовики стояли с кружками на улицах, прося у прохожих пожертвований; хозяин типографии, печатавшей «Фолькишер беобахтер», потребовал у Геринга немедленной уплаты долга или же: «Я прекращаю выпуск вашего листка, он ныне убыточен, уже сколько лет вы сулите немцам благоденствие, а все, несмотря на это, катится в тартарары».

Шлейхер готовился к конспиративной встрече с Грегором

Штрассером, истинным создателем НСДАП, имевшим определенное влияние на рабочих Рура: «Если я смогу уговорить его стать членом моего кабинета в качестве премьер-министра Пруссии, за Штрассером пойдет треть нацистских депутатов рейхстага и Гитлер таким образом перестанет быть той силой, которая шантажирует республику. Меня устраивает штрассеровская трактовка национал-социализма, поскольку, по его словам, он не имеет никакого отношения к интернационализму; это дух товарищества нации плюс высочайшая производительность, социализм немцев — это крепостные стены имперских городов, традиции и дисциплина!»

После первой встречи Шлейхер привез Грегора Штрассера в имение президента Гинденбурга; старый маршал внимательно обсмотрел сухое, чуть удлиненное лицо одного из руководителей национального социализма, заметив при этом: «Какое счастье, что вы говорите без венского акцента... Все же немцы любят хохдойч, государственность вне главного диалекта страны немыслима».

Тогда же, во время этой встречи, Гинденбург согласился предоставить Штрассеру пост вице-канцлера. Вы же знали об этом, группенфюрер, нет?

— Продолжайте, пожалуйста, Штирлиц, — все более раздражаясь, ответил Мюллер. — Вы обещали рассказать о каком-то Кисселе, вот я и жду этого рассказа.

— «Какой-то Киссель», — Штирлиц улыбнулся. — Вне отношений Штрассера и Гитлера дело Кисселя не имеет смысла, группенфюрер, и вы прекрасно это знаете... Вы же помните, что после того, как в декабре тридцать второго Штрассер подал в отставку со всех своих постов в партии и заявил прессе, что Гитлер проводит политику «исключительности», которая чревата закатом движения, фюрер был близок к самоубийству, потому что на местных выборах НСДАП потеряла треть голосов. «Я всегда мечтал привести к управлению государством нацию немцев, — заявил Штрассер, — крестьян, рабочих и служащих. Гитлер хочет править государством единолично, — в этом два подхода в партии к вопросу о власти!» Вот тогда-то и возник ваш старый знакомый, редактор Церер, которого вы спасли от скандала в Мюнхене, когда его, пьяного, обобрали две проститутки, а он их за это избил до полусмерти... А ведь каков был трибун, глава газеты «Ди тат», адепт «немецкого духа», хотя, правда, это не мешало ему утверждать, что если дух нации медленно, но постоянно ставится под контроль, то это полезнее всего для него самого, ибо наиболее глубокие идеи человечества довольно редко возникали на свободе... Помните?

Мюллер деревянно хохотнул:

— Это как раз помню... Любопытное умозаключение... Многосмысленное. И вполне рациональное...

— А закрыть уголовное дело Церера тоже рационально?

— Конечно, — ответил Мюллер устало. — Увы. Ну, валяйте дальше... Вот уж никогда не думал, что даже я так много наследил в архивах...

— Каждый человек, думающий о карьере, *следит*, группенфюрер... Вы же помните, что именно Церер приехал к вам с просьбой

поглядеть в архивах полиции дела на всех тех, кто был в охране фюрера?

– Не помню, – отрезал Мюллер.

– Это было третьего января тридцать третьего года, группенфюрер. Именно третьего января вы затребовали дела на людей СС, охранявших Гитлера... И нашли компрометирующие материалы на Кисселя: он привлекался к суду за растление малолетней, но был помилован, потому что ему не хватило трех дней до шестнадцатилетия, а девочке было девять... И вы вместе с Церером пришли к нему ночью, на Келенхоф, три, помните?

– Нет, – повторил Мюллер, напрягшись, – не помню.

– И Церер передал Кисселю три тысячи марок... За то, чтобы тот сказал, какие шаги намерен предпринять Гитлер после ухода Штрассера. Не помните?

– Конечно, нет.

Штирлиц достал еще листок и протянул его Мюллеру:

– Здесь расписка Кисселя, заверенная вашей подписью... И дата, самое главное, дата. Вы ведь перевербовали охранника фюрера накануне его поездки в Кёльн для тайной встречи с бывшим канцлером Папеном...

– Не повторяйте коммунистическую пропаганду, Штирлиц. Это пройдет на публике, а со мною не надо.

Штирлиц покачал головой:

– В Лондоне только что опубликована стенограмма последних переговоров Гитлера с Папеном... Положение безвыходное, денег нет, партия разваливается, рабочие Рура – те, что не с коммунистами, – повернули к Штрассеру, что делать? И Гитлер вместе с Гессом, Гиммлером и экономическим советником партии Кепплером приехали в Бад-Годесберг, там Гитлер пересел в машину, которая доставила его в дом банкира Шредера... На пороге стоял Папен – «враг» НСДАП. А фюрер обменялся с ним рукопожатием. И в это время выстрелил блиц фоторепортера, – вы же знали от Кисселя все; назавтра сенсационный снимок о тайной встрече Папена с Гитлером стал достоянием общественности... Тогда, правда, не стали достоянием общественности документы, подписанные в тот день Гитлером и Папеном: оживление экономической конъюнктуры, то есть – если расшифровать – военные заказы промышленности и аннулирование версальских соглашений... Через три часа Папен посетил финансистов Феглера и Шпрингорума, – те внесли деньги в казну национал-социалистов; отчислил средства Юнкерс; в середине января состоялась еще одна встреча Папена с Гитлером – в Берлине, в доме Риббентропа; об этой встрече вы уже не знали, группенфюрер, но вы знали, что канцлер Шлейхер намерен распустить парламент и ввести чрезвычайное положение, чтобы выслать Гитлера из страны, а на его место поставить Штрассера... И вы были готовы депортировать фюрера в Австрию, нет?

– Такого документа не было в природе, Штирлиц.

– Верно. Такого рода документы не составляются, слишком рискованно. Но показания о том, что вы обсуждали с полковником От-

то, посланцем канцлера Шлейхера, – за три дня перед его падением, – что вы возьмете на себя эту миссию, сохранились.

– Покажите.

– Не-а, – Штирлиц усмехнулся. – Пошли погуляем, успокоимся, подышим воздухом, потом покажу.

Мюллер поднялся, походил по огромному холлу, остановился около Штирлица, потом навис над ним:

– Давайте проанализируем вашу информацию, дружище... Давайте проанализируем ее без гнева и пристрастия... То, что вы говорили мне вчера и сегодня, – сенсационно, спору нет... Да, опубликованием этих материалов вы поначалу действительно восстановите против меня значительную часть нашего братства... Но вы должны понимать: я добьюсь от вас показаний, что эти материалы сфабрикованы вашими руководителями на Лубянке... И тогда большинство, которое поначалу поверило вам, – всегда приятно валить собственные беды на головы врагов – вернется ко мне... Ну, а меньшинство, вы правы, возможно, начнет против меня борьбу...

– Радикальное меньшинство, – уточнил Штирлиц. – Фанатики. Люди, считающие, что фюрер был, есть и будет лучшим лидером нации. Это опасные люди, психически неуравновешенные, лишенные дара перспективы, уповающие на возвращение прошлого, а такие люди готовы на все, группенфюрер, их надо – судя по вашим словам, которые вы сказали одному из убийц Ратенау, придурку Саломону, – «давить, как вшей»...

Мюллер кивнул:

– Верно, я сказал ему именно так... Другое дело, как я поступал... Или как я намерен поступать впредь... Фанатики – прекрасный материал для нагнетания чувства ужаса в мире, ибо оно, это чувство ужаса, суть предтеча надежды на сильную руку. На тех, кто может положить конец безумию, крови, разгулу страстей! Вы несколько раз упомянули ваших североамериканских коллег... Я – цените мой такт – пока еще не задал вам вопроса, кто эти люди, кого они представляют, кем были ранее, на что уповают в будущем... Все то, о чем мы с вами говорили вчера и сегодня, компрометирует меня в глазах радикалов национал-социализма, вы правы... Но ведь это делает меня незаменимым для ряда лиц разведывательной группы Вашингтона, которые – с некоторым, правда, опозданием – признали наконец, что главной опасностью для мира следует считать коммунизм. И этим людям я – Генрих Мюллер, сражавшийся в меру своих сил с национал-социализмом, поддерживавший Веймарскую республику, последнего демократического канцлера Германии генерала Шлейхера, зверски убитого Гитлером в тридцать четвертом году, готовый по его приказу, несмотря на смертельный риск, вышвырнуть из страны Гитлера, – буду в высшей мере нужен. Никто, как я, не знает потаенных пружин нацизма, и никто, как я, не сделал так много для искоренения коммунизма в Баварии, а потом и во всей стране... Причем я боролся с красными не по принуждению, не потому, что был коричневым, – вы ведь знаете, я вступил в партию только в тридцать девятом, – а по велению совести. Из-за моих идейных позиций... Ваши документы помогут мне

сговориться с паршивыми янки, Штирлиц... А в этом я сейчас заинтересован...

– Нет, группенфюрер. Вам не удастся сговориться с янки... Хотя вы правы, кое-кто из разведки и пошел бы на контакт с вами. Если там есть люди, которые назвали генерала Гелена «патриотом демократической Германии», то и вас можно было бы определить как «борца против коммунизма»... Но теперь альянс не получится... Вы же слышите американское радио – такого удара против наци, обосновавшихся в Аргентине, еще не было... И это не случайно, они хотят сражаться с коммунизмом «чистыми руками»... Так что у вас есть только один выход – договор со мной... А когда вернемся с прогулки, начнем разбирать американский узел... Неужели ничего не помните?

И Мюллер ответил с поразившей Штирлица искренностью:

– Клянусь вам, нет!

КРИСТА, ЭЛИЗАБЕТ, ДЕТИ, НИЛЬСЕН, ЭР (сорок седьмой)

Элизабет позвонила Кристине с аэродрома; как и было заранее уговорено, произнесла лишь два слова:

– Я тут.

И положила трубку.

Маленький Пол тяжело перенес полет через океан; три раза вывернуло, очень плакал, в отчаянии ударял себя маленькими кулачками в живот, обиженно повторял: «Здесь болит, ну погладь же, пусть перестанет!»

Питер смеялся:

– Смотри на меня, плакса! Лечу, и все! Как не стыдно! А еще говорил: «Я – ковбой, я – ковбой!» Еще, чего доброго, наложишь в штанишки со страха!

Маленький завопил от бессильной обиды; продолжая бить себя в живот кулачком, он, захлебываясь слезами, пытался объяснить брату:

– У меня же болит, понимаешь?! Режет! Ну что же ты ничего не можешь сделать, ма?!

Я тоже всегда сердилась на маму, когда она не могла мне помочь, вспомнила Элизабет; наверное, оттого, что мы рассказываем детям сказки, они убеждены, что волшебство естественно и каждый взрослый обладает даром мага; если не делает, чего хочется, значит – плохой... Правда... Бедная мама не знала, как решать задачи, а я ее за это шепотом ругала; прости, мамочка... А вообще, наверное, нет ничего страшнее, когда не можешь помочь маленькому; если я сейчас не сдержусь и заплачу, Пол еще больше испугается.

Она легонько шлепнула Питера:

– Не смей его дразнить! Видишь, как ему плохо!

Теперь зашелся Питер, – он ведь так гордился, что с ним все в порядке, мама должна быть рада, лечу себе, и ладно, а она...

Пол сразу же перестал бить себя кулачками в живот, успокоился, опустил голову на руку матери и легко уснул.

– Прости меня, Питер, – шепнула Элизабет. – Мне очень стыдно. А ты настоящий мужчина, я тобой горжусь. Правда. Я просто сорвалась. Прости.

Господи, подумала она, даже братья радуются, если плохо всем вокруг. Откуда это в нас?! Наверное, я ужасно поступила, но иначе Пол извел бы всех, стыдно перед соседями... Ах, да при чем здесь соседи, сказала она себе, этого шлепка Питер ни в жизнь не забудет. Несправедливость родителей не забывают. То, что прощают чужим, своим не спускают... А Пол больше похож на меня... Я тоже радовалась, когда мама зря наказывала Пат... Я переставала плакать, когда доставалось сестре, испытывая удовлетворение... Ужасно, такая крохотуля, а уже взял от меня самое плохое... Питер – вылитый Спарк, как ему будет трудно жить с его добротой и девичьей обидчивостью... Он хорошо дерется, за дело отлупил соседского Боба, но его нужно вывести из себя, иначе он никогда не поднимет руку... Господи, Спарк, только бы с тобой все обошлось, ведь если у Пола не получится, мы все погибли...

...Кристина приехала через полчаса, сразу же нашла их в аэропорту, прижала к себе Пола, обцеловала Питера и Элизабет; миленькие вы мои, как же вы устали, совсем белые!

– Не очень-то обнимай Пола, – вздохнула Элизабет, – его несколько раз вырвало.

Кристина прижалась губами к потной шейке мальчика; зажмурилась от нежности:

– Ох, какой сладкий запах, боже! Кисленькое со сладким! Сейчас мы его с тобой положим в ванну, да, Питер?!

– Мы вместе ложимся в ванну, – ответил старший, – ты что, забыла?

– Да, – ответила Криста, – забыла... Из-за больших расстояний все значительно скорее забывается.

К себе домой их, однако, не повезла; отправились к докторанту Паулю, там малышей вымыли и уложили спать; Элизабет устроилась с ними на одной тахте, словно тигрица, охраняющая детенышей; как можно уместиться на самом краешке? Десять сантиметров, спит на весу!

Пауль постелил себе на полу, перебрался в прихожую; Кристина уехала в город, в кабачке нашла Нильсена, как всегда работал; тот, увидав женщину, молча кивнул, дождался, пока она вышла, отправился на набережную, где стояла яхта «Анна-Мария»; света зажигать не стал, спустился к мотору, проверил запас бензина, пресной воды и масла, потом поднялся на палубу, сел, скрючившись, замер, сунув в рот свою душегрейку.

Кристина заехала домой, выключила во всех комнатах свет, зашторила окна и выскользнула на темную улицу через двор, бросив свой велосипед у парадного. В три часа утра добралась до центрального почтамта, заказала разговор с Мюнхеном; Джек Эр, конечно же, спал сном младенца, к телефону подошел после седьмого звонка.

– Я еду с родственниками, – сказала Криста, – в деревню.

И, не дождавшись ответа, положила трубку.

В четыре утра она вернулась к Паулю, попросила его взять на руки Питера; Пола прижала к себе; в пять были на набережной, в пять пятнадцать, когда только-только начало светать, Нильсен запустил движок и повел яхту в открытое море.

— Вы пока располагайтесь в каюте, — сказал он женщинам. — И готовьте завтрак. Я подключил плитку, в шкафу молоко и яйца, обожаю омлет, только свет не надо включать, ладно? А когда мы выйдем из бухты и я лягу на курс, мы устроим пир... Если, конечно, не будет встречных судов... А даже если и будут, сделаем стол на палубе, морской ветер пахнет яблоками, не смейтесь вы, я говорю правду...

Мальчики спали, прижавшись друг к другу на лавке, укрытые толстым пледом; внутри хранились надувные жилеты и плотик; Элизабет и Криста сидели друг против друга, оставшись, наконец, вдвоем, когда можно спокойно говорить; поэтому молчали.

Криста достала из кармана теплой куртки пачку «Лаки страйк»; Элизабет заметила, что сигареты были раскрошившиеся, как у Пола, и заплакала.

— Не надо, — шепнула Криста, положив свою руку на ее сцепленные пальцы. — Теперь все в порядке, сестричка...

Элизабет покачала головой:

— Я не верю, когда все идет нормально... Я стала бояться спокойствия, Крис... Я вся издергалась... Мне постоянно хочется куда-то идти, что-то делать, смотреть в окна — не прячется ли кто там... «Все в порядке», — повторила она, глотая слезы. — А Спарк остался заложником... Где Пол? Что с ними? Ты знаешь?

— С ними все в порядке, — сказала Криста. — Давай постучим по дереву... Видишь, сколько здесь дерева?

Она заставила себя улыбнуться, хотя дрожь, которая била Элизабет, передалась и ей; но у меня же нет маленьких, сказала она себе. Я должна быть сильнее; сейчас мне надо вести ее... Не ей, старшей, а именно мне, потому что мое сердце принадлежит Полу, а у нее разделение между Спарком и маленькими Полом и Питером... Сразу трое... Это же так тяжело, невыносимо тяжело... Без детей жить проще, сам себе хозяин... Зачем ты лжешь, спросила себя Криста, кто тебя принуждает врать самой себе? Гаузнеры, ответила она. Пока в мире есть гаузнеры, очень страшно давать жизнь новому человеку; обрекать на те муки, что прошла ты. Зачем? Бог дал тебе любовь, вот и люби... Ну да, возразила она себе, а когда придет старость? Ты хочешь, чтобы пришла старость? Неужели ты хочешь этого, спросила она себя. Старость — это тоже детство, но если ребенок мудр в своей первородности, то старики исполнены хитрости, недоверия, страха; не жизнь, а постоянное ожидание неизбежности конца...

Нет, подумала она, ты не права, вспомни Ханса... Спортсмен, был заядлым охотником, гордился своим аристократическим происхождением, здоров, как юноша; он часто ездил с папочкой на охоту. «Мне пятьдесят пять, но я чувствую себя двадцатилетним! Но не обольщаюсь! Шестьдесят лет — последний рубеж мужчины... Потом всех нас надо отстреливать... Да, да, именно так, санитар-

ный отстрел... Ведь дают же лицензии на старых лосей в то время, когда охота запрещена, – надо освобождать вид от балласта!» Перед самым началом войны Хансу исполнилось шестьдесят четыре; он был по-прежнему крепок, завел подругу, которую таскал с собою на охоту, обожал горячую еду и проповедовал необходимость постоянной близости с женщиной: «Это – натуральный женьшень». Криста как-то услышала его разговор с отцом. «Знаешь, Кнут, я был у профессора Бларсена, – говорил папочке старик, – ну, этого, знаменитого, который занимается сексологией... Я спросил, сколько раз в неделю надо любить женщину... Знаешь, что он ответил? Не догадаешься! Он просто рассмеялся: чтобы любить, надо любить постоянно: «Если у вас сломана рука и вам наложили гипс, сколько времени потом придется ее разрабатывать?! А?!» Вот я так и поступаю... Но вообще есть физиологическая граница: всех стариков, кто перевалил за семидесятилетний рубеж, надо отстреливать. Ведь дают же лицензии на старых оленей, когда охота в лесу запрещена?! Балласт, надо освобождать вид от балласта!»

– О чем ты думаешь? – спросила Элизабет, вытирая слезы.

– Вздор какой-то лезет в голову.

– Надо было бы зайти в церковь и помолиться за наших... У вас есть протестантские церкви?

– Не знаю... Я не верю в церковь... Я в бога верю...

– Все мы дуры... Какие-то неполноценные, – Элизабет утерла слезы на щеках ладонями и по-детски шмыгнула покрасневшим носом. – Больше всего я мучаюсь оттого, что Спарк улетел отдать себя в залог без смены чистого белья... И носки на нем были несвежие... Мне стыдно, что подумают о его жене те люди, которые стерегут... «Ну и баба у него, надо привести хорошенькую кубиночку, очень заботливые жены...»

Крис, наконец, закурила, затянулась по-мужски, очень глубоко:

– Думаешь, все это время мне не лез сор в голову?! У нас один биолог читает курс о взаимоотношениях полов... Рекомендует женщинам – мы же дисциплинированные, честолюбивые – ставить себе ежедневные оценки за поведение: «Это будет держать вас в кулаке, гарантия семейного баланса абсолютна»... Я спросила: «А может, лучше просто любить того, кого любишь? Не свою к нему любовь, а его? Не пропуская все происходящее через себя, через то, как на это посмотрят и что подумают другие? Просто любить и поэтому быть счастливой?»

– Дай сигарету...

– Ты же не куришь...

– О, я раньше была такая заядлая курильщица! – Элизабет, наконец, улыбнулась. – Я бросила, когда вот этот должен был родиться, – она положила руку на голову Питера, совершенно не страшась, что мальчик проснется. А я бы не решилась так, подумала Кристина, она про них все знает, хотя никто ее этому не учил... Всему учат: и математике, и хорошему тону, и сексологии... Вот только этому жесту научить не смогут, врожденное...

– Хочешь, погадаем? – спросила Кристина.

– Веришь?
– Да.
– А я боюсь.
– Я начну с себя... А потом погадаю на Пола... Если захочешь, потом погадаем на Спарка...
Элизабет снова улыбнулась, жалко и растерянно:
– Нет. На меня. Я боюсь гадать на него и на маленьких. Давай погадаем на нас...
Криста отошла в нос каюты, открыла дверки стенного шкафчика, где хранилась посуда, отодвинула тарелки и достала из-за полки маленькую книжку в зеленом сафьяновом переплете.
– Называй страницу, – сказала она. – На меня.
– Первую сотню открывать неинтересно, – сказала Элизабет. – Это все заставляли учить в колледже, в зубах навязло... Давай так... Страница двести седьмая, сверху восьмая строка...
Жаль, что она не назвала цифру «семь», машинально подумала Кристина; прочитала текст:
– «Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками»...
– Дальше, – попросила Элизабет.
– По-моему, и так все понятно...
– Что, дальше плохо?
– Не знаю...
– Дальше, – повторила Элизабет, – я боюсь одной строки... Приходится много додумывать...
– Это ничего, если я закурю еще одну сигарету? – спросила Крис, кивнув на спящих мальчиков.
– Закурим вместе, – ответила Элизабет; она снова держала себя, стала прежней – спокойной и чуточку снисходительной.
– «Но снабди его от стад твоих, – продолжила Криста, – от гумна твоего и от точила... Дай ему, чем тебя благословил Господь... Помни, что и ты был рабом в стране Египетской и избавил тебя Господь, Бог твой, потому я тебе это и заповедую... Если же он скажет: «Не пойду я от тебя, потому что люблю тебя и дом твой», возьми шило и приколи его ухо к двери, и будет он твоим рабом навек. Так поступай и с рабою твоей»...
Элизабет, наконец, весело засмеялась, ничуть не опасаясь, что мальчики проснутся, а Криста даже створки стенного шкафчика открывала осторожно, страшась, что запоют петли; бедненькая, как же трудно ей; сердце разорвано на три части, а я до сих пор не верю, что Пол по-настоящему мой муж... Чему ты не веришь, спросила она себя. Тому, что он «твой»? Или «муж»? Это разные понятия. В этом пустячном различии корень людских бед... «Мой» – собственность, «муж» – это мужчина, который позволяет себя любить, нежно и покорно принимает мою ласку; мужчина – это сила вообще; муж – сила, защищающая тебя, вот в чем разница...
– У тебя было прекрасное гадание, – сказала Элизабет, затягиваясь. – Хочешь, я буду толкователем?
Криста села рядом с ней, прижалась, ощутила ее опавшую грудь, вспомнила маму, дрогнула спиной, испугалась, что не сдер-

жится, разревется; нельзя, ни в коем случае нельзя, ей труднее, чем мне!

– Тебе холодно? – спросила Элизабет, почувствовав, как вздрогнула спина Кристы. – Не простудилась?

– Нет, мало спала.

– Ты совсем не спала, бедненькая, – сказала Элизабет и подняла с ее лба тяжелые, шелестящие волосы. – Какая же ты у нас красивая... Совершенно григовская девочка... Не сердись, я темная, но Григ был норвежцем или финном?

– Не сержусь, – Криста прижалась к ней еще теснее. – Норвежцем. На тебя будем гадать?

– Обязательно... Страница триста пять, двенадцатая строка снизу.

Не открывая книгу, Криста спросила:

– Ты называешь цифры с каким-то смыслом? Или просто так?

Элизабет удивилась:

– А какой смысл может быть в цифрах?

Криста убежденно ответила:

– Может... Я почему-то боюсь цифру двенадцать... Хочешь перегадать?

– Так нельзя... Давай уж, что делать... Тем более, все это чепуха...

Криста нашла страницу:

– «Теперь иди и порази Амалика...»

– Дальше, – попросила Элизабет.

– «И истреби все, что у него».

– Дальше...

– «И не дай пощады ему»...

– Дочитай до конца строфы, Крис...

– «Но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла»... Чушь, да?

– Помолимся, а? – сказала Элизабет. – Какая же это чушь?

Они замерли; сигареты, оставленные в пепельнице, дымились; Кристина хотела потушить их; Элизабет махнула рукой, ерунда; мгновение побыли – каждая в себе самой – недвижными, потом Элизабет взяла свою сигарету и затянулась еще тяжелее:

– Знаешь, всегда все бывает наоборот... Чем хуже гадание, тем лучше в жизни...

– Верно... Я погадаю на Пола... Четыреста седьмая страница, тринадцатая строка сверху... Вот... – Она зажмурилась. – Читаю... «И сказал Господь Иную, что было праведно в очах Моих, выполнил ты над домом Ахавовым все, поэтому сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле...»

Вошел Нильсен, потер руки, подул на пальцы, словно они замерзли, хотя день обещал быть теплым:

– Дамы, а где же омлет и кофе? Мы вышли в море, впереди и по бортам ни одного судна на двадцать миль, у меня есть десять минут на отдых... Смотрите-ка, ни ветерка, ни тучки, полный штиль, можно даже патефон завести.

– Заведите, – обрадовалась Элизабет. – У вас хорошие пластинки?

Нильсен обернулся к Кристине:

– На вашей яхте хорошие пластинки, мадам?

– Что бы тебе хотелось послушать, сестричка?

Элизабет открыла наугад страницу, ткнула пальцем, загадала на Спарка, прочла первые строки: «Погибни, день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: «Зачался человек!» – захлопнула книгу в зеленом сафьяне, заставила себя улыбнуться и сказала:

– С радостью послушала бы «Пер Гюнта»...

На вокзале в Гамбурге было грязно и пусто, восстановительные работы шли ни шатко ни валко, англичане – в отличие от младших братьев – палец о палец не ударяли, чтобы вдохнуть жизнь в разрушенную страну; лицензии на открытие газет и радиостанций давали легко, без раздумий; позволяли регистрацию только небольших фирм, не помогая ни строительными материалами, ни продовольствием: «Сначала мы восстановим Остров, разбитый немецкими «фау», а уж потом решим, как быть с «гансами»... Чем дольше они будут жить в руинах, тем спокойнее для Европы, – конечно, на этом этапе; когда сами восстанем из пепла, поднимем их, контролируя каждый шаг, чтобы не повторился тридцать третий год... Для этого сначала надо привить им вкус к демократии и научить искусству выслушивать мнение несогласных... А еще выбить из памяти преклонение перед «железной рукой» богоданного фюрера, когда каждый освобожден от обязанности думать; выполнять легче; инженеру платят в четыре раза больше мастера потому, что он придумывает, это дорогого стоит».

Джек Эр купил на перроне газеты – их здесь было множество, от местных крошечных листков в две ладони до «Вашингтон пост», – просмотрел новости; начал с тех страниц, где печатали про скандалы; в случае чего информацию о Роумэне будут давать именно там, если, спаси бог, случится горе; нет, все в порядке; Адольф Менжу дает интервью, будет сниматься вместе с Робертом Тейлором в первом антикоммунистическом боевике; молодой миллионер Онассис благодарит президента Трумэна за помощь Греции, лишь это спасет страну от большевизма, – маленький черноволосый крепыш с розочкой в лацкане смокинга на гала-вечере в Нью-Йорке; окружен женщинами, которые на голову выше его...

Ощутив на плече чью-то руку, Джек одновременно услыхал низкий голос:

– Не ту газету смотрите, мистер Эр.

Обернувшись, увидел низенького человека, не выше Онассиса; как он мне до плеча-то смог дотянуться? Пиджак поношенный, рубашка мятая, галстук съехал в сторону, какой-то бутафорский, такие носят люди с Юга; правда, ботинки наши, настоящие самоходы, подошва толстенная, верх пробит дырочками, образующими трафаретный рисунок; все американцы носят такие туфли, только пижоны заказывают лайковые, с длинными носами.

– Представьтесь, – сказал Джек Эр, стремительно оглядев пер-

рон; ни одного человека, который мог бы казаться подозрительным, не заметил; впрочем, бежать некуда, да и потом, если что-то задумано, они окружили вокзал, азбука. – Я не знаю, с кем говорю.

– Но догадываетесь, – заметил низенький. – Не скажу, что вы Гегель, но сметка у вас американская, горжусь... Я ваш коллега... Точнее говоря, коллега по прошлой работе... Я Райли, из Федерального бюро расследований...

– Что я должен смотреть и в какой газете?

– В «Нью-Йорк таймс», – Райли протянул ему мятый, скатанный в трубку увесистый сверток, как-никак сорок восемь страниц, воскресный выпуск. – Макайр убит... Он был связан с наци, вот почему он подставил под пулю несчастного Пола Роумэна...

– Что?!

– То самое. Роумэна убили... Он пал смертью героя... Его похоронят на Арлингтонском кладбище, с воинскими почестями... Макайра завербовал абвер, еще в сорок третьем, в Мадриде. Да вы читайте, там все написано...

– У вас есть сигареты?

– Не курю.

– Где... На какой странице это напечатано?

– За «Сошиал»... Давайте найду...

Райли пролистал мятые листы, ткнул в фотографию; мертвый Макайр лежал на причале дока; руки раскинуты; лицо обезображено гримасой ужаса и боли.

– Вот, – сказал Райли: – «Гибель чиновника Центральной разведывательной группы»...

Джек стремительно прочитал заметку; о том, что Макайр был перевербован абвером, ни слова, только упоминались «таинственные связи покойного с иностранцами»...

– А где сообщение о Роумэне?

– Это пришло по служебным каналам... За вами тут смотрели немцы, поэтому мы вас маленько страховали, не взыщите... О Роумэне, видимо, будет в вечерних выпусках...

– Где он погиб?

– По-моему, в Аргентине... Или Парагвае... Когда похищал какую-то нацистскую шишку...

– Где тело?

– Везут на родину.

– А как фамилия этой самой шишки?

– Не помню... То ли Миллер, то ли Мюллер, могу ошибиться...

– Но ведь здесь ничего не написано про то, что Макайр был агентом абвера!

– Сразу все вываливать, что ли? – Райли посмотрел на Джека с недоумением. – Я ж делюсь с вами служебной информацией... Ладно, едем, надо отыскать яхту, миссис Роумэн надо отправить на военном самолете в Вашингтон... Вдова должна принять участие в церемонии похорон...

– И все же он достал Мюллера, – тихо сказал Джек Эр, шмыгнув носом. – Он достал того гада!.. Бедненький... Такой славный парень, Райли, такой американец... Эх...

– Вы голодны? – спросил Райли. – Может, заедем ко мне? Перекусим? Или сразу на аэродром?

– Зачем? – удивился Эр. – Почему на аэродром?

– А как же мы найдем яхту?

– Яхту? – задумчиво переспросил Джек. – Яхту... Сначала я бы хотел купить несколько экземпляров этой самой «Нью-Йорк таймс»...

Райли достал из кармана жетон, предъявил Джеку:

– Это не игра... Я понимаю, что вы хотите перепроверить... Вон киоск, валяйте, покупайте, жду вас у выхода, военная машина, сразу увидите.

Эр купил целую кипу газет, экземпляров семь, просмотрел все номера: всюду труп Макайра; и эта гнида выгнал Роумэна, подумал он с яростью, сколько же таких нацистских гнид затаилось в мире, а?!

Он отчетливо вспомнил Роумэна; вспомнил его заросшие щеки и мешки под глазами, а еще мятые «Лаки страйк»... Это был настоящий шик, мало кто понимает толк в настоящем шике... Он был шикарным мужиком, по-настоящему шикарным; он даже говорил с шиком, небрежно, рассеянно, совершенно не думая о том, какое производит впечатление: имеешь уши – слушай, если не дурак – поймешь... Некоторые вдалбливают, суетятся, доказывают, а этот говорил вслух, что думал, только поэтому я ему и поверил... Как несправедливо, самых хороших убивают первыми, гниды живут до старости... А как же я скажу об этом Кристе, подумал он. Я не смогу. Она заплачет, а я не знаю, что делать, если женщина плачет... Вообще-то она молодая, найдет себе кого-нибудь, такая красивая... Если бы уродина, тогда прощай, жизнь, кому нужна кривоногая или там рябая?

– Сюда, Джек, сюда, – окликнул его Райли на привокзальной площади; сидел в военном «джипе»; за рулем солдат; я был таким же три года назад, подумал Эр, даже еще моложе; только этот не воевал, слишком шустрый; а если Райли специально привез в этот киоск фальшивые газеты, спросил он себя. В таком «джипе» буйвола привезешь, не то что стопку газет.

– Заедем в город? – спросил Джек. – Или сразу на аэродром?

– Как хотите. Если голодны, можно заскочить ко мне, сделаем сандвичи...

– Вы где живете?

– На вилле... Около озера...

– Едем через центр?

– Пожалуйста, – легко согласился Райли, – как угодно, выбирайте маршрут.

В городе, заметив киоск, Джек Эр попросил затормозить; шофер сразу же нажал на педаль; оккупанты что хотят, то и творят; пересек улицу поперек, въехал на тротуар, распугав двух старух с собачками; Райли покачал головой, пробормотав: «Ну и недоверчивый!»

Эр купил стопку «Нью-Йорк таймс», вернулся в «джип», перелистал страницы: нет, на вокзале была не липа, такое организовать невозможно, Райли не знал, куда я попрошу ехать...

В особняке было чисто и пусто, как в клинике; живем в гостях у англичан, пояснил Райли, неохота обживаться, да и потом срок командировки подходит к концу, пусть сменщик обустраивается, если хочет, мне тут противно, ненавижу «гансов»...

– Виски есть? – спросил Джек Эр, с р и с о в а в холл: ничего тревожного, казенщина.

– Я бы на вашем месте не стал пить, – ответил Райли.

– Почему? Хочется выпить за упокой души Пола Роумэна.

– На яхте есть радиосвязь?

Джек снова насторожился:

– А в чем дело?

– Если связи нет, – объяснил Райли, – придется прыгать с парашютом... Будет плохо, если миссис Роумэн узнает о трагедии от незнакомого человека...

– Откуда вы знаете, что я умею прыгать с парашютом?

И тут Райли взорвался:

– Ну, знаете, хватит! Откуда я знал, что вы приедете в Гамбург?! Как я узнал вас – среди всех пассажиров?! Вы ж у нас работали; всем известно, что перед операцией исполнителю передают полную информацию про объект! Думаете, мне доставляет желание трястись в самолете над морем, выискивая эту чертову яхту?! Жаль нашего человека, которого убили наци, только поэтому я лечу с вами! Вполне мог бы отправить кого из молодых, их у меня трое, и все оболтусы, только бы заниматься джиу-джитсу!

– Не сердитесь, – сказал Джек. – Просто вы не были знакомы с Роумэном... Это был человек настоящей пробы, таких мало... А прыгать, поддав стакан виски, вполне допустимо, еще приятней ощущение свободного полета... Выпить надо... Меня внутри маленько познабливает, нервы... Мама всегда давала горячего чая с вином, если я возвращался с бейсбола вздрюченный, это успокаивает... А радиосвязи на яхте нет... Я велел ее отключить, всяко может быть, в дело включен с и н д и к а т, с ним шутить опасно, пять свидетелей на борту, да еще каких!

Если бы Райли промолчал, Джек Эр начал бы заново анализировать ситуацию; про то, что на борту, кроме Кристы, находятся миссис Спарк с детьми и Нильсен, знал только он; Райли, однако, вскинул голову:

– Какие еще пять свидетелей?! Меня не интересует никто, кроме миссис Роумэн! Плевать я хотел на этих ваших четырех человек!

– Знаете, что определяет драматургию Ибсена, его Пера Гюнта? – задумчиво говорил Нильсен; он словно бы не глотал, а растворял кофе во рту. – Культ энергии... Возьмите его раннюю драму «Праздник на Сольгауке»... Декорации средневековья, а проблемы сегодняшние, те, которыми жил сам бунтарь Ибсен... Он уехал в добровольное изгнание, когда мы оставили в беде датчан, позволив немцам взять Шлезвиг... И всю жизнь посвятил созданию символа подвижничества мужчин... А уже перед концом понял тайну энер-

гии женщин... Критики писали, что Пер Гюнт – это схема, героя лепят второстепенные образы, да и вообще, мол, это автобиография Ибсена... Никто не хотел понять, что наш Ибсен утвердил в мире новый тип мужчины, который готов на все во имя захватившей его страсти... А женщины Ибсена полны затаенной страсти, ищут достойного, не могут его найти и поэтому придумывают с и м в о л... Наверное, поэтому он не написал ни одной счастливой семейной пары... Для него брак – проклятие... Потеря чего-то такого, что невосполнимо...

– Вы не были женаты? – спросила Элизабет.

– Был.

– Разошлись?

Нильсен покачал головой:

– Ее расстреляли наци... Поэтому я с вами... Молодой друг фру Кристиансен объяснил суть дела...

Элизабет медленно повернулась к Кристе; та рассмеялась:

– Ух, какая ревнивая! Это же Джек Эр!

– Смешной парень, – сказал Нильсен. – Большой ребенок с хваткой старого боксера... Его самое любимое слово – «должен». Он меня задавил этим своим «вы должны»... Я бы отказал ему, между прочим, старею, сломался... А он вдруг сказал: «Вы же норвежец, это у вас написан «Строитель Сольнес», – старости нет, есть пора расцвета таланта; человек так многое может, он должен реализовать себя, тогда вновь обретет молодость»... Я еще посмеялся: «У меня нет Гольды, которая бы вдохновила на порыв... Женщина – начало и конец подъема мужчины».

– Мы делаемся сильнее, когда нам так говорят, правда, Крис? – сказала Элизабет. – Женщина нуждается в похвале, это ее подстегивает, как школьника...

– А думаете, мы не нуждаемся? – спросил Нильсен. – Не меньше, чем вы.

– Меньше, – убежденно ответила Элизабет. – Вы – львы... Лежите себе в пустыне, созерцаете мир... А нам надо постоянно делать так, чтобы вы не переставали обращать на нас внимание, любили своих детенышей, приносили пищу, защищали дом... Что мы без вас можем? Не будь вас здесь, что бы с нами стало?

Нильсен улыбнулся:

– Нет, вы продолжайте, продолжайте, мне нравится, как вы говорите, я себя по-новому ощущаю, даже рычать хочется...

– Львы не рычат, – сказала Кристина, прислушиваясь. – Я их подолгу наблюдала в зоосаду... Они р ы к а ю т... И то редко... Слушайте, а это не самолет кружит?

– Вот они, – сказал Джек Эр. – Это ее яхта.

– Зачем же вы попросили ее отключить радио?! – сокрушенно сказал Райли. – Передали бы им все и вернулись в Гамбург... А так вам придется видеть лицо несчастной женщины...

– Так у вас же не гидроплан, мы ж не сядем...

– Поднимемся, прыгнете с парашютом... Пусть поворачивают в

Осло... И сразу же отправляйтесь в наше посольство, там все знают, отправят на военном самолете...

– Я могу ее сопровождать?

Райли недоуменно развел руками:

– Вот об этом мне не говорили... Обсудите на месте... Берите парашют, я помогу вам надеть... Он десантный, с надувной лодкой... Мы вас сбросим перед носом яхты, они наверняка услышат шум мотора...

Когда Джек Эр дернул кольцо, рывка не последовало; он задрал голову – парашют не раскрылся; дернул кольцо еще раз; свист ветра в ушах становился пронзительным, ощущение, что где-то рядом вот-вот взорвется бомба; он осторожно потянул аварийное кольцо – и снова толчка не последовало.

Твари, подумал он, зачем же так?! Ну, нет, не выйдет, ярился он, сейчас я постараюсь опустить ноги вниз, только не упасть в воду плашмя, я войду ногами, только б вытянуть их, господи, мамочка, бедная моя, как же ты была права, когда говорила, мамочка, милая, как ты будешь там од...

Райли поежился и сказал пилоту:

– Передайте на базу координаты... Пусть высылают профессиональных парашютистов... Двенадцать человек, не меньше... А мы будем барражировать... Горючего хватит?

ШТИРЛИЦ, МЮЛЛЕР (Аргентина, сорок седьмой)

– Ну, а главное дело я берег под конец, группенфюрер...

– К чему вы подбираетесь? – Мюллер поворошил пень в камине баварской, крестьянской, длинной кочережкой; любил, чтобы огонь был постоянным. – Не томите душу, мне так любопытно слушать ваши истории...

– Это не «моя история», – ответил Штирлиц. – Это история народа Соединенных Штатов.

Мюллер не сразу оторвался от камина; бело-синие языки пламени делали его лицо похожим на доброго Люцифера; заводы Форда начали выпускать пробки на водяные радиаторы машин с таким чертом; сразу привлекает внимание покупателя, автомобили пошли нарасхват; если хорошо берут, можно и Понтия Пилата в обнимку с Иудой запустить в серию, отчего нет?!

– История – понятие неоднозначное, – задумчиво заметил Мюллер. – Историей можно считать хорошо записанные анекдоты, вроде тех, что сочинял Цицерон... Нас с вами – немцев и славян – еще и в помине не было, а лысый дед уже разливался в сенате соловьем... Историей можно считать сухую хронологию... Сохранившиеся показания очевидцев... Этому, кстати, я верю больше всего.

– Я тоже, – согласился Штирлиц. – Поэтому хочу спросить: го-

ворит ли вам что-либо такой символ – три квадратика в двух перекрещивающихся голубых кругах; овал, образующийся посредине, закрашен красным? Не напоминает прошлое? Когда вы возглавляли отдел криминальной полиции на юге Германии?

По тому, как Мюллер спокойно отложил кочергу и недоуменно обернулся, Штирлиц понял, что группенфюрер действительно не помнит того, что он был бы обязан помнить всю свою жизнь, до последней минуты...

– Хотите послушать изложение материала о деле летчика Линдберга? – спросил Штирлиц, по-прежнему не отводя глаз от Мюллера.

– Ах, это у него украли дитя? – Мюллер, вспоминая, хмурился, однако был по-прежнему спокоен. – А при чем здесь я? Гестапо? Национал-социализм?

– При том, что три квадратика на странной фигуре означают окно и две детские сумки...

– Что? О чем вы? – Мюллер искренне рассмеялся. – Или расскажите толком, или дайте прочитать документ.

– Читайте, – Штирлиц протянул Мюллеру двадцать страниц тончайшей рисовой бумаги; текст был напечатан с обеих сторон, через один интервал.

– Это надо сделать сейчас? – спросил Мюллер.

– Я же сказал в самом начале собеседования: любой материал, который я вам передаю, суть третья копия с того, который хранится в банке. Поскольку я могу не выдержать пыток ваших людей, я заранее отказался знать, где именно и под каким кодом хранятся эти документы... Можете читать сейчас, хотите – завтра... Но кое-что я должен прокомментировать... Если увлечетесь – не будите, отвечу на вопросы завтра...

– Я был бы крайне признателен, Штирлиц, посиди вы рядышком хоть полчаса... Я ведь читаю профессионально... Если материал меня не заинтересует, я провожу вас в спальню. Сам. Один, без помощи моих, – он колыхнулся своей доброй усмешкой, – костоломов...

И, надев учительские очки, углубился в чтение...

«Было уже достаточно поздно, когда всемирно известный пилот Чарльз Линдберг и его жена Анна закончили ужин; вторник, первое марта тридцать второго года, двадцать один час.

В этот день полковник был занят в своем офисе нью-йоркских авиалиний, потом провел четыре часа в Институте медицинских исследований Рокфеллера и после отправился к своему дантисту; в свой новый дом, недалеко от Хопвелла, штат Нью-Джерси, он вернулся затемно.

После ужина супруги перешли в гостиную – поболтать; вдруг Линдберг спросил:

– Ты ничего не слышала?

– Нет, – ответила Анна.

– Мне показалось, будто треснуло дерево...

Они прислушались к тишине, все было спокойно, ведь в такую ночь любой звук можно приписать шальному весеннему ветру. Дом

был расположен в уединенном месте, которое облюбовал сам Линдберг, надеясь наслаждаться здесь свободой от докучливого любопытства соседей; раздражало идолопоклонничество публики, которое окружало его с двадцать седьмого года, когда он совершил свой немыслимый трансатлантический перелет.

Десятикомнатный дом был еще не закончен, на многих окнах не было штор; молодая пара проводила здесь только субботы и воскресенья, остальное время жили в Энглевуде, Нью-Джерси, в доме матери Анны миссис Дуайт Морроу. Однако в последний уик-энд их двадцатимесячный сын Чарльз простудился, и, чтобы не выносить его на холодный воздух, они остались в Хопвелле.

Белокурому малышу с голубыми глазами сегодня было значительно лучше, он вбежал в столовую для прислуги, весело бегал вокруг стола, где его няня Бетти Гоу пила чай в обществе Оливера Вотели и его жены Эльзы – прекрасной поварихи.

Накормив малыша, Анна и Бетти уложили его в комнатке на втором этаже; в восемь часов он безмятежно спал.

В десять часов Бетти Гоу, как обычно, заглянула в детскую; на мгновение она остановилась в дверях, чтобы глаза привыкли к темноте, и в этот момент поняла, что не слышит дыхания ребенка. Бетти подумала, что Чарльза-младшего забрала мать, пошла в спальню:

– Миссис Линдберг, ребенок у вас?

– Нет, а что? – ответила Анна.

Бетти спустилась в библиотеку:

– Полковник Линдберг, Чарльз у вас?

– А разве он не в кровати?

– Нет, сэр.

Линдберг взбежал по лестнице: два больших зажима, которыми пристегивались одеяло и простыня к матрасу, были нетронуты, подушка слегка примята головкой малыша; ребенка не было.

На батарее, находящейся под окном в юго-западном углу комнаты, Линдберг заметил пакет. Оставив его на месте, он предупредил Анну и Бетти, чтобы они ничего не трогали, пока не будет проведена дактилоскопическая экспертиза; позвонил в полицию Хопвелла, связался с шерифом штата Нью-Джерси и со своим адвокатом, полковником Эндрю Брекенриджем.

Когда прибыли агенты полиции Хопвелла, они быстро обнаружили две вмятины в глине, как раз под окном, а примерно в двадцати метрах заметили лестницу. Сделана она была грубо, но крепко, состояла из трех частей и поэтому легко переносилась. Последняя ступенька и продольный брус одной из секций были сломаны.

Увидев сломанные деревянные части, Линдберг вспомнил о том звуке, который услышал, находясь в гостиной. Видимо, в этот момент похититель выносил мальчика из детской. Отпечатки под окном точно совпадали с размерами лестницы. Невдалеке от этого места один из полицейских Хопвелла обнаружил еще одну улику – долото; им было открыто окно.

Через некоторое время прибыл начальник полиции штата Нью-Джерси Шварцкопф, вслед за ним адвокат Брекенридж. Было уже за полночь, когда эксперт по дактилоскопии открыл ящик с инстру-

ментами и начал изучать конверт, пытаясь обнаружить отпечатки пальцев; их не было.

Затем Шварцкопф прочел текст: «Уважаемый господин! Приготовьте 50 тысяч долларов: 25 тысяч в билетах по 20 долларов; 15 тысяч в билетах по 10 долларов и 10 тысяч в билетах по 5 долларов. Через два-четыре дня сообщим, где вручить деньги. Остерегайтесь говорить о происшедшем полиции и знакомым. За ребенком хорошо присматривают. Мои письма Вы отличите по этой подписи и трем маленьким отверстиям».

Подпись была необычна – два голубых круга перекрещивались и образовывали в центре красный овал; квадратные отверстия находились в каждой из трех секций фигуры на одной горизонтали.

– Но я действительно не помню такого знака, – оторвавшись от текста, сказал Мюллер. – Помогите мне, Штирлиц! Играть надо чисто.

Штирлиц кивнул:

– Хорошо. Помогу. Чуть позже.

Мюллер стремительно пробежал сообщение о том, что президент Соединенных Штатов поручил ФБР найти преступников, вся Америка всколыхнулась как один человек, требуя покарать злодеев, но сразу же споткнулся на втором письме, посланном похитителями Чарльзу Линдбергу...

«Уважаемый господин! Поскольку Вы не выполнили нашего требования о том, чтобы случившееся не стало достоянием публики и полиции, мы вынуждены сообщить, что дитя останется у нас до тех пор, пока все не успокоится... За ребенка не волнуйтесь, с ним все хорошо... Мы заинтересованы вернуть его Вам в полном здравии... Как мы Вам сообщали, сумма выкупа была 50 тысяч долларов, однако теперь мы должны поделиться еще с одним человеком... Поэтому цена увеличивается до 70 тысяч долларов... Позже мы проинформируем о том месте, где Вы должны вручить нам деньги, – но лишь тогда, когда полиция окажется вне этого дела, а журналисты замолкнут».

Несмотря на то, что слова «хорошо» и «вне» были написаны не по-английски, а по-немецки, полицейские все еще не были уверены, что похититель – немец.

Мюллер поднял глаза на Штирлица:

– Слушайте, я не обязан знать все уголовные дела двадцатого века! Ребенка действительно украл немец?

– Должен вас огорчить, группенфюрер... Вы знали этого человека... Точнее, его родственников и досье...

– Вы сошли с ума!

– Я пришел к вам именно потому, что нахожусь в полном здравии.

– Но ведь это тридцать второй год! Тогда еще не было гестапо! Не было Гиммлера!

Штирлиц согласно кивнул:

– Были вы! Чиновник криминальной полиции Генрих Мюллер... А то, что Гиммлер еще не стал рейхсфюрером, для вас еще страшнее... Не на кого валить ответственность за собственные поступки...

Мюллер тяжело, с нескрываемой неприязнью посмотрел на Штирлица, ничего не ответил, потер виски своими крепкими, квадратными пальцами и продолжил изучение документа.

«...Старый школьный учитель доктор Джон Ф. Кондон был горячим поклонником Чарльза Линдберга. Семидесятидвухлетний Кондон написал письмо в свою любимую газету «Хоум ньюс», выходящую в Бронксе: «Предлагаю тысячу долларов, то есть все мои накопления, прибавив их к 50 тысячам долларов выкупа, чтобы любящая мать смогла, наконец, обнять своего ребенка. Я готов поехать в любое место за свой счет, вручить эти деньги и обязуюсь при этом никогда не раскрывать имени похитителя».

Через четыре дня после опубликования обращения (над стариком потешались знакомые: «чокнулся!») он получил письмо: «Уважаемый господин! Если Вы действительно хотите стать посредником в деле Линдберга, строго следуйте всем нашим указаниям. Вы должны отвезти и вручить лично г-ну Линдбергу письмо, которое прилагается... Получив деньги у г-на Линдберга, опубликуйте три слова в нью-йоркской газете «Американ»: «Деньги уже готовы». Находитесь все вечера – с 6 до 12 – дома.

Это похищение готовилось целый год. Необходимо, чтобы дело приобрело мировую известность».

В конверте, полученном учителем, действительно находился еще один маленький конверт. Кондон сразу же позвонил Линдбергу.

– Будьте добры, вскройте маленький конверт и прочтите мне письмо, – попросил летчик.

Кондон зачитал письмо:

– «Уважаемый господин, доктор Кондон будет нашим посредником. Можете вручить ему 70 тысяч долларов... Когда деньги будут в наших руках, мы сообщим Вам, где ребенок. Готовьте аэроплан, так как он находится в двухстах сорока милях отсюда».

– Это все?

– Нет, – ответил доктор Кондон, – не совсем. На письме внизу нарисован странный знак – два пересекающихся голубых круга, образующих в середине красный овал... И три отверстия на каждой фигуре по горизонтали.

Голос Линдберга дрогнул:

– Я немедленно еду к вам.

– У вас больше дел, чем у меня, – ответил старый учитель. – Я сам приеду.

В два часа ночи Кондон добрался до Хопвелла.

Линдберг внимательно изучил корреспонденцию; не осталось никаких сомнений: письмо не могло быть фальшивкой, поскольку

знак с перекрещивающимися кругами ни в одной из газет не был опубликован; тайна следствия.

...Утром следующего дня доктор Кондон вернулся домой с письмом, в котором Линдберги назначали его своим посредником. Адвокат Брекенридж привез его на своей машине и принял приглашение поселиться в доме учителя. Днем Брекенридж отправил в нью-йоркскую газету «Американ» сообщение: «Деньги уже готовы». Чтобы скрыть от журналистов принадлежность к делу, Кондон подписался псевдонимом «Д. Ф. К.», составленным из начальных букв своего имени. Он был уверен, что похитители его поймут, а для остальных странное объявление пройдет незамеченным.

В семь часов вечера зазвонил телефон. Глухой голос спросил, получено ли письмо с подписью?

Учитель ответил:

– Да. И я очень рад, что вы меня верно поняли.

На следующий день в двадцать тридцать в дверь доктора постучали; шофер такси протянул длинный конверт и спокойно отъехал, – номерной знак был виден отчетливо; ясно, попросили отвезти письмо «другу», – член банды так себя не ведет.

В письме сообщалось, что доктор должен отправиться к заброшенной сосисочной; там, под камнем, он найдет записку.

Выехали, когда совершенно стемнело; машина адвоката остановилась в пустынном месте, окруженном полуразвалившейся галереей.

Доктор Кондон поднялся на галерею и достал из-под кирпича записку: «Пересеките улицу и двигайтесь вдоль забора к кладбищу, до улицы 233. Там встретимся».

И доктор Кондон пошел по безлюдной улице к воротам кладбища Вудлоу. Несмотря на то, что он никого не видел, доктор чувствовал – за ним наблюдают. Пробило двадцать один тридцать; он заметил размытое белое пятно, осторожно двигавшееся среди могил; человек делал рукой какие-то знаки.

Кондон пошел навстречу; в глубине кладбища, среди деревьев и памятников, его ждал мужчина. Доктор смог запомнить глаза, смотревшие на него из-под полей надвинутой на лоб шляпы; лица различить было нельзя – тьма непроглядная.

– Принесли деньги? – Это был тот же голос, с иностранным акцентом, который доктор слышал по телефону.

– Нет. Я не принесу деньги, пока не увижу ребенка.

– А меня казнят, если ребенок мертв?

– Мертв?! – закричал Кондон в ужасе.

– Не кричите! – рявкнул мужчина. – Ребенок жив и прекрасно себя чувствует.

– Как вы можете доказать, что я разговариваю с тем человеком, который мне нужен? – спросил доктор.

– Разве вы не получали писем, подписанных кругами?

Кондон вытащил из кармана два зажима, которые находились в кроватке ребенка, – он взял их с разрешения Линдберга:

– Ответьте, что это такое?

– Ребенок был закреплен этими зажимами в кроватке, – сразу же ответил незнакомец.

– Верно. Как вас зовут?

– «Джон», – ответил тот.

– Откажитесь от этого дела, «Джон», – взмолился доктор. – Пойдемте со мной... У меня есть тысяча долларов, они будут вашими, отдайте дитя добром...

– Нам не нужны ваши деньги, – ответил «Джон».

– Но ребенок жив?

– Конечно...

...Через пять дней доктор получил по почте посылку – ночную рубашку Чарльза-младшего. В записке, которую завернули в рубашонку, было выдвинуто новое требование: «Принесите выкуп до того, как увидите ребенка. В случае принятия этого условия Линдберг должен дать объявление в нью-йоркской газете «Американ», всего три слова: «Согласен. Деньги готовы».

Линдберг поместил это объявление. День за днем выходило оно в указанной газете, но «Джон» молчал...

Через несколько дней доктор Кондон получил, наконец, ответ «Джона»: «Сообщите, готовы ли вы к проведению операции в субботу вечером? Если да, опубликуйте в газете эти же три слова».

Теперь Линдберг более всего боялся спугнуть похитителей.

Национальное казначейство пообещало, что его агенты не станут вмешиваться в это дело, но лишь отметят номера банкнот, которые будут переданы похитителям. Несмотря на советы полиции, Линдберг упорно настаивал на том, чтобы в месте, где должно произойти свидание, не было никаких засад.

Наступил субботний вечер. Линдберг и Кондон заканчивали последние приготовления к выплате требуемого выкупа. Деньги были разложены в двух пакетах: в одном было пятьдесят тысяч долларов, во втором двадцать; в общей сложности 5150 банкнот четырех достоинств: по 5, 10, 20 и 50 долларов...

Линдберг, адвокат Брекенридж и Кондон сидели в доме старого учителя в ожидании новых инструкций. Кондон казался совершенно спокойным, но его семья была как на углях: учитель был единственным, кто видел «Джона» и мог бы опознать его; вполне возможно, что бандит, получив деньги, захочет избавиться от свидетеля.

В девятнадцать сорок пять к дому подъехало такси; как и в прошлый раз, незнакомый шофер протянул Кондону конверт и спокойно уехал. В письме было указание: «Возьмите записку, спрятанную возле дверей цветочного магазина кладбища Сан Рамон».

Линдберг отвез учителя в указанное место; в записке было две фразы: «Следуйте по проспекту Вайтмон на юг. Возьмите с собой деньги; приходите один».

Однако Кондон оставил ящик с деньгами на сиденье машины, рядом с Линдбергом: «Сначала я все же поговорю с ним».

Он дошел до ворот кладбища; у изгороди стоял «Джон»; доктор приблизился к нему.

– Принесли деньги? – спросил «Джон».

– Они в машине, – ответил доктор.

– Несите.

– Я не вручу их вам до тех пор, пока вы не назовете место, где находится ребенок.

– Пока сходите за деньгами, я нарисую план той местности.

Получив деньги, «Джон» вручил Кондону конверт:

– Прочтете через шесть часов! Ни минутой раньше!

Через пять минут Линдберг и учитель вскрыли конверт: «Ребенок находится на борту яхты «Нэлли». Это небольшая яхта, восьми метров в длину, которая курсирует между Хорснекс-Бич и Гей-Хэд, недалеко от острова Елизаветы».

Поиски яхты продолжались безрезультатно не одну неделю; а «Джон» исчез, растворился, пропал в десятимиллионном Нью-Йорке.

За учителем Кондоном была установлена постоянная слежка – главный свидетель обвинения; никто, кроме него, не мог бы опознать «Джона»; три детектива денно и нощно стерегли его, куда бы он ни направился.

А еще через несколько недель в лесу, неподалеку от дома Линдбергов, совершенно случайно был найден труп их сына, Чарльза-младшего.

Мальчик погиб в день похищения, – так, во всяком случае, утверждала судебно-медицинская экспертиза...»

Мюллер поднял на Штирлица глаза, в которых стояли слезы:

– Зачем вы дали мне этот ужасный материал, Штирлиц?! К чему этот садизм?! Это же разорвет сердце каждого отца! Зачем я должен был читать это на ночь?

– Выпейте снотворное, – посоветовал Штирлиц. – Что же касается трех квадратов, вырезанных по горизонтали, – то вам этот знак был известен еще в двадцатом году, во время стажировки в отделе особо опасных преступлений, когда был ограблен дом вашего бургомистра... Сначала у него просили деньги «добром» – прислав угрожающее письмо... Только там бандит вырезал не три квадратика, а один... Так что начинал он у вас, группенфюрер... В Штатах лишь продолжил начатое... Но и это не все...

РОУМЭН, ПЕПЕ, СОМОСА, ВИЗНЕЗР (Панама, Манагуа, сорок седьмой)

Франц Брокман, о котором Штирлиц сообщил Роумэну, теперь был Франсиско; седой, высокий, тонкий, как спичка, он проворно метался между столиками ресторана «Каса Педро» на берегу океана, обслуживая большую группу туристов; лицо его было сосредоточенным, собранным, однако глаза постоянно улыбались – очень голубые, излучавшие добро, какие-то скорбно-умиротворенные...

Панамский адвокат Личу, встретивший Роумэна, Гуарази и охранников возле трапа самолета, вывез их в город, минуя паспортный контроль и таможенный досмотр; он и это мог; пограничники были предупреждены, что прибывает экономическая делегация на правительственном уровне, встречать ее будет советник, профессор, док-

тор Личу, чтобы не привлекать излишнего внимания, поскольку речь идет о фантастической сделке, разрешить въезд в страну «без формальностей». Звонок в аэропорт выдал генерал Падилья; вполне управляем; пришлось, конечно, зарядить — золотые пуговицы для френча и золотые звезды на пилотку и погоны.

Именно поэтому ищейки растерялись, когда последний пассажир прошел паспортный контроль: никто из тех, кого ждали по крайней мере девять американских разведчиков, не считая панамских детективов, не появился; действительно растворились в воздухе.

Лишь через три часа военная контрразведка смогла нащупать нить, узнав о звонке генерала Падильи. Однако в это время машина адвоката Личу, миновав Ла-Чореру, Пенономе, Нату и Агуадульсе, уже свернула на проселок и остановилась около Читры — модерновые хижины на берегу океана, песчаный пляж, бары под лианами, «Каса Педро».

Во время гонки по шоссе в Читре (отсюда не более ста километров до Коста-Рики, «переход через Месанью обговорен, там ждет машина марки «линкольн», через десять часов будете в Манагуа») Личу, крепкий мулат в очках, что еще больше подчеркивало его спортивность, — бывают такие лица, которых очки в роговой оправе делают устремленно-агрессивными, — глотая слова, быстро объяснял сигуацию:

— Конечно, этого Франца было найти непросто! Первые два часа я был в отчаянье! Потом решил посмотреть испанские имена, — и вот он, тепленький! Кстати, на границе с Колумбией, в горах, живет еще один никарагуанский немец, Альберт Петерс... Работает на кофейной плантации. Агроном у Санчеса-и-Масторги. За год они сделались самыми надежными поставщиками кофе, очень удобно пакуют — с фамилией, телефоном и адресом. Многие рестораны Панамы делают им заказы на год вперед. Растущий бизнес. Этот немец вытащил плантации из полнейшего запустения. Думаю, войдет в компаньоны. Масторга любит гулять в столице. У него там какая-то американка. Сговорятся, видимо, на треть. Значит, через пару лет немец сколотит полмиллиона баксов. Великая нация. Никто не умеет так работать, как они...

— Брокман здесь давно? — спросил Роумэн, дождавшись, пока Личу полез за сигаретой и начал ее прикуривать, иначе в разговор влезть было совершенно невозможно. — Почему он не пристроился на кофейные плантации? Он же большой мастер этого дела, к тому же специалист по лесу, хороший коммерсант.

— Послушайте, Макс, — ответил Личу, — не слишком ли многого вы от меня хотите?

— Сколько отсюда миль до этого самого Петерса? — задумчиво поинтересовался Роумэн.

— Много. Это другая сторона государства. Да и, потом, я не возьмусь доставить вас туда. Придется стрелять. Наверняка дороги уже перекрывают. Мы с вами хорошо проскочили. У нас ведь, пока не дозвонятся до главного, палец о палец никто не ударит, на кой черт, еще не угодишь, голову снесут... Слава богу, американцы

научили нас консультировать у юриста каждый шаг, стало чуть меньше произвола, а ведь раньше каждый алькальд в самом завалящем городишке мог делать все что ему заблагорассудится! Все, понимаете, абсолютно все! В Агуадульсе местный алькальд издал приказ, запрещающий проезд повозок по городу. За нарушение — штраф. При повторном — арест. Люди спросили: «А на чем же привозить кирпичи на строящиеся здания?» А он ответил: «Это ваша забота. Повозки — прошлый век, неопрятно и остается навоз на улицах. Я хочу воспитывать молодое поколение горожан в духе культуры и преклонения перед прекрасным». Честно-то говоря, хозяева повозок не уплатили ему сколько надо, а заработок у алькальдов грошовый, живут на подношения, тоже можно понять... Для того чтобы жить сносно, в его руках только одно оружие — запретить другим все, что только можно. А можно — все... Во время выборов — он знал, что им недовольны, — его люди обошли всех тех, кто допущен до голосования, и предупредили: «Будешь заходить в кабинку — изуродуем и сожжем дом. Голосуй, не заходя за бархат! Чтоб все было на виду»...

— Крепкий парень, — заметил Гуарази. — И чем же кончилось?

Личу пожал плечами:

— Девяносто семь процентов проголосовали за него, чем еще это может кончиться?

— Но повозки ездят по городу, — заметил Роумэн. — И немало.

— Так этого алькальда пришлось нейтрализовать, — ответил Личу. — Все-таки если самоуправство граничит с идиотизмом, приходится принимать волевые решения. Нельзя же до такой степени компрометировать институт государственной власти... Тем более, об этом узнали американцы, расписали в своей прессе, неприятно, согласитесь.

— Хорошо, — Роумэн достал свои совершенно искрошившиеся «Лаки страйк», — а вы не смогли бы навестить Петерса, скажем, завтра? После того, как мы сегодня уйдем в Коста-Рику?

— И что? — поинтересовался Личу, аккуратно глянув на Гуарази.

— И получить от него иск к президенту Сомосе по поводу плантаций, домов, аптек, принадлежавших ему вплоть до того дня, когда он был арестован, а затем выслан в Штаты для заключения под стражу... Дело в том, что брат Петерса, социал-демократ, погиб в Освенциме...

— Где? — не понял Личу. — Где он погиб?

— В Освенциме, — повторил Роумэн. — Это лагерь, где гитлеровцы резали людей для проведения экспериментальных медицинских исследований. Резали, кстати, без наркоза, чтобы определить наиболее явные болевые точки... Это лагерь смерти... Они там сожгли что-то около двух миллионов людей...

— Сколько?! — Личу даже выронил сигарету изо рта, резко притормозил, взял ее с кремовых чесучовых брюк, выбросил в окно. — Два миллиона?! Так это больше, чем вся Панама...

— Он говорит правду, — тихо заметил Гуарази. — Так было.

— Так вот, — продолжил Роумэн, положив руку на плечо Гуарази; тот замер, однако ладонь не сбросил (молодец, Пепе, подумал

Роумэн, мы еще поговорим с тобой, у нас есть время, можно о многом поговорить, особенно если ты не смахиваешь мою руку и это видят «первый» и «второй»; как можно за весь день не произнести ни одного слова, фантасмагория какая-то!). – Так вот, – повторил Роумэн, – если бы вы завтра выслали экспресс-почтой в Манагуа иск Петерса к Сомосе, – диктатор забрал все плантации немцев себе, лично себе, он и войну-то объявил Гитлеру, чтобы завладеть лучшими плантациями страны, до десятого декабря сорок первого года он держал на стене кабинета портрет фюрера с дарственной надписью, – тогда мы получим лишний козырь...

– Если я отправлю вам хоть что-нибудь экспресс-почтой, – ответил Личу, – то этот пакет получит ваш сын... Это еще оптимальный вариант, скорее всего на почте придется доказывать родство вашей внучке... Здесь почта работает как в прошлом веке... Телеграмма устроит?

Роумэн спросил Гуарази:

– Как вы считаете, Дик?

– Не знаю. Личу, на Сомосу это может произвести впечатление?

– По-моему, вас четверых шлепнут его гвардейцы в тот же миг, как только вы поднимете разговор о немецкой собственности, ставшей ныне богатством его семьи... Если это действительно так... Я, конечно, не знаю, может, у вас, – он кивнул на Гуарази, – есть в Манагуа сильные контакты, но мне кажется, что я обслуживаю четыре трупа, – вполне милые парни, но доживаете вы последние часы, жаль.

Роумэн подошел к метрдотелю и сказал, что его друзья хотели бы взять столик, который обслуживает голубоглазый официант.

– Конечно, конечно, – ответил тот, – эй, Франсиско! Сеньоры хотят, чтобы ты обслужил их! Быстренько приготовь столик!

– Да, да, – угодливо ответил Брокман. – Сию минуту, сеньоры... Я с радостью угощу вас самой прекрасной пищей нашего чудного «Каса Педро».

Когда он накрыл стол белоснежной скатертью, стремительно расставил приборы и приготовился слушать заказ Роумэна, адвокат Личу тихонько сказал:

– Франсиско, если вы действительно тот Франц Брокман, что приехал сюда после войны с севера, то знайте: эти господа отправляются в Манагуа, чтобы вернуть немецкую собственность ее прежним владельцам.

Бокал выпал из рук официанта, сверкнув мертвенно-голубыми осколками; старик закрыл глаза, достал из кармана пилюльку и бросил ее под язык.

– Простите, сеньоры, – сказал он. – Немного шалит сердце... Я должен подать десерт моим британским гостям... Потом я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Но вы не из полиции? Я ведь заполнил все формуляры и въехал сюда по разрешению североамериканских властей...

– Сеньор Брокман, мы представляем интересы тех честных

немцев, не связанных с нацистами, которые пали жертвами преступных клик, – отчеканил Роумэн. – Поскольку у нас мало времени, я попрошу мэтра подменить вас, пусть десерт британцам принесет он сам, а вас мы приглашаем пообедать вместе с нами, не возражаете?

– Но... Благодарю вас... Но это не принято... И потом, я не одет, как это положено для ресторана...

Роумэн снял через голову рубашку, остался в майке, улыбнулся:

– Вот мы и уравнялись в костюмах... «Первый», пожалуйста, урегулируйте вопрос о подмене сеньора Брокмана.

Парень не пошевелился, словно бы не слышал Роумэна.

– Обращаться надо ко мне, – заметил Гуарази, – он выполняет лишь мои указания... Иди и договорись, – сказал он небритому. – Сделай это тактично, дай мэтру десять долларов, извинись, объясни, что мы торопимся...

Через минуту мэтр начал сам обпархивать британцев; Брокман опасливо снял свою белую куртку, не зная, что с ней делать; Роумэн взял ее у него из рук, повесил на спинку стула и обратился к собравшимся:

– Сначала, как полагается у нас, «гринго», – «хайбол». Потом – мясо, а на десерт – фрукты. Принято, сеньоры?

– Я бы не рекомендовал брать мясо, – понизив голос, сказал Брокман. – У нас нет своих коров, туши везут из Давида, по жаре... А рыбу мы ловим сами... Она воистину прекрасна, а цена значительно дешевле.

Гуарази посмотрел на Брокмана; его глаза – как и в Мадриде, когда он не отрывал глаз от Кристы, – были полны скорби.

Когда мэтр подбежал к столу, Роумэн поблагодарил его за любезность, сделал заказ, заметив:

– Сеньор Брокман, видимо, в ближайшее время получит наследство, так что дружите с ним. Всегда надо дружить с тем, за кем будущее...

– О, мы старые друзья с сеньором Брокманом, – ответил мэтр. – Я рад, что вы привезли ему столь приятную новость... По случаю такой приятной новости хочу угостить вас, сеньоры, бутылкой настоящей «мендосы». Это не подделка, действительно, из Аргентины...

– Подделка, – дождавшись, когда мэтр отошел, шепнул Брокман. – Здесь нет настоящей «мендосы». Лучше пейте местное вино, оно прекрасно... Это американцы приучили здешних людей преклоняться перед иностранным... Янки, словно дети, – больше всего ценят чужое, хотя свое у них в десять раз лучше.

– «Кьянти» здесь нет, – заметил Гуарази. – Так что меня вино не интересует. Мистер Брокман, мы приехали, чтобы составить ваш иск к президенту Никарагуа Сомосе. С успеха мы берем двадцать процентов. У вас было что-то около двухсот тысяч долларов в банке, не считая плантаций и домов. Вы согласны уплатить пятьдесят тысяч баксов, если мы добьемся у Сомосы возвращения хотя бы части ваших плантаций и какого-нибудь из ваших домов на берегу или в столице?

– Я готов отдать половину того, что вы сможете мне вернуть, – сглотнув комок в горле, ответил старик. – Я мечтаю вернуться туда... Но ведь теперь немцы стали изгоями... Сомоса не пускает нас в страну...

– Что с вами случилось седьмого декабря сорок первого года, когда Сомоса снял со стены портрет Гитлера и объявил войну рейху? – спросил Роумэн.

– В ту же ночь мы все – и те, кто состоял в нацистской партии, и те, которые считали себя никарагуанцами, – были арестованы. Нас отвезли в тюрьму «Ормигуэро» и концлагерь «Куинта Эйтцен», – сейчас, говорят, это вилла Луиса Сомосы... Как нас били, как морили голодом, об этом не хочу вспоминать... Кто-то из наших, уцелевших от ареста, отправил письмо американскому послу с просьбой освободить стариков, женщин и детей... Освободили трех сорокалетних – тех, кто имел постоянный бизнес с североамериканцами... В мае сорок второго нас выслали в Сан-Франциско, оттуда перевели в концлагерь в Техасе, часть отправили на границу с Канадой, на север, все наши там поумирали, только я спасся, старый черт, а внук погиб и дочка тоже... Сорок женщин и детей потом вывезли в Германию, с помощью Красного Креста Швейцарии, но опять же тех, кто был связан с американским бизнесом. Это правда, сеньоры, не сердитесь, я рассказываю правду... Если в Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили немцы в основном работали на рейх, кроме, конечно, тех, кто эмигрировал от Гитлера, то никарагуанские немцы действительно растворились в стране... Мы вспоминали, что в наших жилах течет немецкая кровь, только когда собирались в церкви... Такое же было в России, при императоре Петре... Есть страны, которые растворяют в себе иностранцев... Конечно, мы знали, что Брёме, Людвиг Брёме был нацистом и поддерживал связи с людьми Сомосы, они очень дружили до сорок первого года, даже, говорят, Брёме привез ему специалистов по допросам, людей гестапо...

– А где сейчас этот Брёме? – спросил Роумэн.

– Не знаю.

– А что из себя представляет Петерс?

– Он был заместителем Брёме... По контактам с провинциями Хинотега и Леон, настоящий нацист...

Роумэн переглянулся с Гуарази; тот повернулся к Личу:

– Ну что ж, начнем составлять исковое заявление? Вы помните, сеньор Брокман, какие статьи конституции Никарагуа были нарушены Сомосой?

– А разве там была конституция? – удивился старик.

Личу рассмеялся:

– Была, дон Франсиско, была! Самая демократическая в Центральной Америке, полные свободы, гарантия личности, охрана достоинства и так далее...

...Через час Личу увез четверку, передав Гуарази текст искового заявления Брокмана; факты, которые он изложил, были неопровержимы.

– Если бы я получил эту бумагу в Штатах, дело было бы выиграно в первой же инстанции, – заметил Личу, прощаясь с Гуарази на коста-риканской границе (пересекли ее в маленькой деревушке за городом Давидом; около пограничного столба сидел инвалид в рваной форме; ни телефона, ни сигнализации; все, как полагается в Латинской Америке: новейшая техника и вооруженные головорезы на центральной трассе и деревенская, измученная криками цикад, тишина в горах, где машине придется идти по валунам; «линкольн» оплачен, водителю было заранее сказано, что ехать придется проселками, пусть не скорбит о машине, вручили наличные для покупки новой).

В Сан-Хосе, столице Коста-Рики (господи, почему здесь большинство жителей рыжие? И голубоглазые? Будто ты и не в Латинской Америке), останавливаться не стали; Роумэн лишь попросил разрешения отправить копию иска в Лондон, Майклу Сэмэлу: «Можете опустить сами, Дик, я играю честно»; проверки документов на шоссе не было, видимо, в Панаме полагали, что четверка пойдет в направлении колумбийской границы; до границы с Никарагуа доехали за пять часов; переход был и здесь обговорен заранее (ну и синдикат, вот сила, а?!), в Манагуа приехали под утро.

Гуарази попросил шофера остановиться около «Гранд-отеля», в самом центре (телефонов-автоматов в городе не было, все рестораны и бары закрыты, а звонить надо), уплатил портье деньги, набрал номер 9-54-30, попросил сонную прислугу позвать к аппарату сеньора Родригеса Солано, повторил, что хозяина совершенно необходимо разбудить, он заинтересован в этом звонке; закурил (первый раз за все то время, что Роумэн знал его) и, когда Солано взял трубку, сказал:

– Счастье вновь к вам повернулось.

– Что?! – Тот не понял, в голосе чувствовался испуг.

– Счастье вновь к вам повернулось...

– Идите к черту! – взревел человек. – Какого дьявола вы меня разбудили, мерзавец этакий?!

Гуарази недоуменно пожал плечами, протянул портье двадцать пять центов, набрал номер еще раз; никто не подходил; я не мог перепутать, сказал он себе, я точно помню номер, неужели из Панамы успели передать сигнал тревоги? Или Лаки отменил предприятие, пуганув своих друзей тем, что он уже начал дело? Ребята понимают ситуацию с полуслова, могли сговориться; нет, возразил он, я бы получил указание. Если Лаки уже договорился, надо решать с Роумэном, – слишком много узнал: Личу мы бережем как зеницу ока, это наш панамский капитал, а «Жареный» тем более...

Когда Пепе решил было положить трубку, ему ответили:

– Слушаю.

– Счастье вновь к вам по...

– Какого черта вы столько времени тащились сюда?! – радостно прокричал Солано. – Я уже думал, не случилось ли что?! Давайте ко мне! Одиннадцатый километр карретеры «С», сто метров вверх, дом налево...

– Вы мне скажите точный адрес, – попросил Гуарази.

– У нас здесь такие адреса, приятель: «сто метров вниз, напротив аптеки, где лечат одноглазие, дом в глубине сада с тремя колоннами, только одна отвалилась», посмотрите телефонную книгу, если не верите! Жмите! Я велю готовить завтрак...

– Сомоса примет нас в одиннадцать, – после обязательных взаимных приветствий сказал Солано. – С ним договорено.

– Я могу спросить, как вам это удалось? – обратился Роумэн к этому кряжистому старику в полувоенном хаки.

Солано посмотрел на Гуарази:

– Можно ответить?

Пепе кивнул:

– Ему надо ориентироваться в ситуации.

– Так вот, – сказал Солано, – я был последним, кто видел живым генерала Сандино. Вам говорит что-нибудь это имя?

– Да, – ответил Роумэн. – Не очень многое, правда, какой-то здешний анархист, да?

Солано вздохнул:

– Это как посмотреть... Словом, Сомоса обнял его при мне, похлопал по плечу и повторил: «Ты мне брат, генерал Сандино, ты гордость никарагуанцев, спаситель нации, освободивший нас от янки»... А через три часа Сандино убили... А я получил приказ Сомосы провести расследование... Правда, не я один... Это меня и спасло... А еще меня спасло то, что в моем доме часто отдыхали итальянский мальчишка по имени Аль Капоне и его братья... Еще вопросы есть?

– Есть, – ответил Роумэн. – Кто убил Сандино? И почему?

Солано снова посмотрел на Гуарази.

– Можешь открыть, – сказал тот. – Только быстро, надо успеть поспать хоть пару часов... С Сомосой надо вести себя точно и прижимисто, иначе он нас сломает.

– Вам знакомо имя Сакаса? – спросил Солано, не отводя своих черных, с голубым отливом глаз от осунувшегося лица Роумэна.

– По-моему, он был вашим президентом...

Солано закурил, улыбнулся, посмотрев на Гуарази, и горестно покачал головой:

– В Латинской Америке ни о ком, никогда, ничего нельзя говорить однозначно, сеньор... Сакаса был избран президентом, как некий компромисс с новым хозяином Белого дома, Рузвельтом... Тот ведь провозгласил, что уведет американские войска из Никарагуа... То есть Рузвельт открыто признал победу Сандино... Но президент – одно, а аппарат, сложившийся в течение десятилетий, – другое... Словом, либерал Сакаса устроил Вашингтон потому, что выказывал прилюдное уважение Сандино, когда тот приезжал в Манагуа, но при этом дружил с Сомосой, который был женат на его племяннице, Маргарите Дебайле... Президент Сакаса хотел быть посредине... Между Сандино и Сомосой... Они, кстати, однажды так и сфотографировались... А ведь посредине быть нельзя... Особенно в политике... Правда, Пепе?

– Можно, – усмехнулся тот. – Мы ведь живем посредине...

Солано шутливо погрозил ему пальцем:

– Вы живете внутри! Это совершенно другое дело... Словом, в тот день, когда совершилось преступление, Сандино получил официальное заверение президента Сакасы, что гвардия Сомосы будет распущена и вместо нее он создаст национальную армию... Ведь гвардейцев придумали янки, когда оккупировали Никарагуа... А что значит Сомоса без гвардии? Ничего! Нуль. Пшик... Вот он и поехал к посланнику – «гринго» Блиссу Лейну, а от него отправился в свой штаб, запер все двери и предложил присутствующим членам штаба подписать санкцию на убийство Сандино... Всем... Круговая порука... Сам он подписался с краешку, незаметно, чтобы в случае чего можно было сказать, что это сделано под нажимом гвардейцев... Казнь Сандино была поручена майору Дельгадильо... Сомоса уехал на вечер поэзии, аплодировал стихам Элюара, даже прослезился... А после прощального ужина в честь Сандино, когда президент лично усадил его с отцом и братом в машину, по дороге на аэродром нашего героя остановили. А потом расстреляли из пулеметов... Нет, отца пощадили, но он умер вскорости, когда узнал, что Сомоса расстрелял его внучек... Наутро президент Сакаса собрал в своем дворце министров, иностранных послов и пригласил Сомосу.

Его обращение потрясло собравшихся:

– Я поручаю генералу Анастасио Сомосе возглавить комиссию по расследованию злодеяния, совершенного сегодня ночью, которое пало позором на всех никарагуанцев, ибо они позволили бандитам убить нашего национального героя. Я требую от генерала Сомосы публичной клятвы на верность конституции и мне, президенту...

И Сомоса поклялся...

...Я узнал все про майора Дельгадильо, который руководил расстрелом Сандино... Но Сомоса пригласил к себе на ужин капитана Поликарпио Гутьереса: «Ты должен признаться, что убил Сандино, мой молодой друг... Ты должен выйти на процесс и открыто, при журналистах, во всем признаться во время перекрестного допроса моих судей... Я готов поклясться на крови, что ты не будешь казнен... Твоя семья получит деньги уже сейчас, завтра же... Большие деньги. На год, что ты проведешь в камере, им хватит с лихвой... А потом, когда пройдет это паршивое время тараканов и я стану президентом, ты превратишься в национального героя... «Зеленые рубашки» сделают тебя своим фюрером, мой молодой друг, клянусь...»

– Кто такие «зеленые рубашки»? – спросил Роумэн.

– Фашисты. У нас их было много... Главные любимцы Сомосы... Крепкие ребята. В декабре сорок первого они сменили свои зеленые рубашки на мундиры гвардейцев...

И Гутьерес вышел на процесс... Он сыграл то, что ему написали, хотя крепко мандражил, потому что всех рядовых гвардейцев, расстрелявших Сандино, через час убили выстрелами в висок, чтоб не было никаких следов... Убили и тех двух полковников, что вместе со мной проводили расследование... А я до сих пор жив... Поче-

му? А оттого, что я сказал Сомосе: «Генерал, то, что я знаю, надежно хранят в Чикаго люди моего брата Аль Капоне. Я передал им документы, которые станут вашим смертным приговором, если с моей головы упадет хоть один волос»... И вот живу... И только поэтому могу помогать Пепе и его боссам... Как это важно — знать и хранить...

Гуарази мягко поправил:

— Храним мы, Солано... Ты знаешь... Все, пошли отдыхать, с Сомосой надо говорить на свежую голову...

...Гвардейцы Сомосы — низкорослые, иссиня-черные, отчего-то все как один кривоногие, с вывернутыми икрами, абсолютно индейский тип — обыскали Гуарази и Роумэна; Солано отдали честь, но начальник охраны диктатора столь страстно обнимал старика и обхлопывал, что стало ясно: обыск обыску рознь.

«Первого» и «второго» оставили в машине; Гуарази — после тяжелого раздумья — запретил им брать с собой шмайсеры и гранаты, все равно не отобьемся, паренька охраняет сто человек, рядом, в бункере, полк, какой смысл подыхать всем? Если мы не выйдем через час или услышите стрельбу, гоните на север, к Леону пробирайтесь через джунгли в Сальвадор, идите в посольство, вас отправят домой, скажете, что нам крышка, пусть затребуют тела, я хочу быть похороненным рядом с отцом и братьями.

...Сомоса был невысок, красив низкопробной красотой сутенера; видимо, подумал Роумэн, такое впечатление рождает то, что он слишком тщательно одет, уложен парикмахером и наманикюрен, — он похож на прощелыгу; настоящий мужик должен быть небрежен в одежде.

Навстречу гостям Сомоса не поднялся; кивнул Солано на кресло; Роумэну и Гуарази предложил сесть за длинный стол, за которым он, видимо, проводил заседания.

— Ну, как добрались? — спросил Сомоса. — Мои гвардейцы не мучили вас на дорогах? Совершенно неуправляемые люди! Откуда только в них берется эта слепая жестокость?! И церковь зовет их к добру, и в школах мы ввели специальные предметы, воспитывающие тягу к прекрасному, и по радио передаем специальные программы для родителей «Воспитывайте малышей в духе добра и нежности друг к другу». Ничего не помогает! Иногда я думаю, а не бросить ли все это дело и не уехать куда-нибудь на остров, где нет людей, тишина и единение с всевышним...

— Я доехал благополучно, Ваше превосходительство, — ответил Гуарази, сразу же отделяя себя от Пола. — Сердечно признателен за добрый прием и за то, что нашли время для мистера, — он кивнул на Роумэна, — который имеет вам кое-что сообщить...

— Вы американец? — спросил Сомоса, не глядя на Роумэна.

Тот молчал, разглядывая диктатора, сидевшего в кресле чуть не развалясь, закинув ногу на ногу; кресло, видимо, было на колесиках, — легкий упор ноги, и оно откатится в сторону, очень удобно.

– Вы американец? – повторил Сомоса, по-прежнему не глядя на Роумэна.

Солано кашлянул:

– Мистер Макс, сеньор президент интересуется, американец ли вы?

– Ах, это он меня спрашивал? – удивился Роумэн. – Нас же здесь трое... Я просто не понял, к кому обращен вопрос сеньора президента. Да, я американец... По рождению, впрочем, немец... Я натурализовавшийся американец...

Сомоса вздохнул:

– Будь моя воля, я бы вздернул всех немцев...

– Генерал Эйзенхауэр придерживается иной точки зрения, – заметил Роумэн. – Поскольку я возглавлял диверсионную группу в тылу рейха, он, награждая меня орденами Соединенных Штатов, сказал, что немец немцу рознь... Впрочем, никарагуанец тоже отличается от никарагуанца... Я помню, мой босс, он сейчас работает в Центральном разведывательном управлении, бросил меня с десятью мальчиками из группы «командос» на захват гитлеровских архивов... Мы там нашли занятные документы: письма одного никарагуанца великому фюреру германской нации...

Сомоса наконец поднял глаза на Роумэна:

– Как интересно... И кто же подписывал эти письма?

– Они у моего приятеля, лондонского журналиста, сеньор президент... Он очень силен в испанском, да и потом у него хобби: хранит в банке подписи всех выдающихся руководителей Латинской Америки...

Солано несколько растерянно посмотрел на Гуарази; тот сидел напряженно, ни один мускул на лице не дрогнул, хотя о том, что сейчас говорил Роумэн, не знал, тот не посвятил его в это; вспомнил слова Лаки Луччиано о янки; неужели Лаки, как всегда, прав?

– Интересно, – повторил Сомоса, не сводя тяжелого взгляда пронзительно-черных глаз с лица Роумэна. – И что же ваш друг из Лондона намерен делать с этими письмами некоего никарагуанца?

– Это зависит от меня, – ответил Роумэн. – Только от того, какой будет моя судьба...

– Я хорошо гадаю по руке, – сказал диктатор. – Подойдите ко мне, я скажу, что вас ждет в будущем.

Роумэн поднялся, протянул Сомосе левую руку.

Тот долго, внимательно рассматривал линии его ладони, потом удивленно усмехнулся:

– Вы рано осиротели и поздно женились... Совсем недавно, судя по пересечению узелков... Вы были ранены? – Он поднял глаза на Роумэна. – Перенесли тяжкое увечье? Это было года три назад? Видимо, во время войны?

– Четыре года назад, – кивнул Роумэн, – верно...

– Хорошая ладонь, – заметил Сомоса. – Будете долго жить, если не наделаете глупостей... Характер у вас вздорный.

– Значит, именно такой характер был угоден богу, если он наградил им меня...

Сомоса ждал, что Роумэн вернется за стол, но тот полез в кар-

ман куртки; Сомоса чуть тронул ногой стол, его кресло стремительно откатилось в сторону, а из-за занавесок вышли трое гвардейцев с пистолетами в руках.

Роумэн удивился:

– Ваше превосходительство, нас обыскали в приемной.

– Что за безобразие! – Сомоса возмутился. – Кто позволил обыскивать моих гостей?! Солано, почему вы не сказали мне об этом?

– Я... то есть... я, – Солано явно растерялся.

– Сеньор президент, – жестко продолжил Роумэн, – ту часть разговора, которую мне предстоит провести, желательно окончить без свидетелей.

– Вы имеете в виду этих психопатов? – Он кивнул на гвардейцев. – У них вырезаны языки, это символы, а не люди, не обращайте внимания... Хорошо натасканные охотничьи двуногие... Я весь внимание, вы что-то хотели мне показать?

Роумэн наконец усмехнулся:

– Они не станут стрелять, если я вытащу из кармана бумагу?

– В этом кабинете не стреляют, – ответил Сомоса. – Наш безумный, неуправляемый, темный народ стреляет в других местах, правда, Солано?

– Да, Ваше превосходительство, наш народ непредсказуем.

– Ну почему же? – Сомоса снова улыбнулся, он теперь постоянно улыбался, и в этом было что-то машинальное, растерянное. – Чем больше воспитательной работы с подрастающим поколением, чем больше книг и библиотек, тем он будет предсказуемей! Мы же гуманисты, верим в торжество доброты...

Роумэн протянул ему исковое заявление Франца Брокмана.

Сомоса читал неторопливо, иногда пожимал плечами, порою удивлялся, обиженно разводя руками.

– Ну и что? – спросил он, возвращая иск. – Зачем вы принесли мне это? Какое я имею отношение к этому делу?

– Сеньор президент, я взял на себя миссию вернуть честным немцам то, что вами было у них конфисковано. Вы же друг Соединенных Штатов, не правда ли? Вы знаете, как мы начинаем помогать несчастной Германии восставать из пепла. В Вашингтоне не поймут вашу жестокость к тем, кто внес свою лепту в развитие нашей страны... Тем более, все немцы согласны оставить вам половину своей собственности... Это два миллиона долларов... И половину недвижимости... Это еще пять миллионов... Причем речь идет не о немедленном акте правительства... Дело можно урегулировать постепенно, к взаимной выгоде...

– Каков ваш интерес в этом предприятии? – спросил Сомоса.

– Десять процентов, Ваше превосходительство, – ответил Гуарази. – Мы получаем с немцев десять процентов, пять отдаем Никарагуа...

– Шесть, – поправил его Роумэн. – Мы отдадим шесть процентов на развитие народного образования Никарагуа. Но если сеньор президент согласится выделить на четыре дня небольшой аэроплан – для моих нужд, – я отблагодарю его в случае, если операция пройдет успешно, миллионом долларов.

– Сеньор Лаки Луччиано, – сказал Пепе, чувствуя, как сгустилась атмосфера в кабинете, – и его братья готовы уделить внимание вашей столице...

– Это твои хорошие друзья, Солано? – спросил Сомоса, скрывая зевоту.

– Да, сеньор президент.

– Ты знал, с чем они придут ко мне?

– Нет, сеньор президент.

– А если бы ты знал про их интерес? Все равно просил бы меня принять их?

– Не знаю, сеньор президент.

Гуарази, оставаясь по-прежнему недвижным, маска, а не лицо, полная флегма, ответил:

– Он бы сделал это, зная все, Ваше превосходительство.

Сомоса удивился:

– А почему это вы за него отвечаете? Я ведь еще не приказал отрезать ему язык...

– Если вы отдадите такой приказ, Ваше превосходительство, то все мои друзья – начиная с брата покойного Аль Капоне малыша Ральфа, который провожал меня сюда, – перестанут быть вашими добрыми знакомыми, – тихо заметил Гуарази. – Мы перекупим людей из вашей охраны, Ваше превосходительство... Я обещаю вам это... Как и этот мистер, – он кивнул на Роумэна, – я работал в американской разведке, когда мы освобождали Сицилию... Так что у меня остались друзья, которые проливали кровь вместе со мной... У меня на глазах фашисты расстреляли отца, трех братьев и бабушку... С тех пор я не боюсь смерти, Ваше превосходительство... Впрочем, если вы предложите мне контракт, который даст мне денег больше, чем я получу от этого, – он кивнул на иск, лежавший на столе, – я расторгну договор, я служу тем, кто больше платит...

– Сколько вы получите, если я помогу некоторым немцам? – Сомоса неотрывно смотрел на Гуарази, словно гипнотизируя его.

– Гроши... Тысяч сто...

– Но если вы дадите нам самолет, – сказал Роумэн, – я получу миллионов двадцать... Точнее – могу получить, работа сопряжена с риском...

– Не хотите поселиться в Манагуа? – Сомоса по-прежнему не отрывал глаз от Гуарази.

– В качестве кого?

– Моего личного друга... Здесь вам не нужны деньги... Дома, особняки на побережье, слуги, женщины, мальчики – все за мой счет.

– Ваше превосходительство, я воспользуюсь вашим предложением, если доживу до пятидесяти, – ответил Гуарази. – Пока мне тридцать восемь. Я в бизнесе. Деньги должны крутиться, иначе они превратятся в бесценные бумажки... Тем не менее я благодарен за предложение.

– Куда должен лететь самолет? – спросил Сомоса.

– Туда, куда следует, – ответил Роумэн.

Сомоса, снова зевнув, повторил:

– Куда должен лететь самолет?

Роумэн достал свои мятые «Лаки страйк» и, не спрашивая разрешения, закурил:

– Вам, подписывавшему письма Гитлеру, в которых вы выражали свой восторг практикой германского нацизма, выгодно дать нам самолет, мистер Сомоса... Если вы не дадите, ваши письма будут опубликованы в лондонской прессе. И вы лишитесь поддержки Вашингтона. Вы же читаете наши газеты, знаете, что у нас началась кампания против тех, кто сотрудничал с Гитлером, – Роумэн нервно сглотнул ком в горле. – Лишившись поддержки Вашингтона, вам не преминут напомнить о Сандино.

– Вашингтон полон респекта к борьбе немецких военных против коммунизма, – ответил Сомоса, хрустнув своими толстыми, наманикюренными пальцами. – Вашингтон знает, кем был Сандино. Да и потом, пугать меня – смешная затея, правда, Солано?

– Да, сеньор президент, – ответил тот. – Только они вас не пугают. Они так поступят.

– Вашингтону не нужен президент, который, как оказывается, обожал Гитлера, – повторил Роумэн. – Это помешает Белому дому провести конференцию в Рио-де-Жанейро. Если среди делегатов будет человек, объяснявшийся в любви фюреру, торпедируется идея конференции. Америка борется с коммунизмом чистыми руками, и ее поддерживают в этой борьбе политики с безупречным прошлым.

Гуарази поднялся:

– Ваше превосходительство, мы будем ждать ответа в доме Солано. У нас в запасе два часа времени.

Сомоса кивнул:

– Солано, останься, друг мой. Я хочу выпить с тобой чашку кофе... Вы свободны, сеньоры.

Проводив тяжелым взглядом Роумэна и Гуарази, диктатор долго рассматривал свои маленькие, женственные руки, потом поднялся из-за стола:

– Подожди меня, дорогой Солано... Я должен позвонить... Сколько ложек сахара класть в твою чашку?

Тот чуть привстал с кресла, прижал руки к груди:

– Я не думал, что они придут с этим, сеньор президент! Клянусь честью!

– Ты знаешь их настоящие имена?

– Да... Вито Гуарази, адъютант Лаки Луччиано... И Пол Роумэн... Оба из разведки... Не знаю, как сейчас, но раньше они служили на Донована и Даллеса...

– Мне они нравятся... Люблю крепких ребят, – сказал Сомоса, дружески улыбнулся Солано и вышел из кабинета в соседнюю комнату, где отдыхал, принимал душ и порою отдавал себя в руки массажиста.

Там он снял трубку прямого телефона, соединявшего его с резидентом американского посольства:

– Майкл, вам ничего не говорят имена – Гуарази и Роумэн?

1

Фрэнку Визнеру.

Весьма срочно!
Совершенно секретно!

Интересующие вас лица находятся в Манагуа и требуют самолет для полета на юг, в Аргентину. Жду указаний.

Резидент
Майкл Грис.

2

Резиденту ЦРУ на Кубе
Эндрю Лирсу.

Весьма срочно!
Совершенно секретно!

Немедленно свяжитесь с Лаки Луччиано. Поставьте перед ним следующие задачи:

1. Его люди сейчас же вылетают в Асунсьон и Кордову, входят в контакт с нашими резидентурами, садятся к радиоприемникам, обеспечивающим связь со всеми интересующими меня самолетами, и ждут указаний.

2. Получив наш приказ, они передают пассажиру самолета Вито Гуарази, псевдоним «Пепе», рекомендации Лаки Луччиано: «Если на борту самолета – после выполнения задуманной операции – окажется не один пассажир, а два, причем один из них будет явно похищен, необходимо устранить тех, кто вылетел с ним из Манагуа, а также похитителя. Похищенного беречь как зеницу ока».

3. Самолет должен приземлиться в Асунсьоне. Здесь люди Лаки Луччиано устраняют Гуарази. Похищенный передается лично нашему резиденту.

4. Если эти позиции будут выполнены, обещайте Лаки Луччиано мою личную помощь и поддержку во всех будущих начинаниях.

5. Ответ жду немедленно.

6. Если Луччиано находится в Варадеро, свяжитесь по телефону, времени для личной встречи у вас нет.

Фрэнк Визнер.

3

Фрэнку Визнеру.

Весьма срочно!
Совершенно секретно!

Разговор состоялся по телефону. Луччиано согласен. Выезжает для консультаций и выработки плана.

Его люди уже отправились на аэродром; самолет Лаки в их распоряжении; операцию осуществит «Хорхе».

Луччиано благодарит за дружбу и доверие, считает досадный инцидент, глубоко его оскорбивший, законченным.

Резидент на Кубе
Эндрю Лирс.

4

Манагуа, резидентура,
Майклу Грису.

Весьма срочно!
Совершенно секретно!

Пусть Сомоса примет предложения интересующих нас лиц. Самолет должен быть передан в их распоряжение. Однако он не должен быть скоростным, чтобы легче осуществлять контроль. В случае, если летчик получит указания по радио от «Хорхе», он обязан им подчиниться. Первый пункт при его возвращении из Аргентины должен быть Асунсьон.

В подробности операции летчика не посвящать.

Визнер.

5

Гелену. «Организация».

Весьма срочно!
Совершенно секретно!

Прошу сообщить, какие поселки или городки в южноамериканской сельве, особенно в Аргентине, являются наиболее опасными с точки зрения организованной нацистской эмиграции.

Фрэнк Визнер.

6

Фрэнку Визнеру.

Весьма срочно!
Совершенно секретно!

Сомоса настаивает на том, что документы, бросающие на него тень, которые ныне находятся в руках синдиката, – речь идет о деле Сандино – должны быть переданы ему людьми Лаки Луччиано и Капоне-младшего. В свое время эти уликовые материалы были переданы синдикату неким Солано.

Резидент в Манагуа
Майкл Грис.

7

Манагуа,
Майклу Грису.

Весьма срочно!
Совершенно секретно!

Сообщите президенту, что документы, хранящиеся у Луччиано и Капоне-младшего, будут ему переданы после окончания операции.

Фрэнк Визнер.

8

Фрэнку Визнеру.

Весьма срочно!
Совершенно секретно!

Сомоса настаивает, чтобы ему были возвращены письма, отправленные им до начала войны в канцелярию Гитлера, когда «зеленые рубашки» возглавляли борьбу против Сандино. Он также требует, чтобы претензии немцев, настаивающих на возвращении реквизированных им кофейных плантаций, разбирались совместно с представителями нашего посольства.

Сомоса против того, чтобы отдавать немцам хоть что-либо. Он готов, если мы его поддержим, разрешить им обработку пустующих земель вдали от столицы.

Майкл Грис

9

Майклу Грису.
Резидентура в Манагуа.

Весьма секретно!
Срочно!

Обещайте ему все и пошлите к черту. Пусть сейчас выполняет то, что ему предписывают.

Фрэнк Визнер.

10

Резидентурам в Аргентине,
Чили, Бразилии,
Парагвае, Перу,
Боливии, Колумбии,
Венесуэле.

Немедленно свяжитесь с нашими военно-воздушными атташатами.

Передайте им просьбу руководства: немедленно войти в контакт с местными службами слежения за воздушным пространством.

Постоянно наблюдайте за самолетом, который будет следовать на юг из Манагуа. Марку аэроплана и номер передаст резидент в Манагуа Майкл Грис.

Информировать меня о происходящем ежечасно – вплоть до окончания операции.

Дополнительные сообщения будете получать по мере развития событий.

Фрэнк Визнер.

11

Гелену.
«Организация».

Весьма срочно!
Совершенно секретно!

Прошу немедленно ответить на мой предыдущий запрос о нацистских поселениях в сельве.

Фрэнк Визнер.

12

Фрэнку Визнеру,
по месту нахождения.

Весьма срочно!
Совершенно секретно!

«Организация» такого рода информацией не располагает, поскольку ее деятельность прежде всего сконцентрирована на Восток.

За Гелена – Лорх.

13

Лорху, для Гелена.
«Организация».

Весьма срочно!
Строго секретно!

Такой ответ меня не устраивает!

Визнер.

14

Фрэнку Визнеру.

Весьма срочно!
Строго секретно!

Иного дать не можем.

За Гелена – Лорх.

...Через час в дверь дома Солано позвонили.

Гуарази посмотрел на своих людей; те по-кошачьи разбежались к окнам, с которых просматривалась улица; «первый» показал пальцем, что стоит одна машина.

«Второй» отворил дверь.

На пороге стоял молоденький офицер в форме ВВС:

– Сеньоры, я прибыл в ваше распоряжение. Самолет ждет на аэродроме.

Когда они взлетели, летчик, обернувшись, прокричал в маленькую, всего на пять мест, кабину:

– Откройте чемодан! Начальник охраны сеньора президента просил передать вам завтрак.

«Первый» хотел было открыть чемодан; Роумэн рявкнул:

– Не трогай!

Гуарази, стремительно взглянув на него, спросил пилота:

– Слушай-ка, браток, а ты можешь сесть вон на то поле?

– Это чудо что за самолет, – ответил пилот. – Он садится где угодно.

– Ну-ка, покажи нам свое искусство, – сказал Гуарази. – Нам еще предстоит садиться на полях, давай-ка потренируемся...

Самолет легко покатился по траве. Гуарази первым выскочил из люка, отбежал в сторону, лег на землю; рядом с ним бросился Роумэн; пилот, внезапно побледнев, обрушился на землю рядом с самолетом и быстро пополз за большое дерево; «первый» и «второй» ползли рядом с ним.

– Джузеппе, вынь чемодан, – негромко приказал Гуарази.

Небритый сразу же поднялся, пошел в самолет; вытащив чемодан, он поставил его на землю, прямо перед собою.

– Отнеси его за дерево, к ручью, – по-прежнему негромко приказывал Гуарази.

Парень, не сказав ни слова, потащил чемодан к ручью – метров двести от самолета, низина, там взрыв не страшен.

– Открой чемодан! – крикнул Гуарази.

– Передай маме мой поклон, – ответил ему Джузеппе и, встав на колени, открыл замки. Он стоял на коленях какое-то время, а потом засмеялся; в знойной тишине его смех был противоестественным, истеричным, подвывающим.

Гуарази поднялся и пошел к нему; в чемодане лежала голова Солано; в резиновом пакетике было письмо; Гуарази вскрыл его: «Предав сеньора президента, он может предать и вас. Я боюсь за вас и молю бога, чтобы вам сопутствовала удача... Ваш искренний друг».

ШТИРЛИЦ, РОУМЭН, МЮЛЛЕР, ПЕПЕ (сорок седьмой)

– Что это мне вторую ночь не дают спать ваши чертовы аэропланы? – спросил Штирлиц за завтраком. – Зачем днем и ночью гоняют моторы? Готовитесь к полету на Южный полюс? Тренируете десант в Европу? Намечена неожиданная бомбежка Москвы?

Мюллер погрозил ему пальцем:

– Нехорошо забывать дни национальных праздников, Штирлиц. Завтра «день Люфтваффе», неужели запамятовали?

– Бедный Геринг, – усмехнулся Штирлиц, – если бы он был рядом...

– Не надо, Штирлиц! Вы прекрасно понимаете, что рядом со мной боров невозможен... Ладно, пейте кофе, я продолжу изучение дела Линдберга... Давайте текст...

«...Тридцать детективов Нью-Джерси посвятили тысячи часов сбору информации и изучению всех подозрительных личностей в округе; была допрошена прислуга Линдбергов: архитекторы, каменщи-

ки, плотники и рабочие, участвовавшие в строительстве дома, их родственники, знакомые и друзья.

Один из агентов съездил в Англию, чтобы с помощью Скотленд-Ярда заняться предками прислуги Линдбергов – верных им Бетти Гоу и Вотели.

И, наконец, по прошествии месяцев полиция выдвинула версию, объяснявшую причину смерти Чарльза-младшего.

Использовав тот же тип дерева и размеры лестницы, найденной возле дома, была изготовлена новая лестница, абсолютно идентичная той, по которой в дом забрался «Джон». В ходе экспериментов, проведенных под окном детской, лестница сломалась в том же месте, что и оригинал. Сломалась, когда вес агента, в руках которого был сверток, имитирующий ребенка, равнялся восьмидесяти килограммам. Спускающийся по лестнице имитатор «Джона» упал лицом вперед, а сверток, находящийся у него в руках, ударился о стену, причем та часть, которая соответствовала черепу, стукнулась о подоконник.

Поскольку ребенок Линдбергов весил пятнадцать килограммов, то, следовательно, вес похитителя был шестьдесят пять. Кроме того, стало ясно, что похититель был ловким человеком, так как ступеньки были прибиты в сорока восьми сантиметрах одна от другой, а в обычных лестницах расстояние между ними всего тридцать три сантиметра.

Были собраны показания всех людей, находившихся недалеко от места преступления первого марта или незадолго до этой даты. Выяснилось, что в феврале соседи дважды видели неизвестного неподалеку от дома Линдбергов. Первого марта, до полудня, был замечен зеленый «седан», остановившийся на дороге, что вела к дому; за рулем сидел мужчина, а в машине была лестница. В этот же день вечером один из свидетелей видел машину, стоявшую недалеко от дома Линдберга. По его словам, у водителя было продолговатое лицо и угловатый профиль; рядом с ним на переднем сиденье находились две секции лестницы.

Но возникал вопрос: как этот бандит мог знать, что ребенок находится в новом доме, вопреки традициям семьи, которая будние дни обычно проводила в доме бабушки Морроу?! Откуда бандиты знали, какая из комнат – детская? Как они могли определить время, благоприятное для похищения? Шеф полиции штата Нью-Джерси пришел к выводу: гангстеры получили информацию от кого-то из домашних. Под подозрением сразу оказались два человека: первым был друг Бетти Гоу, молодой норвежец по имени Эндрю Джонсон, который знал расположение комнат, поскольку посещал дом три раза. Джонсон знал (ему об этом сказала Бетти), что Линдберги в ночь похищения находились именно там, а не в доме бабушки Морроу. Действительно, он звонил Бетти в Хопвелл и разговаривал с ней примерно за час до преступления. Однако полиция убедилась, что Джонсон не имел ничего общего с этим делом, – чистое алиби.

Вторым человеком, попавшим под подозрение, была двадцативосьмилетняя англичанка Виолетта Шарп – прислуга матери Анны Линдберг. В доме ее все любили, особенно мажордом Септимум

Бенкс (люди были уверены, что Бенкс, церемонный и сдержанный, вот-вот сделает ей предложение).

Полицию не удовлетворило объяснение Виолетты о ее похождениях в ночь трагедии. Она сказала, что «один друг» пригласил ее в кино: «Я знакома с ним всего два дня». Она «не помнила» его имени и не могла назвать фильм, который они смотрели. В кино с ними была еще одна пара, но Виолетта не могла вспомнить и их имен; девушка путалась в показаниях, инспектор Волс уличил ее в многочисленных противоречиях, допрос был приостановлен, поскольку девушка впала в истерику; на следующий день Виолетта Шарп приняла яд и умерла до прибытия врача.

Шеф полиции штата полковник Шварцкопф собрал репортеров:

— Самоубийство Виолетты Шарп подтверждает наши подозрения, что она имела прямое отношение к преступлению.

Однако на следующий день к инспектору Волсу пришел молодой человек, который представился Эрнстом Миллером и сказал, что это он ходил с Виолеттой в кино; кроме этого, он назвал имена той пары, которая провела с ними тот вечер. Он был удивлен, что Виолетта не смогла вспомнить его имени: «Я совершенно уверен, что она это прекрасно знала».

Заявление Миллера подтвердилось. Совершенно сбитый с толку Волс заявил журналистам:

— Я не могу понять, почему Виолетта Шарп — не имея ничего общего с похищением — предпочла смерть оглашению имени Миллера.

Прессу как в Англии, так и в Соединенных Штатах не устроило это заявление; журналисты писали иначе: «Полиция Нью-Джерси свела с ума ни в чем не повинную девушку своим преследованием».

В Лондоне разразились жаркие дебаты в парламенте; генеральный консул Ее величества в Нью-Йорке получил инструкцию: сообщить обо всем, что касается этого дела, хотя не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять: Виолетта Шарп стыдилась мажордома Бенкса, который на днях должен был просить ее руки...

...В течение всего лета шеф полиции Нью-Джерси полковник Шварцкопф собирал улики, свидетельства, протоколы допросов; безрезультатно; и вдруг возникла версия Джеймса Финна, лейтенанта нью-йоркской полиции.

Финн знал Линдберга не первый год; входил в свиту полковника в день восторженного приема, который устроил Нью-Йорк своему «одинокому орлу» после перелета через океан. Линдберг, на которого еще тогда Финн произвел большое впечатление своими знаниями, обратился к лейтенанту за помощью сразу после похищения; полковник Шварцкопф, однако, был против: «Этот человек не из нашей полиции».

Поэтому, не имея доступа к документам, которыми владел Шварцкопф, лейтенант был вынужден строить беспочвенные версии до тех пор, пока некоторые подробности дела не стали достоянием публики, — агенты Нью-Джерси, возглавляемые Шварцкопфом, кое-что открыли. Тогда Финн начал работать в двух направлениях: с

номерами банкнот, переданных старым учителем «Джону», и его рассказом о встречах с бандитом на кладбище.

В июне Финн опубликовал во всех газетах словесный портрет похитителя, составленный на основании рассказа учителя: «Возраст — от 30 до 35 лет; рост — 1,75; атлетическое сложение, говорит со скандинавским или немецким акцентом; весит от 68 до 72 килограммов; светлый цвет кожи; светло-каштановые волосы; миндалевидные, проникновенные глаза; открытый лоб; острый подбородок».

Начиная со дня передачи выкупа «Джону» в магазины, кафе и универмаги стали поступать банкноты, отмеченные казначейством. Деньги пускали в обращение осторожно и умно. Как только лейтенант Финн получал сообщение, он проводил дознание в том месте, где появлялась банкнота, а затем на карте, висевшей в его кабинете, булавкой отмечал это место. Однако результаты были неутешительными: к тому времени, когда банкноты опознавали, — а это были пяти- и десятидолларовые билеты, «мелочовка», — установить, от кого она была, не удавалось.

Красные точки на карте появлялись безнадежно медленно, не давая серьезных результатов. В октябре лейтенант Финн вспомнил, что когда-то слышал о молодом нью-йоркском психиатре Данли Шенфельде, у которого была своя версия по делу Линдберга: в противоположность полиции, доктор утверждал, что кража ребенка была совершена одиночкой. Вполне возможно, считал он, что какой-то человек, одержимый манией величия, посчитал великого пилота, идола Америки, своим соперником; именно такой маньяк мог решить, что, выкрав ребенка, он победит Линдберга и докажет этим свое над ним превосходство, — «комплекс властвования».

Похититель попросил всего пятьдесят тысяч долларов (это мизер для организованной банды), потому что самым важным для него был сам факт похищения. Впрочем, Шенфельд признавал, что его версия основывается только на газетной информации: «Если бы я мог ознакомиться с перепиской о выкупе!»

Финн обратился в полицию Нью-Джерси; нажал и Линдберг, — просьба была удовлетворена, психиатр получил фотокопии бумаг, которые до этого тщательно скрывались. Через два дня психиатр сообщил Финну, что письма подтвердили его предположения: «Можно составлять план действий».

Врач начал с того, что дал детальное описание личности «Джона». Во-первых, он действительно был немцем — стилистические и орфографические ошибки несомненно доказывали, что это эмигрант, все еще думающий по-немецки. Возможно, он жил в Бронксе, поскольку читал газету «Хоум ньюс» и хорошо знал тот район, — об этом можно судить по детальности инструкций, которые он давал старому учителю Кондону.

По словам Шенфельда, в личности «Джона» ярко проступала бессознательность мышления. Из писем следовало, что человек считал себя всемогущим. Стиль писем и бесед с учителем Кондоном отражал болезненную самоуверенность: «Это похищение гото-

вилось целый год». Но самым ярким примером была следующая фраза: «Необходимо, чтобы дело приобрело мировую известность».

В это же время Финн снова и снова изучал карту, отмечая места, названные «Джоном» в инструкции доктору Кондону, учитывая и распространение банкнот. Он пришел к выводу, что вероятнее всего преступник жил в Бронксе, что подтверждали и рассуждения Шенфельда.

Но здесь жили тысячи семей, и найти среди них «Джона» было достаточно трудно.

...Почти через год после преступления, подхлестнутый поиском нью-йоркского лейтенанта, шеф полиции Нью-Джерси Шварцкопф снова стал думать о лестнице: ее заново изучали на «пальцы», фотографировали в разных ракурсах, ее исследовали плотники и техники Палаты мер и весов Вашингтона, однако и здесь каких-либо положительных результатов не было.

Артур Келлер, начальник лаборатории дерева Соединенных Штатов, видел только образцы дерева, но не изучал всей лестницы. Шварцкопф, узнав о его блестящей репутации, решил попросить помощь у специалиста. Келлер разобрал лестницу, пронумеровал каждую из одиннадцати ступеней и все шесть продольных брусов; начал изучать структуру дерева. Он нашел четыре дырочки в верхней секции левого продольного бруса, оставленные старыми гвоздями прямоугольного сечения. Чистые края отверстий показывали, что доска была защищена от воздействия непогоды. «В случае задержания подозреваемого, – сказал Келлер, – надо искать у него в доме доску с отверстиями, расстояние и наклон которых совпадали бы с этими: возможность случайного совпадения абсолютно исключена».

Затем Келлер занялся исследованием заметных бороздок в нижней части продольных брусов. Хотя он заметил их раньше и считал следами ножей фрезы лесопилки, сейчас он обратил внимание на одну особенность: вдоль одного края брусов, которые, несомненно, были сделаны из одной и той же южной сосны, испорченный зубец фрезы оставил тонкий желобок, который нельзя было ни с чем перепутать. Эти незначительные изъяны стали для Келлера дактилоскопическими отпечатками лесопилки. Тщательно изучив увеличенные фотографии следов, оставленных фрезой, Келлер смог определить как основные характеристики лесопилки, так и скорость, с которой обрабатывалось дерево.

Он отправил письма владельцам всех лесопилок, находящихся между Нью-Йорком и Алабамой (их было 1598), задавая только один вопрос, имеется ли у кого-либо из них машина с теми характеристиками, описание которых он прилагал.

Полученные ответы позволили ему сократить поиск до двадцати трех лесопилок. Хозяевам этих предприятий он направил повторные письма с просьбой прислать образцы сосновых досок различных размеров, обработанных на этих машинах. Наконец, на одном из образцов, полученных от компании «Дорн», он обнаружил характерные бороздки, идентичные тем, которые были на брусах лестницы. Ко-

нечно, образцы не отражали всех дефектов, но он и не ожидал их найти, так как был уверен, что испорченный зубец уже заточили или сменили.

От лесопилки «Дорна» Келлер получил список всех складов северо-западных штатов, куда за последние двадцать девять месяцев направлялись сосновые доски; всего насчитали сорок шесть вагонов. Келлер понимал, что за это время дерево прошло через столько рук, что практически невозможно было найти его следы, тем не менее он решил попытаться это сделать.

Вместе со следователем Левисом Борманом он побывал в штатах Нью-Джерси, Коннектикут, Нью-Йорк, Массачусетс, разыскивая людей, которые купили части партий, отгруженных «Дорном».

Следуя этому списку, он посетил бесчисленное множество домов и, пользуясь властью Бормана, в каждом подозрительном месте брал ту или иную часть для анализа: щепку от гаража, часть слухового окна, осколок от курятника, часть изгороди, но нигде он не встретил того, что искал; однако круг поисков сужался; 29 ноября 1933 года Келлер и Борман прибыли на один из торговых складов в Бронксе, где и узнали – ознакомившись с документами компании, – что за три месяца до похищения ребенка Линдберга были получены шестьсот девяносто метров южной сосны, разрезанной на лесопилке «Дорна». Они поинтересовались, осталось ли что-нибудь от этой партии. Старый мастер, немного подумав, отвел их на склад и отрезал кусок доски; Келлер вынес его на свет и сразу же обнаружил дефекты, оставленные испорченным зубцом: следы были полностью идентичны разыскиваемым; теперь не было сомнений, что дерево, из которого были сделаны продольные брусы лестницы, купили на этом складе в Бронксе.

В августе 1932 года, когда родился второй сын Линдберга (назвали Джоном), летчик сказал репортерам:

– Моя жена и я решили продолжать жить в Нью-Джерси, но мы не хотим, чтобы о нашем втором сыне писала пресса. Это – по нашему мнению – привело к смерти первенца...

Его страхи были обоснованны, потому что после похищения Чарльза-младшего началась эпидемия похищений детей; это становилось одной из величайших угроз для страны, несмотря на «Закон Линдберга», вошедший в силу 22 июня 1932 года, по которому такого рода похищение приравнивалось к государственному преступлению. «Нью-Йорк таймс» регулярно, на первых полосах, публиковала перечень нерасследованных похищений. Кроме того, именно сейчас Линдберги начали получать письма с угрозами:

«И второго сына выкрадем».

– Но при чем здесь я?! – еще более раздраженно спросил Мюллер.

– Читайте, – лениво ответил Штирлиц. – Поймете.

«...Карта, висевшая в кабинете лейтенанта Финна, постоянно видоизменялась. К редким булавкам, которые отмечали первые появления банкнот, переданных бандиту, прибавлялись все новые;

Бронкс был тем местом, где жил похититель, – сомнений не оставалось.

...Приток меченых денег возрастал день ото дня. Видимо, успокоенный тем, что сообщения в прессе о поисках похитителя кончились, «Джон» оплачивал даже мелкие, *центовые* покупки банкнотами в десять, а иногда и в двадцать долларов.

В субботу, пятнадцатого сентября, темно-голубой «додж» подъехал на заправочную станцию на углу 127-й улицы и авеню Лексингтон.

– Двадцать литров, пожалуйста, – попросил водитель.

Хозяин станции Вальтер Лайл обратил внимание на лицо человека: выступающие скулы, чисто выбрит, острый подбородок; заправив «додж», сказал:

– С вас девяносто восемь центов.

Клиент протянул десятидолларовую банкноту. Лайл вспомнил о циркуляре, в котором просили сверять номера банкнот со списком, в котором были отмечены билеты, входившие в сумму выкупа за ребенка Линдберга. К несчастью, выцветший и потрепанный список давно выбросили в урну.

Когда Лайл рассматривал деньги, клиент улыбнулся и сказал с иностранным акцентом:

– Это настоящие деньги, их примет любой банк.

Лайл зашел в контору, выписал квитанцию и вернулся со сдачей; когда автомобиль отъехал, Лайл, тем не менее, нацарапал на банкноте номер машины штата Нью-Йорк: 49-13-41; около полудня пошел в банк, чтобы положить на свой счет утреннюю выручку...

...Через несколько минут лейтенант Финн уже звонил в отдел регистрации автотранспорта Нью-Йорка.

– Хозяина зовут Рихард Хофманн, – ответили ему. – 1279, Запад, улица 222, Бронкс.

На рассвете следующего дня лейтенант Финн с отрядом лучших агентов федеральной полиции расположились за деревьями в северо-западной, лесистой зоне Бронкса, рассматривая в бинокли маленький, скромный двухэтажный домик коричневого цвета.

В девять часов утра какой-то человек вышел из двери; Финн приложил к глазам бинокль. Человек был среднего роста, крепкого сложения, у него были очень длинные ноги; внешность совпадала с описанием «Джона», получившего выкуп. Пройдя несколько шагов до гаража, закрытого на висячий замок, человек открыл его; через минуту из гаража выехал темно-голубой «седан-додж».

Агенты и полицейские Финна бросились к своим машинам. Растянувшись на три километра, колонна полиции следовала за «доджем». Когда они подъехали к авеню Тремонт, где было легко затеряться, поливочная машина вынудила «додж» сбавить скорость. Один из полицейских обогнал Хофманна, прижал его к обочине; открыв дверцу «доджа», сержант *ворвался* на переднее сиденье и, приставив дуло пистолета к боку водителя, приказал:

– Тормоз! Руки вверх!

Во время обыска агент вытащил из заднего левого кармана Хофманна бумажник; там была ассигнация в двадцать долларов; номер

сразу же сверили со списком денег, выплаченных в качестве выкупа за сына Линдберга; он там фигурировал.

– Откуда у вас эта банкнота, Хофманн? – спросил Финн.

– А у меня таких много, – спокойно ответил тот.

– Где они?

– Дома. В железной коробке, дома.

Однако в коробке нашли только шесть золотых монет по двадцать долларов каждая.

– Речь ведь шла об ассигнациях, – заметил Финн, – а не о монетах.

– Золото – есть золото, – ответил Хофманн. – Это то, что я называю ассигнацией... Я говорил именно об этом.

...Вообще, в квартире нашли мало из того, что хоть отдаленно могло скомпрометировать Хофманна: лишь несколько карт, которые бесплатно раздаются на заправочных станциях, – штат Нью-Джерси, где находился дом Линдбергов, и Массачусетс – там, по словам «Джона», в прибрежных водах на яхте должен был находиться ребенок.

Однако во время обыска агент Сиск заметил некоторые особенности в поведении Хофманна: хотя тот был совершенно равнодушен, в моменты, когда считал, что на него никто не обращает внимания, приподнимался со стула и поглядывал в окно.

– Что вас там интересует? – спросил его Сиск.

– Ничего, – ответил Хофманн, испуганно сжавшись.

Сиск посмотрел в окно, не заметив ничего примечательного, кроме разве гаража. Из окна спальни к крыше гаража тянулся провод. Хофманн объяснил, что провод составляет часть системы сигнализации, которую он установил: «Отпугнет воров, если попытаются украсть машину». Чтобы продемонстрировать работу, он нажал кнопку рядом с кроватью: гараж осветился.

– Вы там прячете деньги? – спросил Сиск.

– Нет, у меня вообще нет денег.

Обыск дома, продолжавшийся двенадцать часов, подтверждал невиновность Хофманна.

И тогда агенты полиции перешли в гараж.

Через два часа, после тщательного осмотра пола, стен и потолка, один из агентов приподнял доску стены, как раз над верстаком; за доской было узкое углубление, в котором лежало несколько пакетов, завернутых в газету; сыщик осторожно достал свертки и начал их разворачивать; в них оказались пачки банкнот из выкупа Линдберга.

Потом обнаружили – в жестяном бидоне еще один тайник; там хранились такие же свертки; все номера серий совпадали со списком банкнот, помеченных казначейством.

...Увидев деньги, Хофманн не дрогнул:

– Это не мои деньги. Они принадлежат моему другу Исидору Фишу.

Затем он продолжил свои объяснения под стенограмму: «Фиш был моим компаньоном в бизнесе, связанном с кожей, потом вдруг решил играть на бирже; не повезло. Я дважды давал ему деньги в

долг; у Фиша плохое здоровье, и в Рождество он уехал в Германию, повидаться с родителями; перед отъездом попросил сохранить до его возвращения кое-какие вещи; откуда я знал, что там?!»

– А где сейчас Фиш?

– Умер, – спокойно ответил Хофманн. – В Лейпциге. Шесть месяцев назад».

– Фиш был жив, – заметил Штирлиц, когда Мюллер оторвался от документа. – Вы подписали лжесвидетельство, дав ответ на запрос криминальной полиции.

Мюллер помял лицо жесткими пальцами:

– Располагаете документом?

– Конечно, – ответил Штирлиц.

– Какой мне был смысл давать лжесвидетельство?

– Не знаю, – Штирлиц пожал плечами. – Впрочем, в документах есть место, которое оставляет поле для фантазии...

– То есть? Говорите ясней!

– Фрау Анна Хофманн, жена бандита, была в рейхе... Она встречалась с чинами полиции... А матери – до ареста – Хофманн написал, что скоро вернется в Германскую империю по амнистии, – он же член «Стального шлема»...

– Уж не хотите ли вы сказать, что фрау Хофманн встречалась и со мною? – спросил Мюллер.

И Штирлиц ответил:

– Хочу.

«...В канун Рождества 1918 года Бруно Рихард Хофманн вернулся с войны.

Не только в его родной деревне Каменз, но и во всей Германии невозможно было найти работу, не хватало продовольствия, будущее сулило мало надежд: «во всем виноваты левые!» Несмотря на то, что Рихарду к тому времени исполнилось только девятнадцать, он уже два года прослужил пулеметчиком в специальной группе войск, «часть особого назначения» (или – любовно – «головорезы»).

В марте 1919 года он начал жизнь профессионального бандита. В первой краже Хофманн «служил» лестницей: на него встали сообщники, чтобы проникнуть в окно второго этажа дома бургомистра, тот отказался добром отдать золото (получил письмо – два круга, овал, квадратик). Затем Хофманн напал на двух женщин, которые везли в детских колясках продукты, в то время строго лимитированные, им дали по карточкам, на декаду.

Он был задержан, изобличен и приговорен к четырем годам тюремного заключения; в 1923 году выпустили на свободу; в июне снова осудили по обвинению в продаже краденых вещей; через два дня он совершил побег и исчез из Каменза, чтобы появиться в Соединенных Штатах...»

– И последнее, – заключил Штирлиц, – после того, как полиция нашла номера ассигнаций, полученных Хофманном от учителя Кондона, после того, как было доказано, что лестница сделана им, лично, дома, после того, как старый учитель опознал его и был вынесен смертный приговор, Анна Хофманн начала кампанию в его защиту, собирая в театрах тысячи немцев; эти люди платили деньги за освобождение соотечественника – под залог... Пришли золотые монеты и из рейха, группенфюрер... Их передал Анне Хофманн человек, которого вы знали... Вы подписывали характеристику на выезд в Штаты полицейского агента Скролдля... Этот документ тоже лежит в сейфе банка – я имею в виду подлинник... Ну, а что потом случилось с полковником Линдбергом, вы знаете... Вот этого-то вам американцы никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах не простят...

(Однако ни Штирлиц, ни Мюллер не знали, что в Лондоне к Линдбергу подошли люди рейхсляйтера Гесса: «Если вы поддержите наше движение, мы гарантируем безопасность вашего младшенького; мы умеем охранять тех, кто к нам добр; в этом безумном мире, полном фанатиков и бандитов, пора навести порядок, мы в силах это сделать, подумайте над нашим предложением, оно исходит от сердца».

И Линдберг не отверг это предложение...

Мир полон тайн, когда-то будущее прольет свет на прошлое, да и под силу ли ему это?!)

– Штирлиц, это бред! Понимаете?! – Мюллер сорвался на крик. – Я никогда не покрывал этого самого Хофманна!

– У вас есть право опровергать подлинность документов, группенфюрер, – ответил Штирлиц. – Судить-то вас будут в условиях демократии, гласно, с экспертизой... Опровергайте, если, конечно, сможете... Вы правильно заметили в начале нашего собеседования: кое-кому в Штатах вы бы сейчас понадобились – кладезь информации... Но трагедия Линдберга даже этим людям не позволит спасти вас: эмоции порою страшнее самых страшных фактов. Увы, но это так. Нет?

РОУМЭН, ШТИРЛИЦ, ПЕПЕ, МЮЛЛЕР
(Аргентина, сорок седьмой)

– Где же эта чертова Вилла Хенераль Бельграно? – пробормотал Роумэн, не отрываясь от карты. – Мы же где-то рядом! Вот укрылись, гады, даже сверху не найдешь...

– Вы верно прокладывали курс? – спросил Гуарази.

– Полагаю, что да, – сказал Роумэн и снова прилип к стеклу кабины: горы и леса, леса и горы, ни дорог, ни домов, ржавые дубравы, зимние проплешины на вершинах, безмолвие.

Пилот снял наушники, протянул Гуарази:

– По-моему, вас вызывают... Говорят похоже, но это не испанский, просят Пепе.

Гуарази, не скрывая радости, – таким Роумэн видел Пепе впервые – тронул его за плечо:

– Это включились наши! Молодцы! Лаки появляется в самый последний момент. Это его стиль... Как в хорошем кино.

Он присел между пилотом («Меня зовут Хосе, если захотите обратиться ко мне дружески, а не как к командиру, я – Хосе») и Роумэном, прижал наушники, прокричал:

– Слушаю! Это я!

– Говорит Хорхе, – голос был бесстрастный, отчетливо слышимый, говорил на сицилийском диалекте. – Не кричи так громко. Если плохо слышишь, прижми наушники...

И Гуарази сразу же понял: на земле не хотят, чтобы кто-либо слышал то, что ему сейчас скажут.

Он не ошибся; коверкая сицилийский сленг, Хорхе пророкотал:

– Я хочу получить только того, за кем вы летите... Одного его... Остальные пусть останутся там... Они нам не нужны, слышишь? Прием!

Гуарази полез за сигаретами, закурил, тяжело затянулся.

– Прием! – голос Хорхе был требовательным, раздраженным.

– Да... Слышу, – ответил Гуарази. – Все без исключения?

– До единого. Только ты и тот, за кем едешь... Возвратишься в столицу той страны, что пролетел три часа назад. Понял? Прием!

– Понял.

– У тебя есть соображения? Прием!

– Да.

– Мы их обсудим после того, как ты выполнишь приказ. Прием!

– Я бы хотел связаться с боссом.

– Босса представляю я. Он отправил меня специально, чтобы успеть тебя перехватить. Прием!

– Я хочу переговорить с ним.

– Ты поговоришь. Когда вернешься домой. Он ждет тебя и очень тебя любит, ты же знаешь... Но это приказ, Пепе. Это приказ. Прием!

Гуарази еще раз тяжело затянулся, потушил окурок о металлический пол и ответил:

– Я понял.

Роумэн, наблюдавший за разговором, спросил:

– Что-то произошло?

– Да, – ответил Гуарази.

– Хорошее?

– Да.

– А что именно?

– Ты же слышал: босс прислал людей, чтобы нас прикрывали...

– Молодец Лаки, – согласился Роумэн. – Хороший стиль.

– Зачем ты произносишь это имя при пилоте? – спросил Гуарази. – Этого нельзя делать. Никогда. Запомни впредь, если хочешь дружить с нами.

– Да, сеньор, – пошутил Роумэн. – Слушаюсь и подчиняюсь... Где же эта чертова, проклятая, нацистская Вилла?!

– Ну, хорошо, положим, я действительно в кольце, – Мюллер

кончил кормить рыбок в своем диковинном, чуть не во всю стену аквариуме. – Допустим, вы загнали меня в угол... Допустим...

– Это не допуск, группенфюрер. Аксиома. Дважды два – четыре. Гелену – в свете той кампании, что началась в Штатах, – выгодно схватить вас и отдать американцам: «Мы, борцы против Гитлера, довели до конца свое дело!» Это – первое. Американцам, которые совершенно зациклились на коммунистической угрозе и готовы на все, чтобы нокаутировать Кремль, выгодно показать европейцам, что борьба против Советов не мешает им быть последовательными охотниками за нацистами. Это – второе. Мюллер – это Мюллер. Вы второй после Бормана, группенфюрер...

– Неверно. Я был чиновником, начальником управления. Премьер-министр, то есть канцлер, доктор Геббельс убил себя. Главный, президент рейха, преемник фюрера, гроссадмирал Денниц сидит в тюрьме, не казнен, получил пятнадцать лет, значит, ему еще осталось тринадцать, думаю, выпустят раньше, лет через пять, тогда ему будет пятьдесят девять, вполне зрелый возраст...

– Группенфюрер, вы говорите так, абы говорить? Вам нужно время, чтобы принять решение? Или вы действительно верите своим словам?

– Опровергните меня. Я научился демократии за эти годы, Штирлиц. Я теперь умею слушать тех, кто говорит неприятное.

– Неужели вы не понимаете, что гестапо – это исчадие ада?

– Гестапо было организацией, отвечавшей за безопасность рейха, Штирлиц. Как Федеральное бюро расследований. Или Ми-16 в Лондоне... Покажите мне хотя бы одну подпись на расстрел, которую я бы оставил на документах... То, что говорили в Нюрнберге, будто я с Кальтенбруннером за обедом решал судьбы людей, – чушь и оговор... Вы же знаете, что практически всех моих клиентов в тюрьмы поставлял Шелленберг... А ведь его не судили в Нюрнберге, Штирлиц... Он живет в Великобритании... Мои источники сообщают, что условия, в которых его содержат, вполне пристойны... И я не убежден, будут ли его вообще судить, – скорее всего он выйдет на свободу, когда уляжется пыль...

Штирлиц несколько удивился:

– Значит, вы готовы предстать перед Международным трибуналом?

– Сейчас? – заколыхался Мюллер. – Ни в коем случае. Еще рано. А вот когда Гесс станет национальным героем, а гроссадмирал Денниц и фельдмаршал Гудериан будут признаны выдающимися борцами против большевизма, – что ж, я, пожалуй, отдам себя в руки правосудия.

– Группенфюрер, если американцы узнают, что вы покрывали человека, убившего младенца Линдберга, если члены партии узнают, что еще в двадцатых годах вы избивали подвижника идеи, убийцу паршивого еврея Ратенау, ветерана движения фон Саломона, если несчастные немцы узнают, что именно вы руководили операцией по уничтожению всех душевнобольных в стране, а их было около миллиона, если евреи узнают, что Эйхман составлял для вас еженедельные сводки о количестве сожженных соплеменников, если русские

опубликуют все материалы, в которых вам сообщалось о расстрелах и повешениях невиновных женщин и детей, оказавшихся в зонах партизанских действий, – вы все равно надеетесь на благополучный исход дела?!

Мюллер вернулся к столу, сел напротив Штирлица и спросил:

– Что вы предлагаете?

– Капитуляцию.

– Будем подписывать в двух экземплярах? – Мюллер грустно вздохнул. – Или ограничимся устной договоренностью?

– А вас бы устроила устная договоренность?

Спросив так, Штирлиц хотел понять, что его ждет: если Мюллер согласится подписать даже кусок папифакса, значит, отсюда не выйти, конец; если же он будет предлагать устную договоренность, значит, он дрогнул, любой здравомыслящий человек на его месте дрогнул бы. А ты убежден, что он психически здоров, спросил себя Штирлиц. Ты же видел, как они здесь гуляют в своих альпийских курточках, галантно раскланиваются друг с другом, вполне милые мужчины и дамы среднего возраста, а ведь это именно они всего за один год превратили прекрасный Берлин, культурную столицу Европы двадцатых годов, в мертвую зону, уничтожили театры Пискатора, Брехта, Рейнгардта, сожгли книги Манна, Фейхтвангера, молодого Ремарка, запретили немцам читать Горького и Роллана, Шоу и Маяковского, Драйзера и Арагона, Алексея Толстого и Элюара, арестовали всех журналистов, которые обращались к народу со словами тревоги: одумайтесь, неистовость и слепая жестокость никого не приводили к добру, «мне отмщение и аз воздам», нас проклянет человечество, мы станем пугалом мира... Ну и что? Кто-нибудь одумался? Хоть кто-нибудь выступил открыто против средневекового безумия, когда несчастных детей заставили забыть латинский алфавит и понудили писать на старонемецкой готике, когда промышленность стала выпускать средневековые женские наряды, а каждый, кто шил костюмы или платья по фасонам Парижа или Лондона, объявлялся врагом нации, изменником и беспочвенным интернационалистом?! Хоть кто-нибудь подумал о том, что, когда радио Геббельса день и ночь вещало о величии немецкой культуры, особости ее пути, исключительности таланта нации, ее призвании принести планете избавление от большевизма, неполноценных народов и утвердить вечный мир, не только соседи рейха – Польша, Чехословакия, Дания, Венгрия, Голландия, Бельгия, Франция, – но и весь мир начал особо остро задумываться о своем историческом прошлом?! Разве одержимость великогерманской пропаганды не стимулировала безумие великопольского национализма? Французского шовинизма? Разве взрыв имперских амбиций на Острове не был спровоцирован маниакальной одержимостью фюрера и Геббельса?! Разве нельзя было понять, что в век новых скоростей нельзя уповать на разделение мира и народов, противополагать их друг другу, а, наоборот, следует искать общее, объединяющее?! Разве думающие немцы не понимали, что такого рода пропаганда не может не вызвать тяжелую ненависть к тем, кто беззастенчиво и постоянно

восхвалял себя, свою историю, полную героизма и побед над врагами, свою науку и образ жизни?!

И теперь эти люди, ветераны движения, фанатики фюрера, гуляют по аккуратным улицам Виллы Хенераль Бельграно, затерявшейся в горах, и мило раскланиваются друг с другом! Они по-прежнему полны ненависти к тем, кто разгромил их паршивый рейх и заставил скрываться здесь, за десятки тысяч километров от Германии! Они по-прежнему винят в трагедии немцев всех, но только не себя и себе подобных, а ведь они, именно они привели нацию к катастрофе, потому что отказали и себе, и народу в праве на мысль и поступок, добровольно передав две эти ипостаси личностей, из которых складывается общество, тому, кого они уговорились называть своим фюрером: «За нацию думает вождь, он же и принимает все основополагающие решения»; «Большевизм будет стерт с лица земли»; «Американские финансисты, играющие в демократию, на грани краха; один раз они пережили «черную пятницу», что ж, переживут еще одну; ублюдочный парламент Англии, где сидят мужчины в женских париках, изжил самое себя, – декорация демократии; французы обязаны быть поставлены на колени, – они должны заплатить за Версаль, заплатить сполна!»

Нацию приводят к катастрофе трусость, тугодумие и страх, организованный именно этими мюллерами и борманами, которые не понимали, что если они еще кое-как продержатся на страхе, то их дети и внуки будут раздавлены тем страшным зданием, которое они возвели. Неужели эти люди совершенно лишены чувства ответственности за потомство?! Не могут же они не понимать, что страх сковывает мысль, а в наш век побеждает лишь тот, кому гарантирована свобода мысли и бесстрашие поступка?

Мюллер вздохнул:

– Мы же с вами профессионалы... Что же, придется подписывать договор о сотрудничестве.

Штирлиц покачал головой:

– О договоре не может быть речи, группенфюрер. Мы можем подписать акт капитуляции...

– Ах, так...

– Только так... Не сердитесь... У вас нет иного выхода. Пошли погуляем? Там и поговорим о деталях...

– Отчего ж не погулять, пошли...

Мюллер поднялся, широко развел руки, повертел головой и спросил:

– Слышите, как трещит в загривке? Страшное отложение солей... Все можно вылечить, даже рак, – я финансирую работу двух центров, занимающихся изучением этой чертовой заразы, ужасно боюсь рака, – а вот отложение солей, казалось бы, какой пустяк, вылечить невозможно... Главная сила здесь, – он похлопал себя по затылку. – А тут операцию не сделаешь: чуть ошибся, резанул на сотую долю миллиметра в сторону, вот и паралитик на всю жизнь – под себя ходишь и мычишь, как стельная корова... Одно соображение, Штирлиц: как вы уйдете отсюда после того, как мы обменяемся ратификационными грамотами?

– А вы меня выведите, – ответил Штирлиц. – Дайте приказ...

– Нет... Начальник охраны этой колонии откажется подчиниться, Штирлиц... Он же понимает, что, уйди вы отсюда, мир узнает об этом оазисе. Значит, семистам ветеранам снова придется бежать?! Искать приюта в других зонах?! Ждать, пока им построят дома? Обвыкать на новых местах? Нет, Штирлиц, в действие вступит закон собственного «Я»... С ним шутки плохи...

– Но в рейхе вы же смогли поломать «Я»? У вас слово «Я» разрешалось одному фюреру, все остальные были «Мы»... Неужели разрешили своим подчиненным забыть здесь эту истину национал-социализма?

– Пока – да. Слишком свежи раны... У вас текст готов?

– В голове.

– Некая форма обязательства сотрудничества с русской секретной службой?

– Так бы я это не называл, группенфюрер... Сначала признание капитуляции... Потом перечисление опорных баз и лиц, их возглавляющих... Затем коды к сейфам в банках... Название тех фирм, которые – опосредованно – принадлежат вам, то есть НСДАП, ну, а уж потом форма связи, методы, гарантии...

Мюллер подошел к сейфу, достал маленький магнитофон, усмехнулся:

– Я ведь тоже не сидел сложа руки, дорогой Штирлиц... Хотите послушать монтаж, который мне сделали из наших с вами трехдневных бесед?

– Любопытно... А смысл? Какой смысл? Чего вы хотите этим добиться?

– Сначала послушаем, ладно? А потом я вам задам этот же вопрос. А вы мне ответите на него: понять логику противника – значит победить.

Мюллер нажал кнопку воспроизведения записи; голос Штирлица был задумчив, говорил медленно, взвешивая каждое слово:

– Вы говорите о том, что нашу идеологию и ваше движение связывает общее слово «социализм»... Что ж, давайте разбирать эту позицию... Вы еще запамятовали добавить, что Бенито Муссолини начал свою политическую карьеру как трибун итальянской социалистической партии, выступавший против финансовой олигархии, в защиту интересов рабочих и беднейших крестьян... Он тоже оперировал понятием «социализм»... Вы говорите, что убийство Эрнста Рэма произошло за шесть месяцев до убийства Кирова... И в этом вы правы... Есть ли у меня претензии к России? Конечно... И немало.

Мюллер выключил магнитофон и мелко засмеялся:

– Думаете, вас не расстреляют в тот самый миг, когда эта пленка окажется в Москве? У Лаврентия Павловича? Даже если вы привезете капитуляцию, подписанную гестапо-Мюллером? Вас расстреляют, бедный Штирлиц! А это обидно, когда расстреливают свои, ощущение полнейшей безнадежности...

– В пленке есть рывки... Это монтаж, группенфюрер... Специалисты поймут, что это такое...

– Не обманывайте себя. Не надо. Я ведь дал послушать незначительную часть ваших рассуждений вслух... Я не зря прогуливал вас по пустому полю аэродрома! Я работал, Штирлиц! Зная вас, я был обязан работать впрок... А теперь слушайте меня...

– Готов, группенфюрер, – устало, как-то безразлично ответил Штирлиц. – Только, бога ради, пошли побродим... У меня от этого, – он кивнул на магнитофон, – свело в висках.

– Бедненький, – вздохнул Мюллер. – Могу вас понять... Что ж, пошли...

Мюллер поднялся, пропустил Штирлица перед собою и, когда они вышли из особняка, взял его под руку:

– Хотите посмотреть авиационный праздник?

– Можно, – согласился Штирлиц с видимым безразличием; грустно пошутил: – Готовите кадры для нового Люфтваффе?

– Этим занимается полковник Рудель. Я ничего не готовлю. Я даю оценку подготовке, Штирлиц... Так вот к чему сводится мое предложение. Вы остаетесь здесь. У меня. Причем я не прошу вас капитулировать. Наоборот. Я предлагаю вам дружную совместную работу. Знаете, ведь порою старый враг оказывается самым надежным другом. Да, да, первые месяцы я здесь читал древних греков и римлян...

– Что я буду у вас делать?

– Думать, – ответил Мюллер. – Просто думать. И беседовать со мною о том, что происходит в мире. Я не потребую от вас никакой информации о ваших людях, о ваших руководителях, я не посмею унижать вас, словно какого-то агента... Нет, я приглашаю вас в компаньоны. А? На вас интересно оттачивать мысль... Мне сейчас приходится много думать, Штирлиц, переосмысливая крах. Вас бы не отправили сюда, не отдавай ваши шефы отчет в том, что идея национального социализма весьма привлекательна для людской общности, которая, становясь – численно – большей, качественно делается невероятно маленькой, а поэтому легко управляемой. Нужны апостолы, понимаете? Лишь апостолы не имеют права повторять ошибки тех, кто ушел... Пора вырабатывать универсальную доктрину, приложимую – по-разному, ясно, – к каждой нации.

Они поднялись на поле аэродрома; пять самолетов местного клуба готовились к выполнению фигур высшего пилотажа; стыло ревели моторы; механики в аккуратных костюмчиках с эмблемами «Аэробель» сновали по полю с толстыми портфелями свиной кожи, – точно такие же были у авиаторов берлинского Темпельхофа. Гляди ж ты, подумал Штирлиц, даже портфели смогли вывезти, где бы ни жить, но жить так, как раньше.

– Вон это поле, – сказал Роумэн пилоту. – Видишь, стоят самолеты? У них сейчас начнется праздник, свяжись с радиоцентром аэроклуба, я буду говорить с ними по-немецки.

– О чем? – спросил Гуарази.

– Скажу, что мы летим приветствовать их... Из Парагвая.

– А они спросят, откуда ты узнал об их празднике?

– Объявления были напечатаны в Санта-Фе, Кордове и Барилоче, Дик.

– Пусть с ними говорит пилот... По-испански, – сказал Гуарази. – Я не хочу, чтобы ты говорил на незнакомом нам языке.

– Ты не веришь мне? – Роумэн резко обернулся, зацепившись рукой за парабеллум пилота, показушно висевший на ремне крокодиловой кожи.

– Если бы я тебе не верил, то вряд ли пошел на это дело, Макс.

– Все же откуда тебе известно, что того человека, которого мы увезем отсюда, зовут Макс?

Гуарази улыбнулся:

– Не комментируется... Ты их не видишь на поле?

– Еще слишком далеко.

– А если они не придут?

– Расстреляешь меня, и все тут, – ответил Роумэн.

– Ты мне нравишься, Макс. Я не хочу тебя убивать. Я ценю смелых людей. Не считай нас зверьми. Не надо. Это все пропаганда...

– Куда подгонять самолет? – спросил пилот.

– К трибуне, – ответил Роумэн. – И связывайся с радиоцентром, приветствуй их, кричи от радости...

– Я не знаю, как это делать, – ответил пилот.

Роумэн снова обернулся к Гуарази, чертыхнувшись оттого, что снова зацепился за парабеллум пилота; все молодые военные обожают оружие; век бы его не видеть.

– Пепе, мы можем все испортить, если я не обращусь к здешним радистам... Они могут ретранслировать меня, Макс поймет, что это я, ему будет легче, знаешь, как это здорово, когда слышишь голос друга?!

– Хорошо, – сказал Гуарази. – Но, если ты сделаешь что-нибудь не так, я не позавидую твоей любимой. И детям Спарка.

Роумэн как-то сник, посмотрел на Гуарази с горечью:

– Почему-то мне казалось, что ты более никогда не сможешь произнести такие слова... Очень обидно, Пепе, что ты их произнес...

Он взял микрофон и приник к приемнику, настраиваясь на волну радиоклуба:

– Алло, алло, дорогие друзья! Вас сердечно приветствует экипаж Вернера фон Крузе, Парагвай! Мы везем вам кубок, который будет вручен победителю! Как слышите? Прием.

– Слышим прекрасно. Кто говорит?

– Говорит Вернер фон Крузе, второй пилот Пепе Леварсиа, разрешите посадку?

И, вырубив радио, Роумэн, прилепившись к стеклу кабины, закричал:

– Вот они! В первом ряду! Гони самолет туда!

Штирлиц дождался, когда незнакомый самолет, в кабине которого сидел Роумэн, подпрыгнув пару раз, взял направление к трибуне, опустил руку в карман, почувствовал тепло Клаудии, улыбнулся ей, расцарапал подкладку, нащупал двумя пальцами (ледяные, как

бы не выронить!) бритву, вытащил ее (что, зелененькая ящерка, пора?), обнял Мюллера за шею и шепнул:

– Чувствуешь бритву? Перережу артерию, если не посадишь меня в этот самолет... Скажи тем, кто стоит рядом, чтобы не стреляли.

– Вы сошли с ума, Штирлиц. Меня не послушают! Я же объяснял!

– Послушают.

Ощущая, как острие бритвы царапает шею, упираясь в ровно пульсирующую сонную артерию, Мюллер крикнул:

– Не стрелять!

Рев мотора того самолета, что направлялся к ним, был оглушающим; Штирлиц попросил, склонившись к уху Мюллера:

– Громче!

– Не стрелять! – срываясь на визг, заорал Мюллер. – Не стрелять!

– Идем, – сказал Штирлиц.

И они двинулись к самолету – как-то странно, по-крабьи, впереди Штирлиц, а за ним, в обнимку, Мюллер; «первый» открыл дверь и выбросил коротенькую лестницу; Гуарази обернулся ко «второму»:

– Только не зацепи лысого!

Роумэн, услыхав эти слова, сказанные не громко, но отчего-то явственно до него долетевшие, все понял; выхватив парабеллум из кобуры пилота, он навскидку жахнул «первого» и «второго»; перевел парабеллум на Гуарази:

– Двинешься – убью!

– Двинусь, – ответил тот, опуская руку в карман. – Я не могу иначе, Пол.

Роумэн выстрелил в него два раза подряд, стремительно перевалился через сиденье, встал у двери; Мюллер и Штирлиц были в двух шагах от люка; лица белые, ни кровинки, – бритва на шее группенфюрера, мокрый Штирлиц крутит его вокруг себя; паника на трибунах, по полю разбегаются молоденькие парни, стриженные под высокий бокс, со снайперскими винтовками, шлепаясь в пыль; Штирлиц остановился спиной к лестнице, загораживаясь Мюллером от возможных выстрелов.

– Все, – прокричал тот. – Я дам приказ, чтобы вам дали улететь! Пустите, Штирлиц! Иначе погибнем оба!

Штирлиц бросил бритву, схватил Мюллера за шею и втащил в кабину, заорав пилоту:

– Разгоняйтесь на трибуны! Можно взлететь! Скорей, Пол! Скорей!

Мюллер закричал:

– Они же начнут стрельбу, Штирлиц! Что вы делаете?!

Пилот развернул машину на трибуны и дал полный газ; самолет затрясло, гости попадали на землю, закрывая голову руками, выбило стекло в кабине пилота, – это начали пальбу охранники СС; самолет наконец оторвался от земли; пилот что есть силы тянул на себя рычаг высоты; Пол ткнулся лицом в плечо Штирлица, на ноге расползалось огромное кровавое пятно: «Ничего, кость цела, давай, пилот, давай, жми! Мы должны уйти!»

Самолет набирал высоту; пули дырявили дыры в крыльях; пилот смеялся: «Мы ушли!»; потом вдруг упал на щиток.

Роумэн перевалился на сиденье второго пилота, кровь хлестала из ноги, в голове шумело, казалось, виски вот-вот разорвет от нестерпимой боли, взял на себя руль, толкнул плечом пилота, тот медленно обвалился на него: из груди, разорванной несколькими пулями, пульсирующе фонтанировала кровь; приборы на доске не работали, разбиты, но самолет все же продолжал набирать высоту, хотя мотор выл надрывно, стонуще – вот-вот взорвется от перегрузки...

– Эй, Макс, – крикнул Роумэн, – я, пожалуй, продержусь полчаса... Потом мне хана... Или давай перетяни жгутом ногу, пока не вышла вся кровь.

– Сейчас, старый, – ответил Штирлиц. – Сейчас... Дай мне только захомутать группенфюрера, и я перетяну тебе ногу жгутом... Потерпи минуту, браток... Только одну минуту, и сделай так, чтобы мотор не взорвался, что-то он слишком ревет, нет?

Семенов Ю.
Собрание сочинений: т. 13. Роман – М.;
ООО «Фирма ЭГСИ», 1995г. – 416 стр.

В тринадцатый том собрания сочинений Ю. Семенова вошла третья книга трилогии «Экспансия».

ББК 84.3Р7

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФИРМА ЭГСИ»

Уважаемые читатели!

Наше издательство, обладающее эксклюзивными правами на продолжение издания собрания сочинений **Юлиана Семенова**, с удовлетворением сообщает Вам, что в 1996 году будут выпущены очередные пять томов, в которых планируется опубликовать следующие произведения:

- **Аукцион**
- **Без единого выстрела**
- **Бомба для председателя**
- **Горение**
- **Иди и не бойся**
- **Испанский вариант**
- **Ощупью в полдень**
- **При исполнении служебных обязанностей**
- **Провокация**
- **Псевдоним**
- **Схватка**
- **Тайная война** и ряд других.

Для оптовых покупателей
телефон/факс: (095) 452-8816 и (095) 446-1469

В Москве реализация книг нашего издательства осуществляется в следующих магазинах:

– магазин №2 Южного Агентства Печати,
Б. Факельный пер., 3, метро «Таганская», телефон ***911-2107***

– ООО «Восход»
Ярцевская ул., 34, метро «Молодежная», телефон ***149-1125***

– ТОО «Тотем»
Минская ул., 14, метро «Филевский парк», телефон ***146-9550***

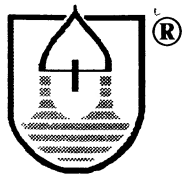
– ТОО «Аскольд»
Физкультурный пр., 11/25, кор. 6, метро «Багратионовская», телефон ***148-9480***

Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежем. Читателям, приславшим открытки с заказами на следующие тома, предоставляется скидка.

Заказы присылать по адресу:
121353, г. Москва, п/о 353, «Фирма ЭГСИ»

С уважением к таланту и личности автора

Коммерческий банк



Русич

г. Москва тел. 452-88-16

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ ТРИНАДЦАТЫЙ

Редактор Д.О. Грошев
Художники М.Н. Шестопал, В.С. Помочилин, В.М. Беляков
Технический редактор Г.В. Жигалова
Корректор Г.Н. Грошева

ЛР № 064288 от 14.11.95 г.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.11.95, Формат 84x108 $^{1}/_{32}$,
Бумага типографская № 2, Гарнитура Литературная, Печать офсетная.
Усл. печ. листов 21,84. Усл. кр. отт. 22,47. Уч.-изд. листов 30.62
Тираж 26000, Заказ № 1298
117454, г. Москва, пр-т Вернадского, 62 "а" ООО «Фирма ЭГСИ».

Отпечатано с готовых диапозитивов
в полиграфической фирме **«Красный пролетарий»**
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В
...ажни
...едоум
2. Бы
..., дел
...ское С
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
...ну и его банде создать камеры
...нки, Катыни, а его ученикам - п
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ернуть "журнальный вариант"!

...откуда курсив?

...Ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
...S. v. Henrici

...дивенчества:
...в квартиру, накор...
...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-
...ния пропагандистской ше-
... Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...б"ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это
...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...
...нивающей") стра-